

С.Ф. ПЛАТОНОВ

С.Ф. ПЛАТОНОВ

3

НАУКА



Сергей Федорович
ПЛАТОНОВ
(1860–1933)

Фотография 1908 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ
АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

РОССИЙСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

С.Ф. ПЛАТОНОВ

Собрание сочинений
в шести томах



МОСКВА НАУКА 2012

С. Ф. ПЛАТОНОВ

Том третий

Статьи

по русской истории

1883 – 1917 годов



МОСКВА НАУКА 2012

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
ПЗ7

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы “Культура России”*

Редакционная коллегия:

С.О. ШМИДТ, А.И. АЛЕКСЕЕВ, С.М. КАШТАНОВ,
А.В. МЕЛЬНИКОВ (ответственный секретарь),
А.В. СИРЕНОВ, А.Н. ЦАМУТАЛИ, С.В. ЧИРКОВ

Ответственный редактор

академик Российской академии образования С.О. ШМИДТ

Составитель

доктор исторических наук А.В. СИРЕНОВ

Рецензенты:

доктор исторических наук Н.М. РОГОЖИН,
кандидат исторических наук В.А. ЧЕРНЫХ

Платонов С.Ф.

Собрание сочинений : в 6 т. / С.Ф. Платонов ; Ин-т славяноведения РАН ; Археографическая комиссия РАН ; Российская национальная библиотека ; [отв. ред. С.О. Шмидт]. – М. : Наука, 2010– . – ISBN 978-5-02-037575-8.

Т. 3 / [сост. А.В. Сиренов]. – 2012. – 558 с. – ISBN 978-5-02-037601-4 (в пер.).

В томе представлены авторский сборник 1912 года “Статьи по русской истории (1883—1912)”, статьи по отечественной истории, не вошедшие в это издание, а также опубликованные в 1913–1917 гг., и некоторые материалы из “Русского биографического словаря”. Издание подготовлено Археографической комиссией РАН совместно с Отделом рукописей Российской национальной библиотеки по материалам личного архивного фонда академика С.Ф. Платонова.

Для историков, филологов и всех интересующихся отечественной историей.

По сети “Академкнига”

ISBN 978-5-02-037575-8
ISBN 978-5-02-037601-4 (т. 3)

© Институт славяноведения РАН,
Археографическая комиссия РАН,
Российская национальная библиотека, 2012

© Сиренов А.В., составление, 2012

© Редакционно-издательское оформление. Издательство “Наука”, 2012

Сборник
«Статьи
по русской истории
(1883 — 1912)»

Первое издание моих “Статей по русской истории” вышло в свет в 1903 году и заключало в себе статьи, находящиеся на стр. 1–248 настоящего, второго издания. Второе издание пополнено статьями, написанными в последнее десятилетие (1903–1912). При выборе статей для помещения в этот сборник я руководился желанием дать читателям только то, что имеет характер самостоятельного исследования или наблюдения. Поэтому в сборник не вошли разного рода рецензии и предисловия к изданным мною историческим памятникам, а равно и некоторые популярные статьи, в коих я не думал достичь оригинальности. Полный перечень написанного и изданного мною любезно составлен Б.А. Романовым и напечатан в глубоко тронувшем меня сборнике “С.Ф. Платонову ученики, друзья и почитатели” (СПб., 1911).*

21 сентября 1912

* В этом издании см. с. 7–388. *Примеч. ред.*

Заметки по истории московских земских соборов (1883)

В нашей ученой литературе за последнее двадцатипятилетие можно насчитать до 20-ти статей, посвященных земским соборам, что свидетельствует, конечно, о том, с каким значительным интересом относится наша наука к этому любопытнейшему явлению в жизни Московского государства. Казалось бы, что в такой массе статей весь материал, предлагаемый источниками, уже исчерпан, все темные частности вопроса выяснены, насколько то позволяло состояние источников, и нового сказать о вопросе уже нечего. Но это не совсем так. Вчитываясь в богатую по объему литературу вопроса, знакомый с предметом легко может заметить, что большинство статей о земских соборах не стоят – и даже не стояли в момент своего появления – на должной научной высоте. Этого нет надобности и доказывать. С другой стороны, писавшие о земских соборах ученые не исчерпывали всего того материала, какой дают для истории соборов наши археографические издания. Достаточно сказать, что до сих пор совершенно оставались в стороне “Дворцовые разряды” и “Книги разрядные”, которые, строго говоря, должны стоять на одном из первых мест для истории соборов в царствование Михаила Феодоровича по сравнительному обилию данных для нашего предмета. Далее, много частных вопросов, несмотря на то, что о них шла уже речь, остаются нерешенными и темными. В виде примера можно указать на вопрос о том, были ли наши соборы собраниями сословными или же нет, источники с достаточной ясностью говорят и о сословности древнерусского представительства, и о сословном характере совещаний на соборах. В.И. Сергеевич с достаточной убедительностью сгруппировал эти данные в своей превосходной статье о соборах. Между тем, уже после выхода в свет труда В.И. Сергеевича, некоторые ученые высказались против его мнения о сословном характере земских соборов и, должно признать, высказались с весьма шаткой аргументацией. Тем не менее, эта аргументация не вызвала до сих пор возражений. Наконец, после появления (в 1877 г.) последнего обстоятельного обзора земских соборов профессора Н.П. Загоскина, напечатаны некоторые новые данные о соборной

практике. В виду всех этих обстоятельств, в настоящее время является возможность пересмотра вопроса о земских соборах с надеждой достигнуть, хотя бы в частности, некоторых новых результатов, положений, замечаний. Несколько таких замечаний и предлагаются в нашей статье.

Начать нам придется с первого земского собора, созванного царем Иваном Васильевичем во дни его юности. До сих пор не установлен точно год этого собора: Н.М. Карамзин повествует о соборе между 1547 и 1550 гг. (*Карамзин* ИГР. Т. 8. С. 102 и след.); И.Д. Беляев и В.И. Сергеевич полагают, что собор происходил в 1548 г. (*Беляев И.Д.* Земские соборы на Руси: (Речь, читанная 12-го января 1867 года на торжественном акте) // *Московские университетские известия* 1866/67. Неофициальный отдел. № 4. С. 241, 251; *Сергеевич В.И.* Земские соборы Московского государства // *Сборник государственных знаний.* СПб., 1875. Т. 2. С. 5); Н.П. Загоскин относит собор к 1548–1549 гг. (*История права Московского государства.* Казань, 1877. Т. 1. С. 214); С.М. Соловьев говорит, что царь Иван мог обратиться к народу “не ранее 20-го года” своего возраста, а этот год возраста царя приходится, как известно, на время от 25-го августа 1549 г. до 25-го августа 1550 г. (*Соловьев* История. Т. 6. С. 52). Наконец, Е.Е. Замысловский (*Сборник государственных знаний.* Т. 2. Отдел 2. С. 130) и М.О. Коялович (*Три подъема русского народного духа для спасения русской государственности в смутные времена.* СПб., 1880. С. 6) полагают, что собор был в 1550 году. При всем этом разногласии любопытно то, что исследователи, кроме г. Замысловского, не указывают тех мотивов, по каким они предпочитают тот или другой год. Отыскивая в источниках точку опоры, которая позволила бы нам сознательно примкнуть к какому-либо мнению, мы нашли таковых две: 1) в Степенной книге по списку Хрущова, которым пользовался Карамзин (*Карамзин.* ИГР. Т. 8. Примеч. 182, 184) и отрывок из которого напечатан в Собрании государственных грамот и договоров (Ч. 2. № 37), мы читаем, что царь Иван Васильевич “бысть в возрасте 20-го году”, когда он с воззванием обратился к народу на Красной площади. Двадцатый же год жизни царя приходится, как сказано, на 1549–1550 годы. Эту данную, очевидно, и имел в виду Соловьев; на нее опирается и г. Замысловский. 2) Другая же данная находится в предисловии к Стоглаву. В нем помещена, между прочим, речь царя Ивана к Стоглавому собору, происходившему, как известно, в 1551 году. Царь говорит: “*В предыдущее лето бил есми вам челом и с бояры своими о своем согрешении, а бояре такоже, и вы нас в наших винах благословили и простили, а аз по вашему прощению и*

благословению бояр своих в прежних во всех винах пожаловал и простил да им же заповедал со всеми хрестьяны царствия своего в прежних во всяких делах помириться на срок. И бояре мои (и) все приказные люди и кормленщики со всеми землями помирились во всяких делах. Да благословились есми у вас *тогда же* судебник исправить по старине”... (Стоглав. Казань, 1862. С. 46–47; СПб., 1863. С. 38–39). В этой картине всеобщего покаяния, прощения и примирения легко можно видеть указание на первый земский собор, который, действительно, имел нравственное значение. Другой меры подобного всеобщего умиротворения мы за то время не знаем. А при таком понимании вышеприведенных слов царя для нас важное значение приобретают слова: в “предыдущее лето”. Значит, земский собор был только одним “летом” ранее собора Стоглавого и одновременно (“тогда же”, как выражается царь Иван Васильевич), когда составлялся Судебник, то есть в 1550 г. Этот вывод совершенно совпадает с показанием Степенной книги Хрущова, что царь Иван созвал собор в двадцатый год своей жизни. Таким образом, выражаясь точно, мы имеем право полагать, что первый земский собор произошел *по московскому счету в 7058 году*, иначе – в промежуток времени между 1-м сентября 1549 и 1-м сентября 1550 года.

Оставляя в стороне прочие земские соборы XVI века как достаточно описанные¹, остановимся на обстоятельствах 1612 года, на истории второго земского ополчения. Н.И. Костомаров, последний исследователь Смуты XVII века, говоря об ополчении 1612 г., сообщает, что у князя Д.М. Пожарского было желание “окружить себя земским собором, правильно выбранным, который бы имел право решать судьбу всей земли” (*Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в*

¹ Впрочем, уместным здесь будет упомянуть о земском соборе 1566 года. Вместо одной приговорной грамоты этого собора (СГГД. Ч. 1. № 192 и Продолжение ДРВ. Ч. 8. С. 1–42) будущий историк должен принять к сведению и еще один документ, чрезвычайно интересный. Это – так называемая Александроневская летопись, известная и Карамзину, и Соловьеву, но напечатанная очень недавно (РИБ. Т. 3. Стб. 161–294). Она никем еще не расследована относительно состава и происхождения, но, без сомнения, составляет надежный источник по массе доброкачественного материала. Это – летопись официального характера, по строю своему любопытная тем, что являет собою переходную ступень между летописью и позднейшими разрядами. Собственно о соборе 1566 г. в ней заключается много частных, дополняющих соборный протокол. Так, летопись говорит, что собор происходил в личном присутствии царя и его родни; далее объясняет, почему на соборе не было митрополита, указывает точно день соборного заседания (28-го июня) и проч. Кроме того, любопытные указания об этом соборе приводятся А.П. Барсуковым в его труде “Род Шереметевых” (СПб., 1881. Кн. 1. С. 286), но неизвестно, откуда он их почерпнул.

начале XVII столетия (1604–1613). М., 1868. Т. 3. Гл. 3. С. 1). Но почтенный историк умалчивает, осуществилось ли такое желание или нет, и нигде в литературе на это указаний не находится. А между тем существуют данные, хотя и не совсем точные, но позволяющие высказаться по этому вопросу с достаточной определенностью.

Сборным пунктом второго ополчения был Ярославль. По прибытии туда в апреле 1612 г. князь Пожарский и всех чинов люди, с ним бывшие, отправляют по городам грамоты (СГГД. Ч. 2. № 281; ДРВ. Ч. 15. С. 180; ААЭ. Т. 2. № 203), в которых, прося себе у городов материальной поддержки, просят в то же время, чтобы города прислали к ним “изо всяких чинов людей человека по два по три” для “земскаго совета” и “совет свой отписали за руками” о том, как бы в такое трудное время не остаться безгосударным, как стоять против врагов Русской земли, как ссылаться без царя с иностранными государями и как устраивать впредь государственный порядок. Из грамот видно, таким образом, что города призывались дать своим выборным инструкции не только об избрании царя, но и об управлении государством до этого избрания. Стало быть, в войске Пожарского было, действительно, желание вручить управление страню представителям земщины, а не личному усмотрению немногих избранных вождей. Осуществилось ли это желание, то есть собрался ли в Ярославле земский собор, мы можем догадываться по следующим соображениям. Прежде всего, распоряжения тогдашней исполнительной власти, князя Пожарского “с товарищи”, делались “по боярскому приговору и *всей совету земли*”, “*по указу всей земли*”, “*по приговору всей земли*”, как об этом говорится в самих грамотах Пожарского (ААЭ. Т. 2. № 204, 205, 206; АИ. Т. 2. № 336, 337, 339, 341, 343; *Лебедев Д.* Собрание историко-юридических актов И.Д. Беляева. М., 1881. С. 45–46. № 255 и 257). Это указывает нам, что соборное начало находилось в большом почете в земском ополчении 1612 г., если его начальники распоряжались именем земского совета; но отсюда еще нельзя заключать, строго говоря, о действительном существовании при князе Пожарском совета выборных от земщины. В Смутное время, до образования второго ополчения, зачастую злоупотребляли именем земщины и ее инициативе приписывали такие дела, в которых она совершенно не участвовала; так, например, земщине приписывался в официальных грамотах выбор на царство В.И. Шуйского и королевица Владислава, тогда как и то и другое было делом немногих власть тогда имевших лиц. И в данном случае упоминание в гра-

мотах общего земского совета, повторяем, еще не давало бы нам права делать вывод о действительном его существовании в 1612 году, – если бы о нем не упоминали еще и летописцы. Они вообще мало и кратко говорят о земских соборах, но зато на их сообщения в этом деле – *mutatis mutandis* – можно более положиться, чем на некоторые торжественно-риторические окружные грамоты той эпохи. В летописях же того времени мы несколько раз встречаемся с указаниями, что в Ярославле дела решались “всею ратью”, “всеми ратными людьми”, чего, конечно, нельзя понимать буквально: не могла же *вся масса* ополченцев принимать участие в решении, например, дел чисто дипломатического характера, не всегда удобных для гласного обсуждения и недоступных пониманию всякого ополченца. Мы должны предположить в данном случае у совета всей рати известную организацию, по всей вероятности, выборную, в чем утверждает нас до некоторой степени и аналогия с советом в рати Ляпунова в 1611 году. Там дела решались не вечевым порядком, а выборными людьми, как говорит Карамзин (*Карамзин*. ИГР. Т. 12. С. 310). Если верить летописи, то не только ратные люди принимали участие в обсуждении земских дел, но и духовенство, и посадские. Летопись говорит, что вскоре по прибытии ополчения в Ярославль, Пожарский и К. Минин созвали “*всю рать свою, властей призваша и посадских людей*”, и рассуждали, “како б земскому делу было прибыльнее”: какой политики держаться относительно Швеции и бродячих казаков. Самый предмет совещания, очень сложный, делал неудобным вечевое его обсуждение. Решено было послать в Новгород посольство, чтобы уладить нейтралитет шведов, а против казаков решили воевать (Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича / изд. по списку князя Оболенского // *Временник ОИДР*. М., 1853. Кн. 17. Материалы. С. 148–149; Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1792. Ч. 8. С. 181; Летопись о многих мятежах и о разорении Московского государства. 2-е изд. М., 1778. С. 243). В июле 1612 г. снова представилась нужда отправить в Новгород послов по делу о кандидатуре на русский престол шведского принца. Летопись говорит, что по этому делу “Московского... государства *народ*, митрополит Кирилл и начальники и *все ратные люди*” написали грамоту в Новгород, что они шведскому королевичу “все ради”, если он примет православие (*Русская летопись по Никонову списку*. Ч. 8. С. 184; Летопись о многих мятежах... С. 248; иначе см.: *Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича*. С. 150). Эта грамота ратных людей дошла до нас

(ДАИ. Т. 1. № 164). Писана она от лица бояр и воевод и от “всех чинов всяких людей всех городов”. Из этой грамоты, между прочим, ясно видно, что отношения Новгорода и Ярославля были в то время настолько сложны, что обсуждение их не могло происходить на вече, а требовало известной организации, более делу соответствовавшей. Наконец, о применении ратью соборного начала для решения дел мы в летописи находим и еще одно указание. Как известно, на жизнь князя Пожарского сделано было в Ярославле покушение. Виновного поймали и повели, как выражается летопись, – “*всею ратью и посадские люди к пытке и пыташа ево, он же все разказаше и товарищей своих всех сказа, и их переимаша, они же все повинишася, и землю ж их все разослаша по городом, по темницам*” (Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8. С. 186; Летопись о многих мятежах... С. 250; Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича. С. 151). Таким образом, и здесь мы видим соборное решение дела. Соборное начало применялось ополчением и после взятия Москвы от поляков. Это видно из одной позднейшей сравнительно грамоты земского собора 1613 года. Собор 1613 г., выбрав на царство Михаила Федоровича, вступил с ним в письменные сношения и, между прочим, в марте 1613 г. писал ему из Москвы о том, что всякого рода запасов для царского дворца в разоренной Москве еще не имеется, хотя о них уже думали и об их собирании распорядились уже давно. “*...И до нас, холопей твоих, – писали выборные земские люди, – послал боярин князь Дм. Т. Трубецкой да столник князь Дмитрий Пожарский, для твоих государевых обиходов, отписывать дворцовых сел... по приговору Кирилла митрополита Ростовскаго и Ярославскаго и всего освященнаго собору и по совету всеа земли*” (Дворцовые разряды. Т. 1. Приложение № 12). Кто же мог составлять в данном случае “совет всеа земли”, как не те люди, которые его составляли в Ярославле, и когда могли они заботиться о дворцовых припасах, как не по взятии уже Москвы от поляков? Итак, группируя еще раз все данные о соборе 1612 г., мы видим, что, во-первых, князь Пожарский желал окружить себя собором земских представителей (это факт достоверный); во-вторых, в своих распоряжениях власти земской рати постоянно опирались на авторитет земских приговоров; в-третьих, летописцы неоднократно говорят об участии духовенства, служилых и посадских людей в обсуждении и решении дипломатических и иных дел, чему мы имеем подтверждение в дипломатической грамоте ополчения в Новгород, писанной от лица “всех чинов... людей всех городов”, а не от лица только воевод, и,

наконец, в-четвертых, мы знаем документальную данную, что в 1612 г. в Москве, до созвания избирательного собора 1613 года, происходит “совет всея земли”. Какие же выводы можем мы сделать из всего этого? Прежде всего, один непоколебимый, как нам кажется, вывод: в земском ополчении 1612 года – и до и после взятия Москвы – власть не сосредоточивалась в руках одних излюбленных воевод, а разделялась земским собором, состав коего нам точно неизвестен. Мы знаем только, что собор этот состоял из трех главных элементов тогдашнего общества: из духовных, служилых и тяглых (посадских) людей – обычный состав московских земских соборов. Одного сказать не можем, были ли соборные участники *правильными* представителями земщины. Пожарский звал таких представителей. Может ли быть, чтобы земля, находившаяся тогда в порыве патриотического энтузиазма, не отозвалась на приглашение своего вождя и не послала “по два, по три” уполномоченных из города, когда посылала целые дружины и последнее достояние?²

Принято думать, что временное московское правительство позаботилось о созвании выборных для избрания государя только в декабре 1612 г. Так пишет и Соловьев (*Соловьев*. История. Т. 8. С. 441–442) и другие. Между тем, остается незамеченною одна важная грамота земского ополчения в Новгород (ДАИ. Т. 1. № 166), которая свидетельствует нам, что в первые же две недели

² Если мы допустим, что в ополчении 1612 г. были горожане, главною обязанностию которых было участвовать в земском совете при князе Пожарском, то это предположение поможет нам, может быть, разгадать одну темную частность в истории тех лет. Г[осподин] Костомаров высказал предположение, что после взятия Москвы, которое совершилось около 26-го октября 1612 г., земский собор съезжался для царского избрания не один раз, а два: в конце 1612 г., когда дела решить не успели, и в 1613 г., когда был избран Михаил Феодорович. Такой факт наш историк почерпнул из письма Гонсевского, который осенью 1612 г. участвовал в походе Сигизмунда под Москву и во время своих военных операций поймал нескольких детей боярских, “торопецких послов”; они, по словам Гонсевского, были на Москве для избрания царя, но, не решив ни на чем, уехали ни с чем назад и объявили, между прочим, Гонсевскому, что избрание царя назначено на 23-е марта (*Костомаров Н.И.* Смутное время... Т. 3. С. 292). В русских источниках нигде нет и намека на две сессии избирательного собора. Простое хронологическое соображение говорит нам, что Гонсевский ошибся, что между концом октября и февралем не могло состояться двух собраний выборных, ибо съезды их, при медленности вообще тогдашних сообщений, затруднились еще и вследствие Смуты. Таким образом, одинокое и сомнительное свидетельство Гонсевского остается загадкой, если не предположить, что он поймал торопецких выборных из числа созданных князем Пожарским в Ярославль, затем последовавших за ополчением в Москву и оттуда отпущенных в виду созвания нового собора для избрания царя.

по освобождении Москвы, то есть в начале ноября, в Москве уже подумали о созвании избирательного собора и “о обирание государском и о совете, кому быть на Московском государстве, писали в Сибирь³ и в Астрахань, и в Казань, и в Нижней Новгород, и на Северу и во все города Московскаго государства, чтоб изо всех городов Московскаго государства, изо всяких чинов люди, по десяти человек из городов, для государственных и земских дел, прислали... к Москве” (ДАИ. Т. 1. № 166. С. 294). Приглашенные представители земли съехались в Москву в январе 1613 г. Об этом мы можем судить по тому обстоятельству, что в январе, не позднее, избирательный земский собор даровал князю Трубецкому в вотчину область Вагу, что и засвидетельствовал своею грамотою от января 1613 г. (ДРВ. Т. 15. С. 201)⁴. После пререканий, длившихся, таким образом, месяц, земский собор выбрал в цари Михаила Феодоровича Романова и остался при нем поддерживать авторитетом всей земли молодого царя в первые годы его правления.

Мы не будем распространяться о данных для деятельности этого собора. Часть их прекрасно разработана А.П. Барсуковым во втором томе его “Рода Шереметевых”. Мы же позволим себе представить лишь немногие соображения относительно состава собора 1613 г. О составе его дает нам сведения только избирательная грамота собора (СГГД. Ч. 1. № 203). Строго говоря, она не может служить источником для истории событий того времени, так как в некоторой своей части почти буквально списана с избирательной грамоты Бориса Федоровича Годунова (ААЭ. Т. 2. № 7), а во второй половине составляет вольный пересказ

³ Представителей Сибири обыкновенно не заметно на земских соборах. В 1682 г., собирая представителей от торговых и посадских людей, московское правительство прямо указало прислать выборных изо всех мест тогдашней Руси, кроме Сибири, что известно нам документально (ПСЗ. Т. 2. № 899). Ввиду этого упоминание о Сибири в грамоте ополчения получает некоторый интерес. Желая проверить, действительно ли Сибирь была привлечена к делу избрания государя, мы обратились к подписям на избирательной грамоте собора 1613 г. (СГГД. Ч. 1. № 203), но среди них не нашли ни одной подписи за сибирские города. Этот факт вряд ли можно объяснить случайностию; вероятнее, что представителей Сибири вовсе не было на соборе 1613 года, как и на прочих.

⁴ Несмотря на совершенно спутанные в печати хронологические даты этой грамоты, мы уверенно относим ее к январю 7121 (1613) года, основываясь на содержании грамоты: в ней поход Сигизмунда под Москву (в 1612 г.) трактуется как событие прошедшее (С. 207), а царское избрание как событие еще не совершившееся (С. 208). Стало быть, грамота писана никак не позже 1613 года, хотя в Древней российской вивлиофике она и помещена под 1614 годом.

других современных ей документов⁵. Но эта грамота избирательная дорога нам тем, что на ней находятся подписи соборных людей. Всех подписей – 277. Из них 57 подписей принадлежат духовенству, 136 подписей – боярам и высшим служилым чинам, а остальные 84 подписи – городским выборным светских чинов. Представлены же были по меньшей мере 50 городов кроме престольной Москвы. Таким образом, на 50 городов приходится 84 подписи, не считая подписей духовенства из городов, или средним числом по две подписи на каждый город. Но это не значит, что города имели только по два представителя на соборе. Подписавшие грамоту городские представители почти все подписывали не за одних себя, а за всех представителей своего города и уезда, и поэтому мы лишены возможности точно определить численный состав собора. Тем не менее, смело можно сказать, что собор 1613 года был очень люден сравнительно с другими соборами. Мы знаем, что Пожарский звал по десяти человек от города (ДАИ. Т. 1. № 166. С. 294), и можем по некоторым данным заключить, что города не скупились на число своих выборных, а посылали даже и больше указанной нормы. Так, о Нижнем Новгороде известно, что он послал “для царского обирания” трех по-

⁵ Определение состава этой грамоты – не наша цель; поэтому, в подтверждение нашей мысли о несостоятельности этого памятника, мы ограничимся указаниями на некоторые только заимствования в этой грамоте. В ней, например, начало (родословие) прямо выписано из избирательной грамоты Бориса Годунова (СГГД. Ч. 1. № 203; ААЭ. Т. 2. № 7). Слова Бориса к земскому собору – из той же грамоты собора 1598 г. – вложены целиком в уста Михаила Феодоровича (СГГД. Ч. 1. № 203. С. 620 и ААЭ. Т. 2. № 7. С. 21; со слов: “Не мните себе того...”). Слова иноки Александры приписаны иноке Марфе (СГГД. Ч. 1. № 203. С. 628, и ААЭ. Т. 2. № 7. С. 33–34; со слов: “И толик плач и вопль и рыдание...”). Длинная речь патриарха Иова к Борису превратилась, с незначительными изменениями, в речь арх. Феодорита Михаилу Феодоровичу (СГГД. Ч. 1. № 203. С. 622 и ААЭ. Т. 2. № 7. С. 21–23; со слов “не буди противен вышняго Бога промыслу...”). Наконец, известная сцена народного плача и просьб в Новодевичьем монастыре, описанная в избирательной грамоте Бориса, целиком перенесена в Кострому составителем грамоты 1613 г. (СГГД. Ч. 1. № 203. С. 627, со слов: “Преосвященный архиепископ... и с ним весь вселенский собор...”). Этими примерами далеко не исчерпываются все заимствования грамоты царя Бориса, которая при этом была не единственным источником для составителя грамоты 1613 г. Он имел в виду и наказ собора послам, отправленным в Кострому, откуда заимствовал речь архимандрита Феодорита к Михаилу Феодоровичу (СГГД. Ч. 1. № 203. С. 616, от слов: “Ведомо ему, великому государю...”, и СГГД. Ч. 1. № 6. С. 16, от слов: “Ведомо тебе, великому государю...”), и известительную грамоту посольства из Костромы в Москву о согласии Михаила Феодоровича принять престол; отсюда в форме вольного пересказа заимствована речь посольству иноки Марфы (СГГД. Ч. 1. № 203. С. 620. Ч. 3. № 10. С. 41–42, со слов: “а он, государь, еще не в совершенных летах...”).

пов, тринадцать посадских, двух стрельцов и одного дьяка, всего 19 человек, кроме выборных от дворян, о которых нет известий. Между тем, из этих 19-ти лиц только четверо расписались на избирательной грамоте (Дворцовые разряды. Т. 1. Приложение № 13. Стб. 1085–1086, и подписи в СГГД. Ч. 1. № 203). Ввиду этих данных если мы примем, что каждый из пятидесяти (minimum) представленных городов прислал на собор не девятнадцать человек, как Нижний Новгород, а только десять, согласно указанной норме, то получим очень солидную цифру 500 городских представителей. Сложив эту цифру с числом представителей духовенства и высших московских чинов, которых на соборе было более двухсот, мы получим состав собора в семьсот с лишком человек, – вывод гадательный, но не невероятный. Многолюдством собора можно отчасти объяснить и тот факт, что собор зачастую заседал в самом просторном помещении тогдашней Москвы – в Успенском соборе.

Соборы царствования Михаила Феодоровича описаны не раз, и описаны удовлетворительно. Разряды, которыми доселе не пользовались для этих описаний, группируют в себе почти весь материал для истории соборов первой половины XVII века, известный ранее по отдельным грамотам, разбросанным в различных изданиях. Кроме того, разряды дают новые подробности и часто исправляют хронологию. Но изложение этих новых данных неудобно без повторения давно известных вещей, и поэтому мы, оставляя их в стороне, упомянем только о соборе 1622 года, который до сих пор не принимался во внимание в специальных трудах по истории соборов. Деулинское перемирие и созданные им отношения к Польше не удовлетворяли московского правительства; дипломатические раздоры с Польшей не прекращались, и уже в 1621 году Москва, пользуясь удобными обстоятельствами, желает объявить Польше войну. Правительство 12-го октября 1621 года доказывает земскому собору необходимость войны, и выборные люди обещают всеми средствами поддержать своего государя в этой войне (Книги разрядные. Т. 1. Стб. 773 и далее). Вследствие такого решения собора 14-го октября 1621 г. “с собора” послан был в Польшу гонец Борняков с боярской грамотой к “панам Раде” (Книги разрядные. Т. 1. Стб. 826–827). Грамота содержала в себе решительные представления и требования московских бояр, за неисполнением которых должен был последовать разрыв и объявление войны Польше. Через три с половиной месяца Борняков возвратился в Москву и привез с собой ответный лист “панов Рады”, по московским понятиям крайне оскорбительный. Предстояла поэтому война. Но московское правительство, прежде

чем ее объявить, снова обратилось к земскому собору (в начале марта 1622 г., то есть через пять месяцев после собора 1621 г.). На соборе были изложены все обстоятельства отношений к Польше, и, вероятно, решено было начать войну. Говорим: вероятно, потому что о соборе 1622 г. дошли до нас очень неполные сведения – в окружной царской грамоте от 14-го марта 1622 г., записанной в разрядной книге 7130 года (Книги разрядные. Т. 1. С. 830–831). Эта царская грамота, ничего не говоря о соборном решении, повествует о соборе так: “Мы, великий государь... советовав с отцом нашим... святейшим патриархом с Филаретом Никитичем... *учиняя собор*, говорили... митрополитом и архиепископом и епископом и всему освященному собору и бояром нашим и думным людям и дворяном и *всего Московскаго государства всяких чинов людям*, что нам, великому государю, от Польскаго короля и от панов Рад таких неправд и многих грубостей и своему государьскому имени безчестье болши того терпети не мочно... И указали есмь *с собору* боярам нашим и воеводам и дворяном и детем боярским всех городов... быти на нашу службу готовым тотчас, а ожидать о службе наших грамот”. Таковы все существенные сведения о соборе 1622 г. Весьма вероятно, что этот собор и собор 1621 года, бывший пятью месяцами раньше, принадлежали к одной и той же сессии. Долгие соборные сессии были в обычае тех лет. В начале царствования Михаила Феодоровича такие продолжительные сессии сменяли одна другую и составляли постоянный земский собор около молодого государя. В этом согласны теперь все исследователи. Но некоторые из них полагают, что постоянное пребывание в Москве земских выборных прекратилось в 1619 году, между тем как гораздо естественнее предполагать, что постоянные земские соборы продолжались до 1622 г. В 1619 г., распуская одну сессию выборных, правительство вместе с этими выборными решило вызвать им на смену новых городских представителей, по пяти или шести от каждого города (Книги разрядные. Т. 1. Стб. 615 и 618; СГГД. Ч. 3. № 47; ААЭ. Т. 3. № 105). Когда съехались эти представители, и что они делали, неизвестно, но из факта их созвания ясно, что сессией 1619 г. постоянные соборы не кончились. От 1620 года известий о соборах нет (это, строго говоря, еще не доказывает, что соборов *de facto* не было в 1620 г.); зато от 1621 и 1622 гг. мы имеем о них сведения. После же 1622 и до 1632 г., в течение десяти лет, о соборах не слышно. С большой вероятностью можно поэтому думать,

что последним годом постоянных земских соборов был 1622, а не 1619 год⁶.

Переходим теперь к собору 1648–1649 гг., слушавшему Уложение царя Алексея Михайловича. О внешней истории этого собора имеются краткие, противоречивые и научную критикой заподозренные данные. Вопреки прямому смыслу так называемого Предисловия к Уложению, наука говорит, что земские выборные ста тринадцати русских городов (*Забелин И.Е.* Сведения о подлинном Уложении царя Алексея Михайловича // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России / изд. Н.В. Калачовым. М., 1850. Кн. 1. Отд. 2. См. подписи) не только слушали Уложение и подписали его, но и вложили в него значительную долю собственного труда, выработали его, создали. Еще в 60-х годах нашего столетия замечены были в Уложении следы законодательной инициативы выборных. В 1875 г. на них указывал г. Сергеевич (Земские соборы Московского государства), а в 1879 году г. Загоскин обстоятельно занялся вопросом о деятельности выборных по составлению Уложения (*Загоскин Н.П.* Уложение царя и великого князя Алексея Михайловича и Земский собор 1648–1649 гг. // Известия и ученые записки Казанского университета. 1879. Январь–февраль. Отд. 3. С. 157–234). Трудными этими учеными выяснилось, что в Уложении до 88 статей в восьми главах составлено при участии или по инициативе выборных⁷. Особенно любопытна работа над Уложением г. Загоскина, исчерпывающая все данные для уяснения занимающего нас вопроса. Но и при

⁶ Из прочих соборов времени Михаила Феодоровича интересен по своей загадочности какой-то земский собор, бывший в патриаршество Иоасафа I, то есть в промежуток времени между 31-м января 1634 г. и 28-м ноября 1640 г. (*Макарий (Булгаков), митр.* История русской церкви. М., 1882. Т. 11. С. 77 и 94). От собора дошло до нас только письменное мнение, поданное духовенством (Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Русского археологического общества. СПб., 1861. Т. 2. С. 372–374; *Соловьев.* История. Т. 11. Дополнения). На соборе рассуждалось об оскорблении в Крыму государевых послов и о мере к наказанию крымцев. Трудно точно указать, когда произошло это оскорбление послов. Нельзя ли здесь разуместь тех насилий, которым подверглись в Крыму московские послы Коробьин и Матвеев в 1634–35 гг. на обратном пути из Константинополя, куда они были посланы (*Соловьев.* История. Т. 9. С. 263–264)? Если же эта догадка справедлива, и собор происходил в 1634 или 1635 году, то его можно счесть за одно из заседаний соборной сессии 1632–1634 гг. Об отношениях Москвы к Крыму за это время часто упоминает наказ 1643 года московским послам в Константинополь (Временник ОИДР. М., 1851. Т. 9); но в наказе нет сведений об оскорблении в Крыму московских послов.

⁷ Глава VIII (статьи 1–7); гл. X (ст. 137, 146, 147, 149, 185, 236); гл. XI (ст. 1–18, 30); гл. XIII (ст. 1–7); гл. XV (ст. 2, 3); гл. XVII (ст. 34, 36, 42–44); гл. XIX (ст. 1–40); гл. XX (ст. 57–58). Об этом см.: *Загоскин Н.П.* Уложение царя Алексея Михайловича. С. 55, 56.

всех своих достоинствах, труд уважаемого ученого допускает некоторые исправления и дополнения, к изложению которых мы ниже приступаем.

Прежде всего заметим, что в число статей, составленных при помощи земщины, должна быть внесена, кроме указанных выше, еще и 3-я статья XII главы Уложения (“О суде патриарших... людей и крестьян”). Она представляет собою краткий пересказ 2-й статьи XIII главы (“О монастырском приказе”) в применении к более ограниченному кругу лиц. А известно, что вся XIII глава возникла по инициативе земского собора. Далее, г. Загоскин, отыскивая источник первых 34-х статей XIX главы (“О посадских людех”), видит его в двух челобитьях земского собора от 25-го октября и 25-го ноября 1648 года, в которых выборные люди просят государя “отписать на себя” промышленные слободы беломестцев (ААЭ. Т. 4. № 32). Действительно, первые 33 статьи XIX главы ясно вытекают из этих челобитий. Статья же 34-я приказывает городским торговым людям, которые записаны в гостиную и суконную сотни, жить непременно на Москве, а не в их городах, и нести тягло с городских своих дворов, если они эти дворы не захотят продать. Содержание этой статьи, таким образом, не заключается в содержании вышеназванных челобитий, и Н.П. Загоскин ошибается, усматривая здесь зависимость. Статья 34-я вытекла из другого совершенно челобитья, из челобитья гостей и гостиной сотни, поданного государю 4-го января 1649 года (ДАИ. Т. 3. № 47). История этой 34-й статьи такова: в июле 1648 года, во время московских смут, посадские люди “разных городов” били челом, чтобы дозволить их товарищам, записанным в гостиную и суконную сотни, отправлять свою службу не в чужих, а в своих городах (ААЭ. Т. 4. № 28). Правительство эту просьбу исполнило и тем возбудило неудовольствие со стороны москвичей, членов гостиной сотни и гостей, которым от нового порядка вещей тяжелее стало служить. Они 4-го января 1649 года подали челобитную, прося восстановления старых служебных обычаев, и правительство, несмотря на то, что люди черных сотен старались этому противодействовать, согласилось на доводы гостей и гостиной сотни и указало взятым в гостиную и суконную сотни людям жить по-старому на Москве, а не по городам. Этот-то указ, отменявший предписание 1648 года, вошел в Уложение и составил 34-ю статью XIX главы, о чем свидетельствует позднейшая, от 15-го февраля 1649 г., челобитная тех же гостей (ДАИ. Т. 3. № 47. С. 158: “...а по твоему, государеву, Уложению велено тем людям быти в гостиной сотне”, то есть в Москве). Все документы по этому любопытному делу напечатаны в “Дополнениях к Актам

историческим” (т. 3. № 47) и совершенно ясно указывают на происхождение 34-й статьи иное, чем полагает г. Загоскин.

В виде дополнения к очерку деятельности земского собора 1648–1649 гг. следует упомянуть об интересном деле по поводу запрещения иностранным купцам торговать внутри Московского государства. Указ, ограничивающий торговые права англичан, обнародован был 1-го июня 1649 г. Возник он, как в нем написано, по челобитьям “гостей и торговых всяких людей”, поданным “в прошлых годех и в нынешнем во 157 (1649) году” (СГГД. Ч. 3. № 138). Под челобитьями “прошлых лет” можно разуместь челобитье торговых людей 1646 года, дошедшее до нас (ААЭ. Т. 4. № 13) и заключающее много жалоб на недобросовестные приемы торговли иностранцев. Челобитье же “нынешняго 157 года” долго оставалось неизвестным, пока не было в 1879 г. напечатано в “Сборнике князя Хилкова” (М., 1879. № 82. С. 238–255) с приложением всего делопроизводства по этому челобитью. Из напечатанных документов видно, что в 1648 году торговые люди, вероятно, замечая безрезультатность своих прежних челобитий по делу о торговых иностранцах, возбудили это дело на земском соборе, составлявшем Уложение, и достигли того, что уже не одни торговые люди, а земский собор во всем своем составе подал государю два челобитья, прося запретить иностранцам торговлю внутри государства. Одно челобитье было ото всех служилых выборных, другое – ото всех тяглых. Государь, выслушав просьбу собора, приказал со своею Думою, чтобы из Посольского приказа была доставлена “память” о том, когда и какие торговые права получили иноземцы в Московском государстве. Память эта, очень пространная и важная для нас по массе данных, была доставлена 20-го декабря 1648 года на имя князей Одоевского, Прозоровского и Волконского и дьяков Леонтьева и Грибоедова, то есть на имя тех лиц, которым была поручена редакция Уложения. Этими лицами память была внесена к государю, который прослушал ее и затем подверг все дело об иностранных купцах на всестороннее обсуждение земского собора. Выборные, как служилые, так и тяглые, опять категорически высказались о необходимости и возможности запретить иностранцам торговлю внутри государства и не пускать их далее Архангельска. Их так называемая “сказка” очень тонко разоблачает все коммерческие уловки и плутни, употреблявшиеся в ту эпоху иностранцами. Что следовало затем по этому делу, неизвестно, но чрез полгода правительство удовлетворило желание собора, и, таким образом, указ 1-го июня 1649 г. служит новым примером проявления земской инициативы на соборе 1648–1649 годов.

Земский собор для составления Уложения был созван на 1-е сентября 1648 года, хотя подготовительные работы по Уложению начались в июле еще месяце. Когда же собор кончил свое дело кодификации? На всех трех (а не двух, как полагает Н.П. Загоскин) первоначальных изданиях Уложения помещено вместо выхода следующее: “совершена сия книга... лета 7157 генваря в 29 день”. Такая дата долго заставляла думать, что 29-го января 1649 г. Уложение было уже напечатано. Г[осподин] Загоскин а priori подверг это сомнению, полагая, что Уложение печаталось позже, и в связи с этой догадкой высказал другую, что Уложение окончено было составлением в конце декабря 1648 г. (*Загоскин Н.П.* Уложение царя Алексея Михайловича. С. 63 и след.). Но в том же году, когда вышло исследование г. Загоскина, были напечатаны документы, извлеченные членами Археологического института из московских архивов и опровергающие предположения г. Загоскина. На основании расходной книги Печатного двора 7157 года, хранящейся в библиотеке Синодальной типографии, оказывается, что Уложение впервые печаталось с 7-го апреля по 20-е мая 1649 года (Сборник Археологического института / под ред. Н.В. Калачова. СПб., 1879. Кн. 2. С. 21). Составлением же оно было кончено не в декабре 1648 г., а только 29-го января 1649 г., ибо слова: “совершена сия книга... лета 7157 генваря в 29 день” находятся на подлинном столбце Уложения и, стало быть, показывают день окончания законодательных работ (Сборник Археологического института. Кн. 2. С. 11). Название столбца “книгою” (“совершена сия книга...”) не должно нас смущать: здесь словом “книга” означает не вещество осязаемое, а свод. На основании приведенных данных можно сказать, что Уложение составлялось в продолжение полугода, а это до некоторой степени изменяет ходячее мнение о баснословной скорости, с какою будто бы был составлен наш кодекс. Впрочем, и полгода – очень короткий срок для такой обширной работы, особенно если взять в сравнение продолжительность кодификационных работ в европейских государствах в наш век.

В заключение остановимся на земском соборе 1653 года о присоединении Малороссии. С этим собором – вот уже 25 лет – связано странное недоумение, которое легко разрешается исключительно с помощью напечатанного материала. В обстоятельствах созвания этого собора Соловьев усмотрел еще в 1857 г., что соборы, так сказать, вымерли: “осталась одна форма”, соблюдавшаяся только по традиции. Вот что писал он тогда в полемической статье против К. Аксакова: “6-го сентября 1653 г. царь

Алексей Михайлович отправил к гетману Богдану Хмельницкому ближнего стольника Р. Стрешнева и дьяка Бредихина... с объявлением, что он принял его (Хмельницкого) в подданство, а 1-го октября созван был собор для разсуждения о том, принимать ли гетмана в подданство” (*Соловьев С.М.* Шлецер и антиисторическое направление // *Русский вестник.* 1857. Апрель. С. 449). Этот факт решения дела до созвания собора и превращение собора в лишнюю церемонию указывают, по мнению Соловьева, на вымирание соборов и их бессилие подать помощь государству. Аксаков защищал значение собора 1653 г. Он писал в ответ Соловьеву, что московское правительство раз уже (в 1651 г.) заручилось согласием собора на принятие Малороссии, а теперь, в 1653 году, созывая собор после решения дела, ждало от него только окончательной нравственной санкции дела (*Аксаков К.С.* Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 206–207). Но априорные догадки, как иногда они ни симпатичны, всегда остаются только догадками, а скепсис Соловьева заставлял задумываться последующих исследователей. Оставалось в подозрении, имел ли собор 1653 года какой-нибудь смысл, и совершенно ясным казалось, что дело было решено до собора, и собор был вовсе не нужен. Тем не менее, позднейший исследователь земских соборов г. Загоскин становится на сторону Аксакова и старается – опять-таки гадательно – доказать, что собор 1653 г. имел значение. По мнению Н.П. Загоскина, это ясно и без “предположений” о первом соборе (1651 г.), на который ссылается Аксаков, и который, как думает г. Загоскин, есть ни что иное, как фикция, измышленная Аксаковым (*Загоскин Н.П.* История права Московского государства. Казань, 1877. Т. 1. С. 295–296). А надобно заметить, что о соборе 1651 года есть печатные известия у Д.Н. Бантыша-Каменского в “Истории Малой России” (М., 1822. Т. 1. С. 3–4).

Итак, в литературе и до наших дней собор 1653 года не объяснен удовлетворительно, и до сих пор возможно полагать, что польско-малороссийский вопрос решен был до его созвания. А между тем, недоразумение разрешается просто: земский собор занимался польскими и малороссийскими делами с 25-го *приблизительно мая 1653 г. по 1-е октября*, и заседание 1-го октября, от которого до нас дошло три различных редакции протокола (СГГД. Ч. 3. № 157 и II; ПСЗ. Т. 1. № 104; Дворцовые разряды. Т. 3. Стб. 369; Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1878. Т. 10. № 2), было последним торжественным собранием выборных людей этой сессии. Стрешнев и Бредихин, отправленные в сентябре, посланы были, очевидно, с ведома

собора, и, таким образом, собор 1653 г. никак нельзя считать пустой формой. К таким выводам пришли мы на основании следующих данных: 1) В X-м томе “Истории России” Соловьева (Соловьев. История. С. 312–316) приведены выписки из неизданных дворцовых разрядов 1654 года о торжественном отпуске, который дан был 23-го апреля 1654 г. царем Алексеем Михайловичем князю А.Н. Трубецкому и его войску, выступавшему в поход на Польшу. Царь говорил в этот день речь московским и городским дворянам, шедшим на войну, и, между прочим, сказал следующее: “*В прошлом году были соборы не раз, на которых были и от вас выборные, от всех городов дворян по два человека; на соборах этих мы говорили о неправдах польских королей; вы слышали это от своих выборных*” и т.д. В этих словах государя для нас важно известие о *многих соборах* в 1653 (или, вернее, в 7161 году), тогда как обыкновенно принимался в расчет один собор или одно его заседание 1-го октября. Далее, интересно сообщение, что на эти соборы 7161 года были вызваны дворяне в количестве *двух* человек от города. Это известие можно сопоставить с другою данною. 2) В III-м томе “Дворцовых разрядов” (С. 350–351) под 7161 годом читаем следующее: “Мая во 2 день посланы государевы грамоты в замосковные и во все украинные города... велено *во всех городах* выслать *изо всякаго города* из выбора *по два человека дворян* добрых и разумичных людей, и выслать к Москве на указной срок, мая к 20 числу”. Немного ниже читаем, что в грамотах от 15-го мая этот “указной срок” изменен был вместо 20-го мая на 5-е июня. Ясно, что вызывались в Москву эти “добрые и разумичные” люди не для чего иного, как для земского собора, тем более, что число их – два из города – совпадает с указанием царской речи. Если эта догадка справедлива, то, стало быть, в конце мая или в начале июня в Москве уже составилась земский собор, которому и было предложено заняться польскими делами. А что эта догадка справедлива, достаточно утверждается следующей данною: 3) в “Актах, относящихся к истории Южной и Западной России”, в X-м томе (Примечание к № 2-му), читаем, что в московском Архиве Министерства иностранных дел, в Польских делах (связка № 4, тетрадь № 6, на 22 л.) “находится черновое, с помарками, решение земского собора, 25-го мая 1653 года, о том же литовском и черкасском деле, без конца”. К сожалению, решение это не напечатано. Но и одно упоминание о нем для нас чрезвычайно важно. Очевидно, отсрочка приезда выборных до 5-го июня состоялась слишком поздно, и выборные, не воспользовавшись ею, собрались к раньше ука-

занному сроку, 20-му мая, а правительство нашло возможным открыть соборную сессию не позже 25-го мая. К этим сведениям о соборе 1653 г. необходимо прибавить, что по составу своему он несомненно был полным: разряды категорически говорят, что на соборе “из столников, и из стряпчих, и из дворян, и из жильцов, и из *посадских людей* были *выборные люди*” (Дворцовые разряды. Т. 3. Стб. 369).

Бросим теперь общий взгляд на обстоятельства деятельности земского собора 1653 года. Он был созван вскоре после отправления в Польшу посольства князей Репнина и Волконского. Два уже года продолжались дипломатические пререкания между Москвой и Польшей по поводу малороссийских дел и оскорблений государственной чести. Отношения двух государств чем далее, тем более обострялись. Наконец, в последних числах апреля 1653 г. в Польшу были отправлены полномочные послы-бояре, упомянутые князья Б.А. Репнин и Ф.Ф. Волконский, для последних переговоров. Они должны были решительно требовать удовлетворения государственной чести и наказания виновных в умалении царского титула. Вместе с тем им было приказано сделать представление о малороссийских делах: сообщить о том, что Богдан Хмельницкий переговаривается с Москвой о принятии его в подданство, и посоветовать полякам лучше обращаться с украинцами (*Соловьев. История. Т. 10. С. 271 и след.*). Отправляя послов, московское правительство позаботилось одновременно и о созыве земских представителей, желая иметь их под рукою, так как приближалась развязка польско-малороссийского вопроса, зависевшая всецело от исхода полномочного посольства. Выборным, надо полагать, были представлены все обстоятельства дела, и они, конечно, еще раньше 1-го октября высказались за принятие Хмельницкого и за войну с Польшей, если только Польша не изменит политики. Отправление Стрешнева и Бредихина в Малороссию состоялось не иначе, как с ведома собора, ибо поручение, им данное, было весьма важно: они должны были объявить Хмельницкому, что государь его примет под свою руку, если посольство Репнина постигнет неудача. Стрешнев и Бредихин выехали 6-го сентября, а в середине сентября воротился Репнин с известием о полной своей неудаче. Тогда 20-го числа послали догнать Стрешнева, и ему было велено уже прямо объявить Хмельницкому о принятии его государем. Через десять дней после этого, 1-го октября, состоялось торжественное собрание земского собора, в праздник, после обедни, в Грановитой палате, в присутствии государя (Дворцовые разряды. Т. 3. Стб. 369). Было прочтено витиеватое изложе-

ние всех обстоятельств дела, и была единодушно решена война с Польшей и принятие Малороссии. Прямым следствием такого соборного решения был царский указ боярину В.В. Бутурлину ехать к казакам, принять их официально в подданство и привести к присяге. Указ Бутурлину был объявлен того же 1-го октября, в той же Грановитой палате, где происходил собор, и, вероятно, на самом соборе (Дворцовые разряды... Т. 3. Стб. 372). Уж один этот факт, что В.В. Бутурлин, как тогда говорилось, прямо “с собора” был послан исполнить соборное решение, а не ранее, уж один этот факт свидетельствует, что заседание 1-го октября имело значение и смысл: 1-го октября собор сошелся безо всяких рассуждений и прений утвердить давно выработанное решение и этой санкцией закончить свою долгую сессию, которая, как мы видели, началась еще в мае 1653 года.

Царь Алексей Михайлович (Опыт характеристики) (1886)

О личности царя Алексея Михайловича писано не раз. Изда-но много его писем и бумаг, составлена биография (Хмыровым в “Древней и новой России” 1875 года), даны характеристики (С.М. Соловьевым в XII т. “Истории России” и И.Е. Забелиным в “Опытах изучения русских древностей и истории”. М., 1872. Ч. 1). Но изображение личности допускает большие вариации, чем изобра-жение факта. За характеристиками Соловьева и Забелина могут последовать новые, основанные на том же материале, но дающие иные точки зрения и новую оценку личности. Более совершенная разработка эпохи даст и более верное представление о ее деятеле. Последнее слово о царе Алексее Михайловиче, конечно, еще не сказано и не скоро будет сказано. Поэтому мы думаем, что пред-ставляемый нами очерк написан не на устарелую тему.

Реформа русской жизни, с такою быстротой и резкостью про-веденная Петром Великим, надолго заслонила от взглядов потом-ства допетровскую Русь. То, что было до Петра, для многих пред-ставлялось лишенным всякого исторического интереса, и многим казалось¹, что только делами Петра начиналась историческая жизнь в России. Титаническая личность царя-преобразователя, с его беспримерной энергией, громадными душевными силами и замечательным разнообразием деятельности, затмевала собой его предшественников – московских государей XVII века, вели-чавых и спокойных, закрытых от глаз толпы строго размеренным чином московской придворной жизни. Для многих последующих поколений время Петра представлялось эпохой, оторванной от всей предыдущей истории, а личность Петра – одиноко стоящей в ряду русских монархов XVII века по стремлениям и деятельно-сти. Но мало по малу воззрения менялись. В лице С.М. Соловьева русская наука дошла до убеждения, что допетровское время и ре-форма Петра тесно связаны между собой, что в течение XVII века

¹ Например, Белинскому, в его статье по поводу Котошихина (Сочинения В.Г. Белинского. М., 1859. Ч. 4).

“обозначились явно новые потребности государства и призваны были те же средства для их удовлетворения, которые были употреблены в XVIII веке, в так называемую эпоху преобразования”². Изучение XVII века получило особенный интерес именно с точки зрения приготовления к реформе. Стало ясно, что сам преобразователь Петр воспитался в понятиях не совсем противоположных его деятельности, что он имел на своем пути предшественников. Пристальный взгляд исследователя уже в половине XVII века найдет следы двух течений в культурной жизни наших предков: сыщут новаторов, как известный боярин Матвеев, и стародумов, как первые расколоучители; сыщут таких беззаветных поклонников просвещения, как Ф.М. Ртищев, и противников этого самого просвещения, говорящих, что в греческой и латинской грамоте “еретичество есть”. Киевская и греческая наука, принесенная в Москву в XVII веке учеными монахами, жизнь людной “немецкой” колонии в Москве, торговля и дипломатические сношения с Западом, военные и иные заимствования у иностранцев – все это очень затрагивало москвичей, широкой струей вносило иноземное влияние в московскую жизнь, настойчиво будило культурный вопрос и порождало определенных сторонников и противников новшеств. Нельзя никак сказать, что перед эпохой Петра Московское государство было в состоянии спокойной, самодовольной крепости. Целое поколение людей, предшествовавшее Петру, выросло и прожило среди борьбы старых понятий с новыми веяниями, которые были еще слабы, но с каждой минутой крепились. Вопрос об образовании и о заимствованиях с Запада родился раньше Петра: он стоял уже определенно при его отце Алексее Михайловиче.

Безусловно справедливо замечание С.М. Соловьева, что ход преобразования, при особенностях русской жизни, должен был зависеть от личности государя и начаться его инициативой. Если пылкая, энергичная личность Петра сделала его реформу быстрым и резким переворотом, если впечатления его детства, бурного и не вполне счастливого, отразились крайностями в некоторых мерах Петра, то личностью Алексея Михайловича, быть может, следует объяснять многие особенности его эпохи. Поэтому личность царя Алексея, дающая очень интересный материал для психологического этюда, представляет для нас не один психологический интерес. Царь Алексей, как образованный человек своего времени, стоял лицом к лицу со всеми вопросами, трогавшими тогдашнее общество; он шел навстречу новшествам, вводил их

² Сочинения С.М. Соловьева. СПб., 1882. Т. 1. С. 84.

в свою частную жизнь и в то же время оставался в высшей степени православным и в высшей степени московским человеком. И новаторы, и старых воззрений люди могли считать его своим, но в сущности царь Алексей не принадлежал всецело ни к тем, ни к другим: он стоял в середине всех движений в московском обществе, но сам не двигался ни в какую сторону. Отчасти, быть может, поэтому в его царствование культурный вопрос не нашел своего разрешения, хотя уже чувствовалась близость и необходимость реформы.

Не такова натура была у царя Алексея Михайловича, чтобы, проникнувшись одной какой-нибудь идеей, он мог энергично осуществлять эту идею, страстно бороться, преодолевать неудачи, всего себя отдать практической деятельности, как отдал себя Петр. Сын и отец вполне противоположны по характеру: в царе Алексее нет той инициативы, которая отличает характер Петра. Стремление Петра всякую мысль претворять в дело совсем чуждо личности Алексея Михайловича, спокойной и созерцательной. Боевая, железная натура Петра вполне противоположна мирной и мягкой натуре его отца.

Негде было царю Алексею выработать в себе такую крепость духа и воли, которая дана Петру, помимо природы, впечатлениями детства и юности. Царь Алексей рос тихо в тереме московского дворца, до пятилетнего возраста окруженный многочисленным штатом мам, а затем, с пятилетнего возраста, переданный на попечение дядьки, известного Бориса Ивановича Морозова. С пяти лет стали его учить грамоте по букварю, перевели затем на Часовник, Псалтирь и Апостольские деяния, семи лет научили писать, а девяти лет стали учить церковному пению. Этим собственно и закончилось образование. С ним рядом шли забавы: царевичу покупали игрушки; был у него, между прочим, конь “немецкаго дела”, были латы, музыкальные инструменты и санки потешные, словом, все обычные предметы детского развлечения. Но была и любопытная для того времени новинка – “немецкие печатные листы”, т.е. гравированные в Германии картинки, которыми Морозов пользовался, говорят, как подспорьем при обучении царевича. Дарили царевичу и книги; из них составила у него библиотека числом в 13 томов. На 14-м году царевича торжественно объявили народу, а 16-ти лет царевич осиротел (потерял и отца и мать) и вступил на московский престол, не видев ничего в жизни, кроме семьи и дворца. Понятно, как сильно было влияние боярина Морозова на молодого царя: он заменил ему отца. Дальнейшие годы жизни Алексея Михайловича дали ему много впечатлений, много опыта. Занятия государственными делами, необычные волнения

1648 года, путешествие в 1654–1655 годах за границы государства, в сторону, завоеванную у поляков, близость к одному из крупнейших людей века – Никону – все это развивающим образом подействовало на личность Алексея Михайловича, образовало в нем цельный и стройный характер. Царь возмужал и из мальчишка, доступного всякому влиянию, стал человеком очень определенным, с оригинальной умственной и нравственной физиономией.

Современники очень любили царя Алексея. Самая наружность царя очень говорила в его пользу. В его голубых глазах светилась редкая доброта, взгляд этих глаз никого не пугал, но ободрял и обнадеживал. Лицо государя, полное и румяное, окаймленное русой бородой, было добродушно-приветливо и в то же время серьезно и важно, а полная, даже чересчур полная фигура его сохраняла всегда чинную и важную осанку. Но царственный вид Алексея Михайловича ни в ком не будил страха: не личная гордость создала эту осанку, а сознание важности и святости сана; этим сознанием царь был полон.

Симпатичная наружность отражала такую же симпатичную душу. Современники-иностранцы, независимые от царя Алексея люди (Коллинс, Рейтенфельс, Лизек), в один голос говорят о царе Алексее Михайловиче, что это был редкий монарх и человек: “такой государь, какого желают иметь все христианские народы, но немногие имеют”. “Гораздо тихим” зовет царя и русский эмигрант Котошихин. Уже одни согласные отзывы современников заставили бы считать Алексея Михайловича светлой личностью; но для наших на него воззрений есть материал более прочный – известные нам биографические факты и литературные произведения царя Алексея. Он очень любил писать и писал письма, сочинял вирши, составил “Уложение сокольничья пути”, т.е. подробный наказ своим сокольникам; он пробовал писать свои мемуары (о польской войне), имел даже привычку своеручно поправлять текст и делать прибавки в официальных грамотах, причем не всегда попадал в тон приказного изложения. Значительная часть его литературных попыток дошла до нас, и притом дошло по большей части то, что писал он во времена своей молодости, когда был свежее и откровеннее и когда жил полнее. Этот литературный материал замечательно ясно рисует нам личность государя и вполне позволяет понять, насколько симпатична и интересна была эта личность. Царь Алексей высказывался очень легко, говорил без обычной в те времена риторики, любил, что называется, поговорить и пофилософствовать в своих произведениях.

При чтении этих произведений прежде всего заметно, что у Алексея Михайловича живой ум и чрезвычайно впечатлительная

душа. Его все одинаково занимает: и польская война, и болезнь придворного, и политика, и хозяйство умершего патриарха Иосифа, и вопрос о том, как петь многолетие в церкви, и садоводство, и прелести соколиной охоты, и театральные представления, и мелкие ссоры в любимом его монастыре. Ко всему он относится одинаково живо, все действует на него одинаково сильно: он плачет после смерти патриарха и доходит до слез от буйства простого монаха: “до слез стало; видит чудотворец, что во мгле хожу”, – пишет он монаху по поводу его поведения. От своей впечатлительности царь Алексей мог легко вспылить, мог браниться по совершенно пустому делу. Но гнев его так же скоро уходил, как легко приходил. Являлось раскаяние, и, по своей доброте, царь не знал, как мириться с тем, кого обидел. Он без меры ласкал старика Родиона Стрешнева, после того как в запальчивости обидел его не одними только словами. Тестя своего Милославского государь однажды собственноручно “смирил” за неуместное и грубое хвастовство; но как ни сильно на этот раз вспыхнул “гораздо тихий” царь, его дальнейшие отношения к Милославскому не изменились, и ссора прошла бесследно. Даже в такой крупной размолвке, какая была у царя с Никоном, после удаления Никона из Москвы в 1658 году, Алексей Михайлович старается установить с патриархом такие отношения, которые бы не напоминали о ссоре: он забывает свою обиду и засылает к Никону с лаской “спросить о здоровье”: ему просто неприятно иметь врага или казаться чьим-нибудь врагом.

Доброта царя, с другой стороны, вызывала постоянное благотворение: при дворце всегда жили убогие “старики-богомольцы” и “Христа-ради юродивые”; от имени царя раздавалась щедрая милостыня, и по праздникам делались обильные “кормы”; Алексей Михайлович посещал тюрьмы, подавал там милостыню “несчастливым” и нередко освобождал преступников от наказания. Он не мог равнодушно видеть страданий других, всегда утешал и обнадеживал печальных и старался рассеять их горе, чем только мог. В этом отношении замечательно письмо царя к князю Одоевскому по поводу смерти его сына, – письмо, полное самых теплых дружеских утешений, на какие способен только глубоко добрый человек.

Эта доброта Алексея Михайловича постоянной и неизменной чертой добродушия отражалась на лице и на внешнем обращении царя; она сказывалась и в ласковой речи, и в светлой, беззлобной шутке, которую очень любил царь Алексей. Добродушие и мягкая снисходительность часто мешали ему быть последовательным и твердым в отношении к людям: он мог иногда казаться бесхарактерным человеком. Отлично понимая людей, видя все их недо-

статки, он просто по доброте душевной терпел их около себя, как, например, уже упомянутого нами Милославского, много раз скомпрометированную личность. Добродушие царя Алексея помогало ему легко смотреть на резкие выходы известного Ордина-Нащокина, талантливого дипломата и администратора, но тяжелого и обидчивого человека. Властолюбивый Никон пользовался большим влиянием на государя, и добродушный Алексей Михайлович оказывал этому влиянию только пассивное сопротивление. Лишь изредка, в мимолетном порыве гнева, царь сердился на Никона и тогда в глаза называл его “мужиком” и “глупым человеком”. Стать независимо от Никона царю долго мешал недостаток характера, но что царь Алексей был не бесхарактерный человек, это показывает судьба того же Никона. Раз лишив его своей симпатии, Алексей Михайлович уже никогда не поддавался обаянию своего старого авторитета, хотя много раз случай создавал к этому повод.

Такова была природа царя: живая, впечатлительная и мягкая в высшей степени. Любовь к чтению и размышление развила светлые стороны натуры Алексея Михайловича и создала из него чрезвычайно привлекательную личность. Он был один из самых образованных и развитых людей московского общества того времени: следы его разносторонней начитанности, библейской, церковной и светской, разбросаны в его произведениях. Видно, что он вполне овладел тогдашней литературой и усвоил себе до тонкости книжный язык. В серьезных письмах и сочинениях он любит пускаться в ход цветистые книжные обороты и, вместе с тем, он не похож на тогдашних книжников-риторов, для красоты формы жертвовавших ясностью и даже смыслом. У царя Алексея продуман каждый его цветистый афоризм, из каждой книжной фразы смотрит живая и ясная мысль. У него нет пустословия: все, что он прочел, он продумал; он, видимо, привык размышлять, привык высказывать то, что надумал, и говорил притом *только то*, что думал. Поэтому его речь всегда искренна и полна содержанием. Высказывался он чрезвычайно легко, и потому его умственный облик вполне ясен.

Чтение развило в Алексее Михайловиче очень глубокую и сознательную религиозность. Религиозным чувством он был проникнут весь. Он много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы. Его главным духовным интересом было спасение души. С этой точки зрения он судил и других. Всякому виновному царь при выговоре непременно указывал, что он своим проступком губит свою душу и служит сатане. По представлению, общему в то время, средство ко спасению души царь видел в строгом последовании обряду и поэтому строго соблюдал все обряды. Любопытно прочесть записки дьякона

Павла Алеппского, который был в России в 1655 году с патриархом Макарием Антиохийским и описал нам Алексея Михайловича в церкви и среди клира. Из этих записок всего лучше видно, какое значение придавал царь обрядам и как заботливо следил за точным их исполнением. Но обряд и аскетическое воздержание, к которому стремились наши предки, не исчерпывали религиозного сознания Алексея Михайловича. Религия для него была не только обрядом, но и высокой нравственной дисциплиной: будучи глубоко религиозным, царь думал вместе с тем, что не грешит, смотря комедию и лаская немцев. В глазах Алексея Михайловича театральное представление и общение с иностранцами не были грехом и преступлением против религии, но совершенно позволительным новшеством, и приятным, и полезным. Однако, при этом он ревниво оберегал чистоту религии и, без сомнения, был одним из православнейших москвичей; дело только в том, что его ум и начитанность позволяли ему гораздо шире понимать православие, чем понимало его большинство его современников. Его религиозное сознание шло несомненно дальше обряда: он был философ-моралист, и его философское мировоззрение было строго-религиозным. Ко всему окружающему он относился с высоты своей религиозной морали, и эта мораль, исходя из светлой, мягкой и доброй души царя, была не сухим кодексом отвлеченных нравственных правил, суровых и безжизненных, а звучала мягким, прочувствованным, любящим словом, сказывалась полным ясного житейского смысла, теплым отношением к людям. Склонность к размышлению и наблюдению, вместе с добродушием и мягкостью природы выработали в Алексее Михайловиче замечательную для того времени тонкость чувства; поэтому и его мораль высказывалась иногда поразительно хорошо, тепло и симпатично, особенно тогда, когда ему приходилось кого-нибудь утешать. Высокий образец этой трогательной морали представляет упомянутое нами письмо царя к князю Никите Ивановичу Одоевскому о смерти его старшего сына, князя Михаила. В этом письме ясно виден человек чрезвычайно добрый и деликатный, умеющий любить и понимать нравственный мир других, умеющий и говорить, и думать, и чувствовать очень тонко. Та же тонкость понимания и способность нравственно оценить свое положение и обязанности сказывается в царе Алексее и тогда, когда он был душеприказчиком патриарха Иосифа и не решался ничего ни взять, ни купить себе из вещей патриарха. Его очень прельщала серебряная посуда покойного, но он “воздержался” и писал об этом Никону, что он ничего не хочет покупать. “Не хочу для того, се от Бога грех, се от людей зорно: а се какой я буду приказчик – самому мне (вещи)

имать, а деньги мне платить себе же”. Такая нравственная щекотливость – замечательное явление для того века.

Зато не стеснялся царь Алексей Михайлович, если ему случилось кого-нибудь не утешать, а наставлять и бранить. Тогда он в своих посланиях имел обычай очень пространно *доказывать* вину, показывать, против *чего именно и насколько сильно* погрешил виновный. Речь царя в этих случаях была строгой нравственной сентенцией, подчас довольно резкой, но всегда доказательной. В таких посланиях особенно ярко сказывается, как много и основательно царь размышлял. В его уме были настолько ясны все его философско-нравственные воззрения, что всякий частный случай он легко подвдиг под общие нравственные понятия и без труда оценивал его с точки зрения своего мирозерцания. Трудно, конечно, восстановить это мирозерцание. Оно отдельными мыслями, иногда простыми намеками сквозит во всех его произведениях. Возьмем некоторые примеры. Выходя из религиозно-нравственных оснований, Алексей Михайлович имел, например, ясное понятие о значении своей власти в государстве, как власти, исходящей от Бога и назначенной для того, чтобы “разсуждать людей в правду” и “безпомощным помогать”. В одном из писем к Одоевскому царь размышляет, “как жить мне, государю, и вам, боярам”, и пишет: “Богом и государю, и боярам даровано люди... разсудити в правду, всем равно”. И роль боярства при государе, таким образом, царь Алексей объясняет по-своему. Вот и другой пример: во время путешествия Никона за мощами митрополита Филиппа в Соловки в 1652 году Никон принуждал сопровождавших его светских людей держать себя по-монашески. Государь унимал религиозное рвение Никона на том основании, что “нико-го де (он) силою не заставит Богу веровать”.

При постоянном религиозном настроении, при постоянной вдумчивости была в царе Алексее Михайловиче одна черта, придающая ему еще более симпатичности и многое в нем объясняющая: он был замечательный эстетик. Эстетическое чувство сказывалось в его страсти к соколиной охоте, а позже – к сельскому хозяйству. Кроме прямых ощущений охотника, кроме обычного удовольствия охоты соколиная потеха удовлетворяла в Алексее Михайловиче и чувство красоты. В своем Сокольничьем уложении он очень тонко разсуждает о красоте различных охотничьих птиц, о красоте птичьего лета и боя, о внешнем изяществе сокольников. Ясно, что для него занятие охотой составляло высокое эстетическое наслаждение. То же чувство красоты заставляло его увлекаться внешним благолепием церковного служения и строго следить за ним. Внешность всякого рода торжеств и церемоний

всегда занимала царя именно с этой точки зрения. Большой эстетический вкус его сказывался в выборе любимых мест: кто знает положение Саввина-Сторожевского монастыря в Звенигороде, излюбленного царем Алексеем Михайловичем, тот согласится, что это – одно из красивейших мест всей Московской губернии; кто был в селе Коломенском, тот помнит, конечно, прекрасные виды с высокого берега Москвы-реки в Коломенском. Мирная красота этих мест – обычный тип великорусского пейзажа – так соответствует характеру “гораздо тихаго” царя.

Соединение глубокой религиозности и аскетизма с охотничьими наслаждениями и очень светлым взглядом на жизнь не было противоречием в натуре и философии Алексея Михайловича. В нем религия и молитва не исключала удовольствий и потех. Он сознательно позволял себе свои охотничьи и комедийные развлечения, не считал их преступными, не каялся после них. У него и на удовольствия был свой особый взгляд. “И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя”, – пишет он в наставлении сокольникам, – “будите охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою... да не одолеют вас кручины и печали всякия”. Таким образом, в глазах Алексея Михайловича охотничья потеха есть противодействие печали, и этот взгляд на удовольствия не случайно соскользнул с его пера: по его мнению, жизнь не есть печаль, и от печали нужно лечиться, нужно гнать ее – так и Бог велел. Он просит Одоевского не плакать о смерти сына: “Нельзя, что(б) не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно, – да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать”. Но если жизнь – не тяжелое, мрачное испытание, то она и не сплошное наслаждение для царя Алексея: цель жизни – спасение души, и достигается эта цель хорошею благочестивою жизнью; а хорошая жизнь, по мнению царя, должна проходить в строгом порядке; в ней все должно иметь свое место и время; царь говорит своим сокольникам: “правды же и суда и милостивые любве и ратного строя николиже позабывайте: делу время и потехе час”. Таким образом, страстно любимая царем Алексеем забава для него, все-таки, только забава и не должна мешать делу. Он убежден, что во все, что бы ни делал человек, нужно вносить порядок, “чин”. “Хотя и мала вещь, а будет по чину честна, мирна, стройна, блогочинна – никтоже зазрит, никтоже похулит, всякий похвалит, всякий прославит и удивится, что и малой вещи честь и чин и образец положен по мере”. Чин и благоустройство для Алексея Михайловича – залог успеха во всем: “без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепитя; безстройство же теряет дело и возоставляет безделье”, – говорит он. Поэтому царь Алексей Ми-

хайлович очень заботился о порядке во всяком большом и малом деле. Он только тогда бывал счастлив, когда на душе у него было светло и спокойно, все на месте, все по чину. Об этом то внутреннем равновесии и внешнем порядке более всего заботился царь Алексей, мешая дело с потехой и соединяя строгий аскетизм с чистыми и мирными наслаждениями.

Такова была личность Алексея Михайловича, богаче всего одаренная сердцем, беднее – твердой волею. Казалось бы, что его царствование должно было быть мирным и тихим временем для Московского государства, а между тем течение исторической жизни поставило царю Алексею много чрезвычайно трудных и жгучих задач и внутри, и вне государства: вопросы экономической жизни, законодательные и церковные, борьба за Малороссию, бесконечно трудная – все это требовало чрезвычайных усилий правительственной власти и народных сил. Много критических минут пришлось тогда пережить нашим предкам, и все-таки бедная силами и средствами Русь успела выйти победительницей из внешней борьбы, успела справляться и с домашними затруднениями. Правительство Алексея Михайловича стояло на должной высоте во всем том, что ему приходилось делать: являлись способные люди, отыскивались средства, неудачи не отнимали энергии у деятелей; если не удавалось одно средство – для достижения цели искали новых путей. Шла горячая, напряженная деятельность, и за всеми деятелями эпохи, во всех сферах государственной жизни видна нам добродушная и важная личность царя Алексея. Чувствуется, что ни одно дело не проходит мимо него: он знает ход войны; он руководит работой дипломатии; он в думу боярскую несет ряд вопросов и указаний по внутренним делам; он следит за церковной реформой; он в деле патриарха Никона принимает деятельное участие. Он везде, постоянно с полным пониманием дела, постоянно добродушный, искренний и ласковый. Но нигде он не сделает ни одного быстрого движения, ни одного резкого шага вперед. На всякое дело он откликнется с полным его пониманием, не устранился от разрешения тех вопросов, какие ему настойчиво ставит жизнь; но от него совершенно нельзя ждать той страстной энергии, какую отмечена деятельность его гениального сына, той смелой инициативы, какой отличался Петр. Тем не менее, крупный ум царя Алексея был виден не только его современникам, но и современникам эпохи Петра. Недаром в самую пору преобразований Петра Великого князь Яков Долгоруков равнял дела Алексея с делами Петра и говорил Петру: “Государь! В ином отец твой, в ином ты больше хвалы и благодарения достоин”.

Новая повесть о Смутном времени XVII века (1886)

Эпоха смуты в Московском государстве в начале XVII века представляет одну из самых любопытных и важных страниц нашей истории, как по исключительности и сложности исторических явлений, так и по глубокому их влиянию на последующую жизнь государства. Этим объясняется то большое внимание, с каким наши историки относились к этой эпохе: мы имеем несколько общих обзоров Смутного времени (Д.П. Бутурлина, С.М. Соловьева, Н.П. Костомарова) и много монографий, посвященных той или другой частности или, чаще, личности какого-либо деятеля эпохи (вспомним богатую литературу об Авраамии Палицыне). Факты Смуты в их последовательности и связи сводились и объяснялись не раз. Общее значение событий Смуты, ее причины и следствия занимали многих ученых. При существующих разногласиях, однако, окончательная историческая оценка эпохи составляет еще дело будущего: она зависит и от общего состояния наших исторических знаний, и от дальнейших успехов в собирании и разработке сохранившихся данных о самой эпохе. Мы далеко не можем сказать, чтобы так называемые источники для истории Смуты были все известны: много ценного материала скрыто еще в стенах наших древлехранилищ или вовсе утеряно; например, историю великого посольства под Смоленск сам С.М. Соловьев излагает по “Дополнениям к деяниям Петра Великого” Голикова; подлинных документов об этом посольстве наука пока не знает. Из того же, что известно и издано, многое издано не научно (так мы не имеем хорошего издания Нового летописца) и очень многое не исследовано критически¹. Главною задачей будущих исследователей Смуты, по нашему мнению, должно стать именно собирание нового и критика уже известного материала, потому

¹ У нас почти нет исследований об источниках для истории Смуты, если не считать замечаний С.М. Соловьева (*Соловьев. История. Т. 9. Гл. 5*), статьи г. Кондратьева “О так называемой Рукописи патриарха Филарета” (ЖМНП. 1878. Сентябрь) и некоторых мест у А.Н. Попова в его “Обзоре Хронографов”, (М., 1869. Т. 2).

что только точное исследование первых источников Смуты может сделать новые шаги к уяснению как общего смысла эпохи, так и многих частных, еще загадочных и темных. С этой точки зрения каждый новый памятник Смутной эпохи представляется нам безусловно ценным научным приобретением, и в таком убеждении мы решаемся познакомить читателя с одним документом о Смуте, еще неизданным и представляющим собою несколько любопытных для историка черт.

Документ этот находится в библиотеке Московской духовной академии². Он не совсем неизвестен в ученой литературе: им пользовался уже г. Кедров в своем труде об Авраамии Палицыне³. Приводя выдержку из этого памятника, г. Кедров полагает, что это “послание, писанное из Кремля каким-то женатым лицом, вероятно, под Смоленск” в промежутке времени между декабрем 1610 г. и апрелем 1611 г. При описании рукописей Московской духовной академии архим. Леонид, не определяя времени написания этого памятника, но, очевидно, относя его происхождение к самому времени Смуты, кратко замечает о нем, что это “одно из троицких посланий”⁴. Таким образом, об одном и том же произведении мы имеем два разноречивых отзыва, причем, на наш взгляд, оба они одинаково неправильны.

В единственном дошедшем до нас списке произведение это называется “повестью”⁵, хотя не одно повествование о событиях составляет его цель. При внимательном чтении становится вполне ясно, что автор не заботился о полном всестороннем описании событий: он предназначал свое произведение не для потомства, а для современников; его труд имел практическую цель, и рассказ о событиях являлся в глазах писателя только средством доказать свою

² Рукопись № 175, в 4-ю долю, 561 л., XVI и XVII вв., полууставом и скорописью. Описание рукописи см. у архим. Леонида “Сведение о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища Свято-Троицкия Сериевы Лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 г.” (Чтения ОИДР. 1884. Кн. 3. С. 182). Других списков разбираемого произведения, насколько мы знаем, нет.

³ Кедров С. Авраамий Палицын // Чтения ОИДР. 1880. Кн. 4. С. 62.

⁴ Чтения ОИДР. 1884. Кн. 3. С. 196.

⁵ Полное заглавие произведения таково: “Новая повесть о преславном Российском царстве и великом государстве Московском и о страдании новаго страстотерпца святейшаго кир Ермогена патриарха всеа Руси и о посланных наших преосвященнаго (sic) Филарета митрополита Ростовскаго и боярина князя Василия Голицина с товарищи и о крепком стоянии града Смоленска и о новых изменниках и мучителей (sic) и гонителей и разорителей и губителей веры христианские Федки Одроновы с товарищи”. Трудно решить, автору или переписчику принадлежит это заглавие; вероятнее, последнему, потому что автор в самом произведении избегает называть “новых изменников” их собственными именами и, сверх того, он настолько владеет слогом, что не оставил бы слов без должного грамматического согласования.

мысль и добиться исполнения своих желаний. Главная мысль произведения (написанного в самом конце 1610 г. или в самом начале 1611 г.) – необходимость отказаться от подчинения избранному в цари королевичу Владиславу, а главное желание автора – возбудить открытое восстание в Москве против поляков и изгнать польский гарнизон из Москвы. Но так как автор жил в самой Москве и по наружности держал сторону поляков, из боязни за свою жизнь и благополучие семьи в своем произведении он не означил своего имени и бросил свою рукопись на улицах Москвы в надежде, что тот, кто найдет и прочтет ее, постарается распространить в народе. Все эти обстоятельства объясняются как из общего содержания произведения, так особенно из послесловия к нему: “А сему бы есте писму верили без всякаго сумнения”, – пишет автор москвичам, – “аз вам сказываю и пишу. И аз их думы и мысли слышечи, помнячи свою православную веру, и не хочу души своей грешной до конца погубити и в геене ею быти. Грехом своим великим и слабостию и славою мира сего прельстился и к ним, ко врагом, прилепился такоже, якоже и прочая братия наша, для ради суетныя сея славы и тленнаго богатства: все мы, того ищучи, в том и погибли; аще бы того не искали, все бы от Бога не отпали и душами и телом не пали и не пропали. И ныне аз сусмотрих, что последуючи им, врагом креста Христова и всех нас, православных христиан, губителем, и будучи в их во отпадшей от Бога вере и не отстав от них, быти в геене огненной душею и телом. Явно мне не мощно от них о(т)стати и вам про се сказати или бы единому кому от вас втайне рещи: боюся, некли тот человек умом своим поползнется и не утерпит и вам скажет имя мое, и от вас разнесется и до них, врагов и губителей христианских, донесется. Тогда мя взяв, злой смерти предадут. Аз же у них ныне зело пожалован. Сами ведаете, что все мы смерти боимся; а се такоже имею жену и дети, якоже и вы; аще мне самому случится умерети, вестно и на Господа надежда, что не умерети, но ожити за ту правду, ино жена и дети осиротити, меж двор пустити, или будет всего того горши – на позор дати. А вам будет, православнии, в те поры ничего не учинити, понеже ныне врагов воля и сила стала. Для ради того явно вам сам не дръзну сказати, от них отстати. Сего ради писмом вам потрудихся написати; аще Господь помилует всех нас и избавит нас от тех наших видимых врагов и живи будем все, тогда явно вам будет и про нас про грешных. Аще будет вам и молвити что, – и аз вам ныне враг и наветник; ино Господь зрит тайная моя, что с вами же хочу душу свою положить за православную веру и за святыя божия церкви, а ныне, якоже и выше рех, нужда ради не отстану от них. И кто сие писмо возмет и прочтет, и он бы его не таил, давал

бы рассмотряючи и ведаючи своей братии православным христианом прочитати вкратце, которыя за православную веру умрети хотят, чтобы им было ведомо, а не тайно; а не тем, которыя были наша же братия православныя христиане, а ныне всею душою без раскаяния отвратилися от христианства и во враги нам претворилися и с ними со враги соединилися и вкупе с ними вооружилися и хотят нас до конца погубити; тем бы есте отнюдь не сказывали и не давали прочитати”⁶.

Из этого отрывка мы видим, что имеем дело с подметным письмом. Такие письма бывали иногда средством для возбуждения умов в Московском государстве. Котошихин, рассказывая о московском мятеже 1662 г., упоминает о “воровских листах” на И.Д. Милославского, прибывших ночью “по воротам и по стенам”. Сохранился намек и на то, что в 1606 г. Болотников, стоя в Коломенском, поднимал московскую чернь “листами”, разумеется, подметными⁷. Но, насколько известно, до нас не дошло подобных анонимных произведений, писанных с целью обращения в массу. Поэтому послание осторожного патриота, о котором у нас идет речь, составляет любопытную литературную новинку, тем более, что оно очень пространно, написано хорошим языком и содержанием представляет для историка некоторый интерес. Автор его излагал и обсуждал дела, знакомые каждому москвичу; стало быть, в изложении фактов он не мог давать простор своей фантазии; что же касается взглядов автора, то произведение вполне отражает политическое настроение писавшего, с тою страстностью, какая понятна в человеке, увлеченном в самый разгар происходившей вокруг его борьбы. Этим и обуславливается историческая ценность разбираемого памятника.

Прежде чем определим время его написания и сгруппируем те скудные черты, какие заключаются в произведении относительно лица писавшего, обратимся к содержанию письма и ознакомимся с ним подробнее. Оно начинается обращением к москви-

⁶ Рукопись Московской духовной академии. № 175. Л. 387 об. – 388 об. – Для удобства чтения и ввиду того, что в тексте нет темных мест, мы исправляем правописание рукописи, раскрывая титла и расставляя знаки препинания.

⁷ “О России в царствование Алексея Михайловича” Котошихина (3-е изд. СПб., 1884. С. 114). ААЭ. Т. 2. № 57. С. 129. В Записках Отделения русской и славянской археологии имп. Археологического общества (СПб., 1861. Т. 2. С. 682) помещено подметное письмо царю Алексею Михайловичу об административных беспорядках; в Чтениях ОИДР (1860. Кн. 2) находим подметное письмо императору Петру Великому. Говоря здесь о тайных произведениях, рассчитанных на возбуждение умов, мы не касаемся подобных творений раскольничьей литературы XVII и XVIII вв. вроде тетрадок Григорья Талицкого (*Есипов В.В.* Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии. СПб., 1861. Т. 1. С. 4 и след.).

чам⁸ и прямым призывом к оружию против поляков: “Не нерадите о себе”, – пишет автор, – “вооружимся на общих сопостат наших и врагов и постоим вкупе крепостне за православную веру и за святя божия церкви и за свои души и за свое отечество и за достояние, еже нам Господь дал” (л. 369). В пример москвичам автор ставит граждан осажденного Сигизмундом Смоленска, которые храбро противятся “общему нашему сопостату и врагу королю” и своим мужеством прославили себя не только в России, но “и до Рима или будет и дале паки ж ту славу и хвалу пустили, яко же и у нас”. Смольняне, по мнению автора, много вреда нанесли войску Сигизмунда, и если Смоленск отстоится от поляков и прогонит осаждающих, то смольнянам будет принадлежать честь спасения всего государства. Не менее достойный пример являет собою и великое посольство под Смоленск к Сигизмунду от Гермогена, “первенца и главы церковныя всея Руси”, “неложнаго стоятеля крепкаго поборателя по вере христианской”, а затем “от благородных и великих самех земледержцов наших и правителей, ныне же близь рещи и кривителей”⁹, также “и от всех людей всяких чинов”. Посольство, по словам автора, было отправлено “на добрейшее дело”: просить у Сигизмунда его сына на московский престол; хотя неправославный род польского короля и подобен горькому и кривому древу, но “за величество рода” этого московские люди хотели “ветвь от него отвратити”, очистить эту ветвь “водою и духом и посадить на высоком и преславном месте”, иначе говоря, обратить Владислава в православие и возвести его на московский престол, чтобы этим водворить порядок в государстве, выгнать из Москвы и из всего царства врагов-поляков “и впредь тихо и безмятежно жити”. Но автор знает, что король Сигизмунд не сочувствует цели посольства и имеет свои замыслы: он, как все его предшественники¹⁰, желает просто завладеть Московским государством и искоренить в нем истинную

⁸ “Преименитаго великаго государства Московскаго матере градовом Росийскаго царства православным христианом всяких чинов людям” – так называет автор москвичей.

⁹ Автор вообще очень не любит боярства, державшего сторону Сигизмунда, и беспощадно называет его “земледцами”, “изменниками”, “богоотступниками”, “кровопролителями”, “братьями Иуды предателя” и т.п.

¹⁰ Намек на предшествовавших Сигизмунду польских королей мы видим в следующих словах автора: “от давних лет мысля (sic) на наше великое государство все они, окаянники и безбожники, иже и преж того были евоже (то есть, Сигизмунда) братия в той ж(е) их проклятой земле и вере, како бы им великое государство наше похитити и вера христианская искоренити и своя богомерзская учинити; но не у бе им было время, дондеже прииде до того нынешняго нашего сопостата врага короля” (л. 372).

веру; поэтому он обрадовался приходу посольства, думая, что теперь ему легко будет забрать Москву в свои руки. Однако нежелание Москвы и других городов быть под властью поляков и особенно крепкое сопротивление Смоленска мешают королю в его намерении. За короля стоят и ему служат на Руси только те изменники, которые прельстились его милостями: пользуясь властью они “мало не до конца” отдали государство врагам и сулят Сигизмунду успех в его стремлении завладеть Москвой¹¹. Хотя Смоленска король еще не взял, а без этого он не может идти к Москве, однако он уверен в успехе и потому удерживает у себя великое посольство и московских послов “всякою нужею, гладом и жаждою конечно морит и пленом претит”. От этого многие из посольства покорились Сигизмунду и большинство разъехались и разошлись – кто в Москву, а кто “по своим местам”; остались под Смоленском “в мале дружине” только два “вящих самых” посла, то есть митрополит Филарет и князь В. Голицын, и крепко стоят против замыслов короля на основании договора, заключенного с Жолкевским под Москвой. Поведение этих “вящих” послов автор ставит в пример москвичам и затем переходит к деятельности патриарха Гермогена. Он называет Гермогена “столпом”, держащим все государство, исполином, без оружия побеждающим толпы врагов. Гермоген словом Божиим заграждает уста врагам и поучает народ “страха их и прещения не бояться”, стоять за свою веру и за “свои души” так же крепко, как стоят смольняне и послы под Смоленском. Упоминание о Смоленске и послах заставляет

¹¹ Вот как автор говорит об этих изменниках: “И те... его (короля) доброты и наши злодеи, о именех же их несть zde слова, растлилися умы своими и восхотеша прелести мира сего работати и в велицей славе быти, и инии не сыи (sic) человецы, не по своему достоинству саны честны достигнути; и сего ради от Бога отпали и от православныя веры отстали и к нему, сопостату нашему королю, вседушно пристали, и окоянными своими душами пали и пропали, и хотяя ево, злодея нашего, на наше великое государство посадити и ему служити, и по се время мало не до конца Росийское царство ему, врагу, предали; аще бы им мощно, то едином бы часом привлекли его, врага, сюде (то есть, в Москву) и во всем бы с ними (то есть, с поляками) над нами волю свою сотворили” (л. 373–373 об.). В другом месте об этих доброхотах Сигизмунда автор говорит: “И тако те наши благороднии злупали и душами своими пали и пропали навеки, аще от того зла и худа на добро не обратятся. Горши же нам всего учинили, что нас всех выдали, да не токмо выдали, ино заедино с ними со враги вооружилися вкупе и хотят нас всех погубити и веру христианскую искоренити. Аще будет и есть избранныи, сердцем желанныи, по христианстей вере и по всех по нас жалеют и радят от тех же чинов и боярских родов, но не могут ничего учинити и не смеют стати, что не с кем поборати и своего величества отбыти, а им, врагом, ничего не сотворити, понеже силно обовладели и многих маловременным богатством и славою прелестили и иных закормили и везде свои слухи и доброхоты поистоновили (sic) и поизнасадили” (л. 382–382 об.).

автора снова обратиться к пространному изложению роли и заслуг смольнян и посольства перед всей землей. Автор убежден, что только они да патриарх своим мужеством мешают Сигизмунду и русским изменникам завладеть Московским государством: на краю государства смольняне храбро отбиваются от поляков и этим как бы побуждают москвичей, чтобы и они “такое же крепко вооружились и стали противу сопостат своих”, а в столице (“здесь у нас”, как выражается автор) патриарх “всех нас крепит и учит и тому же граду ревновати велит”. Затем автор снова призывает москвичей вооружиться, освободить царство и “не выдать по Бозе спасителей наших”, смольнян и Гермогена. “Сами видите”, говорит он о поляках и изменниках, “что они ныне над нами чинят”: творят насилия, грозят смертью, смеются и ругаются над русскими людьми, оскорбляют святыню русскую¹²; в то же время сами ходят вооруженными, стягивают в Москву подкрепления, а русских воинских людей рассылают из Москвы, боясь восстания и желая окончательно господствовать в столице. Что же касается до того, что поляки поддерживают порядок в Москве, “сами своих людей казнят”, то автор называет это таким же лицемерием, как и постоянные с их стороны уверения в том, будто Сигизмунд хочет действительно дать сына на Московское царство. Все это делается, по словам автора, для того, чтобы москвичей “областити и укротити и великим бы нашем морем не взмутити и им бы самим врагом в нем не потонути” (л. 378). На самом же деле поляки и изменники ждут только того, чтобы пал Смоленск и король явился с войском в Москву; тогда будет русским людям конечная погибель. “Отнюдь ничему тому не бывати, православнии, что сыну zde у нас живати”, – решительно говорит автор: король землю Московскую разорет, воюет Смоленск, насмерть морит послов и в Москве (“у нас zde в великом граде”) чинит притеснения, – “так ли сыну прочит, что все наконец губити?” – восклицает автор и прибавляет, что Сигизмунд “не токмо сыну прочить, но и сам zde жити не хочет”: ему нужно только завладеть Русью и управлять ею из Польши. В доказательство этого автор приводит бурную беседу с патриархом Михаила Салтыкова, которого, однако, прямым именем не называет. Салтыков желал, чтобы патриарх склонился на сторону Сигизмунда и народу повелел целовать крест не

¹² “В вид существа Божия и Пречистыя Его Матере стреляют, якоже ныне свидетельствуют злодейственней руце пригвожденней к стене под образом Матери Божии”, – говорит автор (л. 377). Это – явное указание на дело поляка Блинского, описанное Маскевичем и Буссовым (Сказания современников о Димитрии Самозванце / с предисловием Н. Устрялова. 3-е изд. СПб., 1859. Ч. 2. С. 47–48; Ч. 1. С. 131–132).

Владиславу, а самому королю; когда же патриарх отказался от этого, то Салтыков грубо обругал его, за что Гермоген проклял Салтыкова “со всем его сонмом”¹³. Удалившись со своими единомышленниками от патриарха, Салтыков испугался того, что обнаружил свои замыслы относительно Сигизмунда и, сверх того, оскорбил патриарха, – и вот, боясь народного негодования, он сперва стал отпираться, будто ничего не говорил, а затем начал лицемерно уверять, что с патриархом “без памяти говорил”, и в конце концов выпросил у патриарха прощение. Но он не оставил своих интриг и стал притеснять Гермогена с помощью “бесовской сонмицы” своих единомышленников. Автор затем пространно рассказывает, что, несмотря на все беды, патриарх Гермоген крепко стоит за русское дело, стоит один, потому что некому ему пособить; его духовные сыны – московская иерархия – вместе с московским боярством преданы полякам ради мирских благ, творят их волю, “государское свое приращение пременяли в худое рабское служение и покорилися и поклоняются неведомо кому” (здесь автор понимает, очевидно, Ф. Андронова, хотя “проклятого имени его” еще не сообщает). Всего хуже, по мнению автора, то, что боярство не только само подчинилось полякам, но и всех русских людей им выдало и соединилось со врагами против своих. Те же бояре, которые остались верны Родине, не могут ничего предпринять, потому что сила врагов слишком велика, и если не станет Гермогена, то не будет спасения и всему государству. С грустью автор замечает, что патриарх не имеет поддержки в народе: “А вы, православнии, не помогаете ему, государю, (то есть Гермогену) ни в чем: говорите усты, а в делах ваших государь (должно быть: Господь) весть, что будет. Паки молю вы с великими слезами и сокрушенным сердцем: не нерадите о себе и

¹³ О лице, бранившем патриарха, автор говорит, что по “его злому делу недостойт его во имя *мысленного* или *святого* назвати”, и в то же время отзывается о нем, как о “начальном губителе” (л. 379). Таким “начальным” сторонником короля, называвшимся во имя “мысленного” (архистратига Михаила; есть и святые с этим именем), мы можем считать боярина М.Г. Салтыкова, о столкновении которого с патриархом сохранились к тому же и другие известия (см.: Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1792. Ч. 8. С. 152–153, и СГГД. Ч 2. С. 491). О том, чего желал Салтыков от Гермогена, автор выражается темно: Салтыкову хотелось, чтобы патриарх “сдался” в их сторону и “всего бы мира спасение (то есть, крест) злодейцу отцу (то есть Сигизмунду) усты касатися (то есть, целовать) повелел” (л. 379). Встретив твердый отпор, Салтыков “отверзл свои човекоубиенныя уста и начат, аки безумный пес на аер зря, лаяти и нелепыми словами, аки суший буй камением, на лице святителю метати и великоимянитое святительство безчестити и до рождшия его неискусным и болезненным словом доходити” (л. 379 об.). О том, что Салтыков грозил патриарху ножом, наш автор не упоминает.

о всех нас; мужайтесь и вооружайтесь и совет между собой чините, како бы нам от тех врагов своих избыти!” (л. 383). Автор призывает народ молить Бога о помощи и подниматься на врагов, грозя погибелью в случае дальнейшего бездействия. “Что стали, что оплошали, чего ожидаете?”, – спрашивает он, – “али того ожидаете, чтоб вам сам великий тот столп (то есть патриарх) святыми своими усты изрек и повелел бы вам (на) враги дерзнути и кровопролитие воздвигнути?” Этого, по словам автора, не будет: “сами ведаете, ево то есть дело, что тако ему повелевати на кровь дерзнути? ей, ей, никакоже такова от него, государя, поущения не будет; и сам он, государь, велика разума и смысла и мудра ума; мною: мыслит, чтобы не от него зачалося, а ожидает с часу на час Божия поможения и вашего тщания и дерзновения на них (то есть на врагов). Аще и без его государева словеснаго повеления и ручнаго писания по своей правде дерзнете на них злых и добро сотворите и их, врагов, победите, не будет от него на вас клятва и прещение, паче же велие благословение на вас и на чадах ваших” (л. 383 об.–384). После такого решительного призыва автор снова рисует яркими красками насилия поляков в Москве¹⁴ и считает поведение польского гарнизона вполне достаточною причиной

¹⁴ Здесь автор приводит несколько не лишенных значения фактических черт: “Сами вси видите”, – говорит он, – “какое гонение на православную веру и какое утеснение всем православным христианом от тех губителей наших врагов: всегда многим смертное посечение, а иным зеленое ранение, а иным грабление и женам безчестие и насилование; и купльствуют не по цене, отнимают силно; и паки: не ценою ценят и серебро платят, но с мечем над главою стоят над всяким православным христианином, куплю деющаго (sic), и смертью претят; наш же брат православный христианин, видя свое осиротение и беззаступление и их, врагов, великое одоление, не смеет ин и уст своих отверзти, бояся смерти, туне живота своего ступается и толко слезами обливается” (л. 384–384 об.). Далее автор описывает военные предосторожности польского гарнизона в Москве: “которая страна и стена имеет двои врата в ряд по себе, и одни врата (поляки велели) затворити и замки закрепитьи, а другия буттося отворити, да и те вполы; и множественнаго християньскаго народа не теснопроходными и ускими враты проходити, но и широкими не одними и многими только так было исходити, понеже Божию было благодатию безчисленно християньска народа расплодилось и умножилось; ныне так за грехи всех нас умалилось: высечено и выгнано в плен от тех же врагов и губителей проклятыя их земли и веры; а аще и умалилось, аще и мало зритца, а еще много соберется и, всегда в тех (то есть воротах) теснити, нелепо рещи, аки мышей давити, и шуму и вису и крику быти для того ускаго и нужнаго проеждения и прохождения; и им самем, врагом, вооруженным всяким смертным оружием, обапол тех утесненных врат пешим и на конех готовым стояти и противу самех вый наших и сердце то свое оружие в руках своих держати и всем нам живую и явную смерть казати” (л. 384 об. – 385). Эти заметки автора напоминают немного краткое описание хода дел в Москве, сделанное в Казанской грамоте 1611 г. (СГГД. Ч. 2. № 224; ААЭ. Т. 2. № 170).

для того, чтобы восстать на оскорбителей: “То ли вам не весть, то ли вам не повеление, то ли вам не наказание, то ли вам не писание!”, – восклицает автор по поводу поведения поляков. Мало, по его мнению, сокрушаться сердцем и плакать о том, что отечество под властью врагов: надо “сотворить подвиг и радение”, восстать с молитвою на врагов и этим искупить те великие грехи, за которые Господь посылает такие тяжелые испытания на свой народ и отдает его во власть недостойным людям. Автор понимает здесь известного Ф. Андронова; он раньше еще намекал на него и обещал “объявить его проклятое имя”; теперь он подробно описывает значение и поведение Андронова в Москве, но имени его все-таки не объявляет прямо, а дает понять его язвительными, насмешливыми намеками, настолько ясными, что у читателей не могло остаться никаких сомнений, о ком именно повествует автор¹⁵. О значении Андронова он прямо выражается, что Андронов “что хочет, то творит, а никто ему не возбранит”; бояре ничего ему не могут сделать из боязни или потому, что вместе с ним преданы врагам. Андронову повинуются люди всяких чинов, ухаживают за ним толпою и ждут его милостей и приказаний¹⁶. Он завладел, “аки Ихнилат”, царскими сокровищами и истребляет царскую казну, отправляя драгоценности к Сигизмунду под Смоленск; этим он и его единомышленники хотят подслужиться королю,

¹⁵ “Сами видите, кто той есть, не еси (sic) человек и неведо(мо) кто: ни от царских родов, ни от боярских сынов, ни от иных избранных ратных голов, сказывают, от смердовских рабов. Его же окаянаго и треклятаго по его злomu делу не достоит его во имя Стратилата (то есть Феодора Стратилата), но во имя Пилата назвати, или во имя преподобнаго, но во имя неподобнаго, или во имя страсто-терпца, но во имя земледца, или во имя святителя, но во имя мучителя и гонителя и разорителя и губителя въры христаяньския. И по словущему реклу его тако же не достоит его по имяни святаго назвати, но по нужнаго прохода людцага – Афедронов” (л. 385 об. – 386). И созвучие насмешливого прозвища с действительною фамилиею Андронова, и указание на имя “во имя Стратилата”, и рассказ о поступках Андронова, следующий ниже, вполне ясно показывают, о ком говорит автор.

¹⁶ “А сами наши земледержцы и правители, ныне ж, якоже и преже рех, землесъедцы и кривители, те яко ослепша или онемотеша; паче же реши, не смеют ни един тому врагу воспретити и великому государству ни в чем пособити, и инии молчат и не говорят и ни в чем ему не претят, понеже с ним же со врагом всех нас погубити хотят. И полцы велицы всяких чинов люди за тем врагом хотят (должно быть: ходят) и милости и указу от него смотрят, не токмо простии и неимянитии люди, но и сами боярския и дворянския дети и сами дворяне добородни и изрядни всем, иже иному он враг креста Христова и всех православных християн, и в подножие ног негож” (л. 386). В другом месте, где автор впервые намекает на Андронова (л. 382), он говорит про бояра, что они “смотря(т) из рук и из скверных уст его (то есть Андронова), что им даст и укажет, яко нищии у богатаго проклятаго”.

чтобы обеспечить себе милость его в будущем на тот случай, если он завладеет Москвой¹⁷. Описав беззакония Андропова и еще раз бросив общий взгляд на печальное положение Московского государства, автор снова повторяет призыв к восстанию и оканчивает свое письмо тем послесловием, которое мы привели выше и из которого почерпнули характеристику самого произведения.

Определить время написания нашего памятника с точностью нет возможности, потому что в нем самом не находится никакой хронологической даты. Сопоставление разных частных рассказов приводит только к тому точному заключению, что автор писал свое письмо после отправления великого посольства из Москвы под Смоленск (около половины сентября 1610 г.) и ранее сожжения Москвы (19-го марта 1611 г.¹⁸). В пределах же этого полугодия приурочить появление письма к тому или другому месяцу возможно лишь гадательно, хотя и с некоторою надеждой на вероятность выводов. Нужно заметить, что автор писал уже после того, как поляк Блинский за святотатство был наказан отсечением рук. По рассказу Маскевича можно заключить, что это происходило в октябре 1610 г.; Буссов же относит это событие к январю 1611 г. Во всяком случае, оно было не ранее второй половины октября, уже после отъезда из Москвы Жолкевского, так как дело Блинского разбирает Гонсевский¹⁹. Автор знает, что Федор Андронов распоряжается царскою казною; назначение Ан-

¹⁷ “И еще же враг и лютой злодей наш не в свое достояние вниде, аки Ихнидат, в цареву ризницу вьеса казити и губити то великое царское сокровище, от многих лет многими государи самодержьцы великими князи и цари всеа Русии собрано (в рукописи: собраны) и положено; он же окаянный, аки вышереченный Ихнилат, во едином часе или паки не во мнозе времени, все хочет изьести и расточить и погубить, и ту цареву ризницу хочет пусту до конца оставити, аки пустую и бездельную храмину; а уже и оставил, и ныне те великия сокровища, тяжкоценныя камыки и потрища (sic) и всякия вещи, иже нами неведомы и не знаемы, с своими единомысленики разбивает и вещь к вещи прибирает, к тому же злата и сребра и бисерия велия ковчеги насыпает и к тому прежереченному сопостату нашему врагу королю и похитителю под оный заступный наш град посылает” (л. 386–386 об.). Как известно, Андронов был назначен от короля казначеем вместе с В.П. Головиным, почему и имел возможность распоряжаться царскими сокровищами (*Соловьев. История. 3-е изд. Т. 8. С. 344–345; Карамзин. ИГР. Т. 12. Примеч. 641; Русская летопись по Никонову списку. С. 8. С. 147*).

¹⁸ В “Повествовании о России” Арцыбашева. (М., 1843. Т. 3, кн. 5. Примеч. 1362–1364) собраны данные о времени этих событий.

¹⁹ Сказания современников о Димитрии Самозванце. Т. 2. С. 47–48. Т. 1. С. 132–133. Буссов помещает дело Блинского около 25-го января, но точность этого указания нельзя проверить. Жолкевский уехал из Москвы в середине октября: 30-го октября (старого стиля) он приехал под Смоленск (РИБ. Т. 1. С. 689).

дронova казначеем последовало в конце того же октября²⁰. Автор описывает ссору М. Салтыкова с патриархом; если отождествлять происшествие, им описанное, с известным нам столкновением этих лиц, то следует отнести его к 30-му ноября и 1-му декабря 1610 года²¹. Затем, автор знает, что члены посольства стали разъезжаться из-под Смоленска; раскол в посольстве и отъезд его видных членов – думного дворянина Сукина, дьяка Сыдавного и Авр[аамия] Палицына – произошел в середине декабря 1610 г.²² Стесненное положение посольства, о котором говорит автор, началось очень давно – еще с октября²³. Далее, ни одним словом своего письма автор не упоминает о Тушинском Воре; из этого обстоятельства можно заключить, что Вора уже не существовало в ту минуту, когда писал автор. Он не мог бы совершенно умолчать о Лжедмитрии при том важном значении, какое имел этот последний в отношениях москвичей и поляков: припомним, что смерть самозванца сразу изменила антипатию русских к полякам

²⁰ Соловьев. История. Т. 18. С. 344–345.

²¹ В исторических трудах иногда повествуется о двух подобных столкновениях на основании Нового Летописца (Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8. С. 152) и Казанской грамоты на Вятку (СГГД. Ч. 2. № 224; ААЭ. Т. 2. № 170), писанной не позже 19-го января 1611 г. (ААЭ. Т. 2. С. 291). Арцыбашев, различая два случая столкновения патриарха с Салтыковым, как бы с некоторым сомнением относится к их подробностям (Арцыбашев Н.С. Повествование о России. Т. 3, кн. 5. Примеч. 1406 и 1424). Такое же сомнение проглядывает и у С.М. Соловьева (Соловьев. История. Т. 8. С. 350 и 362). Оба историка согласны помещают первый случай ссоры под 30-м ноября и 1-м декабря 1610 г. (СГГД. Ч. 2. С. 491: “перед Николиным днем в пятницу”; так как в 1610 г. 6-е декабря было в четверг, то пятница приходится на 30-е ноября); относительно же второй ссоры хронологических указаний нет. Для нас имеет значение первая ссора, потому что, если летописец не перемешал событий (Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8), то вторая ссора произошла довольно поздно, когда уже собиралось вокруг Ляпунова ополчение, не ранее января 1611 г. Между тем, наш автор, очевидно, близкий к московской администрации, “пожалованный” поляками, ничего не знает о движении в городах против поляков: иначе он указал бы москвичам на это движение. Раз наш автор описывает первый случай столкновения Салтыкова с Гермогеном, его рассказ подтверждает показание Казанской грамоты, что Салтыков требовал присяги на имя короля, в чем сомневается С.М. Соловьев (Соловьев. История. Т. 8. С. 350).

²² Сукин и Сыдавный были на прощальной аудиенции у короля Сигизмунда 18-го (8-го) декабря (РИБ. Т. 1. С. 708). Отпускная грамота Новоспасскому архимандриту Евфимию и келарю Палицыну дана Сигизмундом 12-го декабря 1610 г. (СГГД. Ч. 2. № 218. С. 485–486. Арцыбашев основательно думает, что эта дата старого стиля: “Повествование о России”. Т. 3, кн. 5. Примеч. 1413).

²³ Уже в октябре послы были вынуждены тайно переписываться с Москвой (Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. 2-е изд. М., 1840. Т. 13. С. 342).

в активное им сопротивление. Нельзя предположить и того, чтоб автор был тайным сторонником Вора и в его пользу старался возмутить Москву: его преданность Гермогену, врагу Вора, и прямое замечание, что “Божиим изволением царский корень у нас изведется” (л. 373), разубеждают в этом. Остается предположить, что о смерти Вора наш автор уже знал и потому только не упоминал о нем; стало быть, он писал позже 11-го декабря 1610 г.²⁴ Наконец, рисуя положение дел в Москве, автор говорит, что Гермогена притесняют и желают погубить (л. 380 об.), что поляки творят в Москве насилия, убивают и грабят многих и держат у всех ворот вооруженную стражу (л. 384–385). Подобные этим факты находим мы в грамотах Казанской и Рязанской, писанных в январе 1611 г.²⁵ Из Казанской грамоты узнаем, что 7-го января в Казани уже знали о натянутых отношениях между московским населением и поляками, о строгих караулах, содержимых поляками в Москве, об уличных убийствах, виновниками которых считали поляков, о панике среди торгового населения Москвы. Рязанская же грамота указывает нам, что 12-го января в Нижний пришло известие о притеснениях, какие терпит патриарх от поляков: двор его разграблен, люди взяты, так что у патриарха “писать некому”. Очевидно, что все эти события в Москве происходили в декабре (быть может, даже в конце его). Таким образом, несколько черт разбираемого произведения дают нам некоторое основание думать, что автор знал то положение дел, какое было в Москве в самом конце 1610 г., т.е. писал не ранее второй половины декабря. С другой стороны, существуют и такие черты, которые не позволяют отнести это произведение ко времени позднее января 1611 г. Автор, например, решительно говорит, что Гермоген не желает, чтобы восстание против поляков началось от него (л. 383 об.); между тем, как раз в самом конце 1610 г. или в первые дни 1611 г. патриарх начал решительно высказываться против поляков и посылать свои грамоты с благословением на восстание против них. Современники – и поляк Маскевич, и русский князь И.М. Катырев-Ростовский – прямо свидетельствуют, что патриарх начал действовать непосредственно после смерти Вора; увещевал народ против поляков “мужески... стояти и братися”, писал во все города грамоты об этом и особенно звал Ляпунова на помощь Москве. Маскевич указывает даже, что в конце декабря поляки перехватили гонца с подлинными патриаршими грамотами²⁶.

²⁴ О времени смерти Вора см.: АИ. Т. 2. № 307.

²⁵ СГГД. Ч. 2. № 224 и 228; ААЭ. Т. 2. № 170 и 176.

²⁶ Изборник. С. 306 (также Рукопись Филарета, патриарха Московского и всея России. М., 1837. С. 42–43); Сказания современников о Димитрии Самозванце. Т. 2. С. 48–49.

По грамотам мы достоверно знаем, что нижегородцы получили от Гермогена словесное благословение на восстание в самом начале 1611 г., если не в конце 1610 г.²⁷; знаем также, что в половине января 1611 г. московскому боярскому правительству было уже известно о восстании Прокопия Ляпунова, а Ляпунов, как можно думать, поднялся с ведома патриарха²⁸. Ни о деятельности Гермогена, ни о народном движении в городах наш автор не говорит ни слова, а между тем, для его цели ему было бы чрезвычайно важно опереться на авторитет Гермогена и на пример Рязани и других городов. Против этого могут возразить, что автор, быть может, просто не считал приличным и практически удобным заявить, что патриарх готов благословить москвичей на восстание. Но тогда, по нашему мнению, остается в силе то замечание, что автор ничего не знал о движении против поляков в городах: никакие, кажется, соображения не могли ему препятствовать в том, чтобы сильнее подействовать на патриотизм читателей указанием на восстание их соотечественников. Это обстоятельство заставляет предполагать, что автор писал свое письмо отнюдь не позднее января 1611 г.; он был близок к тогдашнему московскому правительству, от него “зело пожалован” и потому мог довольно скоро узнать то, что было известно приверженцам Сигизмунда уже в середине января 1611 г.

Если, таким образом, по указаниям текста нашего памятника мы имеем право отнести время его написания к концу декабря или к январю, то, сообразив обстоятельства московской жизни за эти месяцы, в общем течении событий найдем также основания для подобного вывода. Смерть Вора имела громадное влияние на настроение московских людей; много свидетельств сохранилось о том, что тотчас, как Вора не стало, в Московском государстве началось сильное движение против поляков. Первые признаки этого движения относятся, несомненно, еще к 1610 г. Определенные формы это движение получило уже в январе и феврале 1611 г., когда стали собираться в городах дружины и происходили стычки

²⁷ СГГД. Ч. 2. № 228; ААЭ. Т. 2. № 176. С. 301. Есть некоторое вероятие, что стеснения патриарху, о которых здесь говорится, были следствием того, что поляки перехватили грамоты патриарха как это рассказывает Маскевич.

²⁸ Из Москвы извещали гетмана Сапегу об измене Ляпунова и многих городов 14-го января 1611 г. (СГГД. Ч. 2. № 237). О том, что восстание Ляпунова было вызвано деятельностью Гермогена, находим указание у князя И.М. Катырева-Ростовского (Изборник. С. 306), в одной из городских грамот 1611 г. (ААЭ. Т. 2. № 179) и у Жолкевского (Записки гетмана Жолкевского о Московской войне / изд. П.А. Мухановым. 2-е изд. СПб., 1871. С. 115).

между поляками и городскими ополчениями²⁹. Разбираемое нами произведение не знает еще о том, что в городах русские люди ополчаются на поляков³⁰. Нельзя допустить той мысли, чтоб автор хотел умолчать о восстании Русской земли против поляков; это обстоятельство должно было стать одним из самых главных его аргументов. Поэтому надо думать, что писал он раньше, чем народное движение стало явно обозначаться, то есть, или в конце декабря 1610 г., или в начале января 1611 г. Его произведение, кажется нам, было одним из ранних проявлений нового настроения в русских людях; автор был одним из первых выразителей резкого поворота общественного мнения против поляков. Вот почему он так подробно останавливается на объяснении замыслов Сигизмунда, которые, немногим позднее января, стали уже ясны всем московским людям; вот почему он так осторожно говорит о том, что Гермоген сочувствует восстанию; он боится ошибиться, не зная еще, как будет держать себя патриарх: благословит ли он народ на подвиг против врагов, или поставит себя в стороне от этого дела. Все это естественно в произведении, написанном в ту переходную минуту, когда положение дел начинало меняться, но неясно еще было, какой оборот примут события, какого направления держаться, что делать. Таким переходным моментом в Москве были именно конец декабря и начало января. На праздники Рождества и Крещения в Москву стекалось много народу из окрестных мест; весьма возможно, что наш автор думал воспользоваться многолюдством в столице и составил свое письмо именно в это время в видах большего его распространения в народе, тем более, что настроение умов в Москве в те минуты было далеко не спокойно³¹.

Что касается до личности самого автора, то о ней ничего определенного сказать нельзя: автор старался скрыть самого себя, так как играл в опасную игру. Если то, что он говорит о себе в послесловии, не сочинено им в видах предосторожности, чтобы сбить с толку следователей, на тот случай, если бы письмо попало в руки поляков, то автор – человек семейный и, вероятно, не духовное лицо, потому что “зело пожалован” у московского

²⁹ Перечень событий, происходивших в январе и феврале 1611 г., см. у Арцыбашева (*Арцыбашев Н.С. Повествование о России. Т. 3, кн. 5. С. 269–274*).

³⁰ Лишь в одном месте автор замечает, что ни Москва, ни Смоленск, ни другие города не хотят быть за Сигизмундом (“и иных и всех градов наших не желающих за него” – л. 373). Но это нельзя, конечно, считать указанием на восстание городов.

³¹ См. описание святок 1610 г. у Маскевича в “Сказаниях современников о Димитрии Самозванце” (Т. 2. С. 49–50).

правительства, притворялся приверженцем Сигизмунда и вообще принимал участие в политических делах “для ради суетныя сея славы и тленного богатства”. Всего вероятнее, что он принадлежал к служилому слою московского люда, из которого вышло большинство друзей Сигизмунда. Изменниками он называет постоянно московских бояр и дворян, к изменникам причисляет и себя: “славою Мира сего прельстился”, – говорит он о себе, – “и к ним ко врагом прилепился такоже, якоже и прочая братия наша”. Невозможно решить, принадлежал ли автор к старому дворянскому роду, или лично выдвинулся своею службой и практической сметкой, как выдвигались многие в смутную пору. Автор, судя по слогу его письма, довольно начитан (он знает “Стефанита и Ихнилата”), бойко владеет пером, выражается риторически, умеет подобрать рифму и даже весь свой рассказ покушается сделать рифмованным. Вот и все, что можно сказать о личности нашего автора по данным его произведения.

Московские волнения 1648 года (1888)

В одной из рукописей Императорской Публичной библиотеки нам удалось встретить очень любопытный документ, касающийся истории известного московского бунта 1648 года. Оценке этого документа, до сих пор не известного в печати, и посвящены предлагаемые заметки.

До настоящего времени главными источниками сведений о московских волнениях 1648 года служили показания иностранцев. Довольно подробно описал московский бунт Олеарий. Но сам он не был в Москве во время бунта и писал по рассказам других, нам неизвестных лиц, чем и объясняются некоторые неточности и хронологическая путаница в его повествовании¹. Гораздо более точен рассказ о бунте его очевидца, напечатанный на голландском языке в 1648 г. особою брошюрой в Лейдене. Рассказ составлен в форме письма “нарочито знатною и достоверною особою”, как выражается заглавие брошюры². Особа эта, по всей вероятности, принадлежала к голландскому посольству, бывшему в Москве в 1648 году – и легко может быть, что напечатанное повествование представляет собою отрывок из официальных посольских донесений³.

¹ *Олеария Beschreibung*, в издании 1656 года (*Olearius A. Vermehrte Neue Beschreibung der Muscowitischen und Persischen Reise... Schleswig, 1656*), стр. 253–260; в переводе Барсова (Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем посольства адамом Олеарием / пер. с нем. П. Барсов. М., 1870) стр. 270–279. Олеарий в последний раз был в Москве в 1639 году.

² Описание голландской брошюры в “Заметке” о ней г. Феттерлейна (*Fettersley K.* По поводу “Рассказа очевидца о московском бунте 1648 года” // *Вестник Европы*. 1880. Февраль. С. 895–898). Переводы брошюры – у К.Н. Бестужева-Рюмина (Московский бунт 23-го июня 1648 года // *Исторический вестник*. 1880. Январь. С. 69–73).

³ О голландском посольстве – в Дворцовых разрядах (Т. 3. С. 94–95). Автор повествования – “нарочито знатная” особа – вряд ли мог принадлежать к числу торговых и служилых голландских выходцев, оседло живших в Москве. Самый тон рассказа, деловой и сухой, и обещание известить о дальнейших событиях в Москве, “если что еще произойдет здесь”, дают повод думать, что мы имеем дело с дипломатическою депешою.

Что касается до русских известий о бунте, то, несмотря на их многочисленность, они дают историку весьма мало. В официальных документах находим только самые краткие упоминания о московских волнениях. Патриарх Иосиф, особыми грамотами извещающая свою паству о смутах, призывал ее молиться, чтобы Господь “православное христианство от межоусобных брани свободил”; но он считал излишним излагать причины и ход московских волнений в своих грамотах к русским архиереям⁴. В разрядных книгах о “межусобстве” говорится кратко, неточно и с неверною датой⁵. В прочих же до сих пор известных бумагах, касающихся бунта, вовсе нет его описаний⁶. И частные русские известия, уцелевшие в некоторых летописных памятниках XVII века, не рассказывают о бунте подробно. В Псковской первой летописи находится любопытный и точный, но отрывочный и с неправильною хронологическою датою рассказ о народных волнениях “на праздник на Сретение Господне”⁷. В одном из списков Нового Летописца (в так называемой “Летописи о многих мятежах”) обстоятельно перечислены события только первого дня народных волнений, все же остальное передано сбивчиво и в немногих строках⁸. Лучше, хотя и кратко, повествует о бунте другой список того же Летописца, изданный в отрывке князем М.А. Оболенским⁹. Наконец, в напечатанных А.Н. Поповым дополнениях к хронографу поздней редакции находятся очень краткие замечания о бунте; они сделаны, по всем признакам, очевидцем и прекрасно восстанавливают хронологию событий, но очень бедны фактическим содержанием¹⁰. Более других современников бунта словоохотлив известный троцкий келарь Симон Азарьин: в своей “Книге о чудесах преподобнаго Сергия” он описывает бегство из Москвы, поимку и гибель Траханиотова и очень ярко рисует его хищничество и самоуправство. Но рассказ Симона ничего не дает для изображения событий, происходивших в самой Москве в смутные дни 1648 года¹¹.

⁴ ААЭ. Т. 4. № 30.

⁵ Дворцовые разряды. Т. 3. С. 93–94.

⁶ РИБ. Т. 10. С. 412. *Латкин В.* Земские соборы Древней Руси. СПб., 1885. С. 210.

⁷ ПСРЛ. Т. 4. С. 339–340.

⁸ Летопись о многих мятежах и о разорении Московского государства. 2-е изд. М., 1778. С. 357–358.

⁹ Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича / изд. по списку князя Оболенского М., 1853 (и во Временнике ОИДР. Кн. 17). Приложение 1. С. 5–6.

¹⁰ Изборник. С. 247–248.

¹¹ Книга о чудесах преподобнаго Сергия // Памятники древней письменности. СПб., 1888. Вып. LXX. С. 123–125.

Таков материал, находящийся в распоряжении исследователей в настоящее время. И теперь он не кажется достаточно полным, а в старое время, когда не знали и половины обнародованных ныне документов, неполнота материала заставляла писателей спутывать обстоятельства московских бунтов 1648 и 1662 года и излагать их вместе¹². Карамзин первый заметил такие погрешности в предшествовавших ему трудах и первый дал подробное описание народных волнений 1648 года, руководясь Олеарием и Летописью о многих мятежах¹³. В этих источниках день бунта обозначен различно: в Летописи – 2-го июня, у Олеария – 6-го июля. Карамзин не принял этих чисел, основываясь на том показании Олеария, что первая вспышка народного недовольствия произошла во время крестного хода в Сретенский монастырь; “а крестный ход в сей монастырь бывает 23-го числа июня”. К этому-то последнему дню Карамзин с полной уверенностью и отнес начало волнений. Позднее Арцыбашев предпочел ту дату – 25-го мая, какую он нашел в разрядной книге¹⁴; а Берх, считая “вернейшим материалом” официальную грамоту о московском пожаре 3-го июня 1648 года, бывшем во время бунта, полагал первым днем бунта 2-е июня¹⁵. Таким образом возникло в литературе хронологическое противоречие, не вполне разрешенное и до настоящего времени. С.М. Соловьев следует примеру Арцыбашева и рассказывает о бунте под 25-м мая, отвергая известие Олеария о крестном ходе в день бунта¹⁶. К.Н. Бестужев-Рюмин за Карамзиным считает днем бунта 23-е июня, когда совершался обычный в Москве крестный ход в Сретенский монастырь¹⁷. А гг. Латкин и Зерцалов приводят несколько данных за наиболее вероятную дату – день 2-го июня, хотя и не пытаются объяснить недоразумение, возникающее по

¹² См., например: *Хилков (Манкиев А.) Ядро российской истории.* М., 1770. С. 361–362; Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии. СПб., 1799. Ч. 4. С. 8–9; *Голиков И.И. Деяния Петра Великого.* 2-е изд. М., 1842. Т. 13. С. 12–13. Нужно заметить, что и в наше время еще возможны подобные ошибки: в книге г. Латкина “Земские соборы” (С. 211) известие Котошихина о бунте 1662 г. отнесено к бунту 1648 года.

¹³ *Карамзин Н.М. О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича // Карамзин. ИГР. Т. 8. С. 229–253.*

¹⁴ *Арцыбашев Н.С. Повествование о России.* М., 1843. Т. 3, кн. 6. С. 93. Дворцовые разряды. Т. 3. С. 93.

¹⁵ *Берх В.Н. Царствование царя Алексея Михайловича.* СПб., 1831. С. 48–49. Примеч. 35 и 36.

¹⁶ *Соловьев. История.* Т. 10. С. 138.

¹⁷ *Бестужев-Рюмин К.Н. Московский бунт 23-го июня 1648 года // Исторический вестник.* 1880. Январь. С. 69.

поводу того крестного хода, о котором говорит не один Олеарий, но и русский хронограф¹⁸.

Помимо хронологических недоразумений, в источниках о бунте 1648 года оказываются и фактические противоречия. Сопоставление русских текстов с текстом Олеария и анонимную Лейденскую брошюрой не раз ставит читателя в тупик. Большой пожар, происшедший во время смут, Олеарий относит к третьему дню народных волнений, анонимная же брошюра – ко второму дню, и это последнее подтверждается некоторыми другими документами. Казнь Траханиотова, по Олеарию, происходила ранее пожара, в третий день бунта. Анонимная брошюра передает об этой казни без точного указания времени, но после рассказа о пожаре. Согласно с брошюрой и неопределенные показания Симона Азарьина. Хронограф же, не раз упомянутый нами, точно указывает и день – 5-го июня, и даже самый час казни Траханиотова. Эта точная дата противоречит не только Олеарию, но и Летописи о многих мятежах, по точному смыслу которой Траханиотов был казнен до пожара, “во второй день” беспорядков. Не говорим о других разностях в рассказах о бунте: значительная часть их отмечена К.Н. Бестужевым-Рюминым в его примечаниях к переводу голландской брошюры.

Нам кажется, что повествование о бунте, случайно встреченное нами, разъясняет окончательно хронологические недоразумения, показанные выше, и до некоторой степени помогает выйти из противоречий, представляемых прочими источниками. Как уже сказано, это повествование находится в сборнике Императорской Публичной библиотеки Q.XVII.70 (из собрания графа Ф.А. Толстого, отд. II, № 237). Сборник составлен (судя по переплету, в позднейшее время, быть может, для самого графа Толстого) из нескольких больших рукописей, не имеющих одна к другой ни малейшего отношения. Рукописи писаны разными почерками, на разной бумаге и в разное время¹⁹. Последняя по счету рукопись, вошедшая в этот сборник (л. 34–47), есть не что иное, как собрание летописных заметок, вероятно, заключавших собою какой-нибудь обширный летописный труд. Заметки писаны четкою скорописью второй половины XVII века и посвящены описанию московских событий за время от января 1648 до ноября 1653 года. Во всем своем объеме они не представляют большого исторического интереса, приближаясь и литературным стилем,

¹⁸ Латкин В. Земские соборы... С. 210; Изборник. С. 247.

¹⁹ Такой характер сборника избавляет нас от необходимости вдаваться в разбор всех его составных частей. Вкратце содержание сборника изложено Калайдовичем и Строевым в их известном “Обстоятельном описании славяно-русских рукописей графа Ф.А. Толстого” (М., 1825. С. 386–387).

и до некоторой степени подбором событий к тому летописному отрывку, какой был издан князем Оболенским в дополнениях к его Новому летописцу²⁰. Любопытно только начало заметок – о событиях 1648 года. Здесь мы находим хотя довольно сжатый, но обстоятельный и вполне оригинальный рассказ о бунте с такими подробностями, каких нет в других русских повествованиях.

Прежде всего этот рассказ дает полную разгадку хронологических недоразумений. Относя начало бунта ко 2-му июня, автор нашего памятника объясняет, почему именно в этот необычный день состоялся крестный ход в Сретенский монастырь, тогда как в другие годы ход совершался раньше – именно 21-го мая²¹. По словам автора, церковное торжество было отложено, “потому что было мая 21 число... в самый праздник, в Троицын день”. Государь по обычаю был в день Пятидесятницы в Троице-Сергиевом монастыре, “а без себя государь праздновати Владимирской иконе не велел”. В Москву царь Алексей возвратился только 1-го июня, и на другой же день совершен тот крестный ход в Сретенский монастырь, с которым связалось начало волнений. Таким образом, показание Олеария и русского хронографа о крестном ходе в день бунта находит не только подтверждение, но и полное объяснение. Если вспомним, что в официальной выходной книге 7156 (1648) года крестный ход в Сретенский монастырь показан также 2-го июня²², то для нас не останется уже никаких сомнений

²⁰ Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича / изд. по списку кн. Оболенского. Приложение 1. Кроме тех статей о событиях 1648 года, которые будут приведены ниже целиком, в сборнике Q.XVII.70 находим следующие заметки: 1) л. 38 – о смерти царевича Дмитрия Алексеевича (кратко); 2) л. 38 об. – о даровании 25-го декабря 1651 года “его государеву духовнику Благовещенскому протопопу” Стефану Вонифатьеву “властелинской шапки”; 3) л. 38 об. – 40 – о перенесении мощей патриарха Иова (подробнее, чем в Летописце Оболенского. С. 8); 4) л. 40 – о смерти патриарха Иосифа (кратко); 5) л. 40–41 об. – о пяти пожарах в Москве 29-го мая – 6-го июня 1652 г. (подробнее, чем в Летописце Оболенского. С. 8–9); 6) л. 41 об. – 45 – о перенесении мощей митрополита Филиппа (подробнее, чем в Летописце Оболенского. С. 9–10); 7) л. 45–45 об. – об устройении завода, чтобы “лить колокол большой”; “а вылит колокол 162 года ноября в 5 день” (это – самая поздняя дата в рукописи); 8) л. 45 об. – 46 об. – об избрании и поставлении Никона на патриаршество и о поднесении ему митры (короче, чем в Летописце Оболенского. С. 10–12); 9) л. 46 об. – 47 – об объявлении войны Польше (кратко); 10) л. 47 – об отправлении 9-го октября 1653 г. В.В. Бутурлина “к пану Богдану Хмелинънскому с черкасы принять ево и ко кресту привести” и о посылке В.П. Шереметева во Псков “на литовские городы”.

²¹ Об учреждении крестного хода 21-го мая в летописях сохранились обстоятельные известия: ПСРЛ. Т. 6. С. 264; Т. 8. С. 254.

²² Выходы государей царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича всея Руси самодержцев. М., 1844. С. 181–182.

относительно того, что народное движение в Москве началось 2-го июня, – число, которого, несмотря на многие свидетельства, не решились принять С.М. Соловьев и К.Н. Бестужев-Рюмин.

Что касается до фактических показаний нашего памятника, то оценить их легче всего можно путем непосредственного знакомства с изучаемым текстом. Небольшой объем его позволяет привести здесь целиком начало памятника – первые его статьи, касающиеся событий 1648 года. Пробегая эти статьи, читатель увидит как литературные особенности изучаемого летописца, так и богатство его фактических данных в сравнении с прочими русскими повествованиями о бунте, а также и полное соответствие хронологических показаний нашего текста с показаниями упомянутого уже хронографа и других русских источников. Подстрочные примечания к тексту, отмечая параллельные места прочих документов, имеют целью облегчить для читателя сопоставление данных разных источников для истории бунта.

Рассказ о происшествиях 1648 года в нашем документе дословно таков: (л. 34) “156 (1648)-го году генваря в 16 день совокупился государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии с благоверною царицею и великою княгинею Марьею Ильиничною. А радость у него, государя, была в седмом часу дни. А пришел государь царь и с царицею в собор к обедне, а после обедни венчание было. А во дни было часов 8. А взял он, государь, царицу Ильину дочь Данилова сына Милославсково и ему, Илье, пожаловал государь царь на своей царьской радости окольниковство”.

“156 (1648)-го июня в 2 день праздновали Стретению чудотворных иконы Владимирския, (л. 34 об.) потому что было маяя 21 число царя Константина и матери его Елены в самый праздник в Троицын день. А государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии был в те поры у праздника у живоначальные Троицы в Сергиеве монастыре и с царицею, а без себя государь праздновати Владимирской иконе не велел, а от Троицы государь пришел июня в 1 день. И на праздник Стретения чудотворных иконы Владимирские было смятение в мире, били челом всею землею государю на земсково судью на Левонтя Степанова сына Плещеева, что от него в миру стала великая налога и во всяких разбойных и татиных делах по ево, (л. 35) Левонтьеву, наученью от воровских людей напрасные оговоры²³. И государь царь того дни всей земле ево, Левонтя, не выдал”.

²³ Подобное же обвинение против Плещеева встречается у Олеария (*Olearius A. Vermehrte Neue Beschreibung... S. 253; Подробное описание путешествия... С. 268*).

“И того ж дни возмутились миром на ево, Левонтьевых, заступников, на боярина и государева царева дятку на Бориса Иванова сына Морозова, да на окольничево на Петра Тиханова сына Траханиотова, да на думново дьяка на Назарья Иванова сына Чистово и иных многих единомыслеников их, и дома их миром розбили и розграбили. И самово думново дьяка Назарья Чистого у нево в дому до смерти прибили”²⁴.

“И июня в 3 день, видя государь царь такое в миру (л. 35 об.) великое смятение, велел ево, земсково судью Левонтья Плещеева, всей земле выдать головою, и его, Левонтья, миром на Пожаре прибили ослопьем²⁵. И учели миром просити и заступников ево единомыслеников Бориса Морозова и Петра Траханиотова. И государь царь высылал на Лобное место с образом чудотворныя иконы Владимирския патриарха Иосифа Московского и всеа Руси, и с ним митрополит Серапион Сарский и Подонский, и архиепископ Серапион Суждальский²⁶, и архимандриты, и игумены, и весь чин священный. Да с ними ж государь посылал своего царьского сигклиту бояр своих: своего государева дядю боярина Никиту Ивановича Романова, (л. 36) да боярина князя Дмитрея Мамстрюковича Черкасково, да боярина князя Михаила Петровича Пронсково²⁷, и с ними много дворян – чтоб миром утолилися. А заступников Левонтьевых Бориса Морозова и Петра Траханиотова указал де государь с Москвы разослать, где де вам, миряном, годно, и впредь де им, Борису Морозову и Петру Траханиотову, до смерти на Москве не бывать и не владеть и на городех у государевых дел ни в каких приказех не бывать. И на том государь царь к Спасову образу приклады-

²⁴ О грабежах и смерти Чистого под тем же числом 2-го июня говорится в “Летописи о многих мятежах” (С. 358) и в хронографе (Изборник. С. 247). Оlearий (*Olearius A. Vermehrte Neue Beschreibung...* S. 255–256; Подробное описание путешествия... С. 271–273) и Лейденская брошюра (*Бестужев-Рюмин К.Н. Московский бунт 23-го июня 1648 года. С. 69–70*) обстоятельно и довольно согласно описывают убийство Чистого и грабежи.

²⁵ О казни Плещеева 3-го июня говорится в “Летописи о многих мятежах” (С. 358), в хронографе (Изборник. С. 247–248), в Летописце Оболенского (Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича. С. 6) и в Лейденской брошюре (*Бестужев-Рюмин К.Н. Московский бунт 23-го июня 1648 года. С. 71*). Оlearий дает наиболее подробное описание смерти Плещеева (*Olearius A. Vermehrte Neue Beschreibung...* S. 257–268; в переводе стр. 275).

²⁶ Серапион, архимандрит Владимиро-Рождественский, был митрополитом Сарским в 1637–1653 гг. Серапион, игумен Тольгский, был архиепископом Суздальским в 1634–1653 гг. (*Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 1877. Стб. 1035 и 662; 656 и 344*).

²⁷ Об этих боярах см.: ДРВ. 2-е изд. М., 1791. Т. 20. С. 102, 103, 105.

вался, и миром и всю землю положили на ево государьскую волю”²⁸.

“И того ж дни те прежреченные Борис Морозов и Петр (л. 36 об.) Траханиотов научением дьявольским разослали людей своих по всей Москве, велели всю Москву выжечь. И оне, люди их, большую половину Московского государства выжгли: от реки Неглинны Белой город до Чертольские стены каменново Белово города, и Житной ряд и Мучной и Солодяной, и от тово в миру стал всякой хлеб дорог; а позади Белова города от Тверских ворот по Москву реку да до Землянова города²⁹. И многих людей их, зажигальщиков, переимали и к государю царю для их изменничья обличенья приводили, а иных до смерти побивали”³⁰.

“И июня в 4 день миром и всю землю опять за их великую измену и за пожег возмутились (л. 37) и учили их, изменников Бориса Морозова и Петра Траханиотова, у государя царя просить головою³¹. А государь царь тое ночи июня против 4 числа послал Петра Траханиотова в ссылку на Устюг Железной воеводу³².

²⁸ Об этой беседе царских посланных с народом говорят одни иностранцы. Олеарий упоминает одного только Н.И. Романова и рассказывает, что народ через Романова просил у царя выдачи Морозова, Траханиотова и Плещеева; казнь Плещеева и была будто бы следствием этой просьбы народа (*Olearius A. Vermehrte Neue Beschreibung...* S. 257; Подробное описание путешествия... С. 274). Но мы имели уже случай заметить, что Олеарий путал порядок событий. Лейденская брошюра, вообще точнее Олеария передающая факты, рассказывает (*Бестужев-Рюмин К.Н. Московский бунт 23-го июня 1648 года*. С. 71), что сам царь вышел к народу и просил его подождать и не требовать смерти Морозова и Траханиотова в течение двух дней. Показания брошюры о смысле происходивших переговоров довольно сходны с нашим памятником. Но русский писатель, почтительно относясь к особе царя Алексея, не говорит, что государь лично беседовал с народом. Однако слова: “и на том государь царь к Спасову образу прикладывался” и т.д. – заставляют думать, что царь Алексей принимал очень близкое участие в переговорах с толпою, и что голландская брошюра, быть может, права в своем показании.

²⁹ О размерах пожара – в Псковской летописи (ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. С. 340), в “Летописи о многих мятежах” (С. 358), в хронографе (Изборник. С. 248); в Летописце Оболенского (Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича. С. 6), в Дворцовых разрядах (Т. 3. С. 93–94) и у Олеария (*Olearius A. Vermehrte Neue Beschreibung...* S. 268; Подробное описание путешествия... С. 276).

³⁰ Известие нашего текста о поджогах сходится с рассказом Лейденской брошюры (*Бестужев-Рюмин К.Н. Московский бунт 23-го июня 1648 года*. С. 72). Очевидно, оба документа передают действительно существовавшее убеждение народной массы в том, что поджигали Москву “изменники” бояре.

³¹ Наш текст приводит совершенно тот же мотив нового возмущения 4-го июня, как и Лейденская брошюра (Там же. С. 72).

³² Трудно сказать, что следует разуметь здесь: Устюг ли Великий, или Устюжну Железопольскую. Замечание Симона Азарьина, что Траханиотов бежал из Москвы “Ярославскою дорогою”, не решает дела (Книга о чудесах преподобного Сергия. С. 125).

И видя государь царь во всей земле великое смятение, а их изменничью в мир великую досаду, послал от своего царьского лица окольничево своего князь Семена Романовича Пожарсково, а с ним 50 человек московских стрельцов, велел тово Петра Траханиотова на дороге сугнать и привести к себе, государю, к Москве. И окольничей князь Семен Романович Пожарской сугнал ево, Петра, на дороге у Троицы в Сергиеве монастыре и привез ево к Москве связана июня в 5 день³³. И государь царь велел ево, (л. 37 об.) Петра Траханиотова, за ту их измену и за московской пожег перед миром казнить на Пожаре³⁴. А тово Бориса Морозова государь царь у миру упросил, что ево сослать с Москвы в Кирилов монастырь на Белоозеро, а за то ево не казнить, что он государя царя дятка, вскормил ево, государя. А впредь ему, Борису, на Москве не бывать и всем роду ево Морозовым нигде в приказах у государевых дел, ни на воеводствах не бывать и владеть ничем не велел. На том миром и всею землею государю царю челом ударили и в том во всем договорились³⁵. А стрельцов и всяких служивых людей государь царь пожаловал, велел им свое государево жалованье давать денежное и хлебное вдвое. А которые погорели, и тем государь жаловал на дворовое строенье (л. 38) по своему государеву рассмотренью. А дятку своею Бориса Морозова июня в 12 день сослал в Кирилов монастырь под начал³⁶.

³³ О поимке Траханиотова кроме Симона Азарьина говорит Олеарий (*Olearius A. Vermehrte Neue Beschreibung...* S. 258; Подробное описание путешествия... С. 275). Дата 5-го июня вполне сходится с показанием хронографа (Изборник. С. 248).

³⁴ Наш текст указывает, что Траханиотова казнили “на Пожаре”; то же находим в Псковской летописи (ПСРЛ. Т. 4. С. 340), в Летописи о многих мятежах (С. 358) и в Летописце Оболенского (Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича. С. 6). Симон Азарьин говорит иначе: “на Земском дворе от черных людей убиен бысть” (Книга о чудесах преподобнаго Сергия. С. 125).

³⁵ По прямому смыслу этого места выходит, что царь говорил с народом о Морозове лично и в тот же день, 4-го июня, когда решился выдать Траханиотова. Так представляет дело и Лейденская брошюра (*Бестужев-Рюмин К.Н. Московский бунт 23-го июня 1648 года. С. 72*). Олеарий же рассказывает, что государь лично вступился за Морозова уже тогда, когда мятеж совсем утих (*Olearius A. Vermehrte Neue Beschreibung...* S. 259–260; Подробное описание путешествия... С. 277–279).

³⁶ Это известие с тою же датой читаем в Лейденской брошюре (*Бестужев-Рюмин К.Н. Московский бунт 23-го июня 1648 года. С. 73*: “12-го июня часа за два до разсвета”) и в Летописце Оболенского (Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича. С. 6: “июня же в 12 день, за час до дни”). В брошюре сказано, что высылка Морозова последовала по причине нового волнения народа. На то же могут намекать и слова Оболенского, что Морозова сослали “по их же черных людей челобитью”.

“157 (1648)-го октября против 22 числа в ночи родился государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Руси сын благоверный царевич Дмитрий Алексеевич, на самый праздник Явления чудотворныя иконы Казанские. И для тое радости государь пожаловал дятку своею Бориса Морозова опять к Москве”.

Таковы заметки нашего текста о московских волнениях 1648 года. Значение этих заметок прежде всего в том, что с помощью их мы можем лучше оценить пространные рассказы современников бунта иностранцев: теперь легко определить ошибки Олеария и степень точности сведений, переданных неизвестным голландцем на его родину. Новый русский текст вместе с известными ранее краткими записями русских людей дает для истории бунта материал, без сомнения, более прочный, чем показания чуждых русской жизни иноземцев, как бы правдивы ни были в данном случае их рассказы. И поддаваясь теперь критической проверке на основании русских данных, эти иноземные рассказы сами приобретают большую определенность и ценность в глазах исследователя. С другой стороны, помимо своей фактической полноты, новый текст любопытен еще и тем, что сохранил нам очень яркое отражение взглядов и чувств москвича-современника бунта, не умевшего справиться со своими впечатлениями. Автор заметок о бунте стоит совершенно на точке зрения бунтовщиков. Тогда как другие русские писатели зовут их “мятежниками”, “черными людьми”, иногда “земскими людьми”, он называет их “миром” и “всею землею”. Эти названия, слишком почетные для московской толпы, указывают, что автор заметок считал поведение и притязания москвичей делом вполне правым и законным. Бояре, пострадавшие в бунте, в глазах автора – “изменники”, а некоторые даже и поджигатели. Он без всякого сожаления говорит о гибели их, как о достойной каре за “их изменничью в мир великую досаду”. Он еще настолько подавлен впечатлениями от происшедшего, что не считает нужным скрывать уступок, сделанных толпе молодым и мягким царем Алексеем: другие русские летописатели ни слова не говорят о том, что государь “к Спасову образу прикладывался”, и что он Морозова “у миру упросил”. Все эти черты разбираемого рассказа, обнаруживая одностороннее отношение автора к событиям, вместе с тем свидетельствуют, что автор вполне искренно, без предвзятых соображений и внешних стеснений передавал свои воспоминания о бунте. Это усиливает интерес памятника и служит в то же время речательством, что мы имеем дело с очевидцем, записавшим факты вскоре после того, как они произошли – вероятно, даже раньше, чем совершилось возвращение Морозова в Москву. Об этом возвращении в памятнике повествуется уже совершенно иным, спокойным тоном.

О начале Москвы¹ (1890)

Члены последнего Археологического съезда в Москве с удовольствием, конечно, выслушали доклад маститого историка И. Е. Забелина “О первоначальном поселении в Москве”. Отыскивая кругом Москвы места, где скорее всего мог бы завязаться узел народно-хозяйственной деятельности, г. Забелин очень метко предположил, что таких мест следует искать на речных путях, шедших чрез Москву или вблизи от нее. Еще покойный Н.П. Барсов, говоря о реке Москве, заметил, что “в область Клязьмы шли от нее (Москвы-реки) пути, вероятно, по р. Сходне ... и по Яузе”². От той же самой мысли отправился в своих изысканиях и г. Забелин. Исследуя с археологической стороны берега Сходни, он нашел на них следы поселений, указывающих на существование здесь “волока” между Сходней и Клязьмой. Существование на Яузе поселков с именем “Мытищ” (от пошрины “мыта”) и некоторые другие соображения привели исследователя к заключению, что подобный волок был и на Яузе. Устье Сходни и Яузы поэтому сочтены были г. Забелиным за искомые им места первоначальных поселений в окрестностях нынешней Москвы. Население осело здесь благодаря волокам, служившим для торгового движения. Естественно, что тот княжеский двор, в котором встретились в 1147 году князья Юрий и Святослав, скоро – именно в 1156 году – превратился в укрепленный город: отсюда князь с удобством мог наложить свою руку на торговые пути и извлекать из них свои выгоды.

Боимся, что в частностях мы неточно передали мысли И.Е. Забелина (мы воспроизводим их по личным воспоминаниям); но думаем, что правильно поняли ту его мысль, которая вызвала эту заметку. Г[осподин] Забелин склонен предполагать, что исторический город Москва возник благодаря условиям экономического

¹ Заметка по поводу доклада И.Е. Забелина на 8-м Археологическом съезде в Москве.

² Барсов Н.П. Очерки русской исторической географии: География начальной (Несторовой) летописи. Варшава, 1885. С. 30.

характера. Создали его торговое движение по речным путям и желание князя наблюдать за ним.

Трудно спорить против этого вывода, раз он построен на данных археологии и исторической географии. И того и другого рода данные больше, чем всякий иной материал, дают исследователю-историку лишь то, что умеет взять его личная проницательность. Но кроме них есть о первоначальной Москве и ряд летописных известий, из которых г. Забелин в своем докладе воспользовался лишь двумя. Если оставаться в сфере одних этих летописных сообщений и в них искать ответа на вопрос о начале Москвы-города, то можно придти к определенному впечатлению (не скажем – выводу), и оно не будет согласоваться с выводами г. Забелина.

Прежде всего, остановимся на известиях летописей о Москве под 1147 и 1156 гг. Они общеизвестны. Первое из них, описывая свидание и обед князей в Москве, не называет при этом Москву *городом*³. Поэтому с полным правом г. Забелин в разборе этого известия понимает под словом “Москов” – княжескую вотчину, двор, а не город. Для пояснения того, что представляла тогда Москва как княжеский двор, г. Забелин в докладе съезду приводил известное описание “Игоря Васильца” и “двора Святославля”⁴. Можно догадаться, что заставило г. Забелина высказаться именно так. Он верит буквальному смыслу известия так называемой Тверской летописи о построении Москвы-города в 1156 году⁵. Известие это таково: “Того же лета (6664) князь великий Юрий Володимерич заложи град Москву на устне же Неглинны выше реки Аузы”⁶. Прямой смысл этих слов действительно говорит, что город Москва был основан на девять лет позже княжеского “обеда” в Москве-вотчине. Но этому не все верят: г. Иловайский, например, думает, что “последнее известие может быть истолковано в смысле расширения или обновления городских стен”⁷. Мы же думаем, что истолковать и объяснить последнее известие очень трудно. Во-первых, оно дошло до нас в позднем (XVI века) летописном сборнике, автор которого имел обычай изменять литературную форму своих более старых источников. Нельзя поэтому быть уверенным в том, что в данном случае составитель

³ ПСРЛ. Т. 2. С. 29 (мы предпочитаем старое издание Ипатьевской летописи новому).

⁴ ПСРЛ. Т. 2. С. 26–27. Намек на то, что в 1147 году Москва не была еще городом, находится и в статье г. Забелина “История и древности Москвы” (*Забелин И.Е.* Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1873. Ч. 2. С. 129, 135).

⁵ Там же. С. 128, 135.

⁶ ПСРЛ. Т. 15. С. 225.

⁷ *Иловайский Д.И.* История России. М., 1884. Т. 2. С. 531.

сборника не изменил первоначальной формы разбираемого известия: его редакция отличается большою обстоятельностью и точностью топографических указаний, что намекает на ее позднее происхождение (это уже высказал г. Забелину на заседании съезду П.Н. Милюков). Таким образом, уже общие свойства источника заставляют заподозрить доброкачественность его сообщения. Во-вторых, автор Тверской летописи, заявив об основании Москвы в 1156 году, сам повествует “о Москве” ранее: он сокращает известие Ипатьевской летописи о свидании князей в Москве в 1147 году и ничем не оговаривает возникающего противоречия, не объясняет, что следует разуметь под Москвой 1147 года⁸. Это прямо приводит к мысли, что автор в данном случае или плохо сам понимал свой разноречивый материал, или же в известии о построении города Москвы хотел сказать не совсем то, что можно прочесть у него по первому впечатлению. И в том, и в другом случае обязательна особенная осторожность при пользовании данным известием. В-третьих, наконец, сопоставление известия с текстами других летописей убеждает, что автор Тверского сборника заставил князя Юрия “заложить град Москву” в то время, когда этот князь окончательно перешел на юг и когда вся семья его уже переехала из Суздаля в Киев через Смоленск⁹. По всем этим соображениям невозможно, нам кажется, ни принять известия на веру целиком, ни внести в него какие-либо поправки.

Так, из двух наиболее ранних известий о Москве одно настолько неопределенно, что само по себе не доказывает существования *города* Москвы в 1147 году, а другое, хотя и очень определенно, но не может быть принято за доказательство того, что *город* Москва был основан в 1156 году. Поэтому трудно разделять тот взгляд, что время возникновения Москвы-города нам точно известно. Правильнее в этом деле опираться на иные свидетельства, с помощью которых можно достоверно указать существование Москвы только в семидесятых годах XII века¹⁰. При описании событий, последовавших в Суздальской Руси за смертью Андрея Боголюбского, летописи впервые говорят о Москве как городе и о “Москвлянах” как ее жителях. Ипатьевская летопись под 1176 (6684) г. рассказывает, что больной князь Михалко, направляясь с

⁸ ПСРЛ. Т. 15. С. 208.

⁹ ПСРЛ. Т. 2. С. 78–81. Т. 1. С. 148–149.

¹⁰ Мы не считаем возможным опираться на известия о существовании Москвы в первой половине XII века, подобные известиям Густынской летописи (ПСРЛ. Т. 2. С. 298–299) и Пролога (под 12-е февраля в Слове о Алексии митрополите). В этих известиях, как уже не раз замечено, под Москвою разумеется вся северо-восточная Русь.

юга в Суздальскую Русь, был принесен на носилках “до Куцкова (в других списках: до Кучкова), рекше до Москвы”. Там он узнал о приближении своего врага Ярополка и поспешил во Владимир “из Моськве” в сопровождении москвичей. “Моськвяне же, – продолжает летописец, – слышавше, оже идет на не Ярополк, и възвратишася възпать, блюдуче домов своих”.¹¹ В следующем 1177 (6685) г. летопись прямо называет Москву городом в рассказе о нападении Глеба Рязанского на князя Всеволода: “Глеб же на ту осень приеха на Московь (в других списках: Москву) и поже город весь и села (в других списках: поже Москву всю и город)”¹². Эти известия, не оставляя уже никаких сомнений в существовании города Москвы, в то же время дают один любопытный намек. В них еще не установлено однообразное наименование города: город называется то “Московь”, то “Кучково”, то “Москва”; не доказывает ли это, что летописцы имели дело с новым пунктом поселения, к имени которого их ухо еще не привыкло? Имея это в виду возможно и не связывать возникновение Москвы непременно с именем князя Юрия. Легенды о начале Москвы, собранные Карамзиным, не уничтожают такой возможности. По нашему мнению, их нельзя эксплуатировать как исторический материал для изучения событий XII века¹³.

Так, оставаясь в пределах летописных данных, мы приходим к мысли о том, что факт основания Москвы-города в первой половине или даже в середине XII века не может считаться прочно установленным. С другой стороны, и торговое значение Москвы в первую пору ее существования не выясняется текстом летописей. Если вдуматься в известия летописей о Москве до половины XIII века (даже и позже), то ясна становится не торговая, а погранично-военная роль Москвы, если только можно так выразиться. Нет сомнения, что Москва была самым южным укрепленным пунктом Суздальско-Владимирского княжества. С юга, из Черниговского княжества, дорога во Владимир шла через Москву, и именно Москва была первым городом, который встречали приходцы в Суздальской Руси. Когда по смерти Боголюбского князя Михалко Юрьевич и Ярополк Ростиславич пошли на север из

¹¹ ПСРЛ. Т. 2. С. 118. В Лаврентьевской летописи (по изданию 1872 года, с. 356) короче. И годом раньше летописи упоминают город Москву, но не поясняя, что это за пункт (ПСРЛ. Т. 2. С. 116; Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. С. 353).

¹² Там же. С. 363.

¹³ Попытка, сделанная в этом направлении И.Д. Беляевым, не может считаться удачной (Беляев И.Д. Сказания о начале Москвы // Русский вестник. 1868. № 3).

Чернигова, именно в Москве, на границах княжения Андрея Боголюбского, встретили их ростовцы. Они звали Ярополка дальше, а Михалко, которого не желали пускать внутрь княжества, они указали: “пожди мало на Москве”. Ярополк отправился “к дружине Переяславлю”, а Михалко, не слушая ростовцев, поехал во Владимир¹⁴. Москва здесь рисуется как перекресток, от которого можно было держать путь и в Ростов, на север, и во Владимир, на северо-восток. Внутренние пути Суздальской Руси сходились в Москве в один путь, шедший на юг, в Черниговскую землю. Через год Михалко, выбитый из Владимира, опять идет из Чернигова на север по зову владимирцев. Навстречу ему выходят и владимирцы, его друзья, и племянник Ярополк – его враг. Первые хотят его встретить и охранить, второй – желает не допустить его в занятую Ростиславичами землю. При разных целях враги спешат в один и тот же пункт – в Москву. Очевидно, в данном случае встречать Михалка всего удобнее было на границе княжества, с какой бы целью его не встречали¹⁵. Когда, наконец, Михалко и брат его Всеволод укрепились прочно во Владимире, князь Черниговский Святослав Всеволодович отправил к ним их жен, “приставя к ним сына своего Олга проводить е до Москве”. Проводив княгинь, Олег вернулся “во свою волость в Лопасну”¹⁶. Здесь опять не требует доказательств пограничное положение Москвы: княгинь проводили по первого пункта владения их мужей. Все приведенные указания относятся к 1175–1176 гг. Не менее любопытен и позднейший факт. Князь Всеволод Юрьевич, затеяв в 1207 (6715) г. поход на юг, на Ольговичей (“хочю поити к Чернигову”, – говорит он), послал в Новгород, требуя, чтобы сын его Константин с войсками пришел оттуда на соединение с ним. Константин послушался и “дождася отца на Москве”. “На Москву” пришел и сам Всеволод и, соединясь там со своими сыновьями, “поиде с Москвы... и придоша до Оки”, которая была тогда вне пределов Суздальского княжества¹⁷. В этом случае Москва ясно представляется последним, самым южным городом во владениях Всеволода, откуда князь прямо вступает в чужую землю, во владения черниговских князей. Пограничное положение Москвы естественно должно было обратить ее на этот раз в сборное место дружин Всеволода, в операционный базис предпринятого похода.

Но не только по отношению к Черниговской земле Москва играла роль пограничного города: с тем же самым значением

¹⁴ Летопись по Лаврентьевскому списку. С. 353–354.

¹⁵ Там же. С. 356; ПСРЛ. Т. 2. С. 118.

¹⁶ ПСРЛ. Т. 2. С. 118.

¹⁷ Летопись по Лаврентьевскому списку. С. 408–409.

являлась она иногда и в отношениях Суздальской и Рязанской земель. В 1177 (6685) г. князь Рязанский Глеб, нападавая на владения Всеволода, обратился именно на Москву, как это указано выше. То же повторилось и в 1208 (6716) году: рязанские князья “начаста воевати волость Всеволожоу великаго князя около Москвы”¹⁸. Москва по отношению к Рязани представляется нам первым доступным для рязанцев пунктом Суздальской земли, к которому у них был удобный путь по Москве-реке (Этим путем так или иначе воспользовались и татары Батые, пришедшие из Рязанской земли, от Коломны, прежде всего к Москве).

Итак, следя по летописям за первыми судьбами Москвы, мы прежде всего встречаем ее имя в рассказах о военных событиях эпохи. Москва – пункт, в котором встречаются друзья и отражают врагов, идущих с юга. Москва – пункт, на который прежде всего нападают враги суздальско-владимирских князей. Москва, наконец, – исходный пункт военных операций суздальско-владимирского князя, сборное место его войск в военных действиях против юга. К Москве поэтому смело можно применить указание, сделанное Н.П. Барсовым относительно Владимира на Клязьме. По словам Барсова, он был построен “едва ли не в видах ограждения Суздальско-Ростовской земли со стороны Черниговского порубежья”. Эта же самая цель обороны с юга преследовалась, вероятно, и построением города Москвы. По крайней мере, об этом скорее всего позволяет говорить письменный материал.

¹⁸ Там же. С. 413.

К истории русского города XVI века¹ (1890)

В мартовской книжке Журнала Министерства народного просвещения за 1890 год о труде г. Чечулина уже был дан отчет П.Ф. Симсоном. Г[осподин] Симсон с большою обстоятельностью остановился на многих книгах г. Чечулина, отметил некоторые методологические несовершенства исследования и указал на то, что автор не всегда был внимателен к литературе изучаемого им вопроса. За всем тем остается возможность, не повторяя сказанного г. Симсоном, дать общую характеристику любопытной книги г. Чечулина и на основании этой характеристики указать на происхождение и достоинств, и недостатков его труда.

Первое же знакомство с книгою г. Чечулина обнаруживает тот путь, каким шло в данном случае ученое исследование. Автор, желая изучить положение городов Московского государства “главным образом, как крупных бытовых единиц, как культурных центров” (С. 9), – убедился, что в основу такого изучения следует положить так называемые “писцовые книги” в широком смысле этого термина. Писцовых книг о городах XVI века почти не сохранилось и, наоборот, писцовых книг о городах XVI и XVII веков дошло до нас так много, что обработка их силами одного человека требовала десятка, если не десятков лет. С полным основанием соображая, что Смута на рубеже XVI и XVII веков много изменила в экономической жизни всего государства и городов в частности, г. Чечулин счел возможным ограничить взятый для изучения материал одним XVI веком. Он собрал дошедшие до нас описания сорока приблизительно городов XVI в. и извлек из этих описаний все то, что могло служить материалом для восстановления культурно-хозяйственного быта великорусского города в XVI в. В дополнение к богатым сведениям основного источника г. Чечулин выбрал все необходимые для него данные из печатных материалов иного рода, из актов и грамот XVI в. В руках у автора оказался таким образом большой запас сведений о тех населенных пунктах, которые назывались “городами”

¹ Чечулин Н.Д. Города Московского государства в XVI веке. СПб., 1889.

в XVI веке, и автор полагал, что “возможно изучать во всей подробности положение всех тех поселений, которые *тогда* носили название городов, и *только их*” (С. 9). Иная постановка изучения, какая была принята покойным Ильинским², казалась г. Чечулину не совсем правильною. Ильинский вводил в круг своего исследования не только то, что носило имя “города”, но и все поселки “с городским характером экономической деятельности”, как бы они ни назывались. Г. Чечулин уверен, будто прием Ильинского “предрешает” то положение, что “по своим занятиям жители городов и тогда отличались от жителей сел и деревень”. Сам же г. Чечулин думает, что это положение следует еще доказать: “Мы, – говорит он, – еще будем изучать во всей подробности, пожалуй, во всех мелочах, состав, занятия, повинности и другие экономические отношения городских жителей, чтобы уже после этого сказать, какое же было преобладающее занятие жителей города, и различались или нет между собой город и деревня, и если различались, то какие особенности города и в каких местностях России какие присущи были городам особые черты” (С. 9). Сообразно с таким пониманием задачи автор и расположил материал в своей книге. Посвящая вступительную главу книги общей характеристике своего материала и своих приемов исследования, г. Чечулин прямо заявляет читателю: “Наше исследование есть, главным образом, группировка и разбор данных, представляемых писцовыми книгами: в зависимости от этого некоторые вопросы... будут нами разобраны весьма подробно, другие... менее подробно” (С. 12). Историческим материалом иного рода г. Чечулину “приходилось вообще пользоваться гораздо менее”. И историю изучаемых городов в XVI в. г. Чечулин считал лишним излагать в своей книге, потому что, как он выражается, “невозможно представить очерк городов в предшествовавшее время, который бы разъяснил нам приблизительно те же вопросы и отношения, исследованием которых в XVI в. мы занимались” (С. 12). Но и исследование “вопросов и отношений” XVI века автор намерен был вести не всегда полно. На с. 11 он указывает ряд тем, которых он касался лишь постольку, поскольку они имели отношение к истории собственно города: так, например, положение в городе нетяглых общественных классов автором оставлено без полного освещения; в стороне оставлен и вовсе не разъяснен вопрос о внегородском землевладении тяглых горожан, – все это, конечно, потому, что основной материал автора не давал возможности

² *Ильинский А.* Городское население Новгородской области в XVI веке // ЖМНП. 1876. Июнь. С. 210–214.

осветить эти темы. Таким образом, знакомство со введением к книге показывает читателю, что он может ожидать от исследования г. Чечулина только систематизации данных писцовых книг о городах, иначе говоря, работы в круге только одного сорта материала. Такая работа и проводится автором по городам. В I-й главе он дает очерк Новгородских пригородов; во II-й главе описывает города Торопец и Устюжну; в III-й – псковские пригороды; в IV-й он собирает данные о торге во Пскове (других данных об этом городе у автора нет). В V-й главе автор ведет читателя в центральные области Московского государства и знакомит его с положением городов Коломны, Можайска, Серпухова и Мурома; в VI-й главе, наконец, автором описаны города восточной и южной окраины: Казань, Свияжск, Лаишев, затем Тула и еще семь городов по южной границе. Книга заключается главою общего характера: автор предлагает в ней “общий очерк положения городов Московского государства в XVI в.” и сводит в одно целое все свои выводы, разбросанные в предшествующих главах. Здесь же он пытается ответить и на тот вопрос о различии города и деревни в XVI в., который он, вопреки мнению Ильинского, считал недоступным для разрешения а priori (С. 309–312). Между городом и селом он проводит различие и “социально-экономическое”, и “юридическое”. По его мнению, это различие настолько заметно и резко, что “дает нам полное право рассматривать положение городов отдельно от изучения положения сел и деревень”.

Итак, автор желал изучить быт тех населенных пунктов Московского государства, которые назывались в XVI в. “городами”. Изучение свое г. Чечулин основал почти исключительно на таком материале, который давал сведения преимущественно о культурно-хозяйственной жизни городского населения. Не имея, кроме показания писцовых книг, никаких иных систематических данных по своему предмету, наш исследователь подчинился, так сказать, своему материалу и изображал городскую жизнь лишь в тех ее сторонах, которые были освещены писцовыми книгами, и лишь с такою полнотой, какую допускал этот основной источник. Писцовые книги давали ряд известий для истории хозяйства и податной организации городских общин, – автор именно об этих сторонах городского быта говорил более всего. В показаниях писцовых книг попадались фактические пробелы, – и г. Чечулин допускал соответственные пробелы в своем исследовании. Словом, частные задачи исследования определились сообразно с основным материалом и объем исследования ставился в зависимость от полноты того или другого документа. Такая зависимость работы от материала дает нам право сказать, что книга г. Чечулина

представляет собою не столько исследование о городах XVI в. вообще, сколько предварительную разработку данных писцовых книг XVI в. о городах Московского государства.

Если определять труд г. Чечулина таким образом, то ясны станут его положительные стороны. Автор впервые ввел в оборот науки богатый фактический материал, выработал самостоятельно приемы ученой эксплуатации этого материала, собрал и систематизировал ряд любопытных ценных историко-статистических данных и частью разрешил, частью поставил в новой обстановке некоторые вопросы из истории городского хозяйства и права. Так, он удовлетворительно объяснил различие тягла и оброка (С. 120–122 и др.); привел ценные соображения о том, что податное различие дворов “лучших” и “молодших” основано было не на хозяйственном достатке посадских семей, а на числе рабочих рук в той или другой семье (С. 46, 242–243, 283–284, 319). Далее, автор собрал любопытные сведения по вопросу о запустении Московских городов во второй половине XVI века (С. 166, 175, 345) и по вопросу об общественном положении “дворников на осадных дворах” (С. 162, 270 и след., 333, 349). Наконец, автор вновь возбудил и даже попытался решить вопрос, давно уже спорный, о переделах земельных участков в древнерусских податных общинах, сидевших на черной земле (С. 74, 116, 221–222, 232). Все эти частности исследования г. Чечулина дают ему значение самостоятельного ученого труда, произведенного далеко не без пользы для русской историографии. Трудом этим, можно сказать, начата у нас систематическая разработка той категории источников, которая давно должна была бы лежать в основании трудов по истории нашего общественного быта вообще и по истории русского города в частности.

Наш отчет о книге г. Чечулина мы могли бы на этом и закончить, если бы сам автор понимал свою задачу так, как она у него в сущности исполнена. Если бы сам г. Чечулин смотрел на свой труд как на опыт систематической разработки источника, то возражать ему можно было бы лишь по частностям изложения, что уже обстоятельно и выполнил г. Симсон. Но дело в том, что г. Чечулин желал, как уже показано выше, обследовать не исторический источник, а исторический факт, изучить не писцовые книги, а русский город XVI века (говоря его словами, “разъяснить положение городов”). Тема, так поставленная самим автором, налагает на него некоторые обязательства; исполнения их читатель вправе ожидать и требовать. Прежде всего вполне необходимо было бы выяснять в исследовании о городах вопрос: что же та-

кое был древнерусский город? Без ясного представления об этом нельзя было и избирать городскую жизнь XVI века предметом специального исследования. Первые страницы книги г. Чечулина свидетельствуют, что он обратил внимание на этот вопрос, но отнесся к его разрешению не вполне правильно. Ряд историографических справок показал г. Чечулину, что понятие города разностроилось разными учеными. Приводя, по крайней мере, десяток отзывов, существующих в исторической литературе, о характере древних городских поселений, наш автор находит в них “множество противоречий” и говорит, что “ни одно из вышеприведенных мнений нельзя признать вполне соответствующим истине” (С. 5). По мнению г. Чечулина, неудовлетворительное состояние вопроса о городах “совершенно объясняется тем, что до недавнего сравнительно времени о положении городов было известно еще недостаточно данных”. Решаясь искать этих данных в писцовых книгах, г. Чечулин до конца исследования отложил свое собственное решение вопроса о том, что такое был русский город, а исходную точку исследования определил внешним образом: стал изучать все то, что в XVI веке называется официально “городом”. При всей своей логичности этот прием, однако, неправилен; в сущности, он повел к тому, что в труде г. Чечулина не оказалось ясно поставленной темы. В самом деле, целью историографических справок г. Чечулина было указать, что в литературе нашей о древнерусских городах не выработалось однообразного представления, а накопилось “множество противоречий”. Но ведь противоречия существуют в литературе о чем угодно, и не они одни должны заботить исследователя. Г[осподину] Чечулину надлежало, изучая свой вопрос историографически, показать, с каких точек зрения смотрела историография на древние города и каких положительных результатов достигла она в изучении городов. Сам он мимоходом указывает, что уже изучены “с достаточной полнотою права и обязанности городского населения в разные эпохи”, изучено и “отношение к городам законодательства”. Стало быть, с юридической точки зрения изучаемый автором вопрос уже разработан так или иначе. И та точка зрения, на которой стоит наш автор, привела уже к некоторым ценным результатам, которые автору следовало бы принять во внимание: вопрос о культурно-экономическом значении древнерусских городских поселений был уже прежде г. Чечулина намечен и разрабатывался в связи с вопросом о происхождении городов. Например, еще лет пятнадцать тому назад появилась о древнерусских городах замеча-

тельная статья Ф.И. Леонтовича³, которую г. Чечулин оставил без внимания; в ней с очевидностью было показано, что названием “город” в древней Руси обозначались совершенно разного типа поселения: и простые укрепления, не всегда даже жилые, и бойкие центры народного труда, при которых возникли для обороны их крепости. Крепость с помещенными в ней гарнизоном и администрацией собственно и носила имя города; торгово-промышленный поселок, расположенный около “города”, назывался “посадам”. Много метких замечаний и соображений высказано проф. Леонтовичем по вопросу о происхождении и значении в народной жизни как “городов-осад”, то есть простых укреплений, так и “городов-общин”, то есть укрепленных торгово-промышленных поселков. Все эти замечания и соображения г. Чечулин должен был бы принять в расчет при постановке своей темы: они для него были важнее, чем цитированные им отдельные замечания о городах в трудах, например, Костомарова и Хлебникова. Если статья г. Леонтовича могла дать г. Чечулину надлежащее представление о том, с какими вопросами следовало обращаться к изучению того, что называлось “городом”, то статья А.К. Ильинского, названная нами выше, должна была убедить его, что не одни города были представителями той формы народно-хозяйственного труда, которую мы теперь зовем городской. “Рядки”, “волочки”, “слободы” жили одною жизнью с городскими “посадами”, иногда даже посадами и назывались; различие между ними и посадами заключалось только в том, что одни находились при городах, совмещали торгово-промышленное значение с административно-военным, другие же были пунктами исключительно экономического значения. Труды гг. Леонтовича и Ильинского совершенно твердо установили, во-первых, что городами в древней Руси назывались поселения разного типа, а во-вторых, что не одни города в Московскую эпоху были крупными бытовыми единицами, культурно-экономическими центрами. С этими положениями г. Чечулину следовало бы считаться прежде всего; он же обошел молчанием статьи названных исследователей в своем историографическом обзоре (С. 2–6) и отметил в нем только ряд случайных противоречий в литературе “в доказательство полной неустановленности тут каких бы то ни было положений”. Нет нужды доказывать, что тут допущен нашим автором существенный недосмотр, дурно отразившийся на постановке его основной задачи.

³ Рецензия на книгу г. Самоквасова “Древние города России” в “Сборнике государственных знаний” (СПб., 1876. Т. 2).

Если бы автор в постановке темы вышел из положений, раньше добытых специальной литературой предмета, то он устранил бы существующее в его труде несоответствие между задачей труда и тем материалом, которым эта задача решается. Автор думал исследовать города как “культурно-экономические центры”; но ведь в приложении к быту древней Руси понятия “город” и “культурно-экономический центр” не совпадают. Если изучать все “города” XVI века, то нужно быть готовым к тому, что в число “культурно-экономических центров” попадут поселки, не имеющие такого значения (таков Венев у нашего автора, таковы часто псковские пригороды). Выводы из такого изучения должны, само собою разумеется, касаться не только народно-хозяйственного, но и военно-административного быта города. Если же изучать городскую жизнь XVI века в нашем смысле слова, то нельзя было ограничиваться только находившимися при укрепленных городах “посадами”, а следовало ввести в круг исследования и все те торгово-промышленные поселения, которые были в одних культурно-хозяйственных условиях с “посадами” (так поступил г. Ильинский). В том же виде, как формулировал г. Чечулин свою задачу, она не может считаться правильно поставленной темой. В сущности эту тему можно без натяжек передать словами: изучение с культурно-экономической точки зрения военно-административных пунктов. Понятно, что при этой постановке темы невозможно дать ни точного определения города (ибо не исследуется его военное и административное значение), ни полного очерка жизни торгово-промышленных общин (ибо исследуются только те из всех таких общин, которые находились при крепостях и жили под влиянием служилого люда: гарнизона и администрации).

Вот в чем, на наш взгляд, заключается коренной методологический недостаток книги г. Чечулина. Благодаря этому недостатку автор не успел дать в конце своего труда точное общее определение города в XVI веке, которое он обещал читателю как свой конечный вывод. Между городом, с одной стороны, и селом и деревней – с другой, он находит только “разницу не качественную, а количественную”, различие не по роду прав и обязанностей и не по роду хозяйственной деятельности населения, а по величине общины и ее хозяйственных оборотов (С. 309–312). В сущности, автор и не мог придти к иному более определенному выводу, раз он соединял в своем изучении торгово-промышленные города (Псков, например) и города без торгового промысла, а с пашней (как Венев). Определенному и цельному в хозяйственном отношении типу поселений, то есть селу и деревне, автор противопоставлял тип, смешанный в хозяйственном отношении и

объединенный лишь в отношении военно-административном, то есть города. Разница должна была получиться лишь количественная, ибо в городах – смотря по городу – и торговали, и ремеслами занимались, а в то же время и пахали совсем так же, как пахали, а могли и иными ремеслами заниматься в селе и в деревне. Понятно также, почему, противопоставляя город деревне, автор умалчал о торгово-промышленных поселениях, не носивших имени города: в отношении “количественной разницы” рядки и слободы совершенно уничтожают резкое различие между “городом” и деревней в том смысле, как его понимает г. Чечулин. Город как количественно крупный центр мог быть окружен в уезде поселениями самой разнообразной величины, при существовании которых “количественное” значение города могло терять всякое значение. Но как бы то ни было, именно из “количественного” развития города г. Чечулин объясняет и особенности городских “социально-экономических условий” жизни, и особенности культурного быта городов, и, наконец, “отличие города от деревни и села даже и в юридическом отношении”. По мнению г. Чечулина, юридическая особенность города выражалась в том, что город всегда оставался государственной собственностью, тогда как иные поселки могли быть в обладании частных лиц. Здесь опять встречаемся с последствиями методологической погрешности автора. Государственный характер городских поселений обуславливался не чем иным, как военным и административным значением города. Количественно крупный центр, лишенный этого значения и не носивший названия города, мог быть свободно объектом частной собственности, хотя бы и жил городскую жизнь. Доказательство тому – слободы беломестцев, иногда очень крупные, существовавшие около городов, даже на городской земле, и жившие в одинаковых культурно-экономических условиях с самим городом.

Мы слишком долго остановились на выяснении тех причин, которые, по нашему мнению, сообщили труду г. Чечулина характер исследования не фактов, а источников. Эти причины заключаются в недостаточно ясной постановке темы и в недостаточно полном ее развитии. От тех же причин зависят нередко и частные недостатки труда. Для примера укажем лишь некоторые из них, не задаваясь целью исчерпать все те возражения, какие можно было бы предъявить автору. Довольно часто, при рассмотрении какого-нибудь отдельного, входящего в тему вопроса, г. Чечулин как бы колебался, чем руководиться в исследовании: идти ли за отвлеченными требованиями, вытекающими из темы, или оставаться строго в пределах тех данных, какие

заклучал в себе основной источник автора, писцовые книги. К сожалению, автор по большей части решался на последнее и, поступая так, жертвовал цельностью темы и полнотою вывода. Таким образом, например, поступил он в вопросе о положении “земцев” в Новгородской и Псковской областях (С. 42–44, 125, 126). О земцах в городах писцовые книги давали автору небогатые указания, но на их основании можно было до некоторой степени определить положение этого, уже исчезавшего” в XVI в., класса. Г. Чечулин, замечая, что “мы имеем относительно этих земцев вообще очень мало сведений”, характеризует их состояние крайне неудовлетворительно: “Земцы, – говорит он, – были детьми боярскими, быть может, несколько низшими, чем дети боярские остальных областей, но все же какими-то служилыми людьми. Тот же факт, что они вместе с тем, несомненно, являлись иногда и тяглыми, нужно объяснять тем, что, поселившись почему-либо в городе, на общинной городской земле, они принимали участие и во всех общинных повинностях” (С. 43). Нужно признать, что это – не определение общественного класса, а скорее сознание автора в том, что он затрудняется дать необходимое определение. Мы не можем, конечно, требовать от г. Чечулина, чтобы он занялся исследованием положения земцев в эпоху самостоятельности Новгорода. Он мог здесь опереться на литературу предмета, которая установила как бесспорное положение, что земцы были мелкими землевладельцами (на каком праве – для данного случая довольно безразлично). Но для характеристики земцев в XVI в. г. Чечулин должен был сделать более, чем сделал: тема этого требовала, а материалы позволяли. Дело автора было разрешить те вопросы, о которых он только замечает: “не указаны их (земцев) юридические отличия от прочих детей боярских... равно как и обстоятельства, сопровождавшие исчезновение этого класса или превращение его в другой” (С. 44. Примеч.). Писцовые книги и другие документы XVI века дают полное основание отрицать какое бы то ни было “юридическое” различие между земцами и детьми боярскими, и именно писцовые книги скорее всего могут восстановить нам процесс превращения земцев в московские чины. Обстоятельства, повлиявшие на перемену в положении земцев, заключались в установлении московских порядков в Новгородской области. В присоединенный Новгород Москва выслала свою военную силу: г. Чечулин нашел, между прочим, в Кореле этих московских эмиссаров, “детей боярских, служилых людей *москвич*” (С. 35). Но вместе с тем Москва и на местное общество возлагала военную повинность и в этом деле следовала своему правилу связывать право

личного землевладения с обязанностью служить государству. Земцы пользовались в Новгороде правом личного землевладения и поэтому в московское время подпали служебной повинности и стали именоваться детьми боярскими по московской служебной терминологии. Так именно появились рядом с “детьми боярскими москвичами” “дети боярские земцы”, нетяглые дворы которых г. Чечулин нашел в той же Кореле (ср. у г. Чечулина: С. 35, 42, 44). Никаких различий в правах и службе между детьми боярскими пришлыми и туземными предполагать нельзя: различие было лишь в происхождении лиц и их прав на землю. Что же касается земцев-тяглых людей, то их существование не должно было смущать автора. Нет необходимости и даже возможности думать, что московское правительство всех земцев поверстало в службу; а раз земец оставался вне служилого класса, он *eo ipso* становился тяглым человеком и должен был превратиться или в посадского человека, или в крестьянина. Итак, в тот исторический момент, который изучал г. Чечулин, земцы перестали уже существовать как особый класс: под влиянием московских порядков они расходились по разным сословным группам. Г[осподин] Чечулин располагал совершенно достаточными данными для того, чтобы обстоятельно изучить и объяснить это явление; но он ограничился тем, что перечислил свои фактические данные и привел литературные мнения о земцах. Причину этой неполноты исследования мы видим именно в неясности теоретической конструкции труда: автор считал для себя необязательным идти далее того, что прямо давал ему источник по истории города, а решение вопроса о земцах XVI века требовало соображений, касающихся не только истории городов. Совершенно такую же неполноту исследования можно отметить и в вопросе о сябрах (С. 65, 324), и в вопросе о сельских владениях городского класса (С. 44–45), и в рассуждении о причинах запустения городов к концу XVI в. (С. 166, 175, 345), и, наконец, в вопросе о дворниках на осадных дворах.

По этому последнему вопросу в книге г. Чечулина собран богатый и любопытный материал, на основании которого автор несколько раз пытается выяснить общественное состояние дворников. Из многих данных им определений одно точнее всех прочих передает мысль автора: “дворниками, – говорит он, – назывались те зависимые от дворян и детей боярских люди, которых должны были содержать на своих дворах отсутствующие служилые люди для содействия охране города” (С. 275). Автор думает, что еще можно подвергать сомнению “вторую часть” его определения, то есть объяснение цели, с какою являлись двор-

ники на осадных дворах, но что первая часть его определения “совершенно несомненна”. Однако как ни уверен был автор в том, что дворники находились в зависимых отношениях к дворохозяевам, он не решался точно определить юридическую сущность этой зависимости. На с. 59 он высказался так: “считаем дворников стоявшими в положении владельческих крестьян или даже, пожалуй, холопов, то есть вообще зависимыми от владельца дворов людьми”. И на с. 271–272 встречается та же мысль, что положение дворников “является весьма близким к положению крестьян”; за этим, однако, на с. 274, автор помещает существенную оговорку, что совсем отождествлять крестьян и дворников нельзя: “дворники, очевидно, не могут быть считаемы за крестьян и, во всяком случае, это если и крестьяне, то непашенные, а приближающиеся уже отчасти к холопам”. Наконец, на с. 349, находим замечание, что черные люди “выходили из числа посадских и закладывались за служилого человека, делаясь у него дворником”. Не ловим автора на противоречиях самому себе, но думаем, что существо дворнической зависимости осталось у него совершенно не выясненным. Эту зависимость он сближает то с крестьянской, то с холопьею, то с зависимостью закладчика. Все эти виды зависимого состояния настолько различались между собою, что сближение дворничества со всеми с ними разом ничего не объясняет в дворничестве. Читатель поэтому не может удовлетвориться тем решением вопроса, какое предложено ему г. Чечулиным, и должен сам разбираться в материале, собранном у нашего автора.

Писцовые книги не дают прямых сведений о взаимных отношениях дворохозяев и дворников; зато они объясняют нам, кто шел в дворники в XVI веке. В Торопце, например, во дворе служилого человека был “дворник человек его”, то есть холоп дворохозяина (С. 59). В Коломне “в числе дворников мы видим 5 рассыльщиков, 4 воротников, 4 пушкарей и 1 тюремного сторожа”, при чем один пушкарь, будучи дворником, в то же время, вне всякого сомнения, оставался служилым человеком (С. 162). В Туле 21% в числе дворников составляли приходцы из других городов; кроме них в числе дворников были дьячки (земские, площадные, губные), бобыли, люди “торговые” и “ратные”, “человек” дворохозяина, то есть холоп, и, наконец, люди “черные” (С. 276–277). Об этих последних писцовые книги дают иногда такие, например, указания: “двор И.М. Крюкова (служилого человека), бывал двор черной, а в нем дворник Мокейко Серпуховитин, а купил у него, черного человека” (С. 278); в данном случае прежний черный человек Мокейко, продав свой двор беломестцу и выйдя из тягла, сам стал

в этом же дворе дворником. В Кашире, далее, в дворниках видим рыболовов из государевой слободы (С. 279). В Туле “боярским дворником” был владельческий крестьянин (С. 281); наконец, в Туле же, в самом городе, имел осадный двор соборный протопоп, а во дворе этом дворником жил монах “чорной старец Митрофан, иконник” (С. 300). Все эти данные, взятые исключительно из книги г. Чечулина (по документам их можно было бы пополнить), показывают, насколько разнообразен был социальный состав той среды, которая исполняла обязанности дворников. Среди дворников были люди с определенным общественным положением (гарнизонные люди, дьячки, монахи, слобожане, крестьяне, холопы) и люди без определенного общественного положения (приходцы, бывшие черные люди, вышедшие из своей тяглой общины). И нужно заметить, что дворники первой категории через вступление в дворничество далеко не всегда выходили из прежнего своего состояния: пушкарь, будучи дворником, оставался пушкарем, монах, будучи дворником, оставался церковным человеком и т.д. Стало быть, дворничество само по себе в XVI веке могло быть только фактическим занятием, не будучи юридическим состоянием. Это – первое и, кажется, бесспорное замечание, какое позволяет сделать материал г. Чечулина; оно подтверждается и иными соображениями. Продолжая наши наблюдения над материалом, замечаем, что уже в XVI веке правительство принялось за регламентацию дворничества. Оно, очевидно, находило, что дворничество не могло, не нарушая интересов государя и государства, совмещаться с податным состоянием. Поэтому в 1578 году, например, оно приказало вернуть с дворничества рыболовов в ту государеву слободу, откуда они вышли (С. 279); поэтому оно, не запрещая прямо монастырям принимать в дворничество на городские дворы тяглых людей, в то же время приказывало: “учнут в том их монастырском дворе жити торговые люди, и с тех людей, с их промыслов, во всякие наши подати имати с посадскими людьми вьряд” (ААЭ. Т. 1. № 323. С. 384; у г. Чечулина – С. 271–272. Примеч.). А некоторые удельные князья уже в XV веке прямо не дозволяли монастырям принимать на их городской двор “тяглых людей” (ДАИ. Т. 1. № 200; у г. Чечулина – С. 271–272. Примеч.). При таких условиях в дворники могли идти вполне законно и свободно только люди, или вовсе не несшие на себе государственных повинностей и служб, или от них избавившиеся, или же, наконец, умевшие совмещать частное услужение с тяглом. Ограничивая вступление в дворничество, правительство, однако, не смотрело еще в XVI веке на дворничество как на определенное состояние частной зависимости. Писцы, писавшие

Зарайск в конце XVI века, нашли там около двухсот дворников и не знали, как с ними поступить; они писали: “и всего дворников торговых и пашонных (и мастеровых) людей и которые живут на дворничестве, а кормятся по миру, делают наймующись, 198 человек; а вперед тем людям как государь царь и великий князь Борис Федорович всеа Русии укажет” (Зарайск. М., 1883. С. 1; у г. Чечулина – С. 279). Очевидно, здесь администрация не знала: писать ли дворников в тягло по торгам, мастерству и пашне или же считать людьми нетяглыми, как лиц, состоящих на частной службе. Так рядом с пестротой социального состава можно заметить юридическую неопределенность класса. Думаем, что при этих условиях говорить о юридической зависимости дворников от дворохозяев надо очень осторожно. Зависимость эта могла существовать, если дворником был холоп или крестьянин дворовладельца, но ее могло и не быть, если дворник нес на себе государственное тягло или службу, а к дворохозяину состоял в отношениях найма. Правда, личный наем в древней Руси по себе был источником гражданской зависимости, вел к кабальному холопству; но закон признал этот порядок установления холопства только в 1597 году, и поэтому трудно говорить о зависимости дворников по закону в XVI веке. Зависимость здесь могла быть только фактическая или же вытекала из условий, посторонних дворничеству: из холопией кабалы, из крестьянской порядной, из закладнической сделки.

Быть может, мы ошибаемся в данном случае, утверждая, что в XVI веке дворничество не определилось в особую форму гражданской зависимости; но мы не ошибемся, если скажем, что и в вопросе о дворниках г. Чечулин не дошел до надлежащей полноты исследования, до определенного убедительного вывода. Это нежелание автора исчерпывать вопрос иногда ведет его даже к прямым промахам. Указанием на один из таких промахов мы и закончим нашу рецензию. Не один раз г. Чечулин обращается к существенному для него вопросу о том, кому принадлежала земля, занятая тяглыми общинами: государю или общине (С. 148, 196, 322–323). Сам он склонен решать этот вопрос в том смысле, что “землю, на которой стояли города, нужно считать государевою”. Вывод этот он ставит, однако, не вполне решительно и оговаривается, что “исследователи по истории русского права не рассмотрели специально” трактуемого им вопроса. Ссылки на литературу, сделанные г. Чечулиным, в данном случае и неполны, и неточны: г. Чечулин не указал на те, например, труды гг. Чичерина, Владимирского-Буданова и Ключевского, в которых можно найти наиболее ценные указания о предмете, его занимающем.

А вследствие этого и самая постановка вопроса в книге г. Чечулина оказалась – выразимся прямо – отсталою, и вывод его оказался лишенным научного значения.

Весь отчет наш о труде г. Чечулина был направлен к тому, чтобы выяснить истинный характер труда и указать на недостатки его конструкции. С особенным вниманием остановясь на методологической стороне книги, мы не думали указаниями на ее несовершенства умалить достоинства книги, отмеченные нами прежде всего. Если же разбор наш переходил иногда в осуждение, то мы в этих случаях исходили из мысли, давно выраженной словами: “малый достоин есть милости; сильнии же сильне истязани будут” (Ирем., VI, 6).

“Историографическое” сочинение нашего времени¹ (1891)

Третий том “Истории России” Д.И. Иловайского весьма скоро был замечен и оценен с разных точек зрения в нашей периодической литературе. Две из критических статей, именно П.В. Бездобразова и В.Н. С-жева, вызвали даже отповедь со стороны г. Иловайского и повлекли за собой газетную полемику. Таким образом, наша рецензия является до некоторой степени запоздалою и будет говорить о книге после того, как о ней уже было много сказано. Тем не менее, мы думаем, что, с одной стороны, широкое содержание разбираемого труда, а с другой стороны, его, во всяком случае, важное значение в ряду новых исторических трудов позволяют нам, не повторяя сделанных ранее отзывов, сказать несколько слов для характеристики научных достоинств работы г. Иловайского.

Г[осподин] Иловайский давно пользуется известностью, как ученый, деятельно работавший в самых различных областях своей специальности. Репутация талантливого исследователя создана была ему еще диссертацией его по истории Рязанского княжества. Книгу эту ставили в пример того, как должно обрабатывать подобные темы. Исследования о начале Руси, предпринятые г. Иловайским с точки зрения так называемой Славянской школы, оживили интерес к этому вопросу и вызвали большую полемику, не оставшуюся без ученых результатов. Ряд популярных статей по русской и всеобщей истории укрепил за г. Иловайским репутацию ученого, обладающего литературным талантом. Понятно поэтому сочувствие, с каким знатоки дела приветствовали мысль г. Иловайского взяться за общее изложение русской истории; понятны и те благоприятные отзывы, какими приветствовано было начало “Истории России” г. Иловайского. В этой Истории широкая специальная подготовка автора соединялась с большим литературным умением; публика получала возможность ознакомиться с современным состоянием русской истории как науки не

¹ *Иловайский Д.И.* История России. М., 1890. Т. 3: Московско-царский период: Первая половина или XVI век.

с помощью механических компиляций, составленных людьми, не работавшими самостоятельно над русской историей, а при посредстве писателя с прочно установленною ученою репутацией. Первые два тома, соответствуя своему назначению, заслуживали тех похвал, которые им высказала критика. Теперь перед нами третий том успешно начатого труда.

Этот третий том обнимает историю Московского государства при великом князе Василии III и царях Иоанне IV, Феодоре Иоанновиче и Борисе и историю Литовско-Польского государства от времени Александра до времени Сигизмунда III. Кроме восьми глав, посвященных событиям политическим, находим главы о “внутренних делах при Василии III” (глава III), о “внутреннем быте Литовской Руси при Ягеллонах” (глава III), о “юго-восточных окраинах Московского государства и покорении Сибири” (глава X), о “государственном строе Московской Руси” (глава XI), о “доходах, войске и церкви в Московской Руси” (глава XII), о “состоянии просвещения в Московской Руси XVI века” (глава XIII) и о “польщизне, казачестве и еврействе в Западной Руси” (глава XV). Эти последние главы представляют собою экскурсии в область истории права, хозяйства, культуры, вещественного быта и колонизации в данную эпоху. Книга заключается обширными примечаниями, в которых, следуя примеру С.М. Соловьева, Иловайский сводит источники сразу к нескольким страницам текста (на 598 страниц всего 99 примечаний) и нередко дает целые историко-критические этюды.

Из перечня содержания книги г. Иловайского видно, что она, как и первые томы его “Истории России”, представляет собою попытку дать в общедоступном изложении обзор всех тех вопросов, которые в настоящее время входят в науку русской истории. Цель книги, говоря словами самого г. Иловайского, – “воссоздать в слове прошедшие века своего народа” путем художественной передачи важнейших исторических событий. “Историк, по словам г. Иловайского, не должен расплываться в мелочных обозрениях бытовых сторон и теряться в чрезвычайной сложности исторического материала... он должен найти и оттенить наиболее важное, наиболее существенное”². Эта высокая задача исторического синтеза кажется г. Иловайскому очень сложною: “с одной стороны, она – наука, с другой – искусство”, – замечает он. Научная сторона дела – “изучение источников и пособий, их взаимная проверка или критическое к ним отношение, восстановление событий в их

² Эти мысли высказаны г. Иловайским в предисловии к 1-й части его Истории (М., 1876).

истинном виде, разъяснение их причин и следствий, определение естественных и общественных условий и различных влияний, верная, по возможности беспристрастная, оценка деятелей и обстоятельств”. За подготовительным трудом исторического исследования “следует работа, так сказать, творческая”, состоящая в том, чтобы провести исследованный материал через призму собственного воображения, выдержать историческую перспективу в размещении материала и придать изложению художественно-стройную форму³.

Понятно, что, столь возвышенно понимая свою цель, г. Иловайский считает себя деятелем “на том поприще, на котором мы уже имеем великие труды Карамзина и Соловьева и, кроме того, замечательное начало Русской истории Бестужева-Рюмина”. Это он заявлял пятнадцать лет тому назад, заявляет и в настоящее время в своих полемических объяснениях с г. Безобразовым. В “Ответной заметке г. Безобразову” он прямо называет Соловьева и Карамзина своими “предшественниками”, спрашивая: “есть ли археологический элемент у моих предшественников и особенно в многотомной Истории С.М. Соловьева?”⁴ Г. Иловайский склонен даже думать, что он как более поздний деятель в сфере историографии пошел далее всех своих предшественников. Он отмечает, что некоторые отделы в его книге являются впервые и объясняет это обстоятельство “более усложнившимися требованиями современности, а отчасти личными взглядами на задачи общего обозрения русской истории”. Указывая в своей книге на “особый отдел Западной России” и “на внутренние или культурно-исторические и бытовые отделы”, он по поводу них говорит: “мне приходилось создавать почти вновь: у Карамзина сей отдел является только в зародыше; у С.М. Соловьева, как известно, он представляет довольно хаотический набор разных сведений, лишенных органической связи в частях и в целом”⁵.

Таким образом, ясно, что г. Иловайский придает своему труду весьма широкое научное значение, причисляет свою Историю к тому разряду общих исторических трудов, который он довольно своеобразно именует “историографическими сочинениями” (вероятно, противопоставляя этот термин термину “монографический”)⁶. Эта точка зрения, высказанная самим г. Иловайским, должна обусловить характер требований, какие критика может предъявить к исполнению его III-го тома “Истории России”.

³ См. указанное предисловие.

⁴ Новое время. № 5356.

⁵ Новое время. № 5338 и № 5356.

⁶ Новое время. № 5356.

Перед нами – не исследование фактов, от которого мы могли бы ожидать полной ученой самостоятельности, новизны изысканий, мелочного изучения источников, свежести выводов. Как общий обзор событий книга г. Иловайского должна представить нам точное изображение успехов, достигнутых монографической разработкой данной эпохи, то есть XVI века; в ней должны были слиться в стройные картины те отдельные черты прошлой жизни, которые выяснялись отдельными, шедшими вразброд исследованиями; на ней должны были отразиться те новые взгляды, которые получили права гражданства в ученой литературе; она должна была со вниманием отнестись к новым видам исторического материала, вошедшего в научный оборот. Словом, книга г. Иловайского должна была точно кристаллизовать в себе тот момент развития, в каком она застала нашу историографию, как удачно выраженная законодательная формула кристаллизует известный момент правового сознания. Это было бы достигнуто внимательным отношением к современной исторической литературе, и, пожалуй, не столько библиографически полным ее изучением, сколько чуткостью к тем течениям, которые в ней обнаруживаются. *Mutatis mutandis*, ту же мысль находим и у самого г. Иловайского, который, рассуждая принципиально, признает, что для такого труда, каков его труд, в литературном заимствовании “не заключалось бы ровно никакого греха”⁷ и что “историографическое сочинение менее подходит к понятию об исследовании, чем к понятию о компиляции”. На этом основании г. Иловайский считает возможным прямо сказать, что “Истории Карамзина и Соловьева суть компиляции в обширном смысле, а не исследования”⁸.

Имея в виду, что термином “компиляция” г. Иловайский обозначает не только те сочинения, которые просто пересказывают чужие труды, но и те, которые переделывают их в “изящную архитектурную постройку”, – мы и решаемся думать, что высказали мысль, не чуждую и г. Иловайскому.

Но если историческое сочинение общего характера может опираться на ряд предварительных исследований, в нем не должно быть ошибок и заблуждений в тех случаях, где является возможность проверить факт на основании этих предварительных исследований. Если исторический труд претендует на то, чтобы завершить собою известный период в историографии, подвести итоги всему сделанному раньше и передать новейшие приобре-

⁷ Новое время. № 5338.

⁸ Новое время. № 5356.

тения науки общественному сознанию – изложение этого труда должно щеголять своею отделкою так, как до сих пор блещет законченностью своей литературной обработки “История государства Российского” Карамзина, как до сих пор увлекают нас стройностью логических построений чтения Гизо, независимо от того, насколько состарились взгляды и выводы этих “великих трудов”, независимо даже от того, насколько велико было значение этих трудов в их время.

В какой же мере удовлетворяет высказанным требованиям разбираемая книга? Мы думаем, что она им не вполне удовлетворяет, и как ни ответственно высказать то, что мы скажем, – мы думаем, что книга г. Иловайского составлена довольно поспешно. Прежде всего, об этом свидетельствует язык книги, отличающийся некоторою небрежностью; об этом же говорит присутствие в книге ошибок, легко устранимых, и, наконец, то же доказывают некоторые особенности личных воззрений автора на изучаемую им эпоху.

Начнем с изложения книги. Оно как будто не оправдывает репутации хорошего стилиста, созданной автору компетентными критиками первых томов его Истории. Не останавливаясь на общей оценке языка книги, несколько однообразного и заметно испорченного стремлением к архаизмам (стремлением, свойственным теперь, надо заметить, не одному Иловайскому), – мы скажем только, что изложение г. Иловайского заключает в себе и курьезы. Что следует думать о “стиле” следующих, например, фраз: “Иордан произвел оглушительный залп из своей артиллерии” (С. 39); “по распоряжению правительства, в такой день народ сгонялся сюда со всех сторон, запирались *лавки и мастерские*, чтоб удивить иностранцев своим (?) *многолюдством*, а следовательно, и *могуществом*” (С. 65); “старшины их (инородцев) приходили к нему (царю) с поклонами, приносили хлеб, мед, *быков и говядину* частью в дар, а частью продавали” (С. 192); “в кремле же находилась и главная городская *святыня*, то есть соборный *храм с дворами* священников и причетников, а в главных городах *архиерейские дворы*” (С. 435)? Эти неудачные фразы (а их довольно много), без сомнения, говорят о поспешности, с какою они составлялись, и на них не стоило бы останавливаться, если бы они одни свидетельствовали об этой поспешности. Но дело в том, что иногда и целые страницы обличают торопливость автора. На с. 45-й он излагает ответ заволжских старцев Иосифу Волоцкому таким образом, что, не взяв в руки подлинных писаний Иосифа и старцев, читатель не уразумеет их смысла. Г. Иловайский говорит: “Когда Иосиф написал послание Василию Ивановичу с уве-

щением казнить еретиков и со ссылками на примеры строгости из Ветхозаветной истории, со стороны заволжских старцев последовал на это послание едкий ответ... Приведем некоторые черты из сего ответа: на слова Иосифа, что *Моисей скрижали разбил*, старцы возражают"... Ни из последующего возражения старцев, ни из приведенных слов г. Иловайского нет возможности понять, о чем идет спор и к чему тут слова "Моисей скрижали разбил". И в этом виноват сам автор: он повествует о споре, не приводя главного тезиса, поставленного Иосифом: "грешника или еретика убить *молитвою* или *руками* едино есть"; он пропускает самое важное слово *руками* в словах Иосифа "Моисей скрижали *руками* разбил"; поэтому и все изложение спора лишено и научной точности, и простой удобопонятности. В ином роде место на с. 417-й, где автор не просто не договорил, как в первом примере, но и сказал лишнее. Г. Иловайский дает здесь перечень московских придворных чинов и затем говорит: "*Чины эти* и значение их большею *частью* мы *видели* уже в предыдущую эпоху" (однако, во II-м томе перечисления их нет, насколько мы знаем). "Теперь же их число и значение расширились и *кроме того* встречаем *новые: таковыми* является"... Читатель думает далее найти такие чины, которых нет в только что данном г. Иловайским перечне якобы старых чинов, – и ошибается: у г. Иловайского далее следует повторение прежнего перечня. Остается таким образом загадкою, какие же чины считать новыми.

Если к промахам в стиле причислим опечатки и ошибки, которых в книге г. Иловайского весьма достаточно, то получим полное право сказать, что с внешней стороны книгу портит небрежность ее исполнения. Опечатки и описки у г. Иловайского настолько заметны, что о них стоит поговорить, и сам г. Иловайский указывал на них в разъяснениях, данных им г. Безобразову. Помимо неизбежных опечаток в буквах существуют недосмотры в целых словах и даже фразах. На с. 161-й читаем *Бельский* вместо *Шуйский*; на с. 304-й *Иван Андреевич* Хворостинин вместо *Андрей Иванович*; на с. 354-й Иов уже после поставления его в патриархи назван митрополитом. Один из критиков, г. Безобразов, указав г. Иловайскому, что по его изложению (на с. 190) можно предположить существование двух городов с именем Тула, объяснил это тем, что в данном месте г. Иловайский неосмотрительно заимствовал у С.М. Соловьева рассказ о набеге крымцев в 1552 году. На это г. Иловайский заметил, что дело заключается "в простой опечатке"... В книге напечатано: "Крымский хан... осадил Тулу; *когда же* узнал о присутствии московских поляков... повернул назад". По разъяснению г. Иловайского следует исправить опечатку

так: “Крымский хан... осадил Тулу. Когда хан узнал” и т.д.⁹. Для г. Иловайского ясно, что здесь нет заимствования от Соловьева, но мы думаем, что здесь нет и простой типографской опечатки, так как цитируемый рассказ г. Иловайского был напечатан раньше книги отдельной статьей¹⁰, причем злополучная фраза имела в нем третью, столь же неудачную редакцию, как и две вышеприведенные: “Крымский хан... осадил Тулу; узнав о присутствии” и т.д. Этот казус может служить доказательством, что опечатки у г. Иловайского – не опечатки, а описки, свидетельствующие о недостатке у автора внимания к своему тексту.

Обратимся теперь к внутреннему содержанию труда г. Иловайского: оно убедит нас в том же, в чем убеждают его внешние свойства.

У г. Иловайского, прежде всего, есть прямые ошибки. Одну из них указал уже В.С. Иконников¹¹ в рассказе нашего автора о смерти первого сына Грозного, малютки Дмитрия: г. Иловайский приписал его смерть болезни, тогда как есть указания, что царевич утонул (С. 210, 249). Г. Иловайский далее переводит выражение “на мсках” словами “на ямских” (С. 169), хотя слово *меск* в значении *лошадь* встречается не раз в памятниках, подлежащих прямому ведению историка, и г. Иловайский легко мог бы найти это слово в словарях (*меск* – в Академическом, *мьска*, *мьск* – у Миклошича). О местоположении знаменитого Кириллова монастыря г. Иловайской имеет довольно превратное понятие, так как говорит, что Иоанн “Шексною поднялся в Белое озеро и прибыл в Кириллов монастырь” (С. 210). Летописи, которым следовал г. Иловайский, говорят кратко: “Шексною вверх к Кирилу чудотворцу” (Ник. VII. С. 203; Львов. V. С. 12). Простая справка с “Учебным атласом” Е.Е. Замысловского (который рекомендован читателю самим г. Иловайским в предисловии ко II-му тому его Истории) показала бы автору, что Кириллов монастырь на десятки верст отстоит от Белого озера и что на дороге к нему не приходится подниматься в озеро. В XVI веке, как и теперь, в Кириллов монастырь прямая дорога – по Шексне до Горицкого монастыря и затем верст шесть сухим путем; так, без сомнения, ехал и Грозный. Далее, г. Иловайский на с. 423-й, определяя положение бобылей, говорит: “иногда обедневший крестьянин, чтобы облегчить себе бремя податей и повинностей, с целого земельного

⁹ *Безобразов П.В.* Рец. на: Иловайский Д.И. История России. Т. 3. М., 1890 // Русское Обозрение. 1890. № 12. С. 397; Новое время. № 5338.

¹⁰ *Иловайский Д.И.* Покорение Казани // Русский архив. 1888. № 12. С. 481.

¹¹ *Иконников В.С.* История России, соч. Д.И. Иловайского. Т. 3. М., 1890 // Русская старина. 1891. № 1 (на обложке).

участка переходил у того же владельца на половинный участок, то есть поступал в разряд *бобылей*”. Таким образом, здесь бобыль определяется как крестьянин с половиною пашней. Но на с. 432-й автор упоминает “дворы *бобыльские* или дворы крестьян *безпашенных*”, а на с. 451-й замечает, что в слободах различались “дворы крестьянские и *бобыльские*, первые были с землею, *вторые без земли*”. Эти противоречия, не устранимые даже с помощью того предположения, что автор отличает бобылей сельских от посадских и слободских, вскрывают ошибку г. Иловайского: она состоит в том, что податное отличие бобылей автор отнес к их хозяйственному положению. Последнее было разнообразно: были и безземельные бобыли и бобыли пашенные; но все они обыкновенно являлись в глазах правительства половинными плательщиками. Но половинное тягло еще не обуславливало “половинного участка” земли. Пойдем далее. На с. 437-й г. Иловайский не вполне основательно рассуждает о составе городского Московского государства, при чем даже смешивает гостей с людьми гостинной сотни, говоря о гостях, что “в Москве они составляли особую гостинную сотню”. Нельзя не пожалеть, что в данном случае г. Иловайский не обратился, – не говоря уже о новых трудах, – к старой книге Плошинского, где он нашел бы необходимейшие сведения по данному вопросу. Более тонкого свойства ошибку находим на с. 452-й в словах: “взимаше и раскладка податей производились самими земскими общинами посредством выборных *окладчиков*”. Термин *окладчики* существует в документах, относящихся к мирской раскладке и взимании сборов, но только – сборов экстренных, пятой и десятой денег; обыкновенно же подати раскладывают и взимают выборные власти иных наименований. Подобная же шаткость представлений обнаруживается и тремя страницами ниже в определении *десятен*: “Дворяне и боярские дети, – говорит автор, – сообразно своим поместьям были розписаны по городам, и эти отдели (?) назывались десятнями” (С. 455). Что такое “отдели”, понять не легко; но можно, кажется, догадываться, что это, по представлению г. Иловайского, или группы лиц, или же городские округа. И то, и другое не верно, потому что десятня – документ. Это знал уже в 1872 году К.Н. Бестужев-Рюмин, в “Истории” которого десятни определены, как “списки лиц”, “списки поместного дворянства” (Введение. С. 107). И г. Иловайский мог бы поэтому не повторять заблуждений более старых исследований и архивных описаний¹². После указанных

¹² Откуда происходили эти заблуждения, можно узнать из “Описи десятен XVI–XVII вв.” В.Н. Сторожева (Описание документов и бумаг Московского архива Министерства юстиции. М., 1890. Кн. VII. С. 3–4; Примеч. 9).

примеров мы считаем себя вправе высказать и общее замечание, что обзор государственного устройства и управления Московской Руси сделан в книге г. Иловайского не с достаточной внимательностью. Не только (по словам самого г. Иловайского в предисловии) “некоторыми из самых новейших детальными работ автор успел воспользоваться только в примечаниях к настоящему тому”, – но и не “самыми новейшими” работами автор не воспользовался в должной мере. Поэтому, например, на с. 444-й читаем довольно старые мысли о существовании “канцелярии” при Боярской думе; на той же странице находим не менее старое отождествление четырех отделений думской канцелярии, то есть приказов, с “четями”, основанное на излишнем доверии к русскому переводу Флетчера, сделанному К.М. Оболенским; страница 422-я убеждает нас в том, что г. Иловайский признает права собственности на землю только за крестьянами-своеземцами и не признает их за крестьянскими общинами на черных землях, ибо причисляет к “общей массе безземельного крестьянства” всех крестьян, не владевших землями на праве личном. Хотя в данном случае автор имеет право выражать подобный взгляд, так как юридическая сущность общинного крестьянского землевладения не вышла еще из области научных споров, – однако термин “безземельный” безусловно не приложим к древнерусскому крестьянину, сидевшему на черной земле, и является такою оригинальною формулой решения спорного вопроса, какой мы не найдем ни у одного исследователя, какого бы взгляда он ни держался. Столь же оригинально категорическое заявление г. Иловайского (С. 433) о переделах общинных земель в Московской Руси, которое, однако, сам автор ограничивает фразой: “в XVI веке мы находим только некоторые намеки на возникновение крестьянских переделов”. Любопытно знать, что разумеет автор под переделами: очередное пользование тяглыми участками или перемежку самых участков, и если последнее, – то где он нашел намеки на переделы?

Однако воздержимся от дальнейшего обсуждения частных. И то, что указано, надеемся, подтверждает наше мнение, что у г. Иловайского есть прямые ошибки. Заметим только, что мы воздерживались судить эти ошибки с точки зрения “самых новейших” трудов, которыми не успел воспользоваться г. Иловайский и которые указаны ему В.Н. С-жевым¹³.

¹³ С-жев Н.В. Историография и компиляция: По поводу третьего тома “Истории России” соч. Д.И. Иловайского // Вестник Европы. 1891. Февраль. С. 925–927. На эти страницы рецензии г. С-жева г. Иловайский отвечал (Новое Время. № 5374) заявлением, что ему известны книги, названные рецензентом, между прочим, и исследование, изданное в 1888 году пишущим эти строки.

Ошибки г. Иловайского происходят от недостаточного внимания к литературе и не новейшей.

Итак, и изложение III-го тома “Истории России”, и его фактический материал не стоят по степени обработки на той высоте, какая приличествует сочинению “историографическому”, по терминологии г. Иловайского. Но, может быть, личные взгляды автора на описанную им эпоху, оценка лиц, событий и отношений, словом, субъективная сторона труда представляет большую ценность?

Всякий, кто прочитал книгу г. Иловайского, согласится, что центральное место в ней занимает личность и деятельность Грозного. Автор с большим вниманием относится к мотивам, руководившим политикой Грозного, и не раз делает попытки выяснить этот сложный характер. Вот почему, не имея возможности остановиться на всей совокупности исторических взглядов г. Иловайского, мы просим у читателей позволения ограничиться только воззрениями автора на Грозного.

Г. Иловайский принадлежит к разряду тех наших историков, которые отрицают политический смысл в личной деятельности царя Иоанна и натуру его признают патологической. В силе чувств, направленных против Иоанна, наш автор соперничает с Карамзиным и Костомаровым и резко высказывается против защитников и апологетов Грозного (см. примеч. 54-е). Однако, смею думать, что к аргументации своих предшественников г. Иловайский не прибавил ничего существенного и нового и в то же время оставил без должного внимания те недавние приобретения нашей историографии, которые с пользой можно было привлечь к освещению эпохи Грозного. Странно поэтому читать заявление г. Иловайского, что “мы имеем перед собою довольно подробную и документальную историю сего царствования” (С. 644); другие историки сознавали, что в истории сего царствования есть незаполненные провалы.

Характеристика Грозного у г. Иловайского весьма несложна: она состоит из многократных указаний на то, что Иоанн был от природы даровит, но подвергся нравственной порче и стал рабом грубых страстей, что и обратило его в азиатского деспота, представителя “татарщины”, что и лишило его возможности здраво

Пользуемся случаем заметить г. Иловайскому, что в нашей книге нет того “вывода”, который он там усмотрел, “о невинности Годунова в убийстве царевича Дмитрия”, а есть только вывод, что некоторые литературные произведения не могут служить основанием для обвинения Бориса в этом деле. Поэтому, вопреки мнению г. Иловайского, мы не можем присвоить себе и чести считаться в числе последователей Е.А. Белова по этому вопросу.

понимать задачи государственной политики. “От природы, – говорит г. Иловайский, – Иван IV был, очевидно, впечатлителен и даровит, что, может быть, обуславливалось отчасти и самым происхождением его с женской стороны: бабушка его была греко-италианка, а мать литво-русинка” (С. 166). Хотя и не ясно, что и почему обуславливалось иностранным происхождением с женской стороны – впечатлительность или же даровитость (как будто московский человек сам по себе, без чужой крови, не мог быть впечатлителен и даровит!), – однако хорошо уже и то, что г. Иловайский не отрицает этих качеств в Грозном. Уже в детстве натура Иоанна под влиянием среды была испорчена жестокосердием, которое проявлялось не раз в поступках молодого царя до его женитьбы. Однако “два незабвенных мужа”, Сильвестр и А. Адашев, и царица Анастасия имели до поры до времени прекрасное воспитательное влияние на Иоанна, – пока не возобладали в нем “дурные стороны характера”, пока Иоанну не показалось, что советники отнимают у него власть. “При деспотических наклонностях, при понятиях о своей неограниченной власти, наследованных от *отца* и *деда* и усиленных *преданиями византийскими*, Иоанн начал все более и более тяготиться своими советниками” (С. 247). Последовал разрыв, начались казни, совершилось нравственное падение Иоанна. Он действовал, по словам автора, “вполне уподобляясь какому-либо дикому татарскому хану” (С. 271); он – “высокомерный, заносчивый тиран” (С. 288); он – “трус, который, перепугавшись при первой вести о враге, бежит от него” (С. 312); “чем ближе всматриваемся мы в эту эпоху, тем яснее выступает вся политическая недалекость Грозного, его замечательное невежество относительно своих соперников на Ливонию” (С. 320). Печален конец Иоанна: свои беды он усугубил убийством сына. “Ничего другого, – замечает по этому поводу г. Иловайский, – и невозможно было ожидать от безумного тирана, который так привык предаваться необузданным порывам своих страстей, для которого не было ничего святого в этом мире” (С. 326). Пробегая страницы, посвященные Иоанну, читатель чувствует, как растет у автора не цельная характеристика этого лица, а отрицательное к нему отношение. Полную формулу этого отношения мы находим в заключительных строках к истории царствования Грозного, где автор собирает воедино все сказанное раньше по частям (С. 330–331). Здесь находим указание, что Иоанн обнаружил “недюжинные правительственные способности”, но обратил “наследованную им от предков сильную власть в орудие жестокой и нередко бессмысленной тирании”, отчего “московское самодержавие...

получило до известной степени характер азиатской деспотии”. Политика Грозного была “ярким отражением татарщины”, одним из “самых крупных последствий двухвекового татарского ига”. Результатом же этой политики было Смутное время: “Иван Васильевич сам приготовил и облегчил тот взрыв народных движений и всякой розни, который известен в истории под именем Смутного времени”.

Таково последнее слово автора о Грозном. Оригинальна в нем только категоричность утверждения, что Грозный был “отражением татарщины” (самая же мысль о влиянии татарщины на правительственные обычаи Московской Руси ведь далеко не нова). К этому утверждению г. Иловайский возвращается не раз и обстоятельнее высказывает его не в главе о Грозном, а в главах, посвященных внутреннему быту Москвы. На с. 409-й узнаем, что “азиатские деспотии и служили образцами, которым с таким успехом подражал Иван IV”; на с. 410-й этот “азиатский деспотизм” Грозного рассматривается, как “порождение татарского ига”; в главе XII помещена целая рубрика: “влияние Ивана Грозного на нравы”, в которой о Грозном говорится, что, “выросши сам под влиянием татарщины, он, в свою очередь, способствовал ее поддержанию и усилению” (С. 483).

Но где же доказательства этих тезисов? Где же объяснение того, что автор понимает под понятием “татарщины” и “азиатского деспотизма”? Если собирать те черты, которыми автор характеризует Грозного и его политику, как отражение татарщины, то придется перечислить: “раболепие” в противоположность “гражданскому чувству” (С. 331, 410), “суровые черты, с которыми царская власть относилась к своим подданным” (С. 409), “необузданный произвол” (С. 409), “крайняя порочность и зверство”, “суеверие, кощунство и самое гнусное распутство” (С. 483), “гнет и насилие со стороны высших начальственных лиц, раболепие и забвение человеческого достоинства со стороны низших” (С. 484). Но все эти отрицательные стороны личной и общественной нравственности не слагаются в цельное представление об общественном и политическом порядке и не могут составлять монопольных свойств татарщины и азиатства, почему и “татарщина” г. Иловайского остается неопределенною. По данным г. Иловайского можно было бы предположить, что у него есть бессознательная тенденция объяснять все темное в русском быту XVI века влиянием татар, а все светлые стороны этого быта относить к нашим национальным достоинствам. Но это было бы неверно, ибо г. Иловайский знает и положительные стороны “татарщины” в русской жизни, он говорит о Грозном, что “его ничем не обузданный произвол и

общий террор, внушаемый... казнями, доказали только великую силу терпения и глубокую покорность Провидению со стороны русского народа, – качества, в которых его закалила особенно предшествовавшая долгая эпоха татарского ига” (С. 409). Как же определить после этого, что такое у г. Иловайского татарщина сама по себе и татарщина в смысле татарского влияния на русскую жизнь, и в каком смысле понимать слова, что Грозный – отражение татарщины? Если понимать их в том смысле, что Грозный подражал порядкам азиатских деспотий, считая их образцами для себя (на это дает право одна из вышеуказанных фраз г. Иловайского), – то где же доказательства этого? У г. Иловайского их нет совсем; он даже не воспользовался теми литературными аналогиями между царем Махметом и Грозным, которые с именем Ивашки Пересветова вращались в русском обществе XVI века и оправдывали крутость Иоанна афоризмами Махмета: “аще не такую грозю великий народ угрожити, ино и правды в землю не ввести”¹⁴; между тем, эти аналогии можно было бы обернуть в пользу мнения г. Иловайского. В точном обосновании это мнение весьма нуждается, так как стремление Иоанна к татарским образцам весьма мало вероятно. Если же понимать татарство Грозного в смысле его отдельных грубых замашек, усвоенных им из среды, его воспитавшей, то вряд ли стоит спорить против такого “татарства”: пусть оно было, но можно ли им объяснить смысл политики Грозного, можно ли внешние замашки полагать в основание характеристики политического деятеля? Конечно, нельзя.

Неопределенность и афористичность характеристики Грозного у г. Иловайского бросаются в глаза тем более, что в этой характеристике нет полного внутреннего согласия частей и нет той полноты, какой можно требовать при настоящем состоянии нашей историографии.

Как может читатель согласить, например, “недюжинные правительственные способности” Иоанна (С. 330) и “политическую недалковидность Грозного, его замечательное невежество относительно своих соперников на Ливонию” (С. 321)? Ключа к пониманию этого несоответствия в изложении нашего автора не дано. Как может читатель размежевать византийские традиции в политике Иоанна и татарское на нее влияние? Автор и здесь не дает руководящей нити. Выше нами приведены места из книги г. Иловайского, рекомендующие Грозного с его политикой как отражение татарщины и прямое следствие татарского ига. Но впе-

¹⁴ То, что говорит автор о писаниях Пересветова, не связано у него с суждениями о татарщине Грозного (С. 499, 643, 687).

ремежку с этими местами находим и утверждение, что понятие о неограниченной власти, наследованное Иоанном от отца и деда, было усилено *преданиями византийскими* (С. 247), что обычай соцарствия сына отцу водворился, конечно, *не без влияния Византии*” (С. 326). Это влияние Византии вообще на развитие в Москве самодержавной власти особенно подчеркивается автором там именно, где он говорит, что Иван IV подражал азиатским деспотиям (С. 409), при чем, по изложению г. Иловайского, проводниками византийского влияния были “церковная иерархия и письменность”, “влияние же золотоордынских образцов действовало долго и непосредственно”. Но ведь указание путей и способов влияния не определяет еще его сферы и не разрешает недоумений, здесь возникающих, о самой сущности традиции византийских и татарских (или содержание их было одинаково?). Если здесь позволительно от вопроса о личной политике Грозного отойти в область политических отношений той эпохи вообще, то мы можем представить и еще один образец внутренних несоответствий в изложении г. Иловайского.

Автор доказывает, что “так называемая некоторыми писателями борьба Иоанна с боярским сословием в сущности никакой действительной борьбы не представляет” (С. 263). Власть была так сильна, что наиболее строптивым боярам “оставалось только орудие слабых и угнетенных – *тайная* крамола... Но таковой при Иване IV мы не видим”. Побег некоторых бояр в Литву “не могут быть названы борьбою *какого-либо* сословия против государственного строя”. “В Москве, – продолжает автор, – было *одно только* сословие, которое могло оказать некоторое противодействие кроваждному самодурству Ивана IV, хотя бы только одним своим нравственным авторитетом. Мы говорим о высшем *духовенстве*. И как ни было оно, в свою очередь, зависимо от царской власти и угнетено тираном, оно все-таки *выставило из среды себя* достойного борца. Но любопытно, что этот человек *вышел не из другого какого сословья, а именно из боярского*. Следовательно, только *через духовный* авторитет сие сословие могло тогда проявить какой-либо *открытый протест* против тирана”. В этом комплексе фраз, изложенных на одной странице (С. 264) и переданных нами в последовательности, какую дал им автор, многое непонятно. Боярство не могло вести борьбы с властью, даже не прибегало к тайной крамоле; пыталось бороться духовенство, давшее “из среды себя” митрополита Филиппа; но этот Филипп был боярин; стало быть, боярство (“сие сословие”) могло тогда проявить открытый протест через духовный авторитет. Таков в сущности ход рассуждения, которое сперва отрицает возможность даже тайной

борьбы, а затем намекает на возможность борьбы открытой, которое сперва объявляет Филиппа в его протесте представителем духовенства, а затем – представителем боярства. Что эти противоречия – не кажущиеся, подтверждается фразой о Филиппе, на с. 269-й: “так этот достойный представитель *вместе* и боярского, и духовного сословия пал... отстаивая свое архипастырское право печалования, увещания и поучения”. Здесь совершенно такое же, как и выше, смешение понятий: за архипастырское право Филипп мог бороться только как представитель духовенства; как боярин, он не имел никакого отношения к архипастырскому праву. И читатель вправе спросить автора: какого же, наконец, сословия представителем был Филипп? Вероятно, духовного, ибо, в конце концов, г. Иловайский нашел у боярства свои особые определенные притязания на сословное право. Из последующего изложения г. Иловайского узнаем, что бояре-князья, служившие Москве, “еще не успели забыть о недавнем прошлом и при удобном случае могли высказывать притязания, несогласные с развивающимся самодержавным строем, в особенности притязание на право быть главными советниками государя и занимать важнейшие места в управлении” (С. 412). Еще во время Грозного “поддерживались тесные связи между потомками удельных князей и населением их бывших уделов, поддерживались старые воспоминания и притязания” (С. 414). Грозный “возможно скорее” старался порвать эти старые связи. Если притязания бояр-князей на власть московскими государями были парализованы, по мнению г. Иловайского (С. 413), с помощью умелой политики государей в отношении боярской думы, – то притязания боярства “занимать важнейшие места в управлении”, получившие выражение в местничестве, были терпимы самим Иваном Грозным:... “в 1550 году... были изданы правила взаимного счета местами... само правительство таким образом признавало законность этих счетов” (С. 415). Так сам г. Иловайский нашел у боярского класса такие притязания, с которыми считались и боролись московские государи. Не рискованно ли после этого утверждать вместе с нашим автором, что не существовало “никакой действительной борьбы” у власти с боярами? Если не было борьбы открытой, если не было борьбы правильно организованной, то глухая борьба сословных боярских притязаний с принципами московской автократии, несомненно шла, и эти притязания, питаемые всем сословием, были не менее серьезны для московских государей, чем “тайная крамола”, которой, по мнению автора, не существовало.

Но гораздо важнее, чем внутреннее несогласие частей в оценке политики Грозного, неполнота этой оценки. В нашей исто-

рической науке не в самые последние годы был выяснен тот национально-политический идеал, который создался в русской письменности XV–XVI веков и представлял Москву центром “православия”, а московского государя “царем православия”. Литературные взгляды были восприняты официальной московской средой; в них воспитался Грозный; во имя их принял он царский титул и требовал от Востока признания этого титула. Страница 169-я книги г. Иловайского свидетельствует, что автор не признает такого понимания дела: мотивов принятия царского титула он вовсе не объясняет, книжные теории о “Москве – третьем Риме” он как будто считает последствием принятия титула, а не мотивом его; в литературную же образованность самого Грозного до 1547 года он не верит (С. 175, 620). Если в толковании дела автор хотел сделать шаг назад сравнительно с настоящим положением историографии, он должен был бы представить в свою пользу доказательства бóльшие, чем простое отрицание взгляда С.М. Соловьева (ссылка на Курбского ничего не доказывает, так как ничего не говорит о времени до 1547 года).

Так же мало может удовлетворить читателя, знакомого, например, со вторым томом “Русской истории” К.Н. Бестужева-Рюмина, изложение причин Ливонской войны Грозного в книге г. Иловайского. Г. Иловайский и здесь остался позади своих предшественников с предпочтением Крымского похода Ливонской войне, предпочтением, которое основано на том соображении автора, что желавшие Крымского похода “советники Иоанна были люди умные и понимавшие дело, а главное, хорошо ценившие современные им обстоятельства” (С. 219). Но до сих пор именно в том и высказывалось сомнение, хорошо ли ценили советники Иоанна современные обстоятельства, и этого сомнения г. Иловайский не рассеивает своими доводами о народном одушевлении в борьбе с мусульманским миром и своими указаниями на возможность (неудачных) походов через степь. Думаем поэтому, что и после книги г. Иловайского на Ливонскую войну Грозного не будут смотреть, как на плод его личного близорукого произвола.

Прямой пробел в изложении г. Иловайского составляет молчание о том народно-хозяйственном кризисе, признаки которого давно подмечались исследователями, изучавшими русское общество в эпоху Грозного, и были собраны воедино В.О. Ключевским в XV главе его “Боярской думы”. Подвижность земледельческого класса, заставлявшая землевладельцев в эксплуатации земель переходить от труда свободного к труду зависимому, многое объясняет в истории московского общества XVI века и является одною из существеннейших причин Смутного времени, которое г. Ило-

вайским ставится на счет одному Иоанну Грозному, его личной политике (С. 330, 414).

Подведем итоги сказанному. К рассмотрению частных труд г. Иловайского мы приступили с замечанием, что труд этот кажется нам составленным поспешно. Полагаем, что недосмотры, которые нами отмечены, подтверждают это замечание и служат доказательством того, что книга требует пересмотра и усовершенствования. В настоящем своем виде она никак не может иметь того значения, какое склонен ей придавать автор. “Истории” Карамзина и Соловьева явились с цельными воззрениями на русскую историческую жизнь, воззрениями, которые для своего времени представляли новизну, давали толчок науке. “Истории” Карамзина и Соловьева внесли в науку так много нового материала, что стали на долгое время в ряд “источников” для истории. Взгляды г. Иловайского иногда требуют простых поправок и новинкою не являются; материал, обработанный г. Иловайским, и до него составлял общее достояние, ибо г. Иловайский рукописями не пользовался¹⁵. Мерка труда “историографического” (по терминологии г. Иловайского) для его книги оказывается слишком крупной.

Если же приложить к произведению г. Иловайского иное мерило, более соответствующее, – посмотреть на его книгу как на опыт популярного изложения русской истории, рассчитанный на среду неспециалистов, – то книга окажется обладающею большими достоинствами и может заслужить благодарность автору со стороны читающей публики. Живое изложение, умение стройно комбинировать материал, фактическая полнота при сравнительно небольшом объеме труда – неотъемлемые достоинства “Истории России” г. Иловайского как сочинения популярного. Мы не разделяем мнения тех рецензентов, которые взглянули на разбираемую книгу как на грубую компиляцию. Автор безусловно широко осведомлен в нашей исторической литературе и со стороны изложения совершенно самостоятелен. Но работая с помощью не исключительно источников, автор неизбежно должен был становиться в зависимость от монографической литературы; и этого ему нельзя ставить в упрек. Напротив, следует совершенно согласиться с автором, когда он признает своей заслугой то, что, следя за развитием нашей историографии, он нашел нужным ввести в свое изложение новые отделы и достаточно потрудился как над историей Литовско-русского государства, так и над историей на-

¹⁵ Исключение составляет одна, если не ошибаемся, эпистола Ивана Пересветова (см. с. 687).

шей внешней культуры. В полноте своего плана он пошел далее писателей середины нашего века и приблизился к той наиболее полной программе, которой старался следовать в своей специальной “Русской истории” К.Н. Бестужев-Рюмин. И, конечно, в отделах, вновь введенных, г. Иловайский не имел таких образцов, с которых ему можно было бы грубо копировать, а между тем, эти отделы полностью, ясностью и живостью изложения не уступают всем прочим главам книги.

Последние наши слова свидетельствуют, что мы не задались целью во что бы то ни стало уничтожить значение труда г. Иловайского. Мы только не считали возможным принять ту точку зрения на этот труд, на какую желал бы поставить читателя автор. Мы отрицательно отнеслись к той мысли, что труд г. Иловайского может влиять на развитие нашей историографии или отражать во всей полноте ее современные успехи. Но мы далеки от того, чтобы отрицать назидательное значение “Истории” г. Иловайского для среды неспециалистов, для читающей публики, которая, конечно, и не замедлит оценить разбираемую книгу так же благосклонно, как оценил ее с точки зрения этой публики критик Русского вестника (февраль 1891 г.).

Нечто о земских “сказках” 1662 года¹ (1891)

С тех пор, как во главе управления Московским архивом министерства юстиции стал Н.А. Попов, заметно большое оживление в работах по описанию, изданию и исследованию богатств этого архива. Производятся эти работы служебным персоналом архива; ведутся они весьма энергично, с полным знанием дела, с известною системою, благодаря чему последние книжки “Описания документов и бумаг” архива приобретают несомненное научное значение и немалый интерес. Имена участников этого издания, а равно и других ученых деятелей архива, пользуются известностью в нашей исторической литературе, появляясь не только в изданиях самого архива, но и на страницах ученых наших журналов.

К этой почтенной среде архивных деятелей примыкает А.Н. Зерцалов, выступивший впервые с материалами для истории земского собора 1648–1649 гг., напечатанными г. Латкиным в 1884 г. (“Материалы для истории земских соборов XVII ст.”). Другую часть этих материалов г. Зерцалов напечатал в Чтениях Общества истории и древностей за 1887 год (кн. 3). Наконец, в последнее время г. Зерцалов обнаружил новые свои архивные находки, касающиеся народных волнений в Москве в 1648, 1662 и 1771 годах². И в прежних изданиях, и в настоящем прием отношения г. Зерцалова к материалу однообразно прост: печатаются документы, целиком или в выдержках, иногда приведенные в некоторый порядок, иногда же и без того; документам предпосылается введение, заключающее в себе краткий пересказ печатаемых документов и первоначальную оценку их пригодности как источника для истории того или другого вопроса. За ученое исследование самого вопроса г. Зерцалов не берется, оставаясь в роли только издателя и комментатора. Нельзя, конечно, не благодарить г. Зерцалова за ту энергию, с какою он отыскивает документы; но

¹ Зерцалов Л. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском 1648, 1662 и 1771 гг. // Чтения ОИДР. 1890. Кн. 3.

² Перечисляя труды г. Зерцалова, не касаемся его критических статей; о них см. “Памятную книжку Московского архива министерства юстиции” (М., 1890. С. 227).

нельзя не отметить, что он не всегда достаточно ценит интерес и значение документа, попадающего в его руки. Благодаря последнему обстоятельству, издания г. Зерцалова заключают в себе рядом с памятниками значительного интереса немало и такого материала, о котором нельзя даже сказать, на что он может пригодиться при изучении вопроса, занимающего г. Зерцалова. Такой малопригодный балласт особенно велик в последнем издании г. Зерцалова “О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском”.

Издание это состоит из трех, совершенно друг от друга независимых отделов. В первом после введения помещены документы, относящиеся к истории московских волнений 1648 года. На первом месте (С. 29–116) напечатаны многочисленные выписки из приходо-расходной книги Патриаршего казенного приказа за 7156–7159 годы. Эти выписки могут служить лучшим подтверждением только что сказанных нами слов о недостатке строгого выбора документов в издании г. Зерцалова. Раз книга Патриаршего приказа напечатана не целиком, – она не может служить с пользой для изучения патриаршего хозяйства; но она не касается и истории бунта 1648 г., так как к бунту никакого отношения не имеет, кроме разве того, что упоминает имена лиц, известных по обстоятельствам бунта. Не большее значение для истории волнений может иметь и роспись жильцов, ходивших “в походы” с царем Алексеем в 1647–1648 годах (С. 207–219); в ней, кстати сказать, как раз нет упоминаний о том майском походе царя в Троицкий монастырь, за которым последовал бунт. Любопытнее другие документы – сыскные дела о Л. Плещееве и Скобельцыных (С. 116–192), о князе Юсупове и его людях (С. 192–207), о беспорядках на Покровской улице в Москве и т.д. (С. 223–231). Эти дела рисуют нам любопытные черты нравов того времени и свидетельствуют о ненормальностях общественной жизни, позволявших, например, такому ничтожному человеку как сосланный в Сибирь Леонтий Плещеев открыто похваляться: “про меня де ведает государь, что я зерщик”; “у меня де Москва была в руке вся, я де и боярам указывал” (С. 186). Не Леонтий, конечно, а случайные люди первых лет Алексея царствования держали “в руке” Москву: Леонтий же был этим людям не совсем чужой человек. Для истории частного землевладения в XVII веке не лишен значения документ, заключающий в себе перечень вотчин Б.И. Морозова и его брата Глеба (С. 231–236); этот документ следует сопоставить с известными статьями И.Е. Забелина о вотчинном хозяйстве Б.И. Морозова. Напрасно, однако, г. Зерцалов ссылается на этот документ в доказательство своего мнения, что из ссылки “Морозов вернулся в Москву не ранее 14-го сентября 157 г.”, ибо “25-го сентября он получил из Поместного приказа на свои вотчины” новые документы (С. 20). Можно, кажется, считать

установленным, что Морозов был вызван из Тверской вотчины 22-го октября 157 (1648) года и прибыл в Москву к 29-му октября; стало быть, 25-го сентября документы получены были из Поместного приказа еще в отсутствие Морозова. При оценке перечисленных материалов г. Зерцалов допускает и другие неточности. Так, на с. 18-й в примечании 80 число приказов, существовавших в 1648 году, безо всякой оговорки он ограничивает цифрой 24; на с. 19-й общеземское челобитье о реформе посадского устройства он выдает за челобитье московских жителей.

Несравненно большее историческое значение могут иметь документы, собранные г. Зорцаловым для объяснения бунта 1662 года и изданные им, к сожалению, без всяких сколько-нибудь вразумительных легенд. В том порядке, какой принят издателем в размещении документов, мы прежде всего знакомимся с подлинными “сказками” торговых людей г. Москвы, составленными по поводу финансового кризиса 50–60-х годов XVII века. По желанию правительства торговые московские корпорации в 1662–1663 годах “подавали и сказывали многие сказки о пополнении серебра”, точнее, о мерах, которыми можно было бы поправить дурные последствия правительственной операции с медными деньгами. Здесь не место входить в разбор проектированных московским купечеством мероприятий. Десять “сказок”, напечатанных г. Зерцаловым, заслуживают специальной оценки как потому, что характеризуют взгляды московских людей на задачи и средства экономической политики, так и потому, что дают любопытные сведения о фактической стороне кризиса, дошедшего в тот момент до своего апогея. Очень любопытна одна частности в этих сказках московских людей; она вносит новую и притом драгоценную черту в историю древнерусского представительства. В феврале 1662 г. люди Кадашевской слободы, в апреле гости и люди гостиной и суконной сотен, в мае люди черных сотен и слобод предлагают правительству в числе мер к пресечению кризиса собрать земский собор, вместо того чтобы обсуждать положение дела с одним московским купечеством. “А о сем великаго государя милости просим, – говорят кадашевцы, – чтоб великий государь изволил взять сказки у городовых земских людей, что то дело всего его великаго государства” (С. 250). Гости и гостиной сотни торговые люди выражаются еще определеннее: “о том мы ныне одни сказать подлинно недоумеемся для того, что то дело всего государства всех городов и всех чинов, и о том у великаго государя милости просим, чтоб пожаловал великий государь, указал для того дела взять изо всех чинов на Москве и из городов лутчих людей по 5 человек; а без них нам одним того великаго дела на мире поставить не возможно” (С. 260). Люди суконной сотни ограничиваются кратким заявлением: “а о медных деньгах сказать и их на мере поставить, что им

быть, или переменить, о том не домыслимся, что то дело великое всего государства всей земли” (С. 264). Люди же черных сотен и слобод дают своему заявлению форму, довольно близкую к форме заявления гостей: “о том великого государя милости просим, чтоб великий государь указал взять изо всяких чинов и из городов лутчих людей, а без городских людей о медных деньгах сказать не уметь потому, что то дело всего государства и всех городов и всяких чинов людей” (С. 265). Почти девять лет прошло со времени последнего земского собора 1653 года; правительство, видимо, отказывалось от прежней своей практики частых соборных совещаний; но земщина еще помнила эту практику, считала ее лучшим средством “на мере поставить” важное дело и просила возвращения к старине. Эта просьба земских людей, оставшаяся без удовлетворения, является еще одним лишним свидетельством против старого мнения, что земские соборы сами собою склонились к упадку, обратясь в лишнюю реальную смысловую формальность.

За “сказками” московских людей помещено несколько мелких документов, касающихся истории того же финансового кризиса³, а затем следует полное сыскное дело о бунте 1662 года (С. 295–362). Оно с мелочной подробностью вскрывает перед читателем весь ход волнения, всех его коноводов и участников. Для восстановления фактов мятежа документ г. Зерцалова будет, бесспорно, первым, важнейшим источником.

Не буду останавливаться на третьем отделе издания г. Зерцалова: здесь помещены бумаги, извлеченные из следственного производства по поводу московского бунта 1771 года. Они дают полный перечень лиц, попавших под следствие, а также сообщают и кое-какие данные о ходе самого бунта.

Все сказанное, надеюсь, может дать читателю основание судить благосклонно о характере и пригодности труда г. Зерцалова. Новый сборник почтенного собирателя не будет обойден ни одним исследователем общественной истории XVII (преимущественно) века. Лепта, вносимая г. Зерцаловым в сокровищницу нашей археографии, заслуживает признания и благодарности.

³ В них есть не лишнее значения свидетельство, что еще в 1662 году касимовские посадские люди “живут... за касимовским царевичем Васильем Араслановичем, и таможенные доходы собираются... на него ж”; при этом посадские люди названы “крестьянами” царевича (С. 282). Фактом этим можно, кажется, пополнить список “кормлений” XVII века, помещенный у А.С. Лаппо-Данилевского (Организация прямого обложения в Московском государстве. СПб., 1890. С. 511).

Как возникли чети? **К вопросу о происхождении** **московских приказов-четвертей** **(1892)**

В последнее время вопрос о “четвертях” стал на очередь в специальной литературе. В трудах молодых ученых П.Н. Милюкова, С.М. Середонина и В.Н. Сторожева вместе с пересмотром старых данных и мнений по вопросу сделаны были попытки и новых толкований. Эти новые толкования, представленные, с одной стороны, гг. Милюковым и Сторожевым, с другой – г. Середониным, уничтожают старые теории о происхождении и значении “четвертей” и в то же время строят на их место совершенно разноречивые предположения. Тому, кто сопоставит одно с другим эти предположения, становится ясно, что каждое из них имеет свои слабые стороны и целиком не может быть принято. Вопрос, таким образом, ими не разрешается, и причиною этого следует считать не что иное, как недостаток фактических данных, на которых приходится строить ту или другую теорию.

В самом деле, официальные документы, сохранившиеся от конца XVI века, ничего определенного не говорят ни о том, как возникли чети, ни о том, отчего и для чего они возникли. Довольно неожиданно и на первый взгляд необъяснимо рядом с Большим дворцом и Большим приходом, сбиравшими дворцовые и государственные доходы, во второй половине XVI века становятся заметны несколько четей дьячих канцелярий, точно также сбиравших доходы. Что могло в XVI веке вызвать необходимость в подобном дроблении государственной кассы, в таком беспорядочном на первый взгляд нагромождении финансовых учреждений? Или же это дробление было наследием еще удельных времен, наследием, не заметным для нас в первой половине XVI века и оставившим след в документах только с семидесятых годов этого столетия?

До недавнего времени господствовало именно последнее предположение, что многочисленность касс создавалась в Москве как результат постепенного присоединения уделов; для управления вновь присоединенною областью создавалась будто бы “областная четь”, которая мало-по-малу получала значение преимущественно финансового учреждения, так как имела дело с податными слоями областного населения. Позднейшими представителями

этого взгляда можно считать М.Ф. Владимирского-Буданова¹ и А.С. Лаппо-Данилевского². С большим основанием против такого понимания дела выступил П.Н. Милюков³. Он стремится доказать, что чети были не архаизмом в слагавшейся системе московского управления, а, напротив, новинкою, вызванною к жизни отвлеченными административными соображениями, постепенным разделением доходов на дворцовые и государственные, и затем этих последних – на общегосударственные и местные. По словам г. Милюкова, “Московский Большой дворец первоначально один ведал все доходы Московского государства. К последней четверти XVI века, однако, находим доходы государственные уже выделенными из доходов дворцовых; вместе с ними выделяется и дворцовый Большой приход. Затем в течение последней четверти столетия происходит дальнейшее разделение государственных доходов на специальные общегосударственные – продукт новых государственных потребностей – и отчасти исстари сложившиеся, отчасти вновь переведенные на деньги или вновь обращенные на государственное употребление местные доходы; и опять соответственно этому разделению выделяются из Большого прихода областные приказы, долго сохраняющие связь с Большим приходом, как и сам Большой приход сохраняет продолжительную связь с Большим дворцом”⁴.

Этой теории г. Милюкова можно сделать такой же упрек, какой г. Милюков делает А.Д. Градовскому за его изображение четей – в излишнем схематизме. Очень трудно убедиться в том, например, к чему г. Милюкова привели его априорные точки зрения, – в первоначальном тождестве Большого прихода, Четвертного приказа (и просто Четверти) и Дворца, к тому же еще в годы сравнительно

¹ *Владимирский-Буданов М.Ф.* Обзор истории русского права. Киев, 1886. Вып. 1. С. 156–157.

² *Лаппо-Данилевский А.С.* Организация прямого обложения в Московском государстве. СПб., 1890. С. 453–455 (и далее).

³ *Милюков П.Н.* Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII века. СПб., 1892 (из ЖМНП). Гл. 1, § 2, и гл. 5, § 22. Здесь изложена история самого вопроса о четвертях. В.Н. Сторожев не без основания заметил, что мнение г. Милюкова находится “в тесной связи с мнением А. Лохвицкого” (*Сторожев В.Н.* К вопросу о “четвертиках” // ЖМНП. 1892. Январь. С. 195; ср.: *Милюков П.Н.* Государственное хозяйство России... С. 38). Мы бы прибавили, что к своим выводам г. Милюков приведен был и соображениями чисто теоретического свойства: в истории московской финансовой администрации он склонен наблюдать “эволюцию финансового управления: выделение из Дворца – Большого прихода и разделение последнего на чети” (ср. с. 34 и Оглавление); эта эволюционная теория поддерживалась в глазах исследователя и показанием Маржерета о подчинении четей Большому приходу.

⁴ Там же. С. 34.

поздние (1581–1583 гг.), тогда как сам же г. Милюков готов в другом месте признать, что выделение четей из Большого прихода (не только этого последнего из Дворца) обозначилось уже к последней трети или четверти XVI века⁵. Сам г. Милюков не скрывает, хотя и представляет кажущимся, то противоречие, в каком стоят две группы фактов, собранных им одна для доказательства тождества доходов “четвертных” и “Большого прихода”, другая – для доказательства их различия⁶. С другой стороны, по изложению г. Милюкова, учреждение четвертей как будто не имело иной цели, кроме той, чтобы разделить кассы поступлений общегосударственных и местных; по крайней мере, более практических соображений для этого учреждения не указывается. Но можно ли предполагать, чтобы московское правительство руководилось такого рода теоретическими побуждениями в создании ведомств? Могли ли в то время существовать и двигать практическими мероприятиями такие отвлеченные представления о принципах и задачах устройства финансового управления? Была ли, наконец, действительная потребность в том, чтобы вместо одной кассы создать их несколько, и если была, то в какой форме выразилась на деле?

Одновременно с г. Милюковым вопроса о четях коснулся и С.М. Середонин, представив свои догадки о происхождении этих учреждений при разборе показаний о них Флетчера⁷. Гипотеза г. Середонина сравнительно с представлениями г. Милюкова более исторична. Г. Середонин начинает с определенного момента и факта: “по уничтожении наместников во многих волостях, – говорит он, – и вслед за введением там самоуправления круг действий центральных учреждений расширяется, что понятно само собою, раз уничтожена была инстанция, через которую до сих пор правительство сносилось с областным населением”⁸. Место этой упраздненной инстанции заняли в центральном управлении не учреждения, а лица: казначеи и дьяки. В первый раз в опричнине эти лица сомкнулись в учреждение, которое должно было управлять изъятыми из земщины городами и волостями. “Тогда, – говорит

⁵ Там же. С. 26–27, 29 и 300.

⁶ Там же. С. 28.

⁷ *Середонин С.М.* Сочинение Джильса Флетчера “Of the Russe Common Wealth” как исторический источник. СПб., 1891. Гл. 4. §§ 1 и 3.

⁸ Там же. С. 261. Едва ли не под влиянием книги Ф.М. Дмитриева (История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до Учреждения о губерниях. М., 1859) пришел г. Середонин к выбору этой исходной точки для своего рассуждения (см.: *Середонин С.М.* Сочинение Джильса Флетчера... С. 264; *Дмитриев Ф.М.* История судебных инстанций... С. 120 и след.).

г. Середонин, – скоро после 1566 года и возник в Москве Дворовой или Дворцовый четвертной приказ, Четверть, ведавшая все опричные города и волости... Дьяки, сидевшие в этом приказе, ведавшие доходы на царя, заведывали каждый известными областями”. По уничтожении опричнины это учреждение, возвращенное с своим ведомством в государство, потеряло единство, распалось на несколько дьячих канцелярий, соответственно числу дьяков Четвертного приказа; вместо этого приказа или одной Четверти стало несколько четвертей. Прежде Четверть в опричнине содержала на свои доходы опричников, теперь четверти, возвратясь в государство, содержат вообще служилых людей, “четвертчиков”. После стольких пертурбаций ведомство каждой из этих четей не могло сразу определиться и устояться, чем и объясняются перемены в этих ведомствах, происходившие непрерывно до самого конца XVI века.

Главное достоинство этой схемы в том, что в ней верно и очень чутко взята исходная точка – в административных реформах Грозного. Слабая же сторона схемы заключается в том, что опричнина, хотя и остроумно, и даже не без оснований, но без настоящей нужды включена в число стадий, чрез которые при своем зарождении прошли чети. Оба автора, и г. Милюков, и г. Середонин, как и следовало ожидать, стали в затруднении пред теми “дворовым Большим приходом” и “дворцовым Четвертным приказом”, которые вскоре после 1580 г. появляются в грамотах рядом просто с Большим приходом и просто с Четвертным приказом. Из путаницы показаний нескольких грамот г. Милюков думал выйти чрез сближение “дворовых” или “дворцовых” учреждений с Большим дворцом и чрез отождествление Большого прихода с Четвертным приказом; а г. Середонин под термином “дворцовый” разумел иной смысл: для него “дворовое” или “дворцовое” учреждение значило учреждение в опричнине. Отсюда и явилось у г. Середонина предположение, что Четвертной приказ (он же и “дворовый Большой приход”) учрежден был в опричнине и отсюда в виде четвертей передан в земщину. С этим вряд ли возможно согласиться; тем не менее, поиски г. Середонина в опричнине представляются нам не совсем уже безосновательными: и по нашему мнению, термин “дворовый” легче истолковать как наследие опричнины, чем видеть в нем признак зависимости четей и Большого прихода от Дворца, признак запоздалый, не наблюдаемый в третьей четверти XVI века и воскресший в последнюю четверть. Таким образом, предположения г. Середонина представляются нам более, чем схема г. Милюкова, близкими к правильному разумению дела.

В самом деле, есть возможность некоторыми соображениями подтвердить правильность исходного пункта рассуждений г. Середонина; надобно только видоизменить вопрос, чтобы поставить это рассуждение на более правильный путь. Г[осподин] Середонин, как и г. Милюков, старался уловить *причину появления Четвертного приказа* или четей; легче, нам кажется, определить *цель учреждения* их. Она в XVI веке довольно ясна. Назначение четей – содержать известное число служилых людей годовым жалованьем из фонда, образуемого путем взноса известных податных платежей непосредственно в четверти подлежащими податному обложению лицами и общинами. Таким образом, у изучаемых нами учреждений как бы две стороны; одна обращена к служилым людям: четь выплачивает им “годовые деньги”, “годовой оброк”; другая обращена к податному населению: четь взимает с него “четвертные доходы”. Совершенно основательно заметил Н.Д. Чечулин и подтвердили гг. Милюков и Середонин⁹, что в чети шли доходы, имевшие местный характер, тогда как в Большой приход – доходы общегосударственные; в чети в XVI веке направлялись всего чаще разные виды “оброчных” денег, за “наместнич доход и за присуд оброк и пошлины”, “за посельнич доход” и т.д. В то же самое время оклады, которые давались из четвертей служилым людям, также носили, как сейчас указано, название “оброка”¹⁰. Можно поэтому представлять себе дело так, что назначением четей была передача оброчных денег каким-то служилым людям, имевшим право на эти оброчные деньги. Остается узнать, какие же это оброчные деньги и кто имел на них право; разрешение этих вопросов разрешит вопрос и о цели учреждения четей, и о смысле их деятельности.

Возможен, нам кажется, лишь один ответ на эти вопросы: идущие в чети оброчные деньги “за наместнич доход” и проч. есть не что иное, как “кормленный окуп”, “оброк”, установленный уложением 7064 (1555–1556) года в виде выкупа за уничтоженные кормленья; право на этот “оброк” получили те, кто ранее имел право на кормленье. Об этой операции в Никоновской летописи¹¹ читаем любопытное место, которым следует начинать историю

⁹ Чечулин Н.Д. Города Московского государства в XVI в. М., 1889. С. 186–187; Милюков П.Н. Государственное хозяйство России... С. 27; Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера... С. 307 и др.

¹⁰ Акты Московского государства. СПб., 1890. Т. 1. С. 32. № 19; Описание документов и бумаг Архива Министерства юстиции. М., 1891. Кн. VIII. Десятни. С. 87. Примеч. 3; *Сторожев В.Н.* К вопросу о “четвертчиках”. С. 197 и 206.

¹¹ Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1791. Ч. 7. С. 261 (см. также: Книга глаголемая летописец Федора Кирилловича Нормантского // Временник ОИДР. М., 1850. Кн. 5. Отд. 2. С. 96); ср.: РИБ. Т. 3. С. 256.

четей: “На грады и на волости (велел государь) положить *оброки* по их промыслом и по землям и те *оброки* збирати к царским казнам своим *дьяком*; бояр же и велмож и всех воинов устроил и кормлением, праведными уроки, ему ж достоин по отечеству и по родству, а городовых в четвертой год, а иных в третьей год денежным жалованьем”. Оброки в этой цитате – будущие “четвертные доходы”, собирающие их дьяки – “четвертные дьяки”, “бояре и вельможи и все воины” – “четвертчики”, которые получили право на новое “кормление”, на “праведные уроки”, то есть на годовой оброк из чети; наконец, “городовые” служилые люди – те, которые жалованье “емлют с городом” не каждый год¹².

Изложенными соображениями, как кажется, совершенно разъясняется вопрос о том, *почему и для чего* возникли чети. Становится понятен специальный характер поступлений, шедших в четь, понятно и их специальное назначение, о котором узнаем из десятиен и других документов. Г. Середонину нельзя, таким образом, отказать в большой чуткости и прозорливости, дозволившей ему верно определить тот момент и тот факт, от которых действительно следует вести историю интересующих нас учреждений. Но изложенные соображения все-таки не разрешают недоумений, связанных с вопросом, *как* возникли чети, то есть какую форму они получили первоначально и какое место заняли в московской административной иерархии. Никоновская летопись говорит, что царь велел “те оброки збирати к царским казнам своим *дьяком*”, и на основании этого известия можно думать, что в первый же момент своего существования четь стала дьячьей канцелярией. Г. Милюков полагает, что эту дьячью канцелярию (или несколько таких канцелярий) следует искать внутри Большого прихода, а г. Середонин помещает ее в опричнине. Оба они стоят на почве догадок, а не твердых выводов, и этим догадкам, кажется, нельзя дать полной веры ввиду следующих соображений.

Появление Четвертного приказа, или “Четверти”, обусловленное появлением “кормленого окупа”, наблюдается несколькими годами позднее административной реформы 1555 года. Кормленный окуп первоначально распределялся между дьяками различных приказов: он шел, например, дьякам Большого дворца

¹² Значение уложения 7064 года и (отчасти) смысл изложенных здесь обстоятельств раскрыты в труде В.О. Ключевского “Состав представительства на земских соборах” (Русская Мысль. 1892. Январь. С. 155 и след., особенно С. 158 и 160). Несколько поздний, но очень красноречивый пример прямой связи установления четвертных сборов с фактом уничтожения наместничья управления находится в РИБ. Т. 2. № 39. Стб. 46–47.

и Поместного приказа (в 1555–1556 гг.)¹³. Впервые “Четвертной приказ” упоминается не в 1582 году и не в 1576 году, как думали, а уже в 1569 году – и сразу с очень определенным характером учреждения, ведающего специальные сборы: “с Поморских с Пушлахотцких и с Золотицких дворов и с пожен и с мельниц и с рыбных ловель и со всяких угодей давати им в нашу казну в **Четвертной приказ** дань и оброк по книгам писцов наших Якова Сабурова и Никиты Яхонтова”, – читаем в царской жалованной грамоте Кириллову монастырю от 26-го августа 7077 (1569) года¹⁴. Чрез несколько лет, в 1574 году, монастырские власти просили государя, чтобы с помянутых Золотицких дворов и угодий “им те **оброчные деньги** и иные пошлины велети в нашу казну платити им самим на Москве в **Четвертной приказ**... а привозити им те **оброчные деньги** на Москву в **Четверть** самим на срок на Крещенье Христово ежегод с Каргопольскими данными деньгами вместе” (С. 546–547). Достоинно замечания, что жалованная грамота 1569 года исчисляет владения Кириллова монастыря в Каргопольском уезде по показаниям двух переписей: Якова Сабурова “с товарищи” 7064 (1556) года и Никиты Яхонтова “с товарищи” 7070 (1562) года, причем эти переписи не всегда преследуют одинакие цели. Сабуров писал уезд обычным порядком, а Яхонтов писал, кажется, одни оброчные статьи; поэтому и читаем в грамоте такие, например, выражения: “в дани те угодья по Яковлеву письму Сабурова и в оброке по Микитину письму Яхонтова” (С. 508). Оброки с промыслов и угодий определяются и по тому и по другому письму¹⁵, но кормленный окуп – по письму именно Яхонтова, например: “с того двора по Яковлевым книгам Сабурова дани и ямских денег, и за городовые и за засечные, и за емчужное дело и всяких пошлин и пищальных денег на год три алтыны и полтретьи деньги; а по Никитиным книгам Яхонтова за наместничь доход и за присуд оброку и пошлин двенадцать алтын

¹³ ААЭ. Т. 1. № 243; ср. АИ. Т. 1. № 165 (С. 318); ААЭ. Т. 1. № 250; *Лишачев Н.П.* Разрядные дьяки XVI века. М., 1888. С. 271–272 (о дьяке Угриме Львове), 262–263 (о дьяке Путиле Нечаеве).

¹⁴ Рукопись Археографической комиссии № 112. С. 533. Описание рукописи см. в труде Н.П. Барсукова “Рукописи археографической комиссии” (СПб., 1882. С. 52–54). Этим любопытным сборником копий с царских грамот Кириллову монастырю мы будем пользоваться и ниже, отмечая при цитатах в самом тексте в скобках страницы сборника.

¹⁵ Рукопись Археографической комиссии № 112. С. 622: “Да в тех же во Яковлевых книгах Сабурова написано... с варничного двора и с пожен... у Григорья Никитина оброку двадцать пять алтын, а в книгах письма Никиты Яхонтова с того двора и с пожен написан тот же оброк”; также см. с. 523, 524, 532.

с деньгою; всего пятнадцать алтын и по(л)четверты деньги”¹⁶. Это обстоятельство позволяет построить предположение, что Яхонтов был послан в 1562 г. в поморские города именно для определения размера четвертных сборов, которые потом и были направлены в специальное учреждение, в особый Четвертной приказ. Заметим, что в те же самые годы тот же самый плательщик, то есть Кириллов монастырь, имеет дело и с Большим приходом, которому в 1564, 1568, 1576 годах платит неизменно одни и те же “ямские и приметные деньги, и за городовые и за засечные, и за емчужное дело”¹⁷. Различение платежей, идущих в Четверть и Большой приход, проводится в документах весьма отчетливо, – знак, что твердо различаются и самые учреждения. Вот тому пример: В начале 7085 (1576–1577) года власти Кириллова монастыря бьют челом государю: “идет де им в Кириллов монастырь на *Москве из Большого приходу* нашего жалованья с (sic) денежные годовые руги по 58 рублей и по 10 алтын и по 4 деньги на год; и нам бы их пожаловати, велети им то наше жалованье денежную ругу давати на Белеозере из белозерских доходов ежегод безпереводно; и мы... пожаловали на нынешней 85 год дали им годовую ругу из Большого приходу на Москве,... а вперед пожаловали есмя, велели им давати ис своих *из белозерских из ямских* денег...”¹⁸. Ямские деньги из различных мест поступают в Большой приход, – ими же через это именно учреждение и распоряжается московская администрация на местах.

Эти наблюдения и справки могут, как кажется, убедить в том, что уже в шестидесятых и семидесятых годах XVI века Большой приход и Четвертной приказ, или просто Четверть, явно различаются: это – два параллельных, но не совпадающих учреждения, ведомства которых, близкие, но не тождественные, касаются двух различных видов окладных доходов. И позже можем мы наблюдать такое же отсутствие прямых отношений между изучаемыми учреждениями.

¹⁶ Там же. С. 520; ср. с. 520–521, 525. Исключение составляют слова на с. 526–527: “Да в Яковлевых же книгах Сабурова написано: в Золотице дв. Гаврило Мохнаткин,... а дани и ямских денег и всяких пошлин и пищальных денег с того двора на год два алтына и две деньги, да за наместнич доход и за присуд оброку семь алтын с полуденьгою, всего девять алтын полтретьи деньги”. Ввиду того, что это – единственное указание такого рода и что существование кормленого окупа в Золотице в 1566 г. (время переписи Сабурова) ничем иным не подтверждается, мы готовы подозревать здесь пропуски обычных в других случаях слов: “по Никитиным книгам Яхонтова” перед словами “за наместнич доход”.

¹⁷ Там же. С. 414, 415, 417, 418, 493, 494, 549, 550.

¹⁸ Там же. С. 570–571.

Не было в то же время прямой связи между Четвертью и опричниной: по крайней мере, г. Середонин не нашел ее доказательств и остался при одних о ней догадках. Мы же думаем, что есть данные для того, напротив, чтобы совершенно отрицать эту связь. Они заключаются в местническом деле Василия Зюзина с Федором Нагим, в том самом деле, частности которого уже привлечены к изучению вопроса о четах¹⁹. “Государь князь Иван Васильевич Московский” и “великий князь Семион Бекбулатович всеа Руси” были с двором в Старице, когда началось это дело. Понадобились справки в Москве, и их требуют грамотою от разрядного дьяка Андрея Щелкалова. Он должен выписать некоторые случаи из старых разрядов и должен навести справки о жалованной на Галицкое кормленье грамоте: “И скажет Петр, что он тогда про тое грамоту явки в которых будет *приказех* давал, — и ты б *по приказом* тех явок велел сыскати, а сыскав бы еси с тех явок велел списати списки; да те списки *за дьячьими приписьми* и *за своею печатью* прислал к нам часа того; да чтоб еси велел сыскав выписать ис книг грамоты, какова грамота в прошлых летех дана А. Шетневу да М. Тучкову на жалованье на Галич и кто у них тогда был большей и хто меньшей, а сыскав и выписав то все против сее грамоты, *за своею приписью* и *за печатью* тое выпись к нам прислал...” (С. 21). Троякого рода поручения даются А. Щелкалову: во-первых, справки из разрядов он должен навести в своем Разрядном приказе; во-вторых, о явках спросить памятями другие приказы и, получив ответы “за дьячьими приписьми”, переслать их (пакетом) “за своею печатью” к царю; в-третьих, наконец, у себя в приказе, “за *своею приписью*”, должен выписать из книг жалованную грамоту на Галич и тем же порядком послать в Старицу. И вот, на первое Щелкалов отвечает государю: “что яз, холоп твой, в разрядах сыскал, и яз, написав на список, *за своею приписью* послал к тебе, государю”; на второе он ничего не может ответить, ибо Петра (Шетнева) на Москве не оказалось и о явках от него сведений нельзя было получить; на третье же у Щелкалова читаем вдвойне для нас любопытный ответ: “А о жалованной о Галицкой грамоте, как давана Офонасью Шетневу, в которых книгах, сыскивают *четвертные дьяки во всех четвертях*, и что, государь, в которой четверти сыщут, и яз, государь, в тот час, выписав, к тебе, к государю, пришлю” (С. 22–24). Стало быть, в 1576 году четвертей уже несколько, и все они в ведомстве Андрея Щелкалова, с “приписью” которого исходят из

¹⁹ Русский исторический сборник / под ред. М.П. Погодина. М., 1842. Т. 5. С. 1–36.

них документы. Отсюда, кажется, возможен бесспорный вывод, что четверти существовали одновременно с опричниной и вне ее, в ведении дьяка не дворового, а земского²⁰. Это во-первых.

Во-вторых, приведенные документы 1576 года наводят на ту мысль, что четверти (или Четвертной приказ) в данном случае подчинены Андрею Щелкалову именно потому, что он дьяк Разряда, то есть связаны не с лицом дьяка, а с учреждением. Недаром же цитированная нами выше грамота 1574 года, дававшая право кирилловским властям самим платить деньги в Четверть на Москве, подписана дьяком Андреем Клобуковым, который в те приблизительно годы был в Разряде²¹. И еще более знаменательно, что, когда в 1577 году в Разряде Василий Щелкалов сменил брата Андрея, появилась и “четверть дьяка Василия Щелкалова”, собиравшая уже в 7087 (1578–1579) году доходы с Каширы²². В то же самое время, в 1578 году, находим еще “четверть дьяков Андрея Арцыбашева да Алексея Исакова”, в которую поступает оброк с рыбных ловель в Каргопольском уезде²³; но и Андрей Арцыбашев в это время был разрядным дьяком²⁴. Не смеем утверждать, что все эти намеки памятников с непрерываемою достоверностью доказывают наше предположение о подчинении четей разрядным дьякам, но думаем, что это предположение не менее вероятно, чем все другие – о четьях в Большом приходе или в опричнине, что оно, далее, не опровергается прямо ни одним из известных до сих пор фактов и, наконец, имеет за себя априорные соображения. В самом деле, четвертные доходы, по своему происхождению и назначению, скорее всего могли сосредоточиться в Разряде. Кормленщики и их потомки, верхний слой служилого люда, и службою своею, и вознаграждением за нее в виде административных полномочий, то есть кормлениями, подлежали ведению именно Разряда или, точнее, боярской думы, ведавшей их через

²⁰ “Дьяк разряду дворового” Андрей Шерефединов был в то время в Старице и судил то самое дело Зюзина с Нагим, для которого Андрей Щелкалов давал из Москвы справки (Там же. С. 1; ср.: *Лихачев Н.П.* Разрядные дьяки... – по указателю).

²¹ Рукопись Археографической комиссии № 112. С. 548; *Лихачев Н.П.* Разрядные дьяки... С. 462–463, 554 и по указателю.

²² Писцовые книги Московского государства. СПб., 1877. Ч. 1. Отд. 2. С. 1305.

²³ Рукопись Археографической комиссии № 112. С. 645–646 (царская грамота в Каргополь 7086 года, 11-го мая, за приписью дьяка Андрея Арцыбашева).

²⁴ С разрядными дьяками Шеферединовым и Стрешневым записан он в разрядах 1578 года (ДРВ. Ч. 16. С. 350); см.: *Лихачев Н.П.* Разрядные дьяки... С. 473 и 554 (неясно, почему к *этому* времени г. Лихачев относит переход Арцыбашева в Большой приход); также Акты Московского государства. Т. 1. № 21.

Разряд; когда кормления заменены были сборами в Четверть, наблюдение за сборами и четвертями всего скорее должно было сосредоточиться в тех же руках, в Разрядном, а не другом приказе²⁵.

Итак, в шестидесятых и семидесятых годах XVI века Четвертной приказ, или Четверть, представлял собою особую кассу в которой сосредоточивались определенные сборы и ведались определенные расходы. Эта касса была подчинена, по всей вероятности, Разрядному приказу. В восьмидесятых годах Четвертной приказ, распадавшийся и раньше на Четверти, теряет окончательно свое единство, потому что выходит из ведомства одного разрядного думного дьяка и поступает в ведение нескольких думных дьяков²⁶. В таком положении и застал их Флетчер. Ввиду того, что Разряд был думскою канцелярией по преимуществу, а разрядный дьяк по преимуществу секретарем Думы, в этой перемене нельзя видеть чего-либо существенно нового: и раньше чети близки были к Думе, и теперь остались столь же близки к ней; раньше заведывал ими один думный дьяк, а теперь, при развитии деятельности четей, расширившимся учреждением стали заведывать все думные дьяки.

Такова, по нашему представлению, история Четвертей в XVI веке. Намеренно не касались мы до сих пор той частности вопроса, которая особенно занимала предыдущих изыскателей, именно – смысла тех “дворового Большого прихода” и “дворцового Четвертного приказа”, над которыми задумывались г. Милюков и г. Середонин²⁷. Прежде всего скажем, что эти “дворовые” учреждения заметны становятся не ранее 1581 года, когда Четверти (а равно и Четвертной приказ) уже существуют и совершенно ясны в своих функциях; таким образом, считать “дворцовый

²⁵ Не считаем нужным распространяться о том, что Разряд принимал участие в назначении денежного жалования служилым людям; см., например, “Акты Московского государства” (Т. 1. № 21, 123, 124) и статью о четвертчиках В.Н. Сторожева (*Сторожев В.Н.* К вопросу о “четвертчиках”. С. 202–204).

²⁶ К 1580 году относится первое указание на то, что рядом с четью думного дьяка Василия Щелкалова, известной нам в 1578–1679 гг., действует независимо от нее четь думного же дьяка Андрея Щелкалова (ААЭ. Т. 1. № 306). Не считаем помянутой нами чети А. Арцыбашева, быть может, подчиненной тому же Василию Щелкалову.

²⁷ *Милюков П.Н.* Государственное хозяйство России... С. 26; *Середонин С.М.* Сочинение Джильса Флетчера... С. 251–252. Дело идет о трех грамотах 1581–1583 годов (ААЭ. Т. 1. № 312 и № 318; ДАИ. Т. 1. № 225), посланных от дворового Большого прихода и дворцового Четвертного приказа в Ростов и Двинский уезд. В подписях под грамотами и в тексте грамот находятся имена дьяков – в двух Андрея Арцыбашева и Тимофея Федорова, в одной того же Арцыбашева и Семейки Сумарокова.

Четвертной приказ” их родоначальником совершенно нельзя. Далее, название “дворовый” или “дворцовый” в данном случае рискованно толковать как знак принадлежности учреждения к ведомству дворецкого, то есть к Большому дворцу. Наверное, прав г. Середонин, понимающий дело так, что термином “дворовый” обозначалась принадлежность к “двору”, заменившему “опричнину”²⁸. В самом деле, по верному замечанию г. Середонина, “дворовые” учреждения встречаются только в последние годы Грозного, “когда двор едва ли не заменил опричнины”²⁹. Можно думать по некоторым соображениям, что эта замена произошла около 1576 года; по крайней мере, уже в начале 1577 года встречаем определенное указание на “дворовые города” в царской грамоте Кириллову монастырю (9-го марта). По словам этого документа, у монастырских властей была тарханная грамота на вотчины в “дворовых городех”, и эту грамоту царь подтверждает³⁰, перечисляя “дворовые города” в таких выражениях: “на Вологде и в Вологодском уезде, в Пошехонье и в Пошехонском уезде, в Ростове и в Ростовском уезде, в Дмитрове и в Дмитровском уезде, в Каргополе и в Каргопольском уезде и в Поморье”³¹; у грамоты припись дьяка Андрея Шереметьева, о котором знаем, что это был дьяк “разряду *дворового*” и действовал в опричнине³². Если сравним название тех местностей, о которых говорится в грамотах дьяка Арцыбашева из дворового Большого прихода и дворцового Четвертного приказа, с этим перечнем дворовых городов и со списком городов, взятых в опричнину³³, – то убедимся, что эти местности, Ростовский и Двинский уезды, были в опричнине или в “дворовых”, и что “дворовые” приказы, их ведавшие, близки не к Большому дворцу, а к опричнине³⁴. Далее, название “дворовый” к Четвертному приказу Андрея Арцыбашева прилагалось

²⁸ Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера... С. 255.

²⁹ ААЭ. Т. 1. Прим. 63; Соловьев. История. Т. 6. С. 210–211 и Примеч. 95. У г. Середонина ср.: Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера... С. 81–82 и 252; нам кажется, автор близок здесь к противоречию с самим собою; то признает *уничтожение* опричнины в 1576 г., то верит в *замену* ее “двором”.

³⁰ Ср.: Там же. С. 80–81.

³¹ Рукопись Археографической комиссии № 112. С. 594–604. Двумя днями позднее выдана монастырю другая жалованная грамота на владения на Белозере, в Бежецком Верху, в Городецком уезде, на Углече, в Твери, в Московском уезде и в Поморье. Эти места не названы “дворовыми” и вообще не носят какого-либо общего названия. Приписи у грамоты не сохранились.

³² Лихачев Н.П. Разрядные дьяки... С. 467; Русский исторический сборник. Т. 5. С. 1. См. выше: с. 179, примеч. 1 и с. 180, примеч. 4.

³³ РИБ. Т. 3. Стб. 255–256.

³⁴ Александроневская летопись (РИБ. Т. 3. Стб. 256) прямо говорит, что в учреждаемую опричнину “волости государь поимал *кормленным окуном*”.

далеко не всегда: мы уже видели просто “Четверть” этого дьяка, в 1578 году собирающую оброк в Каргопольском уезде; тот же дьяк в том же 1578 году ведал и Двину, не называясь дворовым³⁵; а товарищ его Семейка Сумароков в ноябре 1582 года подписал грамоту в Каргополь, в которой приказывается местным властям о делах писать “к Москве в четверть к дьякам нашим”³⁶. Так, очевидно, что Двина и Каргополь ведались и в семидесятых и восьмидесятых годах одним и тем же учреждением, Четвертью, с дьяком Арцыбашевым во главе, причем этого дьяка в 1578 г. должно считать, вероятнее всего, разрядным³⁷. Почему же эта Четверть Арцыбашева с 1581 года называется “дворцовой” и даже “дворовым Большим приходом”? В такую форму облачается для нас этот вопрос; какой бы ответ на него ни был дан, он не будет иметь сколько-нибудь важного значения для истории происхождения четей. Да вряд ли в настоящее время и может быть дан определенный ответ: из предыдущего изложения можно заключить, что название “дворовый” значит “опричный”; учреждение, ведавшее Ростов и Двину в 1581–1583 гг., одинаково ведало их и раньше; не в нем, конечно, а в опричнине источник каких-то изменений, отразившихся на названии этого учреждения. Однако этих изменений мы не знаем; мы можем только догадываться о том, например, что в начале семидесятых годов Арцыбашев стал, не оставив чети, дьяком Большого прихода и получил в то же время какие-то обязанности по “дворовому” управлению. Но разъяснить эти обстоятельства – дело будущего.

³⁵ ААЭ. Т. 1. № 299.

³⁶ Рукопись Археографической комиссии № 112. С. 683–684 (имен не указано).

³⁷ Напомним, что в 1574 году Каргополем ведала тоже Четверть, как это видно из грамоты, подписанной разрядным же дьяком А. Клобуковым.

К вопросу о сочинениях князя И.А. Хворостинина¹ (1893)

В одном из сборников (синодиков) Императорской Публичной библиотеки (F.I.324) Е.В. Петухов нашел очень любопытный памятник московской письменности XVII века – рассуждение о Царствии Небесном². За этим рассуждением в рукописи следует написанная тем же почерком статья “о воспитании чад”, а за нею, опять тем же почерком, обращение “к читателю”, содержащее ряд таких указаний на личные свойства сочинителя, которые, хотя и не определяют точно лица писавшего, делают его, однако, очень интересным. Е.В. Петухов все три статьи памятника принял за один нравоучительный трактат, как на основании внешних признаков, так отчасти и по существу содержания, и приписал весь этот трактат известному князю Ивану Андреевичу Хворостинину. Можно не согласиться ни с тем, ни с другим заключением г. Петухова.

Определив литературные свойства произведения и его значение в ряде близких ему по теме памятников нашей письменности, г. Петухов пытается собрать все данные об авторе труда, рассеянные в двух последних статьях: “о воспитании чад” и “к читателю”. Автор оказывается замечательным лицом: он был служилым

¹ *Петухов Е.В.* Из истории русской литературы XVII века: Сочинение о Царствии Небесном и о воспитании чад // Памятники древней письменности. СПб., 1893. Т. ХСIII. 8°. 56 с.

² Любопытно решить вопрос, кто прав в определении времени и принадлежности рукописи: Калайдович и Строев говорят, что рукопись “в 7191 (1683) году принадлежала подъячму Ф.Н. Полилову” (*Калайдович К.Ф., Строев П.М.* Обстоятельное описание славяно-русских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке... графа Ф.А. Толстого. М., 1825. С. 100–101); Ф.И. Буслав говорит, что на рукописи год 7191 позднейшею рукою написан вместо бывшего 7148; имя владельца читает он: Палилов (*Буслав Ф.И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 1. С. 622); у г. Петухова год 7191, а владелец – Палмов (*Петухов Е.В.* Из истории русской литературы XVII века... С. 1). Заметим кстати, что запись, находящаяся на лл. 1 – 26 рукописи и, может быть, заключающая 7148 год, не должна быть непременно относима к разбираемому “сочинению”, ибо рукопись F.I.324 писана разными почерками и переплетена в позднейшее время, так что может заключать в себе разновременные части.

человеком, воеводствовал в полках, имел “храмины”, “имения”, “рабов”, отличался образованием, по его словам, “паче сверстник моих в роде моем”; он шел правым путем: “не совратен бех от пути царьска, владыкам бе верен”, – и, тем не менее, его вменили “яко еретика”, обвинили в измене, не дозволили оправдаться, и он пострадал “в темницах”, “во юзах”, “во изгнании”, “в заточении”³. Эти намеки, заключающиеся в обращении “к читателю”, мало определены, хотя и любопытны. И свое указание, в данном случае на Хворостинина, г. Петухов вывел не из перечисленных данных, а главным образом из того места статьи “о воспитании чад”, где говорится о полемических сочинениях на еретиков (С. 49). В перечне этих сочинений г. Петухов видит указание автора статьи “о воспитании чад” на его собственные обличительные труды. Но так ли это? Неужели писатель-полемист, успевший охватить в своих трудах (что удивительно!) широчайший круг тем: и “осьмый римский собор”, и Лютера, и Кальвина, и Сервета, и Чеховича, и Будного, и “Фродияново злоумное писание”, и “опресночную римскую службу” и прочее, и прочее, – неужели такой писатель мог быть заподозрен в еретичестве и измене и, с другой стороны, мог остаться нам неизвестен по имени?... Невольно является недоверие к тому, в чем убежден г. Петухов, то есть к тому, что мы имеем здесь дело с библиографическим перечнем трудов нового, нам неизвестного полемиста. И сам г. Петухов несколько удивлен тем, что этот полемист не там, где следует, поместил перечень своих произведений: “можно было бы ожидать, – пишет он, – что автор будет говорить о себе и о своих литературных трудах вместе, тогда как на самом деле он говорит об этом в двух местах, разъединенных целым трактатом о воспитании чад” (С. 6). Нам кажется, что внимательное чтение текста памятника до некоторой степени разъясняет дело, несмотря на то что этот текст не всегда исправен и понятен. Статья “о воспитании чад” называется: “предисловие и слововещания ко читателем” и есть действительно предисловие к какому-то компилятивному сборнику, составитель которого заранее объясняет состав сборника и перечисляет труды – чужие, а не свои собственные, – внесенные им в свое собрание. Он просит: “не мните

³ Напрасно г. Петухов последние слова памятника понимает в том смысле, что автору “была полная возможность бежать и сродники даже понуждали его к этому”. Выражение “пространна быша пути мои отбегати от озлобления, злати быша стези к дарованию моему” и т. д. должно понимать так, что автор имел полную возможность избежать (а не: бежать от) притеснений путем отречения от истины, и что “сродницы и братия” понуждали его к отречению, он же остался тверд.

мя гордящаяся, яко многое писание изучих” и потом перечисляет это “многое писание”: “на многие ереси книги изложих... первое положих на осмый римский собор, и второе на Лютра... Калвина, Сервета, Чеховича и Будного;... еще же на Фродияново (Афродитианово) злоумное писание сотворих слово от Св. Писания и на опресночную римскую службу положих свидетельство от словес Кирила патриарха Иерусалимского” (С. 48–49). Развитие полемической литературы во вторую четверть XVII столетия общеизвестно и в последнее время было предметом внимательного изучения гг. Цветаева, Каптерева, Голубцова, но никто не указал еще самостоятельного полемического трактата с содержанием, соответствующим собранию нашего автора; зато составные части этого собрания могут быть предположительно указаны. Знаем мы и разные статьи “о восьмом соборе”, и труд Максима Грека об Афродитиановом сказании, и труды, которые приписывались Кириллу, патриарху Иерусалимскому, и поэтому-то можем предполагать, что в памятнике г. Петухова имеем дело с предисловием к сборнику, заключавшему в себе несколько разновременных полемических статей. Пользу своего сборного “доброписания” автор изучаемого предисловия видит, главным образом, в том, что оно содействует “утверждению” “учения Господня”, и в этом “учении Господнем” он советует читателю воспитывать детей своих. Так очень гладко “предисловие” переходит в “слововещание ко читателем, имущем нечто к родителям о воспитания чад”. Это не особый трактат о воспитании, а только распространенное введение, мотивирующее предпринятый автором компиляторский труд.

Если наша догадка верна, то есть если в рукопись F.I.324 внесено одно предисловие к пространному полемическому сборнику ради его назидательного характера, то статья “к читателю” должна рассматриваться как послесловие к тому же сборнику. В этом убеждают первые строки этой статьи, призывающие “любодушного читателя” исправить что следует, “в слезех и словесех или в речеточестве” автора, а затем намеки автора (на с. 55) на то, что он потерпел гонение от духовенства – “владык”, “властей” и “церковник неученых” – именно за труды богословского характера: “хотех мало написати и вразумети ово от греческих и римских писм, овогда потребное предложити чтахся (то есть: тщахся), и възбранен бых... яко еретика вменяще мя”. Указания на личность автора в этом послесловии таковы, что невольно приводят на память князя Ивана Хворостинина и склоняют к мысли, что г. Петухов обнарудовал вступительную и заключительную статьи к тому полемическому “собранию” Хворостинина, которое было указано П.М. Строевым в “Библиологическом словаре”

(С. 289), но до сих пор неизвестно. Заглавие труда Хворостинина, приведенное Строевым, и указание на полемические труды “предисловия”, изданного г. Петуховым, удивительно совпадают. Однако не скроем, что признать принадлежащими именно Хворостинину две статьи: “предисловие” и “к читателю”, значит стать лицом к лицу с некоторыми затруднениями. Прежде всего возникает вопрос, при чем же здесь статья “о Царствии Небесном”, какое отношение может она иметь к полемическому “собранию”? По нашему разумению, это – совершенно особое произведение. Г[осподин] Петухов напрасно по признакам чисто внешним соединил его с последующими статьями; он сам (на с. 13) отметил в них различие литературных приемов, и действительно статья “о Царствии Небесном” составлена гораздо более опытною в литературном отношении рукою, с витийством отменно изысканным; и по сюжету она далека от последующего. Далее. Если признавать авторство Хворостинина, то что понимать под его словами: “на опресночную римскую службу положих свидетельство от словес Кирила патриарха Иерусалимского” (С. 49)? Если под “словами Кирила” разуместь 34-ю главу так называемой “Кириловой книги” (О опресноках и о агнце), то следует помнить, что Кирилова книга вышла в 1644 году, Хворостинин же умер в 1625-м⁴. А что же другое можно разуместь в данном случае? Мы думаем, что ответ на этот вопрос лежит не на нашей обязанности. Наконец, заметим, что, давая веру показанию Строева о содержании полемического сочинения Хворостинина, никак нельзя приписывать Хворостинину первых 12-ти глав “Изложения на лютеры”, как делает г. Петухов (на с. 21–22): кажется, твердо установлено, что эти главы были переведены с западно-русского наречия на московское в Великом Новгороде каким-то попом Стефаном, и таким образом Хворостинин был непричастен этому делу⁵.

Надеемся, что наши беглые заметки убеждают, во-первых, в том, что изданный г. Петуховым текст представляет собою, по всей видимости, не одно целое, а несколько разнородных статей, и, во-вторых, в том, что соображения г. Петухова об авторстве Хворостинина требуют большего развития и обоснования.

⁴ Не останавливаемся на возможном противоречии вышеуказанной даты рукописи F.I.324 – 7148 (1640) год – с фактами заимствования из Кирилловой книги 1644 года.

⁵ *Голубцов А.* Прения о вере, вызванные делом королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны. М., 1891. С. 93–95. Примеч. 36.

О двух грамотах 1611 года (1897)

I

Всем, писавшим о Смутном времени Московского государства, приходилось касаться грамоты “от смольнян” или: “из под Смоленска”, составленной в конце 1610 или начале 1611 года и призывавшей московских людей на борьбу с поляками. Она сохранилась при отписке нижегородцев в Вологду, причем в отписке сказано, что нижегородцам прислал эту “смоленскую” грамоту патриарх Гермоген 27 января 1611 года¹. Содержание грамоты многих наводило на мысль, что происхождение документа не таково, каким его признали первые издатели; но, кажется, только один Арцыбышев решился сказать, что “подлинность этой грамоты сомнительна” и что “едва ли не *сочинено* это в Москве”².

Думаем, что Арцыбышев был совсем прав и что мы имеем дело с любопытною подделкою, которая вышла не из-под Смоленска и не от смольнян, а из какого-то политического кружка московских патриотов, неразборчивых на средства и способы агитации. По тексту грамоты выходит так, будто грамоту писали в королевском обозе русские люди, пришедшие туда “из своих разоренных городов и из уездов” и жившие там “немало: иной больше году живет, иной мало не год”. Между тем о смоленских, дорогобужских, брянских служилых людях у нас есть сведения, что они в большом количестве (более 500 человек) летом 1610 года были в Москве и только в сентябре были отпущены оттуда с великим посольством (и впереди его) в “королевский лагерь”³. Очевидно, что они не могли писать грамоту, ибо жили под Смоленском в обозе не “больше году” и далеко не год. А кого же другого из русских людей, не подчинившихся Сигизмунду, допу-

¹ ААЭ. Т. 2. № 176. С. 299–301 и 297. См. также СГГД. Ч. 2. № 226 (здесь текст неисправлен) и № 229.

² Арцыбашев Н. С. Повествование о России. М., 1843. Т. 3. Примеч. 1421.

³ АЗР. Т. 4. С. 319; АИ. Т. 2. № 290; РИБ. Т. 1. С. 686–687; Записки гетмана Жолкевского о Московской войне, изданный П. А. Мухановым. 2-е изд. СПб., 1871. Прилож. № 29 и № 30.

стили бы поляки жить в королевском лагере целый год с самого начала смоленской осады? Это – с одной стороны. С другой, у нас есть бесспорные, подлинные смоленские письма, числом до десяти; стоит сравнить их текст, трогательно простой и деловитый, с риторической манерой грамоты, чтобы почувствовать всю искусственность последней⁴. Аналогии ей находим не в этих скорбных “отписках” и “грамотах”, вышедших из смоленской осады, а в московских и троицких воззваниях и посланиях, которые писали “писцы борзые”, в спокойной “келлии”, собирая “от божественных писаний учительныя словеса”. Однако приведенные соображения не имели бы решающего значения для оценки грамоты, если б в тексте ее не было прямых несообразностей, избобличающих ее творцов. Одну из несообразностей отметил Арцыбышев. В грамоте упоминается письмо Салтыкова и Андронова, писанное “после Рождества Христова на пятой неделе в субботу”, то есть 26-го января 1611 года. Как бы ни толковали эту дату – в том ли смысле, что письмо писано в Москве (“писали с Москвы”) 26-го января, или же в том смысле, что письмо получено Смоленском 26-го января, – все равно, дата невероятна, потому что Смоленская грамота, как мы указали выше, была переслана москвичами в Нижний уже 27-го января. В один день нельзя было из-под Смоленска подать весть в Нижний или Москву: самая быстрая обсылка между королевским лагерем под Смоленском и Москвою требовала недели в один конец⁵. Одинаково невероятно указание грамоты, что Сигизмунду “писали с Москвы” о смерти Тушинского вора и о радостном движении по этому поводу в Москве “за два дня пред Рождеством Христовым”. Можно установить, что убийство Вора, происшедшее 11-го декабря 1610 года, стало уже известно в Москве 14-го декабря, а в королевском лагере 18-го (по новому стилю 28-го) декабря⁶. Таким образом, датировку событий в грамоте следует признать неудачною. Сверх того, удивляет и та особенность в изложении грамоты, что писавшие ее в польском стане маленькие и гонимые русские люди (если только они ее писали) точно знают содержание интимных сообщений королю со стороны его московских приверженцев. Тотчас, как король узнает о народном движении в Москве (раньше конца декабря он не мог этого узнать), тотчас, как становится ему известною агитация патриарха (о которой он также не мог узнать ранее Рождества), – о том же самом узнают и московские люди, “разоренные пленные”, под страхом смерти и

⁴ АИ. Т. 2. № 265, 267, 354; ДАИ. Т. 1. № 231.

⁵ СГГД. Ч. 2. С. 472.

⁶ АИ. Т. 2. № 307 и № 308; РИБ. Т. 1. С. 709.

неволи живущие в королевском лагере; мало того, они без боязни и препятствий пишут об этом в Москву и с необыкновенною быстротою пересылают эти свои сообщения. Все это маловероятно. Если бы мы вздумали без оглядки поверить этому, то тем самым обязывались бы принять и уверение авторов грамоты, что они под Смоленском “не мало время” живут и потому “подлинно” про все ведают. Мы видели, что по их показанию они живут там с год или “мало не год”: столь большое время могли быть в королевском стане лишь беглые тушинцы, которые променяли Вора на короля в начале 1610 года. Но их могли терпеть под Смоленском только при условии верной службы королю, и в их среде трудно предположить московских корреспондентов: этот люд шел за М. Салтыковым и порвал свои собственно московские связи.

Однако сомнения относительно Смоленской грамоты не приводили бы ни к каким определенным догадкам о ее истинном происхождении, если бы не стало известно интереснейшее “письмо”, относящееся к тому же самому времени и преследующее те же цели как и Смоленская грамота⁷. Это письмо, возбуждающее московское население против поляков, знакомит нас – и притом с полною достоверностью – с такими приемами политической борьбы, которые могут повергнуть нас в изумление своею тонкостью и сложностью. Московские патриоты распространяли политические новости и внушения посредством анонимных литературно написанных произведений. Действуя под верховным руководством патриарха Гермогена, они своими писаниями старались внушить народной массе его мысли и желания, но в то же время ставили его как бы в стороне от дела вражды и восстания: сан и положение патриарха вполне объясняют такое поведение московских людей. Вмести с тем, соблюдая осторожность и относительно себя самих, московские патриоты старались скрыть от бояр и поляков, владевших Москвою, всякие следы своего авторства. Они придавали своим произведениям форму или подметных посланий от неизвестного лица⁸ или же посланий, составленных “общим всем народом Московского государства”⁹. К такому-то типу литературных фабрикаций, на наш взгляд, принадлежит и Смоленская грамота. Она написана там же, где и прочие произведения этого рода, – в каком-либо хорошо осведомленном мос-

⁷ РИБ. Т. 13. Стб. 187 и след; *Платонов С.Ф.* 1) Новая повесть о Смутном времени XVII века // ЖМНП. 1886. Январь; 2) Древнерусские повести и сказания о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1888. С. 86 и след.

⁸ РИБ. Т. 13. С. 216–218.

⁹ ААЭ. Т. 2. № 176, I.

ковском кружке, который держался идей и программы патриарха и считал себя в праве всякими средствами возбуждать народное движение и поднимать народ на поляков. От такого предположения нас не может воздержать то обстоятельство, что сам патриарх Гермоген распространял по областям Смоленскую грамоту и другие ей подобные. Это не значит, что он участвовал лично в составлении этих сомнительных документов. Он мог принимать их вполне добросовестно за то, за что они выдавались: недаром сказал о нем один современник, что патриарх был “к злым и благим не быстро распрозрителен”.

II

В примечании 684-м к XII тому “Истории” Карамзина граф Д.Н. Блудов поместил список подорожной 1611 года, найденной “в бумагах покойного историографа”. Эта подорожная очень любопытна, во-первых, тем, что дана (2-го марта 1611 г.) по *благословению патриарха Гермогена* гонцу из Устюга в Чердынь “для всей земли *ратнова* скорова дела”. Патриаршее “благословение” заменило в обычном тексте подорожной “государев царев и великого князя указ”, по которому выдавались казенные подорожные в спокойные годы московской жизни. Эта замена очень знаменательна: она показывает, что во главе временного правительства, которому повиновались тогда русские люди, отшатнувшиеся от Владислава, формально признавался патриарх. Это было вполне естественно и вероятно, но прямых доказательств этого очень мало, и потому ничтожная сама по себе подорожная получает известную цену. Но ее значение не только в имени патриарха. Подорожная включает в себе маршрут гонца, указывающий направление той дороги, по которой ездили из Москвы через Устюг в Чердынь и далее в Сибирь. Однако это указание пути, одно из древнейших, передано в тексте грамоты, к сожалению, неисправно. Печатный текст подорожной очень точно передает ее рукописный оригинал, писанный поздним почерком и находящейся в сборнике Императорской Публичной библиотеки F.IV.344 (на л. 32). И там, и здесь одинаково читается: “от Устюга Великого до Соли Вычегодские и до Богоявленскаго яму и до Паледина и до Каи городка и до Гаечь и до Чердыни”. Нет сомнения, что под словом “Паледина” скрывается правильная форма “Пыелдына”, как сокращенно называли Пыелдынский Спасский погост на р. Сыsole; а слово “Гаечя” следует читать “Гаен” и разуметь под ним Гайны или Гаенский стан на р. Каме. При таких исправлениях обнаружится действительное направление дороги – с устья Вычегды на р. Виледь, на верхнее

течение Сысолы до Кайгородка и с. Сысолы к Гайнам на Каму¹⁰. Города Лальский на р. Лузе и Кай на р. Каме, через которые обыкновенно ведут эту дорогу, остаются как будто южнее этого пути. Но надо помнить, что этот путь вел на Чердынь. Когда же сибирская дорога с Устюга пошла на Соликамск южнее Чердыни, тогда значение Лальска и Кая должно было вырасти и дорога через них пролегла параллельно со старою дорогою на Сольвычегодск и Пыелдын. В XVII веке пользовались уже обеими дорогами одинаково. Мы позволили себе указать на эти мелочи потому, что они до сих пор, как кажется, не останавливали на себе в полной мере внимания исследователей, и обе ветви сибирского пути между Устюгом и верхнею Камою недостаточно различались.

¹⁰ ААЭ. Т. 2. № 80; ДАИ. Т. 4. № 127; Т. 10. С. 434; *Дмитриев А.А.* Пермская старина: Сборник исторических статей и материалов, преимущественно о Пермском крае. Пермь, 1889. Вып. 1. С. 41; *Лыткин Г.С.* Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. СПб., 1889. С. 88 (карта).

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1897)

Утром 2-го января 1897 года не стало Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. Он скончался от болезни легких, которая удручала его еще с начала 80-х годов и медленно подтачивала и без того некрепкое его здоровье. Уже с весны прошедшего года можно было предчувствовать близость роковой развязки, и, однако, теперь очень трудно освоиться с мыслью, что его уже нет между нами и что живы только наши воспоминания о нем.

Покойному было еще далеко до глубокой старости. Родился он в мае 1829 года в Горбатовском уезде Нижегородской губернии, рос в деревне, учился в семье, – “под влиянием отца и матери”, как он сам о себе заметил, – и вынес из семьи хорошее знакомство с французским и немецким языками. Позднее научился он по-английски и по-итальянски; в гимназии узнал латинский язык, но не мог выучиться по-гречески, хотя и пробовал учиться privately греческому языку у М.Ф. Грацинского, “отличавшегося даром не уметь ничего передать”. Любовь к чтению возникла в Константине Николаевиче еще дома, благодаря хорошей библиотеке его отца, ставшей впоследствии основанием его собственного обширного книжного собрания. Окрепла же эта любовь к серьезной книге в Нижегородской гимназии, в которую Константин Николаевич поступил в 1840 году и в которой (за исключением одного 1844–1845 года, проведенного в дворянском институте) он оставался до 1847 года, до окончания курса. С теплым чувством вспоминал он свою гимназию, справедливо замечая, что в его время она “считалась если не лучшим, то одним из лучших заведений в Казанском округе”. В то время, когда в ней учились Константин Николаевич и его близкий друг, известный Ст. В. Ешевский, гимназия переживала пору обновления и от ветхих порядков патриархальной педагогики переходила к более живому преподаванию. С большою живостью вспоминал Константин Николаевич свое гимназическое время и в известной своей статье о Ешевском, и в устных своих беседах. Из всех преподавателей гимназии наибольшее влияние на умственную жизнь учеников, и в частности на Константина Николаевича, имел Павел Иванович

Мельников (он же “Андрей Печерский”), преподаватель истории и один из руководителей “литературных бесед”, существовавших тогда в гимназии. Не один раз Константин Николаевич пользовался случаем печатно высказать свою любовь и признательность бывшему учителю, к которому он был близок до самой кончины Мельникова в 1883 году. Откровенно свидетельствуя, что в обыденном классном преподавании Мельников впадал в рутину, Константин Николаевич в то же время очень ярко рисует ту увлекательную живость, с какою Мельников относился к каждому ученику, в котором замечал интерес к истории, то чуткое уменье, с каким он поддерживал в нем и развивал склонность к чтению и литературным занятиям. Под руководством Мельникова Константин Николаевич начал и свои исторические опыты, читанные в “литературных беседах”, и сотрудничество в Нижегородских губернских ведомостях 1847 года, выходивших тогда под редакцией Мельникова; там Константин Николаевич печатал отзывы о новых книгах. Вспоминая мельком в биографии Ешевского о своих личных занятиях в гимназии, Константин Николаевич говорит, что он в те годы “предался чтению литературному почти исключительно, перечитывал старых и новых русских писателей, читать Жорж-Занда, Гюго, Гете”; “был в обаянии от Белинского и от Григорьева (странное сопоставление, – прибавляет он, – возможное только в молодые года!)”. Принимая такое заявление о преобладании склонности к изящной литературе и литературной критике, не следует, однако, забывать, что рядом с литературным чтением шло и историческое: Константин Николаевич писал в гимназии сочинение о Борисе Петровиче Шереметеве; в первое время университетского учения у него уже было привезено из деревни в Москву “довольно большое (для студента) собрание книг по русской истории”. Это указывает уже на ту широту умственных интересов и на то разнообразие занятий, какие всегда отличали покойного – как в пору юношеских начинаний, так и на закате дней. Имея в виду именно это разнообразие, даже разбросанность, Константин Николаевич с полным основанием мог сказать о своем гимназическом времени то, что сказал он в биографии Ешевского: “Оглядываясь назад на это давно минувшее время, конечно, можно быть недовольным многим в нашем первоначальном образовании; можно сказать, что в занятиях наших не было методы, что, узнавая много, мы узнавали как-то случайно и бессвязно: мы были все, как часто любил говорить Ешевский, самоучки. Тем не менее, мы многое знали, хотя от случайности приобретения между нужным много было и ненужного; а главное, мы получили любовь к знанию, стремление к труду и ува-

жение к науке; прониклись тем вначале смутным благоговением к ее высшему вместилищу, университету, которое сопровождало нас во всю жизнь. Думаю, что этим благом с избытком выкупается беспорядочность нашего образования, бывшая естественным следствием того состояния науки и общества, при котором совершалось наше развитие”.

С такую подготовку, сообщившею вкус и уважение к знанию, а вместе и возможность многое понимать и на многое отзываться, приехал Константин Николаевич в июле 1847 г. в Московский университет и выдержал в нем существовавшие тогда вступительные экзамены. Вместе с Ешевским он поступил на 1-е отделение философского факультета (теперь – факультет историко-филологический), с тем, чтобы скоро, в том же 1847 году, перейти на юридический факультет, оставив своего друга на философском. Очень интересны воспоминания Константина Николаевича о первых его московских впечатлениях. Под влиянием Мельникова и он, и Ешевский с чувством восторга и благоговения к старине смотрели на Москву и Кремль, собрались к Троице и там познакомились “впервые” с памятниками церковной древности. И в то же время оба они нетерпеливо ждали открытия лекций, не только из простого чувства любопытства, но и потому, что они уже были приобщены к университетской жизни. От Мельникова получили они магистерскую диссертацию С.М. Соловьева, из газет узнали о его докторском диспуте; оба “чуть не наизусть знали” статью К.Д. Кавелина о юридическом быте древней России (в *Современнике* 1847 г.), читали статьи Грановского, книги Шевырева и Буслаева, переводы и статьи Каткова; слышали они и о Кудрявцеве и Леонтьеве. Словом, они оба были достойны войти под кров той *almae matris*, о которой с таким трепетным умилением всегда говорил и писал Константин Николаевич. В жизни Московского университета то был его золотой век, время его расцвета и наибольшего блеска, когда его высший ученый авторитет сочетался с благороднейшим гуманизирующим влиянием на все русское общество. “Все мы, – говорил о себе Константин Николаевич, – повиты и взлелеяны духом этого высоко-нравственного времени в жизни Московского университета!” “Едва ли много найдется людей нашего поколения, – прибавлял он о людях, не бывших в Московском университете, – которые были бы свободны от прямого или косвенного влияния Московского университета”. Трудно теперь раскрыть с полнотою и определенностью ход занятий Константина Николаевича в его университетскую пору и тот строй отношений и влияний, в котором определились его общественные и ученые взгляды и вкусы. Быть может, в бума-

гах покойного отыщутся материалы для изучения и его личной юности, и всей той эпохи, а пока приходится руководиться его беглыми указаниями и воспоминаниями. Покойный всегда придавал большое значение в биографиях указаниям на тех, у кого тот или другой деятель учился, и сам указывал в числе своих профессоров, – очевидно, разумея наиболее влиявших на него, – на Редкина, Кавелина, Н. Крылова, Грановского, Кудрявцева, Соловьева. К этим именам он прибавлял неизменно Погодина; последнего он уже не застал в университете, но, представленный ему с наилучшей стороны П.И. Мельниковым и А.И. Мессингом, бывал у Погодина и руководством его пользовался с первого же года жизни в Москве. Насколько можно догадываться, на первых порах университетской жизни Константин Николаевич делился именно между влиянием бесед Погодина и обаянием лекций Соловьева и Кавелина. К Погодину, еще будучи на I курсе, Бестужев с Ешевским обратились за советом, “как начать занятия?” Верный себе, Погодин назвал им Шлецера: “читайте Шлецера”, – сказал он, – и они “читали его месяца три”; а затем они по его совету взяли на себя труд сличить в списках летописей “известия первых двадцати лет после 1111 года” и много работали без всякого успеха, потому что для них “самые приемы были неясны”, а приемы были неясны уже потому, что работа имела целью разъяснить вопрос, который “занимал” Погодина, и не клонилась к собственной пользе учащихся. Рядом с этими упражнениями, которые в лучшем случае вели к технической выучке, шли простые беседы с Погодиным, и в них Константина Николаевича поражал, как он говаривал, “русский инстинкт” Погодина, его яркий ум и быстрая сметка, близость к народному созерцанию и в то же время резко выраженная своеобычность, удивлявшая всегда “лица не общим выраженьем”. После Мельникова именно Погодин и главным образом Погодин воспитал в Константине Николаевиче русское чувство, подготовил его сближение с людьми славянофильского оттенка и с поборниками идеи славянства. Но в первые университетские годы влияние Погодина на Константина Николаевича парализовалось лекциями более молодых профессоров русской истории и права, особенно Кавелина, под влиянием чтений которого Константин Николаевич даже переменял факультет. В изложении Кавелина теория так называемой “школы родового быта” отличалась особенною стройностью и завлекательностью; смена одних гражданских состояний другими представлялась главным содержанием истории Руси, изучение права и его развития само собою ставилось на первый план. Для этого изучения Константину Николаевичу казалось необходимым перейти на юридический

факультет. Переход и совершился, несмотря на несочувствие Погодина, который не верил в “юридический характер” русской истории и спрашивал у Константина Николаевича: “а святого Сергия куда вы денете с вашим юридическим характером?” Когда в 1848 году Кавелин перешел в Петербург, представителем историко-юридической теории в Московском университете остался Соловьев. Чтения его не могли в глазах Константина Николаевича равняться по блеску с изложением Кавелина, “одного из самых изящных профессоров, которого ему случалось слышать”; но ученое влияние Соловьева на Константина Николаевича было очень глубоко и прочно; оно росло с годами и перешло впоследствии в крепкую привязанность ученика к учителю, силою своею удивлявшую тех, пред кем она обнаруживалась. Помню два университетских чтения Константина Николаевича о Соловьеве: одно в 1879 году после кончины Соловьева (напечатанное в “Биографиях и характеристиках”), другое – в курсе историографии 1880–1881 года. Они произвели глубокое впечатление на слушавших, даже потрясли их сильнейшим волнением лектора. Помню и то, как не один раз Константин Николаевич рассказывал нам о последнем приезде Соловьева в Петербург и всегда с особым чувством упоминал, что Соловьев, уезжая, дружески благословил его, как бы провидя свой близкий конец. Не берусь указывать меру влияния на Константина Николаевича других его профессоров, но укажу на ту мастерскую и чрезвычайно сочувственную характеристику Грановского и Кудрявцева, какую он представил в биографии Ешевского: только живая любовь может диктовать такие строки.

Между Погодиным, с одной стороны, Кавелиным и Грановским, с другой, было так мало общего, что у человека, внимательно относившегося и к той и к другой стороне, “мысль привыкала к работе (говоря словами самого Константина Николаевича), смотрела с разных сторон на одно и то же явление, и вырабатывалось убеждение в том, что только разностороннее воззрение может привести к истине”. Константин Николаевич остался между двумя влияниями на средней дороге и брал от каждой стороны то, что считал ее правдой. Два мирозозерцания, делившие людей сороковых годов на кружки и лагеря, разумеется, очень знакомы были Константину Николаевичу, но можно думать, что они отражались в его сознании скорее в виде научных направлений, чем в качестве практических программ, и оттого он мог отнестись к ним спокойно, без предвзятости, так сказать, со стороны, и мог своим сильным критическим умом поймать положительные черты обоих направлений. Всю жизнь отличала его широта понимания, это умение уразуметь и истолковать самые разнообразные

точки зрения, умение найти зерно истины и в том, что, казалось бы, ему совершенно чуждо, даже враждебно. Как нельзя более применимы к нему слова гр. А. Толстого:

“Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,—
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы честь”.

Это свойство, которое должно назвать ученым беспристрастием (но не бесстрастием), воспитано было всем складом московской жизни и занятий Константина Николаевича. Они с Ешевским были преданы своим учебным интересам и далеко стояли от вопросов текущей общественной жизни. Им было известно, но шло мимо них “тогдашнее волнение умов, которого, особенно в качестве запретного плода, никто из нас (молодежи) хорошенько не понимал, — говорит о своем кружке 1848–1849 годов Константин Николаевич, — самое начало 1848 года ошеломило нас, и мы ровно ничего не понимали: в эту эпоху мы даже газет не читали постоянно”. Ничто, таким образом, изнутри не влекло молодых друзей к общественным вопросам, а обстановка, в которой они жили тогда, отпугивала от всякого проявления общественных интересов и мнений. Именно в их студенческое время закрыты были кафедры философии, увеличена плата за слушание лекций, число студентов в Московском университете упало с 1198 в 1848 году до 821 в 1850 г. При таких условиях жизни между университетской молодежью интерес к современности становился действительно “запретным плодом”, и те, кто не имел к нему особого влечения, с тем большим усердием уходили в кабинетную жизнь, привыкали к созерцанию и спокойному анализу того, что для других составляло боевую программу...

Курс университета Константин Николаевич окончил в 1851 г. кандидатом и тогда же уехал из Москвы в деревню Чичериных домашним учителем. В 1854 г. он возвратился в Москву и до 1856 г. был учителем в московских кадетских корпусах. Однако преподавание в то время не привязывало к себе Константина Николаевича; по его собственным воспоминаниям, он не был идеально аккуратным в своих учительских обязанностях. Его более привлекала к себе историческая наука и журнальная деятельность, и с 1856 года он становится формально в ряды московских литераторов, принимая на себя обязанности помощника редактора *Московских ведомостей* при редакторе В.Ф. Корше. В 1859 г. он принял участие в основании критического *Московского обозрения* и в первой его книжке по поводу первых восьми томов “Истории России” Соловьева поместил без подписи большой очерк “современного состояния русской истории как науки”. Это был, по словам самого Константина Николаевича, “опыт русской

историографии в ее главных чертах”. После рецензий и переводов, помещенных в *Московских ведомостях*, опытом этим Константин Николаевич начал свою ученую деятельность в сфере русской истории. Позднейшие статьи Константина Николаевича, касавшиеся явлений нашей историографии, закрыли собою эту первую статью, не подписанную автором, заброшенную в неудавшийся, на второй книжке прекратившийся журнал; но еще и теперь статья эта читается с интересом, и теперь не потеряли всего своего значения страницы, посвященные “Истории русского народа” Полевого и направленные к тому, чтобы отдать должное уважение попытке Н. Полевого. Только статья о Полевом в новом, еще не законченном обзоре нашей историографии П.Н. Милюкова может заменить собою давнишние строки о Полевом Константина Николаевича. В этой же статье своей Константин Николаевич в первый раз выступил истолкователем и критиком той “новой школы” родового быта, у основателей которой сам учился и к которой сам близко стоял. Переехав в том же 1859 году в Петербург и вступив в состав редакции *Отечественных записок* А.А. Краевского, Константин Николаевич уже окончательно усвоил себе роль ученого критика, имевшего целью “сближение науки с обществом”. В больших статьях, писанных по поводу сочинений Кавелина, Соловьева, Б.Н. Чичерина, И. Киреевского, К. Аксакова, Хомякова, он толковал и обсуждал результаты их ученых трудов, основания их философии, сущность их общественных стремлений. Этим он оказывал существенную услугу и тем, для кого писал, и тем, о ком писал. Он знакомил публику с лучшими представителями нашей исторической и общественной мысли в тех их работах, которые не предназначались для широкого круга читателей; он популяризировал идеи и знания, возбуждал в обществе интерес к истории, в которой видел лучшее средство достигнуть “народного самосознания”. Такой взгляд на историю вынес он из той школы, которою был воспитан, и всегда высказывал его с особенным ударением. С высоты этого взгляда он относился с осуждением к мнениям литературных деятелей 50-х и 60-х годов, не дороживших связью с умственными интересами и культурною работою предшествовавших им поколений. Именно в сохранении этой связи видя залог прочного и правильного развития народной жизни, Константин Николаевич выступал на защиту более старых учений и направлений, считая долгом литературной и общественной порядочности не глумиться над тем, что кажется ветхим и отжившим, а изучить и “объяснить со стороны” каждое из заметных и важных явлений в истории умственного развития в России. Убежденный защитник, но в то же время не слепой сторонник

славянофилов, он первый “со стороны” показал, как серьезно это направление и сколь многое в этом направлении заслуживало благодарного признания от историков и этнографов. Ученик историко-юридической школы, верный ее основному положению о закономерности исторического развития, он едва ли не первый с такою тонкостью различил индивидуальные особенности ее главных представителей и с большим сочувствием, “со стороны” же, определил ее значение в русской исторической науке. Но отмеченная нами широта понимания и здесь помешала Константину Николаевичу обратиться в простого апологета излюбленных теорий и лиц; он выступил критиком даже в отношении своего учителя Соловьева, а в отношении г. Чичерина обмолвился однажды, в 1861 г., раздражительною статьею, хотя в общем всегда высоко его ставил и как мыслителя, и как исследователя, и писал впоследствии: “только с почтением можно говорить о таких людях”.

Критические статьи обнаружили и широкое общее образование Константина Николаевича, и отличную подготовку его в области собственно русской истории. Репутация специалиста была создана, ученые связи крепки, и Константин Николаевич, не оставляя круга чисто журнального понемногу входит в специально-ученую среду. В 1863 году выдержал он экзамен на степень магистра русской истории, для чего потребовалось особое разрешение, так как он был кандидатом не историко-филологического, а юридического факультета. В 1864 году избран он был в члены Археографической комиссии. В том же году он был призван к высокой обязанности преподавать русскую историю государю наследнику цесаревичу Александру Александровичу и его августейшим братьям и сестре великой княжне Марии Александровне. (Впоследствии в числе его учеников был и нынешний президент Императорской Академии наук Его высочество великий князь Константин Константинович). В те же годы 1863–1864 Константин Николаевич редактировал “Записки” Географического общества. Наконец, в 1865 году совет Санкт-Петербургского университета избрал Константина Николаевича исправляющим должность доцента по кафедре русской истории. Вместе с тем настал новый период в жизни и деятельности Константина Николаевича.

На кафедре русской истории в Санкт-Петербургском университете с его основания Константин Николаевич был четвертым преподавателем после Тр.О. Рогова, Н.Г. Устрялова и Н.И. Костомарова. Если Устрялов в тридцать почти лет преподавания своего (1831–1859) успел остыть к делу и в последние годы не читал даже общего курса, то, напротив, Костомаров за короткое время своей деятельности в университете (1859–1862) поднял препода-

вание предмета, привлекая аудиторию не только блеском изложения, но и свежестью научного содержания. После Костомарова нельзя было читать кое-как, и это именно составляло главную трудность положения Константина Николаевича. Что он с нею справился блестяще, кажется, нет нужды доказывать. В 1868 году он получил степень доктора honoris causa за труд “О составе русских летописей до конца XIV века”, а вместе с тем в 1869 году и звание ординарного профессора. А спустя всего два года вышел в свет и первый том его “Русской истории”, выросшей из университетских чтений Константина Николаевича. Таким образом, и ученый ценз, и яркое доказательство преподавательских способностей и рвения последовали очень скоро после избрания его на кафедру как оправдание этого избрания. Константин Николаевич стал сразу на одно из виднейших мест и в среде университетских преподавателей и в среде ученых представителей его предмета. Труды, на которых основалась в те годы его репутация, заслуживают названия первоклассных и до сих пор, особенно “История”, не утратили своего значения; редкий дар изложения делал его лекции одними из самых увлекательных. В первые годы преподавания он один вел и общий, и специальные курсы; с 1871 года, когда доцентом по кафедре русской истории был избран Е.Е. Замысловский, Константин Николаевич чередовался с ним в чтении общего курса, так что один курс студентов в течение двух лет слушал общий курс у Константина Николаевича, другой, также в течение двух лет, у Е.Е. Замысловского; для студентов же старших курсов, избравших специальностью русскую историю, читал постоянно Константин Николаевич. Сводя III и IV курсы в одну аудиторию, он в один год прочитывал обзор русской историографии, в другой – критическое обозрение какого-либо вида источников русской истории. Практических упражнений Константин Николаевич обыкновенно не вел, но требовал, чтобы каждый студент III курса избрал себе тему для сочинения к выпускному экзамену, и самый экзамен на IV курсе состоял в беседе по поводу представленного сочинения.

Помню, как летом 1878 года, записавшись в число студентов историко-филологического факультета Петербургского университета, я получил от своего преподавателя русского языка, ныне уже покойного В.Ф. Кеневича, список профессоров, которые должны были читать I-му курсу, и вместе поздравление с тем, что в этом списке было имя Константина Николаевича. Понятно, с каким чувством ждал я первой лекции русской истории; оказалось, что подобное моему ожидание было и у всей аудитории. Лекция между тем состоялась только в октябре: Константин Николаевич был

в отпуск. За месяц ожидания мы уже успели освоиться с прочими лекторами, заглянули на лекции других курсов и факультетов и уже обладали некоторыми данными для сравнительной оценки. Говорю за себя: то, что я услышал на лекции Константина Николаевича, не сразу стало понятным, но сразу пленило и увлекло. Перед нами был не лектор, не учитель, а собеседник, простой, изящный, остроумный и серьезный; он не “читал”, а просто разговаривал о своем деле, как говорят с равными и близкими людьми. Чтобы понимать его быструю и живую речь, с отступлениями от главной темы, с личными воспоминаниями, с живыми характеристиками кружков и лиц, с меткими оценками трудов, о которых заходила речь, – надобно было некоторое напряжение и некоторая подготовленность; ее давала “Русская история”, которая, в свою очередь, становилась доступнее после лекций. Казалось странным, как мало соответствовал спокойный и сдержанный тон книги живости и субъективности устного изложения, но тем привлекательнее и ценнее казалось это изложение. Оно вводило слушателей в самую жизнь ученых кругов и кружков, давало плоть и кровь каждому лицу, упомянутому в беседе, каждое ученое мнение ставило в ту жизненную обстановку, которая его воспитала и направила. Это уменье, даже, можно сказать, потребность Константина Николаевича излагать каждый вопрос историографически, пользуясь при этом не одною книжною справкою, но и личными воспоминаниями, сочеталась с чрезвычайной живостью речи, блиставшей умом и в то же время изящною простотою, и производила тогда поистине огромное впечатление. Если припомнить, что самое построение курса с широким руководящим введением, вызывало особый к нему интерес, то можно объяснить себе секрет того обаяния, которое умел производить этот болезненный человек с слабым голосом и худым смуглым лицом.

Мне кажется (может быть, я и ошибаюсь), что семидесятые годы были лучшим временем в деятельности Константина Николаевича, когда она снискала общее признание и уважение, когда Константин Николаевич занял видное место в петербургском обществе, и вокруг него собирался, на его “вторниках”, широкий круг его знакомых и учеников. В то время (1878–1882 гг.) он был председателем Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества. В эту же пору он был призван к одному из самых живых и громких дел, связанных с его именем, к учреждению высших женских курсов в Петербурге. Задуманные кружком дам и профессоров, ревновавших идее женского образования в России, курсы могли быть осуществлены как правильно организованное учебное учреждение только под условием, что руководство кур-

сами примет на себя лицо, облеченное доверием Министерства народного просвещения. В качестве такого лица Константин Николаевич и стал в 1878 году учредителем курсов, получивших в просторечии название “Бестужевских”. Он дал им не одно свое имя и не одно свое сочувствие, но явился их действительным руководителем и охранителем. До своей болезни в 1882 г. он читал на курсах русскую историю и, будучи председателем совета преподавателей, следил за ходом преподавания вообще. Много времени, труда и спокойствия отнимало у него это новое дело, отвлекая его от ученых работ; зато он мог утешаться сознанием, что много сделал для молодого учреждения; отсутствие его особенно тяжело здесь чувствовалось тогда, когда, вслед за его отказом в 1884 г., по возвращении из-за границы, взять на себя управление курсами, в 1885 году был временно прекращен прием учащихся на курсы. Но и не входя уже в это дело своим личным участием, он продолжал ему сочувствовать и не раз посещал курсы в качестве почетного гостя, вызывая своим появлением овации со стороны молодежи.

Практическая деятельность Константина Николаевича в Славянском благотворительном обществе и на курсах остановила его ученые работы. В 1875 году он напечатал большую статью о В.Н. Татищеве; но второй том его “Истории” замедлил, работы над изучением позднейших летописных сводов были оставлены. Здоровье, вообще некрепкое, начало изменять Константину Николаевичу: его специальный курс, читанный нам в 1881–1882 г. (о записках русских людей XVIII века), отражал на себе явный упадок сил лектора. Весною 1882 года Константин Николаевич захворал воспалением легких, и его увезли в Италию. Два года жил он там, отдыхая и увлекаясь изучением классической старины древнего Рима. “Я теперь на нем помешан”, – писал он оттуда в 1883 году; он даже думал по возвращении, при удобных обстоятельствах, прочитать на своих курсах историю Рима: “может быть, когда-нибудь исполню свою фантазию и прочту Рим”... Однако этому не суждено было быть. Вернулся он, хотя и бодрым, но слабым, и должен был выйти в отставку, причем был почтен избранием в почетные члены университета; не остался он и на курсах. Многие отношения и связи, ослабевшие с отъездом за границу, им не были возобновлены, и в жизни его настало затишье. Единственным делом, живым и волновавшим его, было редактирование *Известий* Славянского благотворительного общества в 1885–1887 годах. Жил он в тесном кругу близких знакомых и учеников, возобновивших в малом виде его “вторники”, и имел утешение убедиться в том, что к нему с наилучшими чувствами шла не только та молодежь, которая у него училась, но и та, которая о нем только слышала от старших

товарищей по факультету. Называя себя полушутя, полупечально “отставным человеком”, он, однако, возобновил ученые работы: в 1885 году выпустил в свет давно уже отпечатанные листы II-го тома “Истории”, доведя изложение до смерти Иоанна Грозного; в 1887 году в *Журнале Министерства народного просвещения* напечатал и заключительный этюд этой “Истории” – обзор событий Смутного времени. С летописями он покончил тем, что выпустил в свет “летопись Авраамки” в XVI томе Полного собрания летописей и раздарил ученикам свои листки со сводным текстом некоторых позднейших редакций. А затем – он много читал и отзывался (обыкновенно в *Журнале Министерства народного просвещения*) рецензиями на все труды, его интересовавшие, причем не избегал вносить в рецензии свои воспоминания – те самые, какие придавали такой интерес и колоритность его лекциям.

Казалось, для слабого и больного ученого уже не было будущего, а между тем судьба готовила ему последний триумф. В 1890 году, когда он уехал из Петербурга в Крым, состоялось его избрание в ординарные академики по Отделению русского языка и словесности Императорской Академии наук. Он не скрывал своей глубокой радости и высказывал особое удовольствие по тому поводу, что ему пришлось по академическому креслу быть заместителем Карамзина и Соловьева, которых он так высоко ставил и почитал. Вступив в состав Академии, он заметно оживился, посещал заседания, писал отчеты, речи и рецензии, интересовался всеми мелочами в жизни и деятельности Академии. Как кажется, он мечтал написать монографию о Карамзине, но не собрался, ограничившись небольшим и сравнительно бледным очерком для “Биографического словаря русских деятелей” (вышел отдельной брошюрой в 1895 году). С весны 1896 года болезнь окончательно завладела Константином Николаевичем и медленным путем страданий привела его к могиле.

В своем беглом очерке я имел целью напомнить знавшим Константина Николаевича и рассказать его не знавшим лишь главнейшие моменты в жизни покойного, не более. Оценка его ученых трудов давно уже сделана; место его в русской исторической науке укажут те, от кого мы ждем полного обзора русской историографии; изображение сложного характера почившего, всего своеобразного строя его умственных интересов и душевных свойств, конечно, дадут нам люди, ближе чем я стоявшие к нашему учителю. Но как ученик почившего, я не могу, кончая свою речь о нем, не сказать, что в его лице ушел от нас, говоря его же словами, “большой” человек. Как ни будем мы смотреть на его направление, на свойства его ума и характера, на особенно-

сти его педагогического дара, мы должны будем признать его исключительные силы и знания, его исключительные достоинства. В истории русской и всеобщей, в этике и праве, в истории искусства, в поэзии Шекспира и Пушкина, везде он находил интерес и удовлетворение, на все имел свой взгляд, все знал и помнил. Обыкновенно сдержанный, мягкий и осторожный, он, однако, не желал и по живости натуры не мог скрывать своего отношения к делу и лицам и высказывался, хотя и деликатно, но с неизменной определенностью. Сам пройдя в юности чрез различные, совершенно разнородные влияния и не отдавшись слепо ни одному, он не заставлял своих учеников *jarare in verba magistri*, напротив, стремился охранить в каждом свободное развитие личности и никогда не делал вопроса из разницы личных взглядов (единственное исключение, известное нам, способно только подтвердить общее правило). Зато у него не образовалось школы, хотя и было много учеников. Недавно высказано было мнение, что такая школа в Санкт-Петербургском университете была и есть; указывался и ее признак – склонность к исследованию не исторических явлений, а исторических источников. Мы думаем однако, что все возможные из такого наблюдения выводы не могут быть связаны с преподаванием одного Константина Николаевича и не могут быть признаны достаточными для характеристики “школы”. Константин Николаевич по одному случаю действительно писал (в 1883 году): “я вообще того мнения, что исследование источников – лучшая тема магистерских диссертаций и даже докторских”; но он здесь же прибавлял, что не указывал подобных задач тем, чьи “симпатии не туда направлены”. Эта оговорка лично для меня кажется очень знаменательною: Константин Николаевич действительно сообразовался с “симпатиями” учеников и полагал свой долг именно в том, чтобы создать юноше обстановку для работы, не стесняя его личных взглядов и способностей. Оттого среди его учеников есть и археологи, и историки самых различных оттенков; один из работавших у него на старших курсах университета занимает теперь кафедру философии, другой – кафедру истории искусств. И каждый из нас, каким бы путем он ни шел, наверное, хранит в своей душе благодарнейшее воспоминание о многих минутах чистого и глубокого увлечения наукою и прошлым родной страны, минутах драгоценных, которыми мы обязаны нашему почившему учителю. Надо ли указывать на то, что в воспоминании о нем заключается для нас ободряющий пример деятельности в настоящем? И надо ли говорить о том, что общение с ним и самое о нем воспоминание есть одно из ценнейших стяжаний нашей юности?

Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о Смутном времени (1898)

Под этим заглавием напечатаны письма (числом 91) покойного академика К.Н. Бестужева-Рюмина к графу С.Д. Шереметеву, писанные в 1892–1896 годах по поводу предпринятого графом исследования о личности так называемого “первого самозванца”. Результаты своих изысканий в материалах, относящихся к истории московской Смуты, граф С.Д. Шереметев сообщал К.Н. Бестужеву в форме писем (“рассуждений”, как иногда выражался Бестужев), а последний отзывался на сообщения графа различными критическими замечаниями и, в свою очередь, указывал на ту или иную фактическую подробность, на то или иное научное мнение, которые должны были быть приняты во внимание при изучении эпохи. Покойный ученый не стеснялся формой писем; в сжатых фразах, иногда намеками, высказывал он свои мысли о фактах и лицах Смуты, о существующих взглядах и теориях. Живой обмен известий между корреспондентами исключал возможность последовательности в обсуждении тем, делал ненужными подробности. Тому, кто будет читать письма Бестужева, не зная хорошо эпохи, которой они посвящены, и не зная писем графа С.Д. Шереметева (они, к сожалению, остаются неизданными), – тому многое в речах Бестужева останется темным и непонятным. Зато знакомый с делом человек будет очень заинтригован всем тем, о чем ведут речь корреспонденты. Он встретит здесь много свежего и нового в смысле понимания эпохи, много интересного в намеках на добытые графом новые материалы, много неожиданного в домыслах и предположениях, в оценках лиц и влияний, партий и отношений Смутной эпохи. Но не один раз и он пожалеет о том, что письма оставлены без всяких пояснений и примечаний; ведь эти примечания могли бы быть составлены так, чтобы объяснять прямой смысл писем без преждевременного обнаружения всего того, что составляет детали будущей монографии.

Оба корреспондента верят тому, что “названный царь”, “разстрига”, царствовавший в Москве под именем Димитрия, был настоящий сын Грозного, спасенный из Углича куда-то на север, а оттуда в Литву. Руководительство им они приписывают москов-

ским боярам, совершенно не принимая теории г. Иловайского о литовской интриге. Кровавое происшествие в Угличе 15-го мая 1591 года представляется им как убийство подмененного ребенка, допущенное или устроенное Нагими (С. 14–15, 17 и др.). Спасенный царевич предназначался своими руководителями не только к тому, чтобы свергнуть Годуновых, но и к тому, чтобы служить русскому делу в Литве (С. 18, 23). В его католичество поэтому корреспонденты не верят, полагая, что он просто обманывал и иезуитов, и короля (С. 4, 18). Все это или почти все в нашей литературе высказывалось и прежде, но как раз эти мнения казались наименее обоснованными. Теперь же за ними стоит новая аргументация, дающая им сравнительно большую силу.

Исследование о личности Димитрия в той постановке, какую ему дают наши корреспонденты, захватывает широкий круг лиц и отношений не только в самую смутную пору, но много ранее и много позже. Это “исследование назад и вперед”, как выражается Бестужев (С. 4), на первом месте ставит “взаимные отношения деятелей, разумеется, на основании общих условий времени” (С. 8, 12). Из группировки лиц по родственным связям и иным отношениям исследователи надеются узнать состав и настроение партий, придворных и политических, и таким образом “следить за течениями жизни” (С. 21). Эти “течения жизни” интересуют их всего более: свойства и взгляды того или другого лица, программы и симпатии той или другой семьи или политической группы составляют главный предмет беседы. Общие условия, то есть “политическое, экономическое, умственное и нравственное состояние страны” (С. 12) – на втором плане. Для истории масс из “писем” нельзя извлечь ничего определенного; зато для характеристики отдельных деятелей и руководящих кружков есть много интересных частных. Остановимся на некоторых.

Федора Никитича Романова Бестужев считает важнейшим деятелем Смуты. “Да, люди XVI и XVII веков умели вести интригу и, конечно, в этом деле самым большим мастером явился человек, едва ли не самый умный, – Феодор Никитич”, – говорится в одном письме (С. 26). “Первенствующую роль в событиях Смутного времени”, – пишет Бестужев позднее, – “охотно признаю за Федором Никитичем, но не считаю его роль особенно славною” (С. 37). Федор Никитич – “человек умный, но беспринципный; он жертвовал не только людьми, но и правдой” (С. 36, 37). Так, в 1606 году он принял участие в канонизации царевича, в угличское убиение которого не верил (С. 36). По мнению Бестужева, Федор Никитич был посвящен в тайну спасения царевича: “ведь без Федора Никитича ничего не могло обойтись, – пишет он, –

мне сдается, что он более других деятелей замешан в событиях” (С. 11); “с самого момента события 1591 года он уже следит за делом” (С. 15). И не только в угличском деле, но и во всех перипетиях Смуты Ф.Н. Романов принимал участие: “во всех событиях той эпохи так или иначе сказалась рука *царя Феодора Микитича*”, – говорит Бестужев, вспоминая надпись на одном из портретов патриарха Филарета (С. 50, 60, 22). Покойному ученому как будто представлялось веское возражение, что “царь Феодор Микитич” не мог влиять непосредственно на ход дел уже потому, что постоянно был вне Москвы – то в ссылке, то на митрополии в Ростове, то в плену тушинском и польском: в одном из писем (С. 33) находим замечание, что Федор Никитич “и из плена руководил всем”. Во всех этих отзывах, конечно, много произвольного, но они очень любопытны как выражение общего взгляда на отношения эпохи, взгляда, имеющего свои основания.

Патриарх Гермоген представляется Бестужеву “простым русским человеком” (С. 99), “ревнивым оберегателем преданий” (С. 27); “это, может быть, человек был неглубокого ума, но патриот несомненно” (С. 21). Он поневоле “принял горькую необходимость признать Владислава, но и то с его, Гермогена, условием: принять православие... Спорить ему было нельзя, но и тут он сначала защищал Шуйского, потом предлагал своих кандидатов и только по нужде признал Владислава” (С. 32–33). Бестужев не понимает, почему Гермоген стоял за В.В. Голицына (С. 37), и ищет объяснения в том, что Гермоген, если не принадлежал к роду Голицыных, то был из их дома (С. 21, 28, 31). Таким образом, он не верит преданию, что Гермогеном в иночестве был назван князь Ермолай Голицын. В этом неверии его могло бы укрепить одно известие, оставшееся, повидимому, неизвестным нашим корреспондентам. По надписи на одной из вятских икон, “святейший патриарх Гермоген” благословил в 1607 году образом “зятя своего Корнилия Рязанцева”. Вряд ли бы могла княжна Голицына выйти замуж за одного из обычных посадских людей, какими были “москвитины” Рязанцевы на Вятке.

Князя Д.М. Пожарского Бестужев считает на стороне В.В. Голицына – на основании известных его слов, сказанных в 1612 году, что Голицын такой “столп”, за который бы “все держались”, если б он не был в плену (С. 9). Бестужев “готов даже поверить, что вопрос (кто должен быть царем): Романов или Голицын? отделял бояр от Пожарского”, так как бояре в междуцарствие “берегли Москву для Романова”, а Пожарский желал Голицына (С. 40). Эти рискованные положения, впрочем, не выдаются за доказанные. Оценка личных свойств Пожарского у нашего историка невысока.

“Я не считаю Пожарского человеком гениальным, – пишет он, – и в особенности не думаю, чтобы он был великим дипломатом... Пожарский в крайности и присягнул бы Тушинскому вору, ибо он признавал все установившиеся правительства и никогда не вел интриги. Это был человек средний, может быть, но весьма почтенный” (С. 18). В одном месте наклонность Пожарского “признавать власть, признанную всей Россией”, называется даже “беспринципностью” (С. 37). Университетским слушателям Бестужева давно знаком этот малоблагоклонный взгляд Бестужева на нижегородского воеводу, взгляд, основанный на отзывах Соловьева о Пожарском как о человеке “мелкочиновном” и скромном. Теперь, когда мы лучше знаем организацию ополчения 1612 года и общественные отношения той эпохи, мы не будем стоять за этот взгляд: фигура Пожарского кажется гораздо крупнее с более правильно взятой точки зрения.

Так же определены, хотя и менее подробны и обстоятельны, отзывы “Писем” и о других лицах смутной эпохи: о В.В. Голицыне, Нагих, Минине, Д.Т. Трубецком, Шуйских и т.д. Интересны замечания о боярских кружках, которые представляются как достаточно организованные партии, о духовенстве, которое называется “сильною партией”, о “торговых людях”, которым усваивается политическое значение (С. 17, 19 и др.). Всего достойного упоминания не перечесть. Хорошее знакомство с эпохой, тонкая наблюдательность, живость изложения придают интерес каждой строке “Писем”.

Интересны также отзывы и запросы Бестужева по поводу исторических документов, о которых заходила речь между корреспондентами. Так, о “следственном деле” 1591 года касательно смерти царя Димитрия Бестужев предлагает ряд вопросов (С. 29), из коих ясно, что ему было неизвестно действительное состояние этого документа. Он спрашивает, каково начало этого “дела”, предполагая, что оно сохранилось, но не напечатано. На самом деле его нет, и дело напечатано целиком, как уцелело. Далее следует замечание: “любопытно, что черняк (этого дела) не истреблен, когда он выдает работу составителей”. Поводом к такому замечанию послужили “помарки и вставки” в деле. Но эти помарки и вставки никакой “работы составителей” не выдают, потому что они – обычные помарки и вставки приказных черняков: “дело” дошло до нас в столбце, который склеен из подлинных “речей”, челобитных и других документов следствия. Если здесь и будет обнаружен когда-либо подлог, то не в виде простых “помарок и вставок”. Так же рискованно предположение, что “дело Романовых” “не так ветхо” как можно было бы заключить по точкам

издателя” (С. 29). Павлов, который пустил в ход это заявление, ничем, как известно, его не доказал. Очень любопытно указание на “синодик Макарьевского монастыря”, в котором встречается имя “инока Леонида” среди, если не ошибаемся, царских имен конца XVI и начала XVII века (С. 27, 51). Не менее интригуют и упоминания об “сведениях австрийских” (С. 6). Кое-что указано из этих сведений в *Historisk Tidskrift* за 1883 год. Если “Письма” разумеют что-либо еще более интересное, то, разумеется, сведения эти важны. Наконец, на с. 45, Бестужев сообщает, между прочим, со слов пишущего эти строки, что “Пирлинг нашел несколько документов, касающихся Расстриги, и намерен их печатать. Говорят, что он близок к тому, чтобы признать его настоящим. Впрочем, Платонов, получивший от него письмо, говорит, что Пирлинг ставит так вопрос, что эти бумаги укажут, если не то, кто был Расстрига, то, по крайней мере, то, как он о себе говорил”. Уж если сообщение отца П. Пирлинга попало в печать независимо от его или моего желания и ведома, то необходимо восстановить его точную форму. В письме о. Пирлинга из Мантуи от 28/16 марта 1894 г. стоят следующие строки: “У меня всего в виду 2–3 документа. Замечательны они тем, что исходят они от ближайших сторонников Димитрия. Если это не самая истина, то это, по крайней мере, то, что Димитрий выдавал за истину”. Только что вышедшее в Париже издание о. Пирлинга “*Lettre de Dmitri dit le Faux à Clément VIII*” обнаруживает именно такой документ, который содержит “то, что Димитрий выдавал за истину”. Это собственноручное письмо (“*entièrement autographe*”), писанное по-польски названным царевичем 24-го апреля 1604 г. и заключающее в себе краткий рассказ о его спасении “*napred w samem panstwie moskwieskiem miedzy czierncamy do czasu plewniego, potym w granicach polskych*”. Но этот документ еще не устанавливает подлинно царского происхождения Расстриги, а в предисловии к документу о. Пирлинг ничем не обнаруживает, что на основании этого письма Расстриги он “близок к тому, чтобы признать его настоящим”.

Для любителей собирать и отмечать личные мнения замечу, что на с. 53-й “Писем” неточно передано, будто я “не могу отречься от Отрепьева”. В любом литографском издании моего курса русской истории, начиная с 1883 года, можно найти ясные свидетельства того, что я не стою за тожество Гришки Отрепьева и царя Дмитрия Ивановича. В беседе с покойным К.Н. Бестужевым-Рюминым я мог высказать только ту мысль, что доказывать тожество Расстриги с настоящим царевичем труднее, чем доказывать его тожество с Отрепьевыми. Пока не получили известности

доказательства, убедившие наших корреспондентов в спасении малютки Дмитрия, до тех пор легенда об Отрепьеве будет существовать. На с. 48-й Бестужев признает правильную дилемму: “если не Отрепьев, то настоящий, а так как несомненно не Отрепьев, то... но для неубежденных это все-таки надо доказать”. Неубежденный же может повернуть дилемму и так: если не настоящий (что не доказано), то Отрепьев. Третье может быть только одно: неизвестно кто. Если не держаться этого третьего и искать непременно имени то скорее придешь к Отрепьеву, чем уверуешь в чудесное спасение от недоказанного убийства. Только это и мог я высказывать, не будучи введен в круг тех доказательств, которыми был убежден К.Н. Бестужев-Рюмин.

Издание писем сделано тщательно. Известный по неразборчивости почерк покойного историка прочтен в общем хорошо. Может быть, на с. 23-й (строка 3 снизу) вместо непонятной “нерьяной роли” следует читать “невидной”, а на с. 40-й (строка 4 сверху) вместо “за которыми” должно быть “за которым”. На с. 25-й польский текст искажен: вместо, например, “miasteczkach” стоит “mia eczkich”, вместо “czerńce” – “czerńu”; было бы нетрудно выписать приводимые в письме фразы со с. 177–178 доступного всем первого тома издания г. Прохазки “Archivum domus Sapiehanae”. Есть промахи и в “Указателе”: смешаны митрополит Дионисий и архимандрит Дионисий; в цифрах у имени кн. Д.М. Пожарского пропущена цифра 9. Под словом “Расстрига” указано “см. Отрепьев”; между тем, в “Письмах” термином Расстрига означает именно не Отрепьев, а названный царевич.

Василий Григорьевич Васильевский¹ (1899)

Уже полгода прошло со времени кончины почетного члена нашего Общества академика В.Г. Васильевского, этого “удивительного человека по качествам ума и сердца”. Так назвал почившего под первым впечатлением утраты один из близких к нему людей – и сказал глубокоую правду². Васильевский был удивительный человек по необыкновенно счастливому сочетанию умственной силы с моральною красотою. Исключительно одаренный природою, он не скрыл данного ему таланта, но все свои благородные способности всецело отдал на служение науке и русскому просвещению. Проведенная в кабинете, аудиториях и библиотеках, его жизнь не изобиловала внешними событиями, но отличалась таким богатством внутреннего содержания, что было бы излишне смелым намерением охватить в минутной характеристике весь круг ученых работ и умственных интересов почившего. Мое о нем слово не имеет такого намерения: оно должно служить лишь к тому, чтобы в самых общих чертах восстановить в вашей памяти всем нам знакомый образ покойного товарища, сотрудника и учителя.

В. Гр. Васильевский получил свое первое образование в Ярославской семинарии; отсюда в 1856 году он поступил в Главный педагогический институт, а из Института, по случаю его закрытия в 1859 году, был переведен в Санкт-Петербургский университет, в котором и окончил курс с званием “старшего учителя” в 1860 году. Через два года В. Гр. Васильевский в числе многих других сверстников послан был за границу для приготовления к профессоруре. В Берлине слушал он Момзена и Дройзена, в Иене – Адольфа Шмидта. Сам он говаривал не раз, что, отправляясь за границу, он вовсе не имел подготовки к специальным научным занятиям; тем с большим правом можно полагать, что он успел многому научиться в Германии. Назначенный по возвращении из путешествия преподавателем истории в Виленскую гимназию,

¹ Читано в общем собрании Императорского Русского археологического общества 9-го ноября 1899 года. В. Гр. Васильевский скончался во Флоренции 13-го мая 1899 года.

² В.Г. Васильевский: (некролог) // ЖМНП. 1899. Июнь. С. 1.

В.Гр. Васильевский не отдал всех своих сил педагогической практике, но продолжал занятие избранною им для специального изучения историею Древней Греции. В 1866 году, во II-м томе “Вестника Европы”, выступил он с обширною и солидною критическою статьею по поводу ученых “исследований, относящихся к древнейшему периоду истории Сицилии”. А в 1868 году началось печатание его магистерской диссертации о “политической реформе и социальном движении в Древней Греции в период ее упадка”. По защите диссертации, с 1870 года, настал новый период в жизни В. Гр. Васильевского. Молодой ученый был приглашен на кафедру истории в Санкт-Петербургский университет и с тех пор сосредоточился на изучении Средних веков. По истории Западной Европы в Средние века читал он свои общие курсы; Византия сама по себе и в ее отношениях к Древней Руси была предметом его собственных занятий и любимую темою специальных курсов. Двадцать лет принадлежал В.Гр. Васильевский университету и вообще делу высшего преподавания, и в эту пору создана была его слава первостепенного преподавателя и ученого. В 1890 году, не покинув университета, стал он академиком Императорской Академии наук, этим самым достигнув, по собственному его признанию, исполнения единственной его честолюбивой мечты. Вместе с тем он был назначен редактором Журнала Министерства народного просвещения, а немного позднее (1894 г.) и редактором Византийского временника. Последнее десятилетие его жизни отличалось таким образом большею сложностью обязанностей и более широким кругом сношений. Несмотря на упадок здоровья и сил в эти годы, покойный с изумительною бодростью и энергиею отдавался делу и любимым занятиям. До самого конца, измученный страданиями, не покидал он пера, и его последняя статья была напечатана уже после его смерти по рукописи, полученной в редакции журнала “за несколько дней до его кончины”³.

Двумя особенностями отличалась умственная деятельность нашего ученого: во-первых, чрезвычайною широтою и живостью ученого интереса и, во-вторых, необыкновенною тонкостью и чуткостью критики. В самом деле, начал он свои занятия в области изучения античной жизни; затем перешел к темам литовско-русским (1869–1874), одновременно начал работы по изучению Византии (с 1872 г.); естественным образом пришел от вопросов византийской истории к вопросам истории русской и западноевропейской; в то же время и независимо от византийских занятий следил он за литературою западноевропейской истории и был ее глубоким знатоком; палестиноведение нашло себе в нем деятельного поборника

³ Там же. С. 471.

и работника; наконец, арабские писатели не раз обращали на себя его внимание как источник для восстановления событий, входивших в историю Византии и Древней Руси. С другой стороны, В.Гр. Васильевского интересовали не только судьбы различных народностей и разных эпох, но и самые разнородные виды исторического изучения. Он был не только знатоком исторических фактов, но и мастером во многих сферах исторического творчества. Изучение текстов и их критика, восстановление фактов и определения хронологические, вопросы права и политики, социальные явления, психологические настроения и всякие иные стороны исторического процесса, – все находило свое место в исследованиях покойного историка и ко всему он относился с полной компетентностью и в то же время с осторожностью и сдержанностью глубокого ученого.

Такая разносторонняя ученость и широта умственного кругозора заслуженно ставили В.Гр. Васильевского во главе целой ученой дисциплины – византиноведения. Хотя покойный с обычной скромностью и заявил однажды, что он “никогда не счел бы бесчестием для себя быть и считаться учеником А.А. Куника”⁴, однако нет сомнения, что от Куника мог исходить лишь первый толчок в сторону изучения Византии, лишь самая идея необходимости такого изучения; научное же движение в этой области руководилось не Куником, а именно Васильевским. Первому принадлежали, по удачному выражению Ф.И. Успенского, “старшинство и авторитет”; второму же – “боевая сила и влияние”⁵. В этом руководящем влиянии была, думаем, главная роль В.Гр. Васильевского, с которою он перейдет в историю нашей науки и общечеловеческой культуры. Центральное и главенствующее положение в среде наших византинистов давала В.Гр. Васильевскому не только сила первенствующего таланта, но и почетные особенности его личности, “вносившей во все отношения согласие и ясность”⁶.

Что касается до ученой критики В.Гр. Васильевского, то она была исключительно по сочетанию сознательно выработанного метода с непосредственно чуткостью и тончайшей наблюдательностью. По выражению одного из его учеников и последователей по специальности, “он обладал удивительным талантом вычитывать в сухих летописях то, чего другие не замечали”; “не раз, – продолжает этот ученый, – случилось мне проверять работы дорогого учителя, и я всегда убеждался, что источники использованы им до последней мелочи и ни единой черточкой нельзя пополнить его

⁴ *Васильевский В.Г.* Еще раз о мнимом славянстве гуннов: (Ответ Д.И. Иловайскому) // ЖМНП. 1883. Апрель. С. 391.

⁵ *Успенский Ф.И.* Русь и Византия в X веке. Одесса, 1888. С. 5.

⁶ В.Г. Васильевский: (некролог) С. 4.

изложение”⁷. Эта сторона ученого таланта В. Гр. Васильевского, можно сказать, сверкала как грань алмаза и пред теми, кто вчитывался в его статьи, и пред теми, кто имел завидную долю слушать его специальные курсы в университете. Не владея гладкою фразою, он, однако, покорял себе аудиторию и увлекал ее великолепными образцами ученого анализа. Не заботясь о доступности изложения в статьях, он, однако, достигал того, что они читались с интересом и даже с увлечением. Неизменная оригинальность сюжета, изящество построения, стройность и сила аргументации, своеобразная красота языка, как будто умевшего переносить в современность достоинства архаического красноречия и даже его манерность; наконец, бесподобный юмор, которым был так богат этот строгий ученый, – вот всем известные свойства его статей.

Обаяние личности покойного можно уже было чувствовать и не зная его близко, а только видя его со скамьи аудитории или же знакомясь с его произведениями. Личные отношения с ним вызывали чувство живой симпатии к нему. Близкое же знакомство порождало непреходящее чувство удивления пред душевными качествами этого человека и крепкую привязанность к нему. Казалось, сердце его, отзывчивое и мягкое, отличалось свойствами, подобными тем, какими украшался его ум, – чуткостью и широтою чувства. Тонкий наблюдатель исторических фактов, В.Гр. Васильевский был не менее тонким наблюдателем и ценителем людей и современности. Он хорошо понимал характеры, чутко определял способности ума и достоинства душевные. С неменьшею чуткостью ценил он явления общественной жизни и без колебаний определял свое к ним отношение, всегда исполненное нравственного достоинства и спокойной терпимости. Его благодушие, миролюбие и доброжелательность были поистине безмерны. Он не умел враждовать и всегда старался отыскать объяснение, оправдание или извинение всякому направленному против него поступку. Добру он всегда умел сочувствовать, а зло его никогда не озлобляло. Всеми силами служил он тому, что считал справедливым, и в этом деле не признавал ни партий, ни сторон. Это была одна из самых благородных, чистых и возвышенных натур. Ее достоинства, воспитанные беззаветным служением науке и просвещению, блистательно показывают нам вечную и неизменную справедливость давно высказанной поэтом мысли о том, что там, “где высоко стоит наука, стоит высоко человек”...

⁷ Слова П.В. Безобразова (В.Г. Васильевский // Византийский временник. 1899. № 3–4. С. 5). Ср. такой же отзыв в статье о В.Гр. Васильевском Ф.И. Успенского (*Успенский Ф.И.* Академик Василий Григорьевич Васильевский: (Обзор главнейших трудов его по изучению Византии) // ЖМНП. 1899. Октябрь. С. 291–292).

О титуле “думный дьяк” (1900)

В конце XVI века и в XVII веке в составе боярской думы Московского государства упоминаются думные дьяки. Это – младший иерархически думный чин, члены которого, по сообщению современников, даже не сидят, а стоят в думных собраниях, докладывают и объясняют дела, но не участвуют на равных правах с боярами в решении дел. Громадное значение и влияние думных дьяков в московских служебных кругах объясняется не тем, что они признаются сановниками, а тем, что они стоят во главе важнейших московских приказов, находящихся в ближайшем ведении самой думы. Вся текущая деятельность московской центральной администрации направляется думными дьяками; в этом их сила; отсюда их известность.

Однако несмотря на свою известность думные дьяки, вместе с учреждением, в котором они действовали, стали предметом больших разногласий в нашей специальной литературе. Тому, кто желал бы навести краткую справку об этом думном чине, придется получить от разных исследователей различные, взаимно несогласимые показания. У Н.П. Лихачева он найдет категорическое, основанное на хорошем знакомстве с первоисточниками, утверждение, что “точный титул *думный дьяк* появляется лишь в последней четверти XVI столетия, но участие дьяков в думе несомненно даже для XV века”. “Титул думный дьяк, – продолжает далее г. Лихачев, – в документах первой половины XVI столетия заменяется другими более или менее соответствующими обозначениями... такие, например, названия, как *дьяк введенной*, *дьяки великие*, несомненно, относятся к дьякам, введенным в думу”¹. В приведенных цитатах высказана совсем ясная мысль: новым титулом в конце XVI века почтена старая должность, искони бывшая в Москве. Вопрос о происхождении думного дьячества есть вопрос о происхождении только титула. Менее ясности в отзывах В.И. Сергеевича. В I-м томе его “Юридических древностей” читаем: “В первой половине XVII века, а может быть, и ранее, появляется и титул думного

¹ Лихачев Н.П. Разрядные дьяки XVI века. СПб., 1888. С. 166, 180 и след.

дьяка... Дьяки-советники своих государей – явление очень старинное... Но в старину это было делом домашней, кабинетной жизни. Теперь же (то есть “в первой половине XVII века, а может быть, и ранее”?) дьяки удостоиваются и соответствующего титула и таким образом явно, на глазах всего Московского государства, становятся рядом с детьми боярскими, живущими в думе, с окольными и боярами введенными. Они – признанные члены государевой думы, а не тайные советники (С. 502–503). Выходит так, что удостоение титула “думный” было формальным, сравнительно поздним признанием дьяков членами государевой думы. Из “тайных советников” князя они были сделаны думцами. Во II-м томе того же труда оттенки изложения становятся иными. “До нас дошли, – пишет г. Сергеевич, – указания на дьяков, участников боярской думы, от конца XVI века... Но есть основание думать, что и думные дьяки могли появиться уже в царствование Ивана Васильевича III... Прилагательное *думный* для обозначения дьяка-советника могло возникнуть позднее, но самое дело – приглашение дьяков в думу – совершенно согласно с политикою Ивана III” (С. 353). Когда же совершилось признание дьяков членами думы? В княжение великого князя Ивана III Васильевича, когда дьяков пригласили в думу, или же позднее, когда их удостоили соответствующего титула? Затруднение читателя возрастает еще более при чтении страницы 396-й, где г. Сергеевич говорит, что в постановлении думцами одного “боярского приговора” 1520 года участвовали “3 думных дьяка”, между тем читатель еще не забыл, что на стр. 353-й сам автор, утверждая, что “до нас дошли указания на дьяков, участников боярской думы, от конца XVI века”, прибавляет: “далее этого свидетельства памятников, нам известные, не восходят”. Желание уразуметь точно мнение авторитетного ученого ведет нас, может быть, к мелочности и придирчивости, но и при всем том оно остается неудовлетворенным. Решаемся, впрочем, думать, что г. Сергеевич в данном вопросе следует г. Лихачеву, не выводя своих наблюдений из круга материалов, комбинированных последним. Эти материалы, по-видимому, заставляют его признавать, что дьяки появились в думе раньше, чем получили титул думных. Если так, то и для г. Сергеевича вопрос о происхождении думного дьячества в конце XVI века есть вопрос только о происхождении титула. Иначе стоит дело у гг. Ключевского и Владимирского-Буданова: они оба признают должности думных дьяков учреждением, выросшим при думе в XVI веке благодаря “новым потребностям администрации”, “усилению письменного делопроизводства”². Думные дьяки

² Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. М., 1882. С. 287–289; Владимирский-Буданов В. Ф. Обзор истории русского права. 3-е изд. Киев, 1900. С. 177–178.

стали как бы начальниками отделений думной канцелярии, отделений, которые разрослись в целые приказы с обширным кругом дел. Оставаясь под непосредственным руководством боярской думы, эти приказы передавались в заведывание дьякам “как делегатам думы” (выражение М.Ф. Владимирского-Буданова). При таком взгляде на дело учреждение должностей думных дьяков должно быть поставлено в связь с административною реформою, создавшею кругом думы ряд важнейших по значению приказов. Тот, кто определит время этой реформы, узнает и время появления должностей думных дьяков. До сих пор, однако, это никем еще не сделано, хотя в последние десятилетия достигнуты большие успехи в изучении той именно эпохи, к которой относится появление думного дьячества и того именно административного строя, в котором это дьячество стало такою влиятельною силою.

Можно думать, что и впредь ученые тщетно будут искать момента “учреждения” новой должности думных дьяков, потому что дьяки в думе присутствовали всегда одинаково: и в XV веке, когда их думными не звали, и в XVI веке, когда их привыкли называть думными. Это совершенно ясно доказано г. Лихачевым, который оставил на долю последующих изыскателей лишь одну задачу – объяснить, откуда появился в XVI веке ранее не существовавший обычай именовать дьяков, ведущих доклады в боярской думе, думными дьяками, несмотря на то, что они попрежнему стояли во главе приказов и продолжали называться по имени своих приказов – разрядными, поместными и т.д.³. Акты XVI в. не дают этому готового объяснения; мало того – в актах и приказных записях очень редко встречаем название дьяков *думными* вплоть до 1613 года, и в списках думных чинов дьяки XVI века вовсе не записываются⁴. Это – признак того, что в XVI веке название *думный* скорее житейское прозвище, чем определенное официальное наименование. То объяснение, которое по нашему вопросу мы сейчас предложим, клонится к тому же заключению: название *думного* создано бытовым порядком, так сказать, само собою, с появлением опричнины Грозного, благодаря тому, что явилась надобность как-нибудь отличать дьяков, по-старому докладывав-

³ Например, “думный дьяк Поместные избы”, “думный дьяк Поместного приказу” (Лихачев Н.П. Разрядные дьяки... С. 183).

⁴ В Древней российской вивлиофике (т. XX) думные дьяки впервые приведены под 7163 (1654–1655) годом (С. 111); в Архиве историко-юридических сведений Калачова (Список бояр, окольных и других чинов с 1578 года до царствования Феодора Алексеевича // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1855. Кн. 2, ч. 1. Отд. 2. С. 132) – под 7115 (1606–1607) годом.

ших дела думе, от дьяков, имевших доклад помимо старой боярской думы в новом государеве “дворе” или “опришнине”. Первых стали звать дьяками “из земского” или “думными”, вторых – дьяками “из опришнины” или “дворовыми”. Затем мало-помалу эпитет *думных* закрепился за теми из дьяков, которые бывали в думе, а прочие параллельные эпитеты исчезли с уничтожением “опричнины” и “двора”. Справедливость этого наблюдения откроется всякому, кто даст себе труд просмотреть относящиеся к делу документы XVI века и в особенности тексты пространных редакций “разрядов” за вторую половину XVI столетия. Таким образом выходит, что в эпоху Грозного действительно произведена была перемена, но она касалась не столько дьячества, сколько самого правительства, и по отношению к дьякам сказалась только тем, что в порядке подчиненности разделила дьяков на две группы: подчиненных по-старому боярской думе и подчиненных вновь устроенному “двору”. Новостью оказывался не “думный” дьяк, который и раньше ходил в думу, а дьяк дворовый, который перестал носить дела в думу земским боярам, а начал являться с ними в опричнину, к новой власти.

Мимоходом мы высказали эту мысль в наших “Очерках по истории Смуты в Московском государстве”⁵ при характеристике того раздвоения, которое было внесено опричниною в функции московской администрации. По нашему представлению опричнина не создала новых учреждений кроме нового “двора особного”. Этот “особной двор” пользовался для своих целей старыми, до него существовавшими органами управления, выделяя из состава приказных людей особый штат “дьяков из опришнины”, но оставляя их сидеть в их прежних приказах и ведать дела старым порядком. Таким образом, в Разряде, например, в 1574–1576 гг. сидели вместе дьяки Щелкаловы, Шерефединов и Арцыбышев. Братья Щелкаловы при этом ведали дела и местности “из земского”, а Шерефединов и Арцыбышев – дела и местности “дворовые”. Щелкаловы докладывали боярской думе, а их товарищи – царю в его “особном дворе”. Но Разряд при этом оставался по-прежнему единым учреждением, работавшим по старой правительственной традиции; механизм его не изменился от того, что вместо одной высшей инстанции стало две. Для удобства различения стали Щелкаловых звать думными дьяками, а их товарищей – дворовыми; но этими названиями не отмечалось никакой перемены ни в служебной чести, ни в служебной практике этих лиц. Существо службы не менялось оттого, что менялся порядок подчиненности.

⁵ В первом издании – с. 154; во втором – с. 117.

То, что мы теперь говорим, есть плод личных наблюдений над сырым историческим материалом; это – только гипотеза. Но ею объясняется так много в истории не только самой опричнины, но и вообще московских учреждений XVI в., что за эту гипотезу стоит постоять и над ее развитием стоит поработать. Мы уверены, что историки права и учреждений XVI века в Московском государстве должны будут обратиться к самому внимательному изучению опричнины, которая еще так недавно объявлялась нелепою и бессмысленною по своей цели и которая вовсе не изучалась со стороны ее действительного значения и результатов.

Речи Грозного на земском соборе 1550 года (1900)

Кто не знает той знаменитой речи Иоанна Грозного, которая была им говорена на Лобном месте первому земскому собору? Кто в свое время не читал искусного перевода этой речи, предложенного Карамзиным в VIII томе его “Истории” и повторенного покойным К.Н. Бестужевым-Рюминым в его, к сожалению, не оконченной “Русской истории”? Речь Грозного – один из прославленных памятников слова Московской Руси – печаталась дважды. Карамзин поместил текст этой речи (и речи Грозного Адашеву) в 182-м и 184-м примечаниях к своему VIII тому, заметив при этом, что “сия любопытная речь находится в Архивской Степенной книге Хрущова”. Вскоре затем весь рассказ об обращении молодого царя к народу и речь его Адашеву были вторично изданы в Румянцевском “Собрании государственных грамот и договоров” без указания оригинала, с одною лишь отметкою: “в списке”, которая должна была означать, что редакторы издания не имели в руках официального, “приказного”, текста памятника. Можно не сомневаться, что в их распоряжении была та же Степенная книга Хрущова, которую назвал Карамзин: в этом убеждает полное тождество напечатанного ими текста и текста, который теперь можно читать в Хрущовской рукописи. С тех пор (с 1819 года) не было никаких указаний на существование иных списков занимающего нас памятника¹.

Уже Карамзин считал возможным сомневаться в точности отдельных указаний, какими сопровождалась открытая им “речь” в Степенной книге. Там было сказано, что царь говорил речь “в возрасте 20 году”; Карамзин поправлял: “не 20, а 17”. Степенная книга сообщала, что царь в тот же день, когда говорил к народу, пожаловал А. Адашева в окольничие; Карамзин не поверил этому,

¹ Слова Н.П. Лихачева (*Лихачев Н.П.* Происхождение А.Ф. Адашева, любимца Ивана Грозного // Исторический вестник. 1890. Май. С. 382) о том, что речь дошла до нас “в списках”, имеют в виду не рукописи, а два изданных текста, о которых не предполагалось, что они печатаны с одной рукописи (Ср. Там же. С. 391, примеч. 2).

имея в виду боярские списки в Древней российской вивлиофике (т. XX), по которым Адашеву околичничество сказано было значительно позднее. Н.П. Лихачев также находил это указание неверным и объяснял его “несомненными искажениями”, допущенными в дошедших до нас “списках” памятника². Вообще же достоверность памятника в его целом оставалась до настоящего времени вне сомнений, и исследователи скорее жалели о краткости его и неясности, чем подозревали его ненадежность. Еще в недавние годы на него ссылались, как на источник для истории земского собора 1550 года; но уже В.О. Ключевский признал, что нельзя из его текста извлечь что-либо вполне определенное, и выразился так, что собор 1550 года “надобно пока считать потерянным фактом в истории устройства соборного представительства XVI века”³.

Можно опасаться, что смысл этой фразы безутешнее, чем казалось тогда, когда она была напечатана. Непосредственное знакомство со Степенною книгою Хрушова производит неожиданное впечатление. Хранится эта книга в Московском главном архиве министерства иностранных дел (библиотеки архива № 26–34) и представляет собою, насколько можно судить на основании общего обзора, Степенную книгу обычного состава, тождественную с напечатанной в XVIII столетии. Рукопись письма XVII века, писана скорописью в лист, в ветхом переплете; на одном из последних нумерованных листов есть запись: “Книга градограф околничаго Семена Семеновича Колтовскаго” (известен по боярской книге 7199–1691 года)⁴. В XVIII столетии рукопись принадлежала Андрею Федоровичу Хрушову, “конфиденту” Артемия Волынского, казненному вместе с Волынским в 1740 году. В числе других конфискованных “гисторий” Степенная книга была в 1742 году сдана в архив Иностранной коллегии⁵. Из этих данных ясно, что мы имеем дело с памятником, не восходящим к XVI веку; далеко не все отнесут его даже и к первой половине XVII столетия. Одно это обстоятельство способно внушить некоторую осторожность: не всегда позволительно доверяться показаниям поздней летописи о событиях, о которых нет современных им известий. В данном же случае дело усложняется тем,

² Там же. С. 382.

³ Ключевский В.О. Состав представительства на земских соборах древней Руси (посвящается Б.Н. Чичерину) // Русская мысль. 1890. Январь. С. 150.

⁴ Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах. М., 1853. С. 197.

⁵ Белокуров С.А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1899. С. 88–89.

что Хрущовская рукопись подверглась интерполяции как раз в том месте, которое нас интересует, – в 9-й главе 17-й степени, там, где говорится о “великом пожаре” и “покаянии людстем”⁶. По существующему в рукописи счету листов и страниц, лист 518 (С. 1026) был вырезан и заменен другим с целью дополнения текста. Вырезан всего один листок (то есть две страницы), и к оставшемуся его корешку частью пришит, частью приклеен сложенный лист (то есть четыре страницы), – и на этом-то листе находятся знаменитые “речи” царя Ивана! Именно они⁷ и служили предметом вставки: предшествующий им и последующий текст не отличается от обычного текста Степенной книги и подогнан интерполятором к основному тексту соседних листов рукописи. Такую же замену листов можно наблюдать и в другом месте рукописи, именно в изложении 24-й главы 15-й степени (л. 469, с. 928)⁸. Предстоит еще определить количество и тенденцию вставок и замен в рукописи, на что пишущий эти строки не имел времени; но в приложении к интересующему нас месту возможно и теперь высказать некоторые соображения.

Судя по водяному знаку на тех листах, которые вшивал интерполятор в Хрущовскую книгу (голова шута), его труд мог быть совершен не раньше, как во второй половине или даже в последних десятилетиях XVII века. В том же удостоверяет и почерк – грубый полуустав, который всего вероятнее приурочивается к исходу XVII века. С другой стороны, нет оснований относить порчу рукописи ко времени позднее 1740–1742 года, когда рукопись перешла от опального Хрущова “на хранение” сперва в Иностранную коллегию, а затем в ее архив. Достаточно подделок, как известно, связано с концом XVII века; манипуляции с Хрущовскою книгою совершенно соответствуют манере той эпохи. Вот почему с невольною подозрительностью относимся мы и к “речам” Грозного. Если допустить мысль, что они сфабрикованы лет полтора-два спустя после того времени, к которому приурочены, то можно легко объяснить и несоответствия, которые указаны были еще Карамзиным, и кое-какие мелочи, бросающиеся в глаза позднейшему их читателю. Выражение “собрати свое государство *из городов всякаго чину*”, мало понятное в XVI веке, как заметил В.О. Ключевский⁹, совсем соответствует

⁶ Книга Степенная царского родословия... М., 1775. Ч. 2. С. 246–249.

⁷ То есть как раз все то, что напечатано в Собрании государственных грамот и договоров (Ч. 2. № 37).

⁸ Книга Степенная царского родословия... Ч. 2. С. 159–160.

⁹ Ключевский В.О. Состав представительства... С. 156–157.

языку и понятиям о земском представительстве людей XVII столетия. Слова Грозного Адашеву: “взял я тебя от нищих и от самых молодых людей” – мало вероятны в устах Грозного в 1550 году; зато в XVII веке, когда происхождение Адашевых было забыто, эти слова могли приписать царю, взяв их из письма Грозного к Курбскому о “собаке” Алексею Адашеву: “взяв сего от гноища и учиних с вельможами”¹⁰. И вообще мотивы переписки Ивана IV с Курбским могли оказать влияше на композицию “речей” 1550 года, как из Стоглава могло быть взято смутившее Карамзина указание Хрущовской книги на 20-й год возраста Грозного. Речь Грозного, приведенная в Стоглаве, о прощении бояр и исправлении Судебника¹¹ указывает на “предыдущее лето”, то есть на 1550-й год, когда Грозному шел действительно 20-й год. А упоминание Грозного в Стоглаве, что он боярам “заповедал *со всеми хрестьяны царствия своего*” помириться, могло возбудить в уме человека XVII столетия представление о том, что царь “повелел собрати свое государство из городов всякаго чину”.

Высказывая эти догадки, мы отнюдь ни на чем не настаиваем. Важно для нас лишь то, что подобные догадки становятся возможны после знакомства с Хрущовской рукописью. Уничтожить эту возможность может лишь находка новых списков “речей” Грозного, а утвердит ее – тщательное изучение Степенной книги Хрущова. Не рассчитывая на первое, призываем ко второму наших специалистов-палеографов. Настоящая заметка имеет целью именно возбудить их интерес к любопытному памятнику старой письменности.

¹⁰ Сказания князя Курбского / Изд. Н.Г. Устрялова. 3-е изд. СПб., 1842. С. 162.

¹¹ Стоглав. Казань, 1862. С. 46–47.

О топографии Угличского “кремля” в XVI–XVII веках (1901)

Изучение топографии Угличского “кремля” или “города”, в котором жил и скончался в 1591 году царевич Дмитрий Иванович, может иметь большую важность для правильного понимания “следственного дела” о смерти царевича, для оценки свидетельских показаний, занесенных в это “дело”, для определения места, где истек кровью царевич Дмитрий, и вообще для восстановления обстановки, в которой так загадочно окончил свои короткие дни “неповинный отрок”. Посмотрим, однако, насколько возможна топография древнего Углича.

Источниками наших сведений о данном предмете кроме самого “следственного дела” 1591 года (напечатанного в Собрании государственных грамот и договоров графа Н.П. Румянцева, том II, № 60), могли бы служить писцовые книги того времени и им подобные документы, заключающие в себе описи крепостных укреплений и зданий внутри “городов”. Но, к сожалению, для Углича не сохранилось ранних писцовых книг или иных описей, и автору этого сообщения удалось собрать полезные для его цели сведения лишь из следующих памятников:

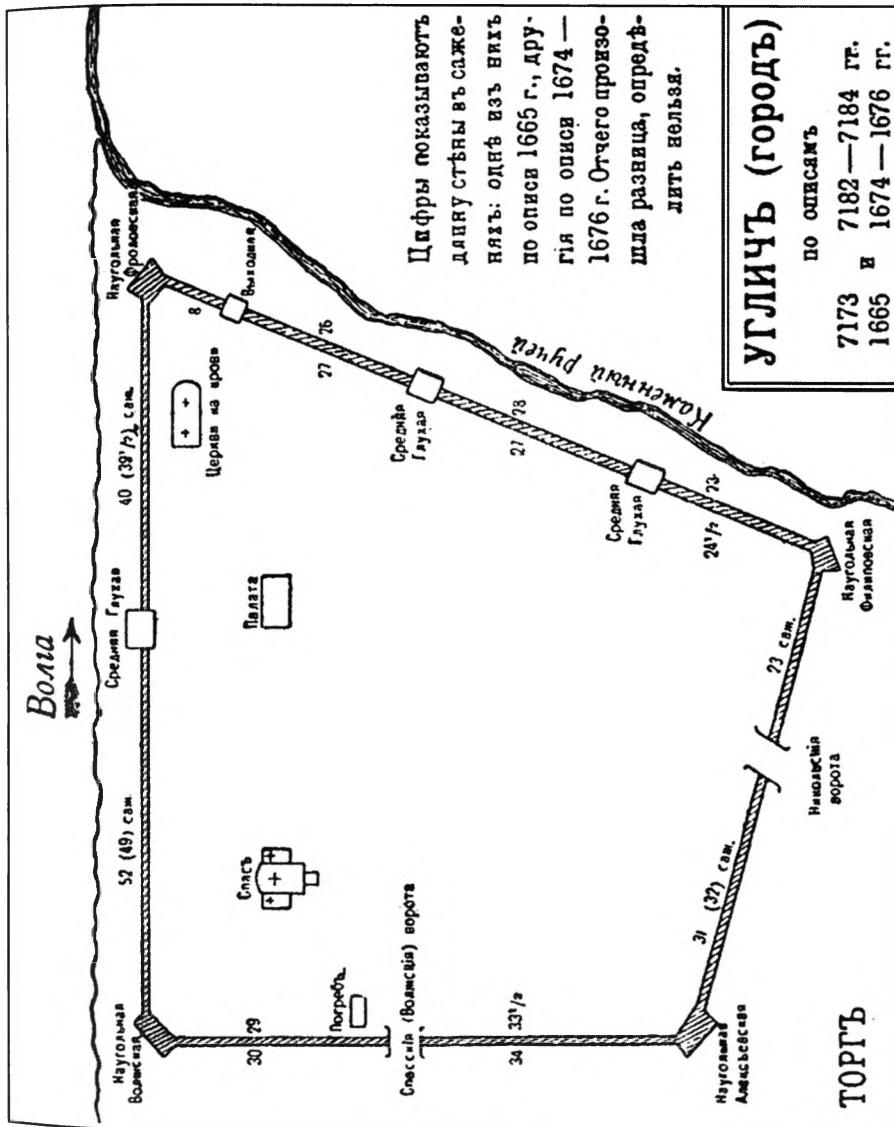
а) отрывок описания г. Углича 1620 года, напечатанный М.А. Липинским (Временник Ярославского Демидовского лицея. Ярославль, 1890. Кн. 50. Стб. 78–85)¹;

б) опись городу Угличу 1665 года (Углич. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1887. С. 87);

в) писцовая книга города Углича 182–184 годов (то есть 1674–1676 гг.), изданная М.А. Липинским (во “Временнике Ярославского Демидовского лицея” и отдельно: *Липинский М.А.* Углицкие писцовые книги. Ярославль, 1888), также А.А. Титовым в “Трудах Ярославской архивной комиссии” (М., 1892. Вып. 2);

г) опись городов 1678 года (ДАИ. Т. 9. № 106. С. 226);

¹ В этом же издании находятся любопытные указания на существование плана или “чертежа” Углича, составленного в 7138 (1630) году (см. с. 175–176); ср.: Труды Ярославской архивной комиссии. М., 1900. Кн. 3. С. 335.



Цифры показывают
длину стѣны въ саже-
няхъ: однѣ изъ нихъ
по описв 1665 г., дру-
гя по описв 1674 —
1676 г. Отчего произо-
шла разница, опредѣ-
лить нельзя.

УГЛИЧЪ (городъ)
ПО ОПИСАМЪ
7173 в 1665 — 7184 гт.
1665 в 1674 — 1676 гт.

ТОРГЪ

д) переписная книга Углича 1710 года (рукопись библиотеки И.А. Шляпкина²).

Из текста “следственного дела” 1591 года мы извлекаем немного топографических указаний. В “деле” упоминается: “двор” дворцовый, “задний двор”, “брусыная изба” на дворе, куда скрылся от толпы дьяк Битяговский; “передние сени”, где были “истобники”; “поставец вверху”, у которого стоял стряпчий с слугами во время события 15-го мая; “кормовой дворец”, “хлебный дворец”, “поварня”, “хлебня”, “конюшня” и другие службы. Все это относится собственно ко двору царевича и упоминается столь бегло, что не только отдельных частей дворца, но и всей дворцовой усадьбы нельзя точно приурочить к какому-нибудь определенному пункту на плане города. Некоторое указание на то, что “верх”, то есть дворец, был непосредственно около собора (“Спаса”), можно видеть лишь в словах, что “Осипа Волохова привели к царице *вверх к церкви к Спасу*” (С. 105). Но и это указание не особенно определено благодаря краткости и беглости. Затем “следственное дело” за пределами “двора” царевича, но внутри “города”, помещает какую-то “полату”, в которой держали под караулом Волохову, и “дьячью разрядную избу”, а также упоминает “улицу” перед дворцом и “овраг”, куда метали тела побитых “на дворе” 15-го мая людей. Этим и ограничиваются данные “дела”. Упоминается в “деле” церковь “царя Константина”, но решительно не видно, чтобы она была в “городе”: позднейшие документы об Угличе не знают этой церкви и вовсе³.

С этим скудным материалом в руках обращаемся к писцовым книгам и описям XVII века. Подробное описание “города” в Угличе встречаем в писцовой книге 1674–1676 гг., а подробное описание городских стен находим, сверх того, и в описи 1665 года. Сводя данные этих документов, получаем возможность восстановить с соблюдением масштаба чертеж городской стены с 10 башнями⁴. Но только. Все прочие топографические данные описей на чертеж не переносятся по неопределенности их редакции. Двор, улица, сооружение упоминаются и описываются без указания их точного местонахождения. Так, в книге 1675–1676 гг. кроме улиц и простых дворов в кремле, между прочим, названы:

² Не основываемся на Угличском летописце, пока историческая критика не оправдает в нем того, что нам представляется полным баснословием.

³ О ней упоминает одно Сказание о смерти царевича Дмитрия, говоря, что царевич был убит “противу церкви царя Константина” (Чтения ОИДР. 1864. Кн. 4. Смесь). Интересно знать, почему она исчезла и где была?

⁴ Чертеж прилагается на с. 159.

“палата за соборною церковью”; “погреб” и над ним “амбары”; “колокольница” при соборной церкви; соборная теплая церковь Алексея человека Божия; съезжая изба; караульная изба; воеводский двор; Богоявленский девичь монастырь. Но ни одно из этих сооружений не может быть точно обозначено на плане кроме первой палаты, которая, как оказывается, была под одним из приделов собора. Точно могут быть приурочены, далее, упомянутые в книге 1674–1676 гг. “палата каменная” (нынешний дворец-музей) и церкви деревянные св. царевича Дмитрия и архистратига Михаила. Об этих церквях важно то указание рукописной переписной книги 1710 года, что обе церкви имели один причт. Из них, полагаем, образовалась ныне единая каменная церковь, что “на крови”.

Столь неутешительны результаты изучения писцового материала! Он не дает почти ничего для плана древнего Углича и ничего не прибавляет к тому, что мы знали из “следственного дела” 1591 года. Другими словами, топографию Угличского кремля надо считать потерянною, ибо “следственное дело”, как мы видели, нам ее не разъясняет.

Тем бóльшую важность могут иметь правильно поставленные раскопки на территории древнего Угличского “города”. Начало им положено в 1900 году трудами К.Н. Евреинова и И.А. Тихомирова, и уже добыты доказательства существования каменных сооружений там, где их нельзя было предполагать по указаниям письменных памятников. Может быть, результаты дальнейших раскопок, освещенные справками с рукописною стариною, скажут нам много нового и ценного, чего не говорит нам пока одна эта рукописная старина.

О происхождении патриарха Гермогена (1901)

Происхождение патриарха Гермогена в точности неизвестно. Современник его Гонсевский, будучи в Москве в 1610–1611 годах, добыл какие-то (Бог весть, насколько верные) сведения о пребывании Гермогена “в казаках донских, а после попом в Казани”. Мы не можем проверить этих сведений. Но из того, что Гермоген никогда не присоединял своей фамилии к монашескому имени, – как это делали в старину иноки “с отечеством”, служилого, боярского или княжеского рода, – имеем повод заключать, согласно с Гонсевским, что Гермоген был незнатного происхождения. Если бы он был человеком знатным или родовитым, его внесли бы в родословцы; но ни в родословцах, ни в синодиках среди старой знати имени Гермогена нет. Приведенные соображения суть только соображения, а не положительные факты; они шатки, потому что их легко опровергнет всякое новое историческое известие, если его достоверный смысл с ними не совпадет. Но пока этого не случилось, эти соображения имеют силу исторического доказательства и должны служить основанием для проверки существующих преданий о происхождении и родстве знаменитого патриарха. Таких преданий есть два. Одно относится к 1710 году: в записи, существующей на одной из икон вятского Богоявленского собора, упоминается, что у Гермогена был зять Корнилий Рязанцев; а Рязанцевы на Вятке были известными посадскими людьми. Очень легко поверить, что, согласно обычаям того времени, тесть был того же общественного положения, что и зять, то есть принадлежал к “чину” посадских тяглых людей или к посадскому духовенству. Напротив, совсем невозможно поверить тому, что несколько раз печатно заявлял П.И. Бартнев. По словам будто бы С.М. Соловьева (который сам, однако же, этого не напечатал) Гермоген был из рода князей Голицыных и в миру до пострижения звался Ермолаем. Это предание противоречит всему тому, что следует считать наиболее вероподобным в отношении Гермогена. Вполне понятно, что заявление г. Бартнева не встретило ученого сочувствия ни в князе Н.Н. Голицыне, давшем обстоятельную монографию о роде князей Голицыных, ни в Н.П. Лихачеве, кото-

рого должно считать одним из наилучших у нас генеалогов. Они не приняли сообщения г. Бартенева.

Все это было кратко указано в 1899 году пишущим настоящие строки в его книге “Очерки по истории смуты в Московском государстве” (примечание 198). В последней же книге “Русского архива” (№ 9 за 1901 год) помещена “Краткая заметка на мнение С.Ф. Платонова о происхождении патриарха Гермогена”, принадлежащая г. Д.М. Глаголеву (с. 125). “Заметка” имеет целью меня опровергнуть. Приводя мое мнение и притом не совсем уследив за оттенками моей мысли, г. Глаголев думает, что я сам признаю все те основания, на которых строю свое заключение, безотносительно шаткими; а потому г. Глаголев и замечает: “*тем не менее*, он (Платонов) полагает, что в происхождении патриарха Гермогена от высокого рода *можно* не сомневаться”. Г[осподин] Глаголев хотел, конечно, здесь сказать совсем иное: я именно сомневаюсь в происхождении Гермогена от высокого рода. Г[осподин] Глаголев это понимает, именно за это мною недоволен; но или он сам, или его корректор немного не справились с требованиями стиля и вместо “нельзя” напечатали “можно”.

Итак г. Глаголев, вопреки мне, желает показать, что Гермоген был высокого рода. Доказательство им приводится одно, как раз такое, которое я действительно совсем упустил из виду. Это – “место из *дневника Марины*, где прямо сказано, что Шуйский, по совету клеветров, составил от имени патриарха, *своего родственника*, определение”. Г[осподин] Глаголев цитирует это место из книги Н.Г. Устрялова “Сказания современников о Димитрии Самозванце” (Ч. 2. СПб., 1859. С. 194) и от себя добавляет: “нужно сказать, что сведения, сообщаемые в так называемом “дневнике Марины”, отличаются вообще значительною точностью, и в данном случае тот, кто писал этот дневник, как современник, не мог (?) сделать неверное указание на такое событие, которое он письменно приводит в доказательство, почему патриарх допустил Шуйского составить такое определение от его имени: он был родственник Шуйского”. “С этим прямым указанием современника о происхождении патриарха Гермогена, во всяком случае, нужно считаться, – продолжает г. Глаголев, – и оно в решении вопроса должно иметь большее значение, чем шаткие указания”. В последних словах заключен урок тем, кто, подобно мне в данном случае, высказывает твердое мнение на шатком основании.

Немного надо было труда, чтобы проверить справедливость указания г. Глаголева и почувствовать силу преподанного урока.

Обращаемся к “дневнику Марины” и видим, что взятая г. Глаголевым фраза не принадлежит автору дневника, а находится в

приводимом им письме “каплана Николая де Мелло”. Стало быть, мерку точности сообщений этого письма следует установить особо от прочих известий дневника¹, и не следует того, что говорит Николай де Мелло, приписывать автору дневника.

Далее, Устрялов дает только перевод дневника, и не всегда близкий и точный. Оригинал его издан А.И. Тургеневым², и в оригинале приведенное г. Глаголевым место читается так: “Szuyski, uczyniwszy radę z swemi, przez Patryarchą Stolecznego a *powinnego swego* dekret takowy i edykt wydał” (С. 193). Здесь, оказывается, нет ни “клеветов”, ни “родственника”, находящихся в переводе Устрялова. Патриарх называется словом “*powinny*”, то есть “обязанный”, “зависимый”. Таково первое значение этого слова, и лишь иногда может оно значить то же, что *rowinowaty* – сват, свойственник. Заимствованное г. Глаголевым из письма испанского монаха де Мелло место должно быть переведено так: “Шуйский, посоветовавшись со своими (близкими), чрез посредство Московского патриарха, ему обязанного, издал грамоту”. Указание на зависимость патриарха от царя особенно понятно в устах августинского монаха, хорошо знавшего иное положение на западе папского авторитета. Думать же, что заезжий испанец говорит о родстве патриарха с царем, о чем не говорит ни один туземный памятник, никак нельзя: Устрялов просто допустил ошибку в переводе, и жертвою ее стал г. Глаголев.

Кому же в данном деле принадлежат “шаткие указания”? И есть ли нужда с ними считаться в вопросе о происхождении патриарха Гермогена? Урок, данный в вышеприведенных словах г. Глаголева, надеюсь, будет полезен не мне одному.

¹ О Николае де Мелло (Nicolas de Mello) см. о. П. Пирлинга (*Pierling P. La Russie et le Saint-Siège. Paris, 1900. T. 3. P. 235 sqq.*).

² *Historica Russiae Monumenta. Tomus II. P. 165 sqq. Sp.: Hirschberg A. Polska a Moskwa. Lwow, 1901. С. 113.*

К вопросу о Никоновском своде (1902)

В последние годы произошел очень любопытный обмен ученых мнений по вопросу о времени составления так называемой Никоновской летописи. Выяснилось, что знатоки нашей рукописной старины А.А. Шахматов и Н.П. Лихачев согласно относят эту летопись к середине XVI века, что давний исследователь Лицевого летописного свода А.Е. Пресняков вполне разделяет их мнение, и что один лишь академик А.И. Соболевский держится, по-видимому, старого предположения о более позднем происхождении не только Лицевого свода, но и его основного источника — Никоновской летописи¹.

Думаем, что будущее принадлежит мнению гг. Шахматова и Лихачева. Оно основано на пристальном изучении всех списков Никоновской летописи и не только опирается на соображениях палеографического характера, но поддерживается и изучением литературной истории памятника, причем эта последняя восстанавливается на основании непосредственного знакомства с рукописями, содержащими данный летописный свод. Нельзя не признать, что такое непосредственное знакомство с рукописным текстом есть непреломное условие правильности и плодотворности всякого вывода о памятнике, и нельзя не пожалеть, что не всегда это условие осуществимо. Можно быть уверенным, что и в данном случае многие частные разногласия между исследователями Никоновского свода были бы устранены, если бы им представилась возможность прямого и точного знакомства с различными мелочными отличиями списков свода. Настоящая заметка имеет целью обратить внимание интересующихся вопросом именно на такие особенности старейших списков Никоновской летописи (П и О),

¹ *Шахматов А.А.* Отзыв о труде И.А. Тихомирова “Обозрение летописных сводов Руси Северо-восточной” // Отчет о XL присуждении наград графа Уварова. СПб., 1899. С. 103–236; *Лихачев Н.П.* Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Т. 1. СПб., 1899; *Шахматов А.А.* Рецензия на труд Н.П. Лихачева // Известия ОРЯС. СПб., 1900. Т. 4. Кн. 4; Статья А.Е. Преснякова и А.И. Соболевского о лицевых летописях (там же).

которые ведут нас к заключениям об их взаимных отношениях и вместе с тем о времени и способах их составления.

Мы признаем совершенно доказанным, что списки П (Академический XIV) и О (Оболенского) суть старейшие списки Никоновского свода, и полагаем, что они в окончательном своем виде вышли, так сказать, из одних рук и в различных своих частях служили друг другу оригиналами. Тесная близость этих списков и зависимость П от О всего яснее обнаруживается в той части летописи, которая относится к 1471–1488 годам. Здесь мы наблюдаем, например, что случайное сплетение штрихов буквы *ѣ* и буквы *ѡ* в списке О дало повод писавшему текст списка П прочесть вместо *ѡ* слово *бѣ*; наблюдаем, далее, в П ряд пропусков таких мест, которые в списке О составляют в каждом случае целые *строки*². Эти пропуски, часто бессмысленные, именно *строк*, характеризующие своеобразный порок зрения писавших или диктовавших, особенно убедительно говорят нам, что переписчики П имели пред собою список О, а не другую какую-либо рукопись. Убедившись на этих примерах во взаимной близости изучаемых списков, мы придадим значение и тому обстоятельству, что текст списков П и О под 1453 годом отличается от текста всех прочих списков составом своих статей. В ПО есть “иной перевод” повести о взятии Царьграда, отсутствующий в списках НАБТГ, и нет перечня греческих царей и сказания И. Пересветова, находящихся в списках НАБТГ³. Так текст средней части свода в списках П и О приводит нас к мысли, что список О предшествовал списку П, потому что иногда служил ему оригиналом. Иначе выражается взаимное отношение этих рукописей в их последних частях. Роли меняются, и список П, по-видимому, обращается в некоторой своей части в оригинал для О.

Чтобы выяснить это обстоятельство, обратимся к внешнему обзору списков П и О в тех частях их, которые нас теперь интересуют.

О списке П. г. Лихачев заметил: “замечательную особенность рукописи представляет чередование многих почерков, указывающее, по моему мнению, на совместную работу нескольких писцов”⁴. Действительно, смена почерков в П наблюдается часто, но в такой подчас обстановке, которая показывает, что работа не пере-

² См.: ПСРЛ. Т. 12. С. 135, 168, 176, 177, 201, 202 и 219 (здесь отмечено *восемь* случаев пропуска строк списка О переписчиком П; в других списках подобных пропусков нет).

³ ПСРЛ. Т. 12. С. 81–97–100.

⁴ Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Т. 1. С. 321.

ходила последовательно из рук одного писца в руки другого, а исполнялась независимыми один от другого несколькими писцами. Иногда один почерк сменяет другой среди страницы и среди фразы (например, л. 624 об., л. 667); в иных же случаях новый почерк является с нового листа, тогда как предшествующий лист не дописан до своего конца, – знак, что писавшей последующее не ждал окончания переписки предшествующего, а почему-то начал новый лист (например, листы 634 и 635, 678 и 679). В одном случае такой перерыв текста посреди одного листа и продолжение его после пробела с начала следующего листа не сопровождается даже переменою почерка: один и тот же писец, не дописав до конца лист 793-й, начал лист 794-й. Невозможно для всех таких случаев представить точное объяснение; но на некоторых из них необходимо остановиться: даже и не вполне объясненные, они дают ряд намеков на то, как шла работа над сводом. Прежде всего очень любопытен пробел между серединою 634-го листа и началом листа 635-го. На листе 634-м последние известия: от 22-го апреля 1490 г. о казни лекаря Леона и, от 9-го июля 1490 г., о приходе в Москву из Рима Юрия Траханиота. На листе 635-м первое известие от 5-го августа *того же года* – о рождении у великого князя Ивана сына Андрея. Пред этим известием в строке киноварью написаны слова: “в лето 6998”. Они излишни, так как выше, на л. 633 об., уже было написано: “в лето 6998”. Поэтому в списках ОНАБТ они вынесены на поля, а лицевой список их не воспроизвел вовсе⁵. С листа 635-го в П начинается новая 86-я тетрадь и идет новый почерк, отличный от предшествующих листов; с этих же приблизительно мест прекращаются признаки, указывавшее на зависимость списка П от списка О (за годы 1471–1488, как мы отметили выше). Совокупность этих внешних признаков дает повод заключить, что в работе над списком П произошел какой-то перерыв на 1490 году. Ценное указание (Новгородской IV и Софийской летописей), приведенное Н.П. Лихачевым и говорящее под 1490 годом о смерти дьяка Василия Мамырева, помогает уразуметь, от чего зависел этот перерыв. По догадке Н.П. Лихачева, Мамырев был летописцем: с его смертью в летописной работе произошла остановка как раз на известии о казни лекаря Леона, – и список П отразил на себе явственнее всех прочих эту остановку⁶. В нем по кончине (5-го июня) Мамырева следует всего лишь одно известие о Траханиоте, а затем начинается как бы новая часть – с повторения слов “в лето 6998”. Очевидно, у лиц,

⁵ ПСРЛ. Т. 12. С. 223.

⁶ Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Т. 1. С. CLXIII–CLXIV. Примечание; ПСРЛ. Т. 4. С. 157; Т. 6. С. 239.

писавших список П, в данном случае оказался иной оригинал, чем был ранее (ранее мы предполагали оригиналом список О).

Другой любопытный пробел наблюдаем между листами 678 и 679 списка П. На л. 678-м текст оканчивался известием, относящимся к 7028 (1520) г., о построении каменной крепости Тулы. После заключительных слов этого известия “а река под ним Тула же” сделана другим почерком и другими, более бледными, чернилами приписка: “Тое же зимы постави Варлаам митрополит Иоанна архиепископа Ростову. Того же месяца 16 на Вологду епископом Пимина постави”. Эта приписка, дословно находящаяся и в Воскресенской летописи, плохо отредактирована (не сказано, какого “месяца 16”) и в Никоновском своде излишня, ибо оба известия в лучшей форме уже были помещены в начале того же 678-го листа (с указанием “того же месяца февраля в 16”). Тем не менее эта позднейшая и небрежная приписка вошла целиком, безо всяких оговорок и отметок, в текст списков ОНБТ (список А не доходит до 7028 года) и опущена лишь в лицевом списке. За эту припискою в П следует чистая страница; идущий же за нею 679-й лист начинается собою новую 92-ю тетрадь отличной от предшествующих листов бумаги. Он писан уже иным почерком и на нем, с надписью “глава 59”, начинается текст, совершенно тождественный с Воскресенскою летописью⁷. Очевидно, что в данном случае, раз случайная приписка в П усвоена списком О, первый список послужил второму оригиналом.

Наконец, отметим еще то обстоятельство, что хотя в списке П и нет никакого пробела пред началом “летописца”, посвященного царствованию Грозного, но лист 690-й, с которого начинается этот летописец, писан иным почерком и на иной бумаге, чем предыдущее листы. Можно сделать предположение (которого мы лично и держимся), что в данном случае, начиная писать новый “летописец”, отошедший от обычной редакции Воскресенской летописи, переписали заново и предшествующий ему конец старого текста, взяв для этой последней части труда новый сорт бумаги⁸.

Итак, основываясь на данных, представляемых списком П, приходим к заключению, что он, во второй своей половине, сложился из разновременных тетрадей. Одни из них, по всей видимости, были списаны со списка О, другие же, в свою очередь, послужили оригиналом для списка О.

Посмотрим, что дает нам наблюдение над особенностями списка О.

⁷ ПСРЛ. Т. 13. С. 36–37; ср. Т. 8. С. 268, 269; *Лихачев Н.П.* Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Т. 1. С. 321.

⁸ Там же. С. 321.

Н.П. Лихачевым выяснено, что первая часть этого списка (листы 1–939) отличается большею древностью и заводит нас “очень далеко вглубь первой половины XVI столетия”. Вся эта часть писана одним почерком за весьма малыми исключениями; текст весьма исправен и имеет характер белого, окончательного: в нем не заметно редакторской работы, поправок начерно, оставленных без переписки набело, незаполненных пробелов и т.п. Лишь в одном месте встречаем мы малопонятную частности. На обороте л. 913, внизу, переписчик под 7017 годом начал писать рассказ о жалобе игумена Иосифа Волоцкого великому князю на князя Феодора Борисовича в редакции, дословно сходной с находящейся в Полном собрании летописей (Т. 6. С. 249). До конца страницы он не окончил этого рассказа, но и не перенес его на 914-й лист: написанное им начало было зачеркнуто, заклеено листком бумаги, а на этом листке кто-то другою рукою написал в двух строках начало известия об отпуске крымских послов. Переписчик, писавший 913-й лист, на 914-м листе продолжил не свой зачеркнутый рассказ, а чужую запись⁹. Стало быть, поправка была сделана каким-то редактором во время самого писания рукописи. Если будем иметь в виду, что подобная поправка представляется совершенно исключительною, можно сказать, единичною в данной части рукописи, то убедимся, что первая часть списка О отличается большою выдержанностью и цельностью.

Тем знаменательнее следующее наблюдение. Лист 933-й списка О хранит на себе следы некоторого перерыва работы в известиях о начале 7027 года. Первое известие этого года относится к *январю* (смерть Максимилиана); второе повторяет слова “в лето 7027” и относится к *ноябрю* (посылка князя Ю. Пронского); следующие два относятся к *августу*, а после них снова следуют слова “в лето 7027”. Словом, хронологическая постепенность утрачена, и это обстоятельство совпадает с тем, что почерк и чернила в данном месте заметно меняются. Переписчик остановился на имени Юрья Пронского и вернулся к своей работе явно с другим пером и другими чернилами, то есть чрез известный промежуток времени. Невольно возникает вопрос, не здесь ли окончилась систематическая обработка Никонова свода, и не составляет ли все последующее содержание свода лишь ряд различных дополнений к своду, выросших позднее? Предвидим возражение, что все указанные здесь известия есть в Воскресенской летописи и, очевидно, оттуда взяты в Никонов свод, как и все последующие. Но сила этого возражения ослабляется такими соображениями:

⁹ ПСРЛ. Т. 13. С. 11.

во-первых, в этой части Никоновской летописи еще нет деления на главы, которое является тогда, когда Никоновская летопись начинает дословно брать из Воскресенской свое продолжение (с 7029 года); во-вторых, при общепринятом способе пополнения сводов неоднократными приписками, обнимавшими всего лишь по несколько лет, возможно и повернуть вопрос: не из списка О перешли в Воскресенский свод разбираемые места? Если принять такую мысль и смотреть на список О как на протограф, в данной части, Никонова свода, то получится интереснейший вывод. До 7027 года изложение Никоновского свода касается дел правительственных по преимуществу; под 7027 годом после хронологической путаницы, указанной выше, внимание летописца обращается на чудеса от святынь в равной мере с прежними его сюжетами, и весь этот материал, и старый, и новый, размещается крайне неловко с постоянным повторением слов “в лето 7027”. Мы находимся как бы перед рядом позднейших беспорядочных приписок к законченной стройной работе, и эти приписки идут до листа 939-го, где обрывается первый, скорописный почерк списка О.

С листа 940-го в О начинается новый почерк и новая бумага – и то, и другое позднейшего сравнительно происхождения. Смена почерков совершается на событиях 7028 года, всего на 12 печатных строк ранее тех приписок об Иоанне и Пимене, которые мы отметили в списке П, и, стало быть, пред самым началом полного совпадения текстов Никоновского и Воскресенского сводов. Внешний осмотр рукописи показывает, что оборот 939-го листа загрязнен и захватан явно более всех соседних листов, очевидно, потому, что находился когда-то наружи как последний лист рукописи “поистрепаннейшей”, по выражению Н.П. Лихачева. Можно предположить, что и действительно этот лист был если не последним, то предпоследним при прежнем составе списка О, кончавшегося теми же словами “а река под ним Тула же”, которыми оканчивался когда-то лист 678-й списка П. Этот конец списка О, бывший на последнем листке рукописи, или утратился, или был оторван, когда задумали продолжать летопись, и снова воспроизведен уже со списка П, из которого была заимствована при этом и случайная приписка об Иоанне и Пимене.

К какому же общему заключению приводят нас все изложенные нами мелкие наблюдения?

Для списка О вывод довольно прост. Первая часть его, то есть листы 1–939, есть беловая копия с неизвестного нам оригинала, совершенно независимая от списка П. Вторая же часть списка О, то есть листы 940–1165, представляет собою поздней-

шее дополнение, которое, по всей видимости, имело оригиналом прежде всего список П, именно листы его 678–689. Близость П и О, быть может, возможно бы было наблюдать и дальше, если бы в самом списке П с листа 690-го не произведено было резкого изменения текста и, в зависимости от этого, перемены бумаги и почерка. Список П перешел здесь от Воскресенской летописи к Львовской, выражаясь наглядно. Говоря так, мы не поддерживаем мысли Н.П. Лихачева, что П есть “беловая копия” со списка О и другого еще черняка. Напротив, вторую часть списка О решительно не склонны считать старейшею, чем соответствующие части списка П.

Что касается до списка П, то его внешний состав представляется нам труднообъяснимым. Он сложен из разновременных частей, написанных отдельно друг от друга, притом с разных оригиналов. Эти части сведены в один переплет и согласованы одна с другою так, что остались местами пробелы, а местами и вычеркнут дважды написанный текст (например, на л. 66, в известии о смерти Ярослава под 1054 годом). Одни из этих составных частей, очевидно, списаны с О, другие имели иные оригиналы, а кое-где и П служил оригиналом для второй части О. Первое заключение, какое мы в праве сделать, это то, что П не есть беловая копия готового свода. Уже если говорить о “черняках” среди известных нам списков Никоновской летописи, то ближе всех подходит к этому понятию именно П. Итак, возможно ли установление одной общей даты для каждой из разбираемых нами рукописей? Полагаем, что нет. Если даже принимать, что листы 1–939 в списке О написаны, так сказать, сразу, в виде цельной копии с одного оригинала, то все-таки придется для листов 933–939 предположить перерыв; а для всего последующего такой перерыв уже несомненен: конец списка О заметно позднее начала. Еще сложнее датировка списка П: в нем каждая часть должна рассматриваться как самостоятельная работа и вызывать особое определение. Успех здесь возможен будет лишь тогда, когда в совместной работе над рукописью дружно встретятся палеографический опыт и глубокое знание летописных редакций.

К вопросу о Тайном приказе¹ (1902)

Книга г. Гурлянда – интересная книга. Автор предлагает постановку и решение вопроса о Тайном приказе, о котором до сих пор больше рассуждали, чем знали. На первых страницах труда г. Гурлянда сделан свод ученых мнений о целях и функциях этого приказа, отмечена их “редкая разноголосица” и указана причина такой разноголосицы – в том, что Тайный приказ отличался случайным и разнообразным подбором дел и к тому же не оставил по себе определенного архива. Его дела тотчас после кончины царя Алексея Михайловича были ликвидированы и переданы в другие приказы. Разделив дальнейшую судьбу дел этих приказов, документы Тайного приказа в настоящее время оказались в различных архивах. Г. Гурлянду принадлежит та заслуга, что он, определив по “описям” дел приказа, куда именно передавались дела в XVII веке, не отступил перед задачей систематического поиска их в современных древнехранилищах и действительно нашел много дел и книг Тайного приказа, сверх давно известных, в Государственном архиве, архиве Оружейной палаты и московских архивах Министерства иностранных дел и юстиции. Ближайшему определению взятого для изучения материала и посвящена вторая половина “введения” г. Гурлянда. Изложение темы у нашего исследователя опирается таким образом на самостоятельном знакомстве с широким кругом первоисточников.

Первая глава книги г. Гурлянда посвящена решению вопроса о времени и причинах происхождения Тайного приказа. По мнению г. Гурлянда, приказ возник в конце 1654 или в начале 1655 года в виде личной канцелярии государя; царь образовал около себя определенный штат дьяков, потому что был недоволен общею медленностью дворцовых приказов и во время своих частых “походов” из Москвы убедился в удобстве иметь около себя особых дьяков. Образованный в целях личного удобства вне сообщений о какой бы то ни было реформе, Тайный приказ “весьма быстро” получил “путем крутого поворота” новое, более широкое

¹ Гурлянд И.Я. Приказ великого государя Тайных дел. Ярославль, 1902.

значение. Какое именно, – выясняет вторая глава, посвященная “вопросу об условиях времени, в которое появился Приказ”. В этой главе автор указывает на то обстоятельство, что с конца 1656 или с начала 1657 года “приказ значительно и быстро расширяет круг своих занятий, приобретая все больше и больше значение одного из важнейших общегосударственных учреждений”. Раньше однако, чем определить новую компетенцию приказа, автор останавливается на вопросе об условиях, вызвавших эту перемену, и рассуждает так: “Приказ явился в такой момент, когда население имело основание особенно желать возможности непосредственно обращаться к царю, как к источнику высшей правды и справедливости. Тайный приказ поэтому явился центром, куда стали стекаться челобитья, жалобы и изветы, искавшие особого внимания к себе и не доверявшие общим учреждениям. В силу особенностей своей натуры, царь не только не оттолкнул от своего приказа этой новой, самую жизнь предложенной задачи, но деятельно, сколько хватало его энергии, взялся за ее разрешение” (стр. 115). Внимание автора остановилось на злоупотреблениях администрации первой половины XVII века, о которых московские люди с такою силою били челом своему правительству в челобитьях и в соборных “сказках”; в этих злоупотреблениях была первая беда того времени. Вторая, по мнению автора, заключалась в резком экономическом кризисе, постигшем население в 40-х и 50-х годах XVII столетия. Обижаемое и разоряемое, обнищавшее и оголодавшее, население должно было жаловаться и не могло не жаловаться на свое положение. Новый приказ был местом, куда всего удобнее мог идти челобитчик и доноситель, искавший прямого пути к царской защите. Еще раньше царя Алексея, при патриархе Филарете, население просило, а правительство пыталось ему дать учреждение, которое служило бы защитой слабых от сильных и во всем доискивалось бы “только правды, одной правды”. Г. Гурлянд думает, что таким учреждением был “приказ, что на сильных бьют челом”, или “приказ приказных дел”, или “приказ сыскных дел”: автор колеблется, признать ли ему эти приказы за одно или за различные учреждения, но он твердо держится того мнения, что идея подобного учреждения была усвоена лично патриархом Филаретом, им была проводима в практику и с его смертью была оставлена. В Тайном же приказе царь Алексей как бы восстановил это учреждение “высшей справедливости”, как только выяснил себе его необходимость под давлением житейских указаний и челобитенной доуки. Итак, личная канцелярия царя превратилась в организованный “приказ тайных дел”, имевший целью осуществить “особые начала управления: начало непосредственного

царского руководства, начало высшей справедливости, начало надзора” (стр. 116). Третья глава труда г. Гурлянда выясняет организацию приказа, его состав, степень личного вмешательства царя в дела приказа. Личное участие царя в делах приказа было так постоянно, что даже в “совершенно обыденных вопросах требовался доклад царю” (123). Можно сказать, что царь был прямым начальником приказа и “фактически ведал его”, как выражается г. Гурлянд. Компетенцию приказа автор делит на два отдела: “отдел первый – производство по делам и исполнение поручений по предметам, которые ведал Приказ тайных дел; отдел второй – производство по делам и исполнение поручений по предметам, которые непременно относились к компетенции какого-нибудь другого учреждения, но по отношению к которым (то есть делам и поручениям) приказ выступал в роли органа, выражавшего или начало непосредственного царского руководства, или начало высшей справедливости, или начало надзора” (стр. 161). Первый отдел обнимает “функции, которые вели свое начало от причин, приведших к возникновению приказа” (как личной канцелярии царя); второй отдел обнимает “функции, которые вели свое начало от причин, сказавшихся уже тогда, когда приказ образовался”. Рассмотрению первого отдела компетенции посвящена четвертая глава книги г. Гурлянда; рассмотрению второго отдела – глава пятая. В четвертой главе автор устанавливает, что приказ ведал: а) личную переписку царя, б) имения его и разные хозяйственные учреждения, в них находившиеся, в) различные промышленные заведения и промыслы, принадлежавшие царю, г) Аптекарский, Гранатный и Потешный дворы, д) торговые операции царя, е) малую казенную палатку, где хранились особенно ценные “товары”, ж) дело сыска всякой руды и залежей, з) раздачу церковных книг, и) дела Саввина Сторожевского монастыря, и) царскую благотворительность, к) личную кассу царя и пр., и пр. В главе пятой г. Гурлянд особенно внимательно останавливается на проявлении начала высшей справедливости в деятельности Тайного приказа и снова возвращается к оценке правительственных приемов патриарха Филарета, в котором видит как бы предшественника царя Алексея в “процессе возвращения царя к фактическому управлению” (стр. 257–261). Много любопытного указывается как относительно способов надзора, явного и тайного, за должностными лицами, так и относительно вмешательства царя в дела управления помимо общего порядка производства. Если укажем, что в шестой главе (“заключении”) автор сводит в общем очерке все то, что уже наметил в форме частного вывода в предшествующем

изложении, то исчерпаем главное содержание любопытной книги г. Гурлянда.

Дело историков-юристов определить, что именно нового и полезного дает труд г. Гурлянда для истории права и администрации в Древней Руси. Мы не будем останавливаться на поставленном юристами вопросе о том, доказал или нет г. Гурлянд свою мысль, что Тайный приказ из бесформенной личной канцелярии царя стал государственным “учреждением” с определенным составом и компетенцией. Для нас недостаточно ясно, можно ли вообще переносить современные нам понятия об “учреждениях” в Московскую пору и применять их к приказам, относительно которых и до сих пор ученые не сталкивались, чем их считать: коллегиями или органами управления единоличного. В книге г. Гурлянда историка прежде всего может интересовать вопрос о тех “условиях времени”, при которых Тайный приказ расширил свое ведомство и получил вид чрезвычайно влиятельного и деятельного приказа. По связи с этим вопросом и взгляд г. Гурлянда на принципы и цели деятельности патриарха Филарета получает значительный интерес, особенно в том случае, если бы удалось доказать внутреннее преемство между деятельностью деда-патриарха и внука-царя.

Как было указано, “условия времени”, в которое возникли перемены в Приказе и обнаружился рост его компетенции, г. Гурлянд определяет так: административный произвол и злоупотребления, с одной стороны, и экономический кризис, с другой, вызывали в населении жалобы и протесты: население искало “той отдушины, через которую его голос мог бы доходить до царя без посредства промежуточных инстанций” (стр. 83); Тайный приказ стал такою “отдушиною”, потому что царь не уклонился от обращения к нему населения, и по этой причине деятельность Приказа получила новый характер. Это объяснение стройно, но, может быть, слишком просто. Злоупотребления, произвол и экономическое недовольство действительно “определяли момент”, как выражается г. Гурлянд о 50-х годах XVII столетия. Но они же определяли и все прочие моменты с 1613 года. Как бы чувствуя силу такого возражения, г. Гурлянд указывает на то, что в свое время с административным злоупотреблением и экономическим бедствием тою же мерою пробовал бороться патриарх Филарет. При нем было создано стоящее вне общего административного порядка учреждение, “что на сильных челом бьют”, с помощью которого царь получал возможность “фактического управления”, понемногу ускользавшую из его рук с развитием приказных форм. Эта тенденция к “фактическому управлению” отличала всю

деятельность “владительного” патриарха; она была оставлена с его кончиною и восстановлена царем Алексеем в Тайном приказе. Однако, характеризуя “программу” патриарха Филарета, г. Гурлянд не раз оговаривается, что эта “программа” скорее чувствует-ся, чем доказывается: так мало оставила она следа в документах.

Но, может быть, ее и ненадобно доказывать, если объяснение “момента”, в который возник Тайный приказ, поставить иначе. После Смуты правительственный московский порядок был осложнен постоянным действием такого органа, какого не знало или почти не знало Московское государство XVI века, – земского собора с выборными представителями от местных служилых и тяглых организаций. Этих представителей правительство держало при себе, кажется, непрерывно, вызывая их в Москву “для великаго государева и земскаго дела” на продолжительные сроки. Насколько можно догадываться, нормальным сроком было трехлетие – срок, на который, по сообщению Маржерета, вызывался в Москву “из городов выбор” для московской службы. В первое время существования постоянных соборов, при царе Михаиле Федоровиче, их роль была очень определенной: соборы были органом тех общественных классов, которые восстановили государственный порядок и избрали царя, и на которых поэтому лежала обязанность охраны порядка и власти, ими же созданных. Соборы были поддержкою царской власти, ее союзниками и политическими единомышленниками, заодно действовавшими против общих им внешних и внутренних врагов. Понятна тесная солидарность власти и собора, при которой царь всякое свое действие стремился опереть на авторитет собора, а собор дорожил государем, как внешним символом только что возродившегося порядка, и притом возродившегося именно в интересах средних классов общества, представленных на соборах. Понятна и та особенность отношений власти к земским представителям, что власть желала в выборных видеть людей, “которые б умели рассказать обиды, и насильства, разоренье и чем Московскому государству полнитца”... Соборы играли роль той “отдушины”, по выражению г. Гурлянда, чрез которую население имело возможность непосредственно сноситься с властью. Широкая практика сословных ходатайств, челобитий, заявлений об общественных нуждах, связанная с деятельностью соборов 1642 и 1648–1649 годов, служит ярким тому примером. Она помогает осуществлению правительственного надзора, содействует ему и служит средством борьбы против административного злоупотребления и произвола и средством защиты сословного интереса перед властью. Так обстояло дело до той поры, когда обнаружилось некоторое ослабление солидар-

ности между властью и ее основанием – соборами. Случилось это в эпоху составления Уложения и было последствием того, что представители средних классов на соборе провели в закон некоторые меры, направленные против духовенства и боярства, главным образом в сфере их землевладельческих прав. Здесь нет места объяснять, в чем состояли эти меры; достаточно отметить, что они существенно затрагивали тех, кто от них терпел. Патриарх Никон вооружился против Уложения и звал его “проклятой книгой”; так называемые “закладчики” грозили уличной смутой. По современному выражению, тогда “мир весь качался”, было “в миру великое смятение”. Правительство, поставленное лицом к лицу с многократным уличным “гилем”, увидало и в земском соборе тенденцию против своих ближайших органов, бояр и высшего духовенства, и поняло, что оно расходится и с соборами. Слова Никона, что собор 1648–1649 годов был “не по воли, боязни ради и междоусобия от всех черных людей”, исполнены большого смысла: они указывают, что власть потеряла доверие к собору, уразумев, что с ее точки зрения он может быть и “не истинныя правды ради”. Со вступлением Никона в патриаршество соборная практика и вовсе прекращается. В 1652 году стал он патриархом, в 1653 году был последний собор, в 1662 году население Москвы уже тщетно напоминает правительству об оставленной им привычке совещаться со “всею землею”. Все это дает нам повод сказать, что “смутное время” 1648–1650 годов развело до тех пор дружные политические силы, то есть власть и соборы, и заставило власть искать дальнейшей опоры не в соборах, а в собственных исполнительных органах: началась бюрократизация управления, и на место соборного начала выдвинуто было приказное. А с тем вместе исчезла та “отдушина”, о которой говорит г. Гурлянд и которую мы видели в соборах. Потеряв возможность общения с властью на соборах, население ждет осуществления этой возможности от своего обращения прямо к государю чрез его личную канцелярию или Тайный приказ. С своей стороны и государь находит в Тайном приказе удобный орган надзора, чтобы разведать ту правду, которая раньше обнаруживалась чрез соборных представителей.

Конечно, это только предположение, и мы его лишь намечаем, а не развиваем. Как бы ни было оно шатко, его можно высказывать не с меньшим правом, чем взгляд г. Гурлянда. Оно даже удобнее в том отношении, что не связывает вопроса о возникновении Тайного приказа с вопросом об административных мероприятиях патриарха Филарета и не заставляет искать между ними ни преемства, ни противоположности. Говоря так, мы, однако,

находим, что замечания г. Гурлянда о личности и системе Филарета любопытны и оригинальны, и что г. Гурлянду принадлежит даже некоторая заслуга в том, что он пустил в научный оборот забытую всеми переписку патриарха Филарета с царем Михаилом Федоровичем и извлек из нее ценные наблюдения над тем, каково было отношение “великих государей” к боярскому совету их времени. Вообще в книге т. Гурлянда мимоходом затронуты несколько таких вопросов из истории нашего XVII века (о приказах Приказных дел и Сыскном, об идее общего блага в указах второй четверти XVII века, о взаимоотношении “комнатной”, “тайной” и “ближней” думы и пр.), которые возбуждают интерес и заслуживали бы особого исследования. Позволим высказать надежду, что г. Гурлянд не оставил их навсегда.

Столетие кончины императрицы Екатерины II¹ (1896)

Сто лет назад, вечером 6-го ноября 1796 года, скончалась императрица Екатерина II-я, после двухдневной болезни, на 68 году жизни и на 35 году царствования. “Екатеринино царствование, 34 года продолжавшееся, – говорит в своих записках известный А.С. Шишков, – так всех усыпило, что, казалось, оно, как бы какому благу и бессмертному божеству порученное, никогда не кончится. Страшная весть о смерти ее, не предупрежденная никакою угрожающею опасностью, вдруг разнеслась и поразила сперва столицу, а потом и всю обширную Россию”. Шишкову и всем сотрудникам и поклонникам дел почившей государыни казалось, что “российское солнце погасло” в тот самый миг, когда “Екатерина вздохнула в последний раз и наряду с прочими предстала пред суд Всевышнего”.

Но так говорили и писали о своей “матушке императрице” лишь те люди, сердца которых дрожали от восторга и патриотической гордости при шуме екатерининских побед и умы которых немели под впечатлением широких и блестящих преобразований Екатерины в административном и сословном устройстве. Наступившее со смертью императрицы новое царствование, – “царство власти, силы и страха”, как его звали современники, – иначе отнеслось к деятельности предшествующего правительства. Оно не только осудило прежние порядки громко, решительно и даже грубо; более, – оно принялось суетливо и торопливо разделявать все то, что было сделано в екатерининское время. От мелочей придворного быта до существеннейших сторон общественной жизни, все терпело изменения, потому что признавалось негодным, вредным, распушенным и даже развращенным. Прошло всего около 4 лет, настало 12-е марта 1801 года, на русский престол вступил император Александр – тот самый, которого императрица Екатерина называла “мой Александр”, – и вот Россия читала первый манифест юного императора о том, что он, восприемля престол

¹ Читано на торжественном акте Санкт-Петербургских Высших женских курсов 1-го декабря 1896 года.

после отца своего, принимает вместе “и обязанность управлять народ по законам и по сердцу... августейшей бабки нашей государыни императрицы Екатерины Великия”. Государь давал обет “шестьствовать по ее премудрым намерениям”, и этим торжественно восстанавливал попорченные предания Екатерининской эпохи.

Такова была поистине превратная судьба Екатерининской славы в ближайшем потомстве. На императрицу смотрели то как на “благое божество”, то как на слабую женщину, не умеющую поддерживать порядок не только в империи, но даже и в собственном дворце. Надобно признаться, что подобная двойственность отношения передалась и в последующие поколения – вплоть до нашего времени. Ведь и мы можем расходиться в наших взглядах на личность и деятельность “просвещенной” императрицы и можем различно ценить исторические последствия ее политики. Не слышим ли мы в современной нам литературе восторженных похвал уму и знаниям Екатерины, ее умению угадывать и поддерживать талантливых людей, которым Пушкин дал такое звучное название “славной стаи екатерининских орлов”? Не кружатся ли и теперь впечатлительные головы при описании военных побед и дипломатических успехов екатерининского царствования, при характеристике той перемены в настроении и приемах русской дипломатии, когда она высоко подняла голову и стала говорить уверенным и твердым тоном, повинувшись внушениям самой императрицы стойко блюсти народные интересы и свою самостоятельность? И в то же время не слышим ли мы горьких сетований на то, что при Екатерине случайное придворное влияние могло господствовать над существенным государственным интересом, как в темную эпоху предшествующих Екатерине временщиков? Не указывают ли на то, что наши колоссальные приобретения от Польши и Турции все-таки “отзывались горечью”: во первых, в то же самое время прусские, а особенно австрийские немцы захватили не только славянские, но прямо русские земли, а во вторых, благодаря этим захватам “скоропостижный прусский король” вырос до значения первоклассного европейского монарха, чего не хотели допускать наши старые политики. Наконец, не доказывают ли нам, что гром побед потряс хозяйственное благосостояние страны, и что рост политического могущества России при императрице Екатерине сопровождался окончательным нарушением того старинного равновесия, в какое приведены были сословные отношения в старой Московской Руси? В старой Руси над всеми сословиями тяготела одинаково правительственная рука, равномерно распределявшая государственные повинности между отдельными группами населения. При Екатерине II последняя тень этой государственной

тяготы была снята с дворянства, на крестьянство же окончательно, рядом с государственными обязанностями, надето было ярмо частной крепостной зависимости. Вот сколько может быть указано различных точек зрения, с которых ценили и до сих пор ценят деятельность императрицы Екатерины II.

Я не думаю, чтобы возможно было разрешить в созвучие весь этот нестройный шум противоречий и соединить в одну внутренне цельную характеристику ряд несоответствующих один другому отзывов. Возможна и более правильная задача – объяснить причины существующих разноречий и уловить их существенные черты. Мне кажется, что эта задача не только исполнима вообще, но уже и исполнена в специальной литературе, и нам остается собрать ее указания в один общий очерк.

Мы не будем останавливаться на том общем соображении, что деятельность императрицы Екатерины II обнимает собою более трети столетия и настолько богата историческим содержанием, что уже самая количественная его сложность затрудняет дело его оценки и систематического изучения. Это – общая причина, вытекающая с одинаковою силою при исследовании каждого крупного исторического факта или процесса: синтез исследователя не охватывает эпохи во всей совокупности ее явлений, а господствует лишь над отдельными группами их, и только долгие усилия в одном направлении идущих умов приводят нас к желанному успеху – правильному пониманию изучаемого сложного факта. Для так называемой “эпохи преобразований” Петра Великого уже наступила, например, пора правильного объяснения, несмотря на всю сложность преобразовательного движения XVII–XVIII вв. На такой же ученый успех должны мы надеяться и в отношении екатерининского царствования, сколь ни велик исторический материал, к нему относящийся. Однако, если мы достигнем здесь точного знания, оно вряд ли представит нам деятельность “просвещенной” императрицы принципиально цельною и согласованною во всех ее частях. Вот почему мы решаемся высказать мнение, что разноречия во взглядах на деятельность императрицы Екатерины зависят не от одних лишь субъективно взятых точек зрения, но и от обстоятельств, данных самою деятельностью императрицы.

Какие же это обстоятельства?

Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, – следует прежде всего усвоить ту бесспорную мысль, что вся деятельность императрицы Екатерины была в сущности направлена на борьбу с окружающею политическою действительностью. Менее всего желала императрица мириться с тем положением вещей, которое

она застала, вступая во власть – менее всего была способна жить день за день, покорно следуя за случайностями текущей жизни. Превосходя образованием почти весь петербургский двор, принадлежа по уму к избраннейшим его людям, твердо веря и громко говоря, что “на этом свете препятствия созданы для того, чтобы достойные люди их уничтожали и тем умножали свою репутацию”, – молодая государыня страстно желала “умножить свою репутацию”, взять в свои руки политическое положение и господствовать над ним. Светлая вера в неограниченную мощь человеческого” рассудка, вера, свойственная тому веку вообще, придавала бодрости в борьбе и указывала цель борьбы – дать счастье миллионам людей согласно с велениями просвещенного разума. Сильный ум, давно привыкший к критике окружающей жизни, легко отыскивал слабые ее стороны; такт и житейское чутье указывали безошибочно на лучших помощников и сотрудников. Торжество над препятствиями казалось легко. Но прошли года и стало ясно, что победа одержана не по всей линии боя, и что кое-где пришлось уступить поле битвы, кое-где – даже капитулировать. Там, где императрица могла поймать прочную историческую традицию и действовала в духе вековых национальных стремлений, ее ждал блистательный успех. Там, где сила ума и знания покоряла себе невежественную косность, правительство императрицы выступало в привлекательной роли просвещенной и благодетельной власти. Зато в тех случаях, когда императрица решалась идти против некоторых господствовавших тогда в русском обществе течений, поток общественной жизни нес ее не в ту сторону, куда она сама хотела плыть, и далеко уносил от нее даже близких ей помощников, не желавших, как она, бороться с силою влекущего потока. Уступая этой могучей силе, Екатерина, однако, никогда не мирилась с неудачей и вместо сломанного в борьбе оружия искала нового.

Никто не будет спорить, что наибольшим блеском отличалась внешняя политика екатерининского царствования. В самом деле, при императрице Екатерине II Россия приобрела всю Литву, Курляндию, Крым и Кубань – громадные пространства земли, обладание которыми поставило Россию на берегах Черного моря, возвратило Руси ее западные области, взятые когда-то Литвою, и, наконец, навсегда избавило нас от возмутительных татарских набегов. Если бы во дни этих приобретений могли восстать из гробов старые московские люди, все помыслы которых в XVI и XVII веках устремлены были на ляхов, литву и татар, они в победах Екатерины II увидели бы торжество заветных русских мечтаний, завершение того великого дела, за которое они ложились

костями на западных и южных рубежах Московского государства. С самого XIII века, когда русская народность сразу подверглась натиску татар, литвы, немцев и шведов, вопрос народной обороны становится на первом месте в народной жизни и княжеской политике. Сначала вопрос этот заключался в том, чтобы вернуть себе политическую независимость, отнятую татарами. Затем, когда это было достигнуто, и татары из господ стали трусливыми хищниками, приходившими к нам не за данью, а по-волчьи – за воровским полоном, тогда вопрос изменился: заботились о том, чтобы достигнуть безопасной границы на юге, от татар, вернуть в состав государства русские волости, взятые Литвою и Польшею, и новгородский берег Финского залива, отнятый шведами. Столетия прошли раньше, чем вопрос о прямом сохранении гибнувшей народности естественно перешел в вопрос о достижении для этой спасенной и окрепшей народности правильных и естественных границ. Столетия прошли раньше, чем смиренное наставление московского князя Симеона братьям жить в мире, “чтобы не перестала память родителей наших и наша и свеча бы не угасла” народной жизни, – сменилось горделивым заявлением великого князя Ивана III, что *вся русская земля* (и та, которою он еще не завладел) “от наших прародителей из старины наша вотчина”. И опять столетия прошли раньше, чем разгром Швеции при Петре Великом доказал Европе, что у “московита” выросла грозная сила и что Москва, решая свои вековые задачи, может осуществить, вслед за приобретением Балтийского побережья, и другие свои притязания на Литву и Черноморье. Петр Великий был прямым учеником и продолжателем дореформенных дипломатов Московской Руси, которые вели русскую политику по старым заветам и по старым же заветам в маститой старости меняли дьячий кафтан на монашескую рясу. Но эти старые заветы были забыты, когда со смертью Петра у русского кормила стали случайные люди и вовсе чуждые России фавориты, которые, вместо монашеского сана, за дипломатическую покладливость принимали титул графа от германского императора. Один только из таких графов канцлер А.П. Бестужев-Рюмин помнил петровские заветы, хотя и усложнял их собственными заботами о поддержании в Европе политического равновесия, о котором так мало заботился сам Петр. Тем не менее именно Бестужев был первым политическим наставником Екатерины II, и именно через него Екатерина могла войти в разумение насущных дел русской политики. И вот вековая старина оживает в делах Екатерины. Через головы своих близоруких предшественников Екатерина оглядывается назад на Петра Великого, справляется о том, как он *поступал* в том или

ином случае, и соображает, как он *поступил бы*, если бы был на ее месте. Недаром она похвально, что носит табакерку с портретом Петра Великого, чтобы всегда о нем помнить: в шуточной форме сказывается серьезная мысль, делающая большую честь политическому чутью, императрицы. Решая польский и турецко-татарский вопросы, Екатерина чувствовала себя прямою продолжательницей Петра, а за ним и всей старорусской традиции, и мы обязаны признать за ней эту высокую честь. В истории нашего национального объединения Екатерина была таким же народным бойцом, как и “добрый страдалец за землю русскую” екатеринский солдат, полагавший душу свою на полях Литвы и Польши, на карпатских нагорьях и в дунайских камышах. Они привели к концу – каждый по-своему – то вековое дело, которое одинаково лежало на сердце и больших и малых людей Московской эпохи, и разрешили, наконец, ту задачу, над которою трудились лучшие московские умы, до самого Петра Великого включительно.

Итак, в политике внешней Екатерина сумела и смогла стать на высоту строго исторического понимания предстоявших ей дел, и блестящий успех был здесь наградою, заслуженною и взятою прямо с боя.

Сложнее и труднее для оценки характер внутренней государственной деятельности императрицы. Русское общественное устройство терпело существенные изменения в ту пору, когда Екатерина вступала в дела. Рушился окончательно тот старомосковский порядок, по которому всякое лицо и всякая личная собственность рассматривались как орудие правительственной деятельности, употребляемое для служения государственному интересу. В Московской Руси не было ни личной слободы, ни сословного права; были вместо них только личные привилегии и временные льготы. Все общество было построено на началах государственной крепости: каждый был прикреплен к какой-либо государственной повинности, а по этой повинности был прикреплен к тому месту, где жил, и к тому обществу, с которым был связан круговую порукою в отправлении служб или платежей. В этом государственно-крепостном порядке была известная своеобразная справедливость; она выражалась во всеобщем равенстве пред государством, равенстве бесправия. И Петр Великий не только не изменил этому старому началу, но еще и подчеркнул его, самого себя называя неизменно слугою государства. Служилые люди всех чинов были слиты при Петре Великом в один класс, “шляхетство”, и поставлены в тяжелый служебный режим. Все уклонявшиеся от государственной тяготы и частно-зависимые люди (так называемые гулящие люди и холопы) были введе-

ны в непосредственные отношения к государству и прикреплены к государственным повинностям. Государственная опека при Петре Великом стала систематичнее, бдительнее и тяжелее. Тем с большею силою сказалась реакция против петровских порядков, когда после смерти Петра Великого “шляхетство” получило возможность вмешиваться в борьбу придворных лиц и партий в знаменитую печальной памяти эпоху временщиков. Быстрая и частая смена правительств и правителей, вызываемая отсутствием в династии правоспособных представителей власти, совершалась иногда в форме прямых переворотов. Вполне доказано, что эти перевороты производились гвардейскими полками, имевшими однородный, именно дворянский, состав и действовавшими за все “благородное российское шляхетство” в интересах целого сословия. Именно таким шляхетским движением была поставлена на престол и императрица Екатерина. Естественно, что шляхетское влияние на политические дела должно было обратиться в пользу самого шляхетского сословия. Императрица Анна облегчила шляхетскую службу, обратила поместные земли, дотоле признаваемые государственными, в наследственную собственность дворян, их владельцев, и вообще расширила права дворян в их недвижимых имуществах. При Елизавете дворянство превратилось уже в замкнутое привилегированное сословие и громко мечтало об освобождении своем от обязательной службы государству. Император Петр III, слышавший эти мечтания, осуществил их в манифесте 18-го февраля 1762 года. Императрице Екатерине осталось или подтвердить вольность раскрепощенного дворянства, и тогда во имя справедливости раскрепостить и прочие сословия, или, если этого нельзя было сделать, то вернуть государство к петровским формам и отнять у дворянства преждевременно усвоенную свободу. Так ставился вопрос для Екатерины; что выберет она? последует ли Петру? продолжит ли дворянскую политику своих ближайших предшественников?

Вернуть государство к петровским формам было невозможно, если бы Екатерина этого и желала: давать права и льготы более легко, чем отнимать их, да к тому же отнимать у сословия, которое 20 лет уже стояло у власти и трона. Вряд ли, впрочем, Екатерина и желала идти против прав и льгот: по ее собственным словам, она поставила себе целью “понравиться нации”; “с республиканскою душою и добрым сердцем”, “она старалась доставить своим подданным счастье, свободу и собственность”. Могла ли государыня, так судившая о самой себе, усвоить себе политику порабощения и реакции? Разумеется, нет. Напротив, широкие освободительные планы витали в уме государыни, вос-

питанной на либеральнейших идеях века. Не только сохранения шляхетской вольности хотела она, но она искреннейшим образом мечтала и о вольности крестьянской. И время было подумать о судьбе тех крестьян и дворовых людей, которых, под общим названием “помещичьих подданных”, административная практика отдавала в полное распоряжение землевладельца, а закон определял как сословие государственных плательщиков. Все знали – от крестьянской избы до дворца, – что крестьянский труд был дан помещику за то, что помещик служил конем и мечем государству, и все чувствовали, что раз помещик получал право отвязать меч и снять доспехи, то и крестьянин мог с одинаковым правом оставить помещичью соху и с барской запашки перейти на свою. Но в то же самое время выходило так, что правительство могло обходиться без шляхетской службы, а шляхетство не могло устроить своего хозяйства без принудительного крестьянского труда, и никто не умел в то время удовлетворительно разрешить эту хозяйственную задачу. С одинаковой роковой неизбежностью тяготели над сознанием Екатерины две непримиримые идеи: ее собственная идея – о необходимости освобождения помещичьих подданных, и шляхетская идея – о необходимости удержать на шляхетских землях даровую рабочую силу, как незаменимое основание хозяйства. От своей идеи Екатерина не отказывалась никогда – до последнего 10-летия своей жизни. Даже и тогда, когда ей приходилось официально держаться иных точек зрения, она оставалась в душе верно себе и мучительно раздражалась от противоречия, в которое попадала, и из которого ей не по силам было выйти. Обыкновенно осмотрительная в выборе своих выражений, она, однако, не сдерживалась в отзывах о людях с крепостническим направлением и даже давала им название “скотин”. Но, тем не менее, сила вещей была сильнее единичной воли, и от благородного протеста против рабства Екатерина склонялась к его признанию и регламентации с тем, чтобы при первой возможности снова воспрянуть для протеста и освободительных мечтаний. Вот почему отношение екатерининского правительства к крестьянскому делу исполнено таких резких противоречий, отражающих на себе борьбу стремлений самой императрицы с вожделениями господствовавшего тогда в общественной жизни шляхетства. Вот почему мы видим, как Екатерина выводит из частной зависимости так называемых “экономических” крестьян, принадлежавших церковным владельцам, и запрещает вступать в крестьянскую зависимость свободным и вольноотпущенным людям, но в то же время закрепощает малороссийских крестьян; как она запрещает крестьянам жаловаться на своего владельца, но в то же время не соглашается

называть крестьянина рабом, упорно утверждая, что “между крепостным и невольником разность”, и что смешение крестьянской и рабской зависимости есть “великое злоупотребление”; как она по грамоте дворянству 1785 г. признает крестьян одною из статей хозяйственного инвентаря в недвижимом дворянском имуществе, и в то же время составляет проект освобождения крестьян, родившихся после грамоты 1785 года. Полная противоположность и непримиримость всех этих действий и взглядов указывает на коренной разлад в правительственной среде, и притом разлад, длящийся целую четверть века – знак, по которому мы можем представить себе, с каким упорным постоянством императрица держалась своих идей, несмотря на решительное несогласие с ними прочих правительственных сил. В этом разладе действий и слов видят иногда двуличие Екатерины, усвоившей якобы крепостническую политику вместе с привычкою щеголять либеральными речами. Будем осторожнее и признаем за Екатериною искреннее желание бороться с господствовавшим тогда течением, желание безуспешное, но не бесполезное. Заслугою Екатерины была уже та решимость, с какою она отдала на общественный суд вопрос об освобождении крестьян, решимость, какую не всегда находим и в первой половине XIX века.

Можно ручаться, что крестьянское дело было большим местом для Екатерины, чувствовавшей в этом деле свое бессилие не только справиться с крепостническими тенденциями общества, но и просто представить себе тот порядок общественной жизни, который явился бы результатом освобождения крестьянского труда. Сразу перейти к этому порядку было для нее страшно, что она и выражала в “Наказе” словами 260-й статьи: “не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных”. И этот страх разделяли с императрицею и другие очень умные и знающие люди ее времени, например, Болтин, рекомендовавший осторожность и постепенность в этом великом деле, противником которого он отнюдь не был. Если бы Екатерина и надеялась легко сломить враждебное эмансипации шляхетство и сокрушить крепостной порядок, то этим самым, по ее представлению, попала она еще в большую трудность справиться с общественным хаосом и образовать новый общественный строй: из элементов, предугадать которые она не могла. По своей знаменитой Комиссии 1767 года могла она судить, как трудно, даже невозможно, распоряжаться умонастроением и работою общественных сил. Такого рода мысли и опасения, конечно, еще больше лишали Екатерину бодрости и уверенности, чем прямая оппозиция крепостников.

Зато там, где путь был ясен и где не было противодействий, правительство Екатерины действовало с величайшим блеском. Новые формы местного управления с большим искусством были сотканы из элементов бюрократических и сословно-земских; в вопросах финансовых правительство держалось освободительной политики; народное образование вызывало систематические заботы правительства и рассматривалось как важнейшая потребность населения; в заботах о вновь приобретенных на юге землях, о так называемой Новороссии, сказались очень большая чуткость и дальновидность, как будто бы уже тогда прозревали всю силу и быстроту экономического роста русского юга, расцветающего на наших глазах. И во всем, что ни делало екатерининское правительство, оно выступало как просвещенная сила, не просто умудренная политическим опытом, но способная возвышаться до принципиальной постановки вопроса и знакомая с теоретическими успехами современного ей знания. Помещенная историей между Петром III и Павлом I, Екатерина неизмеримо лучше их обоих оказалась подготовленной к государственной деятельности, к которой оба они готовились и на которую она, казалось, вовсе не могла и рассчитывать.

Так двоится наше впечатление от внутренней деятельности императрицы Екатерины II. В основном вопросе тогдашней русской общественной жизни – в устройстве отношений между землевладельческим и земледельческим классами – императрица была увлечена по тому направлению, по которому увлекались событиями и все ее предшественники, в сторону укрепления и наращивания шляхетских прав. Но подчиняясь дворянскому режиму, сочувствуя и содействуя организации дворянства в виде привилегированного сословия, Екатерина давала подобную же организацию и городскому населению, мечтала о соответствующем подъеме прав и крестьянства, – и здесь-то потерпела неудачу, столкнувшись с интересами ею же поддержанного российского шляхетства. Обратить это шляхетство в прежнее бесправное положение и отнять у него крестьянский труд было невозможно или же чрезвычайно трудно. По крайней мере, ни Екатерина, никто иной не могли себе представить государственного строя без крепостного труда. И здесь Екатерина поступает своими идеальными стремлениями ко всеобщей “свободе и собственности” и сохраняет крепостное право во всей его житейской цельности и безусловности. Но это не значит, чтобы императрица вообще отказалась от своего либерального мирозерцания; напротив, либерализм государыни царит везде, где проявляется творческий дух правительства и личное влияние Екатерины от образования

государственного управления до воспитания внучат императрицы. Вспомним, что мы в начале нашей речи усомнились в том, чтобы деятельность Екатерины можно было представить принципиально цельною и согласованною во всех ее частях. Теперь мы можем оправдать такое сомнение. Во внешней своей политике Екатерина была ученицею старой Руси и Петра Великого; во внутренней государственной деятельности, там, где она действовала свободно, она проводила в жизнь философские и публицистические принципы, которыми жили в то время передовые теоретические умы; в сфере же хозяйственно-крепостных отношений она подчинилась господствовавшей в обществе тенденции не только из политической осторожности, но также из страха пред неведомыми последствиями социального переворота. Таковы разнообразные мотивы, руководившие умом императрицы. Во-первых, верно понятый вековой инстинкт народной обороны, во-вторых, лишенные всякого национального оттенка принципы либерального рационализма и, в-третьих, узкие утилитарные вожеления землевладельческого класса, ничего общего не имеющие ни с истинным патриотизмом, ни с благородными порывами освободительной мысли, — что общего между этими историческими двигателями, влекшими Екатерину одновременно по разным путям?

Конечно, менее всего можно негодовать лично против исторического деятеля, которому суждено было в вихре событий и влияний вращаться в различные стороны и терять единство действий. Дело ведь идет не о цельности личных взглядов, которым Екатерина всегда была верна, а о правительственной деятельности, которая всегда представляет собою равнодействующую всех влияний и усилий состоящих в правительстве людей. Вдумавшись в это обстоятельство, оценив личность Екатерины в обстановке, которая на нее действовала, мы скорее подивимся тому, что, при тысяче возможностей успокоиться на достигнутом успехе, Екатерина почти до конца своих дней продолжает бороться за то, что считает правым, продолжает светить русскому обществу ясным национальным сознанием, неизменною преданностью просвещению, блеском прогрессивной европейской мысли. В истории нашего общества Екатерина один из виднейших и влиятельнейших культурных деятелей, память о котором связана неразрывно со всяким успехом нашей гражданственности.

К двухсотлетию Петербурга (1903)

Осенью 1702 года русские войска отняли у шведов их крепость Нотебург, стоявшую на истоке Невы, на месте старого новгородского Орешка. Петр Великий назвал эту крепость Шлиссельбургом. Весною 1703 года русские пошли вдоль Невы к морю и 1-го мая взяли стоявшее недалеко от моря, при впадении Охты в Неву, шведское укрепление Ниеншанц, или “Канцы”, как его называли русские люди. Переименовав Канцы в Шлотбург, Петр Великий временно устроил в нем свой “главный стан”. В “Журнале или поденной записке” Петра Великого говорится: «По взятии Канец отправлен воинский совет, тот ли шанец крепить, или иное место удобнее искать (понеже оный мал, далеко от моря и место не гораздо крепко от природы), в котором (совете) положено искать нового места. И по нескольких днях найдено к тому удобное место остров, который назывался Люст-Еланд (то есть веселый остров), где в 16 день мая (в неделю Пятидесятницы) крепость заложена и именована “Санктпитебургх”». Существует догадка, что наименование “новозастроенной” крепости “Петербург” было торжественно дано ей в Петров день, 29-го июня 1703 года, в именины царя Петра.

На основании этих известий в мае 1903 года празднуется двухсотлетний юбилей существования Петербурга.

Юбилейное торжество будет иметь для нас действительный, живой смысл лишь в том случае, если мы будем понимать историческое значение события, давшего повод к торжеству. “Иначе праздник будет праздным”, – как выразился наш известный историк С.М. Соловьев в своих “Публичных чтениях о Петре Великом”. Для того же, чтобы понять историческое значение события, нам надобно выяснить себе самим, какой смысл имело событие для его современников и для той действительности, в которой оно совершилось. Тогда нам станет ясно и значение данного события во всем ходе исторической жизни народа; иначе говоря, мы поймем, что именно мы собрались праздновать.

Нет большой трудности ответить на вопрос о том, какой смысл имело основание Петербурга для Петра Великого и для Русского

государства начала XVIII века. Наша историческая наука дает для этого достаточно материала, и автору настоящей заметки предстоит лишь труд свести в один краткий очерк итоги различных исторических и историко-географических наблюдений, сделанных в последние десятилетия или, точнее, во вторую половину XIX века нашими историками.

Для современников основание Петербурга имело значение специальное, военное и общее, государственное.

В военном отношении построением Петербурга завершалась важная операция – выход к морю. В борьбе со шведами за балтийский берег еще Иван Грозный пытался действовать на море и заводил в балтийских водах наемные каперские суда. В свою очередь, шведы стремились совсем отрезать Москву от морского берега, что им и удалось в начале XVII столетия. Море, создавая возможность свободного и легкого общения с государствами средней Европы, давало бы Москве союзников и лишние средства в борьбе: обе стороны – и шведы, и русские – хорошо понимали это обстоятельство. С самого начала шведской войны Петр Великий направляет свои силы на приобретение гавани. Испытав неудачу под Нарвою, которая была одною из самых значительных гаваней Балтики, Петр ищет выхода к морю через Неву. В 1701 году начинает он разведки о невском пути к морю “от Волховского устья” до “Невского устья”; собираются сведения о шведских крепостях, заграждающих этот путь, и о фарватере в Ладожском озере и Неве. В 1702 году уже приказано приступить к постройке 6 военных 18-пушечных кораблей “на Ладожское озеро”. Но дело не спорилось до следующего года, когда, наконец, на р. Свири, в Лодейном поле, устроили “верфь” и с августа 1703 года начали спускать на воду уже построенные суда. Не ожидая своей флотилии, Петр в 1702 году начинает действия против шведских крепостей на Неве и, взяв Нотебург, овладевает входом в Неву из Ладожского озера. На следующую весну 1703 года он захватывает и все течение Невы и выходит к морю. Но этого было мало: надобно было укрепиться на Невском устье, чтобы неприятельский флот с моря, а сухопутное войско шведов из Финляндии не могли сбить русских с только что приобретенных позиций. Для этой цели и была заложена в устьях Невы новая крепость, названная Петербургом. Под ее стенами находил безопасный и новый флот, строенный на Свири; а затем под ее стенами выросла и новая верфь (“адмиралтейство”). Создалась таким образом боевая сила, оборонявшая вновь занятый край и послужившая затем опорой для дальнейшего наступления, главным образом на Финляндию. Русский флот, вышедший из Невы в Финский залив, играл немалую роль

в дальнейших судьбах войны. Опираясь на петербургские твердыни, он легко получал по Невскому водному пути все, что ему было необходимо, из внутренних областей государства.

Таково было военное значение “новозастроенной” крепости “Питербурха”.

Основание города в устьях Невы имело существенную важность и помимо стратегических целей Петра. Выход в море надобен был не только для войска, но и для всего русского общества. В глубокой древности, когда на русском западе цвела жизнь “господина Великого Новгорода”, богатевшего от торга с балтийским поморьем, путь от Новгорода по Волхову, Ладожскому озеру и Неве в море был одним из главнейших путей русской торговли. Получая русские товары с востока и севера, Новгород передавал их в гавани Рижского и Финского заливов. И все эти гавани: Рига, Пернов, Ревель, Нарва – находились в чуждых руках; одно невяское устье было новгородским. В устье Невы и у о. Котлина встречали немцев русские лощмана и вели их суда чрез невяские и волховские пороги, перегружая товар на мелкие ладьи, где это было нужно. Новгородские пригороды Ладога и Орешек стояли на этом пути, как пристани и крепости, для приюта и обороны. Русская стража берегла невяское устье от вражеского поиска с моря. Словом, невяский путь пользовался некоторым благоустройством, как один из путей внешней торговли Великого Новгорода. Но не один Новгород им пользовался. Если взглянуть в карту Приладожья и в сеть тех рек, которые несут свои воды в Ладожское озеро, то нетрудно понять, что из Невы с моря по этим рекам можно идти в разные углы Руси и, наоборот, со всех этих рек можно попасть к морю только по Неве. Из Невы Ладожским озером и Свирию приходили в Онежское озеро, а там был “судовой ход Онегом-озером на обе стороны по погостом” – и вел тот ход на север к Белому морю, и на северо-восток к низовьям р. Онеги и р. Северной Двины, и на юго-восток к Каргопольским и Белозерским местам. Не дойдя до Свири, можно было свернуть в р. Сясь: “от Орешка Ладожским озером на Сясьское устье; и Сясью и Тихвиною реками приезжают на Тихвину (монастырь), а с Тихвины ездят к Москве и по городом: на Устюжну, в Кашин, в Дмитров”. Так описывали эту дорогу московские люди и прибавляли, что то “дорога из-за рубежа к Москве старинная, прямая”. Таким образом, Нева искони соединяла с Балтийским морем “прямою” дорогою и Новгород, и Москву, и весь север. Этим определялось громадное значение этой реки для страны, не имевшей тогда в своем распоряжении иного выхода в то самое западное море, с которым она всегда торговала, на которое посылала свое сырье.

До XVI века, пока русская торговля с удобством пользовалась немецким посредством для сношений со всеми гаванями от Риги до Нарвы, значение Невы не сказывалось сильно, и русский от-пуск свободно шел к морю и Невую, и “горними путями” (то есть сухопутьем). Но в XVI веке, с усилением на восточном побережье Балтийского моря Литвы и Швеции, враждебных Москве, русская торговля стала терпеть “тесноту”. Для сношений Руси с нейтральными немецкими рынками Литва и Швеция стали создавать препятствия, затворяя гавани и затрудняя торговое движение. Русь продолжала стремиться к морю, и борьба с противодействием привела Грозного к знаменитой Ливонской войне за морской берег. Война тогда окончилась поражением, и Русь потеряла даже последнюю полосу балтийского берега, какую имела (от Наровы до Невы). После некоторых колебаний, в эпоху Смуты, эта полоса решительно перешла во владение шведов (в 1617 году), и шведский король Густав-Адольф с торжеством объявлял подданным, что Москва далеко отброшена от моря. В эту пору, зная, что все гавани на восточном и балтийском побережье завоеваны шведами и потому не могут служить на пользу Руси, московские люди должны были обратить особое внимание на Финский залив и на его восточную оконечность, всего ближе подошедшую к коренным русским областям, издавна бывшую в русской власти, доступную по множеству речных и озерных путей, к ней шедших. Царь Алексей Михайлович уже решился было “добывать” от шведов берега Финского залива, но ему помешала малороссийская смута. Его сын царь Петр добыл эти заветные берега. Если будем помнить все только что сказанное, пойдем, почему Петр спешил закрепить за собою невский берег как можно тверже. Нельзя было выпускать из рук такого важного места, раз его удалось занять, и Петр деятельно его укрепляет различными твердынями. Сильная крепость в устьях Невы, крепость на о. Котлин (Кроншлот), крепость Орешек (Шлиссельбург) должны были охранять новое русское приобретение на старой новгородской земле. А завоевание Нарвы и Выборга и окончательно закрепило за Русью ее новый город и порт “Санктпитебурх”.

За мерами чисто военными следовали и меры к тому, чтобы приспособить новый город к потребностям страны. Петр всячески привлекал в Петербург иностранные корабли (давая даже премии их экипажам) для того, чтобы тотчас же сообщить новому городу характер коммерческого порта. В Петербурге, немедленно после его основания, устроили гостиный двор и при нем биржу. От Петербурга внутрь страны устраивали дороги, не только сухопутные (на Новгород), но и речные. Петр прорыл канал между

волховским устьем и истоком Невы для обхода беспокойного Ладожского озера. Между рекою Мстою и рекою Тверцою был устроен канал (близ Вышнего Волочка) для непрерывного водного сообщения между Поволжьем и ильменскими реками: речной путь протянулся параллельно с большою дорогою от Москвы на Новгород и Петербург. Производились изыскания для соединения и р. Мологи с р. Сясью; но этого дела при Петре I сделать не успели. Налаживая пути к новому порту, Петр искусственно привлекал к нему торговое движение. Он рядом распоряжений сокращал обороты Архангельского порта и даже думал о его закрытии, а весь торговый обмен с заграничными гаванями мечтал сосредоточить в Санкт-Петербурге. Торговая Москва, смотревшая до тех пор на север, должна была как бы повернуться лицом на запад. Петербург становился ее главным агентом в деле торговых сношений с Европою.

Так велико было значение Петербурга для Руси начала XVIII столетия. Но Петр не довольствовался тем, что сделал свой “Питер” крепостью и портом; он хотел сделать его и столицей своего государства. Свои новые учреждения – Сенат и коллегии – он устроил в Петербурге. В Петербурге он сооружал дворцы, поселил гвардию и сам осел со своим новым двором на постоянное житье. Петербург официально объявлялся столицей, и это, очевидно, не было капризною прихотью Петра, полюбившего Неву и новый городок, свой “парадиз”. После смерти Петра Великого, при Петре II, попробовали было перевести двор, учреждения и гвардию в Москву, но вскоре же, при императрице Анне, вернулись снова на Неву, хотя Нева была и на краю государства. Что же заставило поступить так и отказаться от славной Москвы? “Один ответ: необходимость!” – говорит С.М. Соловьев.

Во-первых, новая столица лежала при море, которое в ту пору было наилучшим путем сообщения. Поэтому она была ближе ко всем европейским центрам, чем старая Москва, отстоявшая от морей чуть не на тысячу верст. Из западной Европы в Москву надо было ехать или через Архангельск, или через балтийские гавани, или через Литовско-Польское государство. Первый путь был очень неудобен и далек; последний – ставил сообщение с Москвою в зависимость от польского правительства; тем большее значение получал путь чрез новые русские гавани на Балтийском море. И вот переселение столицы в балтийскую гавань на многие сотни верст приближало русское правительство “к Европе”. Стоит посмотреть на политическую карту Европы XVII–XVIII веков, чтобы понять ясно справедливость сказанного. Находясь в Петербурге, русская власть могла скоро и удобно сношаться

с любым местом Западной Европы, ни у кого не прося разрешения на проезд послов и гонцов (как раньше иногда просили у польского короля) и не подвергая идущих неудобствам и случайностям долгого пути по неустроенным дорогам от моря до Москвы.

Во-вторых, Ништадтским миром 1721 года не окончилась борьба за балтийское побережье и не был еще упразднен “Балтийский вопрос” о том, кому считаться хозяином балтийских вод. Швеция не легко мирилась со своим поражением и с торжеством России; другие государства, примыкавшие к Балтийскому морю, боялись одинаково и возвращения шведской гегемонии, только что свергнутой, и русского могущества, только что созданного. Все заинтересованные правительства зорко следили за тем, что делается на Балтике и, так сказать, придвигались к морю. Русскому правительству нельзя было поэтому уходить от моря вглубь страны и относить свою столицу от берега, когда прочие столицы и власти были у берега. Стокгольм, Копенгаген, Киль, Берлин и Кёнигсберг, Варшава и Данциг давали скорую возможность Швеции, Дании, Голштинии, Пруссии и Польше знать, что происходит у их балтийских соседей. Россия из Москвы не могла этого знать с желаемой быстротою. Таким образом, рядом с общею причиною – желанием приблизиться к Европе, – здесь действовала и частная причина: необходимость не упустить приобретений, сделанных на балтийском берегу при Петре Великом. Вот почему русская столица осталась в Петербурге и после его основателя, служа отличным проводником европейских влияний на русскую жизнь.

Итак, с основанием Петербурга Русское государство приобрело *сильную крепость*, обеспечивавшую России выход в Балтийское море, *удобный порт*, к которому стягивалось много торговых путей с русского севера и из центра страны, и *новую столицу*, которая облегчала нашему государству сношения с европейскими государствами, в состав коих Русь тогда вошла окончательно. Послужив одним из средств завоевания балтийского берега, Петербургская крепость, став портом, усвоила всей стране экономические результаты этого завоевания и, став столицей, послужила символом нового культурно-политического порядка, развившегося в течение так называемого “петербургского периода” русской истории.

Савва Ефимьев, протопоп Спасский Преображенского собора в Нижнем Новгороде (1904)

Имя Саввы Ефимьева не пользуется никакою известностью в нашем обществе. Вряд ли кто из широкой публики знает, что Савва играл такую же видную роль в нижегородской истории, как знаменитые его современники К. Минин и князь Д.М. Пожарский. Последующие строки имеют целью определить эту роль и объяснить значение Саввы в нижегородском ополчении 1611–1612 годов.

О личной жизни протопопа Саввы нам известно очень мало. В главный нижегородский собор перешел он, кажется, из нижегородской церкви свв. Козьмы и Дамьяна, стоявшей в Старом остроге, на берегу Оки-реки. В 1604 г. к нему отошел по государеве грамоте двор прежнего спасского протопопа Василия “с огородом и садом”, по мирской оценке посадских людей “за двадцать за пять рублей”¹. Из этого известия можно заключить, что Савва стал настоятелем Спасо-Преображенского собора около 1604 г. и, во всяком случае, не позже этого года. В 1606 году, в августе, Савва с причтом Спасского собора получил от царя Василия Ивановича (Шуйского), тогда только что вступившего на престол, жалованную грамоту, в которой определялись жалованье, владения и права соборного духовенства². По этой грамоте нижегородским игуменам и “попам всего города” вменялось в обязанность “спасскаго протопопа Саввы слушати, на собор по воскресеньям к молебнам и по праздникам к церквам приходити”; за слушание Савва мог налагать на игуменов и священников денежные штрафы и даже мог за упорное непослушание “сажати в тюрьму на неделю”, требуя для этого приставов у нижегородских воевод. Таким образом, протопопу Савве принадлежало первенство в духовенстве всего Нижнего Новгорода, и рядом с ним мог стать один лишь неподчиненный ему архимандрит главнейшего нижегородскаго Печерскаго монастыря. Понятно, что, занимая

¹ РИБ. СПб., 1898. Т. 17. Писцовая книга по Нижнему Новгороду. С. 38, 116 и 82.

² АИ. Т. 2. № 69.

виднейшее место среди священнослужителей Нижнего, Савва в 1611 году, при начале патриотического движения в Нижнем, был очень заметен в этом движении и стоял среди его руководителей. Когда же движение нижегородцев привело к очищению Москвы и дало возможность избрать нового государя, Савва участвовал в избрании Михаила Феодоровича в числе прочих выборных от Нижнего, а затем из Москвы поехал навстречу государю – “его царския очи видети”³. При Михаиле Феодоровиче Савва получил подтверждение жалованной грамоты 1606 года для причта своего собора. Ему же лично, за его заслуги в деле нижегородского ополчения, было дано в собственность в нижегородском кремле, у самого Спасского собора, “государево дворовое место”, рядом с таким же государевым дворовым местом, пожалованным знаменитому Минину. Таким отличием не был почтен в Нижнем Новгороде никто, кроме Минина и Саввы. В 1624 году Савва был еще жив⁴. Если ко всему сказанному прибавим, что у Саввы было два сына, Игнат да Василий⁵, то исчерпаем все то, что нам известно о частной жизни нижегородского протопопа.

Скудость биографического материала есть типичная черта старомосковской жизни, не дававшей простора для индивидуальной свободы. Личность мало высказывалась и мало обнаруживалась в том общественном строе, коим управляли “старина и пошлина”, “мера” и “чин”, иначе говоря, веками установленный порядок, который для живших в нем был в одно время и действительностью, и идеалом. Именно поэтому историку надобно не только много труда, но и многопроницательности, чтобы за бесстрастными показаниями послужных списков и благочестивых житий увидеть живое лицо, угадать характер и воскресить действительную личность. В отношении занимающего нас теперь протопопа Саввы не поможет, однако, никакая проницательность и никакое трудолюбие. Пока не нашлись (а надо думать, они и не найдутся) какие-либо новые данные о нем самом, протопоп Савва не встанет перед нами, как характер, как определенная личность. Для серьезного историка будет всего достойнее и не пытаться дать характеристику этого лица, черты которого уже бесследно стерты временем. Есть иная, вполне научная – и нам доступная – задача, состоящая в том, чтобы определить не самое лицо, а общественную роль протопопа Саввы в исключительных обстоятельствах его эпохи. Как деятель нижегородского движения, Савва доступен нашему определению.

³ Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 1086.

⁴ АИ. Т. 2. № 69.

⁵ РИБ. Т. 17. С. 82, 116.

В последние десятилетия история нижегородского подвига сделала большие успехи. И.Е. Забелин первый внес в изучение обстоятельств 1611–1612 гг. трезвый научный прием, одинаково далекий как от риторического восхищения на карамзинский лад, так и от обличений Костомарова. Живое чувство народности, глубокое знание и понимание старого Великорусья позволили г. Забелину избежать академической сухости изложения и облечь в плоть и кровь смутные предания и легенды о нижегородских героях. У него Минин и Пожарский стали историческими и перестали быть легендарными, а нижегородский “мир” из несмысленной толпы, шедшей слепо за вожаками, обратился в одухотворенную патриотическим чувством разумную среду. Изложение г. Забелина было построено на старом, давно известном, но заново освещенном материале. После книги г. Забелина о Минине и Пожарском был обнародован новый материал – текст писцовых книг и десятен по Нижнему Новгороду и его уезду и тексты литературных произведений о Смутном времени. С их помощью можно продолжить работу г. Забелина и дать уже правильную историю нижегородского движения.

Самый общий очерк этой истории определит нам значение нашего протопопа Саввы в общем ходе нижегородских и общерусских событий великой эпохи освобождения Москвы.

Во второй половине 1611 года, после смерти Прокопия Ляпунова под Москвою, земское устройство, созданное им, пало, дворянское ополчение разъехалось по домам и органы центральной власти – “приказы”, учрежденные в подмосковной рати для управления странюю, попали в распоряжение казачьих вождей, одинаково враждебных и полякам, сидевшим в Москве, и старому московскому порядку. Правительственные учреждения стали служить врагам земщины: они “из городов и с волостей на казаков кормы собирали”, а казаки “ездили по дорогам станицами и побивали”. Над измученною странюю господствовали две власти, желавшие стать правительством: польская и казачья. Первая действовала именем короля Сигизмунда и “царя” Владислава и держалась оккупацией столицы. Вторая действовала именем “всея земли” и держалась “казачьими таборами”, т.е. подмосковным лагерем, в котором казаки устроили правительственный центр. Обе власти были ни для кого нежелательны, кроме тех, кто изменил Родине ради милостей Сигизмунда, и тех, кто связался с казаками и отстал от старого общественного порядка. Но никто не мог указать, где искать третьей, более законной власти. Ее еще надобно было создать. А кто же мог ее создать в обществе, которое рассыпалось на свои составные части, отдельные города и волости?

С падением государственного порядка на Руси еще жил церковный. За недостатком боевых вождей народным движением начинали руководить духовные отцы. Из церковных кругов шла проповедь, призывавшая к единению и народному подвигу. Если пастыри не могли стать сами во главе обновленного политического порядка, то они могли дать совет, как его обновить. И на этот раз в 1611 году они давали стране не один, а два взаимно противоположные совета. Троицкая лавра думала и писала, что земщине необходимо было соединить свои силы с подмосковным казачеством для совместной борьбы с поляками. На этой мысли были построены все знаменитые троицкие грамоты 1611–1612 гг. Патриарх же Гермоген думал, что казаки – еще горший враг Русской земли, чем поляки, и что земле следует соединить свои силы для борьбы не только с поляками, но прежде всего и с казаками. Именно это писал Гермоген нижегородцам в августе 1611 года. Оба авторитета – и братия монастыря св. Сергия, и “второй Златоуст” патриарх Гермоген – одинаково указывали, что почин движения должен был идти из местных обществ; но направление движения определялось ими разное.

Вот та обстановка, в которой возник нижегородский подвиг.

В истории этого подвига мы теперь различаем следующие моменты. Первый, – когда Минину удалось подвигнуть нижегородскую посадскую общину на собрание “казны многой” для очищения Московского государства. Второй момент, – когда приговор посадских людей о собирании казны и найме ратных людей был сообщен официальным лицам и высшему слою населения Нижнего Новгорода, был ими принят и повел к образованию в Нижнем особого “приказа” для организации рати и ее хозяйства. Третий момент, – когда этот особый приказ, с князем Пожарским и Мининым во главе, распространил свое влияние и власть на всю низовскую область и собрал около себя “для справки” общий “земский совет” низовских городов. И, наконец, четвертый момент, – когда, переместившись в Ярославль, нижегородская военно-административная власть обратилась в правительство всей Русской земли и повела эту землю к Москве для “очищения государства” и для “царского обирания”.

В первый момент движения главная роль принадлежит, бесспорно, Минину. Он, и никто иной, нашел в себе силу “возбудить спящих” в то время, когда прочие застыли в унынии и уже отчаялись в том, что Господь сохранит “останок рода христианского” и оградит миром “останок российских царств и градов и весей”. В земской избе Нижнего Новгорода (которую теперь

назвали бы “городскую думою”) Минин начал многие речи о необходимости “чинить промысл” над врагами. Как земский староста, он имел в своей общине вес и влияние и добился того, что был написан “приговор всего града за руками”, т.е. официальное постановление посадских людей с рукоприкладством о том, чтобы поручить Минину произвести особый сбор “на строение ратных людей”. Этот сбор Минин “собою начат”, т.е. первый внес свою жертву на народное дело, а затем понесли свои вклады и прочие нижегородцы. Так как приговор имел ввиду общее принудительное обложение тяглых людей по достаткам и доходам, то Минину приходилось прибегать и ко взысканиям с тех, кто не хотел добровольно подчиниться мирскому приговору и подходящей раскладке. По словам одного современника, Минин действовал среди своих сограждан, “уже волю возьму над ними по их приговору, с Божией помощью и страхом на ленивых налагая”. Так, в начальном моменте движения первое место принадлежит Минину.

Когда затеянное Мининым большое дело получило ход в податной общине Нижнего, оно не могло остаться без огласки. По самой своей сущности оно требовало широкого оглашения, так как нуждалось в общем сочувствии и поддержке. Оно было объявлено и другим, не податным чинам нижегородского населения. По преданию, носящему признаки достоверности, произошло это таким образом. В Нижнем после получения одной из троицких патриотических грамот “нижегородския власти на воеводском дворе совет учиниша”; на совете же том были печерский архимандрит Феодосий, протопоп Савва и прочее духовенство, “дворяне и дети боярские, и головы и старосты, от них же и Кузьма Минин”. Совет решил собрать нижегородцев на другой день в Спасо-Преображенский собор, прочесть там троицкую грамоту и звать народ на помощь Москве. Так и сделали. На другое утро собрали горожан колокольным звоном в соборную церковь и уже ко всему населению Нижнего, а не к одним тяглым людям, обратились с воззванием о патриотическом подвиге. Первое место в этом собрании принадлежало Савве. После обедни “пред святыми вратами” говорил он речь народу и сам читал троицкую грамоту. Минин говорил после Саввы. Оба они явились вождями движения. В Минине нашла своего вожака тяглая масса; Савва же Ефимьев оказался первым выразителем высших слоев нижегородского населения, – тех, которые на воеводском дворе накануне впервые пристали к движению, начатому Мининым в своей податной среде. Вступление в дело высших кругов нижегородского населения было вторым моментом движения, и в этом втором мо-

менте виднейшая роль принадлежит Савве. *Он* стоит в челе всей массы нижегородцев, *его* речью начинается официальная история нижегородской рати, *его* благословение и молитвы осеняют самое возникновение подвига и встречают князя Д.М. Пожарского в нижегородском соборе.

И в следующих моментах движения протопопу Савве принадлежит деятельная роль. Под руководство Нижнего скоро стала вся низовская земля, и только в Казани произошло некоторое осложнение отношений с Нижним. Чтобы выяснить недоразумение, нижегородцы послали в Казань посольство из духовных и дворян, а во главе посольства товарища Пожарского Биркина и Савву протопопу. Когда же благое дело московского очищения совершилось, и Пожарский из Москвы звал выборных из городов для государева обирания, то Нижний опять выбрал своим представителем Савву, который и подписался под избирательною грамотою так: “Из Нижняго Новагорода *выборный* спаский протопоп Савва”.

Итак, Савва заметен для нас с начала до конца нижегородского подвига и может быть определен нами как один из его инициаторов или, говоря старым русским языком, как один из его “заводчиков”. В этом его и значение. Как один из тех, кому принадлежал почин великого дела, Савва, конечно, принимал участие в обсуждении его руководящего плана, и в этом отношении он для нас особенно любопытен. Несмотря на то, что он читает народу в Спасском соборе троицкую грамоту, он не разделяет троицкой программы, предполагавшей единение земских сил с казачьим подмосковным станом. В Нижнем решено было держаться лозунга Гермогена: “и на поляков, и на казаков”. Об этом явственно говорили нижегородские грамоты, пошедшие во все окрестные города с известием о начале движения в Нижнем. Об этом же говорить из Нижнего послали в Казань целое посольство, в котором был и Савва. Троицкая грамота, очевидно, служила для Саввы и других руководителей Нижнего только поводом для беседы, но не приказом или обязательным руководством. Пошедшая от троицкой грамоты беседа привела к отрицанию ее советов, – и в этом надо видеть залог успеха нижегородских начинаний.

Верный заветам Гермогена, Нижний начал войну с казаками раньше, чем с поляками, и победил их. Казаки вошли в состав земского ополчения лишь тогда, когда покорились земщине и погасили зажженное ими пламя общественной розни. Те же из них, кто все еще мечтал сжечь этим пламенем старый общественный порядок, были вынуждены бежать из государства навсегда.

И лишь тогда, когда были побеждены казаки, русские люди успели одолеть и поляков в Москве.

Пристальное изучение нижегородского подвига, заменяющее легенду историей, не только не стирает красок с этой величавой исторической картины, но, напротив, освежает их до изумительно яркого блеска. Поразительная минута глубокого душевного возбуждения, пережитая народной массой с Мининым и Саввою во главе, не пропадает бесследно. Собраны деньги и люди, найден даровитый вождь Пожарский, даны ему помощники и средства, выработан план действий, – и в одну зиму созрела организация, широкая и мощная, осмотрительная и смелая, неторопливая и энергичная. Блеск великого народного гения освещает эту картину, и в его бессмертных лучах всего виднее для нас три нижегородских имени: “сирота государев” – посадский человек Минин, “слуга государев” – стольник князь Пожарский и “государев богомолец” – протопоп Савва.

Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия (1904)

В текущем году исполняется триста лет с тех пор, как первый самозванец начал открытое междоусобие в Московском государстве. Один из современников самозванца записал о нем, что “во 112 (1604) году, августа в 15 день, поиде злонравный в Российские пределы двема дороги: от Киева чрез Непр реку, а иные идоша по крымской дороге”. С тех пор междоусобие на Руси не прекращалось целый десяток лет, пока потрясенный общественный порядок не нашел для себя новых прочных форм.

Загадочное происхождение первого самозванца, сложность и важность поднятого им движения, изумительный успех самозванческой интриги, сказочный интерес многих подробностей этой интриги – все это привлекало и теперь привлекает к себе внимание ученых и писателей. Начиная с XVIII века и до наших дней самозванец и его дело служат одною из любимых, “ходячих” тем для научных монографий, романов, драм и иного рода литературных произведений. Вековая работа ученой мысли и творческого воображенья еще не сняла покрова тайны с самозванца, но успела разгадать в нем кое-какие черты, неизвестные и непонятные прежде, но любопытные и важные для правильного понимания эпохи и действовавших в ней лиц. Если мы и теперь не знаем, кто именно был самозванец, то можем уже догадываться, откуда он мог появиться и кем мог быть придуман и поддержан. В этом надобно видеть большой успех исторического знания, возбуждающий надежду на еще большие успехи в будущем. Цель предлагаемой статьи состоит в том, чтобы сообщить читателю в самом кратком очерке и в самых общих чертах именно то, что может теперь считаться наиболее достоверным и вероятным в истории первого самозванца. При этом будут опущены все те подробности о самозванце, которые обыкновенно вводятся в его популярные жизнеописания и потому предполагаются всем известными.

Внешняя история самозванческой интриги представляется теперь в таких достоверных чертах. Смутные слухи о существовании человека, присвоившего себе имя царевича Дмитрия, появились в Москве в 1598 году, лет через 6–7 после кончины на-

стоящего царевича. В 1600–1601 гг. эти слухи стали беспокоить царя Бориса. Летом 1603 года уже на самом деле появился в Речи Посполитой (в Польше) “царевич Димитрий” и вскоре был признан польским правительством за истинного царевича, несмотря на то, что из Москвы называли его самозванцем и официально извещали, что он монах Григорий Отрепьев. В марте 1604 года этот Димитрий сошелся с иезуитами и 24-го апреля был присоединен к католицизму, о чем сам он и известил папу Климента VIII торжественным письмом на польском языке. Поддержанный некоторыми панами, самозванец собрал небольшой отряд польско-литовской шляхетской конницы, человек в тысячу с небольшим, вошел в сношение с московским козачеством и, рассчитывая на козачью помощь, начал поход на Москву, переправясь через Днепр под Киевом. В это же время восточнее, на так называемом “поле” или “польской (степной) Украине”, началось движение на север ставших “за царевича Димитрия” козаков. Сам Лжедимитрий, по-видимому, намеревался в случае удачи идти прямо к Москве чрез Чернигов, Новгород-Северск, Брянск. Но высланные Борисом воеводы успели укрепить Новгород-Северск и задержали самозванца под его стенами надолго. Дальше к северу самозванец и не двинулся. Получая известия, что на “поле” козаки привлекли на его сторону много пограничных городков, самозванец свернул вправо и пошел было, вместо Москвы, на “польскую Украину”, чтобы оттуда уже направиться на север, обойдя войска Бориса. Но во время этого марша на восток московские воеводы настигли самозванца, разбили его наголову и гнали до Путивля, то есть до самой московской границы. Самозванец едва спасся в каменной Путивльской крепости; его польские дружины потеряли в него веру и разбежались; казалось, его затее приходил конец.

Дело, однако, приняло иной оборот, благодаря событиям на “поле”, в нынешних курских и орловских местах. Было бы слишком долго останавливаться на подробном выяснении тех причин, по которым население этих мест было готово к смутам. Упомянем вкратце, что население у “поля”, бродячее, недавно появившееся здесь и еще не имевшее хозяйственной устойчивости, составлялось, главным образом, из беглецов и выходцев, ушедших от крепостной неволи и экономического гнета из центральных областей государства. Земельная политика царя Ивана Грозного и хозяйственные приемы частных землевладельцев направлялись тогда против интересов трудовой массы, что и вызывало в конце XVI века усиленный выход рабочего населения из центра государства на восточные и южные окраины. Незанятые никем черноземные пространства “дикого поля” давали выходцам приют и

пропитание, а условия кочевой или полукочевой жизни выработали особый тип общественной организации – козачьи товарищества, “станции”, с излюбленными вожаками-“атаманами”. К оставленному государству эти товарищества относились враждебно, приписывая свои беды – закрепощение и необходимость бегства и скитаний – землевладельческому классу, “лихим боярам”. Когда же на московском престоле оказался государь из бояр, Борис Годунов, и когда этот государь стал достигать козачество и на “поле”, ненависть козачества обратилась на самого главу ненавистного порядка – Годунова. При Годунове правительственная заимка “дикого поля”, постройка здесь городов-крепостей, водворение гарнизонов, большая подневольная запашка “на государя” земель вокруг новых городов, ряд строгостей по отношению к бродячему козачеству, принудительное верстанье в службу тех, кто служить не хотел, – все это показывало козакам, что государство с его крепостным строем вторгается уже и на “поле”, проникает туда, где от него прежде прятались. Одна эта правительственная колонизация “поля” должна была раздражать козаков. В начале же XVII века ряд случайных обстоятельств особенно усилил это раздражение. Страну постиг трехлетний неурожай, и сильный голод выгнал на “поле” массы брошенных и прогнанных хозяевами крестьян и дворовых холопов, озлобленных на судьбу и господ. Репрессии Бориса, направленные на бояр, по обычаю того времени, приводили к освобождению боярской челяди, которой некуда было деться, и которая шла, голодая, на то же “поле”. По счету одного современника, на Украину в первые годы XVII столетия сошло более двадцати тысяч человек, способных носить оружие и, разумеется, ненавидевших “ликих бояр” и самого Годунова. Вот на эту-то среду и рассчитывал самозванец, когда шел в пределы Московского государства; в ней-то и искал он опоры и содействия. И, действительно, эта среда спасла его дело, когда он дрожал в Путивле, брошенный своими польскими “товарищами”.

Призванная к мятежу посланиями или, как их тогда называли, “прелестными письмами” самозванца, козачья масса восстала на Бориса, склублилась в большие отряды, захватила на имя царя Димитрия много городов на “поле” и двинулась на север к Москве по разным дорогам. Так как сам “царь Димитрий” находился западнее, то, имея в виду соединение с ним, козаки и сами избирали более западные пути из тех, которыми вообще могли пользоваться. Поэтому-то они и спешили занять крепость Кромы, находящуюся в узле многих нужных им дорог; а, заняв Кромы, козаки оказывались в тылу у тех московских войск, которые побили само-

званца и собирались “добывать” его в Путивле. Понятно, что, боясь быть отрезанными от Москвы, воеводы бросили самозванца, отступили назад к Кромам и стали их осаждать. Здесь оказался фокус всех военных операций, и была решена судьба компании. Когда 13-го апреля 1605 года умер Борис, его войско под Кромами признало самозванца истинным царем Димитрием, и самозванцу оставалось только совершить торжественный переезд из Путивля до Москвы.

Этот последний акт кампании не совсем ясен для историков, потому что измена войска Годуновым готовилась тайно и совершилась внезапно. Однако нет сомнения, что руководили делом самые знатные из московских бояр – князья Шуйские и Голицыны. Им трудно было бороться с самим Борисом, который обладал большим политическим талантом и располагал громадными средствами. Борис-правитель и Борис-царь был очень неприятен отборной московской знати княжеского происхождения; но он был для нее неодолим. Когда его не стало, эта знать осмотрелась и поняла, что династия Годуновых сама по себе очень слаба. Пользуясь именем царевича Димитрия, восстановлявшего старую вековую династию, бояре отвлекли войско от Годуновых; но это еще не значило, чтобы они хотели доставить торжество самозванцу, в которого они несомненно не верили. Когда их измена Годуновым погубила семейство Бориса, бояре задумали не допустить самозванца воцариться и попробовали поднять на него Москву еще раньше, чем он в нее въехал. Однако эта попытка не удалась, и ее руководитель князь В.И. Шуйский угодил в ссылку.

Признанный Москвою, сопровождаемый козаками и небольшим отрядом поляков, самозванец торжественно въехал в столицу и венчался на царство. Он отпустил свое войско по домам, в Украину и на “поле”, окружил себя стрельцами и наемными отрядами иноземцев и почти год правил Москвою и царством.

Такова вкратце правдивая история появления и воцарения самозванца. Из нее следует, что появился самозванец помимо польского правительства, которое, однако, тотчас его признало, и помимо католического духовенства, которое, однако, за него крепко схватилось. Вторжение самозванца в московские пределы гораздо более было рассчитано на восстание недовольных Москвою козачьих масс, чем на поддержку польской власти и общества. Наконец, победа самозванцу была доставлена не польским войском, а именно козачьими массами и содействием высшей боярской знати, не желавшей повиноваться династии Годуновых. Но это высшее боярство смотрело на самозванца лишь как на орудие борьбы с Годуновыми, которое следовало бросить, когда борьба

эта окончится; а козацьи станицы, приведя на Москву “истинного царевича”, самим же самозванцем были отправлены назад, как только самозванец сел на Москве.

Именно этими обстоятельствами объясняется как непрочность власти самозванца, так и его скорое падение. В русской исторической литературе не раз высказывался взгляд на самозванца, как на богато одаренную и светлую личность, которая поражала и очаровывала москвичей блеском своего ума и своим культурным превосходством. Основанный на односторонних и поверхностных отзывах иностранцев, этот взгляд очень далек от правды. Самозванец никому в Москве не нравился и никому не мог да и не заботился угодить. Значения и силы боярских партий и кружков он не понимал; друзей не ценил, а врагов раздражал; православного обряда и обычая держался не твердо, а иноверцев и иноземцев баловал и явно предпочитал русским людям; сам не отличаясь добродетелями и воздержанием, он попускал дурные нравы вокруг себя. Немудрено, что уже через полгода после его воцарения, в январе 1606 года, шел упорный слух, что на Москве уже точно дознались, будто царь Димитрий не настоящий царь. Население Москвы стало проявлять признаки вражды к самозванцевым гостям, полякам и литве, и стало “поговаривать” про самого самозванца. Начались поэтому розыски и опалы, еще более раздражавшие московское население. Понятно, что, когда наиболее смелые представители знати начали готовить восстание против самозванца, народная масса последовала за ними: кто желал свергнуть самого “расстригу”-самозванца, а кто желал избить и изгнать из Москвы тех иноземцев, которые окружали “расстригу” и очень надоели москвичам. К маю заговор был готов. Руководила им московская родовая знать, бояре; силу его составлял столичный гарнизон, ставший почти поголовно на сторону знати, и московская толпа. Друзья самозванца и враги “лихих бояр”, то есть козаки, были далеко – на своих украинях. Самозванцевы гости и стража не были в силах его защитить, – и вот, 17-го мая 1606 г., самозванец был убит, “испроверг свою злосмрадную душу”, по современному выражению. Взамен его воцарился глава заговора, князь Василий Иванович Шуйский, и сейчас же объявил, что низверженный царь был не кто иной, как монах Григорий Отрепьев.

Таким образом, и в самом начале дела с самозванцем, когда еще никто его не видал в глаза, московское правительство объявило самозванца Григорьем Отрепьевым; и в конце этого дела, когда самозванца успела узнать вся Москва, о нем официально говорилось, что это – Гришка Отрепьев. Можно ли удивляться тому, что в течение двух последующих столетий держалось твер-

дое убеждение, что самозванцем был Григорий Отрепьев? Это была, казалось, веками освященная истина. Но в XIX веке, сначала вскользь и робко, затем все настойчивее и смелее, стали раздаваться голоса сомнения, и, наконец, в 60-х годах XIX века вопрос о личности самозванца был поставлен с полной решительностью. Старая традиция потеряла обязательную силу, и о происхождении самозванца стали судить, не стесняясь преданием. С тех пор на вопрос о том, кто был первый самозванец, предлагаются в сущности четыре ответа: 1) самозванец был действительно Отрепьев; 2) самозванец был не Отрепьев, а какое-то неведомое лицо, руководимое Отрепьевым; 3) самозванец был не московский человек, а зарубежный – из Литвы или Польши, и, наконец, 4) тот, кого обыкновенно называют самозванцем, был истинный царевич Димитрий, спасшийся от покушения на его жизнь в Угличе.

Было время, когда мнение или предание о тождестве самозванца и Отрепьева казалось совсем оставленным. Остроумные статьи Н.И. Костомарова (“Кто был первый Лжедимитрий?”) и Н.М. Павлова (“Правда о Лжедимитрии”) показали, что, настаивая на этом тождестве, ученые попадают в большое затруднение, так как не все могут объяснить в истории самозванца и его окружавших лиц. Показания современных документов и рассказы современников о самозванце и Отрепьеве полны противоречий и несообразностей, которых, по мнению Костомарова и Павлова, нельзя объяснить. Однако, пересмотрев все эти документы и рассказы, найдя кое-что и новое, позднейшие исследователи все-таки не отстали от мысли об Отрепьеве. Так, например, гг. Добротворский и Казанский (в журнальных статьях 60-х и 70-х годов) предпочитали определенное имя Отрепьева неопределенным гаданиям Костомарова и Бицына. В самое же последнее время о. П.О. Пирлинг во многих своих статьях о Смутном времени с осторожностью, но определенно высказывает мысль, что самозванец мог быть всего скорее именно Отрепьевым. Таким образом, это мнение еще живет, и с ним еще следует считаться. Оно сильно тем, что точно определяет известную личность, взявшую на себя роль царевича Димитрия, тогда как мнение Костомарова и Павлова, – что самозванец был не Отрепьев, а кто-то другой, Отрепьев же был его вожаком или товарищем, – страдает неопределенностью и, в сущности, вопроса не решает. Если не Отрепьев, то кто же? И на этот вопрос ответа нет, если не считать ответом догадку, что неведомый самозванец был москвич и, по-видимому, носил имя “инока Леонида”.

Третье мнение, что самозванец был родом не из Московской Руси и был приготовлен к своей роли иноземною интригою, –

наиболее искусственное и наименее удачное. В последнее время в нашей литературе его защищает г. Иловайский (в книге “Смутное время Московского государства”). Он думает, что самозванец был мелким шляхтичем, западнорусским по происхождению и ополяченным; подготовили его к самозванству некоторые польско-русские паны. Немногим лучше и те мнения, которые видят в самозванце побочного сына то одной, то другой из знатных персон Речи Посполитой; такого рода мнения от времени до времени слышатся в заграничной, по преимуществу польской печати. Они настолько анекдотичны, что на них нет нужды останавливаться.

Интереснее мнение о подлинности царя Димитрия, основанное на том, что царевич Димитрий будто бы не был убит в Угличе, а спасся. В 60-х годах такую мысль можно было уловить в брошюре В.С. Иконникова (“Кто был первый самозванец?”). В последнее десятилетие эта мысль воскресла. В изданной ученой переписке К.Н. Бестужева-Рюмина с гр. С.Д. Шереметевым (“Письма К.Н. Бестужева-Рюмина о Смутном времени”. СПб., 1898) есть намеки на то, что оба корреспондента верят в спасение маленького царевича от покушения на его жизнь. В недавно напечатанной статье гр. С.Д. Шереметева “От Углича к морю Студеному” (Старина и Новизна. СПб., 1904. Кн. 7), дается понять, что именно к морю Студеному могли увести царевича из Углича.

Трудно сказать, чтобы какое-нибудь из приведенных мнений было научно доказано. Нельзя утверждать, что самозванцем был Отрепьев; но нельзя также утверждать, что Отрепьев им не мог быть. Нельзя быть уверенным, что царевич Димитрий не мог спастись от ранней смерти; но трудно поверить, что его действительно спасли в 1591 году. Так как истина от нас пока сокрыта, то правильнее будет не решать категорически вопроса о происхождении самозванца, а отметить в этом вопросе лишь те частности, которые можно считать разъясненными.

Прежде всего, недавно разъяснено с достоверностью, что самозванец был не только русский человек, но русский именно московского происхождения. В 1898 году о. Пирлинг нашел и фототипически издал собственноручное письмо самозванца папе от 24-го апреля 1604 года (“Lettre de Dmitri dit le Faux à Clément VIII publiée par le P. Pierling S.J.”. Paris). Письмо это, в 60 строк, только переписано самозванцем с польского оригинала, составленного каким-то польским стилистом. И вот исследование этого письма, произведенное сведущими людьми (С.Л. Пташицким и И.А. Бодуэном-де-Куртенэ), показало, что самозванец привык писать московским письмом и потому писал польский алфавит на московский лад, что он не вполне понимал литературную поль-

скую речь, которую переписывал, что он извращал польские слова, изображая их так, как мысленно произносил их по-московски. Словом, самозванец является пред нами достоверно великороссом, мало привыкшим к польской графике и языку.

Раз это так, нельзя думать, что самозванству обучили его в Польше, а не в Москве. Мы знаем, что самозванец объявил себя раньше в частных и, прибавим, мало влиятельных кружках польского панства, а уже потом получил официальное признание и только полгода спустя после своего объявления попал в руки иезуитов. Иначе бы было дело, если бы самозванца создала польская политическая интрига. Поэтому можно с уверенностью предполагать, что самозванец был подготовлен в Москве и, разумеется, в боярских кругах. Сохранилось указание, что при первых же слухах о появлении самозванца царь Борис сказал боярам, что это – их дело. Кто именно из бояр был причастен к самозванщине, обнаружить нельзя; но в виде догадки можно сказать, что наиболее родовитая княжеская знать была здесь ни при чем, о самозванце ничего интимного не знала, в него не верила и сначала воспользовалась им для свержения династии Годуновых, а затем немедля попыталась свергнуть и самого самозванца. Не успев в этом сразу, она добилась своего менее чем через год.

Далее, тщательное изучение всех документов, касающихся кончины истинного царевича Дмитрия, убеждает в том, что он действительно умер в 1591 г. и потому легенда о его чудесном спасении, вероятно, останется навсегда легендой. Об Отрепьеве же в последние годы получилась возможность утверждать, что он не мог быть старше истинного царевича Дмитрия более чем на год, на два, иначе говоря, был его ровесником. К этому выводу приводят некоторые данные дворянских списков (“десятен”) XVI века. Установить такое наблюдение важно потому, что ранее существовало мнение, будто Григорий Отрепьев был значительно старше царевича и уже потому не мог играть его роли. Итак, всего вероятнее, что самозванец, бывший великороссом по происхождению, был подготовлен в среде враждебных Годунову московских бояр и ими был выпущен в Польшу. В своем походе на Москву он получил поддержку в среде козачества и именно козачеству был обязан военным успехом. Окончательное торжество подготовила ему политика знатнейшего московского боярства; но она же его и погубила. Польское правительство и католическое духовенство стремились воспользоваться самозванцем в своих видах; но их участие в деле вовсе не было руководящим или решающим и привело к неудаче их планов и к гибели многих поляков и католиков в московском перевороте 17-го мая 1606 года.

К истории московских земских соборов (1905)

I. Литература о земских соборах. II. Происхождение земских соборов. III. Представительство на первом земском соборе. IV. Другие формы совещаний в XVI веке. V. Начало выборного представительства в Московском государстве. VI. Роль выборного представительства в Смутное время. VII. Земские соборы Смутного времени. VIII. Собор 1613 года. IX. Земские соборы времени царя Михаила Федоровича. X. Земский собор 1648 года и Уложение. XI. Конец земских соборов и их заместители.

I.

С середины XVI до середины XVII века в Московском государстве рядом с постоянной государевою думою, действует другой совещательный орган, называемый в науке “земским собором”, а в памятниках того времени “советом всея земли”, “всею землею”, или просто “собором”. Очень давно этот “совет всея земли” стал интересовать ученых исследователей, и они пытались дать ему научное определение. Наш известный юрист, недавно умерший Б.Н. Чичерин, отнес соборы к тому типу сословных представительных собраний, который развился в средневековых европейских государствах и исчез с усилением монархического начала в конце средних веков¹. Полную параллель наших соборов с западноевропейскими сословными собраниями старался установить В.И. Сергеевич, полагавший, что и причины возникновения соборов на Руси были одинаковы с причинами, породившими сословные собрания на западе: и там и здесь народное представительство служило орудием государственного объединения. Монархическая власть в своей объединительной деятельности искала опоры себе в сословиях и созывала на совет их представителей; когда же объединение достигалось, тогда необходимость в такой опоре упразднялась, и сословные собрания исчезали из практики². Но в то вре-

¹ Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866 (Второе издание: М., 1899).

² Сергеевич В.И. Земские соборы Московского государства // Сборник государственных знаний. СПб. 1875. Т. 2.

мя, как Чичерин смотрел отрицательно на политическое значение московских соборов и думал, что они исчезли “просто вследствие внутреннего ничтожества”, проф. Сергеевич наблюдал в соборах “условия жизненности”. По его словам, “в патриотической деятельности их (то есть соборов) московские государи всегда находили поддержку всем своим благим начинаниям. Соборы всегда стояли на страже закона и безопасности государства. Если государи перестали созывать соборы, то причину этого надо искать в сторонних влияниях”. Сам г. Сергеевич это стороннее влияние приписывал московским боярам. Взгляд г. Сергеевича был принят последующими исследователями соборов, и среди них стало господствовать желание возможно полнее представить деятельность соборов и возможно яснее доказать их жизнеспособность. Первой цели думали достигнуть тем, что в изложение истории соборов включали не только действительные соборы, но и все те явления московской жизни, в которых желали видеть ту или иную форму “обращения к народу”, или же проявление “соборного начала”. Таким способом создано было понятие о соборах “неполных” и “фиктивных”, иначе говоря, о соборах, которые вовсе не были соборами. Внешняя история соборов, благодаря этому, стала запутанной и сбивчивой и не давала (например, в наиболее “полном” изложении г. Латкина)³ никакого понятия о внутреннем развитии изучаемого учреждения. Второй цели думали достигнуть тем, что доказывали активную роль соборов в строении государственного порядка и не считали возможным представлять их “чисто совещательным учреждением” при монархе. Но так как ограничительного значения соборы явно не имели, то оставалось утверждать, что их роль была велика, но точно не определима, и что в основе соборов “лежал факт, а не право”. Это утверждение редактировалось иногда и иначе, словами известного славянофила К.С. Аксакова, говорившего, что на соборах “отношения царя и народа определяются: правительству – сила власти, земле – сила мнения”⁴. Подобными формулами правовое значение соборов, конечно, не могло быть точно выяснено; но существенно важная роль соборов в жизни государства все-таки была показана.

Новый период в изучении наших соборов настал тогда, когда появились труды М.Ф. Владимирского-Буданова (“Обзор истории русского права”) и В.О. Ключевского (“Состав представительства

³ Латкин В. Земские соборы древней Руси. СПб., 1885.

⁴ Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877. Т. 1. С. 336 и след.; Аксаков К.С. Полн. собр. соч. М. 1861. Т. 1. С. 150, 296 (по второму изданию: М., 1889. С. 147, 283).

на земских соборах древней Руси”)⁵. Первый из этих ученых с чрезвычайной точностью и ясностью мысли подверг критике выводы своих предшественников в изучении соборов, дал правильное определение самого понятия о земском соборе, бросил новый свет на обстоятельства происхождения и прекращения соборной практики, представил впервые строго научный обзор деятельности соборов и их компетенции, – словом, дал прекрасный очерк изучаемого учреждения, отвечающий всем требованиям ученой критики. Немногим позже В.О. Ключевский поставил заново вопрос о составе представительства на земских соборах и пришел к выводу, что в XVI веке московская жизнь не знала еще выборного представительства в тех формах, в каких мы его себе теперь представляем. На соборах XVI в. “из городов выбор” мог и не означать выбранных местными обществами представителей; состав представителей определялся самим московским правительством, которое звало на совещание тех провинциальных людей, которых оно само знало и считало способными судить о местных нуждах и взглядах, хотя никто их к тому и не выбирал и не уполномочивал. Мысль о выборном сословном представителе, уполномоченном представлять на соборе нужды и желания своих избирателей, выработалась среди Смуты, в начале XVII в., и соборы при государях новой династии сложились уже по иному типу. Этот вывод В.О. Ключевского, принятый затем и проф. Владимирским-Будановым, открыл смысл внутреннего развития в жизни соборов. В истории соборов обнаружено было известное движение, и старый взгляд, что соборы не пережили своей зачаточной фазы, был окончательно осужден.

Предлагаемая статья имеет свою цель, воспользовавшись накопившимся в нашей науке материалом, представить в возможно кратком очерке изложение того, как возникли соборы, какие внутренние перемены в них произошли за время их столетнего существования и какие причины повели к прекращению соборов. Краткий очерк внутренней истории соборов имеет в виду познакомить читателя с самым существенным и любопытным в жизни изучаемого учреждения – с внутренним ростом соборной практики и с обстоятельствами ее падения.

⁵ Первые два издания Обзора проф. Владимирского-Буданова появились в 80-х годах, третье – в 1900 году. Статьи проф. Ключевского напечатаны в “Русской Мысли” 1890 г. (январь), 1891 г. (январь) и 1892 г. (январь). Они, к сожалению, не окончены; некоторым продолжением их могут служить страницы 377–379 третьего издания книги г-на Ключевского “Боярская дума древней Руси” (М., 1902).

II

Для того, чтобы отличить земский собор от иного рода собраний или скопищ, надобно помнить, что собор слагался из трех необходимых составных частей. Во-первых, в состав “совета всея земли” входил *освященный собор* русской церкви с митрополитом, позднее патриархом во главе; освященный собор имел свое собственное устройство и включался в собор земский как отдельная его часть, действовавшая по своим привычным правилам и подававшая свой голос особо от прочих групп соборных участников. Во-вторых, в состав земского собора включалась *Боярская дума*, составлявшая постоянный совет государя и сохранявшая в составе собора свое обычное устройство, свою “старину и пошлину”. Действовавшая обыкновенно нераздельно с монархом, Дума участвовала с ним в занятиях собора в качестве руководящего органа, не смешиваясь с массою собора, а как бы возвышаясь над нею. И, в-третьих, в состав земского собора входили *земские люди*, представлявшие собою различные группы населения и различные местности государства. Присутствие этих земских представителей было необходимо для того, чтобы освященный собор и Дума, составлявшие вместе высший правительственный совет, могли превратиться в “совет всея земли”. Без земских людей “собор” из духовенства и бояр не представлял собою “всю землю” и так не назывался; равным образом, если в каком-либо совещании отсутствовала Дума или освященный собор, то совещание это – не “земский собор”, а нечто другое, чему надо сыскать другое имя. Словом, наличность всех трех указанных составных частей есть необходимое условие для земского собора; “отсутствие одной из них делает собор не неполным, а невозможным” (слова проф. Владимирского-Буданова).

Соединение в одном совещании Думы и духовного собора было исконным древнерусским обычаем. Во всех важных случаях государственной практики и церковной жизни государь с своим “синклитом” и митрополит (позже – патриарх) “со властями” (так назывались иерархи) сходились вместе и сообща обсуждали предлежащее дело. Вопрос о времени происхождения земских соборов есть в сущности вопрос о том, когда именно к экстренным совещаниям “властей” и бояр стали призываться новые советники – “всяких чинов люди”, взятые из среды управляемого общества. Так поставленный вопрос избавляет нас от необходимости рассуждать о том, были ли земские соборы продолжением и заменою веча, или не были. Все серьезнейшие исследователи сошлись на одном мнении, что между вечем и собором нет непосредственного реального преемства. Шум вечевых собраний затих на Руси

раньше, чем созрел и окончательно сложился тот политический порядок, которого плодом и выражением были земские соборы. Вместо того, чтобы выслеживать пережитки вечевых традиций в позднейшую пору московских порядков, основательнее будет посмотреть, не было ли в древнейшие времена чего-либо напоминающего земский собор, то есть совещаний княжеских бояр и церковных властей с представителями земщины. Если бы мы нашли такие совещания, то для нас были бы обнаружены родоначальники изучаемых нами соборов, и нам стало бы понятно, что соборы идут не от вечевых традиций, а от иной формы княжеского народосоветия.

Мы не будем долго останавливаться на известии летописи под 1096 годом о том, что князья, враждовавшие с Ольгом Святославичем, звали его на мир такими словами: “Поиди Киеву, да поряд положим о Русьстей земли пред епископы и пред игумены и пред мужи отец наших и пред людми градскими”. В этом перечне нельзя, конечно, видеть ни веча, ни земского собора. Ученые согласны в том, что это – совещание “властей” и Думы, к которому предполагалось привлечь “градских людей”, то есть тех “старейшин”, которые тогда постоянно призывались в княжеские совещания. Интересно здесь, однако, установить, что и в эпоху вечевых собраний существовали такие независимые от веча формы совещаний, в которых правительственный элемент сходил с земским. Для нас гораздо важнее известие московских летописных сводов под 1211 г. о том, как великий князь Всеволод укрепил за своим вторым сыном Юрием, мимо старшего сына Константина, город Владимир. “Князь великий Всеволод, – говорит летописец, – созва всех бояр своих с городов и с волостей и епископа Иоана и игумены и попы и купцы и дворяны и вси люди, и да сыну своему Юрю Володимерь по себе”. На первый взгляд, здесь действует прямой земский собор: и бояре, и “власти”, и “вси люди”, причем на совет созваны даже лица “с городов и волостей”. И.Е. Забелин, поддаваясь первому впечатлению, написал прямо: “был созван земский собор, первый по времени (1211 г.)”⁶. Но свойства приведенного известия таковы, что заставляют быть осторожными в выводе. Прежде всего, не во всех летописях дело изложено одинаково: есть рассказ о данном деле, по которому передача Владимира Юрию была решена по совету одних бояр и епископа. На основании этого последнего рассказа проф. Ключевский склонен думать, что при Всеволоде не было “всесловного собо-

⁶ Забелин И.Е. Взгляд на развитие московского единогодержавия // Исторический вестник. 1881. Февраль. С. 256–267.

ра или земского веча, ни законодательного, ни совещательного”⁷. На это можно было бы заметить, что в двух летописных рассказах переданы два разных момента дела: сначала с епископом и боярами князь выработал решение (“много советоваша о сем”); затем на общем соборе это решение получило окончательную санкцию (“да сыну своему Юрью”). Но в известии о соборе все-таки есть нечто сомнительное. Оно слишком исключительно для данной эпохи, слишком одиноко: в летописном материале удельного периода не встречается известий, с ним однородных. Невольно является мысль, не перенес ли редактор данного летописного свода в изображаемую эпоху черт своего времени? Он работал в начале XVI века, если не в конце XV: в его пору скорее, чем в XIII веке, могли существовать совещания, подобные тому, какое он изобразил в 1211 году⁸. Мы знаем, что в 1471 году, пред походом на Новгород, Иван III “разосла по всю братю свою и по *все* епископы земли своя, и по князи и по бояря свои и по воеводы, и по *вся* воя своя, и якоже вси снидошася к нему, тогда всем возвещает мысль свою, что ити на Новгород ратию... И *мыслившие* о том *не мало* и конечное положыша упование на Господа Бога. И князь великий прием благословение от митрополита... и от *все*го священнаго собора и начат вооружатися ити на них; такоже и братиа его, и вси князи его и бояря, и воеводы и *вся* воя его”. В этих словах пред нами рисуется картина многолюдного совещания. В нем участвует “весь священный собор”, затем Дума (“князи и бояря”) и, сверх того, “воеводы и вся воя”, то есть та служилая среда, которая не входила в состав постоянного государева совета. Если даже не верить рассказу о соборе 1211 г. и считать, что он редактирован летописцем позднейшим, то рассказ о 1471 годе заставляет нас поверить тому, что в XV веке Московская Русь знала уже форму народосоветия, близкую к нашему определению земского собора. Правда, земские люди на совете 1471 года представлены только воеводами и “воями”, то есть одними служилыми людьми; но мы увидим, что таково или почти таково было представительство и на первых, точно нам известных, земских соборах XVI столетия. Таков был земский элемент и на знаменитом Стоглавом соборе 1551 года, где вместе с духовными отцами сидели “князи и бояре и воины”. Царь Иван Васильевич, обращаясь к участникам

⁷ Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. 3-е изд. М., 1902. С. 46.

⁸ В этом известии Воскресенского и лицевого Никоновского сводов сомнительно для XIII века упоминание “дворян” после “купцов”. Термин “дворяне”, обычный в московское время, редко встречается в летописях более ранних эпох; но и в них он означает княжеских слуг, упоминания о которых мы ждали бы прежде упоминания о купцах.

этого собора, взывал не к одному духовенству: “весь священный собор, – говорит он, – и иноцы и прочии вси Божии молебницы, такоже и братия моя вси любимии мои князи, и боляре и воины, и все православное христианство, помогайте ми и пособствуйте вси единомудно вкупе!” Присутствие на Стоглавом соборе светских чинов, и, по-видимому, не одних думных, заставило такого осторожного исследователя, каков был покойный проф. И.Н. Жданов, признать этот собор “церковно-земским”⁹. К тому же заключению ведет и программа занятий Стоглавого собора, выходящая из сферы собственно церковных вопросов в область государственно-земскую.

Представленные здесь примеры правительственных собраний, в состав которых входили, сверх обычных освященного собора и Боярской думы, еще советники из управляемого общества, показывают нам, где нам надобно искать предшественников земских соборов. Ими были не веча, а соединенные собрания “властей” и бояр с участием в них приглашенных со стороны посторонних лиц. Если бы удалось показать, что эти посторонние лица были из разных общественных классов и почитались за представителей “всей земли”, можно было бы говорить, что мы знаем земские соборы еще в XV веке, и что их возникновение, пожалуй, позволительно возводить и на два века далее, в самое начало удельной поры. Но в том-то и дело, что представительный элемент в рассмотренных собраниях слишком неопределен и случаен. Поэтому никто из ученых и не решается начать историю земских соборов ранее XVI столетия. Рассматривая же более ранние примеры совещаний широкого состава, ученые (И.Н. Жданов и В.О. Ключевский) подмечают, что доминирующее в них положение занимает освященный собор, и потому ставят вопрос: “Не имел ли влияния, как пример и образец, на зарождение мысли о земском соборе и на самую его организацию совет иерархов?” “Это влияние более чем вероятно, – говорит В.О. Ключевский, – только трудно определить его степень и указать его следы”. “Земский собор, – говорит И.Н. Жданов, – появляется в Московском государстве как будто незаметно; учреждение это вырастает на одном стволу с собором церковным”¹⁰. Ход мысли наших исследователей, оче-

⁹ Об излагаемых известиях см.: *Дьяконов М.А.* Несколько слов по поводу нового историко-юридического исследования // *Северный вестник*. 1885. № 3. С. 173–185 и *Жданов И.Н.* Церковно-земский собор 1551 года // *Исторический вестник*. 1880. Февраль. (Перепечатано: Сочинения И.Н. Жданова. СПб., 1904. Т. 1).

¹⁰ *Ключевский В.О.* Состав представительства на земских соборах // *Русская мысль*. 1892. № 1. Библиографический отдел. С. 143; *Жданов И.Н.* Церковно-земский собор 1551 года. С. 302; Сочинения И.Н. Жданова. Т. 1. С. 368.

видно, таков. Освященный собор у нас с глубокой древности был благоустроенным, канонически определенным, учреждением. Не раз соборы иерархов призывались самою жизнью к обсуждению государственных вопросов и получали государственное значение. Сходясь в таких случаях с “властями” в один совет, светские советники государя, его Дума, уступали “властям” первое место и подпадали действию тех порядков, какими был давно крепок собор “властей”. Так сложился тип совместных совещаний “властей” и Думы – под влиянием освященного собора. Дальнейшим развитием этих совещаний было призвание в них людей из общества, превратившее эти совещания в земский собор.

Таков наиболее вероятный генезис земских соборов. Соборы не возникли внезапно, под давлением экстренных событий или под влиянием творческой политической мысли; они развились постепенно из давнишней правительственной практики, из старого обычая усиливать государев совет советниками из “всех людей”.

III

Поэтому-то земские соборы в Московском государстве и появились “как будто незаметно” (по выражению проф. Жданова). Первый земский собор, от которого дошел до нас документ с точными сведениями о составе собора и его предмете, был собор 1566 года. Состав его, как увидим, весьма близок к составу тех совещаний, которые мы только что наблюдали, и весьма мало походит на позднейшие, более благоустроенные земские соборы XVII столетия. По типу своему этот земский собор есть нечто промежуточное между старым совещанием широкого состава и представительным собранием позднейшим.

Однако нам могут заметить, что, начиная нашу речь о соборах собором 1566 года, мы забываем знаменитый “собор” 1550 года, на котором Грозный искал примирения между “землей” и боярами, собрав “свое государство из городов всякого чину” и лично обещав народу правый суд и оборону. Именно этим собором прежде и начинали историю земских соборов на Руси. В особых обстоятельствах созвания этого собора искали объяснения причин возникновения соборов вообще. Верховная власть искала будто бы в земском представительстве опоры против боярства с его бюрократическими злоупотреблениями. Приведенная Карамзиным речь Грозного, произнесенная земскому собору на Красной площади с Лобного места, в сени хоругвей, в окружении духовенства и бояр, легла в основание яркой психологической характеристики

Грозного, данной славянофилами. Вообще момент первого обращения царя к народу в 1550 году признавался столь важным и знаменательным, что даже попал в учебники. Тем досаднее необходимость разоблачить истину. Рассказ об обращении царя к народу на Лобном месте находится всего в одной лишь рукописи, в так называемой Степенной книге Андрея Хруцова, и составляет в ней позднейшую вставку, сочиненную в конце XVII века или начале XVIII-го, на основании некоторых литературных пособий. Это – вымысел, которому нельзя верить, потому что он произволен и даже не всегда искусен. Если тщательно разобраться в обстоятельствах дела¹¹, то следует прийти к заключению, что в 1550 году не было никакого особого собора по делу примирения бояр с “землей” и никакой речи на Красной площади к людям “из городов всякого чину”. Гражданские реформы, которыми был занят тогда Грозный и о которых он говорил Стоглавому собору, были обсуждаемы и решаемы на совещаниях старого порядка с “властями”, боярами и “воинами”. Деятельность этих совещаний хорошо освещена в талантливых статьях покойного проф. Жданова, который, не зная еще о подложности рассказа Хруцовой книги, тем не менее ставил знаменитую речь Грозного народу в ряд второстепенных и несущественных эпизодов преобразовательной деятельности Грозного, и писал еще четверть века назад: “До 1566 года мы не встречаем указаний на созвание земского собора”.

Итак, первый достоверный земский собор – это собор 1566 года. От него до нас дошел “приговорный список” с именами участников собора и с изложением соборных мнений и, кроме того, летописная запись о соборном приговоре. Сопоставление обоих документов ведет к точным заключениям о составе собора и его деятельности¹². Созван был собор для того, чтобы обсудить желательные и возможные условия мира с королем Сигизмундом-Августом. В состав собора вошел освященный собор без митрополита (“а митрополита у того приговора не было, что Офонасей митрополит в то время митрополию оставил”); духовные отцы этого собора подали особое от других чинов мнение “все соборне” и подписали соборный приговор, архиереи же сверх того приложили свои печати к приговору. Затем в состав собора вошла государева Дума (“все бояре”), в коей сверх боярских чинов поименованы государевы казначеи и дьяки. От бояр последовало

¹¹ Это сделано в статье П.Г. Васенко “Хруцовский список Степенной книги” (ЖМНП. 1903. Апрель).

¹² СГД. Ч. 1. № 192; РИБ. Т. 3. С. 277–278.

также особое по делу мнение. Далее в составе собора поименованы: “дворяне первая статья” (97 человек), “дворяне и дети боярские другие статьи” (99 человек), “торопецкие и луцкие помещики” (9 человек служилых людей из Торопца и Великих Лук), “диаки и приказные люди” (33 человека). Все эти группы можно рассматривать как представителей служилого класса. Наконец, на соборе были “гости и купцы и смолянне” (всего 75 человек), о которых летопись дважды выражается: “гости и купцы и *все торговые люди*”. В этой группе надлежит видеть представителей торгово-промышленного класса, ставшего наверху “тяглых”, то есть податных слоев московского населения. Если бы этой последней группы не значилось в числе участников собора, мы имели бы полное основание отнести собор к числу совещаний старого типа, в которых к “властям” и Думе присоединялись одни “воины”, то есть служилые люди. Только участие в совете нового элемента, “всех торговых людей”, выделяет этот совет из ряда предшествующих совещаний XV–XVI веков. Тем более близок собор 1566 года к старым соборам, что на нем мы не видим *выборного* представительства: нет ни малейшего намека на то, что земские представители явились на собор в силу общественного выбора. Самые обстоятельства той минуты, когда был созван собор, косвенно указывают на то, что как будто и не было времени требовать и ждать выборных от провинций. Собор собрался для обсуждения обстоятельств, которые выяснились в переговорах с литовскими послами, прибывшими в Москву. Переговоры происходили 17–25-го июня; собор состоялся 28-го июня; его приговор был составлен 2-го июля; приговоры с послами продолжались с 5-го июля¹³. В такие промежутки времени нельзя было и думать о созыве выборных из разных мест государства. Очевидно, на собор были призваны в качестве земских представителей только те дворяне и торговые люди, которые были, так сказать, под рукою, в самой Москве.

Однако если на соборе не было выборного представительства, все-таки нельзя считать состав собора случайным. Ведь было же какое-нибудь основание, по которому изо всей массы служилого

¹³ Сборник РИО. СПб., 1892. Т. 71. С. 336 и след. (Посольство панов Хоткевича и Тишкевича). Послы приехали в Москву 30-го мая (с. 316); переговоры начались 9-го июня (с. 353), но получили деловой характер не ранее 17-го июня, когда бояре с государем приговорили вести дело не к вечному миру, а к перемирию (с. 377 и 380). Именно о возможных условиях этого перемирия и шла речь на земском соборе, как это видно из боярского ответа на собор. См.: Ключков М. Дворянское представительство на земском соборе 1566 г. // Вестник права. 1904. Ноябрь. Автор не совсем точно указывает на перерыв переговоров до 12-го июля.

люда, бывшего в Москве, на собор позвали с небольшим двести человек, а из торгово-промышленного населения Москвы всего 75 человек. Такое основание обнаружено и указано проф. Ключевским. Не прибегая к выборному началу в устройстве представительства, московское правительство все же желало слышать голос “всех земель”, и само позвало на собор советников с таким расчетом, чтобы они могли представлять собою различные местности страны и разные слои населения. В.О. Ключевский приходит к догадке, что “дворянских представителей подбирали на собор, между прочим, по их местному значению, по их положению среди служилых землевладельцев тех уездов, где находились их вотчины или поместья и к которым они или их отцы были приписаны по службе (ранее перевода на службу в самую Москву)”. Иначе говоря, человека, служившего в Москве, звали на собор не просто, а потому, что он имел ту или иную связь с какою-либо областью и мог за нее представлять на соборе. Равным образом из торгово-промышленного класса были позваны на собор, по словам В.О. Ключевского, “сосредоточенные в столице местные капиталисты”; но это высшее столичное купечество, собранное в Москву со всей страны, представляло на соборе все низшие слои своего класса, и московские, и провинциальные, почему летопись и называет его “всеми торговыми людьми”. Мы не будем останавливаться на изложении того метода, которым проф. Ключевский пришел к своему ценному выводу, но отметим, что этот вывод дает нам новую точку зрения на собор 1566 года. Прежде этот собор считался неполным в том смысле, что на нем была представлена не вся земля, а столица да два-три провинциальных города; зато бывшие на соборе представители считались выборными, каждый от своего чина и места. Теперь мы отрицаем присутствие выборного начала на этом соборе, но признаем, что призванные на собор общественные представители были подобраны так, что представляли собою в глазах правительства целые десятки уездов и городов и все важнейшие “чины” свободного населения государства. Поэтому собор и может почитаться “земским”, представляющим собою “всю землю”. Только в соборном представителе надлежит видеть, по выражению г. Ключевского, “не столько уполномоченного какой-либо сословной или местной корпорации, сколько призванного правительством от такой корпорации”. “Собор 1566 г., – продолжает г. Ключевский, – был в точном смысле совещанием правительства с своими собственными агентами”. В этом отношении, прибавим мы, собор 1566 года совершенно походил на старые совещания XV–XVI вв., на которых являлись в качестве экстренных советников предста-

вители местной администрации. Отличался же собор 1566 года от старых совещаний тем, что имел общеземский характер. Впервые мы видим на нем опыт представительства – хотя бы и своеобразный опыт – за всю страну и за все классы свободного населения. В этом-то и заключается важное значение собора 1566 г. в истории земских соборов.

IV

Других соборов такого же состава, как собор 1566 года, мы в царствование Грозного более не видим. Зато можем указать, что старая форма совещаний “властей” с “синклитом” не была забыта. Собор о церковных и монастырских вотчинах 1580 года имел именно такую форму. С царем Иваном и с царевичем Иваном митрополит Антоний “со всем освященным собором и со всем царским синклитом” уложили свой приговор по делу. Такое же соединение высших учреждений, собора и синклита, произошло тотчас после смерти Грозного, когда его преемник царь Феодор и митрополит Дионисий 28-го июля 1584 г. уложили, “чтоб вперед тарханом не быти”¹⁴. Для нас важно отметить, что вековой обычай “сместных” заседаний “властей” и бояр по важнейшим государственным и церковным делам не был вытеснен из жизни новой формой земского собора. Мы увидим, что в XVII веке значение этого векового обычая как бы воскресло с новой силою, и после 1653 г. соборы “властей” и бояр заменили собою вышедшие из обычая земские соборы.

С другой стороны, нам важно отметить в эпоху Грозного существование еще одного типа совещаний, примененного при обсуждении вопроса о лучшем способе обороны южной границы государства от набегов татар. Известно, что все лето 1570 года татары беспокоили южную московскую Украину, и отношения Москвы и Крыма испортились. Под влиянием татарских угроз московское правительство поставило себе задачу “поустроить станицы и сторожи”, то есть привести в порядок и улучшить ту сеть сторожевых разъездов и неподвижных наблюдательных постов, которая давно была раскинута на южной Украине государства и оказывалась теперь не вполне состоятельной. Дело было поручено боярину князю М.И. Воротынскому. В начале января 1571 года он потребовал себе “прежние списки” сторожевых постов и разъездов и распорядился вызвать из южных городов в Москву опытных в сторожевой службе лиц, “которые преж сего

¹⁴ СГГД. Ч. 1. № 200 и № 202. “Тарханы” – льготы, принадлежавшие крупным землевладельцам в сфере податей и повинностей.

езживали (сторожить по украине) лет за десять или за пятнадцать”. Эти лица, “из всех украинских городов дети боярские, станичники и сторожи и вожи, в генваре, а иные в феврале к Москве все съехались”. О них было доложено государю, и он велел Воротынскому их “распросити” и с ними составить новый план сторожевой охраны границ. В исполнение этого приказа Воротынский “с детьми боярскими с станичными головами и с станичники и с вожи (то есть с проводниками)” в феврале 1571 года постановил ряд “приговоров”, определявших новый порядок сторожевой службы, места расположения наблюдательных пунктов (“сторож”) и маршруты сторожевых разъездов (“станци”). Возникавшие при этой технической работе административные вопросы передавались Боярской думе, которая и разрешала их своими “приговорами”¹⁵. Таким порядком выработан был целый свод правил украинной службы, целесообразность которых была оправдана дальнейшим ходом событий на украине. В этой любопытной комиссии знатоков пограничных мест и сторожевой службы мы имеем пример обращения правительства к сведущим людям за техническими сведениями и советом в деле их специальности. Сведущие люди, призванные в Москву, действуют под руководством боярина и находятся в ближайшем ведении Боярской думы. Попадают они в состав комиссии по выбору и указанию правительства, а не вследствие полномочий от местных корпораций.

Итак, рядом с новою формою народосоветия, земским собором, в XVI веке существовали старые “соборы” духовных властей с боярами и комиссии сведущих людей при Боярской думе. Все эти три вида совещаний перешли и в XVII век. Ни в одном из них практика XVI столетия не выработала выборного представительства, и участники этих совещаний приходили на совет не уполномоченные теми земскими мирами, которые они иногда представляли в глазах призвавшего их правительства.

Начало выборного представительства стало применяться в московском обществе только на рубеже XVI и XVII веков, а первые его твердые опыты заставило произвести Смутное время.

V

Первых представителей по выбору местных обществ проф. Ключевский видит на земском соборе 1598 года, избравшем в цари Бориса Годунова. Состав этого собора г. Ключевский признает однородным с составом собора 1566 года по основанию

¹⁵ Документы, относящиеся к этому делу, изданы в “Актах Московского государства” (СПб., 1890. Т. 1. № 1–14).

представительства и значению представителей, в огромном большинстве призванных, а не избранных на собор. Но в массе представителей, явившихся на собор в силу своего должностного положения во главе служебных или торгово-промышленных организаций, г. Ключевский различает группу дворян, названных в перечне соборных участников общим наименованием “из городов выбор”. Их всего 34. Слово “выбор” в приложении к служилым людям тогда могло значить не “выборные от городского дворянства”, а “отборные из состава городских дворян”. Некоторое число таких “отборных” дворян призывалось в то время из городов на постоянную столичную службу на срок до трех лет. Именно такие “отборные”, а не выборные и могли разумеется в соборном списке. Однако проф. Ключевский рядом соображений приводит читателя к выводу, что эти 34 человека “были выборные депутаты провинциального дворянства, а не провинциальные дворяне выборного чина, прямо призванные на собор по должностному положению, какое они занимали в минуту призыва. Можно признать этот вывод за правильный, и тогда можно повторить за г. Ключевским, что “присутствие выборных представителей впервые становится заметно на последнем земском соборе XVI века, и первым классом, которому досталось такое представительство, было провинциальное дворянство”. Но можно и усомниться в том, что в Москве в 1598 году, составляя собор из 500 человек по старому принципу должностного представительства, предоставили новое право быть выборными представителями всего трем десяткам провинциальных дворян. В случае такого сомнения придется отодвинуть возникновение выборного представительства у дворян всего на семь лет позднее. Интерес, какой для нас представляет в настоящую минуту собор 1598 года, заключается не в этом вопросе о порядке представительства, а в том, что исследование В.О. Ключевского окончательно установило правильность организации земского собора 1598 года. В прежнее время историки (И.Д. Беляев, Н.И. Костомаров) с легким сердцем объявляли этот собор игрушкой в руках Бориса и недостойною комедией; теперь г. Ключевский доказал, что “в составе избирательного собора нельзя подметить никакого следа выборной агитации или какой-либо подтасовки членов”. Если верить современным сообщениям о такой агитации, то надо вместе с г. Ключевским сказать, что “подстроен был ход дела, а не состав собора”. Из недавно обнаруженных материалов, польских и немецких по преимуществу, относящихся к избранию Бориса, стало хорошо видно, кто и как хотел влиять на ход дела в 1598 году. Борьба за престол шла тогда главным образом между Борисом Годуновым и Федором Ники-

тичем Романовым, и обе стороны одинаково упорно стремились к власти и победе; однако нет ни одного указания на то, чтобы кто-нибудь из них пытался нарушить законную форму собора¹⁶. Собор составлен был так, как указывала традиция, по тому типу, какой был дан собором 1566 года, и с значительной полнотою представительства, причем на собор прошла в большом числе московская знать, чуждая и враждебная Борису, и в незначительном количестве та общественная среда, в которой Борис имел популярность и которую поляки означали одним словом “поспольство” (простонародье) в противоположность панству (боярству). Собор по характеру представительства был аристократическим и столичным; такой его состав, судя отвлеченно, следует признать мало благоприятным для Бориса, и во всяком случае, менее благоприятным для него, чем для Романовых. Правильно составленный земский собор с формальной стороны совершенно правильно отдал венец Борису не потому, что был подтасован в своем составе, а потому, что был приведен к убеждению в необходимости так поступить. Возможна различная оценка политики собора, но невозможно сомнение в ее правомерности и в правильности самого собора. А это очень важно для моральной оценки изучаемого нами учреждения.

Кончая свою речь о соборах XVII века, В.О. Ключевский осторожно замечает, что “в составе соборов XVI в. мало заметен выборный элемент, если только он присутствовал”. Первое прямое указание на его присутствие, по мнению г. Ключевского, относится к 1605 году и читается у иностранцев, наблюдавших московские порядки при Самозванце. Здесь мы разойдемся с г. Ключевским в том, что предпочтем неопределенным указаниям иноземцев русское, и притом официальное, свидетельство 1606 года. Оно таково. При Самозванце, как известно, были оказаны большие милости поместному дворянству: дворян по городам верстали землями и оделяли деньгами “для его государева царского венца (коронации) и многолетняго здоровья”. В связи, очевидно, с этим верстаньем весною 1606 года было послано из Москвы в Деревскую пятину распоряжение: “Велено дворяном и детям боярским из Деревские пятины выбрать дворян и детей боярских к Москве с челобитными о поместном верстаньи и о денежном жалованьи и бити челом государю царю и великому князю Дмитрию Ивановичу”. Мы не знаем, состоялись ли выборы и ездили ли выборные в Москву от Деревской пятины; не

¹⁶ Обстоятельства избирательного периода 1598 г. изложены в моей книге “Очерки по истории Смуты в Московском государстве”. (СПб., 1899. Глава III. § 3).

знаем и того, были ли вызываемы выборные из других областей, и предполагалось ли их соединение в Москве в одну коллегию. Но перед нами бесспорный факт: Москва требует представителей от местного дворянского общества и указывает порядок их назначения – общественный выбор; для чего бы ни требовались эти лица в Москву, они – выборные представители своего класса¹⁷. Вполне возможно предположение, что такое требование выборных от поместного дворянства случилось именно при Самозванце по той причине, что двор Самозванца был под сильным влиянием литовско-польским. Как сам Самозванец, так и его друзья, получившие влияние в Москве, легко переносили на московскую почву литовско-польские понятия. Как “дума” превратилась на их языке в “раду”, а “бояре” в “сенаторов” (“ordo senatorum”), так дворянский представитель получил в их глазах вид земского посла, избираемого шляхтою в поветах и воеводствах для посылки от местного сеймика на государственный сейм. Как шляхта из своей среды *выбирала* “людей бачных и ростропных” (рассудительных и благоразумных), так и дворяне должны были *выбрать* своих представителей для посылки в Москву. Разумеется, это лишь догадка; но она позволительна потому, что освещает нам несколько тот круг понятий и идей, в котором легче всего могла оформиться мысль о выборном порядке служилого представительства в Московском государстве¹⁸. Что касается до выборного представительства московских тяглых классов, то вряд ли оно нуждалось в примере Речи Посполитой. Выборное начало издавна процветало в общественной жизни московских податных общин. Можно не сомневаться, что присутствовавшие на соборе 1598 г. старосты и сотские купеческих и черных сотен были мирские выборные люди; но они были избраны не для собора, а для ведения хозяйственно-податных дел своих сотен; на собор же они попали, вероятно, по своим должностям, а не по особому мирскому полномочию. В Смутное время, вынужденные к самостоятельности политической безурядицею, тяглые общины сами перенесли выборное начало из хозяйственной в политическую сферу и создали представительство, которым и воспользовалась позднее государственная власть.

¹⁷ Аю. СПб., 1838. № 365. *Платонов С.Ф.* Очерки по истории Смуты... Глава IV. § 2 и примеч. 101.

¹⁸ Выбираемые в XVI веке дворянами в уездах “окладчики” не кажутся нам представителями корпорации; это эксперты, необходимые администрации для точного учета служебных сил уезда, и только.

VI

Переходим к поворотному моменту в истории московских земских соборов – к Смутному времени.

В Смутное время мы видим следующие земские соборы: собор старого типа, созданный в июне 1605 года для суда над Шуйскими и нам очень мало известный; избирательный собор 1610 года, важный потому, что его хотели образовать по новому началу выборного представительства, “сослався с городами”; собрание ратных уполномоченных в подмосковном лагере 1611 г., почитавшее само себя за “совет всея земли”; собор в нижегородском ополчении 1612 г. и, наконец, избирательный собор 1613 года. Из этих пяти соборов нет нужды говорить о первом, повторившем, по-видимому, образцы XVI века; беседе же об остальных необходимо предпослать некоторые предварительные замечания. Они помогут нам уяснить себе, каким образом в течение немногих лет практика представительства в стране могла сделать столь значительные шаги вперед и на соборе 1613 г. явилась уже с большим развитием.

Податное самоуправление “тяглых” общин в Московской Руси было “исконивечным” явлением. Князь налагал на общину общую сумму податных платежей; разнести эту сумму по частям на отдельные податные хозяйства было делом самой общины. Из этого дела вытекала необходимость известного мирского устройства, такого, которое бы позволило распределить податное бремя равномерно на всех членов общины и собрать вовремя податные взносы от отдельных плательщиков. Делалось это посредством выборных “земских старост”, ведших мирское хозяйство. В середине XVI века правительство Грозного нашло возможным передать местным податным мирам все функции местного управления: и полицию, и суд, и финансы; если община просила о даровании ей самоуправления, правительство уже не назначало в данную местность своего наместника, а разрешало местному населению самому избрать из своей среды административный штат и самому ведать как податные дела, так и суд, и администрацию в своей волости. Размеры самоуправлявшихся волостей бывали иногда очень велики. Так, Важская “земля”, или Важский уезд, получивши в 1552 году право самоуправления, охватывал бассейн р. Ваги, большого притока Северной Двины. Этот старый “уезд” соответствовал двум нынешним – Шенкурскому и Вельскому, и делился тогда на семь станов. Делаясь в таком составе округом самоуправления, Вага получала право избрать две коллегии уполномоченных “о всяких делах земских управа чинить” – одну для Шенкурской, другую для Вельской половины уезда. Понятно, что

каждый член такой коллегии являлся в ней как бы представителем той части уезда (посада, стана, волости), которая его выбрала и уполномочила. Круг дел таких коллегий был очень широк, и “излюбленные головы”, “судейки” и “старосты” иногда превращались в местное представительное собрание не только по текущим делам, но и по делам особым. Так, в XVII веке нам известен случай, когда в городе Устюге собрались из уезда всех волостей выборные люди и составили челобитье государю о том, чтобы отделить их крестьянское самоуправление от городского и учредить всеуездную земскую избу отдельно от посадской избы города Устюга. Их челобитье было удовлетворено, несмотря на противодействие горожан. Если мы будем помнить, что такого рода земские учреждения существовали на всем московском севере и не только в черных (государственных) тяглых общинах, но и на частновладельческих землях, монастырских и боярских, – то мы поймем, что выборное начало было хорошо известно московскому обществу. Нельзя поэтому удивляться той роли, какую стали себе усваивать земские организации московского севера в Смутное время. Царь Василий Шуйский, растеряв в борьбе с Тушинским вором свои обычные воинские средства, стал искать экстренных, и, между прочим, стал возбуждать к деятельности северное население, прося его своими силами отстаивать свои места от тушинцев, а если будет возможно, то идти через Ярославль на помощь Москве. Здесь ясен расчет на действие местных организаций; но еще яснее сказанся этот расчет в мероприятиях князя М.В. Скопина-Шуйского, посланного царем Василием в Новгород за войском. Из Новгорода, через Каргополь и еще чаще через Вологду, Скопин входил в сношения с северными тяглыми мирами от Перми до Соловков, посылал туда своих агентов, давал руководящие указания и объединял деятельность городских и волостных миров, направляя ее к освобождению Москвы от Тушина. Север воодушевился. Из многих мест земские рати, собранные и снабженные тяглыми общинами, становились под начальство излюбленных миром “голов”, служилых людей и не служилых, даже вдовых попов, и шли на юг, на бой против “воров”. За ними оставались в тылу, руководя походом и собирая новые дружины и средства для борьбы, мирские советы или обычного состава, из старост и “лучших людей”, или же составленные особым порядком. В Вологде, которая по многим причинам получила значение одного из главных центров земского движения, образовался совсем особенный совет. Зимой 1608–1609 года в Вологде собралось много иностранных купцов и “все лучшие люди, московские гости”; они ехали с товарами и казною из Архангельска в Москву и, не попав туда по причине

смут и осады Москвы тушинцами, зазимовали в Вологде. Узнав об этом, царь Василий приказал вологодским воеводам привлечь к делу обороны Вологды этих иноземцев и гостей: выборные от них должны были участвовать в руководстве военными действиями “с головами и ратными людьми в думе за один”.

В одной “думе”, стало быть, сошлись представители разных слоев местного населения, а не одни тяглые люди местной податной общины. Двумя годами позднее, когда правительственный порядок в стране исчез вовсе и области были предоставлены самим себе, такие общесословные советы образовались по всем крупным городам Севера. Они не только ведали оборону своего города, но стремились к освобождению Москвы от врагов и вступали в письменные сношения с другими городскими мирами с целью достичь общеземского согласия и устройства. Особенным красноречием отличался ярославский совет, грамоты которого, отлично написанные, свидетельствуют, что ярославский “мир” считал себя в ту минуту (1611 г.) средоточием всех северных областей. Из этих грамот, подписанных мирскими советниками, мы видим, что в ярославском совете участвовали люди всех сословий: духовенство, дворяне, посадские люди. Так было и в других городах. В Нижнем Новгороде, например, всем миром, от архимандритов и воевод до стрельцов и служилых иноземцев, снаряжали гонцов к патриарху Гермогену с “советными челобитными”. От всесословных советов в отдельных городах был один шаг до советов нескольких городов, и этот шаг был сделан. В том же 1611 году городские миры усвоили обычай посылать “для доброго совета” в другие города своих представителей. Так, знаменитый рязанский воевода Ляпунов послал в Нижний “для договора” дворянина Биркина с дьяком, дворянами и всяких чинов людьми, а в Калугу своего племянника с дворянами. Из Казани на Вятку ездили послами сын боярский, два стрельца и посадский человек. Пермь отправила двух посольщиков в Устюг “для совету о крестном целовании и о вестех”. Из Галича на Кострому “для доброго совета” прислали дворяне одного дворянина, а посадские люди одного посадского человека. Из Ярославля “от всего города” дворянин да посадский человек посланы были в Вологду. Из Владимира в Суздаль отправили “на совет” дворян и посадских “лучших” людей. Словом, посылка представителей, выбранных местными обществами, из одного города в другой стала обычаем, и соединение в одном всесословном “совете” представителей нескольких областей образовалось естественно вследствие исключительных событий Смутной эпохи. Местная самоуправляющаяся община с своей выборной “земской избою” служила как бы основой, на

которой возникал сначала всеобщий совет “всего города”, а затем совет и нескольких городов, образуемый выборными всех слоев свободного населения, именно духовенства, дворянства и тяглых людей. На этой же основе возник и выборный “совет всея земли” – в тот момент, когда советные люди из городов соединились впервые в общеземском соборе. Произошло это не сразу, но очень скоро, в 1610–1612 г.

VII

Летом 1610 года царю Василию Шуйскому, по старому выражению, был “обряд”: его лишили власти и постригли в монахи. На его место московские бояре желали избрать государя “всем за один, всю землю, сослався со всеми городами”. Из Москвы в июле 1610 г. пошли в города, даже самые дальние, грамоты с приглашением прислать к Москве “изо всех чинов выбрав по человеку” для избрания царя. В первый раз мы видим такие призывные грамоты, которые требуют выборных представителей от всех чинов для участия в соборе. Нет никакого сомнения, что тогда, помимо всяких отвлеченных соображений о выборном принципе представительства (если только они были), на выборное начало указывала вся практика северных городов за последние годы, содействовавшая освобождению Москвы от Тушина. Но исключительные обстоятельства той минуты помешали земщине воспользоваться московским приглашением, и Москва, осажденная и поляками, и Вором, не получила областных представителей. Через месяц после приглашения выборных, в августе 1610 года, Боярская дума свидетельствовала сама, что в Москву “из городов посяместа никакие люди не бывали”. Между тем земский собор был необходим боярам для того, чтобы утвердить избрание предположенного “царя” Владислава Сигизмундовича. Тогда, по-видимому, в Москве составили земский собор старым порядком: к “властям” и Думе присоединили московских дворян и людей придворных чинов, затем человек около 40 “дворян с городов, которые служат по выбору” (как было на соборе 1598 года), и, наконец, выборных от московского торгового и тяглого населения. Собор оказался, по старым понятиям, правильным и правомочным. Поэтому московские послы к Сигизмунду об избрании Владислава говорили, что Владислав избран не одними боярами, а “всеми людьми”. Они отказывались повиноваться приказам Боярской думы, потому что бояре, по словам послов, пишут к нам одни, мимо патриарха и всего освященного собора и не по совету всех людей Московского государства”. Послы же считали себя уполномоченными именно от всего земского собора: “а от одних бы бояре, – говорил князь

Голицын, – я, князь Василий, и не поехал”. Считая себя послами собора, старшие послы, правя свое посольство под Смоленском, собирали на совет к себе прочих членов соборного посольства и во вражеском лагере устраивали нечто вроде маленького “совета всея земли”, говоря литовско-польским дипломатам, что они без общего совета ничего не предпринимают и не решают. В словах и поступках соборного посольства мы впервые слышим от московских людей признание непререкаемого авторитета земского собора и свидетельство того, что в безгосударное время не бояре и даже не патриарх, а лишь “вся земля” и “совет всех людей” имеет значение верховной власти. С тех пор, говоря словами В.О. Ключевского, “о земском соборе думает каждое возникающее правительство, каждая новая политическая комбинация цепляется за него как за источник власти и необходимую опору порядка; среди общего брожения образ земского собора все ярственнее очерчивается в смущенных умах, и этот образ не похож на земский собор прежнего времени”. В 1610 г. в Москве хотели, но не могли создать выборное представительство, “сослався с города”. В 1611–1612 гг. сами “города” успели из знакомых им форм местного выборного представительства создать выборный “совет всея земли” и передать в его руки верховное руководство делами страны.

Кандидатура королевича Владислава на московский престол не удалась. Сигизмунд не принял московских условий, а московские люди не приняли его власти на иных условиях. Занятая польским гарнизоном Москва подверглась осаде со стороны земских ополчений, желавших изгнать “литву” и выбрать всю землю нового государя. Со всех сторон к Москве подходили отряды народных войск, в которых группировались три общественных слоя: во-первых, московские люди старого порядка, ранее державшиеся Шуйского, во-вторых, ратные люди, тушинцы, со смертью Тушинского вора потерявшие предводителя и программу действий, и, в-третьих, казацки скопища. Из многих вождей первого слоя выделялся Прокопий Ляпунов, второго – князь Дм.Т. Трубецкой, а третьего – Заруцкий. Когда все отряды московского войска установились под Москвою в постоянных лагерях, “таборах”, обжились и осмотрелись в исключительной обстановке осадной войны, то московские люди поняли, что им необходима какая-либо прочная организация. За осадною ратью была вся Русь, которая потеряла обычное свое правительство, плененное в Москве поляками, и которой надо было дать новые органы управления. Ратным людям мало было устроиться самим, но надо было “строить” и самую землю. После некоторых разрозненных

попыток в этом направлении названные воеводы решили общим советом обдумать ратный и земский порядок и собрали 29–30-го июня 1611 года в своем ратном стане “всю землю”. Приговор всей земли 30-го июня и дает некоторую возможность судить о том, что это был за ратный совет. Судя по тексту приговора, в состав совета вошли представители разных частей подмосковной рати, а не разных городов и уездов государства. Но так как ратные отряды представляли собою свои города и уезды, то ратный совет почитал себя представителем не одного ополчения, но всей земли, и действовал за все государство, называя себя советом всея земли и делая постановления общегосударственного характера. Он установил под Москвою новые государственные учреждения, “приказы”, административные, финансовые и судебные, и сделал ряд распоряжений по служилому землевладению и местному управлению. Эти учреждения и распоряжения упраздняли прежнее московское правительство, запертое в осажденной Москве, и отменяли все признанные неудобными, ранее действовавшие законоположения. Словом, “совет всея земли” считал себя вправе распоряжаться судьбами всей страны и видел в себе самом законного выразителя народной мысли и воли.

Однако нам нельзя видеть в этом совете нормального земского собора. Он состоял из ратных людей, большинство которых принадлежало к служилому классу и лишь некоторая часть вышла из рядов городского и уездного податного класса, пославшего под Москву свои дружины. Но эти представители городского населения могли сами не быть горожанами и “мужиками”, а всего вернее, что в огромном большинстве были тоже служилыми людьми, только “излюбленными”, то есть выбранными в “головы” к тяглым ратям тяглыми людьми. По крайней мере, нет ни одного упоминания о выборных тяглецах в составе ратного собора 1611 года, и это дает нам основание сказать, что земские представители на этом соборе если и представляли оба сословия, служилое и тяглое, сами принадлежали только к первому. О составе совета 1611 года как летопись, так и самый приговор 30-го июня выражаются так: “всякие служилые люди и дворовые и казаки”; о торговых же и черных людях они ни разу не говорят. Стало быть, представительство на совете далеко не было полным и нормальным. Кроме того, в состав “совета всея земли” не вошли ни патриарх с властями, ни Боярская дума: патриарх и бояре были затворены в Москве, в плену у польско-литовского гарнизона. Таким образом, с точки зрения нашей теории, совет 1611 года никак не мог именовать себя “всею землею” и почитаться за земский собор. Если ратное совещание и усвоило себе право

думать за всю землю и заботиться о всей земле, то, конечно, не потому, что представители рати считали себя земским собором нормального состава, а потому, что им удалось соединить в своем приговоре представителей очень многих местных всесословных советов, от которых пришли под Москву городские и волостные рати. Односословный по составу *ратный* совет отражал собою *всесословные городские миры*, действовал по их доверию, стремился обеспечить их интересы, наконец, преследовал общую народную задачу – освобождение Москвы. Чувствуя за собою общенародное доверие, а пред собою общенародную цель, совет 1611 года с уверенностью в правоте называл себя “всею землею” и законодательствовал за всю землю.

Судьба этой первой попытки всеземского единения была, однако, очень печальна. Внутренняя рознь казачества и консервативных слоев населения погубила ляпуновское ополчение. Служилые люди побежали из ополчения после того, как Ляпунов был убит казаками, и казаки остались одни в своих таборах под Москвою. В их руках оставалась правительственная организация, созданная приговором 30-го июня 1611 года; но казачьему правительству не желали повиноваться городские миры, хорошо узнавшие разрушительность казачьих инстинктов и тенденций. В городах искали нового центра и новых вождей, и когда из Нижнего Новгорода слышался призыв к новому единению, он вызвал быстрое сочувствие земщины. В Нижнем дело пошло обычным в то время порядком. Воззвания патриарха Гермогена возбудили прежде всего городскую тяглую общину Нижнего с ее выборным старостою Козьмою Мининым во главе. Решив собирать средства и людей “для московского очищения”, посадские люди передали дело в прочие слои нижегородского населения. В городском соборе протопоп Савва и Минин объявили дело всему городу, и нижегородцы всем городом поручили устройство рати и организацию похода князю Пожарскому с “товарищем” Биркиным (рязанским послом в Нижний) и дьяком Юдиным. Этот “приказ” от имени всего Нижнего тотчас же, в конце 1611 года, вступил в сношения с окрестными городами и объявил им свою программу, состоявшую в том, чтобы идти одинаково против поляков и против казаков и не повторять роковой ошибки Ляпунова, считавшего возможным союз с казачеством. От городов Пожарский просил присылки средств и людей в помощь нижегородцам. Люди требовались не только ратные: “для справки” (то есть для соглашения и устройства) и “для земского совета” Пожарский просил города и волости прислать в Нижний “дворян и детей боярских и земских лучших людей, изо всех чинов по человеку”. С самого начала дела ниже-

городцы желали иметь у себя всесословный “земский совет”, и мы знаем, что он образовался и начал действовать, распространяя свое влияние и власть на весь тот район, который присоединился к нижегородскому движению.

Так было в начале дела. Когда же, весной 1612 года, Пожарский отбил от казаков Ярославль и распространил влияние Нижнего на весь Север и Поволжье, то он сделал центром своей рати именно Ярославль, как крупнейший город всего среднего Поволжья, а в Ярославле собрал уже не местный “земский совет”, а общегосударственный земский собор. В начале апреля 1612 года из Ярославля пошла по городам грамота Пожарского и того “общего совета”, который при нем находился. В грамоте после изложения происшедших событий и усвоенной ярославским ополчением программы было приглашение поскорее прислать в Ярославль “изо всяких чинов людей человека по два и с ними совет свой отписать за своими руками”. Все государство приглашалось прислать представителей с наказами, в которых был бы совет, “как бы в нынешнее конечное разорение быти не безгосударными”. Пожарский, видимо, не спешил идти под Москву и думал в Ярославле создать общеземское правительство и избрать государя, предоставляя своим врагам под Москвою, полякам и казакам, истощать свои силы в долгой борьбе. Призыв Пожарского не остался без ответа, и в Ярославле на самом деле сформировался собор правильного состава. Интересны сведения об этом соборе, к сожалению, только косвенные и приблизительные: точных данных нет, потому что документов от практики собора 1612 г. не сохранилось. Разумеется, освященного собора в его правильном и полном составе тогда собрать было нельзя: патриарх Гермоген уже умер, а старшие митрополиты были в плену, новгородский – у шведов, а ростовский – у поляков. Однако в Ярославле непременно хотели иметь освященный собор и создали его таким порядком, что призвали в Ярославль бывшего на покое старого ростовского митрополита Кирилла и при нем составили духовный совет. Сносясь по важнейшим делам с казанским митрополитом Ефремом, этот духовный совет ведал церковное управление и именовал себя “священным собором”. В этом, по тогдашним понятиям, не было узурпации: в 1563 году, например, при взятии Полоцка в рати Грозного бывшего там коломенского владыку Варлаама с состоявшим при нем духовенством тоже называли “освященным собором”. Точно так же не могло быть в Ярославле нормальной Боярской думы, “всех бояр”, так как “все бояре” сидели с поляками в Москве, но и они уже не считались законным “синклитом”. Однако в Ярославле хотели иметь и синклит. В рати Пожар-

ского были два лица с боярским саном: В.П. Морозов и князь В.Т. Долгорукий. С ними вместе в высшем административно-военном совете Пожарского действовали старшие ратные предводители. Это и был “синклит”, который называли тогда определенными терминами: “бояре и воеводы”, “начальники”. Начальники и заменяли собою “бояр всех”. К этим двум постоянным органам ярославского правительства, то есть к митрополиту Кириллу со властями (освященный собор) и Пожарскому с начальниками (синклит) были присоединены выборные земские представители служилого и тяглового сословия, – и получился полный земский собор. Он сам считал себя “советом всея земли”; на его “приговоры” опиралась исполнительная власть в ополчении; его почитали верховным правительством не только русские города, шедшие за земским ополчением, но и иностранцы, именно шведы, начавшие из занятого ими Новгорода переговоры с Пожарским и “московскими чинами” (die Musscowitischen Stände).

Так впервые в Московском государстве был осуществлен земский собор на начале выборного представительства. Это начало было воспитано Смутным временем, тою самодеятельностью местных миров, которая развилась вследствие падения государственного порядка. С уничтожением привычного правительственного строя самую силою вещей в важнейших местных делах на замену приказной власти являлось мирское полномочие и доверие, и вместо приказного человека действовал мирской выборный человек. Когда местные миры успели соединить свои силы в одном общем порыве к восстановлению народной независимости и государственного порядка, их выборные люди соединились в “общий совет”, действовавший уже за “всю землю”. Вверху этого совета был, “по избранью всех чинов людей Российского государства”, стольник и воевода Дмитрий Пожарский, с ним рядом “выборный человек всею землею” Козьма Минин, а внизу простые “изо всех городов всяких чинов” выборные люди. Эти излюбленные люди и государя желали избрать всею землею, “кого нам Бог даст”.

VIII

Однако Ярославскому собору не пришлось избрать государя, и “царское обирание” совершено было уже другим земским собором после “московскаго очищенья”. Освободив Москву, отогнав далеко одну часть казаков и добившись подчинения другой, временное правительство распустило выборных ярославской сессии и грамотами (до 15-го ноября 1612 г.) созывало в Москву “изо всяких чинов”, “изо всех городов”, “по десяти человек от горо-

дов” для “государственных и земских дел”, а главным образом для избрания государя, которое должно было совершиться “всякими людьми от мала и до велика”. Выборное начало в представительстве выступает на соборе 1613 года уже в полной силе как общепринятая и вполне выработанная норма. Состав земского собора 1613 года, судя по подписям его участников на соборной грамоте, определяется так: священный собор включал в себе трех митрополитов (Ефрема, Кирилла и Иону), архиереев, архимандритов и игуменов. Священники давали свои подписи вместе с городскими представителями и иногда называли себя “выборными”, – знак, что они являлись на собор мирскими уполномоченными на основании тех порядков, которые укрепились в городах в Смутное время и которые втягивали духовенство в мирские дела, вплоть до ратного дела. Поэтому-то белое духовенство и следует считать не в освященном соборе, а в рядах земских представителей. Боярская дума на соборе 1613 года играла особую роль. “Начальники” из Ярославля пришли с Пожарским под Москву и продолжали здесь быть правительственным советом. Когда бояре, сидевшие в Москве с поляками, были освобождены, они по сану своему должны были занять первые места в синклите у Пожарского. Но “начальники”, очевидно, относились к ним как к изменникам и подняли вопрос о них. Один из современников записал, что в Москве бояре, которые в осаде сидели, “в Думу не припускают, а писали о них в города ко всяким людям: пускать их в Думу или нет?” И вопрос, по-видимому, был решен отрицательно: бояре разъехались из Москвы по селам и не были на самом избрании царя. Их возвратили в Москву, когда Михаил был уже избран, для участия в окончательном провозглашении нового царя в заседании 21-го февраля. Соборную же деятельность руководили не эти старые бояре, а “начальники”, которые, по свидетельству современника, снова восхотели себе царя “от иноверных” и в этом разошлись с земскими людьми, хотевшими избирать царя из своих. Так устроены были высшие органы управления, церковного и государственного, вошедшие в собор. Земские представители на соборе 1613 года были, по основанию представительства, двух категорий. Одни явились на собор по старому порядку, в силу своего служебного положения; это – придворные чины, “большие дворяне” и приказные люди. Другие были посланы на собор по избранию и явились туда с “договорами”, то есть с инструкциями избирателей, и “с выборами за всяких людей руками”, то есть с документами, удостоверяющими правильность их избрания. Это были, по старому определению, “изо всех городов лучшие и разумные постоянные люди”. Москва не определяла их

числа точным и обязательным для городов порядком. В одной грамоте Пожарский просил, как мы видели, по десяти человек от города; по другому свидетельству, из Москвы просили прислать “из дворян и из детей боярских и из гостей и из торговых и из посадских и из уездных людей, выбрав лучших, крепких и разумных людей, по скольку человек пригоже”. Нельзя поэтому сказать, сколько всего выборных ожидалось в Москву. Нельзя определить и того, сколько их действительно туда приехало, так как у нас нет точного списка участников собора. Под одним экземпляром избирательной грамоты ими сделано 235 подписей, под другим – 238 подписей, а в них упомянуто около 277 имен соборных участников¹⁹. Но это не есть точное число. Выборные подписывали грамоту один за многих товарищей, не называя их поименно; так, выборных нижегородцев было на соборе, как мы случайно знаем, не менее 19-ти, а подписали грамоту всего 5 человек на одном экземпляре и 6 на другом. Можно поэтому думать, что число участников собора, и в частности выборных из городов, было гораздо больше, чем мы знаем по их подписям. По некоторым данным можно думать, что всего соборных людей могло быть до 700. Разбираясь в тех данных, какие представляют нам подписи соборных выборных, мы видим, что на призыв Москвы откликнулось много городов и уездов. Можно насчитать не менее 50 городов, представители которых были на соборе 1613 года. Для того времени это очень большое число, тем более внушительное, что в него вошли города самых различных областей государства, от Белого моря до Дона и Донца. Таким образом, в территориальном отношении состав представительства надобно признать достаточно полным. В сословном же отношении принято считать собор 1613 г. самым полным, потому что на нем, кроме служилых людей и тяглых горожан, были еще “уездные люди”. За уездных людей на одном экземпляре избирательной грамоты есть 12 подписей, на другом – 11. Под этим немного неопределенным названием уездных людей обыкновенно разумеют представителей крестьянства. Для Двинского уезда это и вероятно, потому что на московском севере, как мы уже видели, процветало крестьянское самоуправление в свободных крестьянских общинах. Но для остальных мест, от которых явились представители “уездных людей”, это сомнительно. За исключением Устюжны “Железные”, во всех прочих десяти уездах нельзя предполагать существования свободных от вотчинной власти крестьянских миров. Эти места

¹⁹ “Утвержденная грамота об избрании М.Ф. Романова”, изданная в Москве Обществом истории и древностей российских (М., 1904).

московского юга (Тула, Брянск, Новосиль, Курск и др.) известны господством служилого землевладения в его мелких формах, исключавших в то время возможность развития свободного крестьянского владения и самостоятельных тяглых организаций. В этих уездах под “уездными людьми” надлежит разуметь скорее всего низшие разряды служилых людей, приписанных по службе к городам, а обеспеченных участками пахотной земли и угодьями вне городов. Осторожнее будет не настаивать на мысли, что на соборе 1613 года сословное представительство было полнее, чем на прочих соборах XVII века. На всех соборах одинаково крестьяне не пользовались правом отдельного представительства и на всех соборах одинаково были представлены уездные люди. Представительство северных областей сливалось в одно уездных крестьян с посадскими людьми, с которыми они иногда сливались и в отношении податного самоуправления, а представительство южной половины государства соединяло уездных людей низших служилых званий вместе с поместным дворянством в одну среду “всяких служилых людей”. Такое понимание дела кажется нам единственным возможным.

Так определился состав собора, избравшего новую московскую династию. “Власти” и Дума вошли в собор целиком, как в XVI веке. Высшие слои служилого московского люда были допущены без избирательных полномочий и, если не поголовно, то по старому порядку – на основании их служебного положения и значения. Рядовое провинциальное дворянство (с низшими слоями служилого люда) и городское податное население (с близкими к нему слоями свободного северного крестьянства) были привлечены к участию в соборе на основе выборного представительства, в котором приняло участие и городское духовенство, избиравшее и избираемое в городских избирательных округах. В таком приблизительно виде земские соборы сложились и действовали в царствование царя Михаила Федоровича. В новой своей фазе они были продуктом тех условий, которые образовались в московском обществе благодаря бурям Смутного времени и которые изменили не только состав соборов, но и их политическое значение.

IX

Политическое значение собора 1613 года заключалось не в том одном, что он избрал нового государя, но и в том, что он образовал новый порядок в стране. На основании всего сказанного выше нетрудно понять, что земские соборы 1612 года и 1613 года, Ярославский и Московский, были органами той общественной среды, которая сплотилась для борьбы не только с

поляками, с которыми связало себя боярство, сидевшее в Москве, но и с казаками, желавшими радикального общественного переворота. В противоположность аристократическому слою боярства и демократическому слою казачества общественные слои, соединившиеся в ярославском ополчении, представляли собою общественную середину, средние классы, совершенно равнодушные к кружковым стремлениям боярства и враждебные казачьему радикализму. Органом этих средних классов и стали как Ярославский собор в ополчении Пожарского, так и избирательный Московский собор 1613 года. Победив своих врагов под Москвою и в Москве, освободив столицу и став распорядителями дел в государстве, средние слои населения стремились закрепить победу избранием царя, который мог бы стать внешним символом их единения и торжества. Выразитель этих стремлений, земский собор, в отсутствие больших бояр успел отстранить кандидатуру иноземных принцев на московский престол, хотя “начальники” и хотели себе царя “от иноверных”. Равным образом покончено было и с самозванщиной, которая служила для казаков средством узаконивать разрушительные вождедения. Собор избрал *своего* царя из такого рода, который в середине XVI века боярами-князьями назывался иногда “рабским”, но который в то же время почитался старинным “великим” московским родом. Избрав царя не от королей и князей, а от бояр, собор стал охранять его как своего избранника и ставленника, готовый в нем защищать свое единство и свой восстановленный земский порядок. С своей стороны, избранный собором, государь не видел возможности без содействия собора править страной и унять “всемирный мятеж” и даже не желал принимать власть и “идти к Москве”, пока собор не достигнет прочного успокоения государства. Выходило так, что носитель власти и народное собрание не только не спорили за первенство своего авторитета, но крепко держались друг за друга в одинаковой заботе о собственной целостности и безопасности. Сознание общей пользы и взаимной зависимости приводило власть и ее земский совет к полнейшей солидарности, обращало государя и собор в одну политическую силу, боровшуюся с враждебными ей течениями как внутри государства, так и вне его. Собор не стремился разделить с верховною властью ее прерогативы, потому что сама власть ими тогда не дорожила; напротив, государь желал разделить с собором тяжелое бремя управления и ответственность за возможные неудачи. Таким образом, вопрос о формальном определении отношений царя и собора не имел тогда поводов возникнуть, и мы лично совершенно не верим в

существование так называемой ограничительной записи, будто бы данной Михаилом боярству.

Правительственное значение земского собора было основанием нового порядка, возникшего в Московском государстве после Смуты. Первые шаги новой власти делались не иначе, как “по совету всея земли”, и официально, и гласно признавалось, что важных дел вообще нельзя было решать “без совету всего государства”. Вопросы о войне и мире и вообще дела внешней политики; вопросы финансовые и податные, в особенности назначение новых экстренных сборов; вопросы сословного устройства и отношения сословных групп к государственным повинностям; вопросы административного благоустройства и, наконец, вопросы законодательные – вот сфера действия “совета всея земли” при царе Михаиле Федоровиче. В первое десятилетие его царствования собор, по-видимому, существовал непрерывно. Избрав царя, собор 1613 г. оставался при нем до 1615 года. В конце 1615 г. была призвана новая сессия выборных, действовавшая до 1619 г. В середине 1619 г. сам собор решил созвание новой сессии представителей ему на смену, и эта новая сессия существовала в Москве до 1622 г. По-видимому, как ранее, в XVI веке, “из городов выбор” (нам уже известный) командировался в Москву на трехлетний срок, так в первые годы царя Михаила выборные представители местных обществ, заменившие на соборах старый “выбор”, призывались в Москву тоже на трехлетие. В последующее время, позднее 1622 г., непрерывности соборных сессий не наблюдается, но соборы все-таки остаются весьма частым явлением правительственной практики. У правительства как будто всегда находится под рукою контингент представителей “городов”, и оно имеет возможность в короткий срок созвать их на совещание хотя бы и по частному вопросу, случайно возникшему в сфере внешних сношений или во внутренней жизни государства. При этом прежнее стремление возможно полнее устроить представительство областей к концу царствования Михаила как будто слабеет. Так, в начале 1642 года, при осложнении отношений с турками и татарами, по вопросу о крепости Азове земский собор созвали менее, чем в неделю, и при этом обошлись без епархиальных архиереев в освященном соборе и без выборных от провинциальных посадов. Мало того, к избранию представителей были призваны не местные общества в их полном составе, а лишь те провинциальные дворяне, которые находились в ту минуту в Москве. Правда, в январе 1642 г. в Москве по некоторым причинам был значительный съезд провинциальных дворян; вероятно, этот съезд и послужил основанием для того, чтобы организовать выборы на собор

в самой Москве. Меньшее напряжение соборной деятельности к концу правления Михаила Федоровича и меньшая забота о полном представительстве объясняются, конечно, общим успокоением государства. Внешние войны были кончены, казачество перестало грозить государству, общественное благоустройство сделало некоторые успехи, и вместо непрерывного ряда экстренных усилий и тревог для правительства наступила будничная рутина, при которой не было уже побуждений непрерывно обращаться к совету всея земли. В начале царствования Михаила, в период наибольшей энергии земских соборов, они ни разу не пытались взять на себя инициативу в законодательстве или политике и всегда лишь отвечали на обращенный к ним запрос государя. Даже собор 1619 года, выработавший замечательно стройную программу внутренней политики, действовал в этом деле под влиянием и руководством государева отца, патриарха Филарета, и в сущности лишь давал ответы на вопросы, поставленные “владельческим” патриархом. Этой неизменной пассивностью соборов достаточно уясняется то обстоятельство, почему соборы, насколько мы знаем, не заявляли сами о желательности урегулировать сроки их созыва тогда, когда власть перестала их регулярно созывать, и деятельность соборов ослабела. Однако, предлагая правительству свой совет и свою помощь в той мере, в какой оно их желало, соборы всегда пользовались правом челобитий в той мере, в какой они сами считали это нужным для себя. Рутинная обстановка последних лет деятельности Михаила вела к некоторому забвению тех повседневных тягот и нужд, которые угнетали сословную жизнь. На соборе 1642 г. сословные представители обнаружили эти тяготы и нужды с полной откровенностью и указывали без обиняков на недостатки административного строя, от которых терпело московское общество. Таким образом, не стремясь к сохранению исключительной роли постоянного правительственного органа – роли, усвоенной им Смутою, – соборы не потеряли с течением времени своего значения “совета всея земли”, служащего точным отзвуком действительного настроения этой земли.

Х

Итак, при царе Михаиле Федоровиче земский собор был выразителем средних слоев московского общества, а сам Михаил был царем этих же средних слоев, которые противопоставили его боярскому царю “иноверному” (Владиславу) и казачьему царенку самозванному (“Маринкину сыну”). Служа выразителями одного и того же общественного элемента, царь и собор были в неразрывном союзе против общих врагов, пока эти враги имели силу

и были опасны. Замирение государства делало этот союз менее напряженным и сознательным. В правительстве, вокруг государя, заново сформировался разбитый Смутой “приказный”, бюрократический класс; получив силу, он пользовался возможностью обходиться в управлении без “совета всея земли”, злоупотреблял своим деловым влиянием и незаконно обогащался. Недовольный администрацией, земский люд на соборах обличал ее, противопоставляя свой земский интерес “московской волоките”. На счет администрации относили земские люди многие существенные настроения своей сословной жизни и били челом государю об искоренении беспорядков и насильств со стороны “сильных людей”, то есть самоуправцев из дворцовой знати и приказных дьяков. Жизнь разводила, таким образом, старых союзников, власть и земство, и иногда вела к столкновениям довольно острого свойства.

При Михаиле Федоровиче эти столкновения были словесными: земщина посредством заявлений (“сказок”) на соборах и подачи коллективных челобитий просила охраны своих прав и интересов. Со вступлением на престол царя Алексея дело стало серьезнее.

Царь Алексей был очень молод, неопытен и мягок для того, чтобы понимать дела и руководить ими. Около него образовалась такая клика дельцов, которая своим произволом и наглостью превзошла всех “сильных людей” времени царя Михаила. Держась за сильного покровителя, “дядьку” царя, боярина Б.И. Морозова, эти приказные люди хвалились, что у них вся Москва “в руке”, – и довели Москву до открытого бунта. Морозов едва уцелел, остальные насильники погибли. За Москвою толпа и в других городах произвела беспорядки. Пред царем Алексеем стала задача – найти средство умиротворить общество и примирить его с правительственной средой, с которою оно разошлось. Трудно сказать, по чьей мысли было указано хорошее средство, состоявшее в том, чтобы собрать, привести в порядок и пересмотреть действовавшие тогда законы.

Не распространяясь об этом сложном сюжете, можно определить значение намеченного предприятия так. Страна не имела тогда не только печатного текста законов, но и рукописного их сборника. Сборник XVI века, так называемый Судебник, устарел. Дополнения к нему записывались по ведомствам (“указные книги” приказов) не в системе, а в хронологическом порядке, и составляли достояние одних канцелярий. Пробелы в законах пополнялись не всегда правильным порядком, чрез указ государев, а произвольным применением подходящих статей Литовского статута, Корм-

чей или же приказного обычая. Эти источники права, может быть, и доброкачественные, были так же неведомы населению, как и указ государев, сказанный в Думе и записанный для себя дьяком. Поэтому была настоятельная нужда дать закон в руки населению, составив кодекс и опубликовав его посредством печати. Но одною кодификацией действовавшего права нельзя было тогда обойтись. Недовольное своей обстановкою, общество в челобитиях просило улучшений своего быта. Именно средние классы населения, на которых тогда покоился государственный порядок, с особенною настоятельностью указывали на желательные им перемены. Служилый люд желал равномерного распределения служебных тягот и укрепления своего имущественного положения. Он жаловался на духовенство и знать, которые отбирали у рядовых служилых людей их земли и крестьян; он жаловался на администрацию, вносившую своим произволом беспорядок в отправление служебных дел дворянами; он жаловался, наконец, на крестьян, не сидевших на местах и подрывавших своим уходом помещичье хозяйство. Сокращение землевладельческих прав духовенства и его исключительной подсудности, обуздание произвола “сильных” людей, льготных землевладельцев бояр и бесконтрольной администрации, наконец, прикрепление крестьян, – вот к чему стремился служилый люд. Тяглые черные люди, свободные обыватели посадов, желали того же в своем быту, чего желали дворяне в своем: равномерного распределения платежей и повинностей и укрепления имущественного положения. Они жаловались на духовенство и знать, которые вторгались с своими торгово-промышленными операциями в посады и увлекали к себе, из тягла городских людей и земли; они жаловались на администрацию, угнетавшую своим произволом общину; они жаловались, наконец, на свою же братью, недобросовестных или малодушных тяглецов, не сидевших на своих тяглых участках и подрывавших незаконным уходом общинное хозяйство. Сокращение судебных льгот духовенства и земельных захватов на посадах духовенства и знати, обуздание произвола и злоупотреблений “сильных: людей”, наконец, прикрепление тяглых людей к посадам и недопущение на посады крестьян и вообще посторонних тяглой общине элементов, – вот к чему стремились тяглые люди. К этим пожеланиям торговый класс присоединял еще одно – уничтожение на русских рынках торговой конкуренции иноземных купцов. Полное соответствие стремлений служилых людей и тяглых придавало им особую силу и заставляло серьезно подумать о создании в законе таких норм, которые могли бы на деле обеспечить интересы среднего московского люда. Не трудно заметить, что эти новые нормы,

удовлетворяя общественную середину, должны были неизбежно направиться против общественных вершин (духовенства и знати) и против общественных низов (крестьянства и частновладельческих людей, боярских и иных “закладчиков”).

Таким образом, правительству царя Алексея Михайловича предстояла не только кодификация, но и реформа. Ход ее был определен так: 16-го июля 1648 года государь с освященным собором и думными людьми решил вопрос о кодексе: боярину князю Н.И. Одоевскому с четырьмя помощниками было поручено собрать старый законодательный материал, те “статьи”, которые “пристойны к государственным и к земским делам”, то есть еще не утратили практической приложимости. Обнаруженные же в старом законе пробелы предположено было пополнить “общим советом”, с помощью земского собора, состав которого был тщательно обдуман. На собор к 1-му сентября 1648 года призывались выборные люди: от придворных и столичных служилых людей “из чину по два человека”; дворян от больших городов по два человека, от меньших городов и от новгородских пятин по одному человеку; гостей три человека; от гостиной и суконной сотен по два человека; от московских черных сотен и слобод и от провинциальных посадков по одному человеку. В таком виде состав земского собора несколько отличался от соборов более ранних. Раньше придворные и столичные чины являлись на соборы в большом числе и, по-видимому, не по выбору. В 1642 г. впервые мы видим указание, что эта среда приглашалась выбрать своих представителей наравне с низшими служилыми чинами; но желательное количество выборных из этих “больших статей” указано было тогда значительно большее, чем от прочих. На соборе 1642 года и было выборных от стольников 10, от жильцов 12, от московских дворян 22; провинциальные же дворяне выбрали всего по 3–4 человека от города. В 1648 г. было решено уравнивать московские чины с провинциальными дворянами в отношении количества представителей, чем достигался, конечно, полный перевес провинций над Москвою и рядового дворянства над высшими служилыми чинами. В то же время провинциальные посады, не всегда представляемые на соборах, призывались все к участию в “общем совете”, что также усиливало провинцию на соборе. Красноречивы цифры, установленные исследователями: на 6 московских выборных дворян на соборе 1648 года было более 150 провинциальных и на 15 московских гостей и тяглых людей было не менее 80 посадских из городов. Такое большое число местных представителей получилось потому, что к представительству было приглашено и приглашением воспользовалось очень много городов и уездов:

число представленных городов на соборе 1648 года доходит до 120, если не более.

Итак, подготовительная работа собирания законодательных материалов была в 1648 г. возложена на “приказ” князя Н.И. Одоевского и велась канцелярским порядком; обсуждение же новых “статей” будущего кодекса предоставлено было “общему совету”, который созывался на 1-е сентября 1648 года в Москву. Приблизительно с 1-го сентября и началась деятельность земского собора. Собор был разделен на две палаты. Одну составляли Дума и освященный собор, с которыми царь и патриарх “слушали” законопроект Одоевского. Другую составляли все выборные люди, сидевшие в Ответной палате дворца под председательством князя Ю.А. Долгорукаго. При чтении сделанного Одоевским “соборания” выборные люди возбуждали вопросы о необходимых изменениях и дополнении действующего закона и заявляли о своих нуждах и желаниях. Заявления выборных, в форме челобитий “всех выборных людей от вся земли”, восходили в верхнюю палату, к государю, а там обыкновенно получали санкцию, после чего и обращались в новые “статьи” закона, находившие себе место в кодексе. Эти новые статьи, ранее обнародования их в составе законодательного сборника, публиковались в виде особых государевых указов и обращались к немедленному исполнению, так что земщина могла по ним следить за ходом и направлением законодательных работ. К 29-му января 1649 года дело было окончено, и “Уложенная книга” была готова. Она получила название “Соборного уложения”, потому что была совершена собором и скреплена подписями соборных людей.

Нетрудно, конечно, догадаться, о чем просили выборные люди в своих соборных челобитных. Мы видели, что главным их желанием было упорядочение их служб, повинностей и платежей и укрепление их имущественного положения. Стремясь к этому, они били челом: об уничтожении исключительной подсудности духовенства; о воспрещении духовенству приобретать служилые вотчины и об отобрании в казну вотчин, приобретенных им с 1584 года; о воспрещении духовенству и боярству (вообще льготным землевладельцам) принимать в заклад тяглые участки в городах и брать за себя тяглых людей (закладчиков); о воспрещении духовенству и боярам селить на посадских “выгонных” землях своих людей и ставить для них подгородные слободы; о прикреплении к тяглым участкам посадских людей и о запрещении им выхода из посадов в другие сословные группы; об уничтожении срока давности для исков; о возвращении беглых крестьян, иначе говоря, о полном прикреплении крестьян, и, наконец, об уничто-

жении данного при царе Михаиле иноземным купцам права льготного торгова на внутренних рынках государства. Большая часть этих ходатайств имела значение для одного какого-либо сословия: для служилых людей, или для тяглых, или для торговых; но обыкновенно “вся земля” поддерживала односословное ходатайство, и челобитье являлось от имени всех сословий. Между соборными представителями различных сословных групп существовал очевидный союз, направленный против землевладельческих и судебных льгот высших общественных слоев и против остатков былой бродячей вольности низшего тяглого люда. Общественная середина, составлявшая на соборе подавляющее большинство, “за себя стала” и своими челобитьями искала возможности провести в закон такие “статьи”, которые бы действительно охраняли до тех пор попираемый ее сословный интерес. За исключением одного пункта (отобрание земель, приобретенных духовенством в 1584–1648 гг.), все остальные челобитья были удовлетворены государем и обратились в статьи Уложения. Таких новых статей на 1000 приблизительно статей Уложения насчитывается около 80; это может до некоторой степени дать понятие о напряженности законодательной энергии соборных людей.

Такова была победа средних классов на соборе 1648 г. От нового закона они выигрывали, а проигрывали их житейские соперники, стоявшие наверху и внизу тогдашней социальной лестницы. Как в 1612–1613 г. средние слои общества возобладали благодаря своей внутренней солидарности и превосходству сил, так и в 1648 г. они достигли успеха благодаря единству настроения и действия и численному преобладанию на соборе. И все участники “великого земского дела”, каким было составление Уложения, понимали важность минуты. Одних она радовала: те, в чью пользу совершалась реформа, находили, что наступает торжество справедливости. “Нынеча государь милостив, сильных из царства выводит, – писал один дворянин другому, – и ты, государь, насильства не заводи, чтобы мир не проведал!” Некоторые даже находили, что следует идти далее по намеченному пути перемен. Так, курские служилые люди были недовольны своим выборным на соборе Мальшевым и “шумели” на него, по одному выражению, за то, что “у государева у соборнаго Уложенья по челобитью земских людей не против всех статей государев указ учинен”, а по другому выражению, за то, что “он на Москве разных их прихотей в Уложенье не исполнил”. Но если одни хотели еще больше, чем получили, то другим и то, что было сделано, казалось дурным и зловещим. Закладчики, взятые из льготной частной зависимости в тяжелое государево тягло, мрачно говори-

ли, что “ходить нам по колени в крови”. По их мнению, общество переживало прямую смуту (“мир весь качается”), и обездоленной Уложением массе можно было покуситься на открытое насилие против угнетателей, потому что этой массы будто бы все боялись. Не одно простонародье думало таким образом. Патриарх Никон подвергал резкой критике Уложение, называя его “проклятою” и незаконною книгою. По его взгляду, оно составлено “человеком прегордым”, князем Одоевским, несоответственно царскому указанию и передано земскому собору из боязни пред мятежным “миром”. Он писал: “и то всем ведомо, что збор (т.е. собор) был не по воли, боязни ради и междоусобия от всех черных людей, а не истинныя правды ради”. Разумеется, Никона волновали иные чувства, чем боярских закладчиков. В большой записи он доказывал, что первоначальные намерения государя заключались в том, чтобы просто собрать старые законы “ни в чем же отменно” и преподать их светскому обществу, а не патриарху и не церковным людям. Обманом же “ложного законодавца” Одоевского и междоусобием от всех черных людей вышел “указ тот же патриарху со стрельцом и с мужиком”, и были допущены вопиющие нарушения имущественных и судебных льгот духовенства в новых законах, испрошенных земскими людьми. Поэтому Никон не признавал законности Уложения и не раз просил государя Уложение “отставить”, т.е. отменить. Таково было отношение к собору и его Уложенной книге у самого яркого представителя тогдашней иерархии. Можем быть уверены, что ему сочувствовали и прочие: реформа Уложения колебала самый принцип независимости и особенности церковного строя и подчиняла церковные лица и владения общегосударственному суду; мало того, она больно затрогивала хозяйственные интересы церковных землевладельцев. Сочувствия к ней в духовенстве быть не могло, как не могло быть и сочувствия к самому земскому собору, который провел реформу. Боярство также не имело оснований одобрять соборную практику 1648 года. К середине XVII столетия из развеванных Смутою остатков старого боярства, как княжеского происхождения, так и с более простым “отечеством”, успела сложиться новая аристократия придворно-бюрократического характера. Не питая никаких политических притязаний, это боярство приняло “приказный” характер, обратилось в чиновничество и, как мы видели, повело управление мимо соборов. Хотя новые бояре и их помощники, дьяки, сами происходили из рядового дворянства, а иногда и ниже, тем не менее у них был свой гонор и большое стремление наследовать не только земли старого боярства, но и землевладельческие льготы старого типа, когда-то характеризовавшие собою

удельно-княжеские владения. Обработанные И.Е. Забелиным документы вотчин знаменитого Б.И. Морозова²⁰ вводят нас в точное разумение тех чисто государственных приемов управления, какие существовали во “дворе” и в “приказах” Морозова. Вот эта-то широта хозяйственного размаха, поддерживаемая льготами и фактической безответственностью во всем, и послужила предметом жалоб со стороны мелкопоместного служилого люда и горожан. Уложение проводило начало общего равенства пред законом и властью (“чтобы Московского государства всяких чинов людем, от большого и до меншого чину, суд и расправа была во всяких делех всем равна”) и этим становилось против московского боярства и дьячества за мелкую сошку провинциальных миров. Притязания этой сошки охранить себя посредством соборных челобитий от обид насильников московская администрация свысока называла “шумом” и “разными прихотьми”, а шумевших – “озорниками”. Тенденция Уложения и челобитья соборных людей никак не могли нравиться московской боярской и дьяческой бюрократии.

Так, с ясностью обнаруживается, что созванный для умирения страны собор 1648 г. повел к разладу и неудовольствиям в московском обществе. Достигшие своей цели, соборные представители провинциального общества воспротивились против себя сильных людей и крепостную массу. Если последняя, не мирясь с прикреплением к тяглу и к помещику, стала протестовать “гилем” (т.е. беспорядками) и выходом на Дон, подготавливая там Разиновщину, – то общественная вершина избрала легальный путь действий и привела правительство к полному прекращению земских соборов.

XI

Земский собор 1648 года был самым полным, самым деятельным и самым влиятельным из соборов при новой династии. Почетно поставленные и обеспеченные казною на все время работ в Москве, выборные люди привлекались иногда в ряды московской администрации не только для отдельных поручений, но и на должности по местному и центральному управлению. Им вместе с внешним почетом оказывалось и доверие. Но в то же время в обстоятельствах собора 1648 года крылись уже причины быстрой развязки, конца соборов. Конец этот пришел так неожиданно, что позднему наблюдателю он может показаться как бы переворотом в правительственной системе.

²⁰ *Забелин И.Е.* Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве // *Вестник Европы.* 1871.

После собора об Уложении в Москве были еще соборы в 1650, 1651 и 1653 годах. Первый из них занимался вопросом об умиротворении Пскова, где тогда шло очень острое брожение. Два последних были посвящены вопросу о присоединении Малороссии. Последнее заседание собора 1653 г. происходило 1-го октября, – и более соборы в Москве не созывались. Можно думать, что от них московское правительство отказалось сознательно. После 1653 года, в тех случаях, когда признавалось необходимым обратиться к мнениям сведущих людей, в Москве созывали на совет уже не “всех чинов выборных людей”, а представителей только того сословия, которое было всего ближе к данному делу. Так, в 1660, 1662–1663 годах шли совещания бояр с гостями и тяглыми людьми г. Москвы по поводу денежного и экономического кризиса. В 1672 г. в Посольском приказе высшее московское купечество было привлечено к обсуждению армянского торгового шельма; в 1676 году тот же вопрос был предложен гостям в Ответной палате. В 1681–1682 годах в Москве были две однословные комиссии: одна, служилая, занималась вопросами военной организации; другая, тяглая, – вопросами податного обложения; обе были под руководством одного председателя, князя В.В. Голицына, но ни разу не соединились в одну палату выборных. Только однажды члены служилой комиссии вместе с освященным собором и Думою составили общее заседание для торжественной отмены местничества; но это, конечно, не был земский собор в том смысле, как мы условились понимать этот термин. Прибегая к совету с экспертами в тех делах, где требовались специальные сведения, московская власть в общих делах, хотя бы и большой государственной важности, довольствовалась “собором” властей и бояр. Так, в 1673 и 1679 годах экстренные денежные сборы ввиду войны с турками были назначены приговорами освященного собора и Думы. Ранее же такие сборы назначались неизменно земскими соборами. Словом, после 1653 г. московское правительство систематически стало заменять соборы другими видами совещаний, на которые ему указывала традиция. Мы видели, что и комиссии сведущих людей при Боярской думе, и “соборы” властей и бояр существовали еще до Смутного времени и были освящены еще большею давностью, чем выборные “советы всея земли”. Признав последние нежелательными, легко обратились к первым, видя в них не меньше смысла, но больше удобств и безопасности.

Однако земские люди, заметив перемену в отношении власти к земским соборам, не скрыли при случае, что с своей стороны они дорожат опальным учреждением. Когда в 1662 году, в смутную

пору тяжелого денежного кризиса, московское правительство неоднократно звало на совет московских гостей, людей гостиной и суконной сотен и черных сотен и слобод, то все эти люди в числе мер к пресечению кризиса предлагали созвать собор. “То дело всего государства, всех городов и всех чинов, – говорили гости и торговые люди, – и о том у великаго государя милости просим, чтобы пожаловал великий государь, указал для того дела взять изо всех чинов на Москве и из городов лучших людей по 5 человек; а без них нам одним того великаго дела на мере поставить невозможно”. Черные люди просили того же: “О том великаго государя милости просим, чтобы великий государь указал взять изо всяких чинов и из городов лучших людей; а без городовых людей о медных деньгах сказать не уметь, потому что то дело всего государства и всех городов и всяких чинов людей”. Но судьба соборов была уже решена, и великий государь соборов более не созывал.

После сказанного нами нет надобности много говорить о причинах прекращения соборов. Служа в XVII веке политическим органом средних классов московского общества, соборы были сначала в тесном единении с монархом, который в момент избрания своего сам был излюбленным вождем тех же средних классов. Дружное соправление двух родственных политических авторитетов, царя и собора, продолжалось до того времени, пока верховная власть не эмансипировалась от сословных влияний, и пока вокруг нее не сложилась придворно-аристократическая бюрократия. При первых же признаках разлада между земским представительством и “сильными людьми”, между нижнею и верхнею палатами земского собора 1648 г., правительственная среда перестает пользоваться помощью собора и прибегает к другим видам совещаний, существовавшим издавна в московском обиходе. Земскому собору перестают доверять, потому что связывают его деятельность с тем “в миру великим смятением”, которое колебало государство в 1648–1650 годах. Власть ищет дальнейшей опоры уже не в соборах, а в собственных исполнительных органах: начинается бюрократизация управления, торжествует “приказное” начало, которому Петр Великий дал такое полное выражение в своих учреждениях.

Такова была внутренняя причина падения соборов. Не сомневаемся, что главным виновником перемены правительственного взгляда на соборы был патриарх Никон. Присутствуя на соборе 1648 года в сане архимандрита, он сам видел знаменитый собор; много позднее он выразил свое отрицательное к нему отношение в очень резкой записке. Во второй половине 1652 года стал Никон патриархом. В это время малороссийский вопрос был уже

передан на суждение соборов. Когда же в 1653 году собор покончил с этим вопросом, новые дела уже соборам не передавались. Временщик и иерарх в одно и то же время, Никон не только пас церковь, но ведал и все государство. При его-то власти пришел конец земским соборам.

Очерк истории земских соборов показывает нам, что вопреки старым утверждениям, будто бы соборы не пережили своей зачаточной формы, можно наблюдать в жизни этого учреждения известное движение, рост и совершенствование. В первое время нашего знакомства с соборами, в 1566 году, собор является пред нами как бы чрезвычайным заседанием Боярской думы, в которое приглашены сведущие люди, выбранные самим правительством из лиц, находившихся в ту минуту в столице и принадлежавших к верхам двух основных сословий страны, служилого и тяглового. Представительства, в нашем обычном понимании этого слова, еще не существует, его заменяет правительственное приглашение. Провинциальное общество, если не считать дворян из Торопца и Великих Лук, вовсе не представлено прямыми представителями. Исследователям приходится пускать в ход все свое остроумие для того, чтобы объяснить, почему подобного рода собрание могло почитаться в XVI веке за совет всея земли. Прошло столетие, и на своем закате земский собор предстает пред нами совсем в иной форме. В составе собора 1648 года столица побеждена провинцией, и общественные верхи побеждены общественною серединою. Прежде состав собора определялся приглашением правительства, имевшим в виду лишь столичных обывателей, постоянных и временных. Позднее мы видим, что дворянские уездные общества и тяглые городские общины путем правильных выборов посылают на собор своих выборных уполномоченных; и город Москва наряду с провинцией посылает от себя тем же порядком избранных в его сословных организациях представителей. Раньше на соборах бывали сотни москвичей и десятки “городовых” людей; в 1648 г. мы видим на соборе сотни городовых людей и десятки москвичей. Начало выборного представительства, выработанное в бурях Смутного времени, привело к тому, что соборы стали отражать в себе вместо одной столицы все государство. С нашей точки зрения, устройство представительства было в 1648 г. мало совершенно; сравнительно же с XVI веком оно сделало громадные успехи. Оно превратило земские соборы из вспомогательного правительственного совещания в политический орган средних классов московского общества. Собственно говоря, одно учреждение как бы сменилось другим, хотя оба они и носили одно и то же имя “совета всея земли”.

В том и в другом своем виде, то есть и тогда, когда собор был правительственной комиссией сведущих людей, и тогда, когда собор стал собранием земских уполномоченных, – он играл роль по преимуществу совещательную. Руководство московской правительственной практикою сосредоточивалось в Боярской думе. Одинаково при государях и в безгосударное время Дума стояла во главе текущего управления; совет же всея земли был совещанием экстренного порядка, в которое обращались только дела чрезвычайной важности. Из своей пассивной роли советника собор выходил лишь в исключительные минуты государственной жизни, когда ему усваивалась, можно сказать, верховная власть. Мы видели, что в эпохи междоцарствия она принадлежала ему нераздельно; при новой династии в важнейшие моменты ее деятельности (мероприятия 1619 года, Соборное уложение, присоединение Малороссии и т.п.) сами государи сливали свой авторитет с авторитетом “всея земли”. Но проходил исключительный момент, наступало затишье, – и соборы опять входили в свою обычную роль советника, ожидающего призыва со стороны власти. Мы видели, чем объяснялась эта пассивность земских соборов в пору их наибольшего процветания и значения. Соборы были органом тех же средних общественных классов, представительницею и выразительницею которых была сама новая династия. В общей “разрухе” царь и собор представляли одну политическую сторону, были одною политическою силою, имели одних внешних и внутренних врагов. Это были не противники, готовые спорить между собою за власть, а союзники, готовые дружно защищать общее добро. Не ревнивый контроль, а спокойное доверие характеризовало их взаимные отношения, и не желание верховодить, а стремленье “заложиться” друг за друга господствовало в них. Таков был исторический момент, длившийся, прибавим, недолго. В середине XVII века жизнь стала разводить друзей. Власть постепенно освобождалась от влияния средних слоев населения, бывших ранее ее поддержкою. Она видела в себе руководительницу всего замиренного после Смуты московского общества, представительницу всего государства. Задачи ее естественно становились более широкими и шли далее односторонней защиты интересов того или иного сословия. А соборы продолжали быть органом общественной середины и выразителями интересов именно средних классов. С другой стороны, вокруг государя постепенно образовалась “приказная”, бюрократическая среда, своего рода “средостение” между властью и обществом. Раздражаемая злоупотреблениями приказных людей, земщина стала менять тон на соборах; в 1648–1649 гг. она явно стала против

“сильных людей”, и в борьбе с ними инстинктивно потянулась к тому, что называется законодательной инициативой. Пассивный прежде советник теперь становился неудобным для приказно-бюрократических кругов и потому был очень скоро устранен. Стало быть, как в отношении состава, так и в отношении политической роли, история соборов представляет картину быстрых перемен. Будучи собранием чиновников (правительственных агентов, как выражается В.О. Ключевский) в начале своей деятельности, собор затем является собранием земцев правительственной партии, а в конце показывает возможность обратиться и в оппозиционную организацию.

Со всем тем, как ни быстро менялась физиономия изучаемого нами учреждения, оно во всех фазах своих признавалось всеми ценным и полезным участником московской государственной работы. Мы видели, как часто и охотно прибегала власть к созыву соборов, и как высоко ставился “совет всея земли” всеми временными правительствами Смутной эпохи. Соборы давали возможность власти точно узнать мнение и настроение общества и достичь уверенности, что принятое на соборе решение будет принято и исполнено всем обществом. Для земщины собор был средством довести до власти свои жалобы, нужды и желания, “рассказать про неправды и разорения”, достичь справедливости и порядка в своей жизни. На собор население смотрело как на лучший свой орган, без которого нельзя было решать важных дел, “великаго дела на мере поставить невозможно”, как выражались наши предки. Как средство общения власти с управляемым обществом соборы сослужили Москве большую службу. Московский государственный порядок, из которого ведет свое начало новая Россия, был создан и укреплен после ужасающей смуты начала XVII века более всего авторитетом земского собора.

Таково значение и заслуги московского “совета всея земли”. Отвечая потребностям и условиям своей эпохи, этот совет был движущим началом московской истории. Для нас, с нашими злобами дня, он только любопытный архаизм. Оживить его ветхие формы невозможно, как невозможно восстановить сословную жизнь Московской Руси. Но изучать старый “совет всея земли” нам очень полезно: для разрешения вековой проблемы об идеальном отношении власти и народа он дает наблюдателю ценный и светлый материал, свидетельствующей о том, что наши предки умели находить отвечающие потребностям их времени формы “общего совета” и совершенствовать их сообразно с успехами своей общественности.

Московское правительство при первых Романовых (1906)

Первые годы правления царя Михаила Федоровича до сих пор представляют собою такой исторический момент, в котором не все доступно научному наблюдению и не все понятно из того, что уже удалось наблюдать. Не ясны ни самая личность молодого государя, ни те влияния, под которыми жила и действовала эта личность, ни те силы, какими направлялась в то время политическая жизнь страны. Болезненный и слабый, царь Михаил всего тридцати с небольшим лет так “скорбел ножками”, что иногда, по его собственным словам (в июне 1627 года), его “до возка и из возка в креслах носят”¹. Около царя заметен кружок дворцовой знати – царских родственников, которые вместе с государевой матерью тянулись к влиянию и власти. Хотя один современник и выразился так, что мать государя “инока великая старица Марфа правя под ним и поддерживая царство со своим родом”², однако очевидно, что старица правила только дворцом и поддерживала не царство, а свой “род”. Течение политической жизни шло мимо ее кельи и направлялось не ею; по крайней мере, нет ни одного указания на то, чтобы великая старица ведала какое-либо государственное дело. Правительственный авторитет принадлежал тогда даже и не одному царю: рядом с ним стояла “вся земля” или земский собор, и пред государевым указом и всея земли приговором исчезали личные воздействия великой старицы и ее родни. Но и авторитет земского собора был в те годы, если можно так выразиться, пассивен. Собор являлся на сцену только тогда, когда к нему обращались, и отвечал своим приговором лишь на то, на что государь желал его приговора. “Вся земля” была как бы совещательным органом при каком-то правительстве, во главе которого стоял царь, и в составе которого находились истинные руководители московской политики. Конечно, это не была Боярская дума во всем ее составе; но мы не знаем, кто именно это был. Просмат-

¹ Письма русских государей и других особ царского семейства. М., 1848. Т. 1. № 182, 183 и след.

² ПСРЛ. Т. 5. С. 64.

ривая список думных людей тех лет, мы не можем точно сказать, кого из думцев надлежит считать только высшим чиновником, и в ком из думцев надлежит видеть влиятельного советника и даже направителя власти. Между тем, если бы нам удалось определить этот пока не вполне ведомый правительственный состав, мы получили бы возможность многое объяснить в правительственных приемах и стремлениях данного момента, нашли бы ключ к той загадке, над которою много думали ученые разных поколений, от академика К.И. Арсеньева, давно описавшего “высшие правительственные лица времен царя Михаила Федоровича”, до современного нам Д.И. Иловайского с его “эпохою Михаила Федоровича Романова”.

Предлагаемая статья имеет целью путем пересмотра некоторых обстоятельств воцарения и первоначальной практики династии Романовых подойти к определению того, в чьих именно руках оказались судьбы московского общества после пережитой им тяжелой Смуты, и из коего составилось московское правительство при новой династии XVII века.

I

Для нашей цели необходимо припомнить некоторые обстоятельства самого избрания на престол царя Михаила.

В настоящее время можно считать совершенно выясненным, что руководители земского ополчения 1611–1612 года ставили своею задачею не только “идти на очищение” Москвы от поляков, но и сломить казаков, захвативших в свои руки центральные учреждения в подмосковных “таборах”, а вместе с ними и правительственную власть. Как ни слаба была на деле эта власть, она становилась на дороге всякой иной попытке создать центр народного единения; она покрывала своим авторитетом “вся земля” казачьи бесчинства, терзавшие земщину; она грозила, наконец, опасностью социального переворота и водворения в стране “воровского” порядка или, вернее, беспорядка. Обстоятельства поставили для князя Пожарского войну с казаками в первую очередь: казаки сами открыли военные действия против нижегородцев. Межоусобная война русских людей шла без помехи со стороны поляков и литвы почти весь 1612 год. Сначала Пожарский выбил казаков из Поморья и Поволжья и отбросил их к Москве. Там, под Москвою, они были не только не вредны, но даже полезны для целей Пожарского тем, что парализовали польский гарнизон Москвы. Предоставляя обоим своим врагам истощать себя взаимною борьбою, Пожарский не спешил из Ярославля к Москве. Ярославские власти думали даже и государя избрать в Ярославле

и собирали в этом городе совет всея земли не только для временного управления государством, но и для государева “обирания”. Однако приближение к Москве вспомогательного польско-литовского отряда вынудило Пожарского выступить к Москве, – и там, после победы над этим отрядом, разыгрался последний акт междоусобной борьбы земцев и казаков. Приближение земского ополчения к Москве заставило меньшую половину казачества отложиться от прочей массы и вместе с Заруцким, ее атаманом и “боярином”, уйти из-под Москвы на юг. Другая, большая половина казаков, чувствуя себя слабее земцев, долго не решалась ни бороться с ними, ни подчиниться им. Надобен был целый месяц смут и колебаний, чтобы предводитель этой части казачества, тушинский боярин кн. Д.Т. Трубецкой, мог вступить в соглашение с Пожарским и Мининым и соединил свои “приказы” с земскими в одно “правительство”. Как старший по своему отчеству и чину, Трубецкой занял в этом правительстве первое место; но фактическое преобладание принадлежало другой стороне, и казачество в сущности капитулировало пред земским ополчением, поступив как бы на службу и в подчинение земским властям. Разумеется, это подчинение не могло сразу стать прочным, и летописец не раз отмечал казачье своеволие, доводившее рать почти “до крови”, однако дело стало ясно в том отношении, что казачество отказалось от прежней борьбы с основами земского порядка и от правительственного первенства. Казачество распалось и отчаялось в своем торжестве над земщиной.

Такое поражение казачества было очень важным событием во внутренней истории московского общества, не менее важным, чем “очищение” Москвы. Если с пленом польского гарнизона падала всякая тень власти Владислава на Руси, то с поражением казачества исчезала всякая возможность дальнейших самозванческих авантур. Желавшее себе царя “от иноверных” московское боярство навсегда сошло с политической арены, разбитое бурями смутной поры. Одновременно с ним проиграла свою игру и казачья вольница с ее тушинскими вожакими, измышлявшими самозванцев. К делам становились “последние” московские люди, пришедшие с Кузьмою Мининым и Пожарским городские мужики и рядовые служилые люди. У них была определенная мысль “иных никоторых земель людей на Московское государство не обирать и Маринки с сыном не хотеть”³, а хотеть и обирать кого-нибудь из своих “великих родов”. Так само собою намечалось главное условие предстоявшего в Москве царского избрания; оно

³ Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 13.

вытекало из реальной обстановки данной минуты, как следствие действительного взаимоотношения общественных сил.

Сложившаяся в ополчении 1611–1612 гг. правительственная власть была создана усилиями средних слоев московского населения и была их верно выразительницей. Она овладела государством, очистила столицу, сломила казачьи таборы и подчинила себе большинство организованной казачьей массы. Ей оставалось оформить свое торжество и царским избранием вернуть стране правильный правительственный порядок. Недели через три после взятия Москвы, то есть в середине ноября 1612 года, временное правительство уже посылает в города приглашения прислать в Москву выборных и с ними о государском избрании “совет и договор крепкой”. Этим как бы открывался избирательный период, завершенный в феврале избранием царя Михаила. Толки о возможных кандидатах на престол должны были начаться немедленно. Хотя мы вообще и очень мало знаем о таких толках, однако можем – из того, что знаем, – извлечь несколько ценнейших наблюдений над отношениями существовавших тогда общественных групп.

Недавно стало известно одно важное показание о том, что делалось в Москве в самом конце ноября 1612 года. В эти дни польский король послал свой авангард под самую Москву, а в авангарде находились и русские “послы” от Сигизмунда и Владислава к московским людям, именно князь Данило Мезецкий и дьяк Иван Грамотин. Они должны были “зговаривати Москвы, чтобы приняли королевича на царство”. Однако все их посылки в Москву не повели к добру, и Москва начала с польским авангардом “задор и бой”. На бою поляки взяли в плен бывшего в Москве смоленского сына боярского Ивана Философова и сняли с него допрос. То, что показал им Философов, было давно известно из московской летописной записи. Его спрашивали: “Хотят ли взять королевича на царство? и Москва ныне людна ли? и запасы в ней есть ли?” По выражению летописца, Философову “даде Бог слово, что глаголати”: он сказал будто бы полякам: “Москва людна и хлебна, и на то все обещахомся, что всем помереть за православную веру, а королевича на царство не имати”⁴. Из слов Философова, думает летописец, король вывел заключение, что в Москве много сил и единогодушия, – и потому ушел из Московского государства. Не так давно напечатанный документ освещает иным светом показание Философова. В изданных г. А. Гиршбергом материалах по истории московско-польских отношений мы читаем подлинный отчет королю и королевичу князя Д. Мезецкого и Ив. Грамотина о

⁴ Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1792. Ч. 8. С. 198–199.

допросе Философова. Они, между прочим, пишут: “А в роспросе, господари, нам и полковником сын боярской (именно Иван Философов) сказал, что на Москве у бояр, которые вам, великим господарям, служили, и у лучших людей хотение есть, чтоб просити на господарство вас, великого господаря королевича Владислава Жигимонтовича, а имянно де о том говорити не смеют, боясь казаков, а говорят, чтобы обрать на господарство чужеземца; а казаки де, господари, говорят, чтоб обрать кого из русских бояр, а примеривают Филаретова сына и воровского колужского. И во всем деи казаки бояром и дворяном сильны, делают что хотят; а дворяне де и дети боярские разъехались по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских всего тысячи с две, да казаков полпята тысячи человек (то есть 4500), да стрельцов с тысячу человек, да мужики чернь. А бояр деи, господари, князя Федора Ивановича Мстиславского с товарищи, которые на Москве сидели, в Думу не припускают, а писали об них в города ко всяким людем: пускать их в Думу или нет? А делает всякия дела князь Дмитрий Трубецкой да князь Дмитрий Пожарской да Куземка Минин. А кому вперед быти на господарстве, того еще не постановили на мере”⁵. Очевидно, что из этих слов отчета о показании Философова польский король извлек не совсем те выводы, какие предположил московский летописец. Что в Москве большой гарнизон, король мог не сомневаться: семь с половиной тысяч ратных людей, кроме черни, годной по тем временам для обороны стен, составляли внушительную силу. Среди гарнизона не было единодушия, но Сигизмунд видел, что в Москве преобладают, и притом решительно преобладают, враждебные ему элементы. Не питая надежд на успех, он и решил повернуть назад.

Такова обстановка, в какой известно нам показание Философова. Обе воевавшие стороны придавали ему большое значение. Москва знала его не в деловой, а, так сказать, в эпической редакции: отступление Сигизмунда, бывшее или казавшееся последствием речей Философова, придало им ореол патриотического подвига, и самые речи редактировались летописцем под впечатлением этого подвига слишком благородно и красиво. Король же узнал показание Философова в деловой передаче такого умного дельца, каков был дьяк Ив. Грамотин. Сжато и метко очерчивается в отчете кн. Мезецкого и Грамотина положение Москвы, и мы в интересах научной правды можем смело положиться на этот отчет. Становится ясно, что через месяц по очищении Москвы главные силы земского ополчения были уже демобилизованы. По обыч-

⁵ *Hirschberg A. Polska a Moskwa. Lwow, 1901. С. 361–364.*

ному московскому порядку, с окончанием похода служилые отряды получали разрешение возвращаться в свои уезды “по домом”. Взятие Москвы было тогда понято как конец похода. Содержать многочисленное войско в разоренной Москве было трудно; еще труднее было служилым людям кормиться там самим. Не было и основания для того, чтобы держать в столице большие массы полевого войска – дворянской конницы и даточных людей. Оставив в Москве необходимый гарнизон, остальных сочли возможным отпустить домой. Это-то и понимает летописец, когда говорит о конце ноября: “людие ж с Москвы все розъехалися”⁶. В составе гарнизона, опять-таки по обычному порядку, были московские дворяне, некоторые группы провинциальных, “городовых”, дворян (сам Иван Философов, например, был не москвич, а “смолянин”, то есть из смоленских дворян), далее стрельцы (число которых уменьшилось в Смуту) и, наконец, казаки. Философов точно определяет число дворян в 2000, число стрельцов в 1000 и число казаков в 4500 человек. Получилось такое положение, которое вряд ли могло нравиться московским властям. С роспуском городских дружин служилых и тяглых людей казаки получили численный перевес в Москве. Их некуда было распустить по их бездомности и их нельзя было разослать на службу в города по их ненадежности. Начиная с приговора 30-го июня 1611 года, земская власть, как только получала преобладание над казачеством, стремилась выводить казаков из городов и собирать их у себя под рукою в целях надзора. И Пожарский в свое время, в первой половине 1612 года, стягивал служилых подчинившихся ему казаков в Ярославль и затем вел их с собою под Москву. Поэтому-то в Москве и оказалось так много казаков. Насколько мы располагаем цифровыми данными для того времени, мы можем сказать, что указанное Философовым число казаков “полпята тысячи” очень велико, но вполне вероятно. По некоторым соображениям, в 1612 году под Москвою с князем Трубецким и Заруцким сидело около 5000 казаков; из них Заруцкий увел около 2000, а остальные поддались земскому ополчению Пожарского. Не знаем точно, сколько пришло в Москву казаков с Пожарским из Ярославля; но знаем, что немногим позднее того времени, о котором идет теперь речь, а именно в марте и апреле 1613 года, казачья масса в Москве была столь значительна, что упоминаются отряды казаков в 2323 и 1140 человек, и ими не исчерпывается еще вся

⁶ Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8. С. 198. Это совершенно совпадает с показанием Философова, что “дворяне и дети боярские разъехалися по поместьям”.

наличность казаков в Москве⁷. Таким образом, надобно верить цифре Философова и признать, что в исходе 1612 г. казаки войска в Москве числом более чем вдвое превосходили дворян и раза в полтора превосходили дворян и стрельцов вместе взятых. Эту массу надобно было обеспечить кормами и надобно было держать в повиновении и порядке. По-видимому, московская власть этого не достигала, и побежденное земцами казачество снова поднимало голову, пытаясь овладеть положением дел в столице. Такое настроение казаков и отметил Философов словами: “и во всем казаки бояром и дворяном сильны, делают, что хотят”.

С одной стороны, казаки настойчиво и беззастенчиво требовали “кормов” и всякого жалованья, а с другой – они “примеривали” на царство своих кандидатов. О кормах и жалованье летописец говорит кратко, но сильно⁸: он сообщает, что казаки после взятия Кремля “начаша прошати жалованья безпрестанно”, они “всю казну московскую взяша и едва у них немного государевы казны отнята”; из-за казны они однажды пришли в Кремль и хотели “побить” начальников (то есть Пожарского и Трубецкого), но дворяне не допустили до этого и меж ними “едва без крови проиде”. По словам Философова, московские власти “что у кого казны сыщут, и то все отдают казаком в жалованье; а что (при сдаче Москвы) взяли в Москве у польских и русских людей, и то все поимали казаки ж”⁹. Наконец, архиепископ Арсений Елассонский согласно с Философовым сообщает некоторые подробности о розысках царской казны после московского очищения и о раздаче ее “воинам и казакам”, после чего “весь народ успокоился”¹⁰. Очевидно, вопрос об обеспечении казаков составлял тогда тяжелую заботу московского правительства и постоянно грозил властям насилиями с их стороны. Сознывая свое численное превосходство в Москве, казаки шли далее “жалованья” и “кормов”: они, очевидно, возвращались к мысли о политическом преобладании, утерянном ими вследствие успехов Пожарского. После московского очищения во главе временного правительства почитался казачий начальник боярин князь Трубецкой, главную силу московского гарнизона составляли казаки: очевидна мысль, что казакам может и должно принадлежать и решение вопроса о

⁷ *Платонов С.Ф.* Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. СПб., 1899. Глава 5, § VII; Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 1052 (ср. 1094), 1054, 1109–1110, 1115.

⁸ Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8. С. 197.

⁹ *Hirschberg A.* Polska a Moskwa. С. 363–364; ср.: РИБ. Т. 1. Стб. 353.

¹⁰ *Дмитриевский А.А.* Архиепископ Елассонский Арсений и мемуары его из русской истории. Киев, 1899. С. 164–166.

том, кому вручить московский престол. Стоя на этой мысли, казаки заранее “примеривали” на престол наиболее достойных, по их мнению, лиц. Такими оказывались сын бывшего Тушинского и Калужского царя “вора”, увезенный Заруцким, и сын бывшего Тушинского патриарха Филарета Романова. Московским властям приходилось до времени терпеть все казацкие выходки и притязания, потому что привести казаков в полное смирение можно было или силою, собрав в Москву новое земское ополчение, или авторитетом всея земли, собрав земский собор. Торопясь с созывом собора, правительство, конечно, понимало, что произвести мобилизацию земских ополчений после только что оконченного похода под Москву было бы чрезвычайно трудно. Других средств воздействия на казачество в распоряжении правительства не было. Терпеть приходилось еще и потому, что в казачестве правительство видело действительную опору против вождедений королевских приверженцев. Философов не даром говорил, что “бояре и лучшие люди” в Москве таили свое желание пригласить Владислава – “боясь казаков”. Против поляков и их московских друзей казаки могли оказать существенную помощь, и Сигизмунд повернул назад от Москвы в конце 1612 г. скорее всего именно в виду “полупяты тысячи” казаков и их противу-польского настроения. Счеты с агентами и сторонниками Сигизмунда тогда в Москве еще не были закончены и отношения к царю Владиславу Жигимонтовичу еще не были ликвидированы. Философов сообщал, что в Москве арестовано “за приставы русских людей, которые сидели в осаде: Иван Безобразов, Иван Чичерин, Федор Ондронов, Степан Соловецкий, Бажен Замочников; и Федора де и Бажена пытали на пытке в казне”. Согласно с этим и архиепископ Арсений Елассонский говорит, что по очищении Москвы “врагов государства и возлюбленных друзей великого короля, Ф. Андронова и Ив. Безобразова, подвергли многим пыткам, чтобы разузнать о царской казне, о сосудах и о сокровищах... Во время наказания их (то есть, друзей короля) и пытки умерли из них трое: великий дьяк царского судилища Тимофей Савинов, Степан Соловецкий и Бажен Замочников, присланные великим королем довереннейшие казначеи его к царской казне¹¹. По обычаю той эпохи, “худых людей, торговых мужиков, молодых детишек боярских”, служивших королю, держали за приставами и пытали до смерти, а великих бояр, виновных в той же службе королю, только “в Думу не припускали” и, самое большее, держали под домаш-

¹¹ Hirschberg A. Polska a Moskwa. С. 363; *Дмитриевский А.А.* Архиепископ Елассонский Арсений... С. 164 и 166 (решаемся вместо *Μπαζέννας* Замойский прочесть: Бажен Замочников).

ним арестом, пока земский совет в городах не решит вопроса: “пускать их в Думу, или нет?” До нас не дошли грамоты, которые были, по словам Философова, посланы в города о том, можно ли бояр князя Мстиславского “с товарищи” пускать в Думу. Но есть полное основание думать, что на этот вопрос в Москве в конце концов ответили отрицательно, так как выслали Мстиславского “с товарищи” из Москвы куда-то “в городы” и произвели государево избрание без них. Все эти меры против московского боярства и московской администрации, служивших королю, временное московское правительство князя Д.Т. Трубецкого, князя Д.М. Пожарского и “Куземки” Минина могло принимать главным образом с сочувствием казачества, ибо в боярах и “лучших людях” еще жива была тенденция в сторону Владислава.

Таковы были обстоятельства московской политической жизни в конце 1612 года. Из рассмотренных здесь данных ясен тот вывод, что победа, одержанная земским ополчением над королем и казаками, требовала дальнейшего упрочения. Враги были побеждены, но не уничтожены. Они пытались, как могли, вернуть себе утраченное положение, и если имя Владислава произносилось в Москве не громко, то громко раздавались имена “Филаретова сына и Воровскаго Калужскаго”. Земщине предстояла еще забота – на земском соборе настоять, чтобы не прошли на престол ни иноземцы, ни самозванцы, о которых, как видим, еще смели мечтать побежденные элементы. Успеху земских стремлений в особенности могло мешать то обстоятельство, что земскому собору предстояло действовать в столице, занятой в большинстве казачьим гарнизоном. Преобладание казачьей массы в городе могло оказать некоторое давление и на представительное собрание, направив его так или иначе в сторону казачьих вождельней.

Насколько мы можем судить, нечто подобное и случилось на избирательном соборе 1613 г. Иностранцы после избрания на престол царя Михаила Феодоровича получили такое впечатление, что это избрание было делом именно казаков. В официальных, стало быть ответственных, беседах литовско-польских дипломатов с московскими, в первые месяцы после выбора Михаила русским людям приходилось выслушивать “непригожая речи”: Лев Сапега грубо высказал самому Филарету при московском после Желябужском, что “посадили сына его на Московское государство государем одни казаки донцы”; Александр Гонсевский говорил князю Воротынскому, что Михаила “выбирали одни казаки”. С своей стороны шведы высказывали мнение, что в пору царского избрания в Москве были “казаки в московских столпах

сильнейшии”¹². Эти впечатления посторонних лиц встречают некоторое подтверждение и в московских исторических воспоминаниях. Разумеется, нечего искать таких подтверждений в официальных московских текстах: они представляли дело так, что царя Михаила сам Бог дал, и всю землю обрали. Эту же идеальную точку зрения усвоили себе и все русские литературные сказания XVII века. Царское избрание, замирившее Смуту и успокоившее страну, казалось особым благодеянием Господним, и приписывать казакам избрание того, кого “сам Бог объявил”, было в глазах земских людей неприличною бессмыслицею. Но все-таки в московском обществе осталась некоторая память о том, что в счастливом избрании законного государя приняли участие и проявили почин даже и склонные ко всякому беззаконию казаки. Авраамий Палицын рассказывает, что к нему на монастырское подворье в Москве во время земского собора приходили вместе с дворянами и казаки с мыслью именно о Михаиле Федоровиче Романове и просили его довести их мысль до собора. Изданный И.Е. Забелиным поздний и в общем недостоверный рассказ о царском избрании 1613 г. заключает в себе одну любопытнейшую подробность о том, что права Михаила на избрание объяснил собору между прочим “славнаго Дону атаман”¹³. Эти упоминания о заслугах казаков в деле объявления и укрепления кандидатуры М.Ф. Романова имеют очень большую цену: они свидетельствуют, что роль казачества в царском избрании не была скрыта и от московских людей, хотя им она представлялась, конечно, иначе, чем иноземцам.

Руководясь приведенными намеками источников, мы можем себе ясно представить, какой смысл имела кандидатура М.Ф. Романова, и каковы были условия ее успеха на земском соборе 1613 года.

Собравшись в Москву в исходе 1612 или в самом начале 1613 года, земские выборные хорошо представили собою “всю землю”. Окрепшая в эпоху Смуты практика выборного представительства позволила избирательному собору на самом деле представить собою не одну Москву, а Московское государство в нашем смысле этого термина. В Москве оказались представители

¹² Соловьев. История. Т. 2. С. 1073 и 1084; ДАИ. Т. 2. С. 30; Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты... Глава 5, § VIII; Маркевич А.И. Избрание на царство М.Ф. Романова // ЖМНП. 1891. Сентябрь. С. 192.

¹³ Сказание о осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах, сочиненное одного же Троицкого монастыря келарем Авраамием Палицыным. 2-е изд. М., 1822. С. 291; Забелин И.Е. Минин и Пожарский. М., 1896. С. 299–300.

не менее 50-ти городов и уездов; представлены были и служилый и тяглый класс населения; были и представители казаков¹⁴. В своей массе собор оказался органом тех слоев московского населения, которые участвовали в очищении Москвы и восстановлении земского порядка; он не мог служить ни сторонникам Сигизмунда, ни казачьей политике. Но он мог и неизбежно должен был стать предметом воздействия со стороны тех, кто еще надеялся на восстановление королевской власти или же казачьего режима. И вот, отнимая надежду как на то, так и на другое, собор прежде всякого иного решения торжественно укрепился в мысли: “а литовскаго и свейскаго короля и их детей, за их многия неправды, и иных некоторых земель людей на Московское государство не обирать, и Маринки с сыном не хотеть”. В этом решении заключалось окончательное поражение тех, кто думал еще бороться с результатами московского очищения и с торжеством средних консервативно настроенных слоев московского населения. Исчезало навсегда “хотение” бояр и “лучших людей”, которые “служили” королю, по выражению Философова, и желали бы снова “просити на государство” Владислава. Невозможно было долее “примеривать” на царство и “воровскаго калужскаго”, а стало быть, мечтать о соединении с Заруцким, который держал у себя “Маринку” и ее “воровскаго калужскаго” сына.

Победа над боярами, желавшими Владислава, досталась собору, думается, очень легко: вся партия короля в Москве, как мы видели, была разгромлена временным правительством тотчас по взятии столицы, и даже знатнейшие бояре, “которые на Москве сидели”, вынуждены были уехать из Москвы и не были на соборе вплоть до той поры, когда новый царь был уже избран: их вернули в Москву только между 7-м и 21-м февраля. Если до собора сторонники приглашения Владислава “имянно о том говорить не смели, боясь казаков”, то на соборе им надобно было беречься еще более, боясь не одних казаков, но и “всей земли”, которая одинаково с казаками не жаловала короля и королевича. Другое дело было земщине одолеть казаков: они были сильны своим многолюдством и дерзки сознанием своей силы. Чем решительнее земщина становилась против Маринки и против ее сына, тем внимательнее должна была она отнестись к другому кандидату, выдвинутому казаками, – к “Филаретову

¹⁴ Не останавливаемся на данных о составе и деятельности собора 1613 года: о них нам пришлось говорить дважды, именно в Очерках, глава 5, § 8, и в статье “К истории Московских земских соборов” (Журнал для всех. 1905. № 2. С. 92–107; № 3. С. 162–172 и отдельно: СПб., 1905). Кроме того, см. только что названный труд А.И. Маркевича.

сыну”. Он был не чета “воренку”. Нет сомнения, что казаки выдвигали его по тушинским воспоминаниям, потому что имя его отца Филарета было связано с тушинским табором. Но имя Романовых было связано и с иным рядом московских воспоминаний. Романовы были популярным боярским родом, известность которого шла с первых времен царствования Грозного. Незадолго до избирательного собора 1613 года, именно в 1610 году, совсем независимо от казаков, М.Ф. Романова в Москве считали возможным кандидатом на царство, одним из соперников Владислава. Когда собор настоял на уничтожении кандидатуры иноземцев и Маринкина сына и “говорили на соборех о царевичах, которые служат в Московском государстве, и о великих родех, кому из них Бог даст на Московском государстве быти государем”, – то из всех великих родов естественно возобладал род, указанный мнением казачества. На Романовых могли сойтись и казаки, и земщина – и сошлись: предлагаемый казачеством кандидат удобно был принят земщиною. Кандидатура М.Ф. Романова имела тот смысл, что мирила в самом щекотливом пункте две еще не вполне примиренные общественные силы и давала им возможность дальнейшей солидарной работы. Радость обеих сторон по случаю достигнутого соглашения, вероятно, была искрення и велика, и Михаил был избран действительно “единомышленным и нерозвратным советом” его будущих подданных.

II

Изложенные нами обстоятельства воцарения М.Ф. Романова исключают, по нашему мнению, всякую возможность предполагать, что это воцарение было обставлено боярскими ограничениями. Новый государь был предложен не боярами, избран в отсутствие виднейших бояр “князя Мстиславскаго с товарищи”, приглашен на государство земским собором, а не Думою. Нет, кажется, ни одного такого момента во всем ходе избрания, когда боярская власть или интрига могла бы повлиять на ход общенародного дела и придать ему, явно или тайно, форму, удобную для бояр или Боярской думы.

Известия о так называемых ограничениях царя Михаила Федоровича с удобством можно разделить на две группы. В первую надлежит отнести свидетельства современников царя Михаила Федоровича, во вторую – известия, относящиеся к XVIII столетию и принадлежащие иностранцам (и В.Н. Татищеву). Так как свод и критический анализ и тех и других известий дан давно

проф. А.И. Маркевичем¹⁵, то нам нет необходимости приводить здесь их тексты и останавливаться на деталях интересующих нас сообщений. Скажем вообще, что известия второй группы допускают одну общую оценку, потому что имеют общий отличительный признак: они возникли одновременно и, по-видимому, по одному и тому же поводу. В последнее десятилетие царствования Петра Великого, в период образования центральных органов управления нового типа, вопрос об организации самой власти ставился на очередь самым ходом вещей. Разрушение Боярской думы не повлекло за собою в системе Петра образования нового законодательного учреждения, а в нем многими чувствовалась нужда.

С разных сторон указывали Петру на существовавший пробел и давали мысль об учреждении “тайного совета” по внутренним и внешним делам. Сам Петр имел намерение устроить, в виде особой коллегии, верховный объединяющий и направляющий орган управления. Но Петр до конца дней своих довольствовался в этом отношении своим “кабинетом”, в котором сам вырабатывал законопроекты, не стесняясь никакими “коллегиями” и “советами”. А на некоторых его современников и сотрудников шведский олигархический переворот 1720 года повлиял в том направлении, что их мысль о благоустроении верховной власти перешла в мечту об ограничении личной власти государя¹⁶. В учреждении Верховного тайного совета в начале 1726 года многие готовы были видеть первый шаг именно в этом направлении; а в 1730 году “верховники” пытались сделать и второй, более определенный и решительный, шаг в сторону шведских олигархических порядков. Таким образом, на пространстве двух десятилетий мы наблюдаем в высших кругах бюрократии известное течение политической мысли: оно отправляется от заботы восстановить нарушенную так называемой реформой правильность правительственных функций и приводит к попытке коренного государственного переворота. Сначала думают создать что-нибудь соответствующее старой “Думе государевой”, а затем приходят к решимости упразднить старую полноту власти государя. И в том и в другом фазисе размышлений и разговоров лица, причастные к данному делу, неизбежно должны были обращаться за справками и сравнениями к прошлому, именно к тем его моментам, когда в старой Москве ставились и

¹⁵ См. вторую половину статьи А.И. Маркевича “Избрание на царство М.Ф. Романова” (ЖМНП. 1891. Октябрь).

¹⁶ *Милюков П.Н.* 1) Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII в. и реформа Петра Великого. СПб., 1892. С. 673–680; 2) Попытка государственной реформы при воцарении императрицы Анны Иоанновны. Б.м., 1894; *Павлов-Сильванский Н.П.* Проекты реформ в записках современников Петра Великого. СПб., 1897. С. 66–67.

решались те же самые вопросы о формах и способах управления. Ища ответа на свои вопросы в прошлом, они вспоминали – по устным преданиям – то, что было в старину, и по-своему освещали то, что вспоминали. Их воспоминания и толкования получали широкое распространение в кругу их близких и знакомых, – и вот почему около 1720–1730 гг. иностранцы, жившие в России и писавшие о ней, располагали такими сведениями о Смутном времени и о начале царствования Михаила, какими не располагала ни печатная, ни рукописная историческая наша литература того времени. Приводя свои данные, эти господа и ссылались иногда на частные архивы и частные рассказы. Страленберг, например, упоминает о письме, “которое, как говорят, можно еще было видеть в оригинале у недавно умершего фельдмаршала Шереметева и из коего некто, его читавший, сообщил мне (т.е. Страленбергу) несколько данных”. Шмидт-Физельдек, живший в доме графа Миниха, не иначе, как только путем слухов, ходивших в кругу его патрона, мог быть осведомлен о документах, хранимых, по его сообщению, в Успенском соборе и каком-то “архиве”. Исторический материал, добытый таким путем, не мог быть, конечно, точен и полон. Предание знало, что в Смутное время избрание на престол В. Шуйского было сопряжено с обещаниями царя подданным. В хронографах и рукописных сборниках можно было найти и самую запись, на которой Шуйский “поволил” целовать крест. Таким образом, при желании и старании факт “ограничений” Шуйского мог быть установлен твердо. Знало предание и о том, что Владислава избрали на условиях; могли даже быть известны и самые условия тем, кто имел тогда доступ в архивы. Но условий, предложенных, как предполагали, царю Михаилу, никто не знал, между тем предание помнило, что царь Михаил Федорович правил не один, не по-старому, а с участием земщины. Не зная действительных отношений царя и земского собора, представляли их себе в том виде, какой считали нормальным по понятиям своей эпохи. Так и явились, думается нам, условия, изложенные у Страленберга и повторенные у Фокеродта и графа Миниха. Они воспроизводили положение, не действительно бывшее в 1613 году, а такое, какое предполагалось для того времени естественным: царская власть ограничена бюрократической олигархией и связана рядом точно сформулированных условий в административных, судебных и финансовых ее функциях. Словом, предание о начале XVII века строилось на данных начала XVIII века, и его детали в наших глазах должны характеризовать не первый, а второй из этих моментов. Таков будет, по нашему разумению, единственно правильный научный прием в оценке баснословного рассказа Страленберга и зависимых от него показаний Фокерод-

та и Миниха. Что же касается до остальных двух свидетельств XVIII столетия, именно упоминаний Шмидт-Физельдека и Татищева, то это только упоминания, не более. Один говорит, что в 1613 году существовала “eine förmliche Kapitulation”, а другой – что царя Михаила избрали “с такою же записью”, как и В. Шуйского. Оба эти известия доказывают только то, что их авторы верили в справедливость ходивших в их время рассказов о существовании ограничительной записи царя Михаила Федоровича, и что самой записи они не видели и не знали.

Итак, если бы об ограничениях 1613 года существовали только известия XVIII века, мы не дали бы им веры и воспользовались бы ими только для характеристики политического умонастроения тех кругов русского общества, которые подготовили “затейку” с пунктами 1730 года, а также ее падение. Возникновение предания о записи царя Михаила мы в таком случае объясняли бы неумением деятелей петровской эпохи понять соправительство Михаила с земским собором иначе, как результат формального ограничения верховной власти и притом ограничения по известному образцу. Но в данном случае вопрос осложняется тем, что о боярском ограничении власти М.Ф. Романова говорят два его современника – анонимный автор Псковского сказания о Смуте и известный Котошихин. Над тем, что они говорят, стоит остановиться.

Псковское сказание “о бедах и скорбех и напастех” давно уже оценено С.М. Соловьевым и А.И. Маркевичем¹⁷. Однако и теперь физиономия этого памятника недостаточно ясна. Автор Сказания неизвестен; не поддается определению и самая среда, к которой он принадлежал. Сделано лишь то наблюдение, что он не тяготел к высшим кругам, псковским или московским, и писал “в духе меньших людей, в духе собственно псковском, с сильным нерасположением к Москве, ко всему, что там делалось, преимущественно к боярам, их поведению и распоряжениям”. К этим словам С.М. Соловьева следует добавить, что местная “собственно псковская” тенденция сказателя не была политической и не переходила в сепаратизм. Его протест был направлен против московских бояр как представителей высшего социального слоя, политически и экономически вредного одинаково для Пскова и Москвы, для всего русского народа. Демократическое настроение автора ведет его к крайностям и несправедливости. Раз дело касается “владущих”, он готов на всякие обвинения и подозрения. Бояре Шуйские, по его мнению, злодейски погубили кн. М.В. Ско-

¹⁷ Сказание – в ПСРЛ. Т. 5. С. 55–62–66. О нем: *Соловьев*. История России. Т. 2. Стб. 1387–1390; *Маркевич А.И.* Избрание на царство М.Ф. Романова. С. 380–383. См. также: *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 340–341.

пина-Шуйскаго; затем другие “от боярска роду” возненавидели “своего христианскаго царя” и стали желать царя “от поганых иноверных”, чем и погубили Москву; при освобождении Москвы от поляков “древняя гордость” боярина князя Д.Т. Трубецкого, не желавшего помочь Пожарскому, чуть было не помешала успеху дела. Стоявшие с Трубецким под Москвою “рустии бояре и князи”, несмотря на горький опыт с Владиславом, снова умыслили призвать иноземного царя и дважды посылали за ним в Швецию, “и не сбыться их злый боярска совет”, потому что “избрали ратные люди и все православные на Московское государство царем” М.Ф. Романова. Когда, не ожидая исхода посольства в Швеции, тотчас по взятии Москвы собрались русские люди и стали говорить: “не возможно нам пребыти без царя ни единого часа”, – то владущие и на соборе завели речь об иноземце: “и восхотеша началницы паки себе царя от иноверных, народи же и ратнии не восхотеша сему быти”. Таким образом, до воцарения Михаила Федоровича бояре, руководившие властью, приводили народ к бедам и гибели. При Михаиле пагубная деятельность владущих продолжалась, но из сферы политической она перешла в сферу административно-хозяйственную. Вот как представляет ее себе автор: так как новый государь был молод и не имел “еще толика разума, еже управляй землею”, то “не без мятежа сотвори ему державу враг дьявол, возвыся паки владущих на мздоимание”. Владущие снова стали кабалить себе народ, “емлюще в работу сильно себе” трудовое население, возвращавшееся из плена и бегов: они уже забыли прежнее “безвремение”, когда “от своих раб разорени быша”. Не боясь царя, они “его царская села себе поимаша”, так как государь не знал своих земель вследствие пропажи писцовых книг, “яко земския книги преписания в разорение погибоша”¹⁸.

¹⁸ Дворцовые села и земли действительно были расхищаемы в Смутное время, но уже в начале 1613 года началось их обратное движение во дворец. Собор 1612–1613 года постановил “отписывать дворцовых сел пашенных и посошных и оброчных”, и “отпищики посланы” (Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 1083–1084 и примеч. 2). Таким образом, хищениям полагали конец. Но при царе Михаиле законным порядком и преимущественно в мелкую раздачу стали снова и притом усиленно тратить дворцовый земельный фонд (*Гомье Ю.В.* Замосковский край в XVII веке. М., 1906. С. 320–326). Это обстоятельство по-своему и освещает автор псковского сказания. Надобно заметить, что и в других псковских летописях бояре обличаются в присвоении земель: “а села государевы розданы боярам в поместья, чем прежде кормили ратных”, – говорится под 1618 годом в первой Псковской летописи (ПСРЛ. Т. 4. С. 332). Интересно, что здесь князь И.Ф. Троекуров представляется злодеем, тогда как в разбираемом псковском Сказании ему высказывается похвала (Там же. Т. 5. С. 64): так мало знали во Пскове московских бояр. Обличение в захвате дворцовых сел читаем и под 1607 годом; здесь виновными оказываются П. Шереметев и И. Грамотин (Там же. Т. 4. С. 324).

В то же время, умалив хищничеством государевы доходы, они понудили царя к увеличению податных тягот: на государевы и государственные расходы брали со всей земли как обычные оброки и дани, так и экстренную пятую деньгу, “пятую часть имения у тяглых людей”; на “царскую потребу и роскоды” шли даже и те доходы, из которых прежде “государь царь оброки жаловаше”, то есть давал жалованье служилым людям (предполагаем, “четвертчикам”). Своекорыстно отнеслись бояре и к тому случаю, когда под Москву явились “нецыи вои, в Поморьи суще, бяжу грабяще люди”. Отстав от грабежа и сознав свою вину, эти воиказаки пожелали идти на помощь Пскову, будто бы осажденному тогда шведами, – “и приидоша к царствующему граду и послаша к царю о себе”. И вот “слышав бояре, начата советовати себе, как сия волныя люди себе поработити, понеже наши рабы прежде быша, а ныне нам силны быша и не покоряхуся; и призвавше во град голов их, яко до треисот... и переимаша их и перевязаша, а на прочих ратию изыдоша и разгромиша их и многих переимаша, а достальных 15 000 в Литву отъехалаша”. В этом рассказе дело идет, очевидно, об известном походе воровских казаков к Москве и о поражении их князем Лыковым на реке Луже¹⁹, причем событие излагается с точки зрения казачьей, “воровской”, то есть так, как изложил бы его участник воровского похода, желавший его оправдать и даже идеализировать. Не говоря уже о том, что казачий приход под Москву произошел на несколько месяцев ранее шведской осады Пскова, самые обстоятельства похода и правительственной репрессии переданы совсем неверно, с наивною тенденциозностью, идущею во что бы то ни стало против владущих бояр. Бояре, жадно и злобно хватающие себе царские земли и рабочих людей, разоряющие царя, государство и народ, представляются автору главным, даже единственным пожалуй, злом его современности, на которое направлена вся сила его обличения. Мы готовы поэтому, вспомнив казачьи речи Смутной эпохи против “лихих бояр”, счесть казаком и самого автора Сказания. Но это не будет верно, так как наш автор не с казаками, а против казаков. Говоря о казачьем восстании при В. Шуйском, он характеризует восставших как “не хотящих жити в законе божи и во блазей вере и в тишине, но в буйстве и во объядении и во упивании и в разбойничестве живуще, желающе чюжаго имения и приступльших к литовским и немецким людям”. Для него казаки – “яко полстии зверие от пустыня”: вот почему пскович,

¹⁹ Книги разрядные. Т. 1. Стб. 1–29; Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8. С. 214–216; *Соловьев*. История. Т. 2. Стб. 1062–1065.

вооруженный против бояр, не может быть поставлен в казачьи ряды. Он – земский, только глубоко простонародный человек. Он видит в царе Богом избранную для воссоздания старого порядка власть, в которой “Бог воздвиге рог спасения людей своих”, – и, когда около “блаженнаго”, “зело кроткаго, тихаго” царя совершается зло и неправда, автор может объяснить это только боярским умыслом. Отозвали хороших воевод от Смоленска, а послали плохих и проиграли дело, – это вина бояр: они это сделали, они скрывали от царя неудачу, они не допускали к царю вестников; “сицево бе попечение боярско о земли Русской!” Осадили шведы Псков, во Пскове стал голод, к царю “много посылаша из града о испоручении”, – бояре скрывали от царя вести и вестников, “людския печали и гладу не поведаху ему”, и Псков не получил помощи: “сицево бе попечение боярско о граде!” Расстроился брак царя с Хлоповой, затем умерла его первая жена, – во всем виноваты бояре: “все то зло сотворися от злых чаровников и зверообразных человек”, которые “гнушахуся своего государя и гордыхуся”. Кого именно из бояр разуместь виновниками зла на Руси, автор Сказания, по-видимому, точно не знал. Таков для него и князь Д.Т. Трубецкой, надменный “древнею гордостью” боярин; таковы же для него “цареве матери племянники” Салтыковы, которые “гнушались” своего государя и не хотели “в покорении и в послушании пребывати”; таковы же “под Москвою князи и бояре”, призывавшие шведского королевича на московский престол; таковы же думцы царя Михаила Федоровича, не пославшие помощи под Смоленск и Псков. Для нас Трубецкой, Салтыковы, Пожарский с “князьями и боярами” под Москвою и в Ярославле, князь Мстиславский “с товарищи”, бывшие в Думе царя Михаила с начала его царствования, – все это разные круги, направления и репутации. Для автора псковского Сказания все эти люди – один “окаянный и злый совет”, в котором он не различает партий и направлений. Всякий, кто в данное время пользуется, по выражению Грозного, “честью председания”, тот для нашего автора и есть “владушый”, стоящий у власти и злоупотребляющий ею. С демократических низов своего псковского мира автор готов был во всем подозревать всякого “владущаго” в далекой Москве.

Такова обстановка, в которой находится краткое сообщение псковского автора о присяге царя Михаила. Оно дословно таково: владущие, захватывая себе людей и земли, “царя ни во что же вмениша и не боящися его, понеже детеск сый, еще же и лестию уловивше: первие, егда его на царство посадиша и к роте приведоша, еже от их велможка роду и боярска, аще и вина будет преступление их, не казнити их, но рассылати в затоки; сице окаяннии умыслиша; а в затоце коему случится быти, и оне друг о

друге ходатайствуют ко царю и увещают и на милость паки обратятся. Сего ради и всю землю Рускую разделивше по своей воли” и т.д.²⁰ Точный смысл этого показания состоит в том, что владущие бояре своевольничают, не боясь государя, во-первых, потому, что он молод, а во-вторых, потому, что им удалось его склонить, “уловить лестию”, на то, чтобы не казнить, а только ссылать виновных людей “велможска роду и боярска”. Как это удалось владущим, не совсем ясно из фраз нашего автора: его слова можно понять и так, что бояре взяли с царя одно только это обещание под клятвою, когда его “на царство посадиша”; а можно понять и так, что, когда нового государя посадили на царство и взяли с него общую ограничительную “роту”, присягу, то бояре склонили его и на особое в их пользу обязательство. Во всяком случае, речь идет о какой-то “роте” и “обязательстве в пользу бояр и по почину бояр. Ничего точного и определенного о форме и содержании ограничений автор, очевидно, не знал. Но он верил в “роту”, потому что иначе не мог себе объяснить своеволия и безнаказанности “владущих”, и самый предмет этой “роты” он свел в своем представлении только к обязательству не казнить владущих, а рассылать “в затоки”. Не знание политического факта, а желание объяснить непонятные факты, на основании слуха или своего домысла о царской “роте”, – вот что лежит в основании наивного сообщения псковского писателя о московских делах и отношениях. Ознакомясь поближе с псковским известием, мы не придадим ему значения компетентного свидетельства. Глубоко простонародное воззрение на ход политической жизни, соединенное с незнанием действительной ее обстановки, и проникнутое слепую ненавистью к сильным мира сего, сообщает псковскому Сказанию известный историко-литературный интерес, но отнимает у него значение исторического “источника” в специальном смысле этого термина. Если бы об ограничениях царя Михаила сохранилось одно только псковское сообщение, разумеется, ему никто бы не поверил.

Иного рода сообщение известного Котошихина. Вот его существеннейшее содержание: “Как прежние цари после царя Ивана Васильевича обираны на царство, и на них были иманы письма... А нынешняго царя (Алексея) обрали на царство, а писма он на себя не дал никакого, что прежние цари давывали; и не спрашивали... А отец его блаженный памяти царь Михаил Феодорович хотя самодержцем писался, однако без боярского совету не мог делати

²⁰ Знаки препинания принадлежат нам: в печатном издании пунктуация нам не представляется удовлетворительною (ПСРЛ. Т. 5. С. 64).

ничего”²¹. Опущенные нами пока фразы говорят о содержании “писем” и компетенции царя и бояр; в приведенных же словах вот что устанавливается категорически: во-первых, всех московских царей, после Ивана Грозного “обирали на царство”, во-вторых, с них брали ограничительные “письма”, и, в-третьих, ограничение царя Михаила имело действительную силу, и он правил с боярским советом. Котошихин знал московское прошлое, по выражению А.И. Марковича, “плоховато”, и его былевые показания необходимо тщательно проверять. Сам А.И. Маркевич в результате такой проверки²² выяснил, что под термином “обирание” у Котошихина надо разумеать не только избрание в нашем смысле слова, но и особый чин венчания на царство с участием “всей земли”. Летописец, современный Котошихину, о царском венчании повествует даже так, что самый почин венчания усваивается земским людям. О венчании царя Феодора Ивановича он, например, говорит: “придоша к Москве изо всех городов Московскаго государства и молили со слезами царевича Федора Ивановича, чтобы не мешкал, сел на Московское государство и венчался царским венцем; он же государь не презри моления всех православных христиан и венчался царским венцом”. О венчании же царя Михаила летописец говорит, что по приезде избранного царя в Москву “придоша ко государю всюю землею со слезами бити челом, чтобы государь венчался своим царским венцом; он же не презри их моление и венчался своим царским венцом”²³. Тот же почин земщины разумеет и Котошихин, когда рассказывает о царе Алексее Михайловиче, что по смерти его отца все чины “соборовали” и “обрали” его и “учинили коронование”. Роль земских чинов на этом “короновании”, по представлению Котошихина, ограничивается тем, что представители сословий присутствуют при церковном торжестве, поздравляют государя и подносят ему подарки; “а было тех дворян и детей боярских и посадских людей для того обрания человека по два из города”²⁴. Таким образом, сообщение Котошихина о том, что русские цари после Грозного были “обираны”, никак не может быть понято в смысле установления в Москве принципа избирательной монархии. Терминология нашего автора

²¹ *Котошихин Г.К.* О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1859. Гл. VIII, § 4.

²² *Маркевич А.И.* Григорий Карпович Котошихин и его сочинение о Московском государстве в половине XVII века. Одесса, 1895. С. 96–100. См. также вышеназванную статью А.И. Маркевича “Избрание на царство М.Ф. Романова”. Мы не исчерпываем здесь всех наблюдений покойного историка.

²³ Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8. С. 5, 6, 206.

²⁴ *Котошихин Г.К.* О России в царствование Алексея Михайловича. Гл. I, § 6.

оказывается здесь не столь определенной и надежной, как представляется с первого взгляда. Равным образом и свидетельство Котошихина о “письмах” надобно надлежащим способом уяснить и проверить. Какие избранные на московский престол государи и каким именно порядком давали на себя письма, мы знаем без Котошихина; знаем и самые тексты “писем”. Все эти письма, по Котошихину, имеют одинаковое содержание: “быть нежестоким и непалчивым, без суда и без вины никого не казнити ни за что и мыслити о всяких делах з бояры и з думными людми сопча, а без ведомости их тайно и явно никаких дел не делати”. Мы же знаем, что этими условиями исчерпывалось содержание только записи Шуйского; договоры же с иноземными избранныками имели более широкое содержание. Шуйский давал подданным обещание не злоупотреблять властью, а править по старому закону и обычаю. А договоры с польским и шведским королевичами имели целью установить форму и пределы возникавшей династической унии с соседним государством и постановку в Москве власти чуждого происхождения. Иначе говоря, запись Шуйского гарантировала только интересы отдельных лиц и семей, другие же “письма” охраняли прежде всего целостность, независимость и самобытность всего государства. В этом – глубокое различие известных нам “писем”, различие, оставшееся вне сознания Котошихина. Отсюда и неточность его в передаче самых ограничительных условий. У Котошихина власть государя ограничивается Боярскою думою (“боярами и думными людми”) во всех случаях безразлично. На деле Шуйский говорил только о боярском суде и налагал на себя ограничения лишь в сфере сыска, суда и конфискации; в договоре же с Владиславом администрация, суд и финансы обязательно входили в компетенцию Боярской думы, а законодательствовать могла лишь “вся земля”. Зная это, отнесемся к сообщению Котошихина как к такому, которое лишь слегка и слишком поверхностно касается излагаемого факта. Как во всем прочем былевом материале, Котошихин и здесь оказывается малообстоятельным и ненадежным историком. А раз это так, наше отношение к последней частности в рассказе Котошихина – к ограничениям царя Михаила – должно стать весьма осторожным. Кому именно царь Михаил дал на себя письмо, Котошихин не объясняет: он и вообще не говорит, кем были иманы на царях письма. По его представлению, царь Михаил не мог ничего делать “без боярского совету”; а так как боярский совет Котошихин дважды в данном своем отрывке отождествляет “з бояры и з думными людми”, то ясно, что под боярским советом мы должны разуместь Боярскую думу как учреждение, а не сословный круг бояр как политическую среду. Сама Боярская дума в момент избрания Михаила, можно

сказать, не существовала и ограничивать в свою пользу никого не могла. Органом контроля над личной деятельностью государя и его соправительницею она могла быть сделана лишь по воле тех, кто в начале 1613 года владел политическим положением на Руси и мог заставить молодого царя дать “на себя письмо”. Но кто тогда имел силу это сделать, Котошихин не говорит и не знает, и если мы захотим придать вес его сообщению о факте ограничения Михаила, то характер и способ этого ограничения должны еще определить сами. В этом отношении показание Котошихина совершенно невразумительно.

Таковы известия об ограничении власти царя Михаила Федоровича. Ни одно из них не передает точно и вероподобно текста предполагаемой записки или “письма”, и все они в различных отношениях возбуждают недоверие или же недоумение. Из материала, который они дают, нет возможности составить научно-правильное представление о действительном историческом факте. Дело усложняется еще и тем, что до нас не дошел подлинный текст (если только он когда-либо существовал) ограничительной грамоты 1613 г., и не наблюдается ни одного фактического указания на то, что личный авторитет государя был чем-либо стеснен даже в самое первое время его правления²⁵. В таком положении дела нет возможности безусловно верить показаниям об ограничениях, сколько бы ни нашлось таких показаний. Мы видели ранее, что в момент избрания Михаила положение великих бояр, представлявших собою все боярство, было совершенно скомпрометировано. Их рассматривали как изменников и не пускали в Думу, в которой сидело временное правительство – “начальники” боярского и не боярского чина с Трубецким, Пожарским и “Куземкою” во главе; их отдали на суд земщины, написав о них в города, и выслали затем из Москвы, не позвав на государево избрание; их вернули в столицу только тогда, когда царь уже был выбран, и допустили 21-го февраля участвовать в торжественном провозглашении избранного без них, но и ими признанного кандидата на царство. Возможно ли допустить, чтобы эти недавние узники польские, а затем казачьи и земские, только что получившие свободу и амнистию от “всея земли”, могли предложить не ими избранному царю какие бы то ни было условия от своего лица или от имени их разбитого Смуту сословия? Разумеется, нет. Такое ограничение власти в 1613 году прямо немыслимо, сколько бы о нем

²⁵ Вместе с А.И. Маркевичем не считаем стеснениями фактов, приводимых С.М. Соловьевым (*Соловьев. История. Т. 2. Стб. 1293–1294*), именно, изменения печати и распоряжений бояр об Андронове (*Маркевич А.И. Избрание на царство М.Ф. Романова. С. 390–392*).

ни говорили современники (псковское Сказание) или ближайшие потомки (эпохи верховников). Но, может быть, необходимо допустить, что не само боярство, а какая-либо иная сила успела ограничить власть, действуя через Боярскую думу как высшее учреждение, и обратив эту Думу в свой служебный орган? Чтобы отрицательно ответить и на этот вопрос, необходимы некоторые справки в фактах правительственной практики времени царя Михаила. Попробуем их дать.

III

После избрания Михаила Федоровича земский собор отправил к нему посольство “в Ярославль или где он, государь, будет” для того, чтобы “государю бити челом и умолять его, государя, всякими обычай” быть на государстве и поспешить в Москву. Посольство нашло Михаила в Костроме 13-го марта; 14-го марта он дал свое согласие, “учинился в царском наречении и посох и благословение от Феодорита, архиепископа Рязанскаго, и ото всего освященнаго собора принял”. Таким образом, по официальной отметке, “тое же зимы, в великий говейна, марта в 14 день, наречен бысть богоизбранный государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Руси на царство”. 19-го марта государь уже выехал из Костромы к Москве на Ярославль²⁶.

Но еще ранее этого дня начались деловые письменные сношения нового царя и состоявших при нем лиц с земским собором в Москве. Вслед за своим посольством собор посылал из Москвы донесения новому монарху в надежде, что он не откажется принять власть, но еще не получив извещения, что он ее действительно принял. Сохранились такие соборные донесения из Москвы от 4-го и 15-го марта. А 17-го марта из Костромы земские послы пишут в Москву собору, прося “государеву печать и боярской список прислати” немедленно, так как, по их словам, “у нас, господа, за государевою печатью многие государевы грамоты стали”. Очевидно, новая власть не могла медлить началом своей деятельности и сразу взялась за работу. До самого приезда царя в Москву (2-го мая) продолжались его письменные сношения с московскими учреждениями, и остатки этой переписки²⁷ дают нам несколько

²⁶ Дворцовые разряды. Т. 1. С. 31, 44, 53, 65–67.

²⁷ Мы разумеем любопытное собрание грамот, напечатанных в “приложении” к первому тому Дворцовых разрядов. Что в этом собрании уцелели не все относившиеся к нему документы, ясно, например, из текста на стб. 1049, где упоминаются не дошедшие до нас письма (“писали к вам многжды”), или из текста на стб. 1177, где упомянут не сохранившийся до нас список городовых дворян и детей боярских (ср. № 48 на стб. 1145).

ценных намеков на характер первоначальных отношений между царем Михаилом и органами центральной власти.

Прежде всего надлежит отметить, что в течение Великого поста с государем сносятся земский собор, то есть “освященный собор”, “бояре” и “всяких чинов люди”. Со среды святой недели, 7-го апреля, сношения ведутся всего чаще от имени “Федорца Мстиславскаго с товарищи”, и государь с своей стороны пишет “бояром нашим князю Ф.И. Мстиславскому с товарищи”²⁸. Обращение государя к более широкому кругу лиц после Пасхи наблюдается лишь в немногих особо важных случаях. Объяснений такой перемене в самих документах нет, и потому мы о ней можем лишь гадать.

По некоторым отпискам из Москвы можно заключить, что члены земского собора, избравшего царя Михаила, не довольствовались тем, что их послы видели нового государя, но и сами хотели видеть его очу. Так, например, поступили нижегородские выборные, просившиеся у собора к государю немедля по его избрании²⁹. Понемногу к государю ехали из Москвы не только московские столичные служилые чины, но и провинциальные служилые представители. В конце марта все они официально еще числились в Москве, и собор писал государю: “дворян, государь, и детей боярских без твоего государева указа с Москвы мы никуда не отпускали опричь тех, которые отпущены к тебе, государю, в челобитчиках (то есть в соборном посольстве) и которые посланы по городом для твоих государевых дел”³⁰. Позднее (но когда именно, сказать точно нельзя) государь велел стольникам, стряпчим и жильцам быть на службе с ним “в походе к Москве”, и 25-го апреля в селе Любилове был им окончательный смотр³¹. Около этого времени бояре писали из Москвы царю, что “на Москве столников и дворян болших и стряпчих нет никого”; “да и городовые, государь, дворяне многие, – прибавляли они, – поехали к тебе, государю”. В другой отписке бояре выразились и еще категоричнее: “столники

²⁸ См.: Дворцовые разряды. Стб. 1103–1104. Отписка издателями помечена “после 10-го апреля” неправильно: в ней говорится об отпуске к государю П. Кобякова “того же дни”, когда в Москве получена привезенная им с Рязани отписка М. Вельяминова, то есть 7-го апреля. Пасха в 1613 году была 4-го апреля; поэтому 7-го апреля приходилось на среду святой недели.

²⁹ Там же. Стб. 1085–1086.

³⁰ Там же. Стб. 1084.

³¹ Там же. Стб. 1145–1146. Может быть, государь вызвал к себе служилых людей вследствие того “челобитья” князей Трубецкого и Пожарского, которое напечатано в Дворцовых разрядах (стб. 1207–1208) и издателями отнесено не туда, куда должно, – к апрелю вместо марта. Временное правительство Трубецкого и Пожарского уступило место Боярской думе с Мстиславским во главе тогда, когда Мстиславский “с товарищи” получили амнистию и с нею первенство в Думе. Мы знаем, что это случилось не ранее 21-го февраля и не позднее Пасхи 1613 года.

и дворяне болшие и из городов выборные все с тобою, государем”; и это их выражение государь повторил в своей ответной грамоте: “а дворяне и столники и стряпчие с нами все; а что с нами дворян болших и столников и стряпчих и дворян выборных из городов, и мы к вам послали имянной список”³². Если принять во внимание, что некоторых московских дворян в те дни не было ни в Москве, ни с государем, потому что они, по боярскому выражению, “разъехались по домом”, “многие разъехались по деревням”³³, – то можно придти к заключению, что нормальный состав земского представительства на московском соборе в апреле распался. В Москве не осталось вовсе “больших” дворян придворного круга и придворной службы; остались “дворяне и дети боярские на Москве немногие” – попросту, из которых было “в воеводы послать некого”³⁴. Переехали к государю городские выборные дворяне, и таким образом обе части служилого представительства – и та, которая представляла по избранию, и та, которая была на соборе на основании своего служебного положения и значения, – собрались у государя “на походе” если не поголовно, то в бесспорном своем большинстве. В Москве же оставались “власти” – митрополит Кирилл со всем освященным собором, “бояре” – князь Мстиславский с товарищи, да тяглые представители, если только они не последовали примеру нижегородских посадских, пожелавших видеть государевы очи на походе, ранее приезда государя в Москву. Земский собор, словом, разделился, как и в 1610 году. Тогда в великом посольстве к Сигизмунду поехали послы от властей, от Думы и от сословных представителей, причем число последних было очень значительно. Теперь членами посольства к М.Ф. Романову были также “челобитчики” от властей (архиепископ Феодорит с освященным собором), от Думы (Ф.И. Шереметев “с товарищи”) и от “всяких чинов людей” достаточное число “по списком”, причем это число, как мы только что видели, все росло и росло. В 1610 году в Москве оставались, после отъезда посольства, только “власти” или “освященный собор” да Дума, а сословные представители считались находящимися в посольстве, где они и соборовали с старшими послами в особо важных случаях их посольского дела. В 1613 году в Москве оставались те органы центрального управления, которые соответствовали патриаршему совету и Боярской думе нормального времени, да (предположительно) некоторое число земских представителей тяглого сословия³⁵.

³² Там же. Стб. 1128 и 1131, 1144, 1155–1156.

³³ Там же. Стб. 1084, 1126.

³⁴ Там же. Стб. 1128, 1131.

³⁵ *Платонов С.Ф.* Очерки по истории Смуты... Глава V, § 1 и 2; Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 17–18.

Такое разделение собора и переезд земских выборных к государю документами косвенно приурочивается ко времени Пасхи, когда вместо всего собора из Москвы начинают писать царю власти и бояре, а чаще и одни бояре. К Светлому воскресенью Москва естественно должна была опустеть: кто мог, ехал “по домом” и “по деревням”; другие же на “велик день” должны были спешить к государю. Переезд из Москвы на тот или иной государев стан был очень недалек и нетруден; поэтому к государю ехали в очень большом числе, и уже в Троицком Сергиеве монастыре состоялось такое совещание государя с окружавшими его “всякими служилыми и жилецкими людьми”, которое было названо “собором” и от себя послало в Москву к людям всяких чинов посольство, выбрав его “из духовнаго чина и из бояр и из окольных и изо всяких чинов людей... да из городов дворян и атаманов и казаков”. Это соборное посольство, посланное по делу о казачьих грабежах, было встречено в Москве своего рода собором, в котором приняли участие власти, бояре, “всякие служилые люди и гости и торговые московские и всех городов всяких чинов люди”³⁶. Очевидно, что, по представлению московских людей, около государя у Троицы и около высших исполнительных органов власти в Москве находился один, разделившийся на два “собора”, совета вся земля. Если верить точности словоупотребления в тогдашних актах, то следует заключить, что собор у Троицы был по составу преимущественно служилый, а собор в Москве – пестрый, с заметным участием, при духовных и служилых людях, также и тяглого представительства. С приездом государя в Москву оба собора снова слились в один совет вся земля.

Приведенные наблюдения позволяют сделать тот вывод, что царь Михаил Федорович не имел случая встретиться с Боярскою думою в ее полном составе вплоть до своего приезда в Москву. В “челобитчиках” к нему явились немногие члены земского собора с архиепископом Феодоритом и близким для Романовых Ф.И. Шереметевым во главе, но не патриарший освященный собор и не государева Дума. Сношения с царем принадлежали сначала всему земскому собору, а не боярам и “начальникам”, и когда однажды дьяк по недомыслию редактировал земскую отписку государю от лица его “холопей” князей Трубецкого и Пожарского, то его поправили, в чем он описался, и вместо князей написали в отписке государевых холопей “всяких чинов людей Московскаго государства”³⁷. Только тогда, когда большинство земского собора оказалось у государя, он стал сноситься со своею Думою, ведавшею в Москве текущие дела. При таких условиях трудно предположить, чтобы

³⁶ Там же. Стб. 1162 и 1164, 1173, 1185.

³⁷ Там же. Стб. 17, 1083 (ср. текст с примеч. 1).

бояре или Боярская дума успели взять у царя Михаила “письмо” при его “наречении” 14-го марта или же в течение тех семи недель, которые прошли между наречением и приездом царя в Москву. А в эти семь недель новый государь успел, как увидим, создать около себя свой правительственный круг и образовать такой порядок своих отношений к другим органам власти, который нисколько не напоминает нам о формальных ограничениях государя.

По недостатку прямых указаний на то, как были размежеваны правительственные функции между временным правительством в Москве и государем, только что принявшим власть, нам приходится довольствоваться намеками отдельных грамот. Все эти намеки говорят в пользу того предположения, что царь Михаил чувствовал себя лично совершенно независимым от боярства и от собора. Он иногда принимал по отношению к ним даже гневный тон. Из Ярославля, например, он выговаривал собору по поводу некоторых беспорядков и напоминал с достаточной жесткостью, что он не напрашивался на престол: “учинились есмь царем и великим князем всеа Русии вашим прошеньем и челобитьем, а не своим хотеньем, крест нам целовали есте своею волею”. Беспорядки не прекращались, – и от Троицы царь послал в Москву резкую грамоту, отказываясь даже идти в Москву: “конечно и вседушно скорбим и за тем к Москве идти не хотим”³⁸. Эта угроза отказаться от власти и ссылка на крестное целованье по записи, в которой, как известно, московские люди обязывали себя к безусловному повиновению, мало вяжутся с представлением о государе, связанном формальными условиями. Еще более резкий тон, чем в грамотах к собору, проскальзывает в грамоте к боярам по поводу приготовления в Москве царского жилища. Бояре не имели возможности приготовить к государеву приезду те покои, какие желал государь, и известили его об этом. Государь же решительно потребовал повиновения “по прежнему и по сему нашему указу”. И необходимы были личные представления бояр (кн. И.М. Воротынского), чтобы уладить дело³⁹. Иногда со стороны государя видим молчаливый отказ удовлетворить ходатайство бояр, казалось бы, правильное и законное. Бояре просят государя прислать от себя в Москву служилых людей, годных на ответственные поручения, потому что таких в Москве нет, все с государем: “и тебе бы, государю царю, смиловаться, прислать к Москве из стольников, из дворян”. На это государь отвечает приказанием выбрать и послать на дело пригодных людей и к этому прибавляет: “а дворяне и столники и стряпчие с нами все... и мы

³⁸ Там же. Стб. 1100, 1173, 1164.

³⁹ Там же. Стб. 1141–1142, 1151–1154, 1179, 1189.

к вам послали имянной список” – и только. От себя государь не посылает никого, и бояре принимают этот отказ беспрекословно⁴⁰. Вообще, со стороны бояр и собора мы не можем ни разу уследить и малейшего намека на право соправительства с новым монархом. Они являются лишь исполнителями его велений и его верными подданными, “богомольцами” и “холопями”. Наблюдаются, правда, такие случаи, когда “Феодорец Мстиславской с товарищи” по вестям, то есть вследствие экстренных известий военного характера, делали распоряжения и назначения именем государя; но это вызывалось исключительными обстоятельствами той политической минуты и вовсе не было осуществлением политического права. Так 11-го апреля бояре “отпустили” к Рыльску воеводу князя Данила Долгорукова и сформировали ему отряд своею властью; на другой день они “приговорили послать на воров на Заруцкого и на черкас воеводу князя Ивана Одоевскаго”. По вестям писали бояре приказания и в города, призывая местных воевод идти “в сход” с посланными из Москвы и указывая им высылать на службу местных дворян⁴¹. Но все свои распоряжения бояре делали именем государя и доносили ему о принятых мерах немедленно, иногда так и выражаясь, что “от тебя, государя, грамоты писали”, “писали от тебя, государя... с твоим государевым жалованным словом”⁴². По спешности и важности дела бояре просили иногда государя подтвердить их распоряжение вторичною грамотою прямо от него: “государю пожаловать бы, велеть от себя, государя, писать”; государь это, по-видимому, и делал⁴³. Однако подобную самостоятельность бояр мы наблюдаем только в военных, по существу дела экстренных, распоряжениях. Решаясь отправлять по своему выбору полковых воевод, они не решались назначать воевод городских и писали в начале апреля государю: “мы, холопи твои, в города учили были воевод и (людей) для сбора кормов отпускать, и воеводы приходят к нам... а сказывают, что де во все города воеводы... отпускают от тебя, государя; и мы, холопи твои, в города воевод и для казачьих кормов сборщиков посылать без твоего государева указа не смеем”⁴⁴. На это государь отвечал указанием, куда именно им отпущены были городские и полковые воеводы, и разрешал боярам впредь отпускать воевод и в города “по своему приговору”, раз бояре узнают, что в тех городах “без воевод быть не мочно”⁴⁵. Не всегда, однако,

⁴⁰ Там же. Стб. 1131 (ср. 1141–1144), 1156.

⁴¹ Там же. Стб. 1106, 1110–1116, 1102–1104, 1112, 1118.

⁴² Там же. Стб. 1112, 1146, 1138.

⁴³ Там же. Стб. 1126, 1130, 1151.

⁴⁴ Там же. Стб. 1105–1106, 1108.

⁴⁵ Там же. Стб. 1124, 1130, 1139–1140.

государь одобрял и утверждал принятые в Москве меры. Так он запретил собору и боярам отбирать земли у тех служилых людей, которые находились при нем в его походе, и вообще не одобрял московских распоряжений о поместных землях; он писал собору: “многие дворяне и дети боярские бьют нам челом о поместьях, что вы у них поместья отнимаете и отдаете в раздачу без сыску; и вам бы те докуки от нас отвести... мы у тех поместий и вотчин до нашего указа отымать не велели”⁴⁶. Не только конфискацию, но и пожалование земель государь, как кажется, усвоил исключительно своей личной власти. Мы знаем пример, когда сеунщику П. Кобякову за сеунч бояре дали только деньги, а государь пожаловал его придачею к поместному окладу и пустил “в четь”. В сохранившемся от первой половины 1613 года любопытном “земляном списке” все земельные пожалования сделаны, по-видимому, самим государем⁴⁷. Таково общее впечатление, получаемое при знакомстве со списком; если бы оно и не оправдалось, то бесспорным останется тот факт, что государь не был никем стеснен в праве земельных пожалований и свободно пользовался им в первые три месяца своего царствования.

Кажется, не может быть сомнений в том, что приведенные данные не свидетельствуют о существовании каких бы то ни было стеснений для личной власти нового государя в первое время его деятельности; напротив, знакомство с его деловою перепискою ведет к мысли, что царю земский собор вручил власть без всяких ограничивающих ее условий. Сейчас увидим, что и в подборе ближайших сотрудников царь, по-видимому, следовал только своему личному вкусу и семейным симпатиям и связям.

В момент царского избрания под верховенством земского собора и начальством Трубецкого и Пожарского действовала в Москве обычная центральная администрация, “приказы” и “чети”. Вряд ли есть возможность восстановить во всех подробностях ее состав. Но можно видеть, что в ней соединились остатки старого московского приказного штата, уцелевшего от бедствий осады, с теми приказными людьми, которые пришли под Москву в разных ополчениях и в пору московской осады сидели во временных

⁴⁶ Там же. Стб. 1100.

⁴⁷ Там же. Стб. 1104 и 1119; Докладная выписка 121 (1613 г.) о вотчинах и поместьях // Чтения ОИДР. 1895. Кн. 1. Этот документ следует относить ко времени до 11-го июля 1613 года: в нем князь И.Б. Черкасский и князь Д.М. Пожарский показаны в том чину, в котором они состояли до 11-го июля, дня их пожалования в бояре. Даже в безгосударное время санкция государя, – “как Бог даст на Московское государство государя царя и великаго князя”, – считалась необходимою для земельных пожалований, сделанных земским собором (*Забелин И.Е.* Минин и Пожарский. 3-е изд. М., 1896. С. 282).

“приказах”, устроенных в осадном лагере. Из первых можно указать, например, дьяка Ефима Телепнева, сидевшего на Денежном дворе еще до московской осады и оставленного там при боярах и при царе Михаиле⁴⁸. Таков же думный дьяк Алексей Шапилов: уже в 1607 году мы его видим дьяком в Казанском дворце, где он остается все смутные годы, несмотря даже на то, что поляки считали его неблагонадежным. В пору воцарения Михаила Федоровича Шапилов ведал Казанский дворец и Сибирский приказ и продолжает стоять во главе этого ведомства и при новом государе⁴⁹. Среди тех, кто вошел в состав московской администрации конца 1612 и начала 1613 гг. из походных и осадных канцелярий, самое видное место принадлежит думному дьяку Петру Третьякову. Прямой “тушинец”, Третьяков приехал в Тушино “первым подъячим” Посольского приказа летом 1608 года и уехал от вора из Калуги только к осени 1610 года уже дьяком, а через год был вторым думным дьяком в Поместном приказе под Москвою в таборах тушинских бояр князя Трубецкого и Заруцкого. В момент избрания царя Михаила он ведал, кажется, Посольский приказ и при царе Михаиле остался посольским дьяком до самой своей смерти в 1618 году⁵⁰. Через те же казачьи таборы Трубецкого и Заруцкого прошел и думный дьяк Сыдавный Васильев (иначе Зиновьев), отправленный в великом посольстве к Сигизмунду из Москвы и уехавший от великих послов. Во временном правительстве 1612–1613 гг. он был разрядным дьяком⁵¹. Иною дорогою явился в Москву к концу 1612 года дьяк Иван Болотников. Из городских ярославских дьяков он попал в ополчение Пожарского; с ним пришел он под Москву и там вошел в состав центрального управления, а после избрания в цари М.Ф. Романова был отправлен к нему в послах от земского собора и при новом государе стал дьяком Большого дворца⁵². В некоторых приказах временное пра-

⁴⁸ РИБ. Т. 2. Стб. 242, 391, 393; АЗР. Т. 4. С. 496 (ср.: Книги разрядные. Т. 1. Стб. 89): слова гетмана Гонсевского о том, что Е. Телепнев при нем, “на Денежном дворе будучи”, за приставом сидел по обвинению в утайке казны. – РИБ. Т. 9. С. 16, 17, 236 (ср.: *Забелин И.Е.* Минин и Пожарский. С. 293, 294, 297). – Еще в 1624 году Еф. Г. Телепнев оставался “на Денежном дворе и у книжново у печатново дела” (Книги разрядные. Т. 1. Стб. 1037). – Сборник князя Хилкова. М., 1879. № 65.

⁴⁹ АИ. Т. 2. С. 44 и № 64, 82, 310; Т. 3. № 7; ААЭ. Ч. 1. № 75; РИБ. Т. 9. С. 20 и след.

⁵⁰ О П. Третьякове см.: *Платонов С.Ф.* Очерки по истории Смуты... (по указателю); также: ААЭ. Ч. 2. № 165 и 192; АИ. Т. 2. № 120 и Сборник князя Хилкова. С. 72–73.

⁵¹ АЗР. Т. 4. С. 318, 392; *Забелин И.Е.* Минин и Пожарский. С. 291–292.

⁵² Там же. С. 286, 302; ААЭ. Т. 2. № 203 (подписи); Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 17 и 1140.

вительство 1612–1613 гг. свело вместе дьяков, служивших ранее различным и даже взаимно враждебными властям. Так в Поместном приказе сидели думный дьяк Ф.Д. Шушерин и дьяк Герасим Мартемьянов. Из них первый был тушинец, от Тушинского вора выбежал в Москву после падения Шуйского в августе 1610 года, и в следующем 1611 году оказался поместным дьяком в таборах Трубецкого и Заруцкого, где и оставался до взятия Москвы⁵³. Герасим Мартемьянов был совершенно чужд Тушину: он служил Шуйскому, потом был у Ляпунова, после его смерти, оставшись некоторое время в подмосковных таборах, перешел в ополчение Пожарского и с Пожарским пришел к Москве. У Пожарского он ведал поместные дела, как Шушерин ведал их у Трубецкого⁵⁴. Когда приказы обоих воевод осенью 1612 года были соединены, – во вновь образованном Поместном приказе сели вместе оба дьяка, причем Шушерин, как “думный”, получил первенство. Так остались они сидеть и при царе Михаиле. На Земском дворе уцелел даже один из ставленников Сигизмунда дьяк Афанасий Царевский. Определенный на Земский двор при польском режиме, он был оставлен там по освобождении Москвы боярами и продолжал там служить в первое время царствования Михаила Федоровича, пока не был послан на ратную службу под Смоленск⁵⁵. Приведенные примеры с полной ясностью показывают нам, что в Москве, освобожденной от народного врага, временная правительственная власть не разбирала политического прошлого тех лиц, с которыми ей приходилось работать, и довольствовалась лишь убеждением, что эти лица в данное время надежны и годны. Как само временное правительство составилось из лиц различных политических симпатий, служивших когда-то взаимно враждовавшим господам, так и орудия этого правительства отличались большою политической пестротой. Нет сомнения, что такая пестрота была

⁵³ О Шушерине – ААЭ. Ч. 2. № 192; АИ. Т. 2. С. 362; Акты XIII–XVII вв., представленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий после отмены местничества. Ч. 1. 1257–1613. С предисловием А.И. Юшкова // Чтения ОИДР. 1898. Кн. 3. № 305, 307, 309; ААЭ. Т. 2. № 207; АИ. Т. 3. № 41 и 67.

⁵⁴ О Мартемьянове – Акты XIII–XVII вв., представленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий... № 287, 289, 299, 300, 302, 308, 312; ААЭ. Ч. 2. № 192. Интересно сопоставить у г. Юшкова грамоты от 22-го и 26-го июля 1612 г. (№ 308 и 309): одна дана Пожарским за приписью Мартемьянова, другая – Трубецким за приписью Шушерина. В это время воеводы еще не соединились. Позднее при царе Михаиле на одной и той же грамоте видим приписью Шушерина, а “помету Герасимову” (т.е. Мартемьянова); ср.: АИ. Т. 3. № 41 и 66 (С. 61).

⁵⁵ АЗР. Т. 4. С. 403; АИ. Т. 2. № 314, примеч.; Барсуков А.П. Род Шереметевых. СПб., 1882. Кн. 2 (facsimile грамот на с. 300 и 350); Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 104, 102; АИ. Т. 3. № 4.

очень удобна для нового государя и развязывала ему руки в деле предстоявшего ему правительственного подбора, избавляя его от возможности борьбы с однородным и односторонним, неудобным или неприятным для него административным составом.

Новый государь оставил у дел всех тех, кого застало на местах его избрание. Не было ни одной опалы, ни одного удаления в пору “наречения” нового монарха. Любопытно, что даже делопроизводство о так называемых “изменниках”, то есть предавшихся Сигизмунду московских людях, старались как будто не связывать с именем нового царя и доносили ему, например, что известного Андропова “вершат по его злодейским делам, как всяких чинов и черные люди об нем приговорят”⁵⁶: новый царь не должен был выступать с своей санкцией в мрачных делах смутного прошлого. Но принимая от собора власть и с нею известный состав правительственных лиц, государь немедля ввел в него своих близких людей. Из переписки Михаила Федоровича с земским собором и московскими боярами видно, что уже в начале апреля в государеве походе у государя был образован приказ Большого дворца. В нем были посажены Борис Михайлович Салтыков и дьяки Иван Болотников и Богдан Тимофеев. Из них И.И. Болотников известен уже нам как член земского посольства и деятель Ярославского ополчения, вероятно, ведавший дворцовые дела и во время боярского правительства в Москве. Салтыков же был лицом, что называется, своим у царя Михаила по родству с его матерью и по житейской близости: два брата Борис и Михаил Салтыковы “с ним, государем, жили в Ипатском монастыре”, когда земское посольство туда явилось. Под руководством государева приятеля старшего Салтыкова “дворец” принял в свое заведывание дворцовые и монастырские села и земли и стал собирать с них “корм” на государя и его свиту и казаков⁵⁷. В то же время младший Салтыков, Михаил Михайлович, получил звание кравчего. Обозначились одновременно и другие “ближние” люди: в конце апреля 1613 года на стану в селе Любилове смотр служилым людям производили князь Афанасий Васильевич Лобанов-Ростовский и Константин Иванович Михалков⁵⁸. Оба они, несомненно, принадлежали к доверенным лицам новой царской семьи. Первый

⁵⁶ Соловьев. История. Т. 2. Стб. 1293–1294.

⁵⁷ Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 1140; также 104, 1105, 1108, 1113; Изборник. С. 357. Жалованную грамоту, данную из этого “дворца”, см. в Чтениях ОИДР (1896. Кн. 3. Смес. С. 10–11).

⁵⁸ О М.М. Салтыкове – Докладная выписка 121 (1613 г.) о вотчинах и поместьях. С. 3; Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 99–100. О Лобанове-Ростовском и Михалкове – Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 1147. Лобанову было скоро сказано боярство: ДРВ. Ч. 20. С. 90.

из них получил звание чашника, крупную поместную дачу и был назначен в заведующие Стрелецким приказом⁵⁹. Второй сделан постельничим и “наместником трети московския”, получал многие знаки царской ласки, до прощения казенного долга, а род его был официально признан не “обычным”: бояре в своем приговоре по одному местническому делу установили, что “Михалковы и у прежних государей бывали ближние люди”⁶⁰. Немногим позднее названных явился и еще один доверенный человек – Никифор Васильевич Траханиотов, пожалованный 13-го июля 1613 года в казначеи. Трудно проследить за тем, какие именно соображения и житейские связи повлияли на приближение к молодому царю столь “обычных” лиц, каковы в сущности были Михалков да Траханиотов. Вряд ли могли они причитать себя в близкое родство с новою династией; скорее это были ее доверенные агенты, введенные в ряды ранее сформированной администрации в качестве таких лиц, на которых новый государь мог вполне положиться.

Рядом с доверенными дельцами Михаил Федорович выдвигал понемногу и свою родню вообще. Не говоря уже о царском дяде Иване Никитиче Романове, заметны становятся многие лица Романовского круга, ранее затертые в водовороте “смутных лет и московскаго разоренья”. Большее значение, чем прежде, получают теперь бояре Ф.И. Шереметев и князь Б.М. Лыков-Оболенский. Первому из них предание усваивает очень видную роль в деле избрания Михаила Федоровича, как родственнику Романовых, представлявшему их на земском соборе. Действительно, сверх общего происхождения от Федора Кошки, Ф.И. Шереметев был близок Романовым еще и потому, что был женат на внучке Никиты Романовича (Ирине Борисовне Черкасской), двоюродной сестре царя Михаила Федоровича. В смутные годы Ф.И. Шереметев неизменно тяготел к Романовым и в 1613 году был первым послом от собора к избранному в цари его сородичу. Князь Б.М. Лыков был женат на дочери Никиты Романовича (Анастасии), родной тетке царя Михаила и Романовым был несомненно свой. И он, и Шереметев сделали свою служебную карьеру ранее воцарения Романовых: оба получили боярство при Росстриге, благоволившем, как известно, Романовскому кругу; оба служили Шуйскому и думою, и мечем; оба были в “семибоярщине” и оба сидели в московской осаде. Новый государь приблизил их к себе, и в его Думе оба они стали одними из самых видных и влиятельных сановников. Приближен был и тот “племянник” Романовых, который во время их опалы при царе Борисе был с ними вместе судим, – князь Иван Борисович Чер-

⁵⁹ Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 104; Докладная выписка 121 (1613 г.) о вотчинах и поместьях. С. 4.

⁶⁰ Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 132, 135; РИБ. Т. 9. С. 3, 5 и далее.

касский, сын Марфы Никитичны, двоюродный брат царя Михаила и шурин Ф.И. Шереметева. Он был первый, кого новый государь пожаловал из стольников в бояре: в день венчания Михаила на царство, 11-го июля 1613 года, было сказано боярство по местническому старшинству сначала стольнику князю И.Б. Черкасскому, затем стольнику князю Д.М. Пожарскому. В первые дни царствования в царской близости видим и стольника князя Ив. Ф. Троекурова, сына Анны Никитичны Романовой, двоюродного же брата государева: на пиру 11-го июля он “вина наряжал” вместе с другими “ближними” людьми; но боярство ему было сказано только в 1620 году, так как “отечеством” Троекуровы не были велики. Ближе к государю стал и его шурин князь И.М. Катырев-Ростовский, за которым была замужем рано умершая сестра царя Татьяна Федоровна Романова. Вызванный под Москву боярским правительством 1612 года из Тобольска, куда он был сослан Шуйским на воеводство, Катырев поспел в столицу к царскому избранию и с начала нового царствования стал близко ко дворцу, хотя почему-то и не был в боярах⁶¹. Если припомним, что за этими наиболее заметными “зятями”, “племянниками” и “шурьями” Романовской семьи потянулись во дворец их менее заметные родственники из князей Черкасских, князей Сицких, Головиных, Салтыковых, Морозовых и других, — то мы поймем, что расположение нового государя быстро наполнило дворец новою придворною знатью. Эта новая среда ничем не была стеснена и ограничена в своей дворцовой и государственной карьере и, соединясь с приказною средою доверенных дельцов, скоро составила в Москве многолюдный правящий круг, общие свойства которого нам, может быть, удастся до известной степени определить. Ко времени приезда в Москву Филарета Никитича этот круг не только вполне сформировался, но уже требовал некоторого обуздания, потому что проявил признаки самоуправства и распущенности. Известный голландец Масса очень дурно аттестует московскую правящую среду в своих письмах 1616–1618 гг. По его словам, в Москве правление было столь худо, что, “если останется в теперешнем положении, долго продлиться не может”; высшие чиновники чрезвычайно корыстолюбивы и лицеприятны, а государь попускает им, надеясь лишь на возвращение из плена своего отца, который “один был бы в состоянии поддержать досто-

⁶¹ О перечисленных лицах см.: Барсуков А.П. Род Шереметевых. Т. 2; Селифонтов Н.Н. Сборник материалов по истории предков царя Михаила Федоровича Романова. СПб., 1898. Ч. 1. С. 293 и след. СПб., 1901. Ч. 2. С. 66 и след.; ДРВ. Ч. 20. С. 76, 78, 91 и др.; Дворцовые разряды. Т. 1. С. 96, 99–100; Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты... (о лицах по указателю).

инство великокняжеское”⁶². Справедливость отзыва Массы можно подтвердить, например, обстоятельствами весьма известного дела Хлоповой и теми мероприятиями, которые провел через земский собор Филарет в первые же дни по своем возвращении в Москву.

В результате наших справок о составе правительственного круга при новом государе выяснилось, что лица этого круга вряд ли имели интерес и возможность добиваться, через Боярскую думу или непосредственно, ограничения царской власти. Поставленные у власти личным доверием царя, связанные часто родством с новой династиею, не имевшие между собою иных связей кроме родства или службы, эти лица помимо династии не имели ни особой силы, ни широкого авторитета для того, чтобы тянуться к власти через формальное ограничение ее высшего носителя. Они пользовались и даже злоупотребляли тем влиянием, которое им давала близость к царю, но, разумеется, они понимали, на чем основано их влияние, и не могли колебать его основания.

Но перед нами может стать еще один вопрос. Если ни в Боярской думе, ни в придворной среде, ни в высшем административном штате мы не можем открыть следы такой организации, которой можно было бы приписать ограничение царя Михаила, — то не был ли такою организацией земский собор в его полном составе, не тот собор, который избрал Михаила, думаем, без всякого “письма”, а тот, который правил страню совместно с царем в первые годы царствования?

В деятельности постоянного земского собора за первое десятилетие царствования М.Ф. Романова были такие черты, которые далеко выводили соборы за пределы чисто совещательных функций. Собор выступал рядом с государем как верховный национально-политический авторитет в делах особой важности. На него ссылались даже в дипломатических сношениях, говоря (Дж. Мерику), что ответ по делу “без совету всего государства” дать нельзя. В отношениях внутренних собор являлся иногда рядом с государем, заслоня собою обычные правительственные органы. Казакам на Волгу посылались грамоты непосредственно от собора вместе с царскими. Ворам-казакам в 1614 году послано было увещание от собора с особым соборным посольством, в состав которого вошли духовные и светские лица. Такие же послы от собора, “околничие и дворяне болшие, а с ними изо властей архимариты и игумены и из приказов дьяки”, собирали по городам в 1614 же году экстренные денежные сборы⁶³. Население видело

⁶² Записки о России XVII-го и XVIII-го века по донесениям голландских резидентов // Вестник Европы. 1868. Август. С. 798, 808.

⁶³ Соловьев. История. Т. 2. Стб. 1128; ААЭ. Ч. 3. № 26, 31, 32, 44; РИБ. Т. 18. Стб. 147 и след.; Книги разрядные. Т. 1. Стб. 4 и след.

над собою не одного царя с его приказными людьми, но и собор с его выборными послами. Соправительство собора с государем было для всех явно; но оно не было результатом формального ограничения власти государя, а было только следствием единства стремлений центрального правительства и создавшего его представительного собрания. И царь, и собор были представителями одной и той же социальной среды, овладевшей положением дел в государстве и стремившейся создать свой порядок. Обе силы действовали согласно, ибо имели одно и то же происхождение и одинаковые цели, и потому заботились не об определении своих прав, а об обеспечении взаимной помощи. И ни один из исследователей истории земских соборов не рискует утверждать, что в данное время соборам принадлежали ограничительные полномочия. Даже те историки, которые верят в существование “письма”, данного на себя Михаилом, не утверждают, что это письмо было взято собором⁶⁴. В виду такой определенности дела нам нет нужды долго останавливаться на вопросе о возможности ограничения земским собором власти царя Михаила Федоровича. На этот вопрос надлежит отвечать отрицательно.

Итак, все наши соображения и наблюдения приводят к тому выводу, что власть царя Михаила Федоровича ни в момент его избрания, ни в ближайшее за ним время не была подвергнута никакому ограничению и выражалась совершенно свободно как в распоряжениях, шедших от имени самого государя, так и в подборе лиц, которых государь назначал на должности во дворце и в приказах. Этот подбор привел к тому, что в один правительственный круг были сведены деятели временного правительства 1612–1613 гг. и люди Романовского круга, близкие к государю по родству и свойству или же удостоенные его доверием по старым житейским связям. Деятельность нового чиновничества не стесняла государя в его власти и сама не была, по-видимому, ничем стесняема, так что весьма скоро заслужила упреки в испорченности и продажности. Не только терпевшие от произвола администрации, но, надо думать, и сам государь с надеждою ожидали приезда государева отца из Польши, видя в Филарете возможного избавителя от приказных и придворных злоупотреблений.

⁶⁴ Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877. Т. 1. С. 246–247: “предполагать, будто земские соборы стояли у престола царя Михаила с ограничивающим власть его значением, предполагать, будто политическое значение земских представителей было условием самого избрания царя, – значит не понимать значения избрания Михаила Федоровича и не иметь близкого знакомства с источниками, относящимися к этой эпохе”; Сергеевич В.И. Русские юридические древности. 2-е изд. СПб., 1900. Т. 2. С. 374–375: “в какой мере был ограничен Михаил Федорович и кем, – остается совершенно неизвестным”.

IV

Говоря о прибытии Филарета из плена в Москву, Масса замечает: “во всех ведомствах переменены штаты и сменены служащие, но все к лучшему; все сделано по приказанию самого родителя царского, но все заранее уже было назначено и определено”⁶⁵. К этому известию Массы надобно отнестись с осторожностью. Действительно, около того времени, когда вернулся Филарет, в Москве произошли некоторые перемены: приехавший с Филаретом думный дьяк Томило Луговский был сделан разрядным дьяком на место дьяка Сыдавного Васильева, переведенного в Казанский дворец. В Казанском дворце с начала 1618 года видим князя А.Ю. Сицкого и дьяка Федора Апраксина вместо бывшего там ранее думного дьяка Алексея Шапилова⁶⁶. Сыдавный Васильев, уступив свое место в Разряде Т. Луговскому, никого не вытеснил в Казанском дворце, а только усилил собою штат последнего. В том же 1618 году в Поместном приказе вместо бывшего там Федора Шушерина появляется думный дьяк Николай Новокшенов⁶⁷. Весною 1618 же года заболел, а летом умер посольский дьяк Петр Третьяков, которого Масса называл “великим канцлером” и считал, по силе его влияния на дела, “большою страусовою птицей”. С апреля 1618 года вместо Третьякова у посольского дела становится думный дьяк Иван Тарасьевич Курбатов-Грамотин, не меньшая “птица”, чем Третьяков. По отзыву Массы, Грамотин, “бывший послом при римском императоре, похож на немецкого уроженца, умен и рассудителен во всем и многому научился в плену у поляков и пруссаков”⁶⁸. Указанные перемены в высшем административном штате могли казаться очень существенными, но они были случайны и совершились почти все до приезда Филарета. Связав их почему-то с приездом государева отца, Масса

⁶⁵ Записки о России XVII-го и XVIII-го века по донесениям голландских резидентов. С. 812.

⁶⁶ Книги разрядные. Т. 1. Стб. 931 (672–673, 726); РИБ. Т. 2. Стб. 1067–1069; АИ. Т. 3. № 78. В 1616 году в Казанском дворце упоминается Петр Третьяков: РИБ. Т. 2. Стб. 1058.

⁶⁷ Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1889. Т. 6: Указная книга Поместного приказа. С. 30, 39, 42, 48, 58 и др. В 1617 году Н. Новокшенов еще был в Новгороде (Книги разрядные. Т. 1. Стб. 388).

⁶⁸ Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 314 и 321; Записки о России XVII-го и XVIII-го века по донесениям голландских резидентов. С. 803 и 811; *Лихачев Н.П.* Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1888. (по указателю – под словами “Грамотин” и “Курбатов”). В чине подьячего Иван Курбатов был в посольствах к цезарю Вельяминова и Власьева (в 1595 г.) и Власьева (в 1599 г.); см. Памятники дипломатических сношений. СПб., 1852. Т. 2. (по указателю – под словом “Курбатов”).

почел нужным оговориться, что, хотя “все сделано по приказанию самого родителя царского, но все заранее уже было назначено и определено”.

Вопреки показанию Массы, можно утверждать, что Филарет думал бороться с административным неустройством, какое застал в Москве, не переменою штатов и лиц, а общими мероприятиями. Круг приближенных и доверенных людей во дворце при нем остался в прежнем составе, нам уже известном. Во время Филарета заметнее становятся некоторые князья Сицкие, князь А.М. Львов, князь Б.А. Репнин – из той же дворцовой знати, какая сложилась при новой династии. Опала постигает при Филарете Салтыковых и некоторых из думных дьяков. Но одни возвышаются, а другие падают, нисколько не меняя общего состава правящей среды; смена лиц совершается постепенно и не тотчас после того, как Филарет принял власть. Салтыковы пали в октябре 1623 года, Грамотин в декабре 1626 года, Т. Луговский был послан в Казань в 1628 году; когда именно лишились милостей Ф. Лихачев и Е. Тепелнев, точно сказать не беремся. Все они были возвращены в Москву тотчас после смерти Филарета в конце 1633 и начале 1634 года – знак, что опала шла именно от “владельца” патриарха⁶⁹. Но владительный патриарх, не стесняясь в изъявлении своего гнева даже на свою высокопоставленную родню вроде братьев Салтыковых, по-видимому, никогда не считал необходимою общую чистку приказного состава, о которой говорит Масса. При нем серьезных опал вообще было очень немного, а в первые дни своего пребывания в Москве он думал решительно не о смене лиц, а о перемене общего режима. Тотчас по своем поставлении в патриархи он указал государю на главные неустройства московской жизни и вместе с сыном спрашивал земский собор: “как бы то исправить и земля устроить?” В результате общего совета была целая система мер, которая, как известно, преследовала две цели: во-первых, поднять платежные и служебные силы населения и, во-вторых, упорядочить администрацию. Для достижения этих целей, сверх обычных средств, какими тогда обеспечивалось правосудие и порядок, был устроен, между прочим, особый приказ, получивший название “приказа сыскных дел”, – для того, чтобы “про сильных людей во всяких обидах сыскивати”. В этом приказе сидели в 1619 году бояре князь И.Б. Черкасский и Д.И. Мезецкий и представляли собою как бы высшую судебную инстанцию,

⁶⁹ О Салтыковых: СГГД. Ч. 3. № 64; о Грамотине; РИБ. Т. 9. С. 438, 440; о Луговском – Книги разрядные. Т. 2. Стб. 84. О всех вообще опальных дьяках: Дворцовые разряды. Т. 2. Стб. 862 и 867 и Книги разрядные. Т. 2. Стб. 450. О возвращении опальных: РИБ. Т. 9. С. 529, 545, 551.

куда поступали судные дела из других приказов⁷⁰. Направленный вообще против нарушителей чужого права, насильников и обидчиков, приказ князя Черкасского не был направлен специально против администрации и нисколько не повлиял на ее настроение и на перемены в ее составе.

Таким образом, оценив приведенные данные, мы получаем право сказать, что характер и общий состав правящего круга в Москве при патриархе Филарете не изменился. У дел оставалась та самая среда, которая сформировалась во дворце до прибытия из плена государева отца. Выше мы определили ее состав: в ней соединились деятели временного правительства 1612–1613 гг. и люди Романовского круга. Остатки старого княжеского боярства в этой среде не играли видной роли; а с резкою опалюю и ссылкой в Пермь князя Ивана Васильевича Голицына, который в 1624 году за “непослушанье и измену” был признан “достойным всякаго наказанья и разоренья”, и с назначением князя Д.Т. Трубецкого в далекий Тобольск (январь 1625 г.)⁷¹ – представители старой княжеской знати и вовсе становятся незаметными в московском правительстве. Из них нам могут, правда, назвать князя Д.М. Пожарского и князя Н.И. Одоевского. Но вряд ли кто станет утверждать, что Пожарский пользовался влиянием при дворе царя Михаила; а князь Н.И. Одоевский стал заметен, к концу царствования Михаила, не по своей “породе”, а потому, что вошел в родство с Ф.И. Шереметевым, женившись на его дочери, и стал фаворитом царской семьи⁷². С падением и смертью виднейших представителей старых княжеских семей, действовавших в Смуту, Шуйских, Голицыных, Трубецких, также Куракиных, правящий круг в Москве получает к середине XVII века еще более определенные очертания – дворцовой знати, созданной исключительно близостью к династии и ее милостями. Эта новая

⁷⁰ Книги разрядные. Т. 1. Стб. 612–620; *Гурлянд И.Я.* Приказ сыскных дел // Сборник статей по истории права, посвященный М.Ф. Владимирскому-Буданову. Киев, 1904. С. 91, 95 и след.

⁷¹ О ссылке Голицына за отсутствие его самого и его жены на свадьбе ц. Михаила см.: *Дворцовые разряды*. Т. 1. Стб. 633, 640–642, 1219–1220. О назначении Трубецкого в Сибирь – Там же. Стб. 658–659; *Маркевич А.И.* История местничества в Московском государстве в XV–XVII веке. Одесса, 1888. С. 475, 509.

⁷² *Арсеньев Ю.В.* Ближний боярин князь Н.И. Одоевский // Чтения ОИДР. 1903. Кн. 2. Интересны слова царя Алексея Михайловича об Одоевских: “впрямь узнал и проведал про вас, что, oprичь Бога на небеси, а на земли oprичь меня, ни у ково вас нет”, почему царь и послал от себя на погребение молодого Одоевского “сколько Бог изволил” (Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856. С. 231). Между тем, земельные владения Одоевских были тогда одними из самых крупных во всем государстве.

знать овладевает не только деловым влиянием и преимуществами служебной карьеры, но и большим материальным достатком. За время Михаила Федоровича представители нового правительства успели стяжать себе крупные состояния и по количеству своих земельных владений опередили старые княжеские роды. Просматривая данные росписи поместий и вотчин 7155 года, обработанные С.В. Рождественским, удивляешься той последовательности, с какою земельное обогащение сопутствовало тогда служебным и придворным успехам счастливых фамилий. Первые места по земельному богатству в середине XVII столетия принадлежали Н.И. Романову, Морозовым, князьям Черкасским, Шереметевым, князьям Одоевским, Салтыковым, Стрешневым, князьям Львовым, – словом, тем семьям, которые прежде были или вновь стали близкими к царю Михаилу и его роду. В этой среде первостатейных собственников из новой знати заметны лишь немногие князья великой породы: А.Н. Трубецкой, Ф.С. Куракин, А.И. Голицын⁷³. В общем же, выражаясь словами Ю.В. Готье, “XVII столетие видело окончание процесса разложения старого княжеского землевладения”⁷⁴. Зато начали формироваться земельные богатства таких “обычных людишек”, какими ранее были дьяки: в росписи 7155 года между крупнейшими собственниками наравне с княжатами значатся дьяки И. Гавренев, М. Данилов, Ф. Елизаров, Н. Чистой и другие подобные. По-видимому, названным дьякам не только не уступали в богатстве, но еще и превосходили их знакомые нам дьяки Т. Луговской, Ф. Лихачев, И. Грамотин и Е. Телепнев: из одного розметного списка 7141 года видно, что в свое время они были богатейшими в своем чину⁷⁵. Под влиянием изложенных наблюдений С.В. Рождественский охарактеризовал изучаемую среду крупнейших землевладельцев государства как “бессословную”. Этот термин совершенно удобно может быть перенесен и на правящую среду того времени, которая по составу совпадала с средою крупных земельных владельцев.

V

Итак, если царь Михаил Федорович не был вынужден делить свою власть с каким-либо учреждением или сословием и правил с помощью свободно им подобранной администрации, то ясно,

⁷³ *Рождественский С.В.* Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. СПб., 1897. С. 228–229.

⁷⁴ *Готье Ю.В.* Замосковский край в XVII веке. С. 414.

⁷⁵ Дворцовые разряды. Т. 2. Стб. 859–862.

что господствовавшее в его время правительственное влияние исходило не из какой-либо организованной среды, а из случайного, житейски сплотившегося кружка. Такой кружок мог образоваться в недрах Романовской родни и родственно опекать болезненного и неопытного государя; но такой кружок мог сложиться и на почве политической, на принципе партийной солидарности или в силу общих партийных воспоминаний и симпатий. Скорее же всего, сплотившаяся при Михаиле среда связывалась в одно и то же время и родственными, и партийными связями. Мы укрепимся в этой мысли, если вспомним, что в Смутное время очень заметная часть Романовской родни держалась Тушина, а в царствование Михаила в московском правительстве оказались многие тушинские дьяки и дворяне. Для нас нет никакого сомнения, что тушинские знакомства и связи сохранили свою силу при дворе Романовых, и что тушинские дельцы во время М.Ф. Романова делали в большем числе и лучшую карьеру, чем деловые люди прочих лагерей смутной поры. Конечно, мы не знаем интимной стороны тех отношений, какие существовали между тушинцами, пережившими бури “смутных лет и московскаго разоренья”; мы не можем восстановить, насколько было сознательно и неслучайно их допущение в администрацию царя Михаила. Но те внешние симптомы, которые доступны нашему наблюдению, говорят нам, что новая московская власть не только не брезговала услугами бывших “воров”, но охотно двигала их в первые ряды своих сотрудников по управлению как внутренними делами, так и внешнею политикою государства.

Наши замечания будут яснее, если мы припомним кое-что из истории Тушина. В другом месте⁷⁶ мы старались показать, что с первых же минут появления Тушинского вора под Москвою люди Романовского круга стали отпадать от Шуйского в сторону Вора. “Шатость” в том отряде, где начальствовали И.Н. Романов и женатые на Романовых князя И.Ф. Троекуров и И.М. Катырев-Ростовский, была первым показателем неблагонадежности Романовых с точки зрения Шуйского. Они стали “шататься” раньше, чем Вор пришел в самое Тушино. А когда образовался Тушинский стан, туда в первых поехали из Москвы князя А.Ю. Сицкий и Д.М. Черкасский, близкие к Романовым по свойству; пристал к Тушину и И.И. Годунов, женатый на Романовой; пристали и Салтыковы, родня жены Филарета. Приведен был туда, наконец, и сам ростовский митрополит Филарет, названный там патриархом; он терпеливо сносил свое подневольное житье в Тушине

⁷⁶ Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты... Глава 4, § IX.

и не принадлежавший ему сан вплоть до самого бегства Вора из Тушина. Если бы младший брат Филарета Ив.Н. Романов не сидел все это время в Москве с царем Василием, мы решились бы сказать, что Романовы вообще все склонились к Вору, волею или неволею оставив Шуйского. Все родные и присные Филарета, переехавшие в Тушино, стали там первостепенною знатью; вместе с прочими приверженцами самозванца из московской и литовско-польской знати они почитались думцами Вора и посылались от него для управления городами. В тушинских же приказах в роли руководителей центрального тушинского управления сидели люди попроще, дьяки в роде Б. Сутупова, Д. Сафонова, П. Третьякова, Ив. Чичерина, Ив. Грамотина, Ф. Апраксина и др. Оставаясь всегда в Тушине, ведя все отрасли тушинского хозяйства и управления, эти люди приобретали очень важное значение для Вора и его партии: именно они становились истинным тушинским правительством. К концу тушинских дней многие из них, по-видимому, слились в один кружок, сохранивший свою целостность и после побега Вора из Тушина в Калугу. Имея во главе Филарета, продолжавшего называться патриархом, и близких к нему Салтыковых, они первые обратились к Сигизмунду, прося его дать на Москву Владислава. Посольство, приехавшее из Тушина к королю в январе 1610 г., заключало в своем составе людей, которые долго потом действовали одним кружком при Сигизмунде и, по его полномочию, в Москве⁷⁷. Кроме Салтыковых, здесь были князь Ю.Д. Хворостинин, Л.Аф. Плещеев, Н.Д. Вельяминов, Ив.Р. Безобразов, Ив.В. Измайлов и дьяки Ив. Грамотин, С. Дмитриев, Ф. Апраксин, Аф. Царевский. Всего же этот кружок, судя по грамотам тех лет, заключал в себе до восемнадцати или двадцати человек. Когда он появился с административными полномочиями от Сигизмунда в Москву, в сентябре 1610 года, то его встретили там очень враждебно, считая М. Салтыкова и его товарищей “врагами” и “богоотметниками”⁷⁸. С точки зрения патриотов-москвичей, эти люди были изменниками, потому что отъехали к Вору, а затем служили видам Сигизмунда. И тем не менее все названные выше члены кружка при царе Михаиле Федоровиче благополучно служили законному правительству: князь Хворостинин, Плещеев, Вельяминов, Безобразов и Измайлов в придворных и ратных службах, а Грамотин, Апраксин и Царев-

⁷⁷ О некотором “кружке” можно говорить потому, что одни и те же имена русских тушинцев несколько раз появляются вместе в разных документах того времени, русских и польских, и в летописи. См.: Там же. Глава 4, § IX и глава 5, § II; также примеч. 163.

⁷⁸ Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8. С. 141–142.

ский – в приказах⁷⁹. Добрая половина того “воровского” круга, который “преж всех” явился из Тушина на королевские послуги под Смоленск, оказывается при Михаиле не только прощенной, но и припущенной к делам. Если вспомнить, что исключительные события тех лет погубили многих из данного кружка еще ранее воцарения Романовых, то можно сказать, что из кружка реабилитированы были все вообще уцелевшие от погрома 1612–1613 годов. Об остальных участниках кружка известно, что стоявшие во главе кружка Салтыковы остались верны Сигизмунду; один из них (сын) погиб во Пскове, другой (отец) укрылся в Польше. Знаменитый Андронов был казнен в Москве, как мы видели, до вступления в управление Михаила Федоровича; С. Соловецкий и Б. Замочников были замучены на пытках в Москве еще раньше Андропова. Князя В. Масальский и Ф. Мещерский, М. Молчанов, Гр. Кологривов и В. Юрьев, по словам летописи, умерли “злою скорою смертию”. В. Янов и Е. Витовтов вместе с Салтыковым навсегда ушли в Литву⁸⁰. Остальные получили в Москве амнистию, а некоторые и большое влияние на дела.

Нельзя, конечно, удивляться тому, что при воцарении Романовых вокруг них поспешили собраться их родные и ближние семьи, а в числе прочих и те, которые служили Вору. Князя Сицкие, Троекуровы, Черкасские естественно приблизились в Москве к “великим государям”, царю Михаилу и патриарху Филарету, после того, как были близки к последнему в Тушине. Удивительнее судьба тушинских дьяков. Вероятно, исключительной талантливостью и деловитостью, а не иными соображениями, следует объяснять возвышение при царе Михаиле таких людей, как Петр Третьяков, помянутый Ив. Грамотин, Ф. Шушерин, которые были коренными тушинцами и тем не менее в Москве потом играли очень большую роль. Из них о Шушерине мы знаем мало. О Третьякове же и Грамотине известно кое-что любопытное. Оба они, по-видимому, выдавались своими способностями и своим умением менять господ. Третьяков служил еще первому Самозванцу и при Шуйском, как

⁷⁹ Об этих лицах см., например: АЗР. Т. 4. С. 335 (князь Хворостинин), 325 (Плещеев), 324 (Вельяминов), 374 (Измайлов), 368 (Безобразов), 368, 372, 388 (Грамотин), 348 (Дмитриев), 328 (Апраксин), 348 (Царевский); Книги разрядные. Т. 1. Стб. 36 (Хворостинин), 84 (Плещеев), 162 (Вельяминов), 13–14 (Измайлов), 180 (Безобразов), 169, 408 (Дмитриев). О службе прочих дьяков при Михаиле Федоровиче говорилось выше. К числу этих лиц надобно отнести Грязных или Грязновых: отец Тимофей был в Тушине и у Сигизмунда и с сыновьями Васильем и Борисом брал у короля земли (Там же. С. 327–328, 337, 340, 346 и др.); что сделалось с Тимофеем, неизвестно; но сын Борис в Москве был стольником, сначала патриаршим, потом царским (РИБ. Т. 9. С. 473).

⁸⁰ Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8. С. 142. Об Андронове и прочих пытаных говорилось нами выше.

указал Н.П. Лихачев⁸¹, был разжалован из дьяков в подьячие. От Шуйского он первым подьячим Посольского приказа перебежал в Тушино и там стал думным дьяком. Вора он оставил поздно, в 1610 году, и тем не менее во временном правительстве 1612–1613 годов умел стать первым дьяком, хотя там и потерял титул “думного”. Вторично он его получил 12-го июля 1613 г. от царя Михаила. Мы видели, как высоко Масса ставил Третьякова по силе его влияния; большое, и притом злое, влияние на ход дел приписывает Третьякову и московский летописец. По словам летописи, посольский съезд под Смоленском в 1615 году расстроился “от дьяка от Петра Третьякова” по той причине, что московским послам он из Москвы не посылал “полново указу”. Тогда же и в Новгороде Третьяков создал беды русским людям от шведов, так как изменою про тайные дела “писал с Москвы в Немцы”⁸². Однако эти злоупотребления, если только они были, не повлияли на карьеру Третьякова, который и скончался “великим канцлером”, по терминологии Массы. Заменявший его Ив. Грамотин приобрел еще большую известность, чем Третьяков. Мы видели выше, что он бывал дважды в Западной Европе в исходе XVI столетия как подьячий Посольского приказа. Первый Самозванец сделал его думным дьяком, а Шуйский сослал его дьяком во Псков, откуда Грамотин и начал свои похождения, уйдя в Тушино. Из Тушина явился он к Сигизмунду, от Сигизмунда приехал дьяком в Посольский приказ в Москву, из Москвы вовремя выехал опять к королю, у которого и оставался в первое время власти Романовых. Когда именно он вернулся в Москву и чем заслужил прощение и милость, сказать трудно. Еще в 1615 году на официальном московском языке он именовался “изменником” и “советником” Гонсевского вместе с Андроновым и другими подобными⁸³. А в 1618 году он уже ведает Посольский приказ в Москве. Если на самоуправство и “измену” Третьякова до нас дошли жалобы летописца, то на такие же качества Грамотина жаловались сами “великие государи”. В конце 1626 года их именем было объявлено: “был в Посольском приказе Иван Грамотин и, будучи у государева дела, государя... и отца ево государева... указу не слушал, делал их государския дела без их государского указу самовольством, и их, государей, своим самовольством и упрямством прогневал, и за то на Ивана Грамо-

⁸¹ Лихачев Н.П. 1) Разрядные дьяки... С. 525–528; 2) Библиотека и архив московских государей в XVI столетии. СПб., 1894. С. 152. Ср.: Карамзин. ИГР. Т. 12. Примеч. 222.

⁸² Русская летопись по Никонову списку. Ч. 8. С. 220, 222. Письма Третьякова см.: Сборник князя Хилкова. С. 72–73 и АИ. Т. 2. № 120. Пожалование в Думу – Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 100.

⁸³ Соловьев. История. Т. 2. Стб. 1066, 1077, 1079.

тина положена их государская опала”. Грамотин был сослан на Алатырь, а после смерти Филарета снова вошел в милость и получил прежнюю должность, от которой по старости отказался сам в конце 1635 или в начале 1636 года⁸⁴. Удивительно это постоянство царской милости к такому “перелету”, каким был Грамотин: его возвращают из ссылки тотчас по смерти патриарха, торопясь загладить опалу, шедшую, очевидно, от патриарха, милостью “для блаженных памяти” того же патриарха Филарета. Опираясь на государеву милость и пользуясь государевым доверием, такие дельцы, как Третьяков и Грамотин, сосредоточивали в своих руках управление несколькими ведомствами, соприкасавшимися обыкновенно с Посольским приказом, именно “четями”. Обширные сферы правительственной деятельности и общественной жизни попадали поэтому в круг их влияния и воздействия и терпели от их властных рук, привыкших к самоуправству и насилию в жестокие годы Смуты и “разоренья”. Память о Третьякове и Грамотине жила у московских людей и после того, как они ушли от дел: не добром вспоминали их, например, торговые люди в своей челобитной 1646 года, приписывая их подкупности свои торговые беды⁸⁵.

Если приведенные нами наблюдения точны и правильны, они вскрывают перед наблюдателем чрезвычайно любопытный и важный факт. Ни одна политическая партия, ни одна общественная организация из действовавших в Смутное время, не дала такого количества влиятельных представителей в правительство царя Михаила, какое дало пресловутое Тушино. Как нам кажется, три обстоятельства могут до некоторой степени объяснить это поразительное явление. Во-первых, вражда Романовых с Шуйскими естественно вела к тому, что Романовы не прочь были пользоваться Тушином против царя Василья. Пребывание в Тушине Филарета, разумеется, не было только подневольным “пленом”: освободившись от этого плена, Филарет обратился, как известно, к королю, а не в Москву. При этих условиях связи, завязанные Филаретом в Тушине, не были тюремными узами и не разорвались при падении самого Тушина. Филарет и вообще Романовы имели возможность узнать и оценить тушинские таланты и давали им ход в Москве, вспоминая в них старых слуг и союзников тушинского патриарха. Во-вторых, с торжеством казачества в подмосковном ополчении 1611 года тушинские бояре князь Трубецкой и Заруцкий на время получили в свои руки

⁸⁴ РИБ. Т. 9. С. 438, 440–441; *Адам Олеарий*. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 136–137. Умер Грамотин, по Указателю к боярским книгам, в 7147 году.

⁸⁵ Сосредоточение ведомств отмечено Н.П. Лихачевым (*Лихачев Н.П.* Разрядные дьяки... С. 526). Челобитые торговых людей см.: ААЭ. Ч. 4. № 13.

верховную власть в стране и осуществляли ее с помощью администрации, в которой преобладал тушинский элемент. Из таборов Трубецкого этот элемент перешел во временное правительство в освобожденной Москве (вспомним Третьякова и Шушерина) и занял здесь первые места, потому что, по известной тушинской щедрости, обладал высшими чинами и званиями, чем сотрудники Пожарского. В-третьих, численное превосходство казачества в Москве и сильное его влияние в пору избрания царя Михаила Федоровича должно было поддерживать в составе правительства тушинских деятелей, близких к казачеству по воспоминаниям и традициям “воровского” стана. Мы видели в начале статьи, как тяжело было давление казаческих вождельний на неокрепшую земскую власть: умевшие ладить с казаками чиновные тушинцы скорее всего могли и умели ослабить это давление.

Если были причины для того, чтобы тушинцы забрали в свои руки значительную долю власти и влияния в Москве и смогли при царе Михаиле Федоровиче подчинить себе Москву так, как не смогли этого сделать при Воре, то были, по-видимому, и особые последствия их господства в администрации и суде. Общеизвестен факт, что московское общество того времени было очень недовольно московским чиновничеством. К 40-м годам XVII века это недовольство получило уже очень определенные формы, а к исходу 40-х годов оно повело даже к открытому бунту в Москве и во многих других городах. В 1642 году провинциальные служилые люди дали царю свой знаменитый отзыв о московских дьяках: “твои государевы диаки и подьячие, – писали они, – пожалованы твоим государским денежным жалованьем и поместьями и вотчинами и, будучи безпрестанно у твоих государевых дел и обогатев многим богатством, неправедным своим мздоимством, и покупили многия вотчины и дома свои сстроили многие, палаты каменные такие, что неудобь сказаемыя: блаженные памяти при прежних государех и у великородных людей таких домов не бывало, кому было достойно в таких домах жити”. В противоположность этому зазорному богатству дворяне о себе заявляли, что они разорены “пуще турских и крымских бусурманов московскою волокитою и от неправд и от неправедных судов”⁸⁶. Выше было указано, что по боярским книгам того времени дьяки значились среди богатейшей земельной знати: обличение дворян, стало быть, не грешило против истины. А что сами дворяне чувствовали себя близко к разорению, это можно заключить из многих документов. По одному частному письму 1641 года видно, что уже в то время, – значит, задолго до мятежей 1648 года, – “земля

⁸⁶ СГГД. Ч. 3. С. 390, 394.

стала” и шла “мирская молва” про бояр, что “боярам от земли быть побитым”⁸⁷. Чувства, стало быть, напряглись настолько, что можно было чують в воздухе грозу. О злоупотреблениях администрации того времени писалось много, и здесь нет нужды повторять известное; но любопытно будет отметить, что, помимо и сверх отдельных злоупотреблений и неправды, самые обычные приемы тогдашней администрации отличались грубостью и распущенностью. В расчете на безнаказанность, думные дьяки, – например, при объявлении решений по местническим челобитьям – дрались и толкались, бранились и сочиняли самовольные резолюции, словом – “воровали” безо всякого стеснения⁸⁸. Без стеснения вели себя приказные власти в своих приказах. В частных деловых отписках тех лет находятся любопытные сведения о том, почему в Москве в приказах “дела мало вершатся”: “окольников мало ездит в приказ”, “волокиты много, издержки великия подьячим и людям дьячим и сторожем”. Было совершенным исключением, что дьяк П. Чириков в первую пору знакомства с просителями денег в дар “с приездом” не взял, а говорил: “посмотрю де по деле, а то де не уйдет”. Зато впоследствии тот же Чириков получил 30 рублей, “и ему кажется мало”. Неудивительно казалось, что боярин князь А.М. Львов при просителе “в приказе не бывал не единожды”, если даже его ничтожный подьячий “мало и в приказ ходит, а потому делу указу нет”. Для того, чтобы улучшить милость боярина, надобны были особые ухищрения; не просто, например, требовалось прислать ему рыбы, а именно такой, какую князь Львов любит: прислали “тридцать сижков свирских, а не кубенские сижки, и тех сижков боярин не кушает”. Но и кубенские сижки не всегда помогали. “Божия поспешения во всем нам нет, – писал одному монастырю его слуга, – боярин гораздо гневен, споны не стало многим монастырем, не нам одним токмо;... нашу братью дерет нещадно: сам указ учинит, да и переговору нет снова; за кого заступы большие, тем и дела чинятца”. А за кого не было заступ, с тем боярин не церемонился: приказывал “с суда” из приказа “выбить взашей” и челобитные драл вместо правильного по ним производства⁸⁹. Таков был князь А.М. Львов в Большом дворце; о нем не сохранилось в московском обществе никаких особенно дурных воспоминаний, потому что были люди гораздо похуже, – именно те, которые погибли от самосуда московской толпы в 1648 году. Те же корреспонденты, от которых нами взяты строки

⁸⁷ Чтения ОИДР. 1894. Кн. 2. Смесь. С. 18–20.

⁸⁸ Маркевич А.И. История местничества... С. 510.

⁸⁹ Шестой выпуск описания собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древлехранилище. Вологда, 1903. С. 31, 30, 36, 34, 41, 82, 120, 64 и 94.

о князе Львове, сообщают нам любопытное сведение, что уже в 1646 году в Москве ходил особый термин, которым обозначались административные приемы “земского судьи” Л.С. Плещеева и его присных. Один из деловых ходоков страшал своих неприятелей: “дерну де яз всех вас всех во дворец, не хуже де буду Плещиевщины, выучю де вас всех, – кричал он, – отбелю всех на лицо, узнаете меня, каков вам буду”⁹⁰. “Плещеевщина” была таким же словечком, каким век спустя стала “бироновщина”. Она означала определенную манеру административного хищника, которая современниками определялась очень точно, именно как “во всяких разбойных и татиных делах по его Левонтьеву (т.е. Плещеева) научению от воровских людей напрасные оговоры”. Олеарий поясняет нам, как делались эти “оговоры”: Плещеев “нанимал негодяев для того, чтобы они ложно доносили на честных людей”, – и выжимал из оговоренных последние соки⁹¹.

Вот до какой степени разврата доходила московская администрация, сложившаяся во время царя Михаила Феодоровича. Памятуя, что во главе ее после смут стояли чаще всего печальной памяти тушинские дьяки, мы поймем, откуда идут в этой администрации дурные навыки, и откуда рождается ненависть к ней управляемого общества. Вопреки пословице, “дурная трава” не была тогда выброшена “из поля вон”, а выросла на поле и заглушила добрые ростки управления земского, с помощью выборных людей “добрых, разумных и постоянных”...

Подведем итоги сказанному нами:

1) Избрание в цари М.Ф. Романова было результатом соглашения временного земского правительства и казачьей массы, остававшейся в Москве после ее освобождения от поляков.

2) Нет никаких оснований верить преданиям о формальном ограничении власти М.Ф. Романова московским боярством или земским собором, при самом избрании его в цари.

3) Личная власть нового государя в первое время его деятельности не была ничем стеснена ни в отдельных распоряжениях, ни в подборе правительственных лиц.

4) Правительственная среда при Михаиле Федоровиче в первое время его власти составила из членов временного правительства 1612–1613 гг., личной родни царя и доверенных его лиц.

⁹⁰ Там же. С. 108.

⁹¹ *Платонов С.Ф.* Статьи по русской истории. С. 86; *Адам Олеарий.* Описание путешествия в Московию... С. 264.

При таком пестром составе правительства из него не могло выйти формальных ограничений власти государя.

5) В деятельности земских соборов времени Михаила Федоровича не было вовсе условий, ограничивавших власть государя или деятельность его приближенных лиц.

6) С приездом патриарха Филарета ничего не изменилось в составе и характере московского правительственного круга. При Филарете окончательно сложилась новая придворная и чиновная знать из тех самых элементов, какие были налицо в 1613 году.

7) В этой знати наиболее заметен по численности и влиянию круг тушинских знакомцев и родственников Филарета, которые в большом числе различными путями проникли в московскую администрацию XVII века.

8) Влияние тушинцев на общий характер правительственной деятельности того времени было безусловно вредно и подготовило в московском обществе недовольство и протест.

Об авторе сочинения “На иконоборцы и на вся злыя ереси” (1907)

В “Библиологическом словаре” П.М. Строева в числе произведений, приписанных князю Ивану Андреевичу Хворостинину, был назван трактат “На иконоборцы и на вся злыя ереси, иже в наша лета явленна быша, иже нарекошася и от ересей своих проименовашеся лют(о)ры, новокрещенцы, колвины и протчия блядословцыСписано же бысть сие собрание многогрешным и непотребным рабом Божиим восточныхъ церкви дуксом Иванном”. Почему под “дуксом Иванном” надлежит разумеать именно князя И.А. Хворостинина, Строев не указал. Где он сыскал это сочинение “дукса Иванна” и много ли видал его списков, Строев также не пояснил¹. Глухое упоминание “Библиологического словаря” о трактате “на иконоборцы” несколько дополнялось и разъяснялось списком рукописей, принадлежавших Строеву и проданных им Погодину. В этом списке, напечатанном у Н.П. Барсукова в его биографии Строева², поименован и трактат “на иконоборцы”. Естественно заключение, что известный Строеву список трактата был его личною собственностью и, будучи продан им Погодину, вошел затем в состав Погодинского древлехранилища Императорской Публичной библиотеки.

Однако малая доступность в прежние годы этого древлехранилища была причиною того, что трактат “на иконоборцы” оставался неизвестным до самого последнего времени. Лет двадцать назад, собирая материалы для биографии и литературной характеристики князя И.А. Хворостинина, я встретил самое живое участие и содействие со стороны покойного Л.Н. Майкова, бывшего тогда вице-директором Публичной библиотеки. Его удивительно чуткое и теплое отношение к молодым ученым работникам памятно, конечно, всем, кто начинал свой научный путь на его глазах. От Л.Н. Майкова среди многих ценных указаний я получил первое точное сведение о “Словесах дней, царей и святителей” Хворо-

¹ Строев П.М. Библиологический словарь // Сборник ОРЯС. СПб., 1882. Т. 29, № 4. С. 289.

² Барсуков Н.П. Жизнь и труды П.М. Строева. СПб., 1878. С. 383.

стинина, но трактат “на иконоборцы” остался за пределами нашего ученого горизонта, почему в своей биографии Хворостинина я и упомянул кратко, что этого трактата я в рукописях не видал³. Остался этот трактат неизвестным и Д.В. Цветаеву, в то самое время написавшему свое сочинение “Литературная борьба с протестантством в Московском государстве” (М., 1887). Немногим позднее, именно в 1891 г., г. А. Голубцов указал на существование полемиического трактата Хворостинина (в книге “Прения о вере, вызванные делом королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны”). Г[осподин] Голубцов полагал, что (судя по заглавию) “трактат Хворостинина, обнимающий собою почти все пункты обрядового разногласия между протестантством и православием, должен быть очень любопытен”⁴; однако самого трактата г. Голубцову найти не пришлось. Наконец, в 1893 году Е.В. Петухов, работая над своим исследованием о синодиках, встретил в одной из рукописей Публичной библиотеки статьи, имеющие некоторое отношение к религиозно-полемиической литературе XVII века. По мысли И.А. Бычкова, он склонился к тому, чтобы приписать их князю И.А. Хворостинину, на это лицо указывали кое-какие данные текста найденного им памятника⁵. Но изученный г. Петуховым памятник не был строевским трактатом “на иконоборцы”, и рукопись, указанная Строевым, осталась неизвестною Е.В. Петухову так же, как и предшествующим ученым. О полемиическом творчестве Хворостинина после опубликованных г. Петуховым статей приходилось судить, как и ранее, только по тому, что сообщил Строев (а он сообщил лишь одно заглавие).

В исходе прошедшего 1906 года профессор В.И. Савва, исследуя рукописи собрания И.Н. Михайловского в Нежине, нашел среди них сборник, заключающей в себе напечатанные Е.В. Петуховым статьи в соединении с целым полемиическим сочинением. Сочинение это, писанное виршами, по акростихам должно быть без всяких сомнений приписано князю Ивану княж Андрееву сыну Хворостинину; а, стало быть, оправдывалась и догадка Е.В. Петухова и И.А. Бычкова, усвоивших Хворостинину статьи сборника Публичной библиотеки. Полемиическое творчество

³ *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1888. Глава 4. С. 182.

⁴ *Голубцов А.* Прения о вере, вызванные делом королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны. М., 1891. С. 76–77.

⁵ *Петухов Е.В.* Из истории русской литературы XVII века; Сочинение о Царствии Небесном и о воспитании чад. СПб., 1893. (Памятники древней письменности; XCIII). Ср. мою рецензию на это издание в Журнале Министерства народного просвещения за 1893 год и в моих Статьях по русской истории.

Хворостинина устанавливалось точно, и Императорская археографическая комиссия приняла на себя труд издания полемических сочинений Хворостинина с обстоятельным исследованием о них профессора Саввы⁶.

Найденные и обследованные В.И. Саввою сочинения Хворостинина, по всем соображениям, не совпадали с тем трактатом, который был усвоен Хворостинину Строевым.

Археографическая комиссия озаботилась сыскать в Погодинском древлехранилище и привлечь к изучению Строевский трактат. Он оказался в составе Погодинских рукописей под № 1216 и действительно ни в заглавии, ни в тексте не обнаружил ничего сходного с действительными сочинениями Хворостинина. Мало того, немедленно же нашлись данные, чтобы усумниться в принадлежности этого трактата Хворостинину; или, вернее, не нашлось ни малейших оснований связывать это сочинение “дукса Ивана” именно с князем Иваном Хворостининым. Имя “дукса Ивана” наводило мысль скорее на другое лицо, не безызвестное в письменности XVII века.

Исследование Строевского трактата со стороны его состава и литературного значения не входит в задачу настоящей заметки. Ограничимся пока лишь общим замечанием, что этот трактат, вообще довольно краткий, следует, по-видимому, тем же самым литературным образцам, каким следовали и все современные ему опыты московской полемической письменности. Он, например, воспроизводит весьма точно то место южно-русского сочинения “О образех, о кресте” и т.д., которое вошло и в “Изложение на лютеры” Наседки и в анафематизмы 1639 года как нормальный перечень в хронологическом порядке протестантских “ересей”⁷. В самом расположении своего материала и в манере его изложения он близко подходит к тому же первообразу полемической техники, каким являлось для москвичей первой половины XVII века сочинение “О образех”. Знал ли наш автор это сочинение непосредственно, или же ознакомился с ним по чьему-либо московскому переводу, решать не беремся. Мы только стоим на мысли, что в истории московской полемики с протестантством наш трактат вряд ли получит, по внутреннему своему значению, видное место. Его автор, нам кажется, любопытнее, чем самое сочинение, представляющее собою в основе рядовую компиляцию.

⁶ Печатается в Летописи занятий имп. Археографической комиссии.

⁷ Л. 62–65: “... восташа иконоборцы злейшии древних в немецких странах во Англии Авиклев Иан Гус, его же сожгоша” и т.д.; ср.: *Цветаев Д.В.* Литературная борьба с протестантством в Московском государстве. С. 66–67; *Голубцов А.* Прения о вере... С. 93–95 (примеч.) и 114.

Что касается личности автора, то заключать о ней мы можем только косвенно, на основании только тех малых данных, какие заключает в себе изучаемая нами рукопись. Рукопись эта представляет собою переплетенный Строевым, к сожалению, слишком обрезанный при переплете, томик в 8-ку, писанный на 190 листах полууставом первой половины XVII века, со многими дополнениями, исправлениями и замечаниями на полях, по местам пострадавшим при переплете. На начальном нумерованном листе находится надпись П.М. Строева: “На иконоборцев, соч. дукса Иванна (кажется, кн. Ив. Андр. Хворостинина), при патр. Филарете”. На обороте последнего 190-го листа вирши:

Сия книжица на еретики написана мною
утешаяся любимиче вместе со мною.

По листам (на л. 7, 13, 33, 65) запись: “книга Федора Дементиевича Погожево”. Тексту книги предшествует, на первых шести листах, “оглавление имуще начало краестрочным историям”. В нем означено 22 главы, но 11-я пропущена, так что после 10-й следует 12-я. Между тем в тексте счет первых 19-ти глав идет правильно, а потому главы 12–20 оглавления соответствуют главам 11–19 текста. Далее, глава 21 оглавления в тексте отмечена 30-ю, а глава 22 оглавления в тексте означена 31-ою. Эта путаница служит некоторым указанием на то, что сочинение дошло до нас не в первой уже редакции и с плохо скрытыми следами редакционной работы. Первая глава имеет характер краткого “послания” патриарху Филарету. В нем автор говорит патриарху: “Дерзнух аз вашему святительскому величеству ясно сказать, якоже бо ты сего не веси: видех и слышах, иже от иноверец пришедших в нашу православную веру овии... паки, яко пси... на своя блевотины возвращающесе, овии от наших единоверных и единоземнородных прилагающесе им, от нашего закона отходяще до люторского и до колвинского закона, и без всякаго страха Христови враги в посты мясо ядыше, иконы в храминах наших видя и не поклоняющесе, еще же и ругающесе. Подщися, святителю Божий, сие исправити... Аз убо, раб твой, дерзнух на их ереси изложити от божественных писаний: первое ересь их написа и после ереси их и обличения сказа от божественнаго писания, от пророк и апостол и от святых отец; и с которыя главы или зачала что написах, и вся оглавих. Молю твою святыню, раб твой, не прогневайся на мя. Написана же бысть сия книжица на иконоборцы и на иныя еретическия уставы многогрешным и непотребным рабом твоим Иоанном, мудръствующе предания святыя соборныя апостолския восточныя церкви, имуще твое благословение...” (л. 7–9). После начального общего оглавления трактата, где автор

назвал себя, как мы видели, “дуксом Иванном”, здесь он вторично пишет свое имя в обращении к патриарху. Он называет себя и в третий раз (на л. 22), повторяя общее заглавие своего труда пред 3-ю главою: “списано многогрешным и непотребным рабом Христовым Иоанном дуксом”⁸. Более нигде автор себя не именует. Посвятив большую половину своего писания защите икон и святого креста, он в главе 16-й переходит к “молитве святых”, далее в главе 17-й и 18-й говорит “о посте”, затем в 19-й и 20-й (по тексту 30-й) о покаянии и причащении и, наконец, в последней главе – “о отшедших света сего и о памяти их”, то есть о молитве за умерших и о милостине в память их. На всем пространстве своего труда он только в трех местах говорит о самом себе, и эти места должны служить нам точками отправления в наших гаданиях о лице автора. Вот эти места.

На л. 123–124 читаем: “Се убо по истинне сказую вам, пред Богом, яко не лжу, свидетель бо ми Христос, в Него же верую приятною верою; яко иже сотворю лихву в словесех моих, да приложит ми Христос болезнь многу ко язвам моим. Мне убо во времена лет моих во юности еще бых, и молитвенныя ради вины матере моя общемою волею грядохове тамо, иже во едином граде Угличе слышахом великого князя Романа свята суца: *(было написано: древу же зело суху, но исправлено)* древъне же зело суцу его быша, уже и костем его иссохше, чюдеса многа быша; но не сподоби мя Христос деяния целителнаго видети недостойнства ради моего и скверности, но единому бых свидетел и удивихся. Ту служащаго иерея Петра мало нечто от мощей святаго испросих на благословение дому; иерей убо и многим частем мощей святых покусихся взяти, и не дадесе ему, и рече ми: неверия ради наю не даются нам части мощей святаго. Мне же со тщанием слезным молихом его и нудихом к тому, зане уже страх велик объа нас; и хотяще уже от раки иерея востати, мне же еще понудивше его, и се едина часть аки воста от мощей святаго и положися в (р)уце его. Исполнился весь храм той благоухания дивнаго” и т.д. Речь здесь идет о мощах святого князя Романа Угличского чудотворца. Мощи были открыты, по летописи, в 7103 (1595) году, а по “повести о чудесах”, – в 7113 (1605) году; в 1608 же году, в Угличское разоренье, они были сожжены и уцелели от них лишь обгорелые

⁸ Кстати заметить, что это заглавие третьей главы (на л. 22) написано, очевидно, не на месте: оно имеет характер общий (“на многая ереси иконоборственныя” и пр.) и заканчивается словами: “глава 1-я”, а между тем на поле эта глава означена правильно цифрою 3 и в общем оглавлении названа: “слово на иконобо(р)ственныи собор”. В этом заглавии, попавшем не на свое место, мы видим “случайно не уничтоженный след первой редакции сочинения”.

кости⁹. Автор был у мошей святого, очевидно, до угличского пожара; иначе он упомянул бы не об “иссохших” только, но и о горелых костях чтимого им князя. Он был в Угличе с матерью в юношеском возрасте, не по своему почину, а “молитвенная ради вины матери”, – знак, что богомолье в Углич было делом женским. Если сообразим это, то придем к заключению, что семья автора была, вероятно, из окрестностей Углича, из Угличского или соседнего с Угличем уезда, так как женские богомольные поездки в ту беспокойную пору вряд ли могли быть далекими. С другой стороны, к такому же заключению ведет и то обстоятельство, что почитание князя Романа было всегда местным, и в московской письменности вовсе не обращалось его “жития”, после того как “житие святого и первья чудеса его” пропали в 1608 году¹⁰. Если мы укрепимся в мысли, что автор принадлежал по своей семье к угличским служилым людям, то некоторое значение для наших дальнейших заключений получит и та запись, которую мы уже отметили на листах нашей рукописи: “книга Федора Дементиевича Погожево”. В ней слово “Дементиевича” написано иными чернилами, чем прочие слова, и по писанному ранее слову “Ивановича”. Значит, рукопись принадлежала ранее Федору Ивановичу Погожево, затем перешла к Федору Дементьевичу Погожево. Оба эти лица известны по Боярским книгам¹¹. Из них Федор Иванович был весьма заметным землевладельцем в Угличском уезде и даже одно время угличским воеводою в первой половине XVII века¹². И второй происходил из того же Угличского уезда: у его отца Дементия Семеновича Погожева, совместно с братьями Дмитрием и Исаком и отдельно от них, были земли в том же Угличском уезде¹³. Итак, и автор нашего трактата, и мать его, и два позднейшие обладателя его рукописи так или иначе связаны с Угличем. Это

⁹ ПСРЛ. Т. 14. (Новый летописец). С. 48; Повесть о чудесах св. благоверного князя Романа Угличскаго чудотворца. Ярославль, 1874 (Извлечено из Ярославских епархиальных ведомостей. 1873. № 46–48). С. 20–21; Жития святых в издании Московской Синодальной типографии. Февраль. М., 1905. С. 37.

¹⁰ По любезному сообщению В.В. Майкова, имевшего случай интересоваться этим житием, древнего жития не существует. Помещенное в Ярославских епархиальных ведомостях за 1889 год (№ 48, № 49) и напечатанное в отдельном оттиске “Житие святого и благоверного князя Романа Владимировича Угличскаго чудотворца” (Ярославль, 1890) представляет собою не житие XVII века, а позднейшее сочинение.

¹¹ См. эту фамилию в “Алфавитном указателе фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах” (М., 1853).

¹² *Липинский М.А.* Угличские писцовые книги // *Временник Ярославского Демидовского лицея.* Ярославль, 1887–1888. Кн. 45, 46. С. 72, 314, 336, 340, 347, 363, 405.

¹³ Там же. С. 316, 345, 418.

дает нам основание для того, чтобы искать полного имени “дукса Ивана” среди служилых имен именно Угличского уезда.

Но раньше, чем это сделать, посмотрим на второе и третье упоминания автора о самом себе. На л. 162 об.–168 он рассказывает о том, как благостью Господнею он исцелил чудесно, по причащении Святых Таин, от тяжелой и долгой болезни. О своей болезни он говорит так: “Болезнующу ми лета четыре¹⁴ и вящее, яко и царю милостивно преклоншесе к моему молению и врачи ми вдасть на болезненное свобождение, к сим убо и множайшая рачителя стяжах, истощевая сребро и злато оскудевая; бе же болезни зело протяжене бывше, руце оцепеневая, плоть оскудевая, кровныя источницы пресыхая, мозг от дыма стомахова помрачаяся, оскудеваше плоть, оскудеваше и имение, не оскуде болезни злость...”. И когда “уже обмертвеша мое окаянное тело”, автор обратился к молитве и покаянию и был чудесно помилован и стал здоров. О своем чудесном выздоровлении он упоминает и еще раз в заключение своего труда (на листе 184), но очень кратко: “во-истинну о мне быша велико Божие милосердие, его же напреди сказах”. Из этих обоих мест рукописи извлекаем весьма немного: во-первых, автор был долго и тяжело болен, а во-вторых, он был настолько близок к царю, что просил государя о его врачах, и царь прислал ему своих докторов.

Как вообще ни скуден запас данных о лице, подлежащем нашему определению, он, однако, может привести к точным и более чем вероятным догадкам.

Прежде всего наш “дукс Иван” – не Хворостинин. Не только потому, что Хворостинин оказался автором иного сочинения, но и потому, что вотчина Хворостинина была не в Угличе, а в Переяславле, и с Угличем у Хворостинина не было, по-видимому, ни малейшей связи. Кроме того, рядовой дворянин, каким был Хворостинин, вряд ли бы решился “молить” о царских врачах, находясь притом в частых опалах и постоянном подозрении в политической и церковной неблагонадежности. Ни один признак из тех, какими мы располагаем для определения автора нашего трактата, не подходит к Хворостинину. Оставив его имя в стороне, мы можем обратиться к Угличским писцовым книгам того времени, к которому относится изучаемый нами трактат, то есть времени патриарха Филарета и царя Михаила, и посмотреть, не найдется ли в Угличском уезде среди землевладельцев такого “дукса Ивана”, на котором сошлись бы все прочие установленные

¹⁴ Слово “четыре” написано по стертому очень короткому слову, – вероятно, “три”.

нами признаки. Текст “Угличских писцовых книг”, напечатанных г. Липинским, относится именно к первой половине XVII века и включает в себе четыре имени князей Иванов. Во-первых, встречаем в нем имя князя Ивана Дмитриевича Хворостинина, двоюродного брата нашего князя Ивана Андреевича (с. 176). Но этот “дукс Иван” не мог быть автором полемического трактата, посвященного патриарху Филарету, потому что он, как известно, погиб еще в смутные годы (в 1614 г.) в Астрахани. Имя его упомянуто в писцовой книге как вкладчика Троице-Сергиева монастыря, при описании монастырских земель. Во-вторых, в писцовой книге находим имя какого-то князя Ивана (без отчества) Хованского, но не как действительного землевладельца данного времени, а как прежнего помещика, поместные дачи которого значатся пустыми среди “порозжих поместных земель” (с. 93 и 392). В-третьих, читаем имя князя Ивана Федоровича Мстиславского, упомянутого по тому поводу, что его вотчина “после была в роздаче за разными помещиками” (с. 94); сам же князь И.Ф. Мстиславский был еще при царе Федоре Ивановиче пострижен и заточен в монастырь. Все эти три “дукса Ивана” одинаково не могут нам пригодиться в наших поисках. Зато четвертый дукс Иван, упомянутый в писцовой книге, должен остановить наше внимание. Это владелец села Красного, лежащего против Углича за р. Волгою на речке Корожечне, князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский, известный уже как писатель, близкий к патриарху Филарету, один из самых “больших” в своем ростовском княжеском роде. Село Красное, от которого вся округа носила название Красноселья, было родовым именем Катырева: “старая его родственная вотчина”, как выражается писцовая книга (с. 121, 123). Эта вотчина считалась “от предел града Углича”, и в первое же время появления чудотворных мощей князя Романа из Красного бывали богомольцы у мощей. Марта в 9 день 7113 (1605) года “по вечернем пении от предел града Углеца вотчины князя Михаила Петровича Катырева (отца дукса Ивана) села Красного Кайдала Головина человек некий Фокий именем” получил исцеление от мощей князя Романа¹⁵. Таким образом, дукс Иван, рассказавший в своем сочинении “на иконоборцы” о богомольной поездке своей в Углич к мощам князя Романа, вполне удобно может быть отождествлен с красносельским вотчинником князем Иваном Михайловичем Катыревым.

Справедливость этого отождествления поддерживается не только тем, что князь Ив.М. Катырев был вообще писатель, а потому легко мог упражняться и в полемическом роде писательства.

¹⁵ Повесть о чудесах святого благоверного князя Романа. Чудо 27-е.

В биографических данных, какими мы располагаем относительно Катырева¹⁶, найдутся некоторые подробности, не лишённые значения и веса для нашей цели. Данные о службе И.М. Катырева довольно обильны. Родовитый князь, шурина царя Михаила по первому браку с боярышнею Романовою, приближенный к новой династии царедворец, князь Иван упоминается очень часто в разрядных записях о придворных службах, торжествах и столах за годы 1613–1640. Нет никаких указаний на то, чтобы его когда-нибудь постигала опала, или чтобы его удаляли от двора. Но в известиях о нем все-таки есть большой пробел: именно с весны и до конца 1619 года, за годы 1620-й и 1621-й, за первую половину 1622 года и за 1623 год о Катыреве нет упоминаний. В этот промежуток времени он выбывает из чина стольников и затем становится на первом месте в списках московских дворян. Если мы вспомним тяжкую болезнь “дукса Ивана”, описанную им в его трактате и тянувшуюся “лета четыре и вящее”, то, может быть, соблазнимся именно ею объяснить отсутствие служебных известий о Катыреве за годы 1619–1623 и утрату им звания стольника. “Дукс Иван” молил царя о царских врачах – “на болезненное освобождение”, как он выразился в своем трактате; и князь И.М. Катырев, как мы знаем из одной его челобитной, жаловался государю на нездоровье и отваживался просить лекарств из царской аптеки¹⁷. Словом, впечатление, какое мы выносим из сообщений “дукса Ивана” о нем самом, очень близко к впечатлениям, какие дает нам биография князя Ивана Михайловича Катырева. В ней нет ни одной черты, которая бы шла вразрез с нашим предположением о принадлежности ему трактата “на иконоборцы”. Литературный же талант и начитанность Катырева легко допускали переход его с исторических тем на религиозно-полемические.

Так, нам кажется, возможно решить вопрос об авторе сочинения “на иконоборцы”. Вопросы же о времени появления этого сочинения (в пределах десятилетия 1624–1633 г., от выздоровления автора до смерти патриарха Филарета), об источниках трактата и об обстоятельствах его составления еще ждут своего разрешения. С изданием самого трактата в “Летописи занятий Археографической комиссии” его изучение будет облегчено и, быть может, явится возможность некоторых наблюдений над общими свойствами литературного творчества князя Катырева. Нельзя сказать, чтобы это был хорошо изученный писатель. Если историки воспользовались достаточно его “Повестью” и “Написанием о

¹⁶ Биографические данные см.: *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести о Смутном времени... Глава 4.

¹⁷ АИ. Т. 3. № 161.

царех Московских”, то историки литературы вряд ли вполне оценили особенности его стиля и словаря и вряд ли достаточно точно определили их значение в общем ходе культурного перелома XVII века и литературной московской эволюции. Новое сочинение Катырева может содействовать определению сферы его начитанности и тех влияний, под которыми сложилась его литературная физиономия. Не удивимся, если дальнейшее изучение памятников письменности XVII века усвоит Катыреву еще новые произведения (например, в области сибирского летописания, близкого Катыреву по его тобольскому воеводству) и тем увеличит данные для определения широкого круга литературных интересов этого любопытного московского вельможи¹⁸.

¹⁸ Сравнение текста Повести Катырева с текстом так называемой Строгановской летописи (Сибирские летописи / Издание Археографической комиссии. СПб., 1907) открывает несомненные признаки их литературного родства не только в языке, но и в особенностях самого творчества. Достаточно указать на поразительное сходство в обоих произведениях картин природы, редко вообще наблюдаемых в памятниках того времени.

Столяров хронограф и его автор (1908)

I

Двадцать лет тому назад мне пришлось впервые писать о “хронографе столяра”, то есть о том рукописном “хронографе, который куплен покойным историографом (Н.М. Карамзиным) у столяра (как сказано в его записной книжке) и который он означал сим именем”¹. В ту пору о Столяровой рукописи, перешедшей в собственность Императорской Публичной Библиотеки в С.-Петербурге (F.IV.595), имелось уже изыскание А.Н. Попова². Попов привел в известность состав рукописи, выразившись о ней так, что в целом она “может быть названа обширным историческим сборником, совместившим в себе разные исторические памятники”. Между статьями, выписанными безо всякой между собой связи из различных редакций хронографа, Степенной книги и Нового летописца, в рукописи столяра, на л. 522–582 и 643–658, А.Н. Попов отметил, “без отдельного заглавия, часть какого-то неизвестного летописного сочинения с 1604 по 1644 год”. По мнению Попова, оно было “оригинально и самобытно”, почему он и напечатал это летописное сочинение в своем “Изборнике”. Трудясь над рукописью столяра, Попов не обратил внимания на то, что напечатанная им часть Столярова хронографа весьма сходна по своему составу с небезызвестным “Лобковским хронографом”, из которого П.И. Мельников в свое время извлек много данных для истории Нижнего Новгорода в Смутное время³. Если сравнить многочисленные цитаты Мельникова из Лобковской рукописи с напечатанным в “Изборнике” Столяровым текстом, то можно прийти к убеждению в полном тождестве в этих рукописях той статьи, которая получила от Попова название “неизвестного летописного сочинения”, а от Мельникова – “хронографа”, писанного в нижегородских и арзамасских местах.

¹ Карамзин. ИГР. Т. 12. Примеч. 46.

² Попов А.Н. Обзор хронографов русской редакции. М., 1869. Вып. 2. С. 252–256.

³ Москвитянин. 1850. № 21. Кн. 1. Ноябрь.

Взгляд на “оригинальную и самобытную” статью хронографа столяра, как на “летописное сочинение”, или как на “хронограф” местного “летописателя”, не встретил сочувствия в исследователе местничества А.И. Маркевиче. Он отозвался о памятнике иначе. По его определению, это – “разряды” и притом “в довольно полном виде”; так как, по общему мнению, официальных разрядных за Смутные годы не было, то А.И. Маркевич полагал, что в хронографе столяра мы имеем одну из “частных разрядных”⁴. К определению А.И. Маркевича примкнул и я в своей книге, посвященной древнерусским литературным произведениям о Смутном времени⁵. Мне казалось, что “повествование о Смуте Столярова хронографа есть действительно разрядная книга” и “произведение частного лица”. Простое утверждение А.И. Маркевича я старался обставить возможными доказательствами, и мне как тогда они представлялись убедительными, так и теперь, по истечении двух земских давностей, кажутся не лишены смысла. Поэтому я считаю совершенно правильным, что С.А. Белокуров в последнее время статью Столярова хронографа поставил в XXIV группе “разрядных записей за Смутное время”⁶. Характеризуя эту запись, он говорит: “по своему изложению запись эта не строго разрядная, она переполнена различными повествовательными известиями и представляет нечто среднее между известиями разрядов и хронографов, есть запись разрядно-хронографическая”. В параллель такой характеристике г. Белокурова можно привести и мой отзыв, что находящиеся в памятнике многочисленные вставки летописного характера, не имеющие вида официальных разрядных записей, “были причиною того, что разрядная книга сочтена была за хронограф”.

Итак, возможны были два взгляда на изучаемое произведение: 1) “летописное сочинение” местного нижегородско-арзамасского “летописателя” и 2) частная разрядная с “повествовательными известиями” и “вставками летописного характера”.

В.О. Ключевский не отказал мне в чести дать критический отзыв о вышеназванной моей книге для Академии Наук при присуждении Уваровских наград в 1889 г. В этом отзыве он остановился, между прочим, на Столярове хронографе с тем, чтобы оспорить мой о нем “приговор”. “Итак, это памятник нелитера-

⁴ *Маркевич А.И.* О местничестве. Киев, 1879. С. 755.

⁵ *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1888. С. 270–273.

⁶ *Белокуров С.А.* Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). М., 1907 (в Чтениях ОИДР). С. XIV, XXII, 275–277.

турный и неофициальный”, – так резюмировал В.О. Ключевский мой взгляд и после некоторых замечаний по существу дела заключил от себя так: “Легко может быть, что, вопреки мнению автора, мы имеем здесь пред собою памятник не только литературный, но и официальный”. Говоря другими словами, критик почел Столяров хронограф за “летопись” “по официальному поручению”. Такая точка зрения отличалась от обеих прежних. Если в свое время я не был побежден желанием начать научную полемику в защиту своего взгляда, за который продолжал держаться, то теперь, конечно, еще менее склонен к спору. Но я рад воспользоваться случаем, чтобы представить на суд чтимого учителя и критика некоторые новые наблюдения над текстом памятника, способные несколько определеннее осветить предмет давнего разногласия.

II

В последнее время я читал текст памятника по двум его спискам: 1) Карамзинскому и 2) Московского Общества истории и древностей российских (№ 183). В первом из них изучаемый текст писан совсем отдельно, кажется, даже на особых тетрадах, и вплетен в книгу вслед за хронографом. Во втором списке он органически входит в состав разрядной книги, представляя собою как бы продолжение той из редакций разрядных книг, которую гг. Милюков и Лихачев склонны считать Бутурлинскою⁷. Отличия списков очень маловажны (Карамзинский исправнее); все сколько-нибудь существенные в них различия указаны С.А. Белокуровым⁸. Если принять во внимание, что цитаты Мельникова из Лобковского списка обыкновенно вполне совпадают с чтением обеих названных рукописей, то является возможность предполагать, что текст памятника дошел до нас неиспорченным и непереработанным, в том виде, в каком он был задуман, то есть в виде погодных записей, разрядных и летописных, пригодных для того, чтобы служить продолжением старых редакций разрядных книг, обычно доходящих до первых лет XVII века.

Начинается разбираемый памятник, безо всякого заглавия и вступления, пространной записью о походе из Астрахани околь-

⁷ Милюков П.Н. Официальные и частные редакции древнейшей разрядной книги // Чтения ОИДР. 1887. Кн. 2. Отд. IV. С. 18–19; Лихачев Н.П. Разрядные дьяки XVI века. СПб., 1888. С. 334, 337–338. Г[осподин] Лихачев дает подробное описание той рукописи, о которой мы сейчас говорим.

⁸ Разрядные записи... С. 275–277.

ничего И.М. Бутурлина и О.Т. Плещеева в Кумыцкую землю и о поражении там русских войск от кумыков и турок (1604–1605 гг.). В текст этой записи введено несколько разрядных отметок случайного характера (“Того ж году в Смоленску был боярин и воевода князь Василей Карданукович Черкасской” и т.д.). Затем идет рассказ о походе на Москву и о воцарении первого самозванца, рассказ местами очень обстоятельный и оригинальный, местами же совпадающий с записями других разрядных⁹. После свержения самозванца внимание автора нашего памятника снова устремляется на Астрахань и Терек: он рассказывает об отпадении Астрахани от царя Василия и о похождениях терского самозванца “детины Петрушки”, причем нетрудно заметить, что автору очень хорошо известно только то, что делали казаки с Петрушкой на Волге между Свяжском и Царицыном. Проводив же их оттуда “в украинные городы”, автор как бы теряет их из виду; а когда, по ходу рассказа, он снова говорит о Петрушке, то заново знакомит с ним читателя, сообщая (очевидно, из другого источника) про этого “Петрушку родом муромца”, что он “посадкова человека сапожника сын, а был в свияжских стрельцах в приказе у головы стрелецкого у Григория Елагина и был у него в денщиках”. Один из источников своего рассказа о Петрушке автор обнаруживает мимоходом, когда позднее рассказывает о побоище на Восме в бояраке. При избиении там боярами воров-казаков “только оставили семь человек живых по челобитью дворян и детей боярских нижегородцев да арзамасцов, что оне тем дворяном учинили добро: как они шли х Казани (варьянт: шли казаки) с Терка с вором Петрушкою Волгою к вору к Разстриге и воротилися с вором Волгою назад, и тех дворян встретили на Волге, и вор их хотел побить, и оне их не дали побить”¹⁰. Вряд ли может быть сомнение в том, что именно от этих дворян, так или иначе, шли сведения автора о Петрушке на Волге. За рассказом о появлении Петрушки следует очень обстоятельное повествование о компании царя Василия против Болотникова и о взятии Тулы – со многими разрядными данными и с любопытным эпизодом об Арзамасской и Алатырской смуте¹¹. Здесь впервые выказывается особое внимание автора к делам и людям арзамасским, нижегородским и вообще понизовым. Перейдя затем к описанию действий Шуйского против второго самозванца, автор вторично обращается к арзамасцам и внимательно следит за их службою на Рязани

⁹ Ср. Изборник. С. 324–326; Белокуров С.А. Разрядные записи... С. 170–171, 196–197.

¹⁰ Изборник. С. 336.

¹¹ Там же. С. 333–334.

с Пр. Ляпуновым против Лисовского¹² и за их смутами, когда Арзамас оказался за Вором, а арзамасские дворяне и духовенство “пошли все в Муром, а иные в Нижней”¹³. В остальном своем содержании повествование автора о Тушинском периоде Смуты представляет собою общий очерк, любопытный, но довольно краткий и, по обычаю автора, с разрядными данными. Таким же характером отличается и рассказ о московской разрухе, сосредоточенный на московских и подмосковных событиях; из местных дел автор опять-таки приводит лишь арзамасские, именно попытку испомещения в арзамасских дворцовых селах смоленских дворян. Он следит за судьбою этих “смолян” и после перехода их из-под Арзамаса в Нижний Новгород; даже самое начало нижегородского ополчения связывает он с призывом в Нижний этих смоленских выходцев¹⁴. Пространным и любопытным рассказом об освобождении Москвы и избрании М.Ф. Романова заканчивается первая часть разбираемого памятника. В ней, как мы видим, ясно сказывается тяготение автора к Арзамасу и вообще Понизовью.

Вторая часть повествования посвящена времени царя Михаила Феодоровича и первым годам царствования Алексея Михайловича; она своим строем ближе, чем первая, подходит к обычному типу разрядных этого периода. В этой части – всего около 25 крупных разрядных записей, иногда переходящих в живой рассказ с ценными военно-бытовыми подробностями. На ряду с событиями, имевшими общегосударственный интерес, автор по-прежнему помещает местные низовские (“Во 128 и во 129 и во 130 году в Нижнем Новгороде писцы... писали посад и уезд и бортников и мордву”. “В те же годы в Арзамасе писцы... писали посад же и уезд и бортников и мордву”)¹⁵. В подборе частных и подробностей заметен одно любопытное обстоятельство: с 123 (1614–1615) года начинают попадаться подробные и очень благосклонные сведения о службах Баима Федорова (позднее “Федоровича”) Болтина, в 123 году он назначен головою нового приказа стрельцов в Казани. В 140 и 141 годах он был послан воеводою против Литвы в Севск, из Севска подошел к Новгород-Северску и взял его приступом, за что и был пожалован кубком, шубою и денежной придачей. Весь подвиг Баима Федоровича изображен подробно и похвально. В татарский приход 141 года Б.Ф. Болтин сидел воеводою в Симонове монастыре. В 142 году на Поляновке

¹² Там же. С. 339–340.

¹³ Там же. С. 345–346.

¹⁴ Там же. С. 352–353.

¹⁵ Там же. С. 367, также 358, 363 и др.

на посольском съезде он был головою у стольников и стряпчих. В 143 году он ездил в Литву дворянином в посольстве, путь которого потому и изложен подробно в нашем хронографе. В 150 году Б.Ф. Болтин послан на съезд на “Путивльскую между” уже в чине “ясельничаго” и с титулом “наместника Серпуховскаго”. Наконец, в 152 году он встречал за Земляным городом в Москве королевича Вальдемара и “королевичу Валдемару говорил речь”¹⁶. На описании въезда и встречи королевича обрывается Карамзинский список.

В Московском списке¹⁷ еще ранее этого известия начинаются посторонние вставки (например, “разряд тобольской и томской”), и последнего известия о Б.Ф. Болтине уже нет. Зато в нем находится новое известие – о назначении Б.Ф. Болтина послом в Данию в 155 году¹⁸ и, кроме того, несколько интересных документов, касающихся Арзамаса и рода Болтиных; таковы: запись об арзамасцах Савлуковых, грамота царя Федора Ивановича 7100 года Болтиным, арзамасская десятина 7105 года и челобитная Болтиных 7182 года¹⁹. Если вспомнить, что на Карамзинской рукописи есть по листам запись: “сия книга, глаголемая хронограф Спасскаго игумена Корнилия (1646–1661), что в Арзамасе, а подписал я, игумен, своею рукою”, – то получим основание для того, чтобы связать происхождение не одной Московской рукописи, но и самого изучаемого памятника – с Арзамасом и Болтиными.

III

Из общеизвестного приказного материала XVII века можно извлечь некоторые данные о службах Баима (иначе Боима, Обойма) Федоровича Болтина. Наиболее раннее сведение о нем относится к 1613–1614 гг. Он был участником зимнего похода князя Д.Т. Трубецкого под Новгород. Когда шведы стеснили русское войско в Бронницах (“за 20 верст от Великаго Новгорода”), и “почала быть ратным людям теснота великая”, то “из Бронниц к государю прислали от ратных людей бить челом” о дозволении отступить. А в челобитчиках был прислан, между прочим, “Боим Федоров сын Болтин”. В Столяровом хронографе находится очень обстоятельный и колоритный рассказ об этом походе,

¹⁶ Там же. С. 360, 368–371, 372, 374, 375–377, 378, 379.

¹⁷ С листа 296 об.; ср.: Изборник. С. 378.

¹⁸ Лист 334; ср.: *Бантыш-Каменский Н.Н.* Обзор внешних сношений России (по 1800 год). М., 1894. Ч. 1. С. 227.

¹⁹ Листы 333–334, 334 об.–335 об., 336–338 и 339. Ср.: *Лихачев Н.П.* Разрядные дьяки XVI в. С. 337–338; здесь указана еще любопытная запись о Болтиных XVI века, находящаяся на 123 листе рукописи.

написанный, очевидно, его участником, человеком из отряда Василия Ивановича Бутурлина. С Бутурлиным же велено было быть в этом походе, между прочим, “нижегородцом и арзамасцом”²⁰. Нет ничего невероятного в том, что автором этого рассказа был именно Баим Болтин, столь часто упоминаемый в хронографе. В 1614–1615 г. Баим, по указанию хронографа, был назначен стрелецким головою в Казани; а в 1620–1622 годах служил вторым воеводою на Терке²¹. Там Баим мог приобрести те подробные сведения, какие есть в хронографе о поражении русских в Кумыцкой земле и вообще об астраханских и терских делах начала XVII века. После терской службы Баим служил в самой Москве “дворянином”²², а в начале 1627 года был назначен дьяком Новгородской (Нижегородской) чети. Февраля 16-го “по государеву указу велено быти в Нижегородской чети во дьяцех Баиму Федорову сыну Болтину, и ко кресту Баим приведен февраля в 17 день; имя ему молитвенное Сидор”²³. В чети Баим оставался до 1632 года, по обычаю появляясь в придворных церемониях и торжествах²⁴. В 1632 году он был послан против литвы и поляков воеводою на Северу в Севск. Там ему было суждено совершить самое яркое дело его жизни. Перед самым Рождеством он осадил и взял приступом значительную крепость Новгород-Северскую, за что и был хорошо награжден. Успех Баима был одним из самых счастливых и видных в малоудачной войне 1632–1634 гг., и потому в документах того времени есть довольно много о нем упоминаний, независимо от рассказа в хронографе, который можно, кажется, приписать самому Баиму²⁵. Возвращенный в Москву, Баим остается там до 1634 года. Раньше было указано, со слов хронографа, что в 1633 г. он в ожидании прихода татар к Москве сидел воеводою в Симоновом монастыре под Москвою. В 1634 и 1635 году Баим участвовал в посольствах при заключении Поляновского “докончания” и при возвращении

²⁰ Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 108; Изборник. С. 358–359.

²¹ Изборник. С. 360; Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 484; Книги разрядные. Т. 1. Стб. 720, 764, 871.

²² Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 639, 818.

²³ РИБ. Т. 9. С. 456.

²⁴ Сведения о Б. Болтине за эти годы рассеяны по книгам и грамотам в разных изданиях: РИБ. Т. 2. № 146. Т. 9. С. 458, 470 (и далее по указателю); Дворцовые разряды. Т. 1. Стб. 907, 915, 969, 972, 995, 1001, 1006, 1029; Т. 2. Стб. 27, 251; ААЭ. Ч. 3. № 188, 194, 196; Ч. 4. № 6; АИ. Т. 3. № 149, 151, 160, 166.

²⁵ Изборник. С. 368–371; Дворцовые разряды. Т. 2. Стб. 274, 286, 310, 317, 341, 864; Книги разрядные. Т. 2. Стб. 378, 382, 384, 390–391 (730), 421–425, 425–435, 435–436, 460–461; ААЭ. Ч. 3. № 206; Акты Московского государства. СПб., 1890. Т. 1. № 512.

праха царя Василия в Москву²⁶. Затем он находился, по-видимому, до 1642 года, в Москве, получив в 1641 г. чин и должность ясельничего (17-го марта)²⁷. В 1642 году он ездил в Путивль “межевать с литовскими людьми спорныя земли”; рассказ об этом в хронографе снабжен любопытными подробностями, объясняющими, почему “земель ничево не размежевали”²⁸. Возвратясь в Москву²⁹, Б. Болтин в 1647 году был назначен послом в Данию и, отправясь туда в августе, вернулся лишь в начале 1648 г.³⁰. В 1649 г. Баим участвовал во встрече польских послов, а в 1662–1663 гг. был вторым воеводою в Тобольске³¹. Последняя, насколько мне известно, служба Баима записана в 1655 году: он был в государеве полку в Смоленском походе царя Алексея³². В это время Баиму было уже около 60 лет и он считал за собою с лишком сорок лет службы...

IV

Из тех данных, какие мне пришлось собрать, по обстоятельствам, поверхностно и спешно, возможны все-таки некоторые выводы.

С значительной долей уверенности можно полагать, что изучаемый памятник составлен из материалов, собранных Баимом Болтиным, и составлен им же самим. Баим был арзамасским землевладельцем³³ и служил вначале “с городом”, московским же дворянином стал позднее, вероятно, после своего “головства” у стрельцов в Казани. В Нижнем, Арзамасе, Саранске Болтины сидели и служили целым гнездом, происходя, всего вернее, из

²⁶ Изборник. С. 372, 374–377; Дворцовые разряды. Т. 2. Стб. 526; ср.: *Цветаев Д.В.* Царь Василий Шуйский и места погребения его в Польше. Варшава, 1901. Кн. 1. Приложения. С. XXVI и след.

²⁷ РИБ. Т. 10. С. 203 (ясельничий вместо Ивана Биркина); Акты, относящиеся до юридического быта древней России. СПб., 1884. Т. 3. № 351. За годы 1633–1638 см., например, Дворцовые разряды (Т. 2. Стб. 404, 578, 658, 671, 874; РИБ. Т. 9. С. 562).

²⁸ Дворцовые разряды. Т. 2. Стб. 682–683; Изборник. С. 378.

²⁹ Дворцовые разряды. Т. 2. Стб. 722; Акты Московского государства. М., 1894. Т. 2. № 267.

³⁰ *Бантыш-Каменский Н.Н.* Обзор внешних сношений России. Т. 1. С. 227.

³¹ Дворцовые разряды. Т. 3. Стб. 129–130, 134, 328, 363; РИБ. Т. 10. С. 471, 476; *Барсуков А.П.* Списки городских воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. СПб., 1902. С. 238.

³² Дворцовые разряды. Т. 3. Стб. 467.

³³ *Загоскин Н.П.* Архив князя В.И. Баюшева. Казань, 1882. Т. 1. № 17 и 152.

местных инородцев³⁴. Семейные и родовые воспоминания и личный служебный опыт в Поволжье и на Терке дали Баиму достаточный запас материала для первой части его “хронографа”. Служебное счастье вынесло затем Баима в верхние слои московской администрации и сделало шире его личный кругозор. Он видел придворную жизнь, посольские съезды, иноземные дворы. Дьяк и приказный человек, он интересовался прежде всего служебной стороной своей жизни и только служебные свои воспоминания записывал на память для себя, своих близких и потомства. Его целью, по-видимому, было составить свою собственную разрядную, занеся в нее все те назначения и службы, какие казались ему достойными записи. В одних случаях он писал по личным своим воспоминаниям; в других заимствовал готовый разрядный материал, в роде, например, статей о посылках царя Бориса к воеводам после битв 21-го декабря 1604 года и 20-го января 1605 года³⁵. Иногда же, по-видимому, он пользовался воспоминаниями своих близких; предполагаем, что так он записал, например, любопытнейшие подробности погрома в Тарках в 1604 году или рассказ о спасении арзамасскими и нижегородскими дворянами семи ка-

³⁴ Действия Нижегородской губернской ученой комиссии. Н. Новгород, 1887. Т. 1. С. 399, 401, 402, 403; ДАИ. Т. 6. № 104; *Лихачев Н.П.* Разрядные дьяки... С. 338; *Холмогоровы В. и Г.* Материалы для истории колонизации Саратовского северо-восточного края. Саратов, 1891. С. 42. Я очень благодарю Ст. Б. Веселовского за следующие доставленные мне сведения: “В 7093 г. 5 мая упоминается в Арзамасском уезде поместье Матвея Болтина, из которого часть была отделена другому помещику. Был ли он жив и почему часть его поместья была отделена другому, неизвестно (Поместный приказ. По Арзамасу отказная книга № 1, документ № 17). Кроме Матвея в Арзамасском уезде прочно сидело целое гнездо Болтиных. В 7094 г. упоминаются помещики Тешского стана Иван Дмитриев сын, Иван, Федор и Василий Михайловы дети Болтиных (Там же. Документ № 24). В 110 г. 12 июля по челобитью Федора Михайлова Болтина ему были отделены пустоши и полянки в его поместную дачу в 240 четей. Весь оклад его – 500 четей (Там же. Документ № 168). В 134 г. 1 января в Тешском же стану упоминаются поместья Иваниса, Самсона и Аверкия Федоровых детей Болтиных. В челобитной они называли свои поместья старинными отца их поместьями (По Арзамасу отказная книга № 5. Документ № 94). В 136 г. Иванису Болтину оклад был 400 четей: в даче у него было в Арзамасском уезде 238 четей с третником. По его челобитью ему была отделена поляна Сергас в дачу к окладу (Там же. Документ № 130). В 147 г. 31-го мая Баим Федоров Болтин бил челом государю, что его оклад 1000 четей, “и за ним де поместья в Арзамасе да в Мещере да на Алатыре 781 четь”. В другом челобитье 147 г. он говорил, что у него в этих же уездах в даче 811 четей без третника (Отказная книга № 8. Документ № 33). Он просил отделить ему черный лес в Тешском стану “подле его вотчинныя деревни Вонючки, Лукьяново тож, за речкою за Вонючкою” и т.д. Ему было отделено (Отказная по Арзамасу, книга № 8. Документ № 21)”.

³⁵ Изборник. С. 325–327; *Белокуров С.А.* Разрядные записи... С. 170–172, 196–198.

заков на Восме³⁶. Сам Баим вряд ли бы мог по молодости своей участвовать в дальнем походе на кумыков, откуда, кстати сказать, немногие и спаслись; сверх того, если бы он был в Тарках, то, разумеется, с городом, с арзамасцами и, в таком случае, непременно упомянул бы о своем “городе” в перечне участников похода, а этого упоминания как раз и нет в его записи. Если бы, далее, Баим был сам в числе тех арзамасских дворян, которые на Восме отпросили казаков от казни, то он иначе, подробнее, построил бы рассказ о разбоях Петрушки и его казаков на Волге, а, кроме того, не преминул бы назвать свой “город” в составе войск, победивших на Восме; между тем, по ходу его изложения, мы только сами можем заключить, что нижегородцы и арзамасцы, участвовавшие в бою, пришли на Восму с воеводою Гр. Гр. Пушкиным из Арзамаса через Серебряные Пруды и Дедилов. Предполагая здесь запись Баима не по личным впечатлениям, а с чужих слов, мы, конечно, рискуем ошибиться. Быть может, и в этих случаях, как во многих иных, Баим сам был участником и очевидцем. Свои собственные впечатления он обыкновенно записывал с большою объективностью, говоря о себе всегда в третьем лице и присвоив себе отчество с “вичем” лишь тогда, когда ему дал на то право служебный обычай его эпохи. Иногда Баим даже и вовсе не упоминал своего имени в записях о тех делах, в которых несомненно лично участвовал: так было, например, в рассказе о зимнем походе под Новгород 1614 года. Так как своим записям Баим придавал привычную для служилого человека форму разрядных “статей”, то такой прием был совершенно обычен и понятен.

Но время, в которое Баиму пришлось жить и служить, было исключительным по своему драматизму и богатству исторического движения. Самозванщина, разруха, тяжелые войны с чужими и своими – давали такое разнообразие сильных и ярких впечатлений, что их нельзя было уложить в короткие строки сухой разрядной отметки. Неудержимо сказывалось желание закрепить для себя и для потомства подробности пережитого и выстраданного. И вот разрядные заметки постепенно вырастают в целое повествование с такими подробностями, какие не имеют значения для службы и местнического случая, но интересны в былевом и бытовом смысле. Деловой тон разрядного писания избавляет автора от необходимости облекать эти подробности в вычурную форму книжной речи, установленную литературными вкусами того времени, и этим обеспечивает точность и непосредственность описа-

³⁶ Изборник. С. 321–323 и 335–336; ср.: Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. М., 1889. Вып. 1. С. СХ.

ния. Автор, таким образом, вышел из казенных рамок разрядной, но еще не дошел до искусственного литературного творчества. Он на той стадии историографического искусства, которое дает хронику и наивный мемуар. Нечто в таком именно роде и создал Баим Федорович Болтин, написав в виде хроники современных ему событий как бы записки о своих службах. Словами своего современника он мог бы сказать про себя: “елико чего изыскал, толико сего и написал” – “понеже бо он сам сие существенно видел и иные бо вещи от изящных безприкладно слышел”.

Итак, Столяров хронограф не есть ни “летописное сочинение местного летописателя”, ни “летопись по официальному поручению”, ни, наконец, разрядная книга в обычном смысле термина. Если искать для памятника точного определения, то всего скорее можно его поставить на первом месте между “записками” русских людей XVII века, в непосредственной близости с записками князя С.И. Шаховского, от которых труд Болтина отличается замечательною полнотою. Подробное изучение Столярова хронографа с этой точки зрения очень желательно и может дать интересные результаты.

К истории Полтавской битвы (1909)

В 1909 году исполняется двухсотая годовщина Полтавского боя, с которого по справедливости можно начинать новую русскую историю.

Как значение этого события, так и подробности всей Полтавской операции хорошо выяснены в нашей военно-исторической литературе. К тому, что находится в трудах военных специалистов, гражданский историк вряд ли будет в состоянии представить существенные поправки и изменения. По крайней мере, автор этих строк далек от намерения входить в пересмотр и критику того, что сделано военными историками для изучения операции 1707–1709 гг., ибо признает за ними несравненно большую, чем у него, компетентность в вопросах военной истории. Но есть в обстоятельствах Полтавской осады и битвы одна сторона, о которой историки-специалисты обыкновенно умалчивают и о которой мне хочется сказать несколько слов – в дополнение и разъяснение общего смысла событий, решивших исход Великой Северной войны именно на берегах реки Ворсклы.

Всякий изучающий ход кампании 1709 года должен заметить одну ее существенную особенность. Попав на зимовку в Украину в 1708 году, шведская армия расположилась в районе Ромен, Гадяча, Лохвицы и Прилук и была обставлена почти со всех сторон русскими отрядами. Дальнейшие намерения шведов были русским неизвестны. Осенью 1708 года Петр писал адмиралу Апраксину, что только “в январе все окажется”, что намерены будут дальше делать неприятели¹. Однако, при такой неопределенности положения, главные русские силы без колебаний неизменно располагаются восточнее шведских позиций, в Сумах, Лебедине, Ахтырке. Дело имеет такой вид, как будто Петр ждет движения шведов именно на восток, через р. Псел или по р. Пслу, и готовит врагу отпор на линии Псла или Ворсклы. Первые зимние столкновения произошли действительно на Псле у Гадяча. С отступ-

¹ Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. 2-е изд. М., 1838. Т. 4. С. 41.

лением русских от Гадяча шведы перебрались через Псел и на самом деле предприняли наступление в восточном направлении. Сначала они штурмовали Веприк и 6-го января его взяли. Затем, переждав, через Опошню они начали марш за р. Ворсклу на Красный Кут к р. С. Донцу. Распутица и ранний разлив рек в феврале 1709 г. заставили Карла вернуться на правый берег Ворсклы и основаться в Будищах. Но в апреле Карл начинает осаду Полтавы на той же Ворскле, очевидно, не имея в виду прямого движения ни за Днепр, ни на север. Явная тенденция шведов к востоку окончательно заставляет Петра к весне перебросить свои главные силы за Ворсклу и опереть их уже не на Сумы, а на Белгород. В конце января и начале февраля 1709 г. Петр дважды пишет Апраксину о том, что, по показаниям пленных “языков”, шведы имеют в виду идти на Воронеж. Царь не склонен верить этому; однако, хотя то “неимоверно” и “невероятно”, он хочет быть осторожным и велит адмиралу принять меры к охране на Дону кораблей и хлебных запасов².

Вот этот-то факт тяготения Карла на восток и представляется мало объясненным в нашей литературе. Военными историками приводятся обыкновенно два соображения, которыми должен был руководиться Карл, предпринимая движение на восток и осаду Полтавы. Во-первых, он мог надеяться выманить русских на решительный бой угрозой овладеть такою важною крепостью, какою якобы была Полтава³; во-вторых, со взятием крепости он рассчитывал приобрести опорный пункт в Украине, в котором можно было бы держаться до тех пор, пока успеет помощь от Турции или Польши. Такие мысли находим мы и у Карпова (“Военно-исторический обзор Северной войны”), и в “Обзоре войн России”, и в “Энциклопедии военных и морских наук”. Принимая это общее объяснение, Д.О. Масловский (в “Записках по истории военного искусства в России”, Вып. 1) высказывает еще и то соображение, что Петр сумел чрезвычайно стеснить квартирный район шведов и обставить их своими войсками с севера, запада и юга: “Карлу XII, – говорит он, – оставался почти свободный путь действия к Харькову (?), и король, не имевший уже никакой стратегической цели, двинулся было в этом безопасном для нас направлении”. Такое же представление о чрезвычайной затрудненности положения Карла имеет и Н.П. Михневич (в “Истории военного искусства”);

² Там же. С. 51, 55.

³ Не все современники событий считали Полтаву важною и сильною крепостью: “крепость она не вельми трудная была”, замечал, например, Феофан Прокопович в “Истории императора Петра Великого” (2-е изд. М., 1788. С. 244).

по его словам, “Карл решается на осаду и взятие Полтавы для того, чтобы чем-либо блестящим занять армию”⁴.

Конечно, положение шведской армии было к началу 1709 года очень не легко; но можно ли думать, что оно уже тогда стало безнадёжным и привело Карла даже к потере всякой стратегической цели? Я полагаю, что так думать преждевременно. Сначала надлежит изучить исторически всю обстановку происходившей тогда операции и постараться угадать, какие возможности представляла она для Карла в целях дальнейшего наступления на врага. Что Карл не хотел отступать, в этом согласны все историки. Что движение на Полтаву сохраняло за ним до времени инициативу действий, это признают также все. Что Петр выжидал всю зиму 1708–1709 года, не имея определенного плана наступательной кампании, это ясно из его писем. Наконец, что шведы хотели генерального боя, а Петр его опасался до самых последних недель пред развязкою кампании, это тоже вне спора. При наличии таких условий, естественно поставить вопрос: направляя упорно свои действия к востоку, сначала на Веприк, затем южнее – на Опошню и Красный Кут, потом еще южнее – на Полтаву, какую стратегическую цель мог иметь Карл XII? Быть может, на этот вопрос мыслим тот ответ, что Карл желал обойти русские силы с левого фланга, имея в виду выйти к Белгороду и тем открыть себе дорогу внутрь Московского государства. К такому ответу приводят, во-первых, некоторые намеки источников, а во-вторых, знакомство с важнейшими путями сообщения той эпохи.

В “Журнале государя Петра I”, редактированном Гюйссеном⁵, под 4-м июня 1709 года о Полтаве сказано: “Неприятель сей город держал в атаке по совету Мазепину для того, что то место, по мнению его, имело удобствовать входу в Россию и коммуникации с поляками и татарами”. Показание Гюйссена повторено у Голикова, до которого оно дошло уже из вторых рук и потому получило более определенную форму: “Завоевание Полтавы обещало ему (королю) сообщение с поляками, с казаками и с татарами и представляло способную ему дорогу к Москве”⁶. На первый взгляд представляется странным, как именно Полтава, лежавшая южнее

⁴ Масловский Д. Ф. Записки по истории военного искусства в России. СПб., 1891. Вып. 1. С. 133; Михневич Н. П. История военного искусства с древнейших времен до начала XIX столетия. СПб., 1895. С. 301.

⁵ Туманский Ф. О. Полное описание деяний его величества государя императора Петра Великого. СПб., 1788. Ч. 8. С. 85–86.

⁶ Голиков И. И. Деяния Петра Великого... Т. 4. С. 65. Ср.: “Житие и славные дела Петра Великого” (Феодози). Т. 1. С. 367 (по первому изданию: Венеция, 1772) и 338 (по второму изданию: СПб., 1774). У Феодози даже сказано: “представляло способнейшую дорогу к Москве”. Голиков умерил выражение.

зимних квартир короля и на краю “дикого поля”, могла дать королю удобство и способ открыть путь на север к вражеской столице. Однако дело могло быть так и, всего вероятнее, именно так и было.

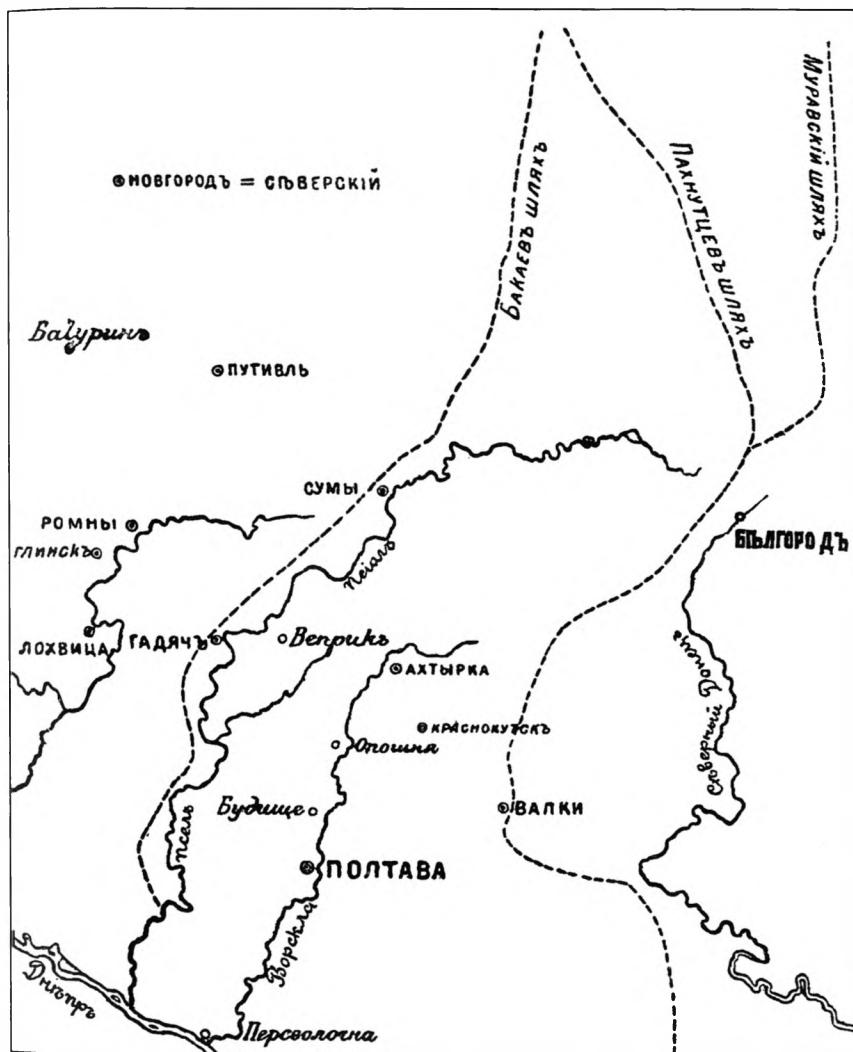
Течение р. Ворсклы в старину составляло естественную границу русской оседлости и дикого поля. Вдоль Ворсклы по ее левому берегу шла главная степная дорога “Муравский шлях”, по которой ходили из Крыма на Москву и враги, и друзья. Дорога эта близко подходила к берегу Ворсклы: “от Ворскла к Муравской дороге, – говорит старая роспись дорогам, – пришло поле чистое, а поперек его до Муравской дороги версты три”. В виду Ворсклы на шляхе часто становились лагерем татары во время их набегов на Русь; но они не ходили на правый берег Ворсклы: “за речку за Ворскол царь и большие люди (то есть хан с большими силами) не хаживали для того, что по Ворсклу... пришли леса большие, и ржавцы и болота есть”. Защита линии Ворсклы была усилена и искусственными крепостями, среди которых Полтава занимала не последнее место, так как была поставлена вблизи знаменитого урочища между речками Коломком (Коломаком) и Можем (Можью), где проход был так стеснен лесами и болотами, что оставлял для шляха узкое пространство шириною не более трех верст. Русские перекопали это пространство рвом, а возможность обхода для идущих с юга предупредили крепостями, в числе которых была и Полтава. Севернее Муравский шлях был стеснен уже непосредственно Ворсклою, там, где эта река сходилась в своем верховье с верховьем С. Донца: “опричь Муравской дороги меж Донца и Ворскла обходу царю крымскому и большим людям иной дороги нет”⁷. В этом месте стояла важная крепость Белгород, прикрывавшая собою шлях от покушений с юга. Непосредственно же за Белгородом, на севере от него, Муравский шлях выходил на простор и давал от себя несколько ветвей, которые приводили на верховья Оки и вообще в центр Московского государства. Важнейшие из этих ветвей носили названия Бакаева шляха и Пахнутцовой дороги. Таким образом, обладание Белгородом вело за собою возможность оперировать на любом из многих существенно важных путей с юга к Москве. Для полноты приводимых справок необходимо заметить, что в узел названных дорог, на верховья

⁷ *Багалея Д.И.* Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. Харьков, 1886. № 1. Как в этом, так и в другом подобном издании г. Багалея (Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ. Харьков, 1890) есть много ценных топографических и иных сведений о крае, где проходила кампания 1709 года.

Псла и Ворсклы, можно было придти и от Днепра по р. Псле “Саадашным шляхом” (другое название шляха Бакаева), оставив от себя вправо Ворсклу и Белгород⁸.

Сообразив расположение этих путей и вспомнив некоторые обстоятельства похода Карла на Украину, попробуем представить себе общий смысл движений шведов к Украине с точки зрения сообщения Гюйсена. Расчеты Карла на Украину стали явны вскоре после переправы его через Днепр. Не имея сил для немедленного похода на Москву, он в Украине думал создать себе базу для достижения той же главной цели в близком будущем. Хорошо или нет, но он устроил себе зимние квартиры на р. Суле и Псле, откуда и должен был начать свои операции к Москве (или же отступление). С берегов Псла в центр Московского государства вели дороги (по старой терминологии) “северские” и “польские”. Но на первых разыгралась кампания 1708 года, истощившая страну, и Карл, по-видимому, не рассчитывал на них. “Польские” же (то есть на “поле” бывшие) пути были заслонены главными русскими силами: русская армия в Сумах и Лебедине стояла именно на Саадашном или Бакаеве шляхе, прикрывая собою выход на тот важный узел дорог, который был на севере от Белгорода, на верховьях Псла и Ворсклы. Движением на Веприк Карл обнаружил намерение начать наступление по линии р. Псла. Открыв здесь русскую армию и уверившись, что Саадашный шлях занят русскими прочно, он, по-видимому, оставил мысль овладеть этим шляхом и решил обойти русских слева, завладеть Белгородом и таким образом стать на Муравском шляхе, откуда действительно открывалась “способная” дорога к Москве. Быстрый марш короля на Опошню и Красный Кут был попыткой обхода русских позиций; но эта попытка не удалась. По вестям о движении шведов русская армия передвинулась к Ахтырке и Белгороду. У Красного Кута король был задержан отрядом генерала Ренна, а затем оттепелью и паводком, и без результата отошел назад за Ворсклу, на ее правый высокий берег. Стремление короля на восток было, конечно, рискованным; но оно испугало Петра. От пленных Петр слышал “неимоверное” для него известие, что, идя на Красный Кут, Карл имеет в виду Воронеж. Петр из Ахтырки бросился в Белгород и, хотя уже писал Апраксину в Воронеж о возможной опасности, однако и сам поскакал туда: выехав из Белгорода 12-го февраля,

⁸ Лучшим пособием для изучения материала о путях служит труд А.С. Николаева о русских путях сообщения до конца XVII века в “Кратком историческом очерке развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России” (СПб., 1900). См. с. 57–75.



он прибыл в Воронеж уже 14-го⁹. Таково было впечатление от марша шведов на Красный Кут! Не успев довести этот марш до конца и овладеть Муравским шляхом в Белгороде, Карл в апреле пробует выйти за Ворсклу на “поле” еще южнее, через Полтаву. Это была последняя и самая рискованная попытка овладеть прямо намеченной операционной линией. В случае удачи шведы ока-

⁹ Журнал или поденная записка блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1689 года... СПб., 1770. Ч. 1. С. 183–185.

зывались бы перед тесным проходом у Коломка и Мжа, который мог послужить хорошею позицией для русских, и, только взяв эту позицию, Карл овладел бы Белгородом и дорогами в Московское государство. Понимая, конечно, это обстоятельство, Карл должен был желать ускорить генеральный бой, ибо надеялся на победу и нуждался в ней. Но в период Полтавской операции русская армия была за Ворсклою на Муравском шляхе и, оставаясь там, долго бы могла уклоняться от решительной битвы. Если же она сама в июне пошла на врага, то, надо думать, потому, что Петр уразумел критическое состояние короля, поражение которого началось, в сущности с неудачи его марша на Красный Кут и Белгород.

Таким представляется мне общий ход Украинской кампании 1709 года. До последних ее минут Карлом руководит безумно смелая мысль вторжения в Московию. Петр же держит свои главные силы на главных путях, ведших к Москве и в защите их полагает свою главную цель. Когда же он слышит, что Карл, вместо движения на Москву, имеет в виду двинуться на Воронеж, он не скрывает своего удивления, однако спешит охранять там корабли и хлебные запасы. Все существенные моменты кампании имеют вид столкновений за обладание путями (Веприк – Саадашным или Бакаевым, Красный Кут – Муравским). Движение на Полтаву было последствием неудачи первых попыток Карла выйти на “поле” и имело, по-видимому, ту же цель. Дело военной истории определить, что именно заставило Карла отказаться от повторения атаки в сторону Красного Кута и от марша вдоль р. Псла, на его верховья, и избрать более кружную дорогу на Полтаву.

Боярская дума – предшественница Сената (1910)

I. Древнейший боярский совет при князьях Киевской и Суздальской Руси. – II. Образование Московского царства. Превращение Московского князя-вотчинника в национального государя и княжества-вотчины в государство. Родовая знать и московские государи. Устройство государственного управления и царский синклит. – III. Состав Думы XVII века. Совет “всех бояр”. Соборы. Думные комиссии. “Суд бояр”. Ближняя дума. “Избранная рада”. Бояре “в земском” и “в опричнине”. Разгром боярства при Иоанне Грозном. – IV. Боярская дума в Смутное время. “Бояре” вроде временного правительства; его неудача. – V. Боярская дума в XVII веке. Думные чины. Практика Думы: Дума в составе соборов; совещания с сословными представителями. “Комнатная дума” и “Расправная палата”, как замена общих собраний Думы. – VI. Ученая полемика о характере общих собраний Думы. Обычный порядок общих собраний и устройство думных комиссий по типу приказов.

В 1711 году указами 22-го февраля и 2-го марта царь Петр Алексеевич “определил быть” Правительствующему или Управительному Сенату “для управления”: для правды и правого суда “как между народом, так и в деле государственном” и для “сбирания казны и людей и прочаго всего, чего государя и государства сего интересы требуют”. Учреждением Сената был окончательно прекращен старый порядок боярского “сиденья” о делах и был упразднен тот вековой боярский совет, “синклит”, с которым русские великие князья и цари “строили” и “держали” свою землю.

Каков же был этот боярский совет, и каковы были его обычаи и порядки?

I

Еще “старый князь Киевский” Владимир Святой, по словам начальной летописи, любил “дружину” своих соратников и советников и с ними строил порядок в Русской земле, “думал о строем земленем и о ратех и о уставе земленем”¹. Когда пред Владимиром

¹ Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. С. 124.

стал важным вопрос о перемене веры и принятии христианства, князь, по рассказу летописца, не сам решил его в своей совести. Он созвал на совет бояр и земских старейшин и совещался с ними, что надо сделать. “Да что ума придаете? что отвечаете?” – спрашивал Владимир своих советников². При внуках и правнуках Владимира Святого, русских князьях XI–XII веков, боярский совет обратился в постоянную, ежедневную принадлежность княжеского управления. В литературных памятниках того времени упоминается не раз, как по обычаю, ранним утром, “зорям восходящем”, все вельможи и бояре ехали к князю из своих домов. Князь же, проснувшись с зарею и “заутреннюю отдавши Богови хвалу”, при первых лучах солнца садился “думати с дружиною или люди оправливати”. После думы и трудов, к полудню князь распускал уже “вся бояры в дома своя”³. Крепкий княжеский обычай “сидеть” и “думать” с боярами остался только обычаем и не перешел в закон. Боярский совет не развился в учреждение в современном значении этого слова. Но вся жизнь той эпохи складывалась так, что князьям нельзя было отваживаться на единоличное решение каких-либо важных дел и нельзя было обходиться без обычных советников. Когда князь принимал свое решение без бояр, бояре могли просто уклониться от его исполнения. Они говорили, что не пойдут за князем на такое дело, которое он “о себе замыслил”, без их ведома и участия. И общественное мнение в подобных случаях становилось на сторону бояр: “но осуждало князя за то, что князь не обращался за советом к “мужем своим лучшим думы своя”⁴.

С таким же характером юридически необязательного, но житейски неизбежного княжеского совета Дума перешла и в последующий период русской истории. В тех княжествах Русского Северо-Востока, которые стали колыбелью Великорусского государства и выростили первое зерно национального объединения, боярский совет сохранился в своем исконном виде неоформленного, но крепкого и общепризнанного обычая.

Первые основы великорусской гражданственности создавались в условиях очень своеобразных. Великорусская народность складывалась во время заселения Русью верхнего и среднего Поволжья и сама явилась последствием этого заселения. Русские переселенцы из разных княжеств выходили на пустынную, богатую лесами и речными потоками Ростово-Суздальскую окраину,

² Там же. С. 104.

³ Там же. С. 238; Чтения ОИДР. 1899. Кн. 2. Житие преп. Феодосия. С. 61, 65.

⁴ Летопись по Ипатскому списку. СПб., 1871. С. 525, 416.

теснили прочь редкое финское население, садились на удобные места и ставили свое нехитрое хозяйство. Во главе колонизационного движения стояли здесь князья – младшее колено Мономахова рода, овладевшее “Низовскою землею” еще в начале XII века. Руководя заселением края, призывая к себе население и направляя колонизационный поток, князья в своих княжествах являлись перед пришлым населением как бы первыми заимщиками земель и потому считали свои земли лично собственностью. Княжество их было для них “вотчиною”, которую они себе сами “налезли” и “примыслили” и которую потому прочили своим детям, мимо всех остальных сородичей. В низовских княжествах власть князей получила, таким образом, патримональный характер и достигла большой полноты. В коренных русских волостях, киевских и новгородских, вся земля волости тянула к старшему, “великому” городу, принадлежала его главной святыне – “Святой Софии”, “Святому Спасу” или “Святой Троице”; город был высшим земским центром. В Суздальщине же волости превратились в княжеские уделы, и города стали княжескими крепостями. Средоточием волостной жизни здесь становился княжеский двор, и вечевая площадь уже не соперничала с ним за политическое преобладание. Как единый владелец и хозяин своей земли, князь на севере не любил ни с кем делиться своею властью и имуществом и охотно усваивал себе привычки автократического правителя, “хотя един властель быти”.

Тем не менее, вместе с князьями “самовластцами” в их уделах по старине действует боярский совет. Вокруг каждого князя стоят его бояре, готовые помочь ему советом и ратною силою. В малолетство князя Дмитрия Донского только усердие и разум преданных ему бояр удержали первенство за Московскими князьями в северо-восточной Руси. Немногим позднее открытая измена нижегородских бояр погубила нижегородского князя Бориса и отдала Нижний Москве. В решительную минуту борьбы эти бояре сочли себя в праве сказать своему господину, что они его оставляют: “господине княже, не надейся на нас: уже бо есмы отныне не твои, и несть есмь с тобою, но на тя есмы”⁵. Как в далекую киевскую пору, так и теперь, вольные княжеские слуги не задумались воспользоваться своею волею в ущерб государю князю и оставили его на погибель. Вотчинное полномочие князей не могло пока уничтожить первобытных вольностей боярства, сильного не одною традицией, но и материальными средствами. Обладая обширными землями, “боярщинами”, имея у себя свои “дворы” с

⁵ ПСРЛ. Т. 11. С. 148.

целыми “воинствами” слуг и холопов, бояре были общественной силою, с которою князья должны были считаться. И как в старину, так и в удельную пору общественное мнение почитало боярское содействие и боярский совет необходимым условием доброй княжеской политики. Князья должны “любити мудрых советников своих, яко свои уды”; князья “сами едины без искуснейших старцев всякаго земскаго правления да не самочинствуют”. Так говорила тогдашняя письменность⁶. Впрочем, житейские условия и самих князей в их уделах приучали, не “самочинствуя”, править с постоянным боярским участием. Нет возможности точно определить нормальный состав удельных княжеских советов; но нельзя сомневаться, что эти советы были ежедневным органом княжеского управления. “Обычнаго градскаго ради управления” советники князя по утрам ежедневно собирались на его удельном “дворе” совершенно так же, как когда-то, в киевскую пору, ежедневно съезжалась к старым киевским князьям их старшая дружина.

Таким образом, на всем пространстве русской исторической жизни, вплоть до образования Московского царства, боярский совет сопровождал князя, представляя собою житейски неизбежное, бытовое условие княжеского управления. Рост княжеского авторитета в северной Руси, обративший князей в вотчинных обладателей их уделов, не умалил бытового значения Боярской думы в удельных княжествах. Однако между княжеским полновластием и обязательностью для князей боярского соправления лежало внутреннее противоречие. Удельный быт его терпел. С народжением же Московского единогодержавия это противоречие должно было вскрыться и найти себе то или другое разрешение.

II

Конец XV и начало XVI века в истории русской жизни имеют особо важное значение. В это время, в несколько десятилетий, создалось могущественное Русское государство и выросли основы национального мирозерцания. Счастливые приобретения великих князей Ивана III и Василия III в несколько раз увеличили территорию Московского княжества и соединили под одну власть огромные пространства Руси “новгородской” и “низовской”. Московский князь, дотоле окруженный себе подобными русскими князьями, с этих пор стал соседом “немцев” свейских и

⁶ Сказания князя Курбского / Изд. Н.Г. Устрялова. 3-е изд. СПб., 1842. С. 37; ПСРЛ. Т. 11. С. 211.

ливонских, Литвы и татар. Самая обстановка политической жизни выдвинула на первый план, вместо удельных междоусобных счетов с русскими князьями, задачи национальные и международные. Охрана рубежей и населения от иноплеменного и иноверного врага сделалась первою заботою московского государя. Освобождение от татарского верховенства представлялось необходимостью и далось легко. Из ханского данника московский князь силою вещей превратился в “вольного царя”. Он становился не только “царем русским”, но и царем “всего православия”, ибо к концу XV столетия во всем православном мире не стало иной самостоятельной политической власти. Все “царства” православного Востока пали под турецкою грозою; стояло и цело одно лишь Московское царство.

Два последствия проистекали, между прочим, из столь быстрых политических успехов Москвы. Во-первых, власть московского князя получила новый характер. Во-вторых, создались новые формы действия этой власти.

Рост внешних сил Московского княжества поднимал международное значение московского князя. Почувствовав себя единым главою и защитником всего великорусского племени, московский князь стал считать себя единым национальным государем и в сношениях с Литвою заявлял свои притязания на все русские области, бывшие под властью литовской династии. Выезжие со славянского юга греки и славяне, а за ними и свои, московские, писатели внушали московским князьям величавую мысль о том, что их значение не ограничивается национальною сферою, а простирается на всю вселенную, на весь православный мир. Таким образом, удельный владетель XIV века, московский князь к XVI веку превращался, в идее, во вселенского властителя, единого во всей поднебесной православного царя, в чье царство “вся христианская царства снидошася”. Получая оценку своей власти в такого рода теориях и фикциях, московские государи в XVI веке естественно должны были склониться к горделивому самоопределению и привыкли ставить себя на один уровень с греческими царями. С высоты своего предполагаемого вселенского авторитета они стали смотреть и внутрь своего государства. Старинные формы удельного общежития их уже не удовлетворяли. Простота отношений к управляемой среде уже не соответствовала важности их нового вселенского сана. Вольности удельных слуг казались нетерпимыми. Не только внешние враги, но и домашние слуги должны были почувствовать и уразуметь рост царского авторитета в Москве.

Так менялся характер московской власти в пору сложения Московского государства. Быстрота этой перемены делала ее

очень заметно для современников. Те из них, кому не нравилось новое настроение московских государей, пробовали роптать, хвалили старину и порицали новшества. Великие князья недовольных устраняли и наказывали. Но от этого недовольство не исчезало: напротив, из поколения в поколение оно росло, ибо имело в обществе сильные и цепкие корни. Московская жизнь сложилась так, что одновременно возносила “высокую руку” московских князей и растила вокруг их трона сильную оппозиционную знать. Как раз в пору наибольших успехов московской династии, когда Москва собирала под свою власть удельные земли, в Москве сосредоточились в большом числе и владельцы этих земель, удельные князья, лишённые своей политической самостоятельности. Московский государь считал их своими подчинёнными слугами, которых у него было “не одно сто”. Сами же они помнили свое династическое происхождение и на нем думали строить известные притязания. Они считали себя вправе занимать первые места при дворе, в Думе и в войске московского государя. Они почитали себя также “государями” и на простых бояр склонны были смотреть, как на “рабов”, недостойных стать на одном уровне с их “великими родами”. По условиям времени, государям московским приходилось уступать родословным притязаниям княжеской знати. Во всех служебных назначениях государи именовали князей на первом месте и отдельно от бояр: “князи и бояре” – обычная формула официальных перечней той эпохи. На почетнейшие места и должности обычно назначались князья же – по великой породе своей, как “обыкли старейшая братия на больша места седати”. Так как нельзя было отрицать родовитость “княжат”, и так как тогда родовитому человеку обычаем везде давал первенство, то “княжата” невозбранно господствовали на вершинах московского общества, поговаривая, что государь “не жалует породю”, а может жаловать только деньгами и землями.

Внутреннее несоответствие между автократической властью великого князя и царя и притязаниями родовой княжеской знати, искавшей соправительства с государем, должно было раздражать обе стороны. В XVI веке это раздражение привело к столкновению царя и знати. В юности Иоанна Грозного бояре-княжата сделали попытку организовать около государя свой совет (“избранную раду”, как назвал его западно-русским термином князь А.М. Курбский). Боярский совет “снял” было с царя всю власть и поставил под свою опеку молодого Иоанна. Казалось, что Москва шла от царского самодержавия к княжеской олигархии. Однако Грозный, осмотрясь, “стал за себя” и не только разогнал “раду”, но и совершил государственный переворот, направленный вооб-

ще против знати и в пользу демократического самодержавия. Известный под именем “опричнины”, этот переворот состоял в том, что к княжеской знати были применены такие меры, какие обыкновенно применялись Москвою в покоренных землях к наиболее опасным врагам. Москва всегда выводила из покоренных областей господствующие слои населения и заменяла их московскими поселенцами. Это был испытанный прием государственной ассимиляции. Его-то Грозный и применил в опричнине. Он забрал в особый порядок управления, в “опричнину”, те области своего государства, которые обнимали территории старых удельных княжеств, и в которых были родовые вотчины княжат-бояр. Оттуда он систематически выселял княжат на окраины государства и заменял их своими “опричниками”. Покидая родовые земли и свою старинную оседлость, знать разорялась и должна была растерять свои удельные предания. Она лишалась, таким образом, своих материальных и политических устоев: а частые казни и гонения от Грозного довершали ее беды, уничтожая одни княжеские семьи и запугивая другие. К исходу XVI столетия политическое значение княжеской знати было уничтожено в корень, и власть московского государя получила непререкаемый авторитет.

Так произошло превращение великого князя удельной эпохи в московского монарха. Из князя-вотчинника, татарского данника, он стал сначала “царем православия”, усвоил себе роль защитника и представителя сильнейшей православной народности в ее международных отношениях. Внешние успехи повели за собою и переделку внутренних отношений. Царь православия стал самодержавным царем для своих прямых подданных. Новое положение власти должно было, конечно, отразиться и на положении ее советников – бояр. Патриархальный боярский совет удельного князя обращался при новых условиях в “царский синклит” или в “царскую палату”, становился государственным советом при московском самодержце.

Вторым последствием быстрых политических успехов Москвы было создание новых форм действия московской власти. В удельную пору управление князя носило частно-владельческий характер. Называя свое княжество “вотчиною”, князь и правил им как вотчиною. Центром управления был “двор” князя. “Дворецкий” князя ведал его земельное хозяйство и челядь; “казначей” хранил его денежное богатство, “кузнь” и “рухлядь” (то есть золото и серебро, меха и ткани). Под начальством дворецкого действовала особая канцелярия – “дворец”; под ответственностью казначея находились кладовые и архив – “казна”, при которой также существовала канцелярия. В этих канцеляриях “дьяки” вели необхо-

димое письмоводство и вместе с дворецким и казначеем судили суд по делам, им подсудным. Отдельные отрасли княжеского домоводства и хозяйственного управления “приказывались” князем тому или другому его слуге и назывались “путями”. По своей конструкции такая администрация была частно-вотчинною. Но ею исчерпывались и все функции центрального княжеского управления. Это и было правительство удельного типа, ведавшее все важнейшие дела княжества. В состав такого правительства входили и бояре-советники князя. Они или принимали на себя должности в княжеском “дворе”, “путях” и “казне” и становились “боярами введенными”, или же, оставаясь вне вотчинной администрации, служили князю ратную службу и сидели его “наместниками” по городам. И в том, и в другом случае они были думцами князя и по его приглашению являлись к нему на совет. Никаких определенных юридических очертаний у этого совета не заметно. Не определяются ни число его членов, ни круг подлежащих ему дел, ни порядок делопроизводства, ни права советников. Мало уловимая “старина” и “пошлина” руководят отношениями в совете. Князь не ограничивает ничем своей державной воли; слуги вольные князя служат ему по свободному желанию и сохраняют право отъезда от одного князя к другому.

Осложнения внешней политики и внутренний рост Московского государства в корень изменили несложные и нехитрые порядки удельного управления. Московское правительство в XVI веке уже не могло довольствоваться “дворцом” и “казною” и должно было создать соответствующие его новым нуждам и задачам учреждения. По некоторым данным можно заключить, каким именно способом создавались эти новые учреждения – “приказы”. Осложнение функций старого “дворца” и старой “казны”, рождение в прежнем круге их ведомства новых отношений и забот заставляло выделять из их ведения те или иные группы дел и “приказывать” их особым лицам. Устраиваясь в своих “приказах”, эти лица сосредоточивали свои дела и своих подчиненных в особых “избах” в Московском Кремле. По роду дел эти избы и получали название “Посольской избы”, “Разрядной избы” или “Посольского приказа”, “Поместного приказа” и т.д. Во второй половине XVI века в Москве уже существовал целый ряд приказов, осуществлявших собою новые органы только что возникшего государственного управления. С точки зрения современных теорий и техники, это были весьма неблагоустроенные учреждения. Но они для своего времени удовлетворительно делали свое дело и быстро превратили частнохозяйственный строй удела в известную систему государственной администрации.

Одновременно с перерождением центрального управления совершалась в середине XVI века коренная перемена в управлении областном. В уделах княжеских волости управлялись, во-первых, в порядке хозяйственном – или самим князем, или их собственниками (боярами и духовенством), причем хозяину принадлежало и право суда над населением. Во-вторых, в некоторых городах и волостях князь сажали своих “наместников”, которые “кормились” от населения и управляли им, поддерживая порядок и отправляя суд с помощью своей дворни. Эти архаические формы администрации при Иоанне Грозном были реформированы. Взамен наместничьего управления было введено земское самоуправление на очень широких началах, причем при определении его строя правительство обыкновенно пользовалось издавна существовавшими в земщине формами самоуправления. Для охраны собственно правительственных интересов в областях появились правительственные агенты с специальными полномочиями (воеводы, городовые приказчики и т.п.). Наконец, иммунитеты крупных землевладельцев подверглись вообще ограничениям; мало того – правительство налагало свою руку не только на исключительные права землевладельцев, но и на самое землевладение. В “опрочине” Грозного было ликвидировано княжеское землевладение с жившими в нем остатками державных прав владетелей-княжат. В течение всего XVI века правительство пыталось бороться с неудобными для государства сторонами льготного церковного землевладения, и мысль о возможности секуляризации церковных земель жила в правительственном сознании. Таким образом, государственный строй быстро созревал в Москве, в новых учреждениях и порядках, начинавших действовать как на вершинах общества, в центре русского общежития, так и в его глухих низах, в волостях и крестьянских мирах.

Поставленный в новые условия народившегося национально-государственного порядка, старинный боярский совет московского князя неизбежно должен был примениться к этому порядку и получить иной характер. Из бесформенного собрания княжеских советников ему предстояло обратиться в высшее руководящее учреждение с широким ведомством. Именно в такой роли “царского синклита” и выступает перед нами Боярская дума XVI века. Вместе с государем ведет она государственные реформы и внешнюю политику молодого государства, является в нем высшим судом, распоряжается военными силами страны и в некоторых случаях имеет тенденцию стать даже политической силою, неудобною для самодержца-князя, а потому и терпит существенные потрясения и перемены в своем составе и работе.

III

Сделанные нами исторические справки показали, что в соответствии с общим ходом московской жизни Боярская дума в XVI веке получила характер “царского синклита” с высокими полномочиями и широким ведомством. Она была призвана к роли руководящего государственного учреждения и вместе с государем строила государственный и общественный порядок Московской Руси. Взглянем ближе на этот период деятельности Думы.

Прежде всего познакомимся с составом думных чинов и думных собраний в XVI веке. Во второй половине этого века состав думных чинов установился окончательно. Членами Думы почитались все те служилые люди, которым были “сказаны”, то есть пожалованы, чины “боярина” или “окольничего”. Бояре и окольничие и составляли, по современному выражению, “боярство думное”, которое в силу уже своего сана входило в совет государя. Кроме них, однако, государь приглашал в Думу и простых служилых людей, “дворян”. Уже в начале XVI столетия эти приглашения не составляли случайности; некоторые дворяне постоянно “живут у государя с бояры в Думе” и, таким образом, составляют третий думный чин – “дворян думных”. Все делопроизводство Думы ведут дьяки, – конечно, дьяки главные или “большие” среди государевых дьяков. Во второй половине XVI столетия им усваивается название “думных дьяков” и, по-видимому, определяется их постоянное число – четыре. Таким образом складывается официальный состав Думы: “бояре” (собственно бояре и окольничие) и “думные люди” (дворяне и дьяки). Кроме того, в старинных списках вместе с боярами и думными людьми упоминаются старшие придворные чины: конюший, дворецкий, казначей, оружничий, кравчий, ловчий. Надо думать, что их служебная близость к государю открывала им путь в Думу независимо от того, сказаны ли они были в думные чины, или нет. Если мы вспомним, что, кроме того, великие князья вводили в Думу своих родственников, князей удельных, а также приглашали на совет и митрополита Московского, то окончательно определим круг лиц, входивших в государеву думу.

Бывали случаи, когда московский государь звал на совет всех перечисленных лиц и составлял из них как бы общее собрание своей Думы. Официальная летопись и другие документы, говоря о таких общих собраниях, указывают обычно, что государь “советовал” или “говорил”, или “уложил” о том или ином деле с “богомольцем своим” митрополитом и со “всеми бояры”. Выражение “бояре все” в деловом языке того времени приобретает характер термина, точно обозначающего именно общее собрание

или общее действие полного состава Думы. Между прочим, это выражение употреблено в Судебнике 1550 года, в той его статье (98-й), которая предусматривает порядок пополнения Судебника новыми законодательными определениями. Пополнение должно совершаться не иначе, как “с государева доклада и со всех бояр приговору”, то есть по рассмотрении дела в общем собрании Думы. Категоричность этой ссылки на приговор “всех бояр” повела проф. В.И. Сергеевича к заключению, что в данной статье Судебника боярами было проведено “несомненное ограничение царской власти”: “царь – только председатель боярской коллегии и без ее согласия не может издавать новых законов”⁷. Эта мысль, однако, не встретила поддержки у других исследователей. Приговор “всех бояр” не знаменует здесь ограничения власти, а свидетельствует лишь о том важном значении, какое усвоивалось тогда общему собранию Боярской думы в деле законодательства.

В случаях особой государственной важности состав общего собрания Думы расширялся. Государь звал в Думу не одного митрополита, а всех тех церковных “властей”, с которыми митрополит обычно советовал о важных церковных делах. Получалось соединенное заседание “царского синклита” и “освященнаго собора”. Так, “бояре” и “власти” в 1550–1551 годах сидели совместно на церковно-земском соборе и рассуждали об “исправлениях” земских и церковных. Судебник и Стоглав явились результатом этого знаменитого собора. Иногда же к “синклиту” и “властям” присоединялась и третья категория советников – представители сословий, земский собор. Это бывало в самые важные минуты московской жизни, когда власть хотела слышать голос “всех земли” и опереться на приговор “всяких чинов людей Московского государства”. Но в составе таких расширенных совещаний Боярская дума не расплывалась и не теряла своей внутренней цельности. Царский “синклит” всегда именуется особо, как самостоятельная составная часть всяких экстренных совещаний.

Таким образом, существование в XVI веке общего собрания Думы, “всех бояр”, не подлежит сомнению. Нельзя, конечно, ручаться, что в таком собрании всегда присутствовали все до одного члены Боярской думы, носившие думные чины и записанные в боярском списке. Значительная их часть по службе бывала в отъездах: сидела на воеводствах в больших городах, ездила в посольствах и т.п. по замечанию проф. В.О. Ключевского, в XVI веке “около половины Думы действовало ежегодно вне столицы”⁸.

⁷ Сергеевич В.И. Русские юридические древности. СПб., 1896. Т. 2. С. 369.

⁸ Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси. 3-е изд. М., 1902. С. 404.

Поэтому на собраниях Думы “бояре все” собирались далеко не сполна; тем не менее, дело представлялось так, что боярский синклит действовал в полном своем составе.

Если важнейшие дела политики и управления принято было обсуждать общим советом всех бояр, и даже “со властью”, то для дел меньшей важности или же специальных из состава Думы выделялись особые комиссии, иногда очень немногочленного состава. Так, руководство дипломатическими сношениями Московского государства принадлежало государю “с бояры”; но, обыкновенно, не вся Дума вела переговоры с иноземными послами, а лишь немногие бояре и дьяки, назначаемые “быть в ответе с послы”. Четыре-пять человек, представляя собою все Московское правительство, договаривались с иностранным посольством, а Думе с государем принадлежала только санкция достигнутых переговорами результатов или же разрешение частных затруднений и недоразумений, возникавших в переговорах. С отъездом государя из Москвы Боярская дума иногда его сопровождала, иногда же оставалась в столице. В последнем случае государь вверял ей текущее управление и даже делал ей особые деловые поручения. Так, в 1553 году Иоанн Грозный уехал из Москвы на богомолье; “а бояром приказал государь без себя о Казанском деле промысли, да и о кормлениях сидети”, то есть заняться устройством только что завоеванного Казанского царства и реформой местного управления⁹. В данном случае Дума и без государя сохраняла за собою полномочия высшего законодательного органа. Но чаще бывало так, что царь брал с собою своих думцов (“а с государем в походе бояре все”) или же давал им отпуск в деревни, пока сам отсутствовал. Тогда в Москве Думы уже не оставалось, а для текущих дел назначалась особая специальная комиссия – “Москву ведать”. В ней бывало, обыкновенно, не более десяти лиц разных думных чинов. Они вели все текущее управление, давали решения (“чинили указы”) по обычным делам, а дела более важные и ответственные посылали к царю “в поход”. Во время длительных отлучек монарха бояре, ведавшие Москву, обращались во временное правительство страны, действовавшее именем государя и Думы. Для наблюдателя, привыкшего к особенностям московской практики XVI века, не удивительна та легкость, с какою изменялся состав присутствий Государевой думы в зависимости от условий их действия. Вряд ли можно отрицать определенность и твердость этого учреждения только от того, что некоторые дела Дума вершила в полном составе, другие делала в соединении с

⁹ ПСРЛ. Т. 13. С. 523.

иными учреждениями и лицами, а третьи за всю Думу исполняла немногочисленная думская комиссия. Скорее можно удивляться тому, что в XVI веке, параллельно с общим собранием Думы или, собственно, “Думою”, при московском государе образовались постоянные коллегии сановников, делавших как будто бы то же самое дело, на какое была призвана Боярская дума. Эти коллегии и компании известны в источниках под названиями “суда бояр”, “ближней Думы”, “Избранной рады”. Насколько устойчивы и постоянны были эти образования, сказать трудно; слишком мало оставили они после себя следов в исторических документах.

“Суд бояр” была боярская коллегия, по-видимому, отправлявшая высший суд в государстве. Она существовала уже в первой половине XVI века. В 1542 году в документах упоминается “палата, где бояре судят”. В 1557 г. встречаем известие, что эта “палата”, или “комната”, иначе называлась – “набережной малою палатой” и, по-видимому, постоянно служила не только для собраний боярского суда, но и для ответных комиссий Думы, которые в этой именно палате вели переговоры с иностранными послами¹⁰. Из указаний на то, что набережная палата – “малая палата” или “комната”, можно вывести заключение, что в ней “судила” не вся Дума, а немногочленная по составу коллегия. На особенный состав судной коллегии намекает и то обстоятельство, что у нее был особый дьяк. В 1566 году “у бояр в суде” был дьяк Б.И. Сукин. В 1562 году, когда бояре вместе с государем отправились в большой зимний поход на Полоцк, “в суде у бояр” состоял П.В. Зайцев¹¹. “Суд бояр” XVI века служил, таким образом, предшественником позднейшего судебного департамента думы – Расправной палаты XVII века. К сожалению, нет возможности собрать об этом суде сколько-нибудь обстоятельные сведения. Ясно одно, что его происхождение нельзя связывать с учреждением опричнины, как думали некоторые исследователи. Опричнина учреждена в 1565 году, а “суд бояр”, как видим, упоминается уже в 1562 году и ранее.

Более имеется сведений о так называемой “ближней” или “тайной” Думе. Это был тесный и интимный совет особо доверенных людей при государе, с которым государь обсуждал всякое интересовавшее его дело ранее, чем оно поступало в Думу “всех бояр”, и независимо от того, поступало ли оно вообще в Думу. Состав ближней Думы зависел всецело от усмотрения государя. Он

¹⁰ Сборник РИО. Т. 129. С. 40; *Ключевский В.О.* Боярская дума Древней Руси. С. 408.

¹¹ СГГД. Ч. 1. № 192; *Милюков П.Н.* Древнейшая разрядная книга официальной редакции (по 1565 г.). М., 1901. С. 234.

“пускал” к себе в Думу, кого хотел, – как думных, так и недумных людей. Никаких формальностей при этом не было. Ближняя дума собиралась в жилых покоях государя, по тогдашним выражениям – “в комнате”, “у постели”, и обсуждала дела как бы в частной беседе. Однако участники “ближней” или “тайной” Думы носили официальный титул “ближних” бояр, дворян и дьяков, что считалось за великое отличие и почет. Можно думать, что, несмотря на совершенно частный, интимный характер совещаний, состав Ближней думы при том или другом государе был более или менее постоянен, а потому и звание “ближнего” думца бывало не только почетным титулом, но и должностью. Отношение Ближней думы к Думе “всех бояр” не было определено законом; житейски же оно складывалось весьма определенно. Московская летопись дважды очень отчетливо открывает перед нами это отношение¹². Когда великий князь Василий III расхворался во время своей богомольной поездки по монастырям (1533 г.), то ему уже на походе пришлось подумать о том, как устроить свою душу и государство. Он призвал к себе двух ближайших сановников: дворецкого и “введенного” дьяка. С ними втроем он наметил, кого именно из бояр надлежит пригласить к составлению духовной грамоты. Когда же ему удалось больному доехать до Москвы, то намеченные три-четыре боярина были призваны в “комнату”, и великий князь “нача думати с бояры”. Это была Ближняя дума, которая присутствовала при том, как государь писал “духовную свою грамоту и завет о управлении царствия”. Сделав это дело, Василий III соборовался, причастился и тогда, призвав своих братьев, митрополита и всех бояр, стал говорить князьям, святителю и “бояром всем” последнюю свою волю. Государство Василий “приказывал” своему малолетнему сыну Иоанну и призывал бояр к верности ему, “чтобы мой сын учинился на государстве государь и чтобы была в земле правда”. Так шло важное дело закрепления власти за малолетним государем под опекою его матери, княгини Елены. Все дело было по существу обдумано и оформлено в интимном совете в виде личной духовной грамоты великого князя; “боярам же всем”, наравне с митрополитом и государевыми братьями, оно лишь было объявлено к исполнению. Подобные же обстоятельства настали в Москве двадцать лет спустя (1553 г.), когда преемник Василия III, Иоанн Грозный, расхворался и, по примеру отца, составил духовную грамоту в пользу маленького сына, царевича Димитрия. Болезнь Иоанна была тяжка, и его дьяк Иван Михайлов (Висковатый) “вспомянул государю о духовной”. Царь

¹² ПСРЛ. Т. 13. С. 410 и след., с. 523 и след.

велел составить текст завещания, “совершить духовную”. Когда те лица, которым было поручено это дело, написали духовную, они “начаша государю говорити о крестном целовании”, то есть советовали немедля же привести к присяге маленькому Димитрию двоюродного брата царя Иоанна, удельного князя Владимира Андреевича, и всех бояр. Нет сомнения, что “совершали духовную” и советовали закрепить ее присягою ближние думцы государя. С них и началось крестное целование: восемь ближних бояр и думных людей присягнуло в тот же день, и притом так, что прочие бояре об этом и не знали. Дело о передаче престола “пеленочнику” (то есть малютке) Димитрию было решено, стало быть, в теснейшем круге интимных советников Иоанна. Когда на другой день в палате, близкой к спальне больного царя, ближние бояре стали приводить ко кресту прочих бояр, среди бояр начался ропот. Их смущало и то, что престол передан грудному ребенку, и то, что дело обставлено для них неясно с формальной стороны. О “ближних” боярах, приводивших ко кресту прочих думцев, эти последние говорили: “Бог то знает: нас бояре приводят к целованию, а сами креста не целовали”. По-видимому, у думцев возникло даже подозрение в законности действий “ближних” бояр, которые в отсутствие государя приводили их к присяге именем царя, а сами на глазах у Думы креста не целовали вовсе. Для тех, кто не считал удобным воцарение грудного младенца, это послужило хорошим поводом начать смуту. Вот к чему привело слишком пассивное положение Думы “всех бояр” в важном вопросе о престолонаследии. Однако царь и Ближняя дума сумели настоять на своем и сломили сопротивление боярства. В течение нескольких дней все бояре присягнули Димитрию. Мало того: когда впоследствии из-за придворной смуты два князя Лобановых-Ростовских задумали отъехать в Литву и были пойманы (1554 г.), то царь поручил суд над ними именно своей “ближней” Думе. В том же составе, в каком ближние люди действовали во время смуты у крестного целования, они вели следствие над беглецами. Из летописи¹³ узнаем, что в их среде было 7 или 8 бояр, 1 окольничий, 1 думный дворянин, 1 казначей и 1 думный дьяк. Таков был, по-видимому, постоянный состав Ближней думы в эти годы царствования Грозного. Самодержавная власть московских государей не стеснялась действовать с интимным кругом своих надежных друзей и слуг, – и в этом была вся сила Ближней думы. Но в то же время, как заметил проф. В.О. Ключевский, государь, прибегая к тайному совету ближних людей, “этим самым косвен-

¹³ ПСРЛ. Т. 13. Ср. с. 238 и с. 523.

но выражал свое признание Думы всех бояр как постоянного и в известной степени самостоятельного государственного совета”¹⁴. Он брал из общей Думы в ближнюю лишь те дела, которые или требовали строгой политической тайны, или касались интимной жизни дворца, или же нуждались в предварительном обсуждении перед внесением их в общую Думу. Значение “всех бояр” как государственных советников этим не отрицалось; но сила действительного их влияния на дела, разумеется, умалялась.

Существовавшая одновременно и рядом с Ближнею думою “Избранная рада” Иоанна Грозного пользуется большою известностью, но изучена она очень мало. Это была кратковременная политическая конъюнктура. Выше было сказано, как она явилась. Из недр княжеской московской аристократии возник кружок лиц с целью подчинить себе волю молодого государя и направить ее согласно с политическими идеалами и тенденциями княжеского боярства. Так, по крайней мере, определял “раду” сам Грозный¹⁵. Он смотрел на членов рады, как на заговорщиков против царского самодержавия и определенно указывал на княжеские их тенденции. Но царь нисколько не отождествлял “рады” с своею Думою. Центральным лицом зломышленного боярского кружка считал он “попа” Сильвестра, своего бывшего любимца, не состоявшего членом Боярской думы. По представлению Грозного, это именно Сильвестр “примирил” к себе многих людей, образовал из них свой круг и наполнил ими всю администрацию: “ни единыя власти не оставиша, идеже своя угодники не поставиша”. Одного из своих единомышленников компания Сильвестра провела даже в “синклитию”, то есть в царскую Думу. По указанию Грозного, это был князь Дм. Курлятев, которого мы знаем в составе ближней царской Думы. Из всех приведенных отзывов Иоанна мы можем заключить, что “рада” была вне Думы и представляла собою частный кружок временных царских любимцев. Князь А.М. Курбский представляет дело несколько иначе¹⁶. В своей “Истории Иоанна Грозного” он, как и сам Грозный, называет учредителем рады священника Сильвестра. Сильвестр будто бы привлек к своим видам митрополита Макария и других лиц из духовенства. Вместе они собрали около царя “советников”, “во старости маститей сущих” и “в среднем веку”, “предобрых и храбрых”, и усвоили их царю “в приязнь и в дружбу” так, чтобы ему “без их совету ничего же устроить или мыслити”. “И нарицались, – прибавляет Курбский, – тогда оные советницы у него Избранная рада”. По

¹⁴ *Ключевский В.О.* Боярская дума Древней Руси. С. 329.

¹⁵ Сказания князя А.М. Курбского. С. 163–169.

¹⁶ Там же. С. 9–10.

этим выражениям Курбского следует заключить, что речь идет об организованном совете, тем более, что именно “раде” Курбский приписывает все важнейшие государственные мероприятия 50-х годов XVI-го века. Однако можно считать доказанным, что состав “рады” не совпадал ни с составом общего собрания Боярской думы, ни с составом Ближней думы Грозного. Стало быть, если верить Курбскому, надо предположить, что Сильвестр организовал какой-то особый кружок единомышленников, который действовал мимо Думы и, благодаря “приязни” государя, очень влиял на ход государственного управления. Этот кружок, конечно, держался у дел лишь до тех пор, пока Иоанну угодно было терпеть его влияние.

Таковы были коллегии и кружки, действовавшие в XVI столетии рядом с Думою “всех бояр”. Были ли они постоянными или временными, официальными или частными, гласными или тайными, они не упраздняли Думы “всех бояр” и не отнимали у нее значения главного государева совета и руководящего органа управления. Если иногда они как бы закрывали собою Думу и вторгались в сферу ее ведения, то, с другой стороны, они служили ей же вспомогательными органами, подготовлявшими для ее санкции те дела, которые предварительно разрабатывали и обсуждали.

“Избранная рада” в несчастную минуту появилась на московском политическом горизонте. В область государственного строительства она внесла элемент политической интриги и борьбы. Явившись орудием боярско-княжеских вождельных, направленных не в пользу московской династии, против ее единодержавия и самодержавия, “рада” вызвала бурное противодействие со стороны Грозного и увлекла его к необузданной репрессии против неблагонадежной, “многоятежной” и “изменной” княжеской знати. Выше указано, какой характер и размеры приняла эта репрессия, ликвидируя в “опричнине” крупное землевладение старой московской знати и истребляя в царской опале целиком подозрительные для Грозного княжеские и боярские семьи. Развиваясь в течение целого ряда лет, опричнина захватила в особый порядок управления добрую половину государства и поставила “опришнинския”, или “дворовыя”, земли вне обычного правительственного руководства Боярской думы. Для Думы и думцев с началом опричнины наступила эпоха тяжелых перемен и испытаний.

Летопись говорит, что Грозный, учреждая опричнину, “государство же свое Московское, воинство и суд и управу и всякия дела земския приказал ведати и делати бояром своим, которым велел быти в земских, князю И.Д. Бельскому, князю И.Ф. Мсти-

славскому и всем бояром”. Таким образом, Боярская дума (“все бояре”, которые “в земских”) оставлена в силе. Она должна править государством “по старине” и руководить приказной администрацией: царь “всем приказным людем велел быти по своим приказом и управу чинити по старине, а о больших делех приходити к бояром”. Дума должна была вершить эти дела; “а ратныя какovy будут вести или земския великия дела, и бояром о тех делех приходити к государю, и государь с бояры тем делом управу велит чинити”¹⁷. Таков исконный, понятный и правильный порядок думской деятельности. Только он преуказан не для всего государства, а для того, что осталось “в земском”; опричнина из него ушла. Так как опричнина захватила добрую половину государственной территории, то из ведения Думы оказалась изъятою половина государства, и притом центральная, коренная. Для управления этою коренною частью государства создались особые учреждения, параллельные “земским”. В опричнине у Грозного были “особно учинены” все “чины”, начиная с думных и кончая конюхами и стрельцами. Там видим “бояр и окольных и дворецкого и казначеев и дьяков и всяких приказных людей”. Там были и свои приказы “опришнинские”, или “дворовые”, руководимые дворовыми дьяками: Дворовый разряд, Дворовый большой приход и т.д. Там должна была образоваться и своя Боярская дума. Действительно, иногда документы говорят, что с государем в походе были “бояре из опришнины”; надо думать, что они составляли при царе не только свиту, но и опричный боярский совет (хотя ни одного “приговора” такого опричнинского, или дворового, совета нам неизвестно). Таким образом, земская Боярская дума, которая должна была сохранить “по старине” и по государеву указу свое правительственное положение, на деле его не сохранила: она потеряла из своего ведомства половину областей и перестала быть единственным руководящим органом управления. В важных случаях государственной практики, когда Грозный понимал необходимость правительственного единства, он предписывал боярам “обоим”, земским и дворовым, соединяться в одном собрании: “приказал государь о рубежах (с Литвою) говорити всем бояром, земским и из опришнины;... и бояре обои, земские и из опришнины, о тех рубежах говорили”... (1570 г.). Следствием такого своеобразного порядка действия могло быть, конечно, только падение авторитета Думы – результат, к которому, вероятно, и стремился Иоанн. Преследуя знать, он добился, между прочим, и того, что среди бояр “из земских” не осталось к концу его царствования

¹⁷ ПСРЛ. Т. 13. С. 394 и след.

ни одного Рюриковича, кроме князя Ф.М. Троекурова, которым Иоанну надо было дорожить как талантливейшим дипломатом.

В таком состоянии вступала Дума в Смутную эпоху Московского государства. Умаленная в своем правительственном значении, с расстроеным опалами личным составом, Дума представляла собою в сущности разбитое учреждение. Но традиции Думы никем не оспаривались: как и ранее, она оставалась царским синклитом, которому принадлежало руководство всем механизмом государственного управления.

IV

Смутное время началось с прекращением вековой московской династии. Конец царского рода можно было чувствовать уже в последние дни Грозного. Иоанн, кончая свою жизнь, имел несчастье знать, что его законный сын царевич Феодор непрочен по физической немощи, а младший сын Дмитрий сомнителен в своей законности как происшедший от седьмой супруги. Спустя немного лет по смерти Грозного сошел со сцены Димитрий, умерший в Угличе необычной смертью; царь же Феодор, хирея, кончал свой недолгий век бездетным. Можно было с года на год ждать царской кончины, а с нею и “вдовства” московского престола. К этому следовало быть готовым не только тем, кто осмеливался питать надежду на царский венец, но и тем, кто вообще не был равнодушен к судьбам царства. Знать, окружавшая трон, делилась тогда на два определенных круга. Один состоял из тех бояр, которые были выдвинуты вперед милостями московских царей XVI века и составляли, чаще всего, их родню по женам-царицам. В центре этого круга дворцовой знати были семьи Романовых и Годуновых. Из первых взята была супруга Грозного Анастасия, из вторых – супруга Феодора Ирина. Второй круг бояр состоял из представителей родовой княжеской аристократии, уцелевших от гроз опричнины. Задавленная и запуганная, разоренная и униженная при Грозном, эта княжеская знать, однако, не забыла своего происхождения и своих обид. Ее вожаки, знатнейшие Рюриковичи князя Шуйские и знатнейшие Гедиминовичи князя Булгаковы (Голицыны и Куракины), твердо помнили свое “коленство” и свою “породу”, иначе говоря, свое родовое старшинство и знатность. Оба круга бояр должны были зорко следить за “государевым здравием” царя Феодора и ждать его кончины, чтобы так или иначе повлиять на замещение престола желательным для них лицом. Еще при жизни Феодора стали обнаруживаться интриги и ссоры между боярами, конечною целью которых было стремление получить в свои руки распоряжение судьбами престола. Когда же

Феодор “преселился в кровы небесные” (1598 г.), в боярстве началась открытая борьба за власть и трон, и Боярская дума стала свидетельницей сложных политических действий.

После кончины царя Феодора Боярской думе не пришлось занять командующего положения в государстве. Первые дни правления в правила царица Ирина, вдова последнего государя, а после ее удаления в монастырь дело перешло в руки земского собора, которым, по-видимому, руководил патриарх, а не бояре. Собор избрал в цари Бориса Годунова, не затянув нисколько избирательной процедуры. А затем править государством стал “нареченный” царь Борис. Официально дело имело такой вид, что печальное междуцарствие было пережито Москвою мирно и единодушно. Неофициально же мы знаем, что борьба за власть шла в это время между Годуновыми и Романовыми, а княжеская знать, разбитая и угнетенная опричниной и последующим правлением Годунова, не имела еще сил и средств принять участие в борьбе за престол. Победив Романовых, Годунов мало-помалу привел эту сильную боярскую семью, со всеми ее родственниками и клиентами, к опале и ссылкам. Он удалил своих опасных соперников, но вместе с тем сильно ослабил круг дворцовой знати и этим очистил дорогу к должностям и карьере столь же опасным для него “княжатам”. Когда явился самозванец, и началась война с ним, то во главе московских войск Борис поставил именно княжат. Они разбили самозванца, ибо в него не верили. Но когда Борис умер, и князья Шуйские с Голицыными взвесили все политические обстоятельства того момента, они решили устранить Годуновых, потерявших со смертью Бориса всякую силу. Сына Годунова они свергли с престола и убили, действуя во имя ложного “царя Димитрия”, а этого последнего они думали не допустить до Москвы воинскою силою. Однако войска, поверив в истинность Димитрия, привели его в Москву. Тогда княжата, переждав необходимое время и собравшись с силами, свергли с престола самозванца и умертвили его (1606 г.). Этот переворот сделал княжат господами политического положения, так как дворцовая знать с падением Романовых и Годуновых сходила с политической сцены. Княжата поставили на московский престол родовитейшего человека из своей среды – князя Василия Ивановича Шуйского. Ни земский собор, ни “бояре все”, ни патриарх не приняли участия в этом деле “самоизвольного” воцарения Шуйского. Оно было сделано политической партией. Нельзя поэтому удивляться той быстроте, с которою распространилось повсюду недовольство Шуйским и его княжеско-боярским правительством. Бурное развитие общественной смуты повело страну в кровавому междуусобию; между-

усобие вызвало иноземное вмешательство в московские дела. Летом 1610 года царь Василий Шуйский потерял последних приверженцев и был сведен с царства московскою толпою, которая неизвестно кем была собрана на мятежное вече. Взамен царской власти в Москве стала действовать временная боярская.

До этой минуты во всем ходе Смуты Боярская дума как учреждение не играла заметной роли. Одинаково и при Годунове, и при Шуйском, бояре обычным порядком сидели над делами внешней политики и внутреннего управления. В сфере последнего их особенно занимал вопрос о регулировке отношений между рабочей массой и землевладельцами, ее “государями”, об укреплении крестьян и холопов, об их регистрации, о предупреждении побегов, возвращении беглых и т.п. На этой почве росло народное недовольство, ею питалась Смута, ее казалось необходимым оздоровить. В этой деловой сфере бояре не сходили с точек зрения того сословия, к которому принадлежали, и стремились прежде всего оградить интересы земельно-служилых классов общества. Но в их думской работе не видно никаких следов “политики” в специальном смысле этого слова. Борьба политических кругов и партий за власть и венец шла не через Думу, совершалась в стороне от нее и отражалась на думских отношениях лишь косвенно и случайно, деля бояр на враждебные кружки, усиливая личное влияние одних, принижая других. Перевероты, потрясавшие тогда государственную жизнь, производились не Думою, без ее ведома и участия. Думе предоставлялось лишь признавать то, что произошло, и служить тому, кто превозмог в борьбе. Но после свержения Шуйского дело стало иначе. Никто не спешил занять освободившийся престол: хотя, может быть, и тогда были “желатели царства”, но они не обладали ни смелостью, ни силою. Земского собора налицо в Москве не было, и собрать его из областей, охваченных Смутою, было нелегко. Оставалось Боярской думе взять на себя заботы об избрании государя и принять временное управление государством. И Дума впервые выступила в роли временного правительства Москвы – “приняла Московское государство, пока Бог даст государя”.

Боярской думе (“князю Ф.И. Мстиславскому с товарищи”, по тогдашнему выражению) всею Москвою была принесена присяга, чтобы слушать бояр и суд их любить. Наскоро собрав бывших в Москве случайных представителей областей и из них составив земский собор, Дума с собором повела дело к тому, чтобы пригласить на московский престол польского королевича Владислава. Были завязаны сношения с начальником польских войск, подошедших к Москве, с гетманом Ст. Жолкевским. Дума предъявила Жолкев-

скому условия избрания Владислава и, когда гетман их принял, то привела Москву к присяге Владиславу, а затем вступила в переговоры с королем Сигизмундом о скорейшем приезде королевского сына Владислава на его новое царство. От лица Думы, патриарха и “всея земли”, то есть земского собора, к королю было послано “великое” посольство. Известно, что король пожелал сам воцариться в Москве и потому Владислава в Москву не отпустил, а понемногу стал прибирать московские дела в свои руки. Боярская дума не смогла или не хотела прямо стать против планов Сигизмунда и мало-помалу обратилась в послушное орудие королевской политики. Появившиеся в Москве агенты короля, опираясь на польско-литовские войска, стали править делами от имени Думы, а бояре, по их словам, “в то время живы не были”. Начальник польско-литовского гарнизона в Москве, Гонсевский, “переимал всякия дела на себя”: приходил в Думу, садил после себя своих советников, не принадлежащих к настоящему составу Думы, и с ними одними вершил все дела; “а нам и не слышать, – говорили ему потом бояре, – что ты с своими советниками говоришь и переговариваешь”. Правительственная власть Думы выродилась в постыдный плен. Когда вся Русь восстала против Сигизмунда, и земские ополчения осадили в Москве королевский гарнизон, бояре-думцы сидели неволею в осаде вместе с ляхами и русскими “изменниками”. Поэтому, когда Москва была взята ополчением князей Дм. М. Пожарского и Дм. Т. Трубецкого, бояре не стали пускать в Думу и выслали вон из Москвы в деревни как изменников народному делу. Есть данные думать, что бояре получили амнистию лишь на Пасхе 1613 года, когда “до них милость царская возсияла” уже от нового государя Михаила Феодоровича.

Так неудачен оказался опыт боярского правительства. Неосновательно было бы, впрочем, и ожидать его успеха. Во-первых, обстоятельства той минуты были чрезвычайно сложны и неблагоприятны для бояр. Принимая власть, они желали дать ей опору в земском соборе, но не могли собрать этого собора так, как бы хотели, ибо Смута не позволила съехаться в Москву выборным от городов. К услугам бояр не было и военной силы, кроме иноземного войска. Допустив же чужое войско в Москву, бояре стали его пленными, а не его начальниками. Таким образом, “приняв государство”, Дума не имела силы его держать. Во-вторых, в самом устройстве и традициях Думы не было условий, необходимых для того, чтобы сделать это учреждение способным “принять государство”, стать правительством. В своем полном составе Дума была только пассивным советом государя, органом совещательным. Как только надо было действовать, государь или сама Дума

из состава “бояр всех” выделяли ту или иную распорядительную или исполнительную комиссию. Приняв временно, в целом своем составе, верховную власть, Дума оказалась в несвойственной ей роли активного повелителя и распорядителя. Для этой роли собрание “всех бояр” было непривычно и неприспособлено. Правда, современники говорят, что на деле во главе правительства стали не все бояре, а “прияша власть государства Русскаго седмь московских бояринов”. Но справки в документах удостоверяют, что эти семь бояр не составляли собою особой распорядительной коллегии, а силою вещей были общим собранием Думы, малочисленность которого обусловлена простыми случайностями. В своем большинстве московские бояре в ту минуту или были вне Москвы, или стали уже жертвами смут. События шли так быстро, что Боярская дума просто не успела приспособиться к своей новой роли, как уже выпустила власть из рук. Современник ядовито заметил, что “седмочисленные бояре” вовсе не правили и только два месяца наслаждались властью, а затем “всю власть Русския земли предаша в руке литовских воевод”.

Во всяком случае, время “Московского разоренья” (1610–1612 гг.) было роковым для Боярской думы. Она оказалась неспособною управлять дела государства; она навлекла на себя обвинение в измене и в служении врагу Руси – Сигизмунду. По освобождении Москвы, в конце 1612 года, старая Дума была заменена новым советом соратников и сотрудников князей Пожарского и Трубецкого; эти “начальники” временно и управляли делами, а старых бояр, “которые на Москве сидели”, в Думу “начальников” не припускали, а “писали о них в города ко всяким людям: пускать их в Думу, или нет?” Так старую Думу подвергли суду всей земли, и суд был суров: бояр удалили из Москвы. Они в Москве не были до тех пор, пока 7-го февраля 1613 года земский собор без них избрал в цари М.Ф. Романова. Чтобы закрепить это избрание своим согласием, бояре были возвращены в столицу 21-го февраля; амнистию же они получили только на “Велик день”, в апреле 1613 года. С этих пор по-прежнему “князь Ф.И. Мстиславский с товарищи” стал во главе “бояр всех”.

Таким образом, царь Михаил Феодорович при вступлении на царство встретил у своего престола две группы советников: старых бояр, совершенно скомпрометированных, и “начальников” земского ополчения, временно державших совет при князьях Пожарском и Трубецком. Боярской думы как верховного учреждения безгосударной страны уже совсем не существовало, так как изменная, послушная королю Сигизмунду Боярская дума была сметена событиями и уступила место властям земской рати. Не

может быть ни малейшего сомнения, что нуждавшиеся в амнистии и пощаде бояре не могли ставить царю Михаилу никаких условий и не имели ни возможности, ни случая взять с него какое бы то ни было обязательство. Предание о том, что царь Михаил правил на условиях и с обязательствами, не может относиться к тогдашней Боярской думе. Не Дума тогда указывала основания будущего правопорядка, а самое Думу надобно было поднять из праха и поставить выше упреков в измене народу и вере¹⁸.

V

Можно проследить по документам, как царь Михаил пополнил свою Боярскую думу. В ней продолжали числиться старые бояре “великих родов”, которыми обыкновенно наполняли Думу в XVI столетии. Но эти “великие роды” были развеяны бурями Смутного времени. Одна за другою вымирали в XVII веке княжеские фамилии Мстиславских, Шуйских, Воротынских и др. Временно, до исхода XVII века, скрылись в безвестности опальные князья Голицыны и Куракины. Измельчали ветви уцелевших Годуновых и Сабуровых. Уцелевшие Романовы из бояр стали царским родом. Словом, не осталось старой знати, как цельного и определенного круга лиц, окружавшего старую династию. Однако, по старому преданию, представителей этого векового боярского круга царь Михаил по-прежнему возводит в бояре. В его Думе видим вновь пожалованных: князя Одоевского, князя Репнина, Шереметевых, Морозовых и многих других, им подобных. Но они уже меньшинство. С самого начала, – можно сказать, с первых дней своей власти, – царь Михаил жалует в Думу свою родню независимо от ее знатности. Князья Сицкие, Троекуров и Лыков, дворяне Салтыковы и Стрешневы – попадают в Думу именно как родичи и свойственники нового государя. Наконец, чем далее, тем шире открывается дорога в Думу людям не знатным, но способным и заслуженным. Первый резкий тому пример представляет назначение в думные дворяне знаменитого “мясника” Козьмы Минина. За ним следуют, например, дьяки Томило Луговский и Иван Грамотин, замечательные приказные дельцы той эпохи, удостоенные звания думных дворян.

Практика Михайлова царствования укрепилась при его преемниках: в течение всего XVII века в думные чины жаловали людей или по их “великой породе”, или по житейской близости к

¹⁸ См.: Платонов С.Ф. 1) Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. СПб., 1899; 2) Московское правительство при первых Романовых // ЖМНП. 1906. Декабрь.

государю, или по личной выслуге. Аристократически-сословный характер прежней Думы исчезает в XVII веке и, чем далее идет время, тем яснее и яснее делается ее бюрократический склад. Ход московской истории в XVI веке ставил на очередь вопросы об отношениях власти великого князя к вольностям его свободных слуг и удельным правам его служилых князей. Самое существо только что создавшейся единой власти подвергалось спорам и подлежало определению. Боярская дума приобретала поэтому характер политической арены, где иногда вспыхивали споры и обострялись отношения государя и знати. В XVII веке не было уже ничего подобного. Царская власть, единая, национальная и крепкая, не только никем не оспаривалась, но, напротив, составляла после Смутного времени предмет общего желания и сочувствия как лучшая защита от внутренних московских смут и чужих иноземных покушений. Созданная этою властью Дума была ее послушным органом и не представляла собою никакой определенной сословной среды и никаких оппозиционных вожелений. Она помогала государю управлять, но уже ни мало не связывала его. В XVII веке, по словам известного эмигранта Котошихина, царь Алексей “какия великия и малыя своего государства дела похочет по своей мысли учинити, – с бояры и с думными людьми спрашивается о том мало; в его воле: что хочет, то учинити может”. Однако необходимость в руководящем и созидающем органе верховного управления была тогда так велика и сильна, что деятельность Боярской думы нисколько не ослабела сравнительно с XVI веком. Напротив, проиграв в пределах своего политического влияния, Дума в области законодательства и управления заняла еще более определенную и крепкую позицию. На пространстве XVII века из неоформленного совета “бояр всех” при государе она обнаружила тенденцию обратиться в ряд присутствий, действовавших каждое по своей специальности постоянно и независимо от того, бывал ли в них лично государь, или нет.

Чиновный состав Боярской думы в XVII веке остался таким же, каким был в XVI веке. В Думе сидели “бояре” и “думные люди”. Под общим именем “бояр” разумели собственно “бояр” и “окольничих”. По старому обычаю, люди наиболее родовитые “сказывались” прямо в бояре, минуя окольниковство (например, князя Одоевские, князя Голицыны). Другие начинали с чина окольного с тем, чтобы перейти затем в бояре. Третьи оставались окольными весь свой век, не поднимаясь до боярства. Старинный порядок, по которому в боярские чины производили людей из старших придворных чинов, уже не строго соблюдался после Смутного времени. В XVII веке боярство становилось доступно не только придворным, но и приказным людям.

Несколько дьяков, выдавшихся по способностям в приказной службе, прошло в Думу сначала в должностях думных дьяков, а затем было произведено в окольничие (таковы Гавренев, Ф. Елизаров, Заборовский). В окольничие, а иногда и в бояре, проходили в XVII веке и простые дворяне, не служившие придворных служб. Таковы, например, знаменитые любимцы царя Алексея Михайловича Ордин-Нащокин и Матвеев; таковы и многие другие правительственные деятели XVII столетия. Оставшись уделом вековой знати, по ее “великой породе”, боярство понемногу стало служебным отличием и для простых служак, наградою личного усердия и талантов. Вместе с тем выросло и число лиц, жалуемых боярскими чинами. При старой династии бояр и окольничих бывало два-три десятка. В первой половине XVII века видим почти такие же цифры; но к 1682 году было уже 67 бояр и 57 окольничих. Совершенно так же возрастало и число “думных людей”. Думные дворяне в XVI веке считались единицами. Во второй же половине XVII века их были уже десятки (38 – в 1682 году). Число думных дьяков долго держалось неизменным. В XVI веке их было четыре; они стояли во главе главнейших московских приказов (Посольского, Разрядного, Поместного и Казанского дворца) и были как бы секретарями Думы, ведя делопроизводство Думы посредством своих приказных канцелярий. Дело имело такой вид, как будто бы Дума, не располагая особою канцеляриею, пользовалась приказами как отделениями своей канцелярии. Когда в XVII веке Казанский дворец (ведавший Поволжье) был передан в управление не дьяку, а доверенному боярину, то думных дьяков временно стало трое. Но затем мы видим вместо одного двух думных дьяков в Разрядном приказе. А затем число думных дьяков начинает расти и к концу века доходит уже до 14-ти. Как представители крупных ведомств, думные дьяки играли в Думе весьма влиятельную роль. Они были и членами совещаний, и делопроизводителями Думы. С увеличением же числа думных дьяков, весьма вероятно, эта должность превратилась в почетное звание, даваемое за отличие.

Как и в XVI столетии, при первых государях новой династии Дума действовала не всегда в одинаковом составе. По-прежнему существовали “ответныя” комиссии, и не все бояре бывали в “ответах” для дипломатических переговоров с иноземными послами. По-прежнему бояре без государя “Москву ведали”, в малом числе представляя собою все правительство в сфере текущего управления. Как ранее, “бояре все” входили в состав земских соборов, представляя в ряду многих групп соборных участников особую группу – синклит. Этот синклит вместе со “властью” духовными обратился на земском соборе 1648–1649 гг. даже в отдельную верхнюю палату, которой вместе с государем принадлежало окон-

чательное рассмотрение законодательных проектов и последняя редакция кодекса, “Соборного уложения”, рассмотренного собором. Когда правительство царя Алексея Михайловича прекратило обычай созывать земские соборы и пробовало заменять их односословными комиссиями сведущих людей, то государевы бояре вместе с земскими экспертами не раз совместно обсуждали дела. Так, в 1660–1663 гг. шли совещания бояр с гостями и тяглыми людьми г. Москвы по поводу денежного и хлебного кризиса. В 1681–1682 гг. односословные комиссии земских представителей работали в Москве: служилая – над вопросами военной организации, тяглая – над вопросами податного обложения. И вот однажды члены служилой комиссии вместе с государем, Думою и духовными “властями” составили общее заседание для торжественной отмены векового обычая “местничества”. Так легко государева Дума входила в разнообразные деловые соединения с теми или иными элементами земского представительства. Что же касается до совместных собраний синклита с освященным собором, бояр с властями, то эти собрания были весьма обычным явлением практики XVII века. Надлежит, для примера, вспомнить, что первый приступ к работам над Уложением 1649 года был решен на таком именно “соборе” бояр и властей 16-го июля 1648 года.

Более спокойное и, если можно так выразиться, более государственное настроение государей московских XVII века делало уже невозможными “оприщинские” затеи Иоанна Грозного. А падение княжеской знати после опричнины и Смуты избавляло власть от повторения олигархической “Избранной рады” Грозного. В XVII веке уже не видно ничего подобного. Царь Алексей спокойно и величаво характеризует в одном из своих писем свое отношение к боярам и предустановленную роль бояр в царстве. Бог “даровал нам, великому государю, – говорит он, – и вам, бояром, с нами единодушно люди Его, Световы, рассудити в правду, всем равно”¹⁹. Борьба за власть между удельным государем и его вольными слугами была закончена в ужасах опричнины. Самый удел заменился государством. Царь и бояре доросли до сознания, что должны “единодушно” делать великое “государево и земское дело”. Однако же и при новых условиях деятельности не исчезла прежняя “ближняя” Дума. Как в XVI столетии, так и в XVII, “ближние” бояре окружают государя в качестве его ближайших советников, “тайные Думы” думцев. Равным образом существует и “суд бояр” в XVII веке в виде разных судебно-следственных боярских комиссий, столь же мало опреде-

¹⁹ Письма царя Алексея Михайловича. / Изд. П.И. Бартенева. М., 1858. С. 225 и 232.

ленных, как и ранее. Только к исходу XVII века этот суд получает ясный облик постоянной “Расправной палаты”.

Указания на Ближнюю думу идут от времени как Михаила Феодоровича, так и Алексея Михайловича. Сохранилась любопытная деловая переписка царя Михаила с его отцом патриархом Филаретом за те дни, когда они разлучались, и кто-либо из них покидал Москву для богомольного “похода” к иногородным святыням²⁰. Сообщая друг другу о делах, царь и патриарх считали “за обычай”, что наиболее важные и секретные дела и донесения (“отписки”) не сообщаются всем боярам, а доверяются только ближайшим советникам. “Те, государь, отписки, – пишет Михаил Феодорович патриарху Филарету, – мы слушали и ближним бояром чести велели, а всем бояром чести не велели”. Мысль о том, что государь сам определяет, что сообщить и чего не сообщать боярам, одинаково разделялась и царем, и патриархом. Оба они одинаково не считали себя связанными советом всех бояр и свободно прибегали к интимным совещаниям с одними ближними людьми. Так же поступал и царь Алексей Михайлович. О его обычае Котошихин говорит: “а как царю лучится о чем мыслити тайно, и в той Думе бывают те бояре и окольные ближние, которые пожалованы из спальников или которым приказано бывает приходить; а иные бояре и окольные и думные люди в тое палату, в Думу и ни для каких ни буди дел не ходят, разве царь укажет”²¹. Эта “палата” ближних людей при царе Алексее получила название “комнаты”, а ближние думцы стали зваться “комнатными”. По-видимому, их было определенное число (в одном случае, в 1659 году, указано пять), и царь Алексей смотрел на них как на постоянную коллегию. По одному делу он писал князю Н.И. Одоевскому: “мы, великий государь, указали о том говорить бояром нашим комнатным всем; а ты, боярин наш князь Никита Иванович, в приговоре тут был же; ... а ныне просишь ты новаго приговору”. Царь отказал в новом приговоре своему любимцу, “потому что наш великаго государя указ на ваш боярской приговор был; ... а преж сего наши, великаго государя, указы и ваши боярские приговоры бывали крепки и постоянны”²². Из этого видно, что Ближняя дума действовала как учреждение, особое от “всех бояр”; ее приговор формально обращался в “государев указ и боярский приговор” и получал силу закона “крепкаго

²⁰ Письма русских государей и других особ царского семейства / Изд. Археологической Комиссии. М., 1848. Т. 1.

²¹ Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1859. Глава 2.

²² Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси. С. 327; Барсуков А.П. Род Шереметевых. Т. 4. С. 421–423.

и постоянного”. Из интимного и тайного совета прежнего времени Ближняя дума при царе Алексее обратилась как бы в постоянный высший совет, носивший на языке современников название “палаты”, “комнаты”. А за ее спиною у царя Алексея, по старому московскому обычаю, оказывалась еще и “тайная” Дума двух-трех доверенных его любимцев, даже и не думных по чину людей, с которыми царь обсуждал все, что его интересовало. Свообразным органом этой тайной Думы был знаменитый “Тайный приказ” царя Алексея, передававший из общего порядка управления в личное распоряжение государя всякое дело, какое государю угодно было взять на свое личное попечение.

Итак, совокупность “всех бояр”, по-видимому, переставала быть и считаться ежедневно-постоянным советом государя. Роль такого совета переходила к одним “комнатным” боярам, Дума которых при царе Алексее заменила “Ближнюю думу” прежнего времени. Такое явление уже подмечено историками права. По поводу его один исследователь замечает, что Дума как личный совет государя начинает выделяться из Боярской думы как постоянного учреждения, носящего государственный характер. По словам другого ученого, при царе Алексее «основное назначение “всех бояр” было, видимо, сидеть “за служилыми и приказными делами”, вершить “челобитчиковы дела”; обсуждение же “государственных дел” сосредоточилось в комнатной и тайной Думах: последняя подготовляла решения царя, а первая составляла те боярские приговоры, которые закреплялись утверждением царя»²³. Многолюдные же собрания “всех бояр” стали созываться лишь в исключительно важных или торжественных случаях московской правительственной практики.

Что касается до “суда бояр”, то его устройство и функции в XVII веке столь же неопределенны, как и ранее. Не будет, думаем, особо смелою и неправильною мысль, что при царе Михаиле Феодоровиче постоянная судная коллегия бояр действовала под именами “приказов”: “Приказа сыскных дел”, “Приказа приказных дел”, “Приказа, что на сильных бьют челом” и т.п. В подобных “приказах” сидели “большие” бояре, родные и близкие самому государю. К ним поступали дела из прочих приказов, как в высшую инстанцию²⁴. Таким образом, эти боярские коллегии являлись как бы высшими блюстителями правосудия и охранителями права и

²³ Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1. С. 367–368; Гурлянд И.Я. Приказ великого государя тайных дел. Ярославль, 1902. С. 328–329.

²⁴ Гурлянд И. Я. 1) Приказ великого государя тайных дел. С. 97–104; 2) Приказ сыскных дел // Сборник в честь проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. Киев, 1904.

правды. О деятельности боярских “приказов” известно пока так мало, что нет даже возможности сказать, в каких именно годах начинали и кончали они свою деятельность и в каких взаимных отношениях находились. Разумеется, этими приказами не ограничивалась судебная функция Боярской думы. Местнические дела судили особо к тому назначаемые бояре; особенно важные дела судила вся Дума. Но в учреждении судных боярских “приказов” ясно сказывалась мысль о необходимости создания твердых форм высшего суда и расправы. Эта мысль уже определенно выражена в Уложении царя Алексея. Уложение (в главе X, ст. 2) предписывает “спорныя дела, которых в приказах за чем вершити будет не мощно, вносить из приказов в доклад к государю. . . и к его государевым бояром и окольничим и думным людем; а бояром и окольничим и думным людем сидети в полате и по государеву указу государевы всякия дела делати всем вместе”. Какие именно думцы должны были сидеть о спорных делах в этой палате, неизвестно. Но нет сомнения, что это была правильная коллегия, которая имела постоянное место заседаний и определенный порядок слушания дел. В 1669 году было, например, указано точно, в какие дни недели из каких приказов надлежит “к бояром в Золотую полату дела вносить к слушанию и к вершению”²⁵. Состав и порядок действий судно-расправной палаты становится точнее известен только с 1681 года²⁶. Документы этого года удостоверяют, что князю Н.И. Одоевскому поручено было одновременно и “Москву ведать”, и вести “расправныя дела” с определенным штатом “товарищей” – бояр, окольничих, дворян и дьяков (всего около 20 лиц). Коллегия князя Одоевского называлась “Расправною”, “Золотою” палатою, “Палатою расправных дел” и существовала как постоянное присутствие, – меняя, впрочем, председателя и членов, – до 1694 года. Стоя над приказами, она вершила “спорныя дела” в порядке апелляционном и кассационном”, а в отсутствие государей из Москвы “ведала Москву” обычным старинным порядком, обращаясь во временное правительство по делам текущего управления. Так создался постоянный департамент Думы; вместе с “комнатною” Думою он, по-видимому, упразднил всякую надобность в постоянной совместной работе “бояр всех” и обратил общее собрание Думы в сравнительно редкую форму правительственных совещаний.

²⁵ ПСЗ. Т. 1. 1669 г. № 460.

²⁶ *Ключевский В.О.* Боярская дума древней Руси. С. 433 и след.; *Богоявленский С.К.* Расправная палата при Боярской думе // Сборник статей, посвященных В.О. Ключевскому. М., 1909. С. 409 и след.

VI

Итак, ход исторической жизни привел боярство и Боярскую думу к распаду. Древняя Дума “всех бояр” была житейски неизбежным, обязательным для князя-государя советом, в котором каждый член, “вольный слуга” князя, считал за собою “право совета” и “право отъезда”. Дума второй половины XVII века состоит из чиновников, которые не помнят прав, а знают только служебные обязанности, работают в приказах и в думных комиссиях, а в общие думные совещания ходят лишь по особому зову, “развее государь укажет”. Из политически цельного, иногда оппозиционного, класса боярство превратилось в бюрократическую среду случайного состава. Из совета, определявшего когда-то политику князя, Дума превратилась в простое орудие управления.

По обстоятельствам московской жизни это орудие оказалось настолько несовершенным, громоздким и сложным, что затруднило дело его наблюдения и изучения. Как уже было показано, пред глазами исследователей, рядом с боярским “синклитом”, то есть общим собранием “всех бояр”, постоянно возникают иные комбинации лиц: “бояре в ответе”, “суд бояр”, “ближние бояре”, “тайные думы думцы”, “комната”, “Расправная палата”, “Золотая палата” и т.п. Идя за указаниями таких и других подобных терминов, ученые юристы старого времени полагали, что Боярская дума делилась на департаменты с определенными специальностями. “Это были отделения Думы, кажется, постоянные, – говорил, например, Ф.М. Дмитриев, – по всей вероятности, отделения заведывали различными делами”²⁷. В основе всех таких предположений лежала мысль, что Боярская дума XVII века была правильным учреждением в нашем смысле слова, с определенным внутренним устройством и кругом ведомства. Последующие историки Думы исправили ошибку предшественников. Н.П. Загоскин и В.О. Ключевский кроме Расправной палаты иных постоянных “отделений” Думы не нашли. Но и они стали на той же мысли, что Дума была твердым и определенным учреждением с деятельностью по преимуществу законодательною и судебною²⁸. Бытовая определенность состава “царского синклита”; ясные следы участия синклита в законодательстве, суде, внутреннем управлении и внешних сношениях; наконец, точные указания совре-

²⁷ *Дмитриев Ф.М.* История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до Учреждения о губерниях. М., 1859. С. 341.

²⁸ *Загоскин Н.П.* История права Московского государства. Казань, 1879. Т. 2. Вып. 1.; *Ключевский В.О.* Боярская дума древней Руси.

менников на важную роль Думы в государственной жизни, – все это удостоверяло, что “синклит” или “Дума” есть установление постоянное. Однако проф. В.И. Сергеевич высказал несколько иной взгляд на дело²⁹. Говоря о “московской государевой Думе”, он прежде всего и справедливо указал на то, что “указов, определяющих состав, компетенцию и порядок деятельности Думы, не было издано”, и что “все наши знания основываются на трудно уловимой практике”. Затем проф. Сергеевич решительно отделил вопрос о “Думе государевой” в собственном смысле этого термина от вопроса о “высшем судебном или правительственном учреждении, действующем без государя в отведенной для него и более или менее самостоятельной сфере деятельности”. Следя затем за указаниями “трудно уловимой практики”, проф. Сергеевич пришел к выводу, что “высшее учреждение” первоначально образовалось в Москве в 1564–1565 гг., затем было уничтожено и возникло снова в середине XVII века. Это была “Расправная палата” – высшее судебно-правительственное установление с особым председателем, с определенным составом членов, с полномочиями и властью, основанными на законе. Палату необходимо строго отличать от Думы государевой, хотя та и другая на старом языке определялись термином “бояре”. Государева дума не учреждение, и “думные люди не суть необходимые советники”. Государя правят единолично. “Они совещаются только в тех случаях, когда находят это нужным; но совещаются они не с учреждением, а с такими думцами, которых пожелают привлечь в свою Думу”. На деле государя созывают Думу не постоянно, а “по мере надобности”, и зовут в нее не всех бояр, и даже вовсе не бояр, а кого в данную минуту пожелают позвать, – людей светских и даже церковных. Дума государева есть совершенно бесформенный личный совет государя, – таков конечный вывод проф. Сергеевича.

Сильно выраженное и полемически изложенное мнение проф. Сергеевича открыло собою острую научную контрверзу. Существование Боярской думы как учреждения стало почитаться спорным и заново доказывалось в последующих трудах историков-юристов (А.Н. Филиппова, М.А. Дьяконова и др.³⁰). Никто не решился разделить взгляды проф. Сергеевича и, отказавшись от мысли, что Боярская дума существовала, признать бытие в Москве думных чинов без служебной думной деятельности. М.Ф. Владимирский-Буданов в теории В.И. Сергеевича нашел

²⁹ Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т. 2.

³⁰ Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Ч. 1; Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя древней Руси (до конца XVII века). Юрьев, 1907. Т. 1.

справедливым одно лишь указание на существование у государей московских интимного совета. “Вопрос сводится только к тому, – говорит он, – мог ли великий князь иметь, кроме Думы, своих, так сказать, домашних советников и любимцев; такое право нельзя отрицать не только у государей, но и у всякого частного лица”³¹. Замечание это метко указывает на одно из психологических оснований конструкции В.И. Сергеевича. Личный совет свой московские государи устраивали действительно, как хотели: в него не входили многие думные люди и входили недумные. Этот совет отнюдь не был учреждением государственным. Тот исследователь, который не различит “тайной Думы” и “синклита”, разумеется, перенесет на последний характерные черты бесформенных интимных совещаний государя с его тайными или частными советниками и друзьями. Такого рода неправильность даже весьма понятна и возможна в отношении именно московского “синклита”. Выше было не раз указано, что Боярская дума с чрезвычайною легкостью суживала и расширяла свой состав. В полном своем комплекте синклит являлся только в важных и торжественных собраниях, “соборах”; в ежедневной же практике думцы действовали в составе или постоянных комиссий, или же случайной наличности членов Думы, присутствовавших в Москве и “в верху”, то есть в царском дворце. Такой способ разделения труда отнюдь не уничтожал самой идеи синклита, или Думы. И весь синклит, и его специальные комиссии пользовались в подчиненной среде одинаковым авторитетом, носили одно наименование “бояр” и одинаково “приговаривали” по вверенным им делам. С точки зрения современной бюрократической техники это, конечно, беспорядок; для того же времени это был очень удобный и всем понятный способ действий.

Возможно установить в общих чертах как порядок общих совещаний Боярской думы, так и делопроизводство думских комиссий. Так как Дума не имела особой канцелярии и не образовала особого архива своих дел, то думские порядки изучаются лишь косвенным путем – по частным о них сообщениям или по случайным остаткам бумажного делопроизводства.

Если иметь в виду общие собрания Думы, “бояр всех”, то надлежит признать за В.О. Ключевским, что “в своей ежедневной практике Дума была постоянным советом наличных думных людей, находившихся при государе”³². Эти думные люди, не отвлеченные из столицы служебными посылками и не уволенные

³¹ *Владимирский-Буданов М.Ф.* Обзор истории русского права. 4-е изд. Киев, 1905. С. 167 и др.

³² *Ключевский В.О.* Боярская дума древней Руси. Глава XXII.

в свои вотчины на отдых, съезжались во дворец дважды в день: утром и вечером. Во дворце они собирались в одной из палат (“Передней палате”) и ждали “царского выхода из покою”. Ближние люди, “уждав время”, входили и во внутренне государевы покои (“в комнату”)³³. С выходом государя начиналось “сидение о делах”. Думные люди рассаживались в палате на лавках по чинам и по “отечеству” или “породе”, то есть по степени знатности. Думные дьяки стояли, пока государь не указывал им сесть. Главным образом дьяки и вели доклад тех дел, которые поступали в Думу из приказов. Когда дело решалось и вырабатывался “приговор”, “приказывает царь и бояре думным дьяком пометить и тот приговор записать”. От дьяка с его “пометою” приговор поступал к исполнению в соответствующий приказ, где затем и хранился. Таким же образом составлялись и записывались “приговоры” по делам, возбуждаемым в Думе самим государем. До нас, между прочим, дошла любопытная запись царя Алексея о тех делах, какие он хотел внести в думу и поручить “поговорить бояром”. Это “письмо, о каких делах говорить бояром”, свидетельствует, что царь вдумчиво готовился к заседаниям Думы, не только помечая предметы предстоящего суждения, но даже и мотивы возможного приговора³⁴. Кроме приказного доклада и государева почина, дела в Думе возникали еще и по частным челобитьям. Сами же думцы очень редко возбуждали в Думе вопросы, подлежащие ее обсуждению. Никто не возбранял им законодательного почина, но условия жизни были таковы, что пользоваться этим почином не было ни нужды, ни желания. Пассивная роль Думы как совета при государе в обычном порядке ее деятельности не давала простора законодательной инициативе. Однако эта пассивность не вела к апатии и послушному безмолвию. В заседаниях Думы иногда шли большие споры, разгоралась борьба мнений, и вскрывалась вражда боярских партий. При отсутствии в практике Думы чего-либо похожего на правильные журналы и протоколы, мы только стороною, из летописи или случайных указаний современников, узнаем о дебатах в Думе. Известен рассказ летописи о заседании Думы в 1541 году, при вестях о нашествии крымцев на Москву³⁵. Маленький государь, будущий царь Иоанн Грозный, поставил на обсуждение бояр вопрос о том, сесть ли ему в осаду на Москве, или же уехать из столицы. Митрополит и бояре долго и оживленно

³³ Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. Глава 11.

³⁴ Записки Отделения археологии славянской и русской императорского Русского археологического общества. 1861. Т. 2. С. 733–735.

³⁵ ПСРЛ. Т. 13. С. 434–435.

спорили, пока, наконец, “сошли все на одну речь”, что государю следует остаться в Москве. Немногим позднее, в 1549 году, бояре препирались не только друг с другом, но и с самим государем при обсуждении вопроса о том, следует ли настаивать на признании Литвою нового “царского” титула московского царя. Возобладало мнение, которого, по-видимому, царь лично не разделял, именно, что настаивать пока не следует³⁶. Примеры боярских споров встречаются и в XVII веке, причем видно, что споры рождаются иногда даже и не из делового разномыслия, а из столкновения родовых и личных честолюбий или из взаимного недоброжелательства боярских кружков³⁷. Так шли собрания Думы обычные, когда бояре с государем “сидели о делах” простым будничным порядком. Если государь указывал слушать очередные дела без него, бояре слушали их совершенно так же, как и в присутствии царя и, “поговорив”, то есть, обсудив дело, “приговаривали”. Невозможно сказать, в каких случаях и почему одни боярские “приговоры” докладывались государю для получения по ним его санкции, а другие просто обращались в приказы к исполнению и руководству. Для подчиненной среды всякое решение Думы имело силу закона как государев указ. “Царь государь указал, и бояре приговорили”, “по государеву цареву указу и боярскому приговору” – таковы были формулы, с которых обычно начиналось изложение московского закона. Боярский приговор нераздельно сливался с царским указом в один акт верховной власти.

В случаях особо важных или торжественных не видно такого равнодушия к полноте думских собраний, какое существовало в буднее рабочее время. Когда на очередь становился вопрос большой государственной важности, государи привлекали к его решению всех своих советников, посылая за ними даже в города. В свою очередь, и сами думные люди являлись в столицу при вести о чем-либо важном. Перед войною с Великим Новгородом Иоанн III в 1471 году “разослал” по всех своих советников, собирая в Москву всех епископов, князей, бояр и воевод для совета о предстоящем походе. Собравшиеся “мыслили о том немало” и приговорили воевать с новгородцами³⁸. Перед кончиною великого князя Василия III “мнози бояре съехашася из своих вотчин, слышав государеву немощь”; таким образом, Василий мог объявить свою волю о престолонаследии пред всем составом своей Думы³⁹. В феврале 1613 года, при избрании на престол Михаила Федо-

³⁶ Сборник РИО. Т. 71. С. 291–300.

³⁷ *Ключевский В.О.* Боярская дума древней Руси. С. 417–421.

³⁸ ПСРЛ. Т. 12. С. 129.

³⁹ ПСРЛ. Т. 13. С. 413.

ровича, сочли необходимым вызвать в Москву из вотчин даже опальных “изменных” бояр, ибо в столь важном деле считалось необходимым участие всего “синклита”⁴⁰. С течением времени, когда число думных людей очень умножилось, весь синклит собирали, по-видимому, редко, довольствуясь советом “комнатных” бояр. Общее собрание Думы понемногу само превратилось в чрезвычайную торжественную церемонию.

Заседания думских комиссий, постоянных и временных одинаково, происходили под председательством не государя, а старшего чином и породю боярина. По имени этого боярина звалась обыкновенно и самая комиссия: например, “у приказных дел боярин В.П. Морозов с товарищи”, “у расправных дел боярин князь Н.И. Одоевский с товарищи”. Порядок делопроизводства в думских комиссиях весьма приближался к приказному, так что иногда комиссии даже официально именовались приказами. Говорилось, например, “*в приказе* были у приказного дела бояре”. В 1648 году была образована думская комиссия для составления проекта Уложения под председательством князя Н.И. Одоевского; в ее ведение поступили вызванные для того же дела в Москву земские выборные: по тогдашнему выражению, они были “*в приказе* у князя Н.И. Одоевского”. Как приказные “судьи” в приказах, члены думских комиссий составляли присутствие, а при этом присутствии формировалась канцелярия из дьяков и подьячих, командируемых в распоряжение данной комиссии из разных приказов⁴¹. По внешнему устройству думские комиссии можно было бы поставить в ряды московских приказов, если бы по своим задачам и полномочиям они не стояли над приказами. Деятельность московских приказов не выходила из сферы подчиненного управления. Думские же комиссии действовали в области управления верховного.

С приближением к периоду реформ, к исходу XVII века, деятельность этих комиссий получила особенное развитие в ущерб старой форме совещаний “бояр всех”. Реформа высшего управления при Петре Великом должна была считаться с общим собранием Думы гораздо менее, чем с комиссиями-“приказами” полномочных бояр.

⁴⁰ Платонов С.Ф. Московское правительство при первых Романовых. Глава 1.

⁴¹ Загоскин Н.П. История права Московского государства. Т. 2. С. 86; Гурлянд И.Я. Приказ великого государя тайных дел. С. 86, 98; Богоявленский С.К. Расправная палата при Боярской думе. С. 415, 426.

Василий Осипович Ключевский (1911)

12-го мая настоящего года скончался в Москве В.О. Ключевский – историк, стяжавший своими трудами необыкновенную популярность и стоявший во главе русской историографии последних десятилетий.

Сын пензенского приходского священника, В.О. Ключевский получил первоначальное образование в Пензенской духовной семинарии, а затем из философского ее класса перешел в Московский университет, в котором и окончил курс в 1865 году по историко-филологическому факультету. В 1866–1867 г. появилось уже в печати “рассуждение студента Василия Ключевского, писанное для получения степени кандидата по Историко-филологическому факультету”. Это были “Сказания иностранцев о Московском государстве”. В 1871 г. была напечатана диссертация В.О. Ключевского на степень магистра русской истории “Древнерусские жития святых как исторический источник”, и в то же время магистр Ключевский начал преподавание гражданской русской истории в Московской духовной академии. В 1879 году, в октябре, скончался профессор С.М. Соловьев, и на его кафедру Московский университет избрал доцентом В.О. Ключевского. С начала 1880 года В.О. Ключевский открыл свое преподавание в университете специальным курсом по истории царствования императрицы Екатерины II. Исключительный лекторский дар В.О. Ключевского произвел сильнейшее впечатление на аудиторию, в которой тогда были студенты: М.К. Любавский, П.Н. Милюков, М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер... Семинарий Ключевского сразу стал цениться столь же высоко, как и семинарий В.И. Герье. Одновременно с блестящим университетским выступлением В.О. Ключевского начался его литературный успех. В январской книге “Русской мысли” за 1880 год появилось начало его знаменитого исследования “Боярская дума древней Руси”. Выпущенное в 1882 году отдельным изданием, оно послужило В.О. Ключевскому докторской диссертацией, защита которой обратилась в триумф. Московский корреспондент газеты “Голос” писал о диспуте Ключевского: “Истинным событием дня на нынешней неделе был диспут известного ученого г. Ключев-

ского, занимающего уже несколько лет в здешнем университете столь ответственную кафедру русской истории, осиротевшую после смерти Соловьева. Давно уже, а может быть, и никогда, древние стены здешней *almae matris* не были свидетелями такого шумного и единодушного восторга, как тот, которым встретила многочисленная публика и студенты появление г. Ключевского на кафедре. Среди благоговейной тишины оратор произнес свою вступительную речь, которая поражала как глубиной содержания, так и изяществом формы. Скромно и очень просто изложил он главные выводы своей диссертации, имеющие, по единогласному отзыву официальных и неофициальных оппонентов, громадное значение для историографии... Впечатление, произведенное диспутом г. Ключевского, было близко к восторженному энтузиазму. Знание предмета, меткость ответов, исполненный достоинства тон возражений, все это свидетельствовало, что мы имеем дело не с восходящим, а уже взошедшим светилом русской науки. Нужно же было и видеть, каким громом аплодисментов встретила публика и учащаяся молодежь провозглашение г. Ключевского доктором русской истории. Кто видел это сердечное, безграничное, восторженное поклонение таланту высокого учителя, тот не забудет никогда этих минут... (*Голос*. 4-го октября 1882 г. № 269).

С той поры имя В.О. Ключевского получило широкую, все-российскую известность. Не только его ученики и слушатели, но и читатели его произведений, любители и специалисты, признавали в нем исключительные дарования и познания. Авторитет В.О. Ключевского рос непрерывно, и сам В.О. Ключевский умел содействовать этому росту новыми трудами. Двоякого рода были его дальнейшие труды. Во-первых, В.О. Ключевский печатал в журнале *“Русская мысль”* ряд специальных монографий большого историографического значения; во-вторых он выступал по разным случаям, с “речами”, обращенными к широкой публике. Из его монографий особенно замечательны “Происхождение крепостного права в России” (1885), “Подушная подать и отмена холопства в России” (1886), “Состав представительства на земских соборах в древней Руси” (1890–1892). К числу таких же монографий относится и “Русский рубль XVI–XVIII вв. в его отношении к нынешнему” (*Чтения ОИДР*. 1884). Во всех этих исследованиях читатели находили любопытнейшие выводы, оригинальные точки зрения, свежий и ценный материал. Монографии В.О. Ключевского давали толчок к дальнейшему изучению и исследованию, будили мысль, создавали направление. Популярные “речи” В.О. Ключевского обыкновенно приурочивались к общественным торжествам и юбилейным дням. Весьма известны две речи

о Пушкине (1880 и 1887 г.) по поводу открытия Пушкинского памятника и в пятидесятилетие кончины Пушкина. Не менее известны слово в память преп. Сергия Радонежского (1892) и лекция о “добрых людях древней Руси” (1892). Все эти и подобные им произведения В.О. Ключевского так обдумывались и обрабатывались, что не только служили украшением праздника, на котором были сказаны, но и навсегда делались образцами научно-изящной популяризации. Репутация Ключевского как большого ученого и превосходного лектора поднялась и до весьма высоких кругов. Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович в своем дворце не раз устраивал избранную аудиторию для Василия Осиповича. В 1893–1895 гг. В.О. Ключевский был приглашаем в Аббас-Туман для чтения лекций великому князю Георгию Александровичу. Позднее, в 1902 году, университетский общий курс русской истории В.О. Ключевского был издан в весьма высоких сферах (по газетным сообщениям – графом С.Ю. Витте) в количестве всего 50 экземпляров и без ведома самого Ключевского, который по этому поводу писал, что “автор не принимал участия в этом издании, даже не знал о нем долгое время, не имеет его экземпляра и не искал его иметь”. Столь же неожиданный, сколь и лестный симптом популярности курса, по-видимому, озаботил Василия Осиповича не меньше, чем те литографские его издания, в которых, со многими неисправностями и без всяких разрешений, печатались “пестрые студенческие записи, приблизительно и на свой страх воспроизводящие изложение профессора”. с 1904 г. В.О. Ключевский сам начал публиковать свой “Курс русской истории”. Последние семь-восемь лет жизни были им посвящены исключительно обработке этого курса, которую В.О. Ключевский решил, по его словам, предпринять “в близости конца преподавательской работы”. Покойный не успел довершить этого дела: вышло всего четыре части “Курса” – до Екатерининской эпохи. Предсмертная болезнь застала Василия Осиповича на пятой части труда, издания которой ждем от его сына и наследника.

Таков научный формуляр В.О. Ключевского. В.О. Ключевский всегда и всецело принадлежал науке. Можно сказать, что у него не было “биографии”: вся его жизнь прошла в Москве, за книгами и рукописями, за чтением лекций и за кабинетною работою. Его отдыхом бывала, говорят, рыбная ловля да беседы в оживленных кружках московской университетской интеллигенции. Немногие случаи общественных и политических выступлений В.О. Ключевского обнаруживали его малую пригодность к такого рода деятельности, и он сам устранил от себя возможность стать членом государственного

совета по выборам. Охотно выступая на кафедре и много работая в кабинете, он был в сущности доступен очень немногим, близким к нему лицам. Трудно поэтому дать его характеристику и изобразить генезис его взглядов и основы его мирозозерцания.

Для людей, которые не стояли близко к Ключевскому и знали его по его трудам или же видали его на кафедре и в ученых собраниях, знаменитый историк представлялся обаятельным, своеобразным и даже несколько загадочным по своей сложности лицом. К Ключевскому влекла необыкновенная сила его ума и остроумия и яркая красота его языка и речи. Когда он говорил свои обдуманые и даже, казалось, заученные лекции и доклады, невозможно бывало оторвать внимания от его фразы и отвести глаз от его сосредоточенного лица. Властная мощь его неторопливо действовавшей логики подчиняла ему ваш ум, художественная картинность изложения пленяла душу, а неожиданные вспышки едкого и оригинального юмора, вызывая неудержимую улыбку, надолго западали в вашу память. Подобные же впечатления вызывали и те статьи Ключевского, которые были рассчитаны не на одних специалистов. Их чтение не только вас убеждало и учило, но и давало вам эстетическое наслаждение – богатством и точностью языка, блеском выразительной и красивой фразы, художественностью концепций. Ключевский совмещал в себе силу ума и богатство ученого знания с талантом поэтического восприятия и воспроизведения. В этом секрет его обаяния. Не на всех однако равным образом действовали особенности научного дарования Ключевского. Были критики, указывавшие на то, что изобразительность изложения Ключевского, переходившая иногда в вычурность и манерность, являет собою ученое бесвкусие и литературную искусственность. Известно, например, нетерпимое отношение проф. В.И. Сергеевича ко всему, что ни писал Ключевский. По мнению покойного юриста, “в сочинениях такого рода (каковы сочинения Ключевского)... выяснить себе настоящую мысль автора нередко представляется делом очень нелегким”. Обусловленное разностью ученых приемов и взглядов, осуждение Сергеевича имело и субъективно-психологическую основу – в чрезвычайном различии духовной природы обоих исследователей. Формально точный и сухой логический ум Сергеевича был очень далек от понимания манеры, с какой создавались труды Ключевского. Иногда сам В.О. Ключевский отступал от своего обычного способа изложения и печатал некоторые монографии без полной стилистической отделки. Таков, например, его очерк первоначальной истории городов на Руси, помещенный в первой редакции “Боярской думы” (*Русская Мысль*. 1880 г. № 1, 3, 4 и 10). Таков “Русский рубль” и отчасти – исследования по ис-

тории крепостного права и земских соборов. Обращаясь от этих специальных работ к более популярным и общим трудам Ключевского, легко можно чувствовать, как много содействовала целостности и силе впечатления усвоенная Ключевским в последних трудах своеобразная литературная манера. Да, великим мастером слова был Ключевский! Никто другой не умел дать читателю таких цельных и гармоничных настроений, как он; никто другой не умел так обвеять вас впечатлениями отжитых эпох.

Спокойствие объективного историка в высшей степени было присуще трудам Ключевского. Он умел не увлекаться полемикой ни с настоящими историками, ни с деятелями прошедшего. Poleмический элемент вовсе отсутствует в исследованиях В.О. Ключевского; обходятся даже такие ученые мнения и выводы, с которыми, казалось бы, естественно было сосчитаться. И в прошлое смотрит наш историк если далеко не равнодушно, то весьма сдержанно, обыкновенно не показывая “ни жалости, ни гнева”. Суд историка у Ключевского действует чаще всего посредством мимолетного сарказма или же благодушного, но меткого юмора. На читателя очень воспитательно влияет постоянное уменье Ключевского быть спокойным и серьезным, несмотря на способность к едкой шутке. Тем неожиданнее проблески некоторого пессимизма и скорбного настроения в Ключевском. Иногда читатель чувствует, что историк как бы неудовлетворен настоящим. В одном из курсов Ключевский, например, так отзывался о своей современности: “надо признаться, что это поколение, к которому принадлежит и говорящий, доселе плохо разрешало свои задачи, и надо думать, что оно сойдет с поприща, не разрешивши их”. Иногда же (и чем позднее, тем чаще) скорбь и негодование историка обращались в русское прошлое. В IV-й части “Курса” можно отметить несколько поразительных в этом отношении мест. Они таковы, что заставляют думать о росте пессимизма в пожилые годы историка и о некоторой убыли прежнего научного самообладания. Но и вообще и всегда внутренние настроения Ключевского могли порождать недоумение своею сложностью и неожиданностью. Мы помним, какое удивление вызвала всеми именно Ключевскому усвоенная статья “Грусть”, подписанная буквою *К* и напечатанная в *Русской мысли* 1891 года в память 50-летия кончины М.Ю. Лермонтова. В статье звучали такие элегические струны, царило такое настроение “поэтической резиньяции”, каких нельзя было и предполагать в “историке Ключевском”. Столь же мало от историка Ключевского можно было ожидать той степени лиризма, с какою была им написана речь памяти императора Александра III (1894). Эти два выступления Ключевского были учтены как симптомы душевного перелома, переместившие его вправо от прежних позиций. Но

прошло десятилетие, и последние годы застали нашего историка на прежних позициях. Душевный “перелом” не был переменою взглядов и чувств; он оказался только симптомом большой душевной сложности, в которой сплелись мудреным узлом самые разнообразные элементы русской стихии и общечеловеческой мысли.

Научное значение трудов Ключевского весьма велико. Его личная деятельность в Московском университете и в московских учебных кругах чрезвычайно подняла интерес к его предмету – русской истории. После усталого С.М. Соловьева бодрое и обаятельное преподавание Ключевского сразу образовало новое настроение, сформировало школу. Всякий реферат Ключевского, всякая его речь на диспуте или в публичном собрании обращались в событие, собирали толпу и делали специальные сюжеты, им обработанные, достоянием широкой публики. Закрытые заседания Общества истории и древностей российских, где Ключевский был председателем, приобретали для членов общества значение ученых праздников. Так, мало-помалу Ключевский стал центром и главою для всех тех, кто тяготел к изучению русской истории и кто ею интересовался. Естественно, что огромное значение личности Ключевского повело к успехам и той специальности, которую он представлял. Но этим, конечно, не ограничивается историографическая роль Ключевского. Некоторые ценители его трудов склонны считать его как бы творцом самой науки русской истории. “Ключевский первый в русской историографии дал в своих трудах законченный опыт построения русской истории, основанного на учении о тесной взаимозависимости экономических, социальных и политических отношений в жизни народа. Он первый... осветил с этой точки зрения весь ход русской истории, положив в основу своего построения изучение экономической эволюции нашей Родины”... (А.А. Кизеветтер в *“Русских ведомостях”*. 1911 г. № 110). По такой оценке, всем бывшим до Ключевского попыткам синтеза русской истории “не хватало прочно установленного объединяющего принципа”. Отличительные свойства исторического построения Ключевского указаны здесь, разумеется, верно. Но, по нашему мнению, не хватает надлежащего указания на то, что в своей схеме Ключевский был счастливым наследником своих талантливых учителей и предшественников, до него подготовивших исторический материал и давших образцовые примеры не только исследования этого материала, но и его синтеза. Значение работ Ключевского гораздо лучше определяется не совершенством его схемы, а его исключительным талантом исследователя и красотой его художественного творчества. Против схемы Ключевского будут спорить, но им самим всегда будут любоваться и у него всегда будут учиться.

Слово о Н.М. Карамзине (1911)

С чувством большой робости начинаю я мое краткое слово. Хотя оно произносится в тесном кругу собравшихся здесь родных и почитателей Н.М. Карамзина, однако, говоря о Карамзине, чувствуешь, что говоришь о теме общерусской и вспоминаешь только что произнесенные пред вами слова Ф.И. Тютчева:

Что скажем здесь перед отчизной,
На что б откликнулась она?

Вопрос о значении Карамзина в умственной жизни России его времени – вопрос не только сложный, но и спорный. Те, кто выступал с оценкою Карамзина как писателя и деятеля, резко расходятся в этой оценке. Для одних Карамзин – “святое имя” русской литературы, “исполин русской словесности”. “При сем магическом имени” потрясалась “нервическая система” современников Карамзина, упоенных красотою его “несравненных повестей”, озаренных “светильником грамматической точности” его творений, смотревших на Карамзина “с таким же благоговением, как древние взирали на изображение олицетворенной Славы и Заслуги”. В последующих поколениях читателей остыл пафос речей, но продолжала жить теплота чувств, возбужденных Карамзиным. В пример можно привести Ф.И. Буслаева. В разное время и по разным поводам обращаясь к Карамзину, Буслаев писал, что в его юности Карамзин казался ему “самым просвещенным человеком в России”, “наставником и руководителем каждого из русских, кто пожелал бы сделаться человеком образованным”. В знаменитых “Письмах русского путешественника” Буслаев видел “необычайную цивилизующую силу”, “зеркало, в котором отразилась вся европейская цивилизация”. По мнению Буслаева (в 1866 году), “Письма русского путешественника” даже в период деятельности Пушкина не теряли своего современного значения, – частью имеют они его и теперь, – потому что в них впервые были высказаны многие понятия и убеждения, которые сделались в настоящее время достоянием всякого образованного человека”. Каковы ни были оттенки отношения к “Истории государства Российского”,

современники ставили ее на первое место в кругу однородных трудов и говорили, что Карамзин сделал русскую историю “известнее не только для многих, но даже для самых строгих судей своих”. По мнению одного из критиков (А. Селина), “История государства Российского” создала в русском обществе высшие требования к историческим трудам, воспитала в нем более глубокое историческое понимание; “эти высшие взгляды были следствием поразительного для нас влияния и безмерного любопытства к прошедшему, возбужденного величайшим из талантов”.

Но рядом с поклонением Карамзину живет осуждение и растет забвение. Не говоря об архаической критике Шишкова и Арцыбашева, вспомним позднейшее – именно то, с чем приходится считаться в настоящее время. Не обвиняют ли Карамзина за манерность и деланность чувств и слога в его трудах, за его политическое умонастроение, за то, наконец, что он как историк был прославлен несравненно больше, чем заслуживали его ученые приемы и теории? Знакомство с IV главой книги П.Н. Милюкова “Главные течения русской исторической мысли” не покажет ли читателю, что Карамзин и в наше время может быть предметом не только исследования, но и обличения? Большинство, однако, не чтит и не обличает Карамзина, а плохо его помнит. Теперь потерял секрет успеха Карамзина, теперь уже не действует чарование его повестей, и герои их, по образному выражению князя П.А. Вяземского, “окутались забвенья ризой”. Для обычного читателя необходимо усилие ума, чтобы в приподнятых периодах Карамзинской речи уловить ту “приятность слога”, к которой сознательно стремился автор, и которая стала литературным открытием для первых читателей “поразительной” прозы Карамзина. Если наши отцы находили живой интерес и душевную отраду в чтении “Писем”, “Истории” и повестей Карамзина, то наши дети уже не читают их иначе как в курсе истории литературы. Они улыбаются над теми их красотами, которые когда-то трогали и умиляли; им надо “объяснять Карамзина”, ибо часто они сами его уже не понимают.

В курсах истории литературы такие “объяснения” Карамзина, конечно, существуют. В них Карамзин обыкновенно ставится в тесную связь с движением общеевропейской мысли. Переход ее от космополитизма к национализму, характерный для той эпохи, повлек за собою перелом и в литературной деятельности Карамзина. Преклонение перед Европою, порожденное в Карамзине “идеалами космополитизма”, сменилось в нем “патриотическими настроениями” под влиянием великих событий его века. Глашатай европеизма и Просвещения, Карамзин имел “великую заслугу” в

том, что “приблизил литературу к обществу”; “это был первый писатель с обширным кругом непосредственного влияния и великими заслугами”. Однако “его влияние как сентиментального писателя было непродолжительно”; позднее, в области политической, “он являлся консерватором”, которому остались чужды не только “либеральные идеи” младшего поколения, но и “прямые серьезные потребности русского общественного и государственного быта”. В таких и подобных определениях мы всегда видим, рядом с похвалами, некоторое “но”: или отрицается внутренняя цельность нашего писателя, или ограничивается срок и пределы его литературного успеха. Образ Карамзина тускл и неясен, а роль его сводится как будто бы к роли талантливого передатчика в русскую публику сначала результатов новейшей европейской мысли, а затем итогов русской историографии XVIII века. Остается недоумение, почему такое посредничество дало право Карамзину на “великую заслугу”, и почему современники почитали Карамзина за “исполина” словесности. Остается горечь сознания, что Карамзин, учивший все русское общество чувствовать и мыслить, сам не избег “переворота его мирозерцания” и резко изменил свои “настроения”, перейдя из Екатерининской в Александровскую эпоху.

Мне кажется, что можно не следовать современному нам обычаю строить характеристику Карамзина на некоторой антитезе его чувств, взглядов и настроений. Деятельность Карамзина, взятая в ее основных чертах, проникнута, на мой взгляд, целостным единством умонастроения и не страдает противоречиями и внутренними несоответствиями. “Европеизм” Карамзина уживался мирно с его “патриотизмом”, и взаимная смена этих настроений совсем не бывала “переворотом мирозерцания”. В их гармоническом соединении заключалась самая суть мировоззрения нашего писателя; она то и дала, как кажется, такой успех произведениям Карамзина среди современного ему общества.

Чтобы понять такую точку зрения, необходимо в двух словах вспомнить, при каких условиях выросло и сформировалось русское мирозерцание в допетровской Руси, и какой переворот оно пережило вследствие реформ XVII–XVIII столетий. С первых веков русской исторической жизни, в пору господства у нас византийского влияния, умы русских книжников были приучаемы к вражде с латинским Западом и к противоположению православной Руси латинствующей Европе. Греки воспитали на Руси чувство религиозной исключительности, а ход истории эту религиозную исключительность превратил в национальную замкнутость. Когда в XV веке погребло Греческое царство, и взамен былого величия восточных патриархатов настала для них пора

тяжелого рабства, скудости и даже нищеты, Русь почувствовала себя единственной представительницей и поборницей древнего благочестия и стала на защиту своей веры, обрядов и обычаев со всею ревностью религиозного чувства и со всею наивностью исторического неведения. Русским книжникам представлялось, что Руси Богом суждено играть высокую роль “нового Израиля” и суждено основать последнее в мире “православное царство”, которое будет сиять до века светом истинного благоверия. С такой точки зрения все прочее человечество представлялось погрязшим во тьме неверия и предосужденным на погибель. Косневшая в ересях Европа не прельщала русские умы; к ней относились свысока и отрицательно. С XV века такие отношения жили до XVII, до тех пор, пока силою вещей Московскому царству не пришлось начать систематические заимствования с Запада. Презируемая Москвою Европа оказалась сильнее Москвы на поприще военном и техническом; мало того, она умела жить полнее и веселее Москвы. Оттуда русским людям довелось усваивать и то, что было им решительно необходимо, и то, что казалось им неотразимо приятно. Оружие и книга, хитрый механизм и дорогой товар, регулярный солдат и искусный актер – все шло с Запада и говорило о его превосходстве и прелестях. Торжество западной культуры чувствовалось Русью чем далее, тем более; при Петре Великом оно было признано официально. С выступлением России на “театр славы” старое мирозерцание погибло; царской волей “новый Израиль” обращен в ученики Европы. С реформою Петра руководящие классы русского общества решительно отвернулись от родной старины. Если в конце XVII века начинали в Москве вводить “политес с польскаго манеру”, то в Петровом Петербурге стали жить с манеру голландского и шведского, а позднее с манеру французского. Как раньше московские стародумы брезгливо осуждали Запад, так в Петровское время брезгливо стали относиться к родному прошлому. Старая привычка противоположения Руси Европе осталась, но изменился взгляд: осуждалось то, что раньше славилось; а то, что раньше презиралось, стало образцом для слепого подражания. В умственной обстановке XVIII столетия русский человек чувствовал неизбежно ту пропасть, которая отделяла старую Русь от просвещенной Европы; чтобы стать европейцем, ему надлежало перескочить эту пропасть, бросив в нее все верования и предания родного прошлого. Примирение и совмещение казалось невозможным, да для большинства европеизованных русских не было и желательным. Они с легким сердцем усваивали европейские обычаи и взгляды, не оглядываясь в допетровскую Русь.

Только отдельные русские люди XVIII века не разделяли общего настроения молодой русской интеллигенции и смущались вековой проблемой об отношении Руси к Западу. Ни отрицать западную культуру, ни презирать русские предания они не могли; но они одинаково же не могли построить стройную систему мировоззрения на синтезе двух непримиренных стихий: национальной старо-русской и общечеловеческой европейской. Не видя выхода для своих сомнений и противоречий, они не обнаруживали цельности настроения и определенности взглядов; но они сами служили ясным доказательством того, что действительно нужно искать этой цельности и определенности, нужно стремиться к синтезу и разрешению векового противоречия. Типическим представителем людей такого направления был Николай Иванович Новиков, апологет старой Руси и поклонник просвещения. По отзывам исследователей, изучавших его деятельность, Новиков “не умеет связать в определенный взгляд своих представлений о старине, о достоинствах русского народного характера, о просвещении, о новейшей порче нравов”; “весь первый период деятельности Новикова проходит в борьбе между увлечением нашими национальными свойствами и сомнением в их идеальной высоте”. Внутренние колебания между различными точками зрения привели Новикова к масонству, а масонство отвело его в иную область интересов, обратя энергию Новикова на дела филантропии и народного просвещения. Ни Новиков, ни иной кто из его современников не разрешил угнетавшей их ум загадки о том, как можно бы было согласовать два порядка идей и чувств, требовавших в их душе согласования. Но вопрос был ими поставлен на очередь, и тема об отношении национального сознания к принципу космополитизма требовала решения.

Мне кажется, что это решение дал Карамзин, и что именно им он и снискал себе небывалый успех в литературе. В сознании Карамзина вопрос об отношении национального к общечеловеческому, конечно, существовал, но совсем не имел старой остроты и мучительности и обратился в простую теоретическую тему. В произведениях своих Карамзин вовсе упразднил вековое противоположение Руси и Европы как различных и непримиримых миров; он мыслил Россию как одну из европейских стран и русский народ как одну из равнокачественных с прочими наций. Он не клял Запада во имя любви к Родине, а поклонение западному Просвещению не вызывало в нем глумления над отечественным невежеством. Космополитическая идея единства мировой цивилизации вела его к утверждению, что “все народное ничто перед человеческим: главное дело быть людьми, а не славянами”. Но это

утверждение не отрицало ни народности, ни патриотизма. Карамзин не противоречил себе, когда в своем знаменитом рассуждении “о любви к Отечеству и народной гордости” писал, что “русский должен по крайней мере знать цену свою; ... станем смело наряду с другими, скажем ясно свое имя и повторим его с благородной гордостью”. Исходя из мысли о единстве человеческой культуры, Карамзин не устранял от культурной жизни и свой народ. Он признавал за ним право на моральное равенство в братской семье просвещенных народов. «Как человек, так и народ, – писал он, – начинает всегда подражанием, но должен со временем быть сам собою, чтобы сказать: “я существую нравственно”». Такая постановка вопроса упраздняла прежний антагонизм, разрешала прежние недоумения. Проповедь мира и единения сменяла собою вековые толки о непримиримой разности русской и европейской стихий и была “новым словом” Карамзина в русской литературе. Это “новое слово” действовало на умы особенно сильно и influentially, потому что не было сказано в виде сухого рассуждения, а явилось основой обаятельных по форме литературных творений. Оно не только убеждало, оно прельщало.

Современники чувствовали за Карамзиным эту патриотическую заслугу морального оправдания нашей народности в мировой среде. Вопреки репутации космополита, иногда сопровождавшей имя Карамзина, его почитали за великого патриота. А. Стурдза, отмечая, что в Карамзине “соединялся дух русского с европейской образованностью”, признавал, что Карамзин “начал и открыл для нас период народного самосознания”. Иными словами ту же мысль выразил князь П.А. Вяземский, сказав, что Карамзин показал, “что у нас есть Отечество”. В.В. Измайлов хвалил Карамзина за то, что он “старался при всяком случае возвысить в россиянах чувство народного и человеческого достоинства”; а Марлинский отметил, что Карамзин “преобразовал книжный язык русский... и дал ему народное лицо”. Так к числу прочих литературных заслуг и приятностей Карамзина присоединялась и эта заслуга первых шагов на поприще народного самоопределения.

Если высказываемые мною мысли верны, они дают нам наиболее правильное объяснение того, почему Карамзин обратился от литературных к историческим трудам. Изучение истории народа всегда признавалось лучшим средством народного самопознания. Для Карамзина оно и было средством к тому, чтобы, говоря его собственным словом, “русский по крайней мере знал цену свою”.

“Священной памяти двенадцатый год” (1912)

Отечественная война 1812 года в жизни Русского государства имела очень большое значение.

Огромные вражеские силы вошли в Русскую землю совершенно неожиданно для ее жителей. Если русское правительство задолго имело сведения о намерении Наполеона начать войну, то из простых русских людей никто не мог предугадать нашествия врага даже и за один год до того, как оно сбылось. Вовсе нельзя было чаять, что враг всего в два с половиною месяца дойдет от дальней границы до “первопрестольной” Москвы, и что наша армия даст ему дорогу до самой столицы. Пожар Москвы для многих русских людей казался началом гибели всей России. Тем неожиданнее для них оказалось дальнейшее: отступление французов из Москвы, совершенное их изгнание из России к концу 1812 года, освобождение Германии от Наполеона к концу 1813 года, завоевание русскими и немецкими войсками Парижа весной 1814 года и низложение Наполеона. Все эти великие события были пережиты менее чем в два года.

Чтобы почувствовать всю силу и важность происшедших потрясений, надобно было видеть и пережить их. Надобно было испытать неизбежный страх нашествия дотоле непобедимой полумиллионной “великой армии” Наполеона; надобно было видеть бегство и разорение жителей, разрушение сел, усадеб и городов; надобно было знать лишения и страдания отступавшей перед врагом армии, подвиги сильных духом и малодушие слабых; надобно было, наконец, пережить потерю и гибель Москвы. Все это повергало души в трепет и отчаяние, заставляло ожидать близкого и несчастного конца. Но с той же быстротою, с какою набежала беда, она рассеялась. С отступлением Наполеона из Москвы не уменьшились жертвы и страдания, но появилась надежда на избавление и спасение. Вскоре затем она сменилась чувством победы и торжества над врагами, сознанием непобедимой силы и мощи России. Мудрено ли, что 1812 год стал торжественным и светлым воспоминанием русского народа, что в сиянье славы и побед исчезли боль от перенесенных страданий и печаль от

утрат и разорения? “Священной памятью 12-го года” гордилась вся Россия.

Прошли года. Героические воспоминания о борьбе за Родину хранили свою свежесть. Но с течением времени простыми рассказами о боях и подвигах уже не ограничивались; искали лучше понять причины гигантской борьбы и полнее уразуметь ее последствия. Выяснилось, что столкновение России с Францией не было внезапною случайностью и что последствия войн с Наполеоном отразились не только на политической жизни Европы, но и на внутренней жизни России.

На общей арене европейской политики встреча России и Франции была неизбежна, потому что к началу XIX столетия обе страны – каждая по своим особым причинам – обнаружили явную склонность к вмешательству в дела прочих европейских стран.

Пережитые Францией в конце XVIII столетия внутренние потрясения вызвали вмешательство в ее жизнь соседних государств, которые желали восстановления во Франции низложенной династии и старого ниспровергнутого порядка. Французам приходилось защищаться от иноземных вторжений. Вследствие разных причин их оборона приняла активный характер. Отбив врагов от своих границ, французы перенесли войну в соседние страны, овладели многими землями: одни присоединили к Франции, а в других устроили особые республики и утвердили свое влияние. Необходимость поддерживать достигнутый успех вела Францию к новым войнам и победам. Основатель французской империи, Наполеон с принятием императорского титула связывал мысль о господстве над целой Европою и своими походами довершил то, что было начато в эпоху республики. Вся Европа подчинилась его верховенству, кроме Англии и России. Эти же два государства не только не признавали главенства Франции, но постоянно противодействовали ему. С Англией и Россией Наполеону предстояла поэтому решительная борьба. Император французов не скрывал своей вражды к Англии, но не имел средств нанести удар островному государству, ибо не обладал сильным флотом. Границы же России были ему доступны: рано или поздно русскому народу предстояло или подчиниться гению Наполеона, или испытать его грозу.

Россия, быть может, избежала бы вражды с Францией, если бы русское правительство отказалось от вмешательства в дела средней Европы и от протестов против Наполеона. Но как раз в ту эпоху русская политика обнаруживала особую склонность к участию в делах Запада, и русский двор считал вмешательство в международные отношения своею прямою задачей. Император

Александр I был по преимуществу дипломатом, любил это дело, отличался искусством и способностью вести “политику”. В этом он вполне подчинялся условиям своего времени. После громких побед императрицы Екатерины II и ее громадных завоеваний должны были в корне измениться основы русской политики. До тех пор Россия искала своих естественных границ и находилась в многовековой непрерывной борьбе с своими соседями. От Швеции ей надлежало добыть необходимое балтийское побережье; от Польши и Литвы – родные русские земли. На юге для России нужно было обеспечить себе покой и безопасность от разбойных татарских набегов. Целые столетия проходили в том, что русские люди, поколение за поколением, искали средств и союзников для борьбы с своими соседями и вели войну за войною на своих рубежах. Вековой порядок выражался в том, чтобы, воюя с соседом, дружить “через соседа” со всеми теми, кто мог помочь против соседа. Русское государство, словом, вело политику узконациональную, преследуя насущный народный интерес. Петру Великому удалось победить шведов и добыть море на западе; Екатерине II удалось возвратить русские области от поляков и доканать татар присоединением Крыма и Новороссии. Вековые цели были достигнуты; войны на рубежах прекратились; соседи перестали быть явными и опасными врагами. Таким образом, вся политическая обстановка при императрице Екатерине II изменилась; должна была измениться и политическая система. Вместо задач народной обороны пред русской дипломатией стали задачи иного рода. Они сводились к тому, чтобы определить роль России в среде важнейших европейских государств и влиять на ход международных отношений в интересах мира и политического равновесия. Такое понимание дела возникло уже при дворе императрицы Екатерины и императора Павла. Оно должно было повести к постоянному вмешательству России в европейские дела. И раньше, в XVIII веке, бывало не раз, что Россия втягивалась в европейские столкновения, но тогда дело ограничивалось дипломатической игрою и весьма редко доходило до вооружений. Со времени же французской революции русское правительство не считало возможным уклониться от деятельного противодействия Франции, ибо почитало своим долгом стать на охрану законного порядка в Европе от мятежных на него посягательств. Вот почему при императоре Павле и Александре I несколько раз возгоралась прямая вражда, и шли войны с французами. Непримиримость обоих государств, России и Франции, выяснялась чем далее, тем более; понемногу стало очевидно, что им не миновать решительного столкновения.

Таковы были основные причины Отечественной войны. Исторические судьбы непредвиденно поставили Россию и Францию одну против другой. Обе страны шли своими особыми путями, пока их пути не сошлись на роковом пересечении. Попытка Наполеона привлечь императора Александра в союз и дружбу после мира в Тильзите (1807) не могла иметь удачи, потому что тревожная жизнь тогдашней Европы давала слишком много прямых причин и поводов для недоразумений и ссор между союзниками. В чем заключались эти поводы и причины – объясняет первая глава настоящей книги.

Военная гроза 1812 года разбила не Россию, а Французскую империю. Но и Россия испытала на себе ряд глубоких последствий Отечественной войны. Не говорим уже о громадных потерях людьми, о разорении целых областей, о расстройстве государственных финансов: много лет русские помнили “француза” и “нашествие двадцати язык” и не сразу могли оправиться от своих материальных утрат и потрясений. Влияние событий “двенадцатого года” и последовавших за ним “освободительных” войн отразилось и на духовной жизни русского общества, возбудив в нем сильное внутреннее брожение.

Прежде всего, это брожение направилось на критику русского общественного строя и на сравнение его с общественными порядками Запада. Россия была тогда государством крепостническим. По законам и порядкам императрицы Екатерины II дворянство приобрело в государстве преобладающее значение и получило в свое полное распоряжение не только труд, но, можно сказать, и самую жизнь крепостных крестьян, живших в дворянских имениях, и дворовых людей, служивших в дворянских усадьбах. Крепостное право на крестьян и дворовых, угнетая народную массу, озабочивало правительство. Крестьянские волнения против тех помещиков, которые злоупотребляли своею властью, тогда случались очень нередко и вели иногда к открытым беспорядкам, которые приходилось усмирять силою. Для правительства возникала двойная забота о том, чтобы пресечь злоупотребления крепостным правом со стороны дворян и беспорядки и бунты со стороны крестьян. Вторжение врагов в Россию естественно подняло вопрос о том, не будет ли оно поводом к крестьянским возмущениям. Есть такие указания, что враги России надеялись на эти возмущения, а дворяне их ожидали и опасались. На деле сколько-нибудь заметных крестьянских беспорядков не произошло. Мало того – крестьяне участвовали вместе с войсками в партизанской войне против французов и сами, одушевленные народным чувством, собирались в свои особые отряды для преследования и истребления

вражеских сил. Несмотря, однако, на благополучный исход дела, мысль о возможной опасности от крепостного строя не могла замереть и исчезнуть. Когда русская армия в 1813–1815 годах делала свои заграничные походы, масса дворян, в ней служивших, своими глазами увидела европейский быт, в котором уже не было крепостных отношений. Культурное и нравственное превосходство такого быта для русских людей было очевидно, а зло их крепостного строя стало им еще больше понятно. Возвратившись с войны на родину, многие дворяне принесли с собою мысль о необходимости уничтожения крепостного права и об изменении государственного устройства, основанного на крепостном порядке. Одни из них хотели скорого и крутого переворота (и даже произвели неудачную попытку такого переворота при воцарении императора Николая I – 14-го декабря 1825 года). Другие мечтали о более спокойных и постепенных преобразованиях. Сам император Николай I поставил себе целью найти способы к улучшению быта крепостных и много потрудился в этом направлении, хотя и не решился прямо возбудить вопрос об освобождении крестьян. Это сделал уже его сын – император Александр II.

Но не только вопрос о крепостном праве и связанных с ним реформах возник в русском обществе после Отечественной войны. Вообще умственная жизнь в России чрезвычайно оживилась под влиянием событий, связанных с этой войною. Подъем патриотических чувств в годы борьбы с Наполеоном расшевелил русское общество, устремил его внимание на политические дела, двинул в ряды армии всех тех, кто пылал желанием бороться за Родину и за освобождение человечества от ига “корсиканца”. Общественное возбуждение получило новую пищу в заграничных походах после Отечественной войны. Очень много русских людей прошло в нашей армии через всю Европу, от р. Немана до Парижа, видело разные страны, оставалось в них на военных постоях не только месяцами, но целыми годами, и таким образом основательно знакомились с европейскою культурой и нравами. За отцами и братьями, бывшими в войсках, ехали на Запад их семьи – навестить родных борцов и самим повидать Европу, замиренную победами императора Александра I. Путешествия за границу вошли в чрезвычайную моду. Русские совершали прогулки по Европе, учились в германских университетах, собирали целые библиотеки из заграничных книг, составляли себе художественные коллекции, вывозили из-за границы в свои семьи учителей и гувернеров, за границей даже женились и выходили замуж, заключая браки с теми иностранцами и иностранками, с которыми знакомились в свое долгое пребывание в чужих краях. Чрезвычайное оживление

сношений с Западом повело к тому, что на Руси после 1812 года стал заметен сильный подъем образованности, развился вкус к занятиям философией, наукою и литературою, появились философские кружки, подготовлялся расцвет самостоятельного творчества в чудной поэзии Пушкина и его литературных друзей и последователей. Словом, патриотическое оживление, вызванное Наполеоном в России, перешло от военных порывов к мирной просветительной работе на поприще народного самосознания. Вот почему, чествуя столетие Отечественной войны и вспоминая кровавый день Бородина и плен разрушенной Москвы, мы празднуем не только военную годовщину, но и народно-культурный праздник. В бедствии Родины, в крови и пожарах 1812 года, народная душа почерпнула не только жажду мести врагу, но и потребность духовного и гражданского совершенствования. Военный поход от Москвы на Неман и от Немана в Париж привел русский народ не только к окончательному поражению народного врага, но и к первым шагам на пути уничтожения крепостного строя и усвоения лучших сторон европейской культуры.

В этом значении “священной памяти двенадцатого года”!

ПРИМЕЧАНИЯ

К с. 7. Статья о земских соборах была первоначально помещена в “Журнале Министерства народного просвещения” за март 1883 года и в том же году вышла без изменений отдельною брошюрою.

К с. 9. О достоверности известий Степенной книги Хрущова см. ниже, на с. 154–157, статью “Речи Грозного на земском соборе 1550 года”, а также статью П.Г. Васенка о Хрущовской книге в “Журнале Министерства народного просвещения” за апрель 1903 года.

К с. 23. Дата 25 мая основательно заподозрена покойным И.И. Дитятым (Русская мысль. 1883. Декабрь. С. 91). Самый документ, ее заключающий, напечатан г. Латкиным, к сожалению, неудовлетворительно: “в исправленном рукою современника виде” (Земские соборы Древней Руси. СПб., 1885. С. 434–440). В документе важно было бы изучить исправления сравнительно с первоначальным текстом.

К с. 26. Статья о царе Алексее Михайловиче была написана для прочтения в виде речи на акте С.-Петербургских Высших женских курсов 22 октября 1885 года и затем была напечатана в “Историческом вестнике” за май 1886 года. Сверх указанных автором характеристик царя Алексея, он имел в виду цельный очерк личности “гораздо тихаго” царя, находящийся в “Курсе русской истории” В.О. Ключевского; “Курс” этот автору был известен еще в литографиях. В 1912 г. автор изложил заново характеристику царя Алексея для юбилейных к 1913 году изданий г. Сытина, имеющих выйти в свет под редакциею В.В. Каллаша и Н.Д. Чечулина.

К с. 30. Кроме старого сборника писаний царя Алексея, изданного г. Бартевым в 1856 году, в последующие годы появились “Письма царя Алексея Михайловича” в издании Московского архива Министерства иностранных дел (М., 1896), а также некоторые резолюции и заметки царя из дел Тайного приказа в труде И.Я. Гурлянда “Приказ великого государя тайных дел” (Ярославль, 1902).

К с. 36. Статья о “Новой повести” была напечатана в “Журнале Министерства народного просвещения” за январь 1886 г. Позднее автор дал вторично отзыв об этом памятнике в своей книге “Древнерусские сказания и повести о Смутном времени” (СПб., 1888. С. 86 и след.), а самый текст “Новой повести” издал целиком в XIII-м томе “Русской исторической библиотеки” (с. 187–218). Здесь настоящая статья перепечатывается потому, что не все ее содержание вошло в книгу “Древнерусские сказания и повести”, и в этой книге не раз делают ссылки на статью.

К с. 50. Вопрос об авторе Повести имеет свою “литературу”. Рецензент “Русской мысли” (П.Н. Милюков?), не соглашаясь со мною, говорил, что Повесть составлена не в Москве, а в Троице-Сергиевом монастыре, по тому признаку, что в Повести дважды встречаются слова: “иже у нас в Троице”

(Русская мысль. 1888. Март. Библиографический отдел. С. 161). На то же указывал и г. Скворцов в своей книге “Дионисий Зобнинский” (Тверь, 1890. С. 70–71). Я, с своей стороны, в “Очерках по истории Смуты” (Примеч. 200) позволил себе высказать догадку, что автором Повести был дьяк Григорий Елизаров, ушедший из Москвы от поляков в Троицкий монастырь: на нем сходятся все признаки, по каким строились до сих пор заключения об авторе Повести.

К с. 52. Статья напечатана в “Журнале Министерства народного просвещения” за июнь 1888 года.

К с. 62. Заметка о начале Москвы была напечатана в журнале “Библиограф”, № 5–6 за 1890 год. В труде г. Забелина “История города Москвы” (Ч. 1. М., 1902) можно читать на первых страницах то же самое, что докладывал И.В. Забелин на Московском съезде.

К с. 68. Рецензия на труд Н.Д. Чечулина была помещена в “Журнале Министерства народного просвещения” за май 1890 года. Позднее в “Отчете о 33-м присуждении наград графа Уварова” (СПб., 1892) появился обстоятельный отзыв В.О. Ключевского о том же труде Н.Д. Чечулина, и в нем были освещены некоторые из тем, затронутых в настоящей статье.

К с. 82. Рецензия на третий том “историографического” сочинения г. Иловайского была помещена в “Журнале Министерства народного просвещения” за март 1891 года.

К с. 100. Заметка о материалах, опубликованных г. Зерцаловым, была напечатана в “Журнале Министерства народного просвещения” за май 1891 года. В настоящем издании опущен конец заметки, заключающий в себе несколько слов pro domo. Самая же заметка печатается потому, что в ней впервые было дано указание на значение “земских сказок” 1662 года.

К с. 104. Статья “Как возникли чети?” была напечатана в “Журнале Министерства народного просвещения” за май 1892 года. Часть ее вошла в мой отзыв о книге С.М. Середонина: “Сочинение Дж. Флетчера Of the Russe Common Wealth как исторический источник” (см. Отчет о 34-м присуждении наград графа Уварова).

К с. 105. В последних изданиях “Обзора” М.Ф. Владимирского-Буданова (3-е изд. С. 206–207; 4-е изд. С. 195–196) находим разбор мнений о происхождении четей с неожиданным заключением, что все труды “новых исследователей” имеют лишь тот результат, что “возвращают вопрос к прежнему его состоянию”. Поэтому сам г. Владимирский-Буданов остается при старом взгляде, согласно осужденном “новыми исследователями”. Свод материала и мнений по вопросу о четах сделан в статье Е.Д. Сташевского “К вопросу о том, когда и почему возникли чети?” (в “Киевских университетских известиях” за 1908 год и отдельно).

К с. 113. Слова: “четверти существовали одновременно с опричниной и вне ее” автор теперь заменил бы словами: “четверти существовали одновременно с опричниной, но независимо от нее”.

К с. 113–114. Автор остается и теперь при прежней мысли, что четвертные доходы Дума ведала сначала чрез одного разрядного дьяка (и тогда чети были подчинены Разряду), а затем через всех думных дьяков (и тогда чети стали в соединении, кроме Разряда, с приказами Посольским, Поместным и Казанского дворца). Эта мысль не была принята проф. Дьяконовым, который, указав, что Большой приход упоминается в 1655–1656 гг., а Четвертная изба в 1561–1562 г., выразил мнение, что чети возникли “из ведомства казначеев” и очень рано от него обособились (“Дополнительные сведения о московских реформах половины XVI века” в “Журнале Министерства народного просвещения” за апрель

1894 года). Можно думать, что только специальное изучение реформ Грозного во всей их совокупности покажет, где тут истина.

К с. 114–116. Вопрос о взаимном отношении учреждений “в опричнине” и “в земском” очень интересен. Автор имел случай высказаться по этому вопросу в “Очерках по истории Смуты” (Глава вторая. Отд. III).

К с. 117. Эта заметка напечатана была в “Журнале Министерства народного просвещения” за май 1893 года. По содержанию своему она тесно связывается с материалами, изданными Императорскою Археологическою комиссиею под заглавием “Вновь открытые полемические сочинения XVII века против еретиков” (в “Летописи занятий” Комиссии. Т. 18. СПб., 1907) и с печатаемою ниже в этом томе статьею “Об авторе сочинения на иконоборцы и на вся злая ереси”.

К с. 121. Заметка “О двух грамотах 1611 года” была помещена в издании “Commentationes Philologicae: Сборник статей в честь И.В. Помяловского” (СПб., 1897).

К с. 126. Напечатано в “Журнале Министерства народного просвещения” за февраль 1897 года.

К с. 139. Рецензия на сборник писем К.Н. Бестужева-Рюмина была напечатана в “Журнале Министерства народного просвещения” за май 1898 года. Некоторое освещение переписки нашего историка с графом С.Д. Шереметевым можно найти в труде графа “Царевна Феодосия Феодоровна. 1592–1594” (в сборнике “Старина и новизна”. Книга V. СПб., 1902).

К с. 145. Напечатано в “Записках имп. Русского археологического общества”. Т. 11. Вып. 1–2 (СПб., 1899).

К с. 149. Статья напечатана в “Вестнике всемирной истории” за 1900 год, № 12.

К с. 154. Статья напечатана в “Журнале Министерства народного просвещения” за март 1900 года. Той же Степенной книге А.Ф. Хрущева посвящено исследование П.Г. Васенка в “Журнале Министерства народного просвещения” за апрель 1903 года.

К с. 158. Заметка об Угличском кремле составляет сокращенное изложение доклада на Ярославском областном съезде 1901 года и помещена в “Трудах” этого съезда (М., 1902). В “Трудах второго областного Тверского археологического съезда” (Тверь, 1906) находится любопытнейшая статья И.А. Тихомирова “Раскопки в Угличском кремле” со многими данными по топографии этого кремля.

К с. 162. Напечатано в “Журнале Министерства народного просвещения” за октябрь 1901 года.

К с. 165. Статья о Никоновом своде была помещена в томе VII (1902 г.), книжке 3-й “Известий Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук”.

К с. 172. Напечатано в “Журнале Министерства народного просвещения” за декабрь 1902 года.

К с. 190. Было напечатано в сборнике: “К 200-летию С.-Петербурга. 1703–1903. Для учащихся СПб. учебного округа” (СПб., 1903).

К с. 196. Речь в имп. Русском историческом обществе 10 марта 1904 года. Первоначально напечатано в “Нижегородском сборнике” (изд. Т-ва “Знание”. СПб., 1905); затем издано в 1909 году отдельно брошюрою (в Нижегородской ученой архивной комиссии) и в сборнике “Люди Смутного времени” (СПб., 1905).

К с. 203. Было помещено в журнале “Вестник и библиотека самообразования”, 1904 г., № 32.

К с. 211. Первоначально напечатано в “Журнале для всех”, 1905 г., № 2 и № 3.

К с. 254. Было помещено в “Журнале Министерства народного просвещения”, 1906 г., декабрь. В “Русской мысли” 1909 г. (ноябрь) В.П. Алексеевым в статье “Вопрос об условиях избрания на царство М.Ф. Романова” были представлены некоторые возражения на эту статью. В любопытном труде Г.Г. Тальберга “Очерки политического суда и политических преступлений в Московском государстве XVII века” (М., 1912) вопрос о содержании и силе “условий” избрания 1613 года получил свежую постановку. Однако и теперь я не вижу оснований колебаться в своих выводах.

К с. 303. Первоначально помещено в “Журнале Министерства народного просвещения” за 1907 г., октябрь, и частью вошло в предисловие к изданию “Вновь открытые полемические сочинения XVII века против еретиков” в XVIII томе “Летописи занятий Императорской Археографической комиссии”. Вопрос о литературной деятельности князя И.М. Катырева не может считаться достаточно освещенным; кажется, своевременно было бы сделать его предметом специального исследования.

К с. 313. Составлено для “Сборника статей, посвященных В.О. Ключевскому”. М., 1909.

К с. 324. “К истории Полтавской битвы” помещено было в “Русской старине” за 1909 год, январь. В IV-м томе “Трудов имп. Русского военно-исторического общества” (СПб., 1909), в исследовании Н.Л. Юнакова “Северная война. Кампания 1708–1709 гг.” г. Юнаков подверг критике эту мою статью и, “оценивая факты с военной точки зрения”, согласиться со мною не мог (с. 40–44 Примечаний). В свою очередь, оценка фактов “с военной точки зрения” оказалась неубедительной для меня, тем более, что взгляд на действия Карла XII, высказанный в моей статье, нашел себе косвенное подтверждение в шведском исследовании Артура Стилле (1908), русский перевод коего вышел в 1912 году (Стилле А. Карл XII как стратег и тактик в 1707–1709 гг. / Перевод со шведского А.В. Полторацкого. СПб.).

К с. 331. Статья эта составляет введение в “Историю Правительствующего Сената за 200 лет (1711–1911)”, изданную при Сенате в 1911 г.

К с. 367. Напечатано в “Журнале Министерства народного просвещения” за 1911 г., ноябрь, и (с некоторыми сокращениями) в сборнике “Научного слова”, посвященном памяти В.О. Ключевского (В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912).

К с. 373. Первоначально помещено во втором выпуске V-го тома “Остафьевского архива”, издаваемого графом С.Д. Шереметевым. Краткая речь эта была произнесена в собрании 18 июля 1911 г. по случаю открытия памятника Н.М. Карамзину в селе Остафьево.

К с. 379. Этот краткий очерк написан как предисловие к популярной книге П. Гр. Васенка “Двенадцатый год” (СПб., 1912).

Статьи
1883 – 1917 годов

Легенда о чуде св. Димитрия царевича Угличского (1888)

В древнерусской письменности насчитывается несколько житий царевича Димитрия Угличского, написанных в разное время и разными лицами. Почти все редакции этих житий перечислены Н.П. Барсуковым в его “Источниках русской агиографии” (СПб., 1882. Стб. 53–156), и к его перечню мы добавили бы только неизданное “Сказание о царстве государя и великого князя Феодора Ивановича всея России и о убиении брата его государя царевича Дмитрия Ивановича”. Это сказание нередко встречается в списках и по характеру своему близко подходит к прочим редакциям жития, отличаясь от них только присутствием легендарных черт (см. *Бычков А.Ф.* Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Императорской Публичной библиотеки. СПб., 1882. Ч. 1. № 80. С. 408–411). Ко всем почти житиям прилагалось и описание чудес от мощей царевича, происшедших как при перенесении мощей в Москву в 1606 году, так и позже.

Но ни в одной из указанных Н.П. Барсуковым и нам известных редакций жития не заключается той любопытной легенды о погребении царевича, какую удалось нам встретить в рукописи Московской Синодальной библиотеки (по Указателю арх. Саввы № 858 – см.: Указатель для обозрения московской патриаршей (ныне синодальной) ризницы и библиотеки / Сост. *архим. Савва.* Изд. 3-е. М., 1858). Рукопись эта (в 4 долю, скорописью, 230 листов) принадлежала св. митрополиту Димитрию Ростовскому и его рукою озаглавлена так: “Книжка различных вещей неисправленных, собрана в лето 1704, июля, в Ростове. Димитрий архиерей”. В этой рукописи, на л. 192–212 об., находится житие царевича Димитрия в той редакции, какая вошла в известные Милютинские Минеи Четьи (*Барсуков Н.П.* Источники русской агиографии. Стб. 154. № 3). За житием, на л. 213 об.–220 об., следует обычное изложение чудес царевича, какое внес в свои Минеи Четьи (под 3-м июня) и св. Димитрий Ростовский. Но пред этим изложением чудес, на л. 212 об.–213 об., вставлено нигде не находимое и отвергнутое Димит-

рием Ростовским “Предисловие” к чудесам. На нем то мы и желаем остановить внимание читателя. В полном своем виде оно таково:

(л. 212 об.) **“Предисловие**

Лета 7113, июня в 3 день, принесены же к Москве мощи святого благоверного царевича Димитрия с Углича; и поставиша в церкви архистратига Божияго служителя Архангела Михаила, на малом столе посреде церкви. И патриарх Ермоген нача пети погребальная, и пеша погребальная и ископаша могилу, где положен бысть царь Борис, в пределе у Иоанна, писателя Лествицы. И в то время начаша по государеву повелению сеши гроб каменен, в чем // (л. 213) мощи положить святого благоверного царевича Димитрия. И соделаша гроб каменен и понесоша в церковь, и той гроб стал короток. И царь Василий и патриарх Ермоген о том сташа скорбети и поносиша подмастерия Василия, сиречь брань воздвигнуша на него, и повелеша высещи второй гроб каменен по таковой же мере, что снята мера с благоверного царевича Димитрия; и той каменный гроб стал вельми длинен. И царь Василий и патриарх Ермоген в велицей скорби сташа и сняша меру с царевича Димитрия, измериша сами, и благословил патриарх Ермоген своею рукою. И той третий гроб ста четвероуголен, а могила, которую ископаша благоверному царевичу Димитрию погребсти мощи его, в то же время сама о себе засыпашеся. И видеша, яко чудо велие, царь Василий и патриарх Ермоген испусти велия слезы и начаша пети молебная, и поставиша гроб с мощами святого благоверного царевича Димитрия в церкви // (л. 213 об.) Архангела Михаила у праваго столпа; и бысть велия чудеса”.

Невозможно решить, когда и где было впервые записано это любопытное предание. И само оно не содержит в себе данных, по которым бы можно было заключать о его происхождении; и в других памятниках не находим его объяснений. Только немногие строки так называемой “Рукописи Филарета” (Сборник Муханова. 2-е изд. СПб., 1866. С. 271–272; отдельное изд.: М., 1837. С. 9–10) приближаются к этому преданию и дают некоторое основание предполагать, что мы имеем дело в данном случае с недостоверной легендой. В “Рукописи Филарета” читаем о мощах царевича, что они положены были “в пределе Ивана Предотечи, идеже отец его блаженный памяти царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси и братья его: царь Федерь Иванович да царевич Иван. И в том месте, идеже положен бысть царь Борис, выкопаша яму и калемением выклали, хотеша его, государя, праведное тело ту

погresti; и егда (ж) бысть многае исцеление, тогда яму повелеша закласти и на том месте в раке положиша”. “Рукопись Филарета” есть официальное произведение, как доказал А.А. Кондратьев (ЖМНП. 1878. Сентябрь) и составлена при патр. Филарете Никитиче, видевшем перенесение мощей царевича. Если официальный летописец не привел в своем труде тех чудесных обстоятельств, о которых повествует легенда, то, конечно, или потому, что не знал их, или потому, что не верил им. И в том, и в другом случае молчание “Рукописи Филарета” говорит нам о недостоверности легенды. О том же говорили св. Димитрию Ростовскому его тонкий ум и обширная богословская начитанность: поместив все прочие сведения о чудесах царевича в свою редакцию жития, он отверг эту легенду.

Личность Петра Великого (1909)

I

Личность Петра Великого казалась необыкновенною как современникам его, так и потомству. Современников поражала наружность Петра: громадного роста (без двух вершков сажень), с огненными глазами и быстрыми движениями, скорый на шутку и на гнев, царь Петр был привлекателен и грозен. “Он весь как Божия гроза”, – хорошо сказал о нем Пушкин. Гнев Петра бывал ужасен: лицо царя сводила судорога, голос его гремел, и царь готов был ударить виновного палкою или шпагою. Раз он на пиру, рассердясь на генерала Шеина, дал волю своему гневу и, “выхватя из ножен шпагу, начал ею рубить по столу так, что все присутствующие гости затрепетали”. Только любимец Петра Великого Лефорт не растерялся: он схватил Петра за руки, причем был даже ранен. Зато, придя в себя, царь обласкал Лефорта и, сознавая свою вину пред ним, просил простить его. В добром же настроении Петр бывал ласков, шутлив и очень прост. Он любил и умел говорить с простыми людьми, входил в дома простых рабочих и принимал их угощение, был близок к солдатам и заботился о них. Все те, кто испытал на себе его ласку и внимание, обожали Петра и звали его “отцом милосердым”. Люди, близкие к Петру, были убеждены, что бурные припадки его гнева происходили от болезни. Петр Великий страдал иногда нервными подергиваниями всего тела и в такие минуты нуждался в посторонней помощи. Случалось ночью, что от судорог он не мог заснуть и засыпал только держась за плечи своего денщика (дежурного адъютанта). Еще в молодых годах появилось у него невольное кивание головой и расстроилась походка. По словам видевших его людей, он “нередко вскидывал головою кверху”; другие говорили, что он “головой запрометывал и ногой запинаясь”. Сам Петр и его окружающие думали, что судороги произошли у него от испуга: в молодости, во время стрелецкого бунта, Петр подвергался смертельной опасности и был этим очень потрясен.

Однако, несмотря на свою болезнь, Петр Великий обладал огромною телесною силою и ловкостью и отличался необыкновенно

венными умственными способностями. Он свертывал в трубку серебряные тарелки и перерубал кортиком толстые “свертки” сукна. Он отлично владел топором и пилою, знал много ремесел и в особенности любил точить на токарном станке. Он отлично знал военное дело и умел обращаться со всяким оружием, особенно же с пушками и снарядами. Он сам делал боевые гранаты и веселые фейерверки. Отлично знал он и морское дело: строил суда и управлял ими. Можно сказать, что он был настоящим плотником, токарем, солдатом, артиллеристом, матросом. Он все умел и все знал, что надо было уметь и знать в те времена полководцу, адмиралу и инженеру. Мало того: он был настолько силен в математике и прочих “высших знаниях”, что мог сам экзаменовывать молодых дворян, по возвращении их из заграничных школ, и сам исправлял переводы с иностранных книг и исторические сочинения, составленные по его приказанию его сотрудниками. Деятельный и неутомимый, Петр не мог оставаться ни на минуту в праздности и бездействии. Он хотел быть для других образцом трудолюбия. Экзаменуя Ивана Ивановича Неплюева, он показал ему свою ладонь и сказал: “Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все оттого – показать вам пример и хотя бы под старость видеть мне достойных помощников и слуг Отечеству”. Даже и тогда, когда Петр отдыхал и развлекался, он не был празден, а суетился и измышлял забавные затеи, которые бывали часто очень грубы, но всегда были полны движения и жизни.

Таков был этот удивительный человек. Много в его характере было дано ему щедрой природой, а многое явилось плодом его печального детства и беспорядочной молодости. Очень верно и умно оценила личность Петра одна немецкая принцесса, видевшая его в 1697 году, когда Петру было 25 лет. Она писала, что Петр имеет доброе сердце и возвышенные чувства, но сердит; если бы его лучше воспитали, он был бы примером совершенства”. Но в том-то и дело, что Петра воспитали плохо, и все, что он знал, он узнал самоучкою и случайно.

II

Петр вырос в очень неблагоприятной обстановке. Отец его, царь Алексей Михайлович, был женат два раза. В первом браке он имел много детей; случилось так, что дочерей было больше, чем сыновей, и сыновья царские Феодор и Иван оба были болезненны и слабы. Когда умерла первая жена царя Алексея Мария Ильинишна (из рода Милославских), то царь задумал жениться вторично и в 1671 году женился на Наталье Кирилловне (из рода

Нарышкиных). В 1672 году, 30 Мая, родился у них царевич Петр, а в начале 1676 года царь Алексей умер, всего 45 лет от роду. Пока он был жив, маленькому Петру и его молодой матери жилось очень хорошо. Но затем пошли ссоры в царской семье. Старшие братья и сестры не любили Наталью Кирилловну и считали ее чужою, а на Петра смотрели как на соперника старшим братьям. Те были хилы и хворы, а он здоров и силен. Те смотрели в гроб, а Петр был полон жизни. Для всех было ясно, что Петр будет царствовать после своих недолговечных братьев. Этого-то и боялись их сестры царевны, дочери царя Алексея, в особенности же царевна Софья, самая умная и решительная из них. Вместе с своим двоюродным братом Иваном Михайловичем Милославским и с прочею роднею она злобилась на Наталью Кирилловну и на ее родню Нарышкиных, боясь, что с воцарением Петра те отнимут у них власть и возьмут над ними свою волю. С другой стороны, были среди московских придворных и бояр такие люди, которые не любили Милославских и желали воцарить именно Петра, чтобы отнять влияние у царевен и их родни. При первом же случае, когда в 1682 году скончался наследовавший царю Алексею царь Феодор, эти люди достигли своей цели. У царя Феодора не было потомства; поэтому на престол должен был вступить следующий за ним брат Иван. Софья и Милославские желали этого, несмотря на болезненность и малоумие 15-летнего Ивана. Но патриарх и бояре провозгласили царем 10-летнего Петра, мимо старшего брата и незаконным порядком, без всенародного избрания. Милославские тогда озлобились окончательно и подняли на своих врагов стрелецкие полки, составлявшие в то время московский гарнизон. Стрельцам была внушена мысль, что дворцом завладели бояре изменники, которые хотят “известить царский род”. Стрельцы 15 Мая 1682 года бросились ко дворцу и избили до смерти многих бояр и почти всю родню царицы Натальи Кирилловны. Три дня бушевало стрелецкое войско в Кремле и настояло на том, чтобы вместе с Петром воцарился и царевич Иван. В эти дни, вместо убитых бояр, делами начали управлять Милославские, а царевна Софья стала во главе правительства как опекунша своих братьев. Она отняла у царицы Натальи всякую власть и влияние.

Петр, конечно, мало понимал такой ход дел, но много страдал от него. Осиротев по четвертому году, он вместе с матерью смиренно и скромно жил в московском дворце, пока его не выбрали царем. Не протекло и месяца его “царства”, как произошел бунт. Стрельцы окружали Петра и его мать, при них терзали и убивали их родню и бояр. Петр видел своими глазами кровь и

мучения, трепетал от ужаса в толпе стрельцов и ждал от них себе смерти. Много лет спустя он признавался, что при одном воспоминании о стрельцах он весь дрожит: “помысля о том, зануть не могу”, – говорил он. Мучительны были дни бунта – три долгих дня убийств и насилий; но не менее мучительно было и последующее время. Стрельцы волновались все лето и всю осень 1682 года. Царская семья уехала от них из Москвы и странствовала вокруг столицы по монастырям и дворцовым селам. Охраняя сына от стрельцов, Наталья Кирилловна должна была беречь его и от ближних недругов – Софьи и Милославских. Мальчик жил в постоянном страхе, хотя и носил высокий сан царя. Не власть и почет принесло ему его воцарение, а ужасы и горе. Понятно, что, когда Софья сочла возможным вернуться в московский дворец по усмирении стрельцов, – то Петр с матерью не захотел туда ехать. Кремлевские палаты и терема пугали молодого царя: они были залиты родною ему кровью; в них жить ему было жутко и страшно от явных и тайных врагов. Стоит хорошенько вдуматься в это, чтобы понять, почему Петр не любил Кремля и ненавидел стрельцов. Он с матерью остался на житье в подмосковных “потешных селах” (в дачных дворцах) и лишь изредка бывал в Москве. Для него и Москва, и кремлевский дворец, и придворные люди стали чужды и неприятны. С холодом в сердце смотрел он на те величавые покои, в которых жили его отец и дед, и в которых сосредоточивалась вся их государственная работа. Старая Москва совсем не была дорога Петру.

Прошло семь лет и наступило совершеннолетие Петра. Несмотря на это, Софья не пожелала уступить власть Петру и снять с себя сан правительницы. Между Петром и Софьей дело дошло до открытого разрыва. В августе 1689 года Петр испытал новый приступ страха. Он жил в Преображенском селе под Москвою; однажды ночью ему дали знать, что из Москвы идут стрельцы убить его и что ему надо скорее бежать. Петр немедленно помчался в крепкий Троице-Сергиев монастырь, причем выскочил из своего дворца, не успев даже одеться. О нем говорили, что изволил он “идти скорым походом, в одной сорочке”; “царя из Преображенского согнали”, прибавляли другие: “ушел он бос в одной сорочке”. Правда, Софья не признавалась, что посылала стрельцов против брата; стрелецкий начальник Шакловитый тоже отрицал всякое покушение на Петра: “вольно ему, взбесясь, бегать”, – с досадою говорил он про Петра. Но если даже допустить, что Петра вспугнули напрасно, все-таки он пережил тяжелые минуты и еще больше озлобился против старого московского порядка. Стрельцы понесли суровое наказание; Шакловитый был казнен;

Софья должна была оставить правительство и уйти на житье в монастырь. Государство перешло в руки Петра. Однако этим смуты в Москве не кончились. Через девять лет опять поднялся стрелецкий бунт, в то время, когда Петр был за границей. В августе 1698 года Петр поспешно вернулся в Москву. Он был полон гнева, произвел страшный розыск над стрельцами, переказнил их тысячи и совсем уничтожил стрелецкое войско, обратив стрельцов в городское сословие. Трудно представить себе всю силу его гнева и ненависти! С необыкновенною жестокостью он проливает целые реки крови, потому что считает это единственным средством одолеть своих недругов.

Так влияла на Петра обстановка его детства и молодости. Она потрясла его нервы рядом опасностей; она воспитала в нем ненависть к московским порядкам и жестокость к враждебным ему людям; она разрушила его семейное спокойствие и согласие. Словом, она лишила его безмятежного счастья и тихих радостей нежной юности. Начало жизни Петра было очень несчастным и испортило его здоровье и его характер.

Мало того: несчастное детство помешало правильному обучению и воспитанию Петра.

III

Пока маленький Петр жил с матерью в теремах московского дворца, его жизнь протекала по обычному придворному “чину”. Окруженный “мамами” (няньками), а затем “дядьками”, стольниками и “робятками”, с которыми он “тешился” (играл), – Петр проводил все свое время в играх военного характера. Царевичу то и дело готовили и покупали “потешные” луки, знамена (“прапоры”), барабанцы, золоченые пушечки, деревянные ружья (“карабины и пищали”), топорки и сабельки. Лет пяти Петра посадили за ученье. Дьяк Никита Моисеич Зотов стал обучать его азбуке и складам и по старому обычаю читал и учил с царевичем Часослов, потом Псалтырь, потом Деяния и Евангелие. Тогда же Петр начал и писать. Читал и запоминал он хорошо, а писал плохо. “Почерка его ничто не может быть безобразнее”, – сказал один ученый, имевший дело с рукописями Петра. Учился ли Петр в эту пору арифметике (“цыфири”), точно не известно. Вслед за грамотою и письмом, по обычаям того времени, должно было следовать “грамматичное” учение. К царевичу должен был бы явиться ученый монах и начать с ним изучение школьной науки того времени, именно латинского языка, пиитики, риторики и богословия. Так учились все старшие братья (и даже сестры) царевича Петра, под руководством известного Симеона Полоцкого, бывшего образ-

цовым представителем тогдашней схоластической науки. Так бы должен был учиться и сам Петр. Но грянул стрелецкий бунт, и маленький царь, покинув Москву, очутился на постоянном житье в подмосковных “потешных” селах. Здесь о монашеской науке не было речи. Правительница Софья не думала об образовании нелюбимого брата. Царица же Наталья Кирилловна совсем не желала пускать к сыну ученых монахов. Все они в те годы “прилепились” к Софье и Милославским, держали их сторону, а потому царице должны были казаться опасными недругами. Вот причины, по которым Петр остался недоучкою и не испытал на себе влияния богословских и схоластических наук, которые в то время считались необходимыми для православного образованного человека.

Оставленный без “науки” мальчик сам находил себе забавы и занятия. “Потешные” села (за исключением одного Коломенского) ничем не напоминали кремлевского дворца. Вместо больших “палат” и “теремов”, для царского пребывания там служили обыкновенные, хотя и очень просторные, деревянные дома, в которых никак нельзя было поместить большой свиты. Толпу знатных придворных здесь заменяло небольшое число простой прислуги. Вместо кремлевских площадей и дворов “за решеткой”, потешные дворцы окружены были садами и огородами, а за ними шли привольные поля и рощи. Рядом с потешными усадьбами стояли простые села дворцовых крестьян. В своем Преображенском или Измайлове маленький царь жил не государем, а помещиком. Он широко пользовался простором и простотою сельской обстановки. С дворовыми мальчишками и молодыми слугами – с “преображенскими конюхами”, как их называли в Москве, – Петр создал себе особую, шумную и веселую жизнь. Как раньше в Москве, так и теперь он занят военными играми. Из своих “конюхов” он образовал “полки”, названные по селам, где они помещались, Преображенским и Семеновским.

“Потешные” солдаты со временем превратились в настоящих и положили начало русской гвардии; в первое же время они составляли небольшую “потешную” компанию, с которою царь на сельском просторе играл в войну. Около Преображенского Петр построил себе “потешный городок”, то есть крепость, по имени Пресбург, вооружил ее пушками и в ней начал “службу”, во всем подражая настоящим военным порядкам. Он по временам устраивал кругом Пресбурга маневры, брал и защищал свою твердыню. Чем больше становился Петр, тем сильнее разгоралась в нем страсть к военной потехе. “Потеха” понемногу принимала вид серьезного дела, и Петр в увлечении ею начал учиться тому, что должен был знать военный человек. Между шумными забавами

присаживался он за “цыфирь” и упражнялся в четырех правилах арифметики, называя их по латыни: “адиция”, “супстракция”, “мултопликация”, “дивизия”. Одолев их, перешел он к геометрии и фортификации – затем, чтобы знать, как надлежит строить крепостные стены, как мерить расстояния астролябией, или как определить (“когда хочешь на уреченное место стрелять”), “скольдалече бомба пала”. Всем этим занятым мудростям весело было учиться, потому что знания можно было тотчас пустить в дело. Было где построить укрепление, было где пустить бомбу. Так из детских игр, не стесненных городской теснотой и строгим порядком большого дворца, выросла у Петра любовь к точным практическим (прикладным) знаниям. Незаметно для себя Петр готовился стать математиком и техником, тогда как его братья и сестры все были по образованию богословами.

Если за богословскою наукою москвичи должны были тогда обращаться к ученым монахам, грекам и малороссам, то за техническими указаниями надобно было идти к “немцам” (так звали в Москве всех западноевропейцев). Немцев в то время на Руси было уже достаточно, и Петр должен был их видеть на каждом шагу. Придворные доктора и аптекари, дворцовые садовники, часовщики и всякие “мастера” были из “немцев”. Русских солдат ратному строю учили немецкие офицеры. Почти рядом с селом Преображенским стояла большая Немецкая слобода, в которой жили служилые и торговые немцы. Как только Петр стал интересоваться военной наукою, он обратился к немцам в слободу. Оттуда он добыл себе учителей математики и военного дела; оттуда явились к нему мастера “корабельной архитектуры”, научившие его строить суда и управлять парусами; оттуда, наконец, пришло к нему знание иностранных языков, голландского и немецкого. Вся семья Петра еще при царе Алексее привыкла пользоваться знаниями и услугами немцев; но никто не привязался к немцам так, как Петр. Он не только приближал их к себе в своих забавах и занятиях, но и завел с ними близкое и дружеское знакомство. Он ездил к ним в их слободу и бывал в их домах и церквях (кирках). Он у них учился и веселился: танцевал на их вечеринках, пировал на их пирушках. И в то время, как одни иностранцы имели на Петра самое хорошее влияние, другие его портили и развращали. Генерал русской службы шотландец Патрик Гордон всегда был для Петра серьезным учителем и советником. Швейцарец Франц Лефорт, возведенный Петром в генералы и ставший со временем другом Петра, был ему во многом полезен, но своими пирами и разгулом нанес Петру немало и вреда. Под влиянием друзей-немцев молодой царь стал явно отставать от стародавних обы-

чаев московской жизни, “обасурманел”, как говорили москвичи. Горькие воспоминания детства содействовали тому, что Петр не ценил постылой для него московской старины и легко перенимал и усваивал чуждые взгляды и нравы. Отсутствие правильного воспитания повело к тому, что Петр легко увлекался запретными удовольствиями и совсем отбился от рук без ума любившей его матери.

Так к своему совершеннолетию Петр представлял собою странного, по московским понятиям, юношу. Он не был образованным человеком и не знал того, что следовало знать благовоспитанным людям его века. Зато он знал такие вещи, которых царевичам знать “не повелось”. В бесконечных “потехах” он изучил военное дело и умел по настоящему плотничать, строя свои кораблики. В компании солдат и рабочих он огрубел, отстал от правил дворцового этикета и привык к низменным забавам и даже к вину. Те, кто замечали в нем только эти странности, были очень недовольны молодым государем и говорили о нем, что он “уклонился в потехи, оставя лучшее, начал творить всем печальное и плачевное”. “Не честь он, государь, делает, – безчестье себе”, – прибавляли другие, осуждая поведение Петра.

IV

Конечно, было основание для строгих и серьезных людей высказывать недовольство молодым Петром и осуждать его “потехи”, отвлекавшие царя от настоящего дела, то есть от управления государством. Но для чутких и дальновидных людей, способных оценить Петра, не было бесчестья в его потехах “Марсовых и Нептуновых”, то есть в упражнениях военных и морских. В молодом Петре зрели громадные способности и умственные силы, просыпался его гений. Для других его потехи могли казаться пустяками; он же в них находил смысл и пользу. За что бы ни принялся он своими сильными руками, он быстро приобретал себе полезный навык: топором работал как плотник; стрелял как исправный пушкарь; точил как тонкий мастер. Руки его были, как говорится, “золотыми” и все умели. Чем бы ни занялся Петр, он сразу входил в суть дела, видел его серьезные стороны и угадывал, что полезного даст это дело. Из своих “потешных конюхов” он постепенно сделал два хороших полка, которые в первом же большом сражении (при Нарве в 1700 году) оказались выше всего прочего русского войска. Привыкнув к “потешным” ботам и яхтам, Петр сумел построить настоящий флот и с его помощью в 1696 году взял сильную турецкую крепость Азов. Так из самых, казалось бы, пустых игр и забав Петра вырастали серьезные и

важные последствия. Конечно, тут не было “безчестья” молодому царю.

Не было для Петра бесчестья и в том, что в увлечениях своими любимыми делами привыкал он сам много работать не только головою, но и руками. Его необыкновенная живость и подвижность не позволяли ему сидеть “сложена руки” и предаваться лени и покою. Он всегда искал себе занятия и на всякое занятие набрасывался как на настоящую работу. “В работе пребывающий Петрушка” (так он называл себя в письмах к матери) полюбил труд и привык к нему настолько, что в этом отношении стал примером для всех своих подданных. “Вот царь – так царь!” – вспоминали про него олонечские мужики: “даром хлеба не ел, пуще мужика работал”. Трудолюбие Петра дало ему очень много знаний. Не было такой отрасли государственной жизни, которой бы он не знал. Он учился, играя, путешествуя, читая, беседуя с сведущими людьми. Когда он в 1717 году приехал в Париж, он удивил и измучил французских придворных своею суетою и беготнею по фабрикам, заводам, ученым учреждениям и библиотекам. Французы его находили грубоватым и резким, но очень знающим и умным. Один из французов отозвался о Петре даже так: “Его познания весьма обширны, и у нас, во Франции, нет человека, столь сведущего, как он, в вопросах, касающихся армии, флота и инженерного искусства”.

Трудовая жизнь Петра имела для него еще одно следствие. Он узнал сам, своими глазами, своим умом, как живет государство, как трудится народ, каких усилий стоит каждый жизненный успех, как трудно достаются народу победы над врагами и природою. Петр стал врагом роскоши и очень бережливым государем. На свое государево дело он смотрел как на тяжелую и ответственную службу, себя звал слугою государства и от всех требовал безустанной службы и тяжелых жертв на благо России. Для него в жизни была одна серьезная цель, один идеал – процветание его государства. Для этой цели он готов был жертвовать всем, даже собою самим и своими близкими. Все, что шло против государственных польз, он был готов истребить и уничтожить. Служа только общей пользе, он не был склонен возвышать и обогащать отдельных людей, отдельные сословия. Как государственный деятель Петр представлял собою пример высокой и благородной, но суровой честности.

Давая царю Петру название “Великий”, мы чтим его не только за то, что он сумел завоевать много земель, устроить на Руси новые порядки и утвердить у нас европейскую образованность. Мы считаем его великим не только за то, что он сам являлся уди-

вительным образцом человеческого гения, богатым и телесною силою, и самыми разнообразными душевными способностями. Мы почитаем его великим и за его нравственные достоинства: за трудолюбие, которому не было границ; за простоту жизни, в которой был на счету всякий рубль; за высокую честность, пред которой не было пощады никакому обману и никакой фальши; за пламенную любовь к России, которой он желал всякого добра. Пусть Петр был суров и жесток, пусть он был груб в обращении и забавах: зная все горе его детства и отрочества, мы поймем, что не он был виноват в недостатках его воспитания. Его слабости и пороки были свойственны всем людям того времени; достоинства же Петра были делом его собственной высокой работы над самим собою.

Патриарх Гермоген и архимандрит Дионисий (Историческая поминка) (1912)

В 1611 году “все великия государства Российскаго царствия” дошли до чрезвычайного разстройства. Добытое трудами многих поколений московских людей государственное единство было утеряно. Внутренняя смута расшатала все общественные отношения, породила острую рознь и свела с престола московского царя Василия. Внешние враги овладели западными и юго-западными областями государства. В самой столице засело польско-литовское войско, и, опираясь на него, польская власть думала править из столицы всею странюю. Московская независимость пала, и “Москва – третий Рим” оказалась в подчинении у католического “ветхого” Рима, рабом которого был “обовладавший” Москвою король Сигизмунд. “Ни едина книга богословец, – говорили русские люди, – ни прочия повестныя книги не произнесоша нам такового наказания ни на едину монархию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею!”

Московские люди считали, по-видимому, свое государство вовсе погибшим и молились лишь о том, чтобы Господь “пощадил останок рода хриспанскаго”. Они чувствовали, что переживают роковую минуту в жизни своего племени. Они разумели, что главная их беда – не в случайных поражениях и неудачах, а в том, что Господь “отъял сильныя земли”. В смутах исчезли и извелись привычные вожди общественных сил, и народ остался без всякого руководства. На московском престоле не было русско-го царя. “Князи и бояре”, обычные советники государя, отчасти погибли в боях, отчасти томились в плену. И все понимали, что это был не военный плен в чужой стороне, а позорное порабощение дома, в собственной столице. В руках у польского гарнизона бояре “живы не были”, по их выражению: они страха ради “сгруппали и душами своими пропали”, делая то, что им приказывал именем короля польский воевода. Такой власти московские люди не желали повиноваться, и бояре в их глазах стали изменниками, не “земледержцами”, а “землесьедцами”. Избрав на московский престол польского королевича и связав свою судьбу с политикою

Сигизмунда, московское боярство само прочло себе отходную и как политическая сила перестало существовать.

Не желавшая идти за изменным боярством “земля” начала искать себе других вождей, и казалось, что естественная очередь ставила теперь в числе общества “дворян добрых” – верхние слои служилого землевладельческого класса. В ополчении Ляпунова они и попробовали, было, взять на себя руководство народным делом. Но Ляпунов погиб от тяжести непосильного бремени, а дворянство оказалось пока непригодным для “великаго земскаго дела”. Его сословное устройство не было рассчитано на самостоятельность; служилые люди не умели, без команды сверху, ни сплотиться для обороны, ни согласиться для общих действий. Дворянское ополчение рассыпалось “по домом”, разъехалось в свои вотчины и поместья от первых же неудач под столицей. Настала тогда самая тяжелая пора: “сильные земли” оказались непригодными для того, чтобы спасти и упредить землю. Дело “дошло до последних людей”, до простого народа. Обладая стихийною силою, народная масса, однако, не знала, что ей надлежит делать. Одни слои этой массы тянули к казачеству, искали воли и добычи, желали сокрушить господствовавший в государстве крепостной порядок и стряхнуть с себя иго службы, тягла и холопства. Не дорожа старым общественным строем, эти слои не умели, однако, создать ничего нового и только “воровали”, то есть насильничали, нарушали право и порядок. Другие слои народной массы, напротив, ценили предания московской старины, боялись общественных перемен и, видя общую “разруху”, стремились только к восстановлению старого порядка, “как при прежних великих государях бывало”. Кто же мог стать во главе народа, когда отъял Бог “сильныя земли”? Кто мог образумить и усюветить одних, собрать и научить других? Где было искать вождей? Так ставился самый важный и больной вопрос в исстрадавшейся и потерявшей устройство стране.

У “последних людей” не стало “начальников” и “воевод”; но оставались их “пастыри” и “отцы”. Разрушено было их государство, но жива была церковь. Править царские дела и воевать оружием она не могла; но она могла учить и увещевать. Представители церкви – и раньше всех “церковный верх”, патриарх – выступали со своим словом в трудные минуты народной жизни. Правда, при Шуйском пастырское слово имело малое действие, так как острое междоусобие возбуждало до последней степени низменные страсти и взаимную злобу. Но когда, после падения Шуйского, иноземный меч повис над московскими головами и польское завоевание Москвы возбудило в москвичах страх

за целостность самого их племени и веры – слово пастырей церкви получило особый смысл и вес. Кому, как не патриарху, было говорить об опасностях, грозивших московской церкви, а вместе с тем и великорусскому племени? В “безгосударное” время, когда не стало царя, патриарха называли “начальным человеком” всей земли, и к нему естественно обращалась мысль всех тех, кто ждал совета сверху. Потеряв правительство, москвичи искали руководства у церкви, сохранившей свои власти и свой порядок. Так ход событий естественно приводил к тому, что “церковный верх” становился и народным центром. Духовенство получало политическое значение, втягивалось в борьбу, должно было работать в пользу восстановления нормального государственного строя и возвращения народной независимости.

Из недр церкви и вышли действительные вожди народного движения, сумевшие в критический момент воодушевить народную массу и помочь ей сплотиться, устроиться и сознать ее высшие цели. Можно привести достаточно имен духовных деятелей, поработавших тогда для народного дела. Предание чтит из них в особенности два имени – патриарха Гермогена и архимандрита Дионисия. Последнего церковь уже почитает в лик своих преподобных. Могила же первого служит предметом народного поклонения, пока не станет предметом церковного прославления. К вечной славе обоих привела именно патриотическая деятельность их в годину народных бед и испытаний. Оба умели стать вождями народных масс, выразителями и руководителями народных чувств и вожелений.

В характерах этих подвижников мало общих черт. Суровый и твердый патриарх не похож был на мягкого и доброго архимандрита. В патриархе прежде всего поражало упорство и воля, в архимандрите “светлодушие” и доброта. Патриарх был тяжек в отношениях, архимандрит бесконечно ласков и приветен. Патриарха считали “грубым” и “косным” и потому боялись и иногда не любили; архимандрита за бесконечную доброту признавали бесхарактерным и потому иногда не почитали и даже презирали. Но в трудные минуты народной жизни к ним обоим прибегали как к бесспорным нравственным авторитетам; каждый из них, по старому слову, был “столп”, “об нем же все держались”.

Таким нравственным авторитетом патриарх Гермоген стал не сразу. Непроницаемый и “слуховерствовательный”, он принял патриаршество из рук Шуйского в очень сложный политически момент и долго был жертвою роковой сложности политико-общественных отношений. Прямой и “косный”, патриарх не увлекался ни в какую партию, ни в какую интригу, скоро и легко вооружался

на всех тех, кого считал в данную минуту неправым. Он одинаково ссорился как с Василием Шуйским, так и с его противниками, а в то же время не имел, кроме слова обличения, никакого орудия борьбы с теми, против кого высказывался. Поэтому Гермоген был политически бессилён во все царствование Шуйского и в первое время после его свержения. Без патриарха “свели” и постригли Шуйского, без него начали дело и о призвании на московский престол Владислава. Патриарха убедили признать царем этого Владислава при условии, что королевич примет православие. “Ко злым же и благим не быстро распознательный”, Гермоген согласился на такое условие и ждал его исполнения. Когда же это условие не было выполнено, и когда стало ясно, что Москва обманута Сигизмундом, Гермоген первый бестрепетно и с непреклонной силою настояния потребовал или точного исполнения договора Москвы с представителем короля Жолкевским, или же его расторжения. Отчаявшись в первом, он пошел на второе со всею решимостью своего крепкого духа. Явная опасность для веры и для русской народности была признана патриархом настолько, что он даже благословил свою паству “на кровь дерзнути” и прямо восстать на врага! Робости и колебаний Гермоген не знал и в то время, когда бояре и владыки малодушествовали и страха ради молчали перед польскою властью, он “един уединен” сурово “разил” своим словом тайных изменников и явных врагов своей Церкви и Родины. Редкое мужество, бесстрашное упорство, неколебимая прямота настроения и явная, высокая чистота побуждений ставили патриарха Гермогена на высокий пьедестал “чудного” борца за свой народ. К нему обращались за поддержкою и наставлением все живые души и чуткие сердца; в нем видели “новаго Златоуста”, в нем одном полагали спасение своего страждущего “царствия”. Высокий подвиг патриотизма преобразовал “грубость” и “косность” патриарха; именно эти свойства, досадные прежде, теперь давали силу борцу и чрез то приобретали высокую житейскую цену. Под авторитетом патриарха сложилось, для изгнания поляков из Москвы, первое народное ополчение Ляпунова; с его же благословения начало жить и второе ополчение Минина. Наблюдая ход событий в пору народного движения против поляков, Гермоген убедился в том, что казачество только вредит делу восстановления государства, вредит даже и тогда, когда “стоит за дом Пресвятыя Богородицы” (то есть за Москву). И вот обличение Гермогена направляется на “казачье воровство” с такою же силою и непреклонностью, как ранее на внешних врагов. Прямота и твердость патриарха и здесь сослужили большую службу народному делу. Гермоген помог консервативным слоям населения окончательно

отделить себя от казачества и отважиться на открытое подавление казачьего воровства.

Не дожидаясь торжества Москвы над ее врагами и угас в польском плену, в осажденном Кремле, на самой заре нижегородского ополчения. Но его мысль и его воля привела это ополчение до самого Кремля. И по освобождению Москвы, говорят, русские люди прежде всего искали в Кремле могилы Гермогена, спрашивая: “где Царя Небеснаго сокровенная драхма положена?... где воин и заступник веры наша?.. где бодрствующая спит мысль по Бозе?...” Гроб Гермогена учил его поклонников прежде всего тому, что силу дает не одно оружие, но и воля, крепкая верою и народным чувством.

В противоположность Гермогену Дионисий никого не поражал ни властною волею, ни суровым упорством. Монах – хозяин порученных ему монастырей, монах – книгочей и любитель божественных и учительных словес, Дионисий не имел, казалось, ни охоты, ни способности властвовать и бороться. Всегда с улыбкою и доброю шуткою, с утешением и с благостыней ко всем, кто к нему ни обращался, троицкий архимандрит всегда готов был уступить в ссоре и перетерпеть обиду и унижение. В грубой среде его современников эти свойства не вызвали сами по себе почтения и сочувствия; Дионисия, случалось, называли “дураком” и “неученым сельским попом” за то, что не видели в нем самоуверенной гордости и многоречивой мудрости. Почитать, любить и даже обожать доброго, веселого и смиренного архимандрита начинали тогда лишь, когда узнавали его тихие внутренние достоинства, его удивительную духовную силу. Кругом себя он сеял добро и растил любовь к книжному учению. Его келья для многих бесприютных становилась родным домом; для многих искавших знания она была первою школою. Такие деятели XVII века, как священники Иван Наседка и Иван Неронов, “прибредя” в нужде к Дионисию, вышли из его обители не только сытыми и устроенными, но и вдохновленными на идейную литературную и общественную работу. Писатель Симон Азарьин всею прелестью своего литературного реализма обязан был своему “благодетелю” Дионисию, в келье которого долго жил и служил. Во всяком очередном церковно-общественном деле середины XVII века, во всем литературном обороте той поры ясно ошутимы следы личного влияния Дионисия. Мы готовы даже признать Дионисия главою и центром современного ему умственного движения, в начальной его фазе, когда только намечались главные темы, возбудившие затем многие московские умы, – о принципах книжного исправ-

ления, о значении греческой культурной традиции для Москвы, об отношении Москвы к иноверцам и т.д. Незаметный для своих некультурных сородичей, Дионисий, однако, был весьма заметен для более культурных иноземных единоверцев. Иерусалимский патриарх Феофан с особенным благоволением и уважением отнесся к Дионисию и почтил его многими отличиями, сказав ему: “на знаменах ты в велицей России посреде братии твоей, да будеши первый в старейшинстве над иноки многими по нашему благословиению”. Силу “смирения и святости” и значение трудов Дионисия оценила также и московская церковь, причтя его к лику преподобных.

Таков образ инока, бывшего мирным поборником веры и книжного учения. Падение Москвы застало Дионисия во главе Троицкого монастыря, который был разорен осадой и устраивался заново. Московский пожар в марте 1611 года оставил без крова все население Москвы и обратил его в бегство. “Всеми путями быша беглецы” к монастырю, и Дионисий начал широкою благотворительную деятельность, обратив все средства еще не окрепшего монастыря на помощь гонимым и страждущим. Мягкость и доброта Дионисия не помешали ему обнаружить непреклонную твердость и энергию в этом подвиге добра, к которому он увлек всю троицкую братию. Весь 1611 и 1612 годы продолжалось монастырское благотворение, и видевшие его говорят о нем с горячим восторгом. В то же время Дионисий чувствовал потребность и иного подвига. Его помыслы стремились к освобождению Москвы от врага и от внутренних смут, он мечтал “о братолюбии и о соединении мира”. Об этом он писал ко всем, от кого надеялся получить сочувствие и содействие, – и было “в тех грамотах болезнования Дионисиева о всем государстве Московском безчисленно много”. Хорошо составленные “писцами борзыми”, троицкие грамоты обошли все государство и читались с глубоким чувством. Земле они сослужили большую службу призывом к братолюбию и побуждением к подвигу освобождения Родины, а монастырю эти грамоты сообщили патриотический ореол. Близость монастыря к казачьему лагерю под Москвою могла бы стать зазорною в глазах народа, если бы не постоянный голос Дионисия, не по-казачьи призывавший в грамотах на служение церкви и земле. В своих грамотах Дионисий был выразителем не казачьей, а народной души, и болезновал не о казачестве, а о всей Руси. Духовным вождем именно земщины он и стал.

Итак, в пору сильнейшей смуты за отсутствием “сильных земли” в челе народных масс оказались иноки. Лишенные боево-

го оружия и внешней власти, они, по слову церкви, “прияли щит веры, облеклись в шлем спасения и возложили на себя броню правды”, – иначе говоря, вооружились силою духа и с нею обратились в мир, от которого по обету монашества отrekliсь. Разбитому смутю миру они в самих себе показали образ духовной твердости и силы и звали мир на подвиг братолюбия и на борьбу с обидчиками веры и царства. Собою они показывали пример того, как должно бороться, – в подвиге непоколебимого мужества и смертного страдания, как Гермоген, и в самоотверженном братолюбии и в проповеди единения, как Дюнисий.

И воспринявшая их призывы земля спаслась, окрепла и снова слилась в крепкое и могучее государство.

Царь Алексей Михайлович (Опыт характеристики) (1912)

Далеко ушло то время, когда наши ученые и публицисты считали XVII век в русской истории временем спокойной косности и объясняли необходимость петровской реформы мертвящим застоением московской жизни. Теперь мы уже знаем, что эта московская жизнь в XVII веке была сердитым ключом и создавала горячих бойцов как за старые, колеблемые ходом истории идеалы, так и за новый уклад жизни. Боевые фигуры протопопа Аввакума и Никона более знакомы нам, чем тихие образы преподобного Дионисия и “милостиваго мужа” Федора Михайловича Ртищева; но и последние, как первые, отдали свою энергию на поиски новых начал жизни для того, чтобы ими осветить и облагородить серую московскую действительность. Явился среди взбаламученного московского общества середины XVII века такой культурный вождь, каким был Петр Великий, – культурный перелом в Московской Руси мог бы обозначиться раньше, чем это произошло на самом деле. Но такого вождя не явилось. Напротив, во главе Московского государства стоял тогда любопытный и приятный, но более благородный, чем практически полезный правитель. Иначе не можем определить знаменитого царя Алексея Михайловича.

Не такова натура была у царя Алексея Михайловича, чтобы, проникнувшись одной какой-нибудь идеей, он мог энергично осуществлять эту идею, страстно бороться, преодолевать неудачи, всего себя отдать практической деятельности, как отдал себя Петр. Сын и отец совсем несходны по характеру: в царе Алексее не было той инициативы, которая отличала характер Петра. Стремление Петра всякую мысль претворять в дело совсем чуждо личности Алексея Михайловича, мирной и созерцательной. Боевая, железная натура Петра вполне противоположна живой, но мягкой натуре его отца.

Негде было царю Алексею выработать себе такую крепость духа и воли, которая дана Петру, помимо природы, впечатлениями детства и юности. Царь Алексей рос тихо в тереме московского дворца, до пятилетнего возраста окруженный многочисленным штатом мам, а затем, с пятилетнего возраста, переданный на по-

печенье дядьки, известного Бориса Ивановича Морозова. С пяти лет стали его учить грамоте по букварю, перевели затем на Часовник, Псалтырь и Апостольские деяния, семи лет научили писать, а девяти стали учить церковному пению. Этим собственно и закончилось образование. С ним рядом шли забавы: царевичу покупали игрушки; был у него, между прочим, конь “немецкаго дела”, были латы, музыкальные инструменты и санки потешные, – словом, все обычные предметы детского развлечения. Но была и любопытная для того времени новинка – “немецкие печатные листы”, т.е. гравированные в Германии картинки, которыми Морозов пользовался, говорят, как подспорьем при обучении царевича. Дарили царевичу и книги; из них составила у него библиотека числом в 13 томов. На 14-м году царевича торжественно объявили народу, а 16-ти лет царевич осиротел (потерял и отца и мать) и вступил на московский престол, не видев ничего в жизни, кроме семьи и дворца. Понятно, как сильно было влияние боярина Морозова на молодого царя: он заменил ему отца.

Дальнейшие годы жизни царя Алексея дали ему много впечатлений и значительный житейский опыт. Первое знакомство с делом государственного управления; необычные волнения в Москве в 1648 году, когда “государь к Спасову образу прикладывался”, обещая восставшему “миру” убрать Морозова от дел, “чтоб миром утолилися”; путешествие в Литву и Ливонию в 1654–1655 гг., на театр военных действий, где царь видел у ног своих Смоленск и Вильну и был свидетелем военной неудачи под Ригию, – все это развивающим образом подействовало на личность Алексея Михайловича, определило эту личность, сложило характер. Царь возмужал, из неопытного юноши стал очень определенным человеком, с оригинальной умственной и нравственной физиономией.

Современники искренно любили царя Алексея Михайловича. Самая наружность царя сразу говорила в его пользу и влекла к нему. В его живых голубых глазах светилась редкая доброта; взгляд этих глаз, по отзыву современника, никого не пугал, но ободрял и обнадеживал. Лицо государя, полное и румяное, с русою бородой, было благодушно-приветливо и, в то же время, серьезно и важно, а полная (потом чересчур полная) фигура его сохраняла величавую и чинную осанку. Однако царственный вид Алексея Михайловича ни в ком не будил страха: понимали, что не личная гордость царя создала эту осанку, а сознание важности и святости сана, который Бог на него возложил.

Привлекательная внешность отражала в себе, по общему мнению, прекрасную душу. Достоинства царя Алексея с некоторым

восторгом описывали лица, вовсе от него независимые, – именно далекие от царя и от Москвы иностранцы. Один из них, например, сказал, что Алексей Михайлович “такой государь, какого желали бы иметь все христианские народы, но немногие имеют” (Рейтенфельс). Другой поставил царя “наряду с добрейшими и мудрейшими государями” (Коллинс). Третий отозвался, что “царь одарен необыкновенными талантами, имеет прекрасные качества и украшен редкими добродетелями”; “он покорил себе сердца всех своих подданных, которые столько любят его, сколько и благоговеют перед ним” (Лизек). Четвертый отметил, что, при неограниченной власти своей в рабском обществе, царь Алексей не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь (Мейерберг). Эти отзывы получают еще большую цену в наших глазах, если мы вспомним, что их авторы вовсе не были друзьями и поклонниками Москвы и москвичей. Совсем согласно с иноземцами и русский эмигрант Котошихин, сбросивший с себя не только московское подданство, но даже и московское имя, по-своему очень хорошо говорит о царе Алексее, называя его “гораздо тихим”.

По-видимому, Алексей Михайлович всем, кто имел случай его узнать, казался светлою личностью и всех удивлял своими достоинствами и приятностью. Такое впечатление современников, к счастью, может быть проверено материалом, более прочным и точным, чем мнения и отзывы отдельных лиц, – именно письмами и сочинениями самого царя Алексея. Он очень любил писать и в этом отношении был редким явлением своего времени, очень небогатого мемуарами и памятниками частной корреспонденции. Царь Алексей с необыкновенною охотою сам брался за перо или же начинал диктовать свои мысли дьякам. Его личные литературные попытки не ограничивались составлением пространных, литературно написанных писем и посланий¹. Он пробовал сочинять даже вирши (несколько строк, “которые могли казаться автору стихами”, по выражению В.О. Ключевского). Он составил “Уложение сокольничья пути”, т.е. подробный наказ своим сокольникам. Он начинал писать записки о польской войне. Он писал дело-

¹ Много писаний царя Алексея издано: 1) *Бартенев П.И.* Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856; 2) Записки Отделения славянской и русской археологии имп. Русского археологического общества. СПб., 1861. Т. 2; 3) Сборник Московского главного архива Министерства иностранных дел. М., 1893. Т. 5; 4) *Соловьев.* История. Т. 11 и 12. Не раз эти писания вызывали ученых на характеристики Алексея Михайловича. Отметим характеристики С.М. Соловьева (в конце 12-го тома “Истории России”), И.Е. Забелина в “Опытах изучения русских древностей и истории” (М., 1872–1873. Ч. 1–2), Н.И. Костомарова в “Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей” (СПб., 1874. Отд. 2. Вып. 5), В.О. Ключевского в “Курсе русской истории” (М., 1908. Ч. 3).

вые бумаги, имел привычку своеручно поправлять текст и делать прибавки в официальных грамотах, причем не всегда попадал в тон приказного изложения. Значительная часть его литературных попыток дошла до нас, и притом дошло по большей части то, что писал он во времена своей молодости, когда был свежее и откровеннее и когда жил полнее. Этот литературный материал замечательно ясно рисует нам личность государя и вполне позволяет понять, насколько симпатична и интересна была эта личность. Царь Алексей высказывался очень легко, говорил почти всегда без обычной в те времена риторики, любил, что называется, поговорить и пофилософствовать в своих произведениях.

При чтении этих произведений, прежде всего, бросается в глаза необыкновенная восприимчивость и впечатлительность Алексея Михайловича. Он жадно впитывает в себя, “яко губа напояема”, впечатления от окружающей его действительности. Его занимает и волнует все одинаково: и вопросы политики, и военные реляции, и смерть патриарха, и садоводство, и вопрос о том, как петь и служить в церкви, и соколиная охота, и театральные представления, и буйство пьяного монаха в его любимом монастыре... Ко всему он относится одинаково живо, все действует на него одинаково сильно: он плачет после смерти патриарха и доходит до слез от выходок монастырского казначея: “до слез стало! видит чудотворец (Савва), что во мгле хожу”, – пишет он этому ничтожному казначею Саввина монастыря. В увлечении тем или иным предметом царь не делает видимого различия между важным и неважным. О поражении своих войск и о монастырской драке пишет он с равным одушевлением и вниманием. Описывая своему двоюродному брату (по матери) Афанасию Ивановичу Матюшкину бой при г. Валке 19 июня 1657 года, царь пишет: “Братъ! буди тебе ведомо: у Матвея Шереметева был бой с немецкими людми. И дворяне издрогали и побежали все, а Матвей остался в отводе и сорвал немецких людей. Да навстречу иныя пришли роты, и Матвей напустил и на тех с неболшими людми, да лошадь повалилась, так его и взяли! А людей наших всяких чинов 51 человек убит да ранено 35 человек. И то благодарю Бога, что от трех тысяч столько побито, а то все целы, потому что побежали; а сами плачут, что так грех учинился!.. А с кем бой был, и тех немец всего было две тысячи; наших и болши было, да так грех пришел. А о Матвее не тужи: будет здоров, вперед ему к чести! Радуйся, что люди целы, а Матвей будет по-прежнему”². Царь сочувствует храброму Шереметеву и радуется, что целы, благодаря бегству,

² Бартенева П.И. Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 54–55.

его “издрогавшие” люди. Позор поражения он готов объяснить “грехом” и не только не держит гнева на виновных, но душевно жалеет их. Ту же степень внимания, только не сочувственного, царь уделяет и подвигам помянутого Саввинского казначея Никиты, который стрелецкого десятника, поставленного в монастыре, зашиб посохом в голову, а оружие, седла и зипуны стрелецкие велел выметать вон за двор. Царь составил Никите послание (вместо простой приказной грамоты) “от царя и великаго князя Алексея Михайловича всея Руси врагу Божию и богоненавистцу и христопродавцу и разорителю чудотворцова дома (т.е. Саввина монастыря) и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Никите”. В этом послании Алексей Михайлович спрашивал Никиту: “Кто тебя, сиротину, спрашивал над домом чудотворцовым да и надо мною, грешным, властвовать? Кто тебе сию власть мимо архимарита дал, что тебе без его ведома стрельцов и мужиков моих михайловских бить?” Так как Никита счел себе безчестьем, что стрельцы расположились у его кельи, то царь обвинил монаха в сатанинской гордости и восклицал: “Дорого добре, что у тебя, скота, стрельцы стоят! Лучше тебя и честнее тебя и у митрополитов стоят стрельцы по нашему указу!.. Дороги ль мы пред Богом с тобою и дороги ль наши высокосердечныя мысли, доколе отвращаемся, доколе не всею душою и не всем сердцем заповеди Его творим?...” За самоуправство царь налагал на монаха позорное наказание: с цепью на шее и в кандалах Никиту стрельцы должны были свести в его келью после того, как ему “пред всем собором” прочтут царскую грамоту. А за “роптание спесивое” царь грозил монаху жаловаться на него чудотворцу и просить суда и обороны пред Богом.

Так живо и сильно, доходя до слез и до “мглы” душевной, переживал царь Алексей Михайлович все то, что забирало его за сердце. И не только исключительные события его личной и государственной жизни, но и самые обыкновенные частности повседневного быта легко поднимали его впечатлительность, доводя ее порою до восторга, до гнева, до живой жалости. Среди серьезных писем к Афанасию Ивановичу Матюшкину есть одно – все сплошь посвященное двум молодым соколам и их пробе на охоте. Алексей Михайлович с восторгом описывает, как он “отведывал” этих “дикомытов”, и как один из них “безмерно какво хорошо летел” и “милостию Божией и твоими (Матюшкина) молитвами и счастием” отлично “заразил” утку: “как ее мякнет по шее, так она десятью перекинулась” (т.е. десять раз перевернулась при падении). В деловой переписке с Матюшкиным царь не упускает

сообщить ему и такую малую, например, новость: “да на нашем стану в селе Танинском новый сокольник Мишка Семенов сидел у огня да, вздремав, упал в огонь, и ево из огня вытащили; немного не згорел, а как в огонь упал, и того он не слышал...”³ Во время морового поветрия 1654–1655 гг. царь уезжал от своей семьи на войну и очень беспокоился о своих родных. “Да для Христа, государыни мои, оберегайтесь от заморнова ото всякой вещи, – писал он своим сестрам, – не презрите прошения нашего!” Но в то самое время, когда война и мор, казалось, сполна занимали ум Алексея Михайловича, и он своим близким с тоскою в письмах “от мору велел опасатца”, он не удержался, чтобы не описать им поразившее его в Смоленске весеннее половодье. “Да будет вам ведомо, – пишет он, – на Днепре был мост 7 сажень над водою; и на Фоминой неделе прибыло столко, что уже с мосту черпают воду; а чаю, и поимет (мост)...”⁴. Рассказывают, будто бы однажды в докладе царю из кормового дворца было указано, что квасы, которые там варили на царский обиход, не удались: один сорт кваса вышел так плох, что разве только стрельцам спойть. Алексей Михайлович обиделся за своих стрельцов и на докладе раздраженно указал докладчику: “Сам выпей!”

Мудрено ли, что такой живой и восприимчивый человек, как царь Алексей, мог быть очень вспыльчив и подвижен на гнев. Несмотря на внешнее добродушие и действительную доброту, Алексей Михайлович, по живости духа, нередко давал волю своему неудовольствию, гневался, бранился и даже дрался. Мы видели, как он бранил “сиротину” монаха за его грубые претензии. Почти также доставалось от “гораздо-тихаго” царя и людям высших чинов и более высокой породы. В 1658 году, недовольный князем Иваном Андреевичем Хованским за его местническое высокомерие и за ссору с Афанасием Лаврентьевичем Ординым-Нащокиным, Алексей Михайлович послал сказать ему царский выговор с такими, между прочим, выражениями: “Тебя, князя Ивана, взыскал и выбрал на эту службу великий государь, а то тебя всяк называл дураком, и тебе своею службою возноситься не надобно; ...великий государь велел тебе сказать имянно, что за непослушание и за Афанасия (Ордина-Нащокина) тебе и всему роду твоему быть разорену”⁵. В другой раз (1660 г.), сообщая Матюшкину о поражении этого своего “избранника” князя Хованского-Тараруя, царь виною поражения выставлял “ево безпутную дерзость” и с

³ Там же. С. 70, 23.

⁴ Сборник Московского архива Министерства иностранных дел. Т. 5: Письма. С. 26–27.

⁵ Соловьев. История. Кн. 3. С. 62.

горем признавался, что из-за военных тревог сам он “не ходил на поле тешиться июня с 25 числа июля по 5 число, и птичей промысл поизмешался”⁶. Несмотря, однако, на беспутную дерзость и “дурость” князя Хованского, Алексей Михайлович продолжал его держать у дел до самой кончины: вероятно, “тараруй” (т.е. болтун) и “дурак” обладал и положительными деловыми качествами. (Надобно вспомнить, что в ужасные дни стрелецкого бунта 1682 года правительство решилось поставить именно этого тараруя во главе Стрелецкого приказа.) Еще крепче, чем Хованскому, писал однажды царь Алексей Михайлович “врагу креста Христова и новому Ахитофелу князю Григорью Ромодановскому”. За малую, по-видимому, вину (не отпустил вовремя солдат к воеводе С. Змееву) царь послал ему такие укоры: “Воздаст тебе Господь Бог за твою к нам, великому государю, прямую сатанинскую службу!.. И ты дело Божие и наше государево потерял, потеряет тебя самого Господь Бог!... И сам ты, треокаянный и бесславный ненавистник рода христианского – для того, что людей не послал, – и нам верный изменник и самого истинного сатаны сын и друг диаволов, впадешь в бездну преисподнюю, из нея же никто не возвращался... Вконец ведаем, завистниче и верный наш непослушниче, как то дело ухищренным и злопронырливым умыслом учинил... Бог благословил и передал нам, государю, править и рассуждать люди свои на востоке и на западе, и на юге и на севере вправду: и мы Божии дела и наши государевы на всех странах полагаем – смотря по человеку, а не всех стран дела тебе одному, ненавистнику, делать, для того: невозможно естеству человеческому на все страны делать, один бес на все страны мечется!...”⁷. Но, отругав на этот раз князя Гр. Г. Ромодановского, царь в другое время шлет ему милостивое “повеление” в виде виршей:

“Рабе Божий! дерзай о имени Божии
И уповай всем сердцем: подаст Бог победу!
И любовь и совет великой имей с Брюховецким,
А себя и людей Божиих и наших береги крепко” и т.д.

Стало быть, и Ромодановский, как Хованский, не всегда казался царю достойным хулы и гнева. Вспыльчивый и бранчивый, Алексей Михайлович был, как видим, в своем гневе непостоянен и отходчив, легко и искренно переходя от брани к ласке. Даже тогда, когда раздражение государя достигало высшего предела, оно скоро сменялось раскаянием и желанием мира и покоя. В одном заседании Боярской думы, вспыхнув от бестактной выходки свое-

⁶ *Бартенев П.И.* Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 65.

⁷ *Соловьев.* История. Кн. 3. С. 607.

го тестя боярина И.Д. Милославского, царь изругал его, побил и пинками вытолкнул из комнаты. Гнев царя принял такой крутой оборот, конечно, потому, что Милославского по его свойствам и вообще нельзя было уважать. Однако добрые отношения между тестем и зятем от того не испортились: оба они легко забыли происшедшее. Серьезнее был случай со старым придворным человеком, родственником царя по матери, Родионом Матвеевичем Стрешневым, о котором Алексей Михайлович был высокого мнения. Старик отказался, по старости, от того, чтобы вместе с царем “отворить” себе кровь. Алексей Михайлович вспылил, потому что отказ представился ему высокоумием и гордостью, и ударил Стрешнева. А потом он не знал, как задобрить и утешить почитаемого им человека, просил мира и слал ему богатые подарки.

Но не только тем, что царь легко прощал и мирился, доказывается его душевная доброта. Общий голос современников называет его очень добрым человеком. Царь любил благотворить. В его дворце, в особых палатах, на полном царском иждивении жили так называемые “верховые” (т.е. дворцовые) “богомольцы”, “верховые нищие” и “юродивые”. “Богомольцы” были древние старики, почитаемые за старость и житейский опыт, за благочестие и мудрость. Царь в зимние вечера слушал их рассказы про старое время – о том, что было “за тридцать и за сорок лет и больше”. Он покоил их старость так же, как чтит безумие Христа ради юродивых, делавшее их неумытными и бесстрашными обличителями и пророками в глазах всего общества того времени. Один из таких юродивых, именно Василий “Босой” или “Уродивый”, играл большую роль при царе Алексее как его советник и наставник. О “брата нашем Василии” не раз встречаются почтительные упоминания в царской переписке⁸. Опекая подобный люд при жизни, царь устраивал “богомольцам” и “нищим” торжественные похороны после их кончины и в их память учреждал “кормы” и раздавал милостыню по церквам и тюрьмам. Такая же милостыня шла от царя и по большим праздникам; иногда он сам обходил тюрьмы, раздавая подаяние “несчастливым”. В особенности пред “великим” или “светлым” днем св. Пасхи, на “страшной” неделе, посещал царь тюрьмы и богадельни, оделял милостынею и нередко освобождал тюремных “сидельцев”, выкупал неплатных должников, помогал неимущим и больным. В обычные для той эпохи рутинные формы “подачи” и “корма” нищим Алексей Михайлович умел внести сознательную стихию любви к добру и людям.

⁸ *Бартнев П.И.* Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 198–200.

Не одна нищета и физические страдания трогали царя Алексея Михайловича. Всякое горе, всякая беда находили в его душе отклик и сочувствие. Он был способен и склонен к самым теплым и деликатным дружеским утешениям, лучше всего рисующим его глубокую душевную доброту. В этом отношении замечательны его знаменитые письма к двум огорченным отцам: князю Никите Ивановичу Одоевскому и Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину об их сыновьях. У князя Одоевского умер внезапно его “первенец”, взрослый сын князь Михаил, в то время, когда его отец был в Казани. Царь Алексей сам особым письмом известил отца о горькой потере. Он начал письмо похвалами почившему, причем выразил эти похвалы косвенно – в виде рассказа о том, как чинно и хорошо обходились князь Михаил и его младший брат князь Федор с ним, государем, когда государь был у них в селе Вешнякове. Затем царь описал легкую и благочестивую кончину князя Михаила: после причастия он “как есть уснул; отнюдь рыдания не было, ни терзания”. Светлые тоны описания здесь взяты были, разумеется, нарочно, чтобы смягчить первую печаль отца. А потом следовали слова утешения, пространные, порою прямо нежные слова. В основе их положена та мысль, что светлая кончина человека без страданий, “в добродетели и в покаянии добре”, есть милость Господня, которой следует радоваться даже и в минуты естественного горя. “Радуйся и веселися, что Бог совсем свершил, изволил взять с милостию Своею; и ты принимай с радостью и по сию печаль, а не в кручину себе и не в оскорбление”. “Нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, – и прослезиться надобно, да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать!” Не довольствуясь словесным утешением, Алексей Михайлович пришел на помощь Одоевским и самым делом: принял на себя и похороны: “на все погребалныя я послал, – пишет он, – сколько Бог изволил, потому что впрямь узнал и проведал про вас, что опричь Бога на небеси, а на земли опричь меня, ни у ково у вас нет”⁹. В конце утешительного послания царь своеручно приписал последние ласковые слова: “Князь Никита Иванович! Не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на нас будь надежен!”¹⁰.

Горе Аф.Л. Ордина-Нащокина, по мнению Алексея Михайловича, было горше, чем утрата князя Н.И. Одоевского. По словам царя, “тебе, думному дворянину, больше этой беды вперед уже

⁹ Это место письма имеет, по-видимому, какой-то особый смысл. Что семья князей Одоевских далеко не была бедна, установил Ю.В. Арсеньев в своем исследовании “Ближний боярин князь Н.И. Одоевский” (Чтения ОИДР. 1903. Кн. 2).

¹⁰ *Бартенев П.И.* Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 227–232.

не будет: больше этой беды на свете не бывает!” У Ордина-Нащокина убежал за границу сын, по имени Воин, и убежал, как изменник, во время служебной поездки, с казенными деньгами, “со многими указами о делах и с ведомостями”. На просьбу пораженного отца об отставке царь послал ему “от нас, великого государя, милостивое слово”. Это слово было не только милостиво, но и трогательно. После многих похвальных эпитетов “христоролюбцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу” Афанасию Лаврентьевичу, царь тепло говорит о своем сочувствии не только ему, Афанасию, но и его супруге в “их великой скорби и туге”. Об отставке своего “добротного ходатая и желателя” он не хочет и слышать, потому что не считает отца виноватым в измене сына. Царь и сам доверял изменнику, как доверял ему отец: “Будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить в ведомство и соглашение твое ему! И он, простец, и у нас, великаго государя, тайно был, и не по одно время, и о многих делах с ним к тебе приказывали, а такова простоумышленного яда под языком его не видали!” Царь даже пытается утешить отца надеждою на возвращение не изменившего якобы, а только увлекшегося юноши. “А тому мы, великий государь, не подивляемся, что сын твой сплутал: знатно то, что с малодушия то учинил. Он человек молодой, хошет создания Владычня и творения руку Его видеть на сем свете; якоже и птица летает семо и овамо и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает: так и сын ваш вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от Святаго Духа во святой купели, и к вам вскоре возвратится!”¹¹ Какая доброта и какой такт диктовали эти золотые слова утешения в беде, больше которой “на свете не бывает!” И царь оказался прав: Афанасьев “сыннишка Войка” скоро вернулся из дальних стран во Псков, а оттуда в Москву, и Алексей Михайлович имел утешение написать А.Л. Ордину-Нащокину, что за его верную и радетьельную службу он пожаловал сына его, вины отдал, велел свои очи видеть и написать по московскому списку с отпуском на житье в отцовские деревни¹².

Живая, впечатлительная, чуткая и добрая натура Алексея Михайловича делала его очень способным к добродушному веселью и смеху. Склонностью к юмору он напоминает своего гениального сына Петра; оба они любили пошутить и словом и делом. Среди писем к Матюшкину есть одно, написанное “тарабарски”, нелегким для чтения шифром и сочиненное только затем, чтобы

¹¹ Соловьев. История. Кн. 3. С. 67–69.

¹² Там же. С. 173–174.

подразнить Матюшкина шутливым замечанием, что когда его нет, то некому царя покормить плохим хлебом “с закалою”. “А потом будь здрав”, милостиво заключает царь свой намек на какую-то кулинарную оплошность его любимца¹³. Другое письмо к Матюшкину все сплошь игриво – Царь пишет из “похода” и начинает поручением устроить маленький обман его сестер-царевен: “нарядись в ездовое (дорожное) платье да съезди к сестрам, будто ты от меня приехал, да спросай о здоровьи”.

Матюшкину, стало быть, приказано просто лгать царевнам, что он лично прибыл в Москву из того подмосковного “потешного” села, где тогда жил государь. Вслед за этим поручением царь Алексей сообщает Матюшкину: “тем утешаюся, что столников безпрестани купаю ежеутр в пруде... за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю!” Очевидно, эта утеха не была жестокою, так как столтники на нее, видимо, напрашивались сами. Государь после купанья в отличие звал их к своему столу: “у меня купальщики те ядят вдоволь, – продолжает царь Алексей, – а иные говорят: мы де нароком не поспеем, так де и нас выкупают, да и за стол посадят. Многие нароком не поспевают”¹⁴. Так тешился “гораздо тихий” царь, как бы прообразуя этим невинным купаньем столников жестокие издевательства его сына Петра над вольными и невольными собутыльниками. Само собою приходит на ум и сравнение известной “Книги, глаголемой Урядник сокольничья пути” царя Алексея с не менее известными церемониалами “всешутейшего собора” Петра Великого. Насколько “потеха” отца благороднее “шутовства” сына, и насколько острый цинизм последнего ниже целомудренной шутки Алексея Михайловича! Свой шутливый охотничий обряд, “чин” производства рядового сокольника в начальные, царь Алексей обставил нехитрыми символическими действиями и тарбарскими формулами, которые не многого стоят по наивности и простоте, но в основе которых лежит молодой и здоровый охотничий энтузиазм и трогательная любовь к красоте птичьей природы. Тогда как у царя Петра служение Бахусу и Ивашке Хмельницкому приобретало характер культа, в “Уряднике” царя Алексея “пьянство” сокольника было показано в числе вин, за которые “безо всякия пощады быть сослану на Лену”. Разработав свой “потешный” чин производства в сокольники и отдав в нем дань своему веселью, царь Алексей своеручно написал на нем характерную оговорку: “правды же и суда и милостивыя любви и ратнаго строя

¹³ Тихомиров И.А. Обзорение состава московских летописных сводов // Летопись занятий имп. Археографической Комиссии. СПб., 1895. Вып. 10. Отдел. I. С. 38.

¹⁴ Бартнев П.И. Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 77–78.

никили же позабывайте: делу время и потехе час!”¹⁵. Уменье соединять дело и потеху заметно у царя Алексея и в том отношении, что он охотно вводил шутку в деловую сферу. В его переписке не раз встречаем юмор там, где его не ждем. Так, сообщая в 1655 г. своему любимцу “верному и избранному” стрелецкому голове А.С. Матвееву разного рода деловые вести, Алексей Михайлович между прочим пишет: “посланник приходил от шведскаго Карла короля, думный человек, а имя ему Уддеудла. Таков смышлен: и купить его, то дорого дать что полтина, хотя думный человек; мы, великий государь, в десять лет впервые видим такого глупца посланника!” Насмешливо отозвавшись вообще о ходах шведской дипломатии, царь продолжает: “Тако нам, великому государю, то честь, что (король) прислал обвестить посланника, а и думнаго человека. Хотя и глуп, да что же делать? така нам честь!”¹⁶. В 1656 г. в очень серьезном письме сестрам из Кокенгаузена царь сообщал им подробности счастливого взятия этого крепкого города и не удержался от шутливо-образного выражения: “а крепок безмерно: ров глубокой – меньшей брат нашему кремлевскому рву, а крепостью – сын Смоленску граду: ей, чрез меру крепок!”. Частная, не деловая переписка Алексея Михайловича изобилует такого рода шутками и замечаниями. В них нет особого остроумия и меткости, но много веселого благодушия и склонности посмеяться.

Такова была природа царя Алексея Михайловича, впечатлительная и чуткая, живая и мягкая, общительная и веселая. Эти богатые свойства были, в духе того времени, обработаны воспитанием. Алексея Михайловича приучили к книге и разбудили в нем умственные запросы. Склонность к чтению и размышлению развила светлые стороны натуры Алексея Михайловича и создала из него чрезвычайно привлекательную личность. Он был один из самых образованных людей московского общества того времени: следы его разносторонней начитанности, библейской, церковной и светской, разбросаны во всех его произведениях. Видно, что он вполне овладел тогдашней литературой и усвоил себе до тонкости книжный язык. В серьезных письмах и сочинениях он любит пускать в ход цветистые книжные обороты, но вместе с тем он не похож на тогдашних книжников-риторов, для красоты формы жертвовавших ясностью и даже смыслом. У царя Алексея продуман каждый его цветистый афоризм, из каждой книжной фразы смотрит живая и ясная мысль. У него нет риторического пустословия: все, что он прочел, он продумал; он, видимо, привык раз-

¹⁵ Там же. С. 89 и след.

¹⁶ Соловьев. История. Кн. 3. С. 1680.

мышлять, привык свободно и легко высказывать то, что надумал, и говорил притом только то, что думал. Поэтому его речь всегда искренна и полна содержания. Высказывался он чрезвычайно охотно, и потому его умственный облик вполне ясен.

Чтение образвало в Алексее Михайловиче очень глубокую и сознательную религиозность. Религиозным чувством он был проникнут весь. Он много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы. Его главным духовным интересом было спасение души. С этой точки зрения он судил и других. Всякому виновному царь при выговоре непременно указывал, что он своим проступком губит свою душу и служит сатане. По представлению, общему в то время, средство ко спасению души царь видел в строгом последовании обрядности и поэтому очень строго соблюдал все обряды. Любопытно прочесть записки дьякона Павла Алеппского, который был в России 1655 году с патриархом Макарием Антиохийским и описал нам Алексея Михайловича в церкви и среди клира. Из этих записок всего лучше видно, какое значение придавал царь обрядам и как заботливо следил за точным их исполнением. Но обряд и аскетическое воздержание, к которому стремились наши предки, не исчерпывали религиозного сознания Алексея Михайловича. Религия для него была не только обрядом, но и высокой нравственной дисциплиной: будучи глубоко религиозным, царь думал вместе с тем, что не грешит, смотря комедию и лаская немцев. В глазах Алексея Михайловича театральное представление и общение с иностранцами не были грехом и преступлением против религии, но совершенно позволительным новшеством – и приятным, и полезным. Однако при этом он ревниво оберегал чистоту веры и, без сомнения, был одним из православнейших москвичей; только его ум и начитанность позволяли ему гораздо шире понимать православие, чем понимало его большинство его современников. Его религиозное сознание шло, несомненно, дальше обряда: он был философ-моралист, и его философское мировоззрение было строго религиозным. Ко всему окружающему он относился с высоты своей религиозной морали, и эта мораль, исходя из светлой, мягкой и доброй души царя, была не сухим кодексом отвлеченных нравственных правил, суровых и безжизненных, а звучала мягким, прочувствованным, любящим словом, сказывалась полным ясного житейского смысла теплым отношением к людям. Склонность к размышлению и наблюдению, вместе с добродушием и мягкостью природы, выработали в Алексее Михайловиче замечательную для того времени тонкость чувства; поэтому и его мораль высказывалась иногда поразительно хорошо, тепло и симпатично, особенно тогда, когда

ему приходилось кого-нибудь утешать. Высокий образец этой трогательной морали представляет упомянутое выше письмо царя к князю Никите Ивановичу Одоевскому о смерти его старшего сына, князя Михаила. В этом письме ясно виден человек чрезвычайно деликатный, умеющий любить и понимать нравственный мир других, умеющий и говорить, и думать, и чувствовать очень тонко. Та же тонкость понимания, способность дать нравственную оценку своему положению и своим обязанностям сказывается в замечательном “статейном списке” или письме Алексея Михайловича к Никону, митрополиту новгородскому, с описанием смерти патриарха Иосифа¹⁷. Вряд ли Иосиф пользовался действительно любовью царя и имел в его глазах большой нравственный авторитет. Но царь считал своею обязанностью чтить святителя и относиться к нему с должным вниманием. Поэтому он окружил больного патриарха своими заботами, посещал его, присутствовал даже при его агонии, участвовал в чине его погребения и лично самым старательным образом переписал “келейную казну” патриарха, – “с полторы недели ежедень ходил” в патриаршие покои как душеприказчик. Во всем этом Алексей Михайлович и дает добровольный отчет Никону, предназначенному уже в патриархи всея Руси. Надобно прочесть сплошь весь царский “статейный список”, чтобы в полной мере усвоить его своеобразную прелесть. Описание последней болезни патриарха сделано чрезвычайно ярко, с полною реальностью, причем царь сокрушается, что упустил случай по московскому обычаю напомнить Иосифу о необходимости предсмертных распоряжений. “И ты меня, грешнаго, прости, – пишет он Никону, – что яз ему не вспомянул о духовной и кому душу свою прикажет”. Царь пожалел пугать Иосифа, не думая, что он уже так плох: “Мне молвить про духовную-ту, и помнит: вот де меня избывает!” Здесь личная деликатность заставила царя Алексея отступить от жесткого обычая старины, когда и самим царям в болезни их дьяки поминали “о духовной”. Умершего патриарха вынесли в церковь, и царь пришел к его гробу в пустую церковь в ту минуту, когда можно было глазом видеть процесс разложения в трупе (“безмерно пухнет”, “лицо розно пухнет”). Царь Алексей испугался: “И мне прииде, – пишет он, – помышление такое от врага: побеги де ты вон, тотчас де тебя, вскоча, удавит!.. И я, перекрестясь, да взял за руку его, света, и стал целовать, а во уме держу то слово: от земли создан, и в землю идет; чего бояться?... Тем себя и оживил, что

¹⁷ *Бартенев П.И.* Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 156 и след.

за руку-ту его с молитвой взял!” Во время погребения патриарха случился грех: “да такой грех, владыко святой: погребли без звону!..., а прежних патриархов с звоном погребали”. Лишь сам царь вспомнил, что надо звонить; так уж стали звонить после срока. Похоронив патриарха, Алексей Михайлович принялся за разбор личного имущества патриаршего с целью его благотворительно-го распределения; кое-что из этого имущества царь и распродал. Самому царю нравились серебряные “суды” (посуда) патриарха, и он, разумеется, мог бы их приобрести для себя: было бы у него столько денег, “что и вчетверо цену-ту дать”, по его словам. Но государя удержало очень благородное соображение: “Да и в том меня, владыко святой, прости, – пишет царь Никону, – немного и я не покусился иным судам, да милостию Божиею воздержался и вашими молитвами святыми. Ей-ей, владыко святой, ни маленькому ничему не точен!.. Не хочу для того: се от Бога грех, се от людей зазорно, а се какой я буду прикащик: самому мне (суды) иметь, а денги мне платить себе ж!”. Вот с какими чертами душевной деликатности, нравственной щекотливости и совестливости выступает перед нами самодержец XVII века, боящийся греха от Бога и зазора от людей, подчиняющий христианскому чувству свой суеверный страх!

То же чувство деликатности, основанной на нравственной вдумчивости, сказывается в любопытнейшем выговоре царя воеводе князю Юрию Алексеевичу Долгорукому¹⁸. Долгорукий в 1658 году удачно действовал против Литвы и взял в плен гетмана Гонсевского. Но его успех был следствием его личной инициативы: он действовал по соображению с обстановкою, без спроса и ведома царского. Мало того, он почему-то не известил царя вовремя о своих действиях и, главным образом, об отступлении от Вильны, которое в Москве не одобрили. Выходило так, что за одно надлежало Долгорукого хвалить, а за другое – порицать. Царь Алексей находил нужным официально выказать недовольство поведением Долгорукого, а неофициально послал ему письмо с мягким и милостивым выговором. “Похваляем тебя без вести (т.е. без реляции Долгорукого) и жаловать обещаемся, – писал государь, но тут же добавил, что это похвала только частная и негласная, – и хотим с милостивым словом послать и с иною нашею государевою милостию, да нельзя послать: отписки от тебя нет, не ведомо, против чего писать тебе!” Объяснив, что Долгорукий сам себе устроил “безчестье”, царь обращается к интимным упрекам: “Ты за мою, просто молвить, милостивую любовь ни одной строки не писал

¹⁸ Соловьев. История. Кн. 3. С. 41–42.

ни о чем! Писал к друзьям своим, а те – ей-ей! – про тебя же переговаривают да смеются, как ты торопишься, как и иное делаешь... Чаю, что князь Никита Иванович (Одоевский) тебя подбил; и его было слушать напрасно: ведаешь сам, какой он промышленник, послушаешь, как про него поют на Москве...”. Но одновременно с горькими укоризнами царь говорит Долгорукому и ласковые слова: “Тебе бы о сей грамоте не печалиться: любя тебя пишу, а не кручинясь; а сверх того сын твой скажет, какая немилость моя к тебе и к нему!... Жаль, конечно, тебя: впрямь Бог хотел тобою всякое дело в совершение не во многие дни привести... да сам ты от себя потерял!”. В заключение царь жалует Долгорукого тем, что велит оставить свой выговор втайне: “а прочтя сию нашу грамоту и запечатав, прислать ее к нам с тем же, кто к тебе с нею придет”. Очень продумано, деликатно и тактично. Это желание царя Алексея добрым интимным внушением смягчить и объяснить официальное взыскание с человека, хотя и заслуженного, но формально провинившегося.

Во всех посланиях царя Алексея Михайловича, подобных приведенному, где царю приходилось обсуждать, а иногда и осуждать поступки разных лиц, бросается в глаза одна любопытная черта. Царь не только обнаруживает в себе большую нравственную чуткость, но он умеет и любит анализировать: он всегда очень пространно доказывает вину, объясняет, против кого и против чего именно погрешил виновный, и насколько сильно и тяжело его прегрешение. Характернейший образец подобных рассуждений находим в его обращении к князю Григорию Семеновичу Куракину с выговором за то, что он (в 1668 г.) не поспешил на выручку гарнизонам Нежина и Чернигова¹⁹. Царь упрекнул Куракина в недомыслии, в том, что он “притчею не промыслит, что будет” вследствие его промедления. “То будет, – объясняет царь воеводе, – первое – Бога прогневает... и кровь напрасно многую прольет; второе – людей потеряет и страх на людей наведет и торопость; третье – от великаго государя гнев примет; четвертое – от людей стыд и срам, что даром людей потерял; пятое – славу и честь, на свет Богом дарованную, непристойным делом... отгонит от себя и вместо славы укоризны всякия и неудобные переговоры восприимет. И то все писано к нему, боярину, – заключает Алексей Михайлович, – хотя добра святой и восточной церкви, и чтобы дело Божие и его государево свершалось в добром полководстве, а его, боярина, жалуя и хотя ему чести и жалея его старости!” Наблюдения над такими словесными упражнениями приводят

¹⁹ Там же. С. 606–607.

к мысли, что царь Алексей много и основательно размышлял. И это размышление состояло не в том только, что в уме Алексея Михайловича послушно и живо припоминались им читанные тексты и чужие мысли, подходящие внешним образом к данному времени и случаю. Умственная работа приводила его к образованию собственных взглядов на мир и людей, а равно и общих нравственных понятий, которые составляли его собственное философско-нравственное достояние. Конечно, это не была система мировоззрения в современном смысле; тем не менее, в сознании Алексея Михайловича был такой отчетливый моральный строй и порядок, что всякий частный случай ему легко было подвести под его общие понятия и дать ему категорическую оценку. Нет возможности восстановить, в общем содержании и системе, этот душевный строй прежде всего потому, что и сам его обладатель никогда не заботился об этом. Однако для примера укажем хотя бы на то, что, исходя из религиозно-нравственных оснований, Алексей Михайлович имел ясное и твердое понятие о происхождении и значении царской власти в Московском государстве как власти богоустановленной и назначенной для того, чтобы “разсуждать людей вправду” и “беспомощным помогать”. Уже были выше приведены слова царя Алексея князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому: “Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке, и на западе, и на юге, и на севере вправду”. Для царя Алексея это была не случайная красивая фраза, а постоянная твердая формула его власти, которую он сознательно повторял всегда, когда его мысль обращалась на объяснение смысла и цели его державных полномочий. В письме к князю Н.И. Одоевскому, например, царь однажды помянул о том, “как жить мне, государю, и вам, боярам”, и на эту тему писал: “а мы, великий государь, ежедневно просим у Создателя... чтобы Господь Бог... даровал нам, великому государю, и вам, бояром, с нами единодушно люди Его, Световы, разсудити вправду, всем равно”²⁰. Взятый здесь пример имеет цену в особенности потому, что для историка в данном случае ясен источник тех фраз царя Алексея, в которых столь категорически нашла себе определение, впервые в Московском государстве, идея державной власти. Свои мысли о существовании царского служения Алексей Михайлович черпал, по-видимому, из чина царского венчания²¹ или же непосредственно из главы 9-й “Книги Премудрости Соломона”. Не менее знаменательным кажется и отношение царя к вопросу о внешнем

²⁰ *Бартенева П.И.* Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 225, 232.

²¹ *Барсов Е.В.* Древнерусские памятники священного венчания царей на царство в связи с греческими их оригиналами. М., 1883. С. 57, 82.

принуждении в делах веры. С заметною твердостью и смелостью мысли, хотя и в очень сдержанных фразах, царь пишет по этому вопросу митрополиту Никону, которого авторитет он ставил в те года необыкновенно высоко. Он просит Никона не томить в походе монашеским послушанием сопровождавших его светских людей: “не заставляй у правила стоять: добро, государь владыко святой, учить премудра – премудрее будет, а безумному – мозолие ему есть!”. Он ставит Никону на вид слова одного из его спутников, что Никон “никого де силою не заставит Богу верить”²². При всем почтении к митрополиту, “не в пример святу мужу”, Алексей Михайлович, видимо, разделяет мысли несогласных с Никоном и терпевших от него подневольных постников и молитвенников. Нельзя силою заставить Богу верить – это, по всей видимости, убеждение самого Алексея Михайловича.

При постоянном религиозном настроении и напряженной моральной вдумчивости Алексей Михайлович обладал одною симпатичною чертою, которая, казалось бы, мало могла уживаться с его аскетизмом и склонностью к отвлеченному наставительному резонерству. Царь Алексей был замечательный эстетик – в том смысле, что любил и понимал красоту. Его эстетическое чувство сказывалось ярче всего в страсти к соколиной охоте, а позже – к сельскому хозяйству. Кроме прямых ощущений охотника и обычных удовольствий охоты с ее азартом и шумным движением, соколиная потеха удовлетворяла в царе Алексее и чувству красоты. В “Уряднике сокольникя пути” он очень тонко рассуждает о красоте разных охотничьих птиц, о прелести птичьего лета и удара, о внешнем изяществе своей охоты. Для него “его государевы красныя и славныя птичьи охоты” урядство или порядок “оставляет и объявляет красоту и удивление”; высокого сокола лет – “красносмотрителен и радостен”; копцова (т.е. копчика) добыча и лет – “добровиден”. Он следит за красотою сокольникяго наряда и оговаривает, чтобы нашивка на кафтанах была “золотная” или серебряная: “к какому цвету какая пристанет”; требует, чтобы сокольник держал птицу “подъявительно к видению человеческому и ко красоте кречатьей”, т.е. так, чтобы ее рассмотреть было удобно и красиво. Элемент красоты и изящества вообще играет не последнюю роль в “урядстве” всего охотничьего чина царя Алексея. То же чувство красоты заставляло царя увлекаться внешним благочестием церковного служения и строго следить за ним, иногда даже нарушая его внутреннюю чинность для внешней красоты. В записках Павла Алеппского можно видеть много примеров

²² Бартнев П.И. Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 183–184.

тому, как царь распоряжался в церкви, наводя порядок и красоту в такие минуты, когда, по нашим понятиям, ему надлежало бы хранить молчание и благоговение. Не только церковные церемонии, но и парады придворные и военные необыкновенно занимали Алексея Михайловича с точки зрения “чина” и “урядства”, т.е. внешнего порядка, красоты и великолепия. Он, например, с чрезвычайным усердием устраивал смотры и проводы своим войскам перед первым литовским походом, обставляя их торжественным и красивым церемониалом. Большой эстетический вкус царя сказывался в выборе любимых мест: кто знает положение Саввина-Сторожевского монастыря в Звенигороде, излюбленного царем Алексеем Михайловичем, тот согласится, что это – одно из красивейших мест всей Московской губернии; кто был в селе Коломенском, тот помнит, конечно, прекрасные виды с высокого берега Москвы-реки в Коломенском. Мирная красота этих мест – обычный тип великорусского пейзажа – так соответствует характеру “гораздо тихаго” царя.

Соединение глубокой религиозности и аскетизма с охотничьими наслаждениями и светлым взглядом на жизнь не было противоречием в натуре и философии Алексея Михайловича. В нем религия и молитва не исключали удовольствий и потех. Он сознательно позволял себе свои охотничьи и комедийные развлечения, не считал их преступными, не каялся после них. У него и на удовольствия был свой особый взгляд. “И зело потехася полевая утешает сердца печальныя, – пишет он в наставлении сокольникам, – будите охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою... да не одолеют вас кручины и печали всякия”. Таким образом, в сознании Алексея Михайловича охотничья потеха есть противодействие печали, и подобный взгляд на удовольствия не случайно соскользнул с его пера: по мнению царя, жизнь не есть печаль, и от печали нужно лечиться, нужно гнать ее – так и Бог велел. Он просит князя Одоевского не плакать о смерти сына: “Нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно – да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать”. Но если жизнь – не тяжелое, мрачное испытание, то она для царя Алексея и не сплошное наслаждение. Цель жизни – спасение души, и достигается эта цель хорошою благочестивою жизнью; а хорошая жизнь, по мнению царя, должна проходить в строгом порядке: в ней все должно иметь свое место и время; царь, говоря о потехе, напоминает своим сокольникам: “Правды же и суда и милостивыя любве и ратнаго строя николиже позабывайте: делу время, и потехе час”. Таким образом, страстно любимая царем Алексеем забава для него, все-таки, только забава и не должна мешать делу.

Он убежден, что во все, что бы ни делал человек, нужно вносить порядок, “чин”. “Хотя и мала вещь, а будет по чину честна, мерна, стройна, благочинна, – никтоже зазрит, никтоже похулит, всякий похвалит, всякий прославит и удивится, что и малой вещи честь и чин и образец положен но мере”. Чин и благоустройство для Алексея Михайловича – залог успеха во всем: “без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится; безстройство же теряет дело и возставляет безделье”, – говорит он. Поэтому царь Алексей Михайлович очень заботился о порядке во всяком большом и малом деле. Он только тогда бывал счастлив, когда на душе у него было светло и ясно, и кругом все было светло и спокойно, все на месте, все по чину. Об этом-то внутреннем равновесии и внешнем порядке более всего заботился царь Алексей, мешая дело с потехой и соединяя подвиги строгого аскетизма с чистыми и мирными наслаждениями. Такая непрерывно владевшая царем Алексеем забота позволяет сравнить его (хотя аналогия здесь может быть лишь очень отдаленная) с первыми эпикурейцами, искавшими своей “атараксии”, безмятежного душевного равновесия, в разумном и сдержанном наслаждении.

До сих пор царь Алексей Михайлович был обращен к нам своими светлыми сторонами, и мы ими любовались. Но были же и тени. Конечно, надо счесть показным и неискренним “смирением паче гордости” тот отзыв, какой однажды дал сам о себе царь Никону: “А про нас изволишь ведать, и мы, по милости Божии и по вашему святительскому благословию, как есть истинный царь христианский наричюся, а по своим злым мерзким делам недостоин и во псы, не токмо в цари!”²³. Злых и мерзких дел за царем Алексеем современники не знали, однако они иногда бывали им недовольны. В годы его молодости, в эпоху законодательных работ над Уложением (1649 г.), настроение народных масс было настолько неспокойно, что многие давали волю языку. Один из озлобленных реформами уличных озорников, Савинка Корепин болтал на Москве про юного государя, что “царь глуп, глядит все изо рта у бояр Морозова и Милославскаго: они всем владеют, и сам государь все это знает да молчит; чорт у него ум отнял”²⁴. Мысль, что царь “глядит изо рта” у других, мелькает и позднее. В поведении коломенского архиепископа Иосифа (1660–1670 гг.) вскрывались не раз его беспощадные отзывы о царе Алексее и боярах. Иосиф говаривал про великого государя, что “не умеет в царстве никакой расправы сам собою чинить, люди им владеют”,

²³ Там же. С. 152.

²⁴ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Ч. 3. С. 170; мягче у Соловьева (*Соловьев.* История. Кн. 2. С. 1524).

а про бояр, что “бояре – Хамов род, государь того и не знает, что они делают”. В минуты большого раздражения Иосиф обзывал Алексея Михайловича весьма презрительными бранными словами, которых общий смысл обличал царя в полной неспособности к делам²⁵. Встречаясь с такими отзывами, не знаешь, как следует их истолковать, и как их можно примирить со многими свидетельствами о разуме и широких интересах Алексея Михайловича. “Гораздо тихий” царь был ведь тих добротой, а не смыслом; это ясно для всех, знакомых с историческим материалом. Только пристальное наблюдение открывает в натуре царя Алексея две такие черты, которые могут осветить и объяснить существовавшее недовольство им.

При всей своей живости, при всем своем уме царь Алексей Михайлович был безвольный и временами малодушный человек. Пользуясь его добротой и безволием, окружавшие не только своевольничали, но забирали власть и над самим “тихим” государем. В письмах царя есть удивительные этому доказательства. В 1652 году он пишет Никону, что дворецкий князь Алексей Михайлович Львов “бил челом об отставке”. Это был возмутительный самоуправец, много лет безнаказанно сидевший в приказе Большого дворца²⁶. Царь обрадовался, что можно избавиться от Львова, и “во дворец посадил Василья Бутурлина”. С наивною похвалюбою он сообщает Никону: “А слово мое ныне во дворце добре страшно, и (все) делается без замотчанья!” Стало быть, такова была наглость князя Львова, что ему не страшно казалось и царское слово, и так велика была слабость государя, что он не мог сам избавиться от своего дворецкого! После этого примера становится понятным, что около того же времени и ничтожный приказный человек Л. Плещеев мог цинично похвалиться, что “про меня де ведает государь, что я зерщик (т.е. игрок)!.. у меня де Москва была в руке вся, я де и боярам указывал!”²⁷. В упоминании государя Плещеевым мелькает тот же намек на отсутствие страха пред государевым именем и словом, как и в наивном письме самого государя. Любопытно, что придворные и приказные люди не только за глазами у доброго царя давали себе волю, но и в глаза ему осмеливались показывать свои настроения. В походе 1654 года окружавшие Алексея Михайловича, по его словам в

²⁵ Там же. Кн. 3. С. 745–746.

²⁶ О его злоупотреблениях см. нашу статью “Московское правительство при первых Романовых” (ЖМНП. № 12. С. 54–55). Настоящее издание – с. 254–302 – *примеч. ред.*

²⁷ *Зерцалов А.* О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском в 1648, 1662 и 1771 гг. // Чтения ОИДР. 1890. Кн. 3. Отд. I. С. 186.

письме князю Трубецкому, “едут с нами отнюдь не единодушием, наипаче двоедушием, как есть облака: иногда благопотребным воздухом и благонадежным и уповательным явятся; иногда зноем и яростью и ненастьем всяким злохитренным и обычаем московским явятся; иногда злым отчаянием и погибель прорицают, иногда тихостью и бедностью лица своего отходят лукавым сердцем... А мне уже, Бог свидетель, каково становится от двоедушия того, отнюдь упования нет!”²⁸. При отсутствии твердой воли в характере царя Алексея, он не мог взять в свои руки настроение окружающих, не мог круто разделаться с виновными, прогнать самоуправца. Он мог вспыхнуть, избранить, даже ударить, но затем быстро сдавался и искал примирения. Он терпел князя Львова у дел, держал около себя своего плохого тестя Милославского, давал волю безмерному властолюбию Никона – потому, что не имел в себе силы бороться ни с служебными злоупотреблениями, ни с придворными влияниями, ни с сильными характерами. Не истребить зло с корнем, не убрать непригодного человека, а найти компромисс и паллиатив, закрыть глаза и спрятать, как страус, голову в куст, – вот обычный прием Алексея Михайловича, результат его маловолия и малодушия. Хуже всего он чувствовал себя тогда, когда видел неизбежность вступить открыто в какое-либо неприятное дело. Малодушно он убегал от ответственных объяснений и спешил заслониться другими людьми. Сообщив Никону в письме о неудовольствиях на него, существующих среди его окружающих, царь сейчас же оговаривается: “И тебе бы, владыко святой, пожаловать – сие писание сохранить и скрыть втайне!... да будет и изволишь ему (жалобщику) говорить, и ты, владыко святой, говори от своего лица, будто к тебе мимо меня писали (о его жалобах)”. Желание стать в стороне стыдит, по-видимому, самого Алексея Михайловича, и он предлагает Никону отложить объяснение с недовольным на него боярином до Москвы: “Здесь бы передо мною вы с очей на очи переведались”, – предлагает он, разумеется, в надежде, что время до очной ставки уничтожит остроту неудовольствий и смягчит врагов²⁹. Душевым малодушием доброго государя следует объяснить его вкус к письменным выговорам: за глаза можно было написать много и сильно, грозно и красиво; а в глаза бранить – трудно и жалко. В глаза бранить кого-либо царю Алексею было можно только в минуты кратковременных вспышек горячего гнева, когда у него вместе с языком развязывались и руки.

²⁸ Соловьев. История. Кн. 2. С. 1664.

²⁹ Бартнев П.И. Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 183–184.

Итак, слабость характера была одним из теневых свойств царя Алексея Михайловича. Другое его отрицательное свойство легче описать, чем назвать. Царь Алексей не умел и не думал работать. Он не знал поэзии и радостей труда и в этом отношении был совершенно противоположностью своему сыну Петру. Жить и наслаждаться он мог среди “малой вещи”, как он называл свою охоту, и как можно назвать все его иные потехи. Вся его энергия уходила в отправление того “чина”, который он видел в вековом церковном и дворцовом обиходе. Вся его инициатива ограничивалась кругом приятных “новшеств”, которые в его время, но независимо от него, стали проникать в жизнь московской знати. Управление же государством не было таким делом, которое царь Алексей желал бы принять непосредственно на себя. Для того существовали бояре и приказные люди. Сначала за царя Алексея правил Борис Иванович Морозов, потом настала пора князя Никиты Ивановича Одоевского; за ним стал временщиком патриарх Никон, правивший не только святительские дела, но и царские; за Никоном следовали Ордин-Нащокин и Матвеев. Во всякую минуту деятельности царя Алексея мы видим около него доверенных лиц, которые правят. Царь же, так сказать, присутствует при их работе, хвалит их или спорит с ними, хлопочет о внешнем “урядстве”, пишет письма о событиях, – словом, суетится кругом действительных работников и деятелей. Но ни работать с ними, ни увлекать их властной волею боевого вождя он не может. Малый пример из нашей современности наглядно покажет, что и такие люди могут считаться нужными. Нам довелось видеть, как по овражистым берегам Быстрой Сосны везли большой тяжести машину в сельскую экономию. Везли кони, и с ними билось на подъемах и тащило груз много народу. И народ спрашивал: “А кто ж нам кричать будет?” Необходим казался крик из праздного горла, чтобы давать ритм общей мускульной работе. Вот в общем государственном деле XVII века царь Алексей и был таким человеком, который сам не работал, а свою суетою и голосом давал ритм для тех, кто трудился.

Добродушный и маловольный, подвижной, но не энергичный и не рабочий, царь Алексей не мог быть бойцом и реформатором. Между тем течение исторической жизни поставило царю Алексею много чрезвычайно трудных и жгучих задач и внутри и вне государства: вопросы экономической жизни, законодательные и церковные, борьба за Малороссию, бесконечно-трудная, – все это требовало чрезвычайных усилий правительственной власти и народных сил. Много критических минут пришлось тогда пережить нашим предкам, и, все-таки, бедная силами и средствами Русь

успела выйти победительницей из внешней борьбы, успевала кое-как справляться и с домашними затруднениями. Правительство Алексея Михайловича стояло на известной высоте во всем том, что ему приходилось делать: являлись способные люди, отыскивались средства, неудачи не отнимали энергии у деятелей; если не удавалось одно средство – для достижения цели искали новых путей. Шла, словом, горячая, напряженная деятельность, и за всеми деятелями эпохи во всех сферах государственной жизни видна нам добродушная и живая личность царя Алексея. Чувствуется, что ни одно дело не проходит мимо него: он знает ход войны; он желает руководить работой дипломатии; он в Думу боярскую несет ряд вопросов и указаний по внутренним делам; он следит за церковной реформой; он в деле патриарха Никона принимает деятельное участие. Он везде, постоянно с разумением дела, постоянно добродушный, искренний и ласковый. Но нигде он не сделает ни одного решительного движения, ни одного резкого шага вперед. На всякий вопрос он откликнется с полным его пониманием, не устранился от его разрешения; но от него совершенно нельзя ждать той страстной энергии, какую отмечена деятельность его гениального сына, той смелой инициативы, какой отличался Петр.

Вот почему мы не вполне согласимся с отзывом сенатора князя Якова Долгорукого, который, по преданию, сказал однажды Петру Великому: “Государь! В ином отец твой, в ином ты больше хвалы и благодарения достоин. Главные дела государей – три: первое внутренняя расправа, и главное дело ваше есть правосудие; в сем отец твой больше, нежели ты, сделал!...” – Петр, конечно, сделал очень много; Алексей же только по-своему помогал делать тем, кого своею властью ставил к делам.

“Вся земля” (1912)

I

В предшествующем изложении* было указано, что Михаила Феодоровича Романова в 1613 году избрали на царский престол выборные представители населения всего государства – “вся земля”. В свое время – в 1598 году – по смерти последнего царя московской династии Феодора Ивановича боярин Борис Годунов занял престол также по “всенародному” избранию. Но тот собор, который избирал Бориса, существенно отличался по своему составу от “всей земли” 1613 года.

До Смутного времени московские государи имели обычай в важных случаях московской жизни собирать соборы. К обычному своему совету, “думе” из бояр и думных людей, они присоединяли совет московского митрополита (позднее патриарха); это был так называемый “освященный собор” или “власти”. Совместное заседание бояр и “властей” именовалось “собором” и занималось всякими делами – и церковными, и государственными, какие только государь считал нужным передать на суждение собора. Иногда, в случаях чрезвычайной важности, к “властям” и боярам присоединялись советники других общественных состояний. Государь приказывал “быти на соборе” своим придворным чинам, столичным дворянам, а также выборным старостам и головам московских торговых и промышленных “сотен” и “слобод”. Наконец, к столичным чиновникам и жителям присоединяли и тех отборных провинциальных дворян, которые бывали за отличие вызываемы в Москву для службы в столице; их в те времена называли особым именем “из городов выбор”. Итак, в особо важных случаях собор составлялся: 1) из духовенства, приходившего на общий совет в составе особого “освященного собора”, 2) из бояр и думных людей, составлявших особую “думу”, и 3) из при-

* Имеется в виду глава 4 “Избрание в цари Михаила Феодоровича Романова и царское венчание” книги: *Васенко П.Г., Платонов С.Ф., Тураева-Церетели Е.Ф.* Начало династии Романовых: Исторические очерки. СПб., 1912 (автор главы Е.Ф. Тураева-Церетели). *Примеч. ред.*

глашенных государем лиц разных сословий. Население никого не выбирало от себя на эти соборы. Бывали на соборах *выборные* “старосты”, “головы”, “сотские”; но выбираемы они были не на собор, а для целей самоуправления тех общин, которые для себя их “излюбили”, избрали. Государь этих излюбленных людей звал на соборы уже сам, своим произволением. Бывал на соборах “из городов *выбор*”, но это был не выбор в нашем смысле слова, а “отбор”, сделанный не для соборного представительства, и притом московскими чиновниками, а не населением.

Итак, до Смутного времени соборы состояли из царских советников разных сословий и мест и бывали, в этом смысле, “всенародными”. Но на них не было выборных представителей, посланных земщиною, и собирались они властью, а не “землею”. В Смутное время дело получило совсем иной вид.

Когда московские междоусобия расшатали обычный московский порядок, обнаружилось важное значение тех местных связей, которые соединяли городское и уездное население в общины и корпорации. Уже в 1608 году царь Василий Иванович Шуйский обращается за помощью к земским людям, прося их действовать всеми местными средствами на пользу Москве. Утратив в борьбе с тушинцами свои военные силы и денежные ресурсы, царь надеялся на земскую самодеятельность и ждал земской помощи. При этом выяснилось, что служилые люди в уездах не имели возможности сами сплотиться для каких-либо общих действий. Они обыкновенно ждали призыва на службу и являлись на этот призыв каждый в меру своего усердия, но, предоставленные самим себе, они разбредались по отдельным поместьям и вотчинам и сидели в одиночку по своим гнездам, не имея никакой привычки ко взаимному общению и совместным выступлениям. Только рязанское дворянство (по различным причинам) отличалось в этом отношении от дворянства других мест и умело сплачиваться и действовать согласно и самостоятельно. Учтя такую слабость поместного служилого люда, царь Василий посылает на окраины государства своих доверенных людей князя М.В. Скопина-Шуйского и боярина Ф.И. Шереметева для систематического сбора и привода к Москве служилых людей, сидевших по уездам и городам. Оба воеводы и собрали кого могли: Скопин-Шуйский на северо-западе, а Шереметев на востоке Московского государства.

Иначе дело обстояло в податных общинах северной половины государства, там, где не было крепостной зависимости крестьян от мелких помещиков и вотчинников, и где города были не только крепостями с гарнизоном, но и рынками с торговым населением.

Там, на севере, крестьяне в уездах и посадские люди в городах составляли многолюдные и нередко богатые “тяглые” общины. Податное самоуправление таких “тяглых” общин в московской Руси было “исконивечным” явлением. Государь налагал на общину общую сумму податных платежей; разнести эту сумму по частям на отдельные податные хозяйства было делом самой общины. Из этого дела вытекала необходимость известного мирского устройства, такого, которое бы позволило распределить податное бремя – равномерно и справедливо на всех членов общины и собрать вовремя податные взносы от отдельных плательщиков. Делалось это посредством выборных “земских старост”, ведших мирское хозяйство. В середине XVI века правительство Грозного нашло возможным передать местным податным мирам все дела местного управления: и полицию, и суд, и финансы: если община просила о даровании ей самоуправления, правительство уже не назначало в данную местность своего наместника, а разрешало местному населению самому избрать из своей среды административный штат и самому ведать как податные дела, так и суд и администрацию в своей волости. Размеры самоуправлявшихся волостей бывали иногда очень велики. Так, Важская “земля” или Важский уезд, получивший в 1552 году право самоуправления, охватывал бассейн р. Ваги, большого притока Северной Двины. Этот старый “уезд” соответствовал двум нынешним – Шенкурскому и Вельскому, и делился тогда на семь станов. Обращаясь в таком составе в особый цельный округ самоуправления, Вага получала право избрать две коллегии уполномоченных “о всяких делах земских управа чинить” – одну для Шенкурской, другую для Вельской половины уезда. Понятно, что каждый член такой коллегии являлся в ней выборным представителем той части уезда (посада, стана, волости), которая его выбрала и уполномочила. Круг дел таких коллегий был очень широк, и “излюбленные головы”, “судейки” и “старосты” иногда превращались в местное представительное собрание не только по текущим делам, но и по делам особым. Так, в XVII веке известен случай, когда в Великом Устюге собрались из уезда всех волостей выборные люди и составили челобитье государю о том, чтобы отделить их крестьянское самоуправление от городского и учредить всеуездную земскую избу отдельно от посадской избы города Устюга; челобитье их было удовлетворено, несмотря на противодействие горожан. Такого рода земские учреждения существовали на всем московском севере и не только в “черных (государственных) тяглых общинах, но и на частновладельческих землях, монастырских и боярских. Нельзя поэтому удивляться той роли, какую получили земские

организации московского севера в Смутное время. Царь Василий Шуйский, собирая служилых людей, в то же время стал возбуждать к деятельности тяглое северное население, прося его отстаивать своими силами свои места от тушинцев, а если будет возможно, то идти через Ярославль на помощь Москве. Ясен расчет его на действие местных организаций; но еще яснее сказался этот расчет в мероприятиях князя М.В. Скопина-Шуйского, посланного, как мы видели, царем Василием в Новгород за войском. Из Новгорода, через Каргополь и еще чаще через Вологду, Скопин входил в сношения с северными тяглыми мирами от Перми до Соловков, посылал туда своих людей, давал руководящие указания и объединял деятельность городских и волостных миров, направляя ее к освобождению Москвы от Тушина. Север воодушевился. Из многих мест земские рати, собранные и снабженные тяглыми общинами, становились под начальство излюбленных миром “голов”, служилых людей и не служилых, даже вдовых попов, и шли на юг, на бой против “воров”. За ними оставались в тылу, руководя походом и собирая новые дружины и средства для борьбы, мирские советы обычного состава, из старост и “лучших людей”, или же составленные особым порядком. В Вологде, которая по многим причинам получила значение одного из главных центров земского движения, образовался совсем особенный совет. Зимой 1608–1609 года в Вологде собралось много иностранных купцов и “все лучшие люди, Московские гости”; они ехали с товарами и казною из Архангельска в Москву и, не попав туда по причине смут и осады Москвы тушинцами, зазимовали в Вологде. Узнав об этом, царь Василий приказал вологодским воеводам привлечь к делу обороны Вологды этих иноземцев и гостей: выборные от них должны были участвовать в руководстве военными действиями “с головами и ратными людьми в думе заодин”. В одной “думе”, стало быть, сошлись представители разных слоев местного населения, а не одни только тяглые люди местной податной общины. Образовался всесословный мирской совет для руководства делами города.

Двумя годами позднее, когда порядок в государстве был окончательно разрушен и области, не имея общего правительства, были предоставлены самим себе, – такие общесословные советы сами собою возникли по всем крупным городам Московского севера. Они – по ходу дел – должны были, не ограничиваясь обороною своего города, заботиться о восстановлении общего, всем одинаково необходимого порядка. Для этой цели городские советы вступали в письменные сношения с другими городскими мирами, желая достичь общеземского согласия и устройства, чтобы

“всею Землею” идти “на очищение” Москвы от внешних врагов. Особенно хорошо писал в города ярославский совет: прекрасно составленные ярославские грамоты 1611 года показывают, что ярославский “мир” считал себя тогда средоточием всех вообще северных областей. Из этих грамот, подписанных морскими советниками, мы видим, что в Ярославском совете участвовали люди всех сословий: духовенство, дворяне, посадские люди. Так бывало и в других городах. В Нижнем Новгороде всем миром, от архимандритов и воевод до стрельцов и служилых иноземцев, снаряжали гонцов к патриарху Гермогену с “советными челобитными”.

От всесословных советов в отдельных городах был один шаг до советов нескольких городов, и этот шаг был сделан. В том же 1611 году городские миры усвоили обычай посылать “для доброго совета” в другие города своих представителей. Так, знаменитый рязанский воевода Ляпунов послал в Нижний “для договора” дворянина Биркина с дьяком, дворянами и всяких чинов людьми, а в Калугу своего племянника с дворянами. Из Казани на Вятку ездили послами сын боярский, два стрельца и посадский человек. Пермь отправила двух “посыльщиков” в Устюг “для совету о крестном целовании и о вестех”. Из Галича на Кострому “для доброго совета” прислали дворяне одного дворянина, а посадские люди одного посадского человека. Из Ярославля “от всего города” дворянин да посадский человек посланы были в Вологду. Из Владимира в Суздаль отправили “на совет” дворян и посадских “лучших” людей. Словом, посылка представителей, выбранных местными обществами, из одного города в другой стала обычаем, и соединение в одном всесословном “совете” представителей нескольких областей произошло естественно, вследствие исключительных событий Смутной эпохи. Местная самоуправляющаяся община с своей выборной “земской избою” послужила как бы основой, на которой возникал сначала всесословный совет “всего города”, а затем совет и нескольких городов, образуемый выборными из всех слоев свободного населения, именно духовенства, дворянства и тяглых людей.

На этой же самой основе возник и выборный “совет всея земли” – в тот момент, когда советные люди из городов соединились впервые в общеземском соборе и стали считать себя высшею властью в государстве. Это произошло во время наибольшей “разрухи”, когда Московское государство казалось совершенно погибшим от внешнего завоевания и внутреннего междоусобия. Тогда, в отчаянном порыве “последние люди” московские поднялись за Родину, успели соединиться в общее ополчение 1612 года и из

знакомых им форм местного выборного представительства создали выборный “совет всея земли”. Не имея другой власти, кроме выборной, эти “последние люди” и передали выборному своему совету верховное руководство всеми делами страны.

Так в ужасах смут родилась “вся земля” – полномочный совет земских выборных людей.

II

В первый раз слова “совет всея земли” и мысль о том, что “вся земля” сама может себя управлять и защитить, – появились еще в 1611 году, в земском ополчении против поляков, душою которого был Прокопий Ляпунов. Придя под московские стены освобождать Москву от врагов и изменников, земская рать осадил в Москве обычное московское правительство бояр и “приказных” людей и лишила его власти над страной. Ясно было, что ратным людям взамен этого московского правительства надобно было создать свое; надобно было устроить не только военное управление в рати, но и общее управление в государстве. Воеводы рати и решили общим советом обдумать ратный и земский порядок; они собрали в своем стане “всю землю” – торжественный совет, который 30 июня 1611 года постановил свой “приговор” о всех вообще ратных и земских делах. По тексту приговора 30 июня есть возможность судить о том, что это был за ратный совет. В состав совета вошли представители разных частей подмосковной рати, а не разных городов и уездов государства. Но так как ратные отряды представляли собою свои города и уезды, то ратный совет почитал себя представителем не одного ополчения, но всей земли, и действовал за все государство, называя себя “советом всея земли” и делая постановления общегосударственного характера. Он установил под Москвою новые государственные учреждения, “приказы”, и сделал ряд распоряжений по служилому землевладению и местному управлению. Эти учреждения и распоряжения упраздняли прежнее московское правительство, запертое в осажденной Москве, и отменяли все признанные неудобными, ранее действовавшие законоположения. Очевидно, “совет всея земли” считал себя вправе распоряжаться судьбами всей страны и видел в себе самом законного выразителя народной мысли и воли. С этим, однако, трудно согласиться. Совет состоял из ратных людей, большинство которых принадлежало к служилому классу и лишь некоторая часть вышла из рядов городского и уездного податного класса, пославшего под Москву свои дружины. Но эти представители городского населения могли сами не быть горожанами и “мужиками”, а всего вернее, что в огромном

большинстве были тоже служилыми людьми, только “излюбленными”, то есть выбранными в “головы” к тяглым ратям тяглыми людьми. По крайней мере, нет ни одного упоминания о выборных тяглецах в составе ратного собора 1611 года, и это дает основание сказать, что земские представители на этом соборе если и представляли оба сословия, служилое и тяглое, сами принадлежали только к первому. О составе совета 1611 года как летопись, так и самый приговор 30 июня выражаются так: “всякие служилые люди и дворовые и казаки”; о торговых же и черных людях они ни разу не говорят. Стало быть, представительство на совете далеко не было полным и нормальным. Кроме того, в состав “совета всея земли” не вошли ни патриарх с “властями”, ни боярская дума: патриарх и бояре были затворены в Москве, в плену у польско-литовского гарнизона. Таким образом, если судить строго, совет 1611 года никак не мог именовать себя “всею землею” и почитаться за земский собор. Ратное совещание усвоило себе право думать за всю землю и заботиться о всей земле, конечно, не потому, что представители рати считали себя земским собором, а потому, что им удалось соединить в своем приговоре представителей очень многих местных всесословных советов, от которых пришли под Москву городские и волостные рати. Односословный по составу *ратный совет* отражал *всесословные городские миры*, действовал по их доверию, стремился обеспечить их интересы, наконец, преследовал общую народную задачу – освобождение Москвы. Чувствуя за собою общенародное доверие, а пред собою общенародную цель, совет 1611 года с уверенностью в своей правоте называл себя “всею землею” и законодательствовал за всю землю.

Иначе посмотрели на дело в нижегородском ополчении. Там хотели создать правильный “совет всея земли” с полномочными представителями всех вообще сословий. Князь Дм.М. Пожарский, только что устроив в Нижнем Новгороде первые ратные отряды, уже пишет в города просьбу прислать – вместе с денежною и ратною помощью – и выборных людей “для земского совета”, именно “дворян и детей боярских и земских лучших людей, из всех чинов по человеку”. Когда начался поход из Нижнего, и войско Пожарского избрало для своих действий опорным пунктом Ярославль, то в Ярославле сосредоточились и земские выборные. Придя в Ярославль, Пожарский просил города поскорее прислать туда выборных “и с ними совет свой отписать”, то есть дать им наказы, “как бы в нынешнее конечное разорение быть не безгосударными”. По-видимому, земские представители съехались в Ярославль вскоре, и летом 1612 года в Ярославле уже действовала “вся земля”.

Любопытно то старание, с которым ратные власти в Ярославле формировали “совет всея земли”. Этому совету желали придать вид полного земского собора, с участием освященного собора, бояр и земских людей. Но где же было взять правильный освященный собор, когда не было патриарха (патриарх Гермоген уже скончался в Московском кремле), а старейшие митрополиты были в плену, новгородский – у шведов, а ростовский – у поляков? Однако в Ярославле непременно хотели иметь освященный собор и создали его таким порядком, что призвали в Ярославль бывшего на покое старого ростовского митрополита Кирилла и при нем составили духовный совет, который ведал церковное управление и именовал себя “освященным собором”. В этом, по тогдашним понятиям, не было фальши: в 1563 году, например, при взятии Полоцка, в рати Грозного, бывшего там коломенского владыку Варлаама с состоявшим при нем духовенством тоже называли “освященным собором”. Точно так же не могло быть в Ярославле нормальной боярской думы, “всех бояр”, так как “все бояре” сидели с поляками в Москве, но и они уже не считались законным “синклитом”. Однако в Ярославле хотели иметь и синклит. В рати Пожарского были два лица с боярским саном: В.П. Морозов и князь В.Т. Долгорукий. С ними вместе в высшем административно-военном совете Пожарского действовали старшие ратные предводители. Это и был “синклит”, который называли тогда определенными терминами: “бояре и воеводы”, “начальники”. Начальники и заменяли собою “бояр всех”. К этим двум постоянным органам ярославского правительства, то есть к митрополиту Кириллу со властями (освященный собор) и Пожарскому с начальниками (синклит), были присоединены выборные земские представители служилого и тяглого сословия, – и получился полный земский собор. Он сам считал себя “советом всея земли”; на его “приговоры” опиралась исполнительная власть в ополчении; его почитали верховным правительством не только русские города, но и иностранцы (шведы), сносившиеся с ярославским правительством.

Таким образом, “вся земля”, стремясь к своему правильно-му и авторитетному устройству, приняла форму именно такого земского собора, какие бывали “при прежних великих государях” в XVI веке. “Всю землю” составляли: 1) “власти”, 2) “синклит” и 3) “всяких чинов люди”. При прежних великих государях соборы подобного состава собирались по царскому произволению; теперь “вся земля” собралась самопроизвольно, по народному избранию, потому что люди были “безгосударны”. При государях соборы играли роль совещательную; теперь “вся земля” не

только была советом при воеводах, но и правила всем государством, “строила” земский порядок и прежде всего думала о царском избрании, потому что не хотела быть без государя “и малое время”. Из редкого и пассивного совещания, каким в сущности были соборы XVI века, “вся земля” выросла в орган верховного управления, который действовал постоянно и руководил всеми делами страны, имея главную целью восстановление в стране правильного порядка и избрание государя.

III

Вот этой-то “всею землею” и был избран на царство Михаил Федорович. От “всей земли” поехали к нему “челобитчики” просить его принять престол и, получив его согласие, 14 марта 1613 года нарекли его царем. Молодой государь немедленно отправился из Костромы, где он тогда жил, в Москву и прибыл туда 2-го мая. Началось новое царствование, главной заботой которого было восстановление старых порядков, потрясенных Смутою. Но четырнадцать смутных лет многое переменяли в коренных условиях московского быта, и возвращение к старым порядкам не всегда оказывалось возможным. “Вся земля” была сама одним из таких новшеств, каких в старину не было.

До Смуты Московское государство понималось и называлось “вотчиною” московских государей, то есть их частною собственностью, которую они наследовали “от прародителей” своих, как их семейное добро. Вековая династия московская, шедшая от великого князя Иоанна Калиты, – поколение за поколением, приобретала город к городу, волость к волости, село к селу и мало-помалу слагала из своих “примыслов” великое государство. Но как ни росло это государство, династия смотрела на него неизменно как на “землю великого государя”, приобретенную “его государским счастьем и промыслом” в личную его собственность. Когда прекратилась династия, тогда вся эта собственность осталась без хозяина; но государство, тем не менее, продолжало существовать и без своих вековых “владык”. В этом государстве оказалось население, сознававшее свое единство и дорожившее своим государством, иначе говоря, оказался народ, связанный племенно и церковною связью. Для спасения своей веры и государства этот народ после многих междоусобий сплотился и “всею землею” избрал царя. Новому царю царство уже не могло стать просто “вотчиною”, ибо вотчинных прав на государство у нового царского рода не бывало. Новый царь получал власть не над частным имуществом, а над народом, который сумел, как мы видели, организовать себя и создать свою временную власть во “всей земле”.

Власти постоянной, возникшей в лице нового государя, надлежало определить свои отношения ко “всей земле” и править ею и вместе с нею. Старый вотчинно-государственный быт уступал место новому, более высокому и сложному, – государственно-национальному. Новая власть и должна была действовать сообразно новым условиям.

В первые дни своего царствования царь Михаил Федорович чувствовал себя в затруднительном положении; Смута внутри еще продолжалась; внешние враги угрожали по-прежнему; средств в казне не было. Земский собор, избравший царя, употреблял все усилия к тому, чтобы достичь порядка, собрать силы и средства. Но скоро это не могло сделаться, и молодой государь с упреком указывал собору на “нестроения”, грозя не принять врученной власти и даже колеблясь, ехать ли ему в столицу. Он не видел возможности править страню и унять “всемирный мятеж” без содействия собора и требовал этого содействия, призывая себе на помощь “всю землю” во всяких делах управления. Иначе говоря, на первых же порах новый государь хотел править с собором и не видел в этом умаления своих державных прав и своей власти. С своей стороны, и “вся земля” нисколько не желала умалять власть своего избранника и с послушным усердием шла ему на помощь во всем, в чем могла. Земский избранник и народное собрание не только не спорили за свои права и за свое первенство, но крепко держались друг за друга в одинаковой заботе о своей общей целостности и безопасности. Сознание общей пользы и взаимной зависимости приводило власть и ее земский совет к полнейшему согласию и обращало царя и “всю землю” в одну нераздельную политическую силу, борющуюся с враждебными ей течениями внутри государства и вне его. Так обстоятельства Смутной поры придали государственной власти московской сложный состав: эта власть слагалась из личного авторитета неограниченного государя и коллективного авторитета собора “всех земель”. Всякое “великое государево и земское дело” делалось тогда “по указу великого государя и по всея земли приговору”. При этом государев указ охотно опирался на земский приговор, а земский приговор получал силу только по государеву указу. Не существовало никаких хартий, которыми определялось бы это взаимоотношение власти и земского представительства, и нет никакой возможности говорить об “ограничении” власти Михаила Федоровича, но тесная связь царя и всей земли и коллективный характер государственной власти при царе Михаиле стоят вне сомнений. В первые десять лет царствования Михаила Федоровича земский собор, по-видимому, непрерывно действовал в Москве,

и “вся земля” всегда была около своего государя. В остальное время жизни царя Михаила соборы созывались чрезвычайно часто, хотя уже нельзя говорить об их непрерывности. Успокоение государства совершилось, и замирение на границах было достигнуто. Смутные времена кончились, и общественная жизнь вошла в мирную колею. Власти не было уже необходимости постоянно спрашивать мнения “всей земли” и опираться на ее приговор. При сыне Михаила Федоровича царе Алексее в порядках управления брало верх, – чем далее, тем более, – “приказное” начало, бюрократизм; соборы созывались реже и реже, и “вся земля” понемногу становилась не управляющей, а управляемой и опекаемой средою. Но долго еще московские люди вспоминали подвиги “всей земли” и верили, что без нее нет спасения в опасностях. Как только приходило какое-либо экстренное государственное дело, они указывали, что “то дело великое всего государства всей земли”, “то дело всего государства – всех городов и всех чинов”, и у великого государя “милости просили”, чтобы он “указал для того дела взять изо всех чинов на Москве и из городов лучших людей”... Так говорилось, например, в 1662–1663 гг. во время голода и денежных затруднений в Московском государстве.

IV

Весьма поучительна история о том, как сложилась в Смуту “вся земля”, и чего она тогда достигла. Старое Московское государство много требовало от своих “сынов” и мало им давало. Но когда оно пало, когда “сынове рустии” увидели над собою меч поляков и шведов и испытали ужасы собственных междоусобий, они “понаказались” и поняли всю необходимость своего единого государства. Во имя государственности и встали “последние люди” московские, соединились “всею землею” и, олицетворив идею государства в государе, не захотели быть безгосударны и малое время. Они избрали себе царя, еще не успокоив страны, и вместе с ним взяли на себя подвиг успокоения. Любовь к своему народному государству и сознание необходимости жертв для него – вот что руководило тогда “всею землею” и давало ей силы на подвиг. Последующее показало, как глубоко жизненно было дело, сделанное тогда “всею землею”, и как много обязаны были “всяких чинов людям Московского государства” их близкие и далекие потомки.

Но если мысль о необходимости и ценности единого народного государства руководила действиями народных вождей и “всей земли”, то та же самая мысль владела и сознанием новой династии. От “государева батюшки” Филарета Никитича до его великого

правнука Петра все первые представители династии Романовых одинаково были проникнуты стремлением к государственному и народному благу. Властный патриарх Филарет, отдавший государственным делам свою маститую старость; тихий и болезненный Михаил Феодорович, желавший, чтобы под его державой люди от бед и скорбей своих поразживались; живой и жизнерадостный царь Алексей, мечтавший править так, чтобы Московского государства всяких чинов людям, от большого до меньшого чину, суд и расправа была во всяких делах всем равна, – все они были люди старой Руси, чуждые каким бы то ни было теориям властвования, но всею душою болевшие бедами своего народа и всеми своими инстинктами воспитавшие в себе потребность жить в единении “со всей землей” – для общей пользы и блага. Еще более возможно это сказать про великого Петра. Он знал и видел европейские порядки и сочетал в себе добрые семейные предания с европейским знанием и опытом. Он потому и велик, что свои громадные силы и способности безраздельно отдал, как умел, на служение своему народу и царству, слил себя со всей землей и создал из нее великую мировую державу. Всматриваясь во все эти исторические лица, мы видим их личные особенности, отмечаем их слабости, осуждаем их грехи; но ни у кого из них не замечаешь и тени своекорыстного эгоизма и пренебрежения обязанностями того высокого сана, который им даровал Бог и вручила “вся земля”. На власть свою все они смотрят как на высокий долг, влекущий за собой ответственность пред Богом, и мы охотно верим искренности Петра, когда он говорит: “Я приставник над вами от Бога, и моя должность, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Буде добр будешь, но не столько мне, сколько себе и Отечеству добра сделаешь; а буде худ, то я истец буду: ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злomu и глупому не дать места вред делать”. Подобную же мысль, только иными словами, выражал, отец Петра царь Алексей, говоривший, что сам Бог поставил его на то, чтобы “разсуждать людей вправду” и “безпомощным помогать”.

В единодушном избрании “всей земли” крылся чистый и благородный источник власти Романовых. Такое избрание возвысило власть московскую, прежде вотчинную, до значения народно-государственного и сообщило ей необыкновенную крепость и популярность. В исключительно благоприятных условиях избрания тяжелая задача восстановления и укрепления государства стала исполнимой, и “племя” “Никитичей” Романовых показало себя достойным ее исполнить. При нем Русь не только ожила и окрепла, но достигла и небывалого величия.

Вопрос об избрании М.Ф. Романова в русской исторической литературе (1913)

21-го февраля 1913 года исполняется триста лет с того дня, когда в Москве, на сборное воскресенье Великого поста, “в большом московском дворце в присутствии, внутри и вне, всего народа из всех городов России”, духовенство, боярство и земские сословные представители “обрали на все великия и преславныя государства Российскаго царствия” Михаила Федоровича Романова-Юрьева, и это избрание земского собора было поддержано всем множеством народа “от мала и до велика, до сущих младенец” (*από παντός του πλήθους και του λαου* – по выражению современника-грека).

Русская историческая наука достойно встречает этот юбилейный день: в последние десятилетия ей удалось бросить яркий луч света на счастливое событие возникновения новой династии, а с нею и возрождения твердого порядка в Московском государстве. Из области смутных преданий это событие перешло в сферу ясного исторического ведения. Красивая риторика, еще недавно облекавшая собою скудное знание и богатые домыслы писателей, уступила теперь место историческому анализу, раскрывшему реальные черты событий. Важность события этим была утверждена, а его интерес чрезвычайно возрос.

Ко дню 21-го февраля историографическая справка не будет неуместною. Она покажет, как и в чем изменились наши представления о первых днях Московского освобождения и о том трудном пути, какой пришлось пройти избирательной мысли раньше, чем она дошла до слишком еще юной, болезненной, лишенной отеческой опеки, в сущности беспризорной, но тем не менее для всех желанной “благоцветущей и неувядаемой отрасли царскаго благороднаго корени” – до Михаила Федоровича Романова.

Чтобы дать должное представление о том, как в старину изображалось царское избрание 1613 года, нет необходимости в библиографически полных обзорах и цитатах. Скудость исторического материала вела всех писателей к однообразию фактических данных и давала простор их риторике. В распоряжении историков XVIII и даже XIX века был только текст “утверженной грамоты”

об избрании Михаила Федоровича (напечатанный Н.И. Новиковым в его “Вивлиофике” и графом Н.П. Румянцевым в его “Собрании государственных грамот и договоров”), далее – несколько фраз Нового Летописца, хронографов и Авраамия Палицына да, в редких случаях, сухие разрядные записи. На этом можно было основать лишь очень краткий отчет о ходе самого избрания, но можно было дать несколько более пространный рассказ о том, как соборное посольство нашло Михаила Федоровича в Ипатьевском монастыре и там просило его принять народное избрание. Наиболее тщательно пересказал все свои материалы известный И.И. Голиков в “Деяниях Петра Великого”. Он сравнительно мало украсил их риторикою, хотя и думал, что это необходимо. Описав смирение, с которым Михаил Федорович “отрицался от короны, и еще в толь младых летах, когда страсти берут поверхность над разумом”, Голиков восклицал: “Какое цветоносное поле к соплетению похвального венца сему монарху, сему великодушному деду Петра Великого, предлежит вам, о знаменитые пииты и ораторы!” Если устраним “соплетения” самого Голикова, то в его рассказе найдем добросовестное пользование источниками. Он начинает свою повесть о царском избрании с указания на рассылку из освобожденной Москвы “граммат” во все города, “дабы для избрания государя все знатные, из духовных и светских особ, поспешили приездом своим в Москву, а от прочих сословий людей прислали бы депутатов”. Быстрота, с какою собрался земский собор, удивляет Голикова: он отмечает, что “в непонятной скорости все, кроме дальних стран, съехались в Москву”. Известно Голикову (по летописи) “недоумение” и колебание “депутатов” в их первоначальном обмене мыслей о том, кого бы можно избрать “на сие верховное достоинство”, кому было бы возможно “толико обуреваемого Отечества вручить кормило”. Разные имена “кандидатов” называли “депутаты”, но ни на одном не смели они остановиться. Такая осторожность не сдерживала, однако, многих “честолюбивых бояр”, добивавшихся для себя царского сана происками и подкупом. Происходило поэтому “несогласие и волнение мыслей”, и долго никому на ум не приходило назвать “малолетнего” Михаила Федоровича, не имевшего “никаких необходимо нужных к правлению опытностей”. Для Голикова так и осталось необъяснимым, как именно произошло, что “в таком смятении и несогласии мыслей сверх всякого чаяния услышали в собрании произнесенное имя Михаила Федоровича”. Но Голиков уверен, что “сей глас, произнеши имя его, есть глас Божий”: “вдруг все волны честолюбия утишились, все разногласия исчезли, все мысли соединились” – и совершилось единодушное из-

брание царя в “собрании”, то есть на земском соборе. Свершив избрание, собор послал от себя на лобное место “для вопрошения у всего воинства и у всего народа”, кого *они* “мнят достойным к избранию”. Все множество возопило имя Михаила. “Толико разномыслящия сердца во мгновение соединить во едину волю и угасить во всех пламень честолюбия – возможно только единой всесильной деснице Всемогущего!” Так заключает Голиков свое описание царского “обиранья”.

Главные моменты этого описания: спешный созыв и съезд собора, разногласие “депутатов”, “подкупы” и “засылки” честолюбцев-желателей царства, радостное единодушие всех при появлении кандидатуры Михаила Федоровича – все это взято Голиковым из его источников. Оттуда же заимствована и самая точка зрения на ход событий; бессилие человеческой мысли и борьба честолюбий представляется поводом для высшего вмешательства: “многое было волнение всяким людем, койждо хотяше по своей мысли деяти” (слова Нового Летописца); “и тако бысть по многие дни собрание людем, делла же толикия вещи утвердити не возмугут” (слова князя Катырева-Ростовского); “и сие всем известно бысть, яко не от человек, но воистину от Бога избран великий сей царь и государь” (слова Авраамия Палицына). Голикову самому принадлежала только литературная оболочка, в которую он облек свой материал, сочетав в своем изложении данные официальной грамоты с показаниями частных сказателей.

Решаемся сказать, что описания Голикова никто не превзошел до середины XIX столетия, когда появилась (в “Опытах трудов студентов Главного педагогического института шестого выпуска”. СПб., 1852) статья Николая Алексеевича Лавровского “Избрание Михаила Феодоровича на царство”. Для описания самого избрания царского Лавровский располагал тем же материалом, какой знал и Голиков; нов был разве только текст официальных “разрядов”, близкий к тексту избирательной грамоты 1613 года. Но Лавровский знал ту литературу о Смутном времени, которая выросла после Голикова (главным же образом “Истории” Карамзина), и те акты Смутного времени, которые были напечатаны графом Румянцевым и Археографическою комиссиею. Поэтому Лавровский лучше понимал эпоху, чем Голиков, и обладал критическим приемом, какого не было у Голикова. Для своего времени труд Лавровского имел большие достоинства и представлял живой интерес.

Фактическую часть своего труда Лавровский начинал “кратким обозрением событий Смутного времени”. Он красноречиво излагал наставшее с падением Шуйского “разрешение всех уз государственного устройства, господство мятежей и безначалия”.

Затем он следил за “пробуждением народного самочувствия” в движении Ляпунова и за “торжеством народных усилий” в ополчении Минина с князем Пожарским и в избрании М.Ф. Романова. Последнее событие представляет для автора “два дня, равно важных, равно священных и памятных русским”: 21-го февраля и 14-го марта. Посему автор и ставит себе целию: “1) изобразить акт самого избрания со всеми относящимися к нему подробностями и 2) представить столь же подробное изображение действий достопамятного посольства (от собора к царю Михаилу Федоровичу)”. Очерки Смутного времени в труде Лавровского не представляют теперь для нас никакого интереса; но для самого автора они были нужны, так как давали необходимую историческую обстановку главному “акту” его исследования и выясняли условия нарастания того “народного самочувствия”, которое привело собор 1613 года к решению избрать непременно “своего”, а “не взяти иноземца”, и из своих выбрать именно М.Ф. Романова. Эти две стадии избирательной кампании и намечает Лавровский с большою чуткостью. Первая стадия привела собор к отрицательному решению – не выбирать царя из иноземцев. “Того у нас и на уме нет, – писали от имени собора, – чтоб нам взяти иноземца на Московское государство”; собор единодушно условился: “литовскаго и свийскаго короля и их детей, за их многия неправды, и иных некоторых земель людей на Московское государство не обирать и Маринки (Мнишек) с сыном не хотеть”. Это отрицательное решение естественно вело к положительному: “советовали общим советом” избрать “на Московское государство государя праведна и милосерда из московских родов, кого Бог даст”. Таким “советом” открылась вторая стадия избирательных совещаний. Лавровский излагает ее по той же схеме, как и Голиков, следуя тем же источникам. Более чем Голиков он распространяется о вероятных кандидатах, о которых могли “говорить на соборех”, и которые сами могли “накупаться на царство”. Очерк истории рода Романовых в XIV–XVI вв. дает Лавровскому право сказать, что членов этого рода отличали “безукоризненность побуждений и добродетели”. Хотя, казалось бы автору, “всеобщее и сильное расположение” к роду и лицу Михаила Федоровича исключало возможность соперничать с ним на соборе другим кандидатам, однако такое соперничество открылось и замедлило ход соборных совещаний “на многие дни”. Очень тонко Лавровский дает понять, что отдельные лица не могли равняться с Михаилом Федоровичем ни в праве на трон, ни в народной любви. По изображению Лавровского собор обсуждал “многое время” не достоинства *лиц*, а нечто другое: он стремился определить ту *среду*, из которой надлежало избрать

царя. Сначала вообще говорили “о царевичах (татарских), которые служат в Московском государстве, и о великих родах”; потом ограничили это определение одними “московскими русскими родами” и, наконец, решили “избрать царя от племени... Федора Ивановича всея Руси”. Когда же остановились на этой мысли, “тогда уже, конечно, не могло быть продолжительных разсуждений”, кто именно должен занять престол: одна была “благородная отрасль царскаго корене” – Михаил Федорович Романов. Подробному описанию торжества провозглашения его царем и посольства к нему в Кострому посвящены дальнейшие страницы труда Лавровского. Здесь он следует избирательной грамоте и “дворцовым разрядам”. Изображение дней 21-го февраля и 14-го марта 1613 года по существу у Лавровского то же, что у Голикова. В заключение, однако, Лавровский ставит (с большою осторожностью) вопрос, не занимавший Голикова, – о полноте власти вновь избранного государя – и приходит к выводу, что “Михаил Федорович был государь в полном смысле неограниченный”.

В условиях того времени, когда писалась и печаталась статья Лавровского (1850–1852 гг.), нельзя было требовать более, чем дал читателю молодой ученый. Он достиг возможного предела как в полноте материала, так и в прямоте изложения. В труде его уже нет той зависимости от первоисточника, какая характеризует Голикова. Но неполнота этого первоисточника остается непобежденною; исследователь еще не видит реальных черт изучаемого события; повторяя традиционные данные, он дополняет их простым домыслом и лишь постольку, поскольку это допускают литературные условия его сурового времени.

Свободная критика традиции в вопросе о царском избрании 1613 года началась значительно позднее. Ее не найдем в общих трудах по русской истории ни С.М. Соловьева (1858), ни Бестужева-Рюмина (1887). Первый из них лишь очень кратко повествует (в конце VIII тома “Истории России”) об обстоятельствах избрания, причем совсем произвольно, без видимой критики, выбирает те показания источников, которые считает наиболее характерными. Второй же (в своем известном “Обзоре событий”, напечатанном в Журнале Министерства народного просвещения за 1887 год) вовсе уклоняется от изложения хода избрания, давая лишь в примечаниях некоторые цитаты и литературные ссылки. Менее, чем можно было бы желать, находим мы критического настроения и в позднейших монографиях, касавшихся московских событий 1613 года. Так, во втором томе (1882) любопытного труда “Род Шереметевых” А.П. Барсуков дал пространный рассказ о царском избрании 21 февраля 1613 года. Многие в этом рассказе

изложено по “утвержденной грамоте” и по сказаниям; но рядом с ними в качестве руководящего источника впервые появляется пресловутый трактат Страленберга “Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia” (1730) с его повествованием об избрании на царство М.Ф. Романова. Весьма известно, что сообщения этого автора будят много недоумений и сомнений. Пленный швед Страленберг был ознакомлен не с русскими документами XVII века, а с русскими преданиями XVIII столетия; по рассказам Страленберга можно поэтому судить не о том, что действительно было на Руси в начале XVII века, а только о том, как современные Страленбергу русские люди представляли себе то, что происходило за сто лет до них. Любопытный рассказ шведского автора остался у А.П. Барсукова без должной оценки. И нельзя винить за это уважаемого исследователя: ему принадлежала заслуга первого использования нового источника; что мудреного в том, что впечатления новизны расположили его к доверчивости? Даже такой богатый научным скепсисом исследователь, как В.О. Ключевский, увлекся в свое время Страленбергом. После того, как ему, на докторском его диспуте, была указана Н.А. Поповым книга Страленберга, он ввел ее данные во второе издание “Боярской думы” (1883). Стоит сравнить первое издание этого известного труда (с. 377, 380, 390) со вторым (с. 361, 365, 375), чтобы увидеть, как много внимания отдал В.О. Ключевский преданиям, записанным у Страленберга, хотя тут же и назвал их “поздним и мутным источником”.

Появление в научном обороте показаний Страленберга не только обогатило тот запас известий, какой обычно привлекался к изучению истории царского избрания 1613 года, но и поставило заново вопрос о том, с условиями, или же без них, получил Михаил Федорович московский престол. В новом объеме сведений, хотя и с разным настроением, рассматривали избрание М.Ф. Романова Э. Бауэр (в статье “Die Wahl M.F. Romanows” в журнале “Historische Zeitschrift” 1886 г.) и г. Иловайский в его “Смутном времени Московского государства” (1894). Но шаг вперед в научном понимании дела был сделан не ими, а профессором Алексеем Ивановичем Маркевичем в статье “Избрание на царство М.Ф. Романова” (Журнал Министерства народного просвещения за 1891 год). Покойный историк высказал мысль, что в русской истории царское избрание 1613 года принадлежит к числу “эпизодов, облеченных известною долею таинственности”. Неясны, во-первых, причины, почему выбор земского собора пал на лицо, не обладавшее ни опытом, ни характером, на лицо, от которого нельзя было ждать почина и руководства и которое само еще нуждалось в опеке. Во-вторых, неясны условия, на каких досталась

власть избранному всею землею царю. Осветить эти две неясности и старается А.И. Маркевич. Он дает предварительно перечень источников, служащих для истории царского избрания, и, указав на недостатки Страленберга как малокомпетентного свидетеля, предлагает читателю посылить точный перевод всех относящихся к делу сообщений Страленберга. Затем он переходит к анализу фактических подробностей избирательного периода. Маркевич уверен в серьезности иноземной кандидатуры на московский престол шведского королевича Филиппа и в существовании кандидатуры австрийского эрцгерцога. Поэтому он придает действительное значение решению собора отказаться от иностранных кандидатов. Последовавшая затем борьба мнений относительно прав и шансов на престол московских “великих родов” рассматривается Маркевичем очень подробно; но возникновение кандидатуры Михаила Федоровича в его изложении рисуется еще неясно, и роль казаков в деле царского избрания остается без детальной оценки, хотя Маркевичу и достаточно известны данные, говорящие об этой роли. Не придавая почину казаков должного значения, автор приходит к заключению, что “выбор юного государя был результатом известной работы тех лиц, которые овладели национальным движением 1612 года и желали довести свое дело до конца: им важно было иметь такого государя, за которого они могли бы управлять”. Обращаясь к вопросу о том, кто же были эти лица, Маркевич замечает: “конечно, нам их точно не узнать”; однако он определенно ищет их в боярстве. Поэтому, обратившись к известиям об ограничениях царя Михаила, он и их источник видит также в боярской среде. Не придавая формально-обязательного характера тем обещаниям, которых якобы просили у нового государя при его избрании, Маркевич уверенно предполагает, будто “бояре, составляя условия”, понимали, что “исполнение обещанного было вполне делом доброй воли царя”.

Если даже и не согласиться с главнейшими выводами Маркевича, все же надо признать за его статью большое историографическое значение. В ней впервые систематически и толково пересмотрены не только все материалы касательно самого избрания 1613 года, но и все сведения об “условиях” избрания. В надлежащий порядок приведены и критически оценены как официальные, так и частные известия о ходе избрания; правильно определены его важнейшие моменты; выяснен, собран и освещен материал, по которому можно судить о характере (или же о самом существовании) ограничений. Дальнейшее движение в изучении вопроса должно было идти не к обличению погрешностей Маркевича, а к

дополнению его материала новыми данными и, в зависимости от этого, к исправлению его выводов.

К числу серьезных научных приобретений последнего времени прежде всего надлежит отнести прекрасное издание “утверженной грамоты об избрании на Московское государство М.Ф. Романова”, выпущенное Императорским Московским обществом истории и древностей российских в 1904 году, в виде фототипии с присоединением печатного текста грамоты. (Это издание печатного текста было повторено в 1906 году.) Новый текст с точным воспроизведением (в двух списках) имен участников избирательного собора дает прочное основание для детального изучения состава избирателей. Во-вторых, в сборнике профессора Ал. Гиршберга “Polska a Moskwa” (1901) был напечатан любопытный памятник – грамота князя Д. Мезецкого и дьяка Ивана Грамотина от 24-го ноября 1612 года королю Сигизмунду и его сыну “царю и великому князю” Владиславу. Эта грамота сохранилась в тексте русского статейного списка, названного в издании “дневником московского посольства”, и содержит в себе ценнейшие сведения о положении дел в Москве пред царским избранием. Наконец, столь же любопытные сведения о московской жизни конца 1612 и начала 1613 года оказались в шведском современном материале, опубликованном г. Альмквистом в “Le Monde Oriental” 1907 г. (“Nouveaux documents sur l’histoire de la Russie en 1612–1613”), а затем и в “Сборнике Новгородского общества любителей древности”, выпуски V (1911) и VI (1912 г.). На основании грамоты князя Мезецкого и шведских документов оказались возможны новые наблюдения над взаимными отношениями московских сословных групп в зиму 1612–1613 гг., в тот важный момент, когда этим группам предстояло объединиться в освобожденной Москве на общем деле царского избрания. Эти наблюдения ведут к ясному пониманию того, как возникла на земском соборе кандидатура Михаила Федоровича, кем она была поддержана и какой политический смысл имела.

Важность грамоты князя Мезецкого и дьяка Ивана Грамотина впервые русским читателям была указана на страницах Журнала Министерства народного просвещения, в отзыве К.В. Хилинского об издании А. Гиршберга (1903 г. № 8). Там же было приведено целиком и то место грамоты, которое содержит показание взятого поляками в плен под Москвою сына боярского Ивана Философова о положении дел в самой Москве в конце ноября 1612 года. Это замечательное место передаем здесь точными словами князя Мезецкого и Грамотина: “А в роспросе, господари, нам и полковником сын боярской (именно Иван Философов) сказал, что

на Москве у бояр, которые вам, великим государям, служили, и у лучших людей хотение есть, чтоб просити на господарство вас, великаго государя королевича Владислава Жигимонтовита, а имянно де о том говорити не смеют, боясь казаков, а говорят, чтобы обрать на господарство чужеземца; а казаки де, господари, говорят, чтоб обрать кого из русских бояр, а примеривают Филаретова сына и воровского колужского. И во всем деи казаки бояром и дворяном сильны, делают, что хотят; а дворяне де и дети боярские разъехались по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских всего тысячи с две, да казаков полпятаи тысячи человек (то есть 4500), да стрельцов с тысячу человек, да мужики чернь. А бояр деи, господари, князя Федора Ивановича Мстиславскаго с товарищи, которые на Москве сидели, в Думу не припускают, а писали об них в города ко всяким людем: пускать их в Думу, или нет? А делает всякия дела князь Дмитрей Трубецкой да князь Дмитрей Пожарской да Куземка Минин. А кому вперед быти на господарстве, того еще не постановили на мере”.

Руководясь показаниями Ивана Философова и сопоставляя их с другими данными о поведении казаков после освобождения Москвы, мы можем ясно понять, что в конце 1612 года казаки почувствовали свое численное превосходство и возвращались к мысли о политическом преобладании в стране, утраченном казаками после побед над ними князя Д.М. Пожарского. Они не только вышли из повиновения у земских властей, но и мечтали по-своему провести дело царского избрания. Авраамий Палицын в той главе своего “Сказания”, которая посвящена избранию Михаила Федоровича, с ужасом говорит о казаках: “Казацкаго же чина воинство много численно *тогда* бысть и в прелесть велику *горьше прежняго* впадоша, вдавшеся блуду, питию и зерни, и пропивше и проигравше вся свои имения, насилующе многим в воинстве, паче же православному христианству, и исходяще из царствующаго града во вся грады и села и деревни и на путех грабяще и мучаще немилостивно, сугубейши перваго десятирицею. И кто может изглаголати тоя беды, *тогда* сотворшиися от них? Ни един бо от неверных сотвори толика зла, еже они творяху православным христианом, различно мучаще! И бысть во всей России мятеж велик и нестроение *злейши перваго!*..” Вся сила этой характеристики Палицына сказывается при ее сопоставлении со сдержанными и официально-бесцветными словами показания Философова: “и во всем деи казаки бояром и дворяном сильны, делают что хотят”. Можно понять, как опасна была эта разнузданная масса для временного боярского правительства, распустившего свое войско и потому слабого внешними силами. Естественно было спешить с

созывом “собора вся земли”, чтобы в нем получить нравственную опору против казачества с его притязаниями поставить кого-либо на царство одним своим умыслом. Изданные Ст.Б. Веселовским “Новые акты Смутного времени” удостоверяют, что грамотами 15–19 ноября 1612 года от московских властей земские выборные люди в Москву требовались “наспех” на Николин день, то есть к 6 декабря 1612 года. Когда же в Москве убедились, что в 3–4 недели не собрать собора, то повторяли свои приглашения, уже не указывая точно срока, но все-таки требуя присылки выборных “тотчас наскоро”. Такова была тревожная обстановка избирательного собора 1613 года.

Соображая сложные обстоятельства той политической минуты, мы имели случай, несколько лет тому назад, обсудить условия успеха на соборе кандидатуры Михаила Федоровича. В статье нашей “Московское правительство при первых Романовых” (в Журнале Министерства народного просвещения за декабрь 1906 года) мы писали: «Собравшись в Москву в исходе 1612 или в самом начале 1613 года, земские выборные хорошо представили собою “всю землю”. Окрепшая в эпоху Смуты практика выборного представительства позволила избирательному собору на самом деле представить собою не одну Москву, а Московское государство в нашем смысле этого термина. В Москве оказались представители не менее 50-ти городов и уездов: представлены были и служилый и тяглый класс населения; были и представители казаков. В своей массе собор оказался органом тех слоев московского населения, которые участвовали в очищении Москвы и восстановлении земского порядка; он не мог служить ни сторонникам Сигизмунда, ни казачьей политике. Но он мог и неизбежно должен был стать предметом воздействия со стороны тех, кто еще надеялся на восстановление королевской власти или же казачьего режима. И вот, отнимая надежду как на то, так и на другое, собор прежде всякого иного решения торжественно укрепился в мысли: “а литовскаго и свийскаго короля и их детей, за их многия неправды, и иных некоторых земель людей на Московское государство не обирать, и Маринки с сыном не хотеть”. В этом решении заключалось окончательное поражение тех, кто думал еще бороться с результатами московского очищения и с торжеством средних консервативно настроенных слоев московского населения. Исчезало навсегда “хотение” бояр и “лучших людей”, которые “служили” королю, по выражению Философова, и желали бы снова “просити на государство” Владислава. Невозможно было долее “примеривать” на царство и “воровского калужского”, а, стало быть, мечтать о

соединении с Заруцким, который держал у себя “Маринку” и ее “воровского калужского” сына».

«Победа над боярами, желавшими Владислава, досталась собору, думается, очень легко: вся партия короля в Москве была разгромлена временным правительством тотчас по взятии столицы, и даже знатнейшие бояре, “которые на Москве сидели”, вынуждены были уехать из Москвы и не были на соборе вплоть до той поры, когда новый царь был уже избран: их вернули в Москву только между 7 и 21 февраля. Если до собора сторонники приглашения Владислава “имянно о том говорити не смели, боясь казаков”, то на соборе им надобно было беречься еще более, боясь не одних казаков, но и “всей земли”, которая одинаково с казаками не жаловала короля и королевича. Другое дело было земщине одолеть казаков: они были сильны своим многочисленством и дерзки сознанием своей силы. Чем решительнее земщина становилась против Маринки и против ее сына, тем внимательнее должна была она... отнестись к другому кандидату, выдвинутому казаками, – к “Филаретову сыну”. Он был не чета “воренку”. Нет сомнения, что казаки выдвигали его по тушинским воспоминаниям, потому что имя его отца Филарета было связано с тушинским табором. Но имя Романовых было связано и с иным рядом московских воспоминаний. Романовы были популярным боярским родом, известность которого шла с первых времен царствования Грозного. Незадолго до избирательного собора 1613 года, именно в 1610 году, совсем независимо от казаков, М.Ф. Романова в Москве считали возможным кандидатом на царство, одним из соперников Владислава. Когда собор настоял на уничтожении кандидатуры иноземцев и Маринкина сына и “говорили на соборах о царевичах, которые служат в Московском государстве, и о великих родех, кому из них Бог даст на Московском государстве быти государем”, – то из всех великих родов естественно возобладал род, указанный мнением казачества. На Романовых могли сойтись и казаки и земщина – и сошлись: предлагаемый казачеством кандидат удобно был принят земщиною. Кандидатура М.Ф. Романова имела тот смысл, что мирила в самом щекотливом пункте две еще не вполне примиренные общественные силы и давала им возможность дальнейшей солидарной работы. Радость обеих сторон по случаю достигнутого соглашения, вероятно, была искренняя и велика, и Михаил был избран действительно “единомышленным и нерозвратным советом” его будущих подданных».

Высказанное нами мнение об исключительном значении для взаимно непримиренных общественных групп кандидатуры М.Ф. Романова вполне разделяет последующий повествователь

о начале русской династии А.Е. Пресняков. В его статье, вошедшей в сборник “Три века. Россия от Смуты до нашего времени” (под редакцией В.В. Каллаша. М., 1912), читаем следующее: «Собор сошелся с казаками в твердом намерении избрать царя из русских бояр и, по-видимому, казаки первые подняли речь о “Филаретовом сыне”, Михаиле Федоровиче Романове. Едва ли они допустили бы избрание другого лица. Враждебные боярству, они, однако, были под влиянием тушинских связей митрополита Филарета и всего романовского круга. И в земщине эта кандидатура должна была встретить сочувственный отклик. Свойство с угасшей царской семьей, популярность деда и отца, незапятнанность молодого имени – говорили в пользу Михаила. К его имени, как возможного избранника, уже привыкли, так как о нем шли толки по низложению Шуйского, и за него был авторитет погибшего за веру Гермогена. Кандидатура была приемлема и в то же время устраняла опасность нового разлада. И собор 7-го февраля 1613 года “яко едиными усты” нарек Михаила царем. Чтобы действительно разрешить долгий правительственный кризис, это избрание не должно было быть партийным. На нем сошлись земщина и казаки. Затем призвали в Москву высланных – бояр, князя Мстиславского с товарищами, “для общаго земскаго совету” и участия в провозглашении Михаила, а “во все города Российскаго царствия” отправили верных людей провеживать “во всяких людях мысли их про государское обирание”. И только убедившись, что избрание будет “единомышленным и нерозвратным”, торжественно провозгласили нового царя – 21-го февраля».

Стало быть – вопреки взглядам А.И. Маркевича – надо представлять себе дело царского избрания в 1613 году так, что выбор царя Михаила не был результатом “работы” бояр, которые хотели иметь такого государя, за которого они могли бы управлять. Напротив, кандидатура лица из романовского рода возникла в демократических низах общества и была поддержана средними его слоями, потому что ходом московской истории романовский род снискал себе известность и популярность в самых различных общественных кругах. Боярство – родовитое потомство княжат, “князь Ф.И. Мстиславский с товарищи”, – даже не присутствовало в Москве на соборе в то время, когда там обозначилась и восторжествовала кандидатура Михаила: бояре были призваны в Москву на собор из их вотчин только к 21 февраля для участия в окончательной санкции без них решенного избрания. Они продолжали оставаться не у дел, по-видимому, до Пасхи 1613 г., когда совершилась, по государевой милости, их амнистия.

В таких условиях нельзя и представить себе возможности *боярских* ограничений царя Михаила Федоровича. Разбитая в Смуте и не поддержанная новой династиею, древняя московская знать мало значила в романовской Москве и смиренно переносила опалы нового “великого государя”. Романовская администрация вся была создана новой династией и, держась за нее, не могла находить интереса в ее ограничении, ибо это было бы ее собственным ограничением. Кто из ученых не находит возможным (как лично мы находим) отрицать существование каких бы то ни было “ограничений” или “условий” в 1613 году, тот должен поставить вопрос о них заново и искать их источника не в боярстве или бюрократии, а в какой-либо иной среде. Мы же думаем, что легче объяснить происхождение преданий об условиях, чем доказать их действительное существование.

Избрание на царство Михаила Феодоровича Романова (1913)

I

Избрание Михаила Феодоровича Романова на престол “великих государств Российскаго царствия” обыкновенно представляется нам как конец Смуты в Московском государстве и начало твердого правопорядка. Так хотели представлять себе это избрание и его современники. Несмотря на полное разорение самой Москвы и почти всего царства, несмотря на явные признаки внутреннего разлада и грозной опасности иноземных вторжений “от немецкой и литовской украины”, московские люди твердо уповали на лучшее будущее. Избирая “радостными душами” “благороднаго корени благоцветущую и неувядаемую отрасль” – болезненного и несовершеннолетнего Михаила, земский собор верил, что Господь пошлет новому царю “свою святую милость, умножит лет живота его и царство его устроит мирно и немятежно”.

Для таких чаяний и надежд имелись, конечно, основания. Особенно важна была для современников та особенность царского избрания 1613 года, важность которой нам теперь трудно в достаточной мере почувствовать и оценить. Новый государь был избран “единомышленным и нерозвратным советом” всех его избирателей, ибо соединил на себе симпатии решительно всех общественных групп, кроме разве непримиримой части казачества и “верников” Сигизмунда. Можно думать, что одна только семья Романовых могла вызвать такое единодушие в ту пору, когда “по общему земскому греху и по зависти диавола” каждого из бывших в смуту государей “многие люди возненавидели и от него отстали, и учинилась в Московском государстве рознь”. С появлением у власти М.Ф. Романова впервые мелькнула надежда на то, что долгая и очень острая вражда классов и отдельных кружков может быть примирена и что, наконец, в лице Михаила “сам Бог избрал” на московский престол такого царя, которому “служити и прями” и за которого “головы свои класти от мала и до велика все люди ради”.

II

Чтобы объяснить такое значение семьи Романовых в 1613 году, необходимо сделать некоторое отступление в историю Смутного времени.

Эпоха Смуты, как известно, началась борьбой за московский престол, “вдовевший” после смерти царя Феодора Иоанновича и после отказа от власти и от мира его вдовы царицы Ирины. В этой борьбе приняли участие: Годуновы, Романовы, князья Шуйские. Первый успех выпал на долю Годуновых; но им же первым суждена была и гибель. Видны на престол старшего из Романовых, Феодора Никитича, не удалось, и вместо “царских утварей” он, по милости царя Бориса, стяжал себе монашескую рясу. Не удалась затем и попытка, при воцарении Василия Шуйского, возвести “старца Филарета” (раньше – Феодора Романова) на патриаршество. По воле царя Василия патриархом тогда стал Гермоген, старец же Филарет удовольствовался саном ростовского митрополита, а его младший брат, параличный Иван Никитич Романов, числился в боярах у царя Василия. Остальные братья “Никитичи” Романовы окончили свою жизнь в лишениях ссылки. Многолюдная семья Романовых оскудела людьми и, казалось, потеряла все то прежнее влияние, каким она пользовалась по родству с Грозным и по его расположению. Судьба готовила Романовым еще и новые испытания.

В 1608 году тушинцы пленили Филарета; из Ростова они его отвезли в Тушино и там вместо митрополита стали именовать его патриархом Московским. Самозванческая затея – иметь в Тушине своего патриарха – могла погубить моральное достоинство Филарета. Однако доброе его имя поддержал тот самый патриарх Гермоген, против которого Тушино выставило Филарета как патриарха. Гермоген громко заявил, что почитает Филарета “пленником” и его “не порицает”. Из тушинского “плена” Филарет скоро перешел в польский и томился у короля Сигизмунда в заточении “добрым страдальцем” за Москву. Казалось, что судьба Романовых была немногим лучше плачевной судьбы Годуновых. Пожалуй, меньше жертв, но еще больше бесчестья и унижений понесли Шуйские. Из всех “желателей царства” горше всех была судьба именно царя Василия: его царствование было бесславно, а конец позорен: сведенный с престола и постриженный поневоле в монахи, он окончил жизнь в унижениях польского плена. А престол московский продолжал “вдоветь”, потому что никто из его “желателей” не мог сладить с возбужденною смутой страной.

Борьба за престол сокрушила все московские семьи, жаждавшие царского сана, – и тогда к московскому трону потянулись

иноземцы. Сами бояре звали на Москву шведско-польский дом Вазы в лице королевича Владислава, и посредством мимолетной династической унии с Речью Посполитой мечтали погасить вековую вражду с этим государством. Другой Ваза – из Швеции – настойчиво напрашивался на Московское государство, после того как ему удалось с бою “обовладеть” Великим Новгородом. Для московской самобытности, казалось, наступили последние дни. Шведская сила в Новгороде и польское насилие в Москве должны были повести к разделу “великих государств Московского царствия” между удачливыми соседями. Но еще не умерло народное чувство в растерзанном междоусобиями московском народе. Против иноземцев началось движение народных масс. На время погасла сословная вражда, разъедавшая московское общество, и на выручку захваченной польско-литовскими войсками Москвы двинулось ополчение очень пестрого состава: дворянин-рабовладелец шел рядом с беглым холопом и тяглым мужиком. Оно осадило Москву и провозгласило себя правительством “всея земли” на смену севшего с поляками в осаде “изменного” боярства. Однако возбужденный патриархом Гермогеном порыв патриотизма не мог вовсе искоренить старой московской розни: она ожила в народном войске под Москвою и погубила ополчение. Произошло обычное расслоение: оппозиционные элементы московского общества сбились в особые “казачьи таборы” и начали прямую войну с дворянством. Тогда дворяне бросили осаду и поехали “по домам”, разнося по своим уездам вести о казачьем “воровстве” и отчаяние в народном будущем. Под Москвою остались “таборы” с подобием правительства “всея земли”, которого земля не желала слушать. Иной же, более авторитетной, власти в стране не существовало. Настала, казалось, последняя минута исторической драмы и пришел конец Московскому государству.

Однако в эту роковую минуту “последние люди” Московского государства нашли в себе силы сделать еще одну попытку к спасению Отечества. Почин ее изошел от городского торгово-промышленного люда, давшего материальные средства и личную энергию. Поддержали дело служилые люди: получив в городах опору и обеспечение, они могли создать хорошее войско и дать ему способных “начальников”. Новая организация, зародившаяся в Нижнем Новгороде и объединившая весь московский Север и Поволжье, стала на определенном принципе: считать врагом порядка и народного освобождения не одного иноверца и чужеземца, но и своего “вора”. Первые удары этой организации были направлены именно на своих “воров” казаков. Весь конец 1611 и

первая половина 1612 года ушли на борьбу с казачьим засильем, и когда – к осени 1612 года – земское ополчение подошло к Москве, казачьи таборы были уже побеждены и подлежали ликвидации. Непримируемая часть казачества бежала из-под Москвы на Каспий; остальные “таборы” капитулировали пред земщиной и присоединились к земскому ополчению в качестве его союзников. Впервые за всю Смуту сословная рознь была погашена ценою отречения “воров” от “воровства”, и обе части земской рати – и земская, и казачья – получили возможность дружно “добывать” Московский Кремль от вражеского гарнизона. Они и добыли его 22 октября 1612 года.

С уничтожением врага в столице Московское государство получило вид освобожденной страны, в которой надобно было скорее налаживать порядок. Прежде всего, казалось, необходим был государь, ибо “безгосударными” московские люди не желали оставаться “ни малое время”. Для “государскаго обирания” пытались созвать в Москву выборных представителей от “всяких чинов людей всех городов” к 6 декабря, затем к 25 декабря. Съехались они, однако, лишь в январе 1613 года и тогда стали “на соборех” говорить о том, “кому Бог даст быть государем на великих государствах Российскаго царствия”.

III

Таковы были события, предшествовавшие избранию Михаила Феодоровича. Смута последовательно сводила с политической сцены “великие роды” московские XVI века. После кратковременного торжества были приведены в ничтожество Годуновы. Бурями Смуты разбит был весь Романовский круг. Князья Шуйские погибали в плену. Семья князей Голицыных была разрознена, и старший из них был полонен вместе с Филаретом Романовым. Бояре князья Мстиславский, Воротынский, Куракин и др. оказались в явной – хотя бы и невольной – близости к королю Сигизмунду и рассматривались как изменники. “Отъял Господь сильныя земли”, – выразился один из современников, говоря о разгроме в Смуту московской аристократии. При таких условиях, когда Господь “отъял сильныя земли”, трудно было, разумеется, определить, за кем из московской знати более прав и возможности наследовать “великим государям московским” и сесть на их “вдовевший” престол.

Когда в конце 1612 и в начале 1613 года в Москве формировался земский собор для избрания царя, печальное положение московской знати было учтено. Для многих казалось невозможным искать царя между своими людьми, в среде разбитого бояр-

ского класса. И “восхотеша начальницы паки себе царя от иноверных”, – говорит летописец. Возродилась мысль о желательности пригласить на московский престол лицо из чуждого владетельного рода. Король Сигизмунд и его сын Владислав получали в ту пору из Москвы вести, что “на Москве у бояр... и у лучших людей хотение есть, чтобы просити на государство вас, великаго господаря королевича Владислава Жигимонтовича, а имянно де о том говорити не смеют, боясь казаков, а говорят, чтобы обрать на господарство чужеземца”. Шведские власти, занимавшие в то время Новгород, также имели от русских людей, попадавших в их руки, неоднократные указания на то, что князь Дм.М. Пожарский и другие “бояре” предпочитали шведского герцога Карла Филиппа туземному кандидату на престол. Словом, в освобожденной Москве, только что испытавшей на себе гнет чужой силы, снова тянулись к этой самой силе из боязни собственного бессилия и безлюдья.

Но если “начальников и бояр” пугала мысль об избрании на царство своего туземного кандидата, то прочую массу московских избирателей и простых обывателей страшила возможность нового воцарения иноземца. Летописец прямо говорит, что “народи ратнии не восхотеша сему быти”. В особенности же среди этих “ратных народов” настроены против иноземца были казаки. По многим известиям именно они “примеривали” на царство туземных кандидатов и своим беспокойным настроением создавали очень тревожную атмосферу в Москве. Не разделявшее боярской мысли об иноземном царе среднее население Москвы, тем не менее, смотрело на казаков с великим опасением, боясь самого их “патриотизма”. Желание казаков посадить на престол их собственного кандидата казалось очень рискованным: на Московском царстве могло оказаться отрождение самозванщины – “Маринкин сын”, “воренок” царевич Иван. Как ни странно кажется это на первый взгляд современному нам наблюдателю, страх москвичей пред побежденным и, казалось бы, укрощенным казачеством воскрес в конце 1612 года с новою силою, и “казачий вопрос” получил особую остроту в Москве, именно ко времени царского избрания.

Острота отношеий к казачеству создана была тем неожиданным для москвичей обстоятельством, что казаки к концу 1612 года нежданно-негаданно оказались в Москве многочисленнее всех прочих родов московского воинства. Когда войско князя Пожарского завоевало Москву, оно сочло, что его “поход” окончен, и служилые люди получили разрешение возвратиться в свои уезды по домам. Содержать полностью всю рать в разоренной Москве

властям было трудно; еще труднее было служилому люду кормиться там своими средствами. Не представлялось и прямой нужды держать в столице большие массы полевого войска, ибо врага близко не было. Казалось достаточным оставить в Москве лишь необходимый гарнизон. По обычному порядку в состав его вошли московские дворяне, некоторые группы “городовых” дворян из различных уездов, затем остатки старого московского гарнизонного войска – стрельцы, – и, наконец, казаки. Последних некуда было распустить, как дворян, – по их бездомности, и в то же время их нельзя было разослать на службу в города – по их ненадежности. Приходилось их всех оставить в столичном гарнизоне; а было их тогда, по точному показанию одного современника, 4500 человек, стрельцов же насчитывали около тысячи человек, а дворян и детей боярских “всего тысячи с две”. Таким образом, в исходе 1612 года казачье войско в Москве числом более чем вдвое превосходило дворянскую силу и раза в полтора превосходило дворян и стрельцов вместе взятых. Почувяв свое численное преобладание, казаки подняли головы и думали снова, как в 1611 году, овладеть положением дел в столице. Современники отметили такое настроение казаков: дворянин Иван Философов прямо выразился так, что “во всем казаки бояром и дворяном сильны, делают, что хотят”; шведы говорили о казаках, что в ту пору “казаки в московских столпех сильнейшии”: словом “столпех” московские толкачи, по-видимому, передали слово “Stände” немецкой записи слов Философова.

Вот этот-то сильнейший и беспокойнейший “столп” московским властям и предстояло обеспечить кормами и держать в повиновении и порядке. Задача оказывалась не по силам временному правительству князя Трубецкого и князя Пожарского, за которыми уже не было большой и сильной земской рати. С одной стороны, казаки настойчиво и беззастенчиво требовали кормов и всякого жалованья, а с другой – они открыто мечтали о возведении на царство своих кандидатов. По сообщению летописца, казаки после взятия Кремля “начата прошати жалованья безпрестанно”; они “всю казну московскую взяша, и едва у них немного государевы казны отняша”; из-за казны они однажды пришли в Кремль и хотели “побить” начальников (князей Трубецкого и Пожарского), но дворяне не допустили до этого и меж ними “едва без крови проиде”. По словам Ивана Философова, московские власти “что у кого казны сыщут, и то все отдают казакам в жалованье; а что (при сдаче Москвы) взяли в Москве у польских и русских людей, и то все поимали казаки ж”. Из опросов русских людей шведы узнали, что при таком дележе военной добычи “каждый казак по-

лучил деньгами и ценными вещами по восьми рублей”, – сумма для того времени очень значительная. Тем не менее, казаки этим не удовлетворялись, и их спокойствие и послушание приходилось покупать все новыми и новыми подачками. Одновременно с требованием “кормов” казаки проявляли и некоторую политическую требовательность. Они, очевидно, возвращались к мысли о политическом преобладании, утерянном ими вследствие успехов рати князя Пожарского. Были обстоятельства, наводившие на такую мысль: после Московского очищения во главе временного правительства по чиновному старшинству почитался казачий воевода князь Д.Т. Трубецкой; главную силу московского гарнизона составляли казаки; было явно, что их боялись. Соблазнительна была в их глазах возможность повлиять на дальнейшую судьбу Московского царства. Увлекаясь этою возможностью, казаки заранее – до собора, имевшего избрать государя, – уже “примеривали” на престол наиболее достойных, по их мнению, и удобных лиц. Такими оказывались сын бывшего Тушинского вора “воровской Калужский” царевич и сын нареченного Тушинского патриарха Филарета Романова.

IV

Итак, мы знаем теперь сложность московских внутренних отношений пред царским избранием 1613 года. Разбитая Смутой московская знать не имела в своем составе ни одной уцелевшей фамилии, которая могла бы претендовать на занятие престола с надеждою его укрепить и защитить. Отсюда получала свою устойчивость мысль о призвании царя из чуждой династии. По-видимому, этой мысли держались не только те бояре, которые уже раз позвали царя из Польши, но и сам князь Пожарский, ведший в Ярославле переговоры с Новгородом о принятии царя из Швеции. Однако идея об иноземном монархе не имела никакой популярности в массах. Казаки, высказываясь очень резко против нее, “примеривали” на московский престол своих “тушинских” кандидатов. Прочие “народы” одинаково боялись и боярской идеи, и казацких затей, но сами не знали, кого просить в цари и “много, избираючи, искаху”. “И многое было волнение всяким людем”, – говорит летописец. Надобно было обезопаситься от возможных интриг сверху и от грубого насилия снизу и надобно было осмотрительно наметить достойного избранника на “вдовевший” престол.

Таковы были задачи земского собора, сошедшегося в Москве в январе 1613 года. Каков же был этот собор?

До нас почти совсем не дошло документов собора, кроме торжественной “утвержденной грамоты” об избрании М.Ф. Романа. Нет поэтому подробных и точных сведений о составе собора, о ходе его заседаний и о последовательности рассуждений и постановлений собора.

Что касается до состава собора, то известно, что временное правительство князей Трубецкого и Пожарского грамотами еще в ноябре 1612 года созывало в Москву “изо всяких чинов”, “изо всех городов”, “по десяти человек от городов”, для “государственных и земских дел”, а главным образом для избрания государя, которое должно было совершиться “всякими людьми от мала и до велика”. Выборное начало в представительстве выступает на соборе 1613 года уже в полной силе, как общепринятая и вполне выработанная норма. Состав земского собора 1613 года, судя по подписям его участников на соборной грамоте, определяется так: “освященный собор” включал в себе трех митрополитов (Ефрема, Кирилла и Иону), архиереев, архимандритов и игуменов. Священники давали свои подписи вместе с городскими представителями и иногда называли себя “выборными”, – знак, что они являлись на собор мирскими уполномоченными на основании тех порядков, которые укрепились в городах в Смутное время и втягивали духовенство в мирские дела, вплоть до ратного дела. Поэтому-то белое духовенство и следует считать не в освященном соборе, а в рядах земских представителей. Боярская дума на соборе 1613 года играла особую роль. “Начальники” из Ярославля пришли с Пожарским под Москву и продолжали здесь быть правительственным советом. Когда бояре, сидевшие в Москве с поляками, были освобождены, они по сану своему должны были занять первые места в синклите у Пожарского. Но “начальники”, очевидно, относились к ним как к изменникам и подняли вопрос о них. Один из современников записал, что в Москве бояре, которые в осаде сидели, “в Думу не припускают, а писали о них в города ко всяком людям: пускать их в Думу или нет?” И вопрос, по-видимому, был решен отрицательно: бояре разъехались из Москвы по селам и не были на самом избрании царя. Их возвратили в Москву, когда Михаил Феодорович был уже избран, для участия в окончательном провозглашении нового царя в заседании 21 февраля. Соборную же деятельность руководили не эти старые бояре, а “начальники”. Так устроены были высшие органы управления, церковного и государственного, вошедшие в собор. Земские представители на соборе 1613 года были, по основанию представительства, двух категорий. Одни явились на собор по старому порядку, в силу своего служебного положения; это – придворные чины, “большие

дворяне” и приказные люди. Другие были посланы на собор по избранию и явились туда с “договорами”, то есть с инструкциями избирателей, и “с выборами за всяких людей руками”, то есть с документами, удостоверяющими правильность их избрания. Это были, по старому определению, “изо всех городов лучшие и разумные постоянные люди”. Москва не определяла их числа точным и обязательным для городов порядком. В одной грамоте Пожарский просил определенно по десяти человек от города; по другому свидетельству, из Москвы просили прислать “из дворян и из детей боярских, и из гостей, и из торговых, и из посадских, и из уездных людей, выбрав лучших, крепких и разумных людей, по сколько человек пригоже”. Нельзя поэтому сказать, сколько всего выборных ожидалось в Москву. Нельзя определить и того, сколько их действительно туда приехало, так как у нас нет точного списка участников собора. Под одним экземпляром избирательной грамоты ими сделано 235 подписей, под другим – 238 подписей, и в обоих упомянуто около 277 имен соборных участников. Но это не есть точное число. Выборные подписывали грамоту один за многих товарищей, не называя их поименно; так, выборных нижегородцев было на соборе, как мы случайно знаем, не менее 19, а подписали грамоту всего 5 человек на одном экземпляре и 6 на другом. Можно поэтому думать, что число участников собора, и в частности выборных из городов, было гораздо больше, чем мы знаем по их подписям. По некоторым соображениям можно полагать, что всего соборных людей было до 700. Разбираясь в тех данных, какие представляют нам подписи соборных выборных, мы видим, что на призыв Москвы откликнулись много городов и уездов. Можно насчитать не менее 50 городов, представители которых были на соборе 1613 года. Для того времени 50 городов очень большое число, тем более внушительное, что в него вошли города самых различных областей государства, от Белого моря до Дона и Донца. Таким образом, в территориальном отношении состав представительства надобно признать достаточно полным. В сословном же отношении принято считать собор 1613 года самым полным, потому что на нем кроме служилых людей, казаков и тяглых горожан были еще “уездные люди”. За уездных людей на одном экземпляре избирательной грамоты есть 12 подписей, на другом – 11. Под этим немного неопределенным названием “уездных людей” обыкновенно понимают представителей крестьянства. Для Двинского уезда это и вероятно, потому что на московском Севере, как это известно, процветало крестьянское самоуправление в свободных крестьянских общинах. Но для остальных мест, от которых явились представители “уездных

людей”, это сомнительно. За исключением “Устюжны Железныя”, во всех прочих десяти уездах нельзя предполагать существования свободных от вотчинной власти крестьянских миров. Эти места московского Юга (Тула, Брянск, Новосиль, Курск и др.) известны господством служилого землевладения в его мелких формах, исключавших в то время возможность развития свободного крестьянского владения и самостоятельных тяглых организаций. В этих уездах под “уездными людьми” надлежит разуметь скорее всего низшие разряды служилых людей, приписанных по службе к городам и обеспеченных участками пахотной земли и угодьями вне городов. Осторожнее будет не настаивать на мысли, что на соборе 1613 года сословное представительство было полнее, чем на прочих соборах XVII века. На всех соборах одинаково крестьяне не пользовались правом отдельного представительства, и на всех соборах одинаково были представлены уездные люди. Представительство северных областей сливалось в одно уездных крестьян с посадскими людьми, с которыми они иногда сливались и в отношении податного самоуправления, а представительство южной половины государства соединяло уездных людей низших служилых званий вместе с поместным дворянством в одну группу “всяких служилых людей”.

Так определился состав собора, избравшего новую московскую династию. “Власти” и Дума вошли в собор целиком. Высшие слои служилого московского люда были допущены без избирательных полномочий и, если не поголовно, то в очень большом числе – на основании их служебного положения и значения. Рядовое провинциальное дворянство с низшими слоями служилого люда и городское податное население с близкими к нему слоями свободного северного крестьянства были привлечены к участию в соборе на основе выборного представительства, в котором приняло участие и городское духовенство, избиравшее и избираемое в городских избирательных округах.

Соображая все условия тогдашней соборной практики и приемы организации тогдашнего представительства, надобно признать собор 1613 года очень полным и старательно составленным. Насколько было можно, он хорошо представлял собою “всю землю” и казачье войско и поэтому имел бесспорный политический и моральный авторитет.

V

Ход занятий собора и их внешний порядок нам вовсе неизвестен. Можно только с некоторою надеждою на достоверность заключать о той последовательности, с какою работала на соборе

избирательная мысль. Первым предметом суждений был, по-видимому, вопрос об иноземных и иноверных династиях. В результате прений состоялось общее решение: “Литовскаго и Свийскаго короля и их детей, за их многия неправды, и иных никоторых земель людей на Московское государство не обирать...”. Заодно тогда же был решен вопрос и о казачьей мечте относительно “царевича Ивана”; постановили “Маринки с сыном не хотеть”. Таким образом, собор прежде всего поспешил покончить с тем, что могло казаться ему “изменою” и “воровством”. Ни иноземцу, ни “воренку” не бывать на московском престоле; этим отнимались всякие надежды на успех боярских интриг или казацкого засилья. С принятием такого решения за средними земскими людьми оказалась важная победа, и они могли вести дело избрания по своему разумению. “И говорили на соборех о царевичах (татарских), которые служат в Московском государстве, и о великих родех, кому из них Бог даст на Московском государстве быти государем”. Но уже было показано, что “великие роды” московские находились благодаря Смуте в полном расстройстве, и ни один из них не казался в силах наследовать “прежним великим государям”. Поэтому трудно было собору сразу остановить на ком-нибудь свой выбор; голоса избирающих разошлись: “койждо хотяше по своей мысли деяти”, и каждый говорил про своего. Были и самочинные “желатели царства”: по сообщению современника “многие же от вельмож, желающи царем быти, подкупахуся, многим и дающи и обещающи многие дары”. Началась, словом, избирательная борьба: “по многи же быть собрания людем, дела же утвердити не могут и всуе мятутся семо и овамо”. Насколько можно судить, в эту критическую минуту соборной деятельности на собор было оказано давление извне, со стороны казачества и народных масс. Отказавшись от “воренка”, казаки продолжали “примеривать” на царство другого своего кандидата Михаила Феодоровича Романова. По преданию, “славнаго Дону атаман” первый изъяснил собору права на царство Михаила. К мысли казаков о Михаиле Феодоровиче примкнули и земские люди. Они толпою, вместе с казаками, пришли, например, к троицкому келарю Авраамию Палицыну, прося этого популярного монаха довести до земского собора их просьбу об избрании на престол именно М.Ф. Романова. Стало быть, в то время, когда на соборе “много избирающи искаху”, вне собора земщина и казаки уже нашли имя, на котором могли искренно объединиться. Это имя они и несли на собор. Чем решительнее собор становился против “Маринкина сына”, тем внимательнее должен был он отнестись к другому кандидату казаков – к “Филаретову сыну”, тем вдумчивее должен был он

обсудить все его шансы. Сойдясь с беспокойною и грозною казачьей средою на одном кандидате в цари, собор достигал этим ценнейшего единодушия всей страны в самом важном деле того политического момента.

Шансы М.Ф. Романова были не малы и не маловажны. Прежде всего собор вспомнил, что Михаил Феодорович был “блаженный и славный памяти великаго государя царя и великаго князя Феодора Ивановича всея Руссии сородичем – племянником его благоцветущей и неувядаемой отрасли”. Дед Михаила Феодоровича, боярин Никита Романович Захарьин-Юрьев, приходился родным братом первой жене Грозного Анастасии; а отец Михаила, Филарет Никитич, был двоюродным братом царя Феодора Ивановича. Таким образом, нить ближнего свойства связывала Романовых с угасшим родом “великих государей” XVI века. С другой стороны, в XVI веке семья Романовых стала очень популярною благодаря ряду выдающихся лиц, главным же образом благодаря “кроткой голубице”, царице Анастасии, и ее брату Никите Романовичу. Последний перешел даже в народную песню с возвышенными эпическими чертами. Верный долгу и благородно бесстрашный в песне, боярин Никита Романович в исторических документах представляется одним из самых деятельных и влиятельных “земских” бояр Грозного. Его заслуги и фавор при Грозном подняли все его племя “Никитичей” на высшие ступени дворцовой знати. Придворное значение Романовых к концу XVI века выросло настолько, что в 1598 году в народе уже ходил такой рассказ, будто бы царь Феодор, умирая, вручил свой скипетр именно Никитичам. Старший из Никитичей сам пробовал было искать этого скипетра после кончины царя Феодора, но был вынужден уступить царство Годунову, а из рук последнего получил себе невольное иночество. В 1610 году, в пору призвания Владислава, москвичи, не желавшие иноверца, говорили о возможности избрания на престол либо князя В.В. Голицына, либо малолетнего Михаила Романова. Таким образом, ряд житейских или эпических воспоминаний мог удостоверить пред членами избирательного собора как близкое свойство Михаила со старой династией, так и принадлежность его к старой дворцовой знати с ее традиционно-охранительными настроениями. Собственно “казачьяго” в этом казачьем кандидате не было ничего, и казаки “примеривали” его на царство лишь как сына иерарха, стоявшего когда-то (вольно или невольно) во главе тушинского духовенства. Было особое счастье в том, что земщина могла спокойно и без опасений за будущий государственный порядок принять казачьего кандидата и сделать его в такой же мере и своим. Надобно думать, что именно это соображение решило

дело в пользу Михаила Феодоровича, несмотря на то, что он был очень молод, болезнен и беспризорен: отец его был в польском плену.

7 февраля 1613 года земский собор избрал на царство Михаила Феодоровича Романова “единомышленным и нерозвратным советом” всех участников избрания “от мала и до велика, не токмо в мужественном возрасте – и до сущих младенцев”. Но из осторожности собор отложил торжественное оглашение совершенного им избрания на две недели – до воскресенья 21 февраля. В этот срок, во-первых, созвали в Москву отсутствовавших бояр, “князя Ф.И. Мстиславского с товарищи”, по-видимому, удаленных из Москвы за свою “измену” во время “осадного сидения” в Кремле и не принимавших участия в соборе. А во-вторых, от собора в ближайшие города “послали тайно во всяких людях мысли их про государское обиранье проведывати верных и богобоязненных людей, кого хотят государем царем на Московское государство во всех городех”. Иначе говоря, решились проверить, люб ли будет городам предызбранный М.Ф. Романов. Получив хорошие вести и дождавшись бояр, собор “на сборное воскресенье”, 21 февраля, “уговев первую неделю Великаго поста”, сошелся на великое дело торжественного “царскаго собрания”. Михаил Феодорович был провозглашен государем “в большом московском дворце в присутствии – внутри и вне – всего народа из всех городов России”. Избрание, таким образом, совершилось, и немедля стали искать М.Ф. Романова, послав к нему послов “в Ярославль, или где он, государь, будет”.

Когда нового государя нашли в Костроме и от него получили согласие принять всенародно избрание, – в Московском государстве началась новая эпоха государственного строительства.

Из прошлого (1916)

Дни минувшие и речи,
Уж замолкшие давно!

В тяжелую годину, которую теперь переживает Россия, естественно обратиться в прошлое пытливым мыслям и посмотреть, не научит ли оно чему-нибудь полезному и не ободрит ли оно встревоженную грозную современностью душу.

В прошлом у русских есть время и деятель изумительной силы: это – время Петра Великого и сам Петр Великий. Хотя в пору болезни Петр говорил о себе: “из меня познайте, какое бедное животное есть человек”, однако из него мы познаем прежде всего то, что человеческий гений может достигать необыкновенного величия духа и торжества над самой сложной и трудной обстановкою.

Без достаточных материальных средств, без твердой общественной и правительственной организации, с глухим противодействием косной народной массы, Петр упорно вел борьбу со шведами за морские берега, в необходимость которых для России он твердо верил. Борьба была страшно трудна, порою казалась гибельна. Петр никогда не унывал и твердо верил, что “ежели безсчастье бояться, то и счастья не будет”. Поражения никогда не вызывали в нем уныния, и другим он запрещал унывать: “не извольте о бывшем несчастье печальны быть (понеже всегдашняя удача много людей вела на пагубу), но забывать, а паче людей ободрять”, – писал он одному из своих генералов. Его бодрость и упорство часто приводили его к торжеству там, где раньше он терпел неудачи. Взяв Нарву, он говорил: “где перед четырьмя летами Господь оскорбил, тут ныне веселыми победителями учинил”.

Однако смелость и упорство не мешали Петру быть очень осторожным: “Искание генерального бою зело суть опасно, ибо в один час может все дело опровержено быть”. Он нанес шведам решительный удар под Полтавой после долгих выжиданий, хорошо взвесив свои шансы на успех. И всякую свою операцию он старался обставить как можно лучше, во всяком деле показывая редкую сметку и сообразительность. До решительного момента он был чрезвычайно бережлив; он всегда стремился “денег как возможно собирать, понеже деньги суть артериею войны”; тратить

зря он очень не любил и считал каждую “денежку”, малая потеря, например, во флоте уже приводила его в беспокойство: “все наши дела испровергнутся, ежели флот истратится”. Зато в минуту решительную он бросал в дело все свои средства с необычайной энергией и быстротой, говоря, что “пропущение времени смерти невозвратной подобно”. В опасности он забывал и самого себя: “а о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе”... Когда было надо, Петр умел рискнуть и шел на все. Изумительный успех и полная победа увенчали труды Петра.

История учит только тех, кто умеет у нее учиться. В данном примере надо уметь понять, что именно помогло Петру победить. В нем не было недомыслия и малодушия. Он понимал цель и обстановку борьбы, был осторожен и мужествен. Он умел терпеть и не умел отчаиваться. Он копил и берег силы до того момента, когда надо было пустить их в дело. В минуту удара он готов был пожертвовать и самим собою.

Какой урок для нашего времени и для нас самих!

Старые сомнения (1917)

В настоящей заметке я хочу указать на один историко-литературный вопрос, не лишенный интереса и значения для изучающих русскую письменность XVII века. Полный ответ на этот вопрос станет возможен лишь тогда, когда в распоряжении нашей археологии будут новые материалы; но обстоятельная постановка самого вопроса своевременна и теперь.

Я разумею вопрос о литературной деятельности князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского, – вопрос, возникший более тридцати лет тому назад, казавшийся тогда совершенно разрешенным, но впоследствии осложненный и запутанный некоторыми новыми данными и соображениями.

В 1881 году имя князя Ив. М. Катырева впервые вошло в список имен русских писателей XVII столетия. На него указал В.О. Ключевский в одном из примечаний к “Боярской думе”¹. Именно кн. Катыреву усвоил он то произведение о Смутном времени, которое до тех пор приписывалось “тобольскому сыну боярскому Сергию Кубасову”. Такое же наблюдение об авторстве Катырева одновременно с Ключевским сделал и Л.Н. Майков. Заинтересовавшись неведомым дотоле титулованным писателем, Л.Н. Майков, в момент появления в печати указания Ключевского, располагал уже некоторым запасом биографических сведений о Катыреве, правда небольшим. Все, что знал Майков о Катыреве, он тогда же передал в мое распоряжение, так как был осведомлен о моих работах над сказаниями и повестями о Смутном времени и относился к ним с редким благожелательством. Наблюдения Ключевского и Майкова были мною вполне усвоены и под их влиянием была написана вся статья о Катыреве в моем исследовании “Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник” (СПб., 1888).

¹ Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 1881. № 1. С. 100.

С тех пор участие высокопоставленного князя Катырева в литературе его времени стало общепризнанным фактом. Блестящие качества усвоенной ему “Повести” и при ней “Написания вкратце о царех Московских” дали князю Катыреву право почитаться одним из ярких по таланту московских людей допетровской Руси. Императорская Археографическая комиссия издала произведения Катырева в двух редакциях²; а П.Гр. Васенко установил и третью, посредствующую между ними, редакцию “Повести” Катырева³. Значительное распространение писаний Катырева, попытки их переработок и частые из них литературные заимствования в компиляциях XVII века – указывали на то, что произведения Катырева были заметны и ценимы среди его современников. Князь Катырев в науке стал почитаться одним из виднейших писателей-историков Московской Руси.

В 1906 году проф. В.И. Савве удалось отыскать сочинения князя И.А. Хворостинина; это замечательное открытие косвенно отразилось и на литературной репутации кн. Катырева. Дело в том, что с давних пор князю Ивану Хворостинину присваивалось некоторое полемическое сочинение “На иконоборцы”; после же находки проф. Саввы для него должен был быть отыскан иной автор, так как в сочинениях Хворостинина такого полемического трактата не оказалось. Знаменитый Строев усвоивал сочинение “На иконоборцы” именно кн. Ивану Хворостинину лишь по той причине, что его автор сам себя назвал “дуксом Иванном”. Когда же оказалось, что у Хворостинина есть полемические опыты с иным заглавием и содержанием, то “дуксу Иванну” надлежало усвоить иную фамилию. По некоторым признакам, – и притом весьма устойчивым, – “дуксом Иванном” надобно было признать нашего князя Ивана Катырева⁴. Таким образом Катырев-историк делался и богословом-полемистом.

Наконец, при сопоставлении некоторых литературных особенностей “Повести” о Смутном времени Катырева с так называемой “Строгановскою” Сибирской летописью, нельзя не заметить поразительного сходства в обоих произведениях картин природы, столь редких вообще в московской письменности. При этом нет возможности во всех случаях установить простое заимствование; напротив, неизбежно следует признать однородность твор-

² РИБ. Т. XIII (1-е изд. 1891 г.; 2-е изд. 1909 г.). С. 559–624 и 625–712.

³ Записки Императорского Русского археологического общества. СПб., 1900. Т. XI, вып. 1 и 2.

⁴ Обо всем этом см.: “Вновь открытые полемические сочинения XVII века против еретиков” (в “Летописи занятий Императорской Археографической комиссии” т. XVIII, и отдельно: СПб., 1907. С. 7–32 и 109–116).

чества⁵. Мы не знаем, кто писал Строгановскую летопись; но, раз допустимы здесь догадки, надобно считать в числе возможных ее авторов и то лицо, которое так своеобразно и красиво составило “повесть” о Смутном времени. Кн. И.М. Катырев был тобольским воеводою в 1609–1612 гг. Казалось бы, нет мудреного в том, что он мог заинтересоваться и заняться вопросом о завоевании Сибири и заслугах в этом деле Строгановых и Ермака?

В таких чертах стоит теперь вопрос об авторстве кн. Катырева. Казалось бы, что на таком положении дела можно было бы и успокоиться в ожидании дальнейших археографических находок. Однако пристальное знакомство с тем материалом, какой уже есть в нашем распоряжении, порождает некоторые сомнения в том, что мы находимся в данную минуту на верном пути.

Во-первых. Если взять “Повесть” Катырева в той редакции, какая всеми признается первичной, и посмотреть внимательно на те два ее места, которыми обнаруживается ее автор⁶ – то невольно придешь к мысли, что оба эти места суть вставки в текст произведения. Прежде всего “вириши”, заключающие “Повесть”, не есть правильные вириши и не соблюдают силлабического порядка; число слогов в их строчках весьма различно (5. 5. 9. 16. 14. 12. 11 и т.д.); но оно нигде не превосходит 17-ти, кроме той строки, которая дает указание на автора. Эта строка имеет 22 слога, а парная ее строка всего 8:

⁵ Приведем примеры. В “Повести” Катырева читаем: “Юже зиме прошедши, время же бе приходит, яко солнце творяше под кругом зодейным течение свое, в зодее же входит Овен, в ней же ночь со днем уравниется и весна празнуется, время начинается веселити смертных, на воздухе светлостию блистаяся. Растаявшу снегу и тихо веюшу ветру: и во пространные потоки источницы протекают, тогда ратай ралом погружает и сладкую брозду прочертает и плододателя Бога на помощь призывает; растут желды и зеленеютца поля и новым листвием облачаютца дресва и отовсюду украшаются плоды земля, поют птицы сладким воспеванием” ... “Зимная уже година проиде, время бысть весне, студень уже совлечеса своих иньев, и мразу от своей жестости ослабевшу и растаявшу снегу, и солнце уже на концы зодей Рыб текуше”... “Уже просиявшу солнцу, свитаюшу дневи, просветися облак светлым блистанием”... (С. 588, 593, 597). В Строгановской летописи: “Уже ноци прошедши, свитаюшу дневи в сонцу просиявшу, просветися облак светлым блистанием”... “И егда весне присцевши и от теплости воздуха снегу растаявшу и всяка тварь ботеюше, и дресвам и травам прорастающим и отвержение водам бысть, тогда убо всяко животно веселящеса, и птицам прелетающим в та места плодов своих ради и в реках рыбакам плоду ради ходящим”.... “Весне приспевши, потом же и лету дошедшу, земля прошибающе злак свой и возрастающе семена своя, и птицам воспеваящим но в кратце реку: вся суть обновляема” (С. 23, 32, 35). Кроме этих описаний утра и весны, все приемы описаний битв в обоих произведениях однородны, иногда тождественны.

⁶ РИБ. Т. XIII. С. 623 и 576.

Есть же книги сей слагатай.
Сын предиреченнаго князя Михаила,
роду Ростовскаго сходатай.

Не ясно ли, что слова “сын предиреченнаго князя Михаила” вставлены, как стороннее пояснение, в текст виршей, которые в иных списках читаются без этой вставки, но с важным варьянтом:

Есть же книги сея слогатай
Роду Ерославскаго исходятай.

Вставка пояснительных слов в соединении с переменою слова “Ерославскаго” на “Ростовскаго” внушает подозрение, что ростовский князь собою заместил здесь ярославского князя (выражения “род Ярославский”, “род Ростовский” несомненно имеют в виду княжеские роды). Если второе место “Повести”, говорящее о ростовском князе, не опровергнет этого подозрения, оно может оказаться роковым для литературной репутации кн. Катыврева-Ростовскаго. А оно его и не способно опровергнуть, ибо, по моему мнению, само чрезвычайно похоже на вставку. Обратимся к его содержанию⁷. Оно посвящено отцу автора, князю Михаилу Петровичу Катывреву, и славословит его мужество и твердость в борьбе с Самозванцем в ту минуту, когда находившаяся под его начальством московская рать передалась Самозванцу. Если устранить из состава “Повести” строки, посвященные этому подвигу Катыврева и его единомышленников, то получится связный стили-

⁷ Приводим целиком изучаемый текст: “Бысть же к нему (Самозванцу) приведенных воевод царевых во град Путимль единокровной царевбоярин Иван Иванович Годунов, – сего же Ивана заточению преда; а иные же воеводы Петр Басманов и Михайло Салтыков, – сих же помилова. А болшие бояре и воеводы царствующаго града Москвы, – помня правды своя и крестное целование, известно ведая, яко ложь есть, а не царевич Дмитрей, – боярин роду Ростовскаго и первой полком начальник и воевода князь Михайло Петрович Катыврев, да роду Тверскаго боярин князь Ондрей Ондреевич Телятевской, да роду Оболенсково воевода князь Михайло Федорович Кашин с товарищи не приступиша к такому злomu начинанию и ко лживому ухищрению и богомерскому делу, и иные многие вои царствующаго града Москвы, кои не восхотеша на такое злое начинание и на крестопреступление и на начало кровопролития христианскаго, бився со изменници и со крестопреступники крепче, отыдоша ко царствующему граду Москве, – понеже убо той болярин и первополконачальник и воевода предреченный князь Михайло Петрович известно ведаше про сего богомерскаго еретика Ростригу Гришку, что лжа есть и начаток лжи и кровопролития, а не царевич. А друзии же бояре и воеводы, изменници и крестопреступники и кровноначальники царствующаго града Москвы, болярин князь Василей Васильевич (Голицын) збратом и стоварищи своим и своинством впреже бывшем месте своем ждуще повеления его (Самозванца)”. РИБ. Т. XIII. С. 576.

стически текст: “а большие бояре и воеводы (следует вставка) боярин князь Вас. Вас. Голицын с братом” и т.д. И логически ничего не будет потеряно, ибо на всем пространстве “Повести” о Катыреве ни разу не говорится. “Повесть” совсем не интересуется этим боярином, не упоминает даже о его назначении первым воеводою рати, молчит и о его смерти (1606 г.), тогда как упоминает о назначении его предшественника “начального властелина боярина и воеводы” кн. Ф.И. Мстиславского (С. 568) и говорит о многих “меньших” воеводах. Эпизод о Катыреве поэтому ничем не связан с остальным содержанием памятника и с общим ходом его изложения. Он и отсутствует во многих списках памятника, в которых вирши говорят о ярославском, а не ростовском авторе. Знаменательна также разница во внешней манере изложения между данной вставкой и прочим текстом “Повести”. Бросается в глаза прежде всего педантическая манера автора вставки при имени каждого воеводы-князя обозначить, какого именно он “роду”: “Ростовскаго”, “Тверского”, “Оболенскаго”. Этой манеры решительно нет в “Повести”; она появляется только в разбираемом отрывке, и нигде более, хотя поводов для ее применения у автора “Повести” достаточно (С. 571–572, 590 и др.). Затем, вставка писана языком не столь эпическим, как “Повесть”: ее речь сложна и путана и взамен стройных, простых и объективно-красивых фраз, на которые был такой мастер автор “Повести”, она предлагает читателю официально благочестивое изложение подвига ее героя против “богомерзскаго дела” и “кровопролития христианскаго”. Литературное настроение вставки совершенно иное, чем настроение “Повести”; не равна и степень литературного искусства.

Если за высказанными предположениями возможно признать некоторое вероятие, если на “сходатая Ростовскаго рода” возможно смотреть лишь как на автора “вставок” в “Повести”, то наше представление об авторстве кн. Катырева надлежит изменить: пред нами, быть может, не автор, а интерполятор, усвоивший себе чей-то сторонний труд.

Во-вторых. Доверяя тем признакам, по которым сочинение “На иконоборцы” усваивается князю И.М. Катыреву, мы можем составить себе очень определенное понятие о литературных интересах и приемах князя Ивана. Эти интересы и приемы очень далеки от того, что прельщает нас в “Повести” о Смуте, так далеки, что мы просто готовы не верить в принадлежность одному автору обоих этих произведений. Прежде всего общее настроение в этих памятниках глубоко различно. Сочинение “На иконоборцы” все проникнуто церковно-охранительною тенденцией, и притом боевою. Указывая патриарху Филарету на успехи ересей в Моск-

ве, автор требует: “Потщися, святителю божий, сие исправити!” Непримиримостью ко всему инославному сплошь пропитан его труд; церковно-исповедная точка зрения прилагается ко всему. Пред нами ретивый боец за московское правоверие, усвоивший себе тот запас литературных аргументов, которым тогда питалась московская полемическая письменность. За пределы церковной полемики автор не выходит; в этих пределах он шаблонен. Ничто не возвышает его из ряда подобных ему правоверных трудолюбцев. Напротив, автор “Повести” – поразительный для своего времени писатель. Он сумел подняться до необыкновенной в его время объективности и руководился, главным образом, инстинктами эпического творчества. Еще в первой половине XIX столетия его “Повесть” справедливо была названа “поэмою” не только за поэтический язык, но и за “скромность”, то есть эпическую объективность, в ней разлитую. Составляя “укоры и поносы” тем, кого после Смуты (по условиям того времени общеобязательным) не возможно было не поносить, обвинив Бориса в цареубийстве, Самозванца во всех его проклятых делах, автор затем освобождает себя от обязанности быть обличителем и повествует о событиях, его интересующих, “спокойно зря на правых и виновных”, “не ведая ни жалости, ни гнева”. Усвоенные им откуда-то красивые эпические формулы прилагает он равно к своим и чужим, в одинаковых словах описывая победы и поражения как москвичей, так и их врагов. С одинаковым увлечением, чисто поэтического свойства, описывает он как “велемудрое разумение и смысл” Кузьмы Минина, поднявшего Русь на святую борьбу, так и “круг собрания” тушинцев-поляков, под главенством Рожинского решающих биться со Скопиным и его “немецкою” ратью. Поэтическое сочувствие отваге поляков соединяется у автора даже с черточкою политического им сочувствия. Зная (очевидно, из польских источников) о борьбе Швеции и Речи Посполитой в ту эпоху, автор влагает в уста польского “кола” такую речь гетману: “Ведомо ти да есть, пане гетмане, яко непрестанно дванадесять лет Немецкие людие ополчяхуся противу нас в земли нашей, и в силе крепости меча нашего не возмогоша подняти и тако всегда от нас побеждение бываху. Да не ужасается сердце твое, великий гетмане!”⁸ Этот своеобразный отзвук польского патриотизма свидетельствует, что в основе мирозозерцания нашего писателя заложено чувство терпимости, совершенно чуждое автору сочинения “На иконоборцы”. Об этой терпимости свидетельствует и все вообще настроение “Повести”, чуждой национальной исклю-

⁸ РИБ. Т. XIII. С. 593–594.

чительности, вероисповедных тем и вообще какой бы то ни было полемики. Между этим настроением поэта и обличительным задором полемиста нет ничего общего. Сопоставляемые нами произведения совершенно несоизмеримы.

Чрезвычайно различны они и по своему изложению. Язык “Повести” ясен, прост, красив, богат поэтическими оборотами и представляет собою один из даровитейших образцов московской литературной речи XVII века, немного тронутый уже западнорусским и польским книжным влиянием (вирши, описания природы, риторические диалоги, отдельные варваризмы, в роде: “желды”, “кроль”). У автора трактата “На иконоборцы” своего стиля нет. Компилируя, он усваивает речь своих пособий; когда же пишет сам, то пишет с малым искусством, даже без элементарного грамматического согласования. Фразы неправильные у него часты (“древнеже зело сущу его быша...”; “иерей убо и многим частем мощей святых покусихся взяти...”; “мне же со тщанием слезным молихом его и нудихом...”; все это взято с лл. 123–124 сочинения “На иконоборцы”). Таких неграмотностей у автора “Повести” нет и в помине.

Если бы оба произведения были разделены значительным промежутком времени, была бы возможность объяснять их различия тем, что автор писал их в разные эпохи своей жизни, успев в промежутке дойти от первого нехитрого литературного лепета до полного раскрытия своих литературных дарований. Но этого сказать нельзя, потому что оба сочинения несомненно относятся к одному десятилетию: трактат “На иконоборцы” к 1624–1633 годам, а “Повесть” – к лету 1626 года. Как одновременные труды, они по всей видимости, не могут принадлежать одному и тому же перу. Таково непреодолимое впечатление их читателя!

В-третьих. На основании высказанных соображений надобно устранить возможность предположения о том, что именно кн. Катыреву принадлежало участие в составлении Строгановской летописи. Если не ему приписываем мы красоты “Повести” о Смуте, то нельзя ему приписать и красивых, в том же типе написанных мест летописи. С другой стороны, доступные нам в этом вопросе хронологические соображения заставляют заключать, что Строгановская летопись составлена, вероятно, уже после смерти кн. Катырева (умершего в 1640 г.). Мы держимся взгляда С.А. Адрианова, предположившего, что Есиповская летопись не была составлена по Строгановской, а, наоборот, ей предшествовала и служила ей источником⁹. Есипов окончил свой труд в 1636 году. Автор Строга-

⁹ Адрианов С.А. К вопросу о покорении Сибири // ЖМНП. 1893. № 4. Любопытно, что собиратели XVII века ставили в своих сборниках Есиповскую летопись на первое место, а Строгановскую помещали за нею, как “ин перевод” (Си-

новской летописи не мог начать свой труд раньше, надобно было время и на то, чтобы до него дошли рукописи Есиповского “списания”. Правда, это соображение не устраняет мысли, что к Строгановской летописи приложило свою руку то самое лицо, которое писало “Повесть”; думаем, однако, что это был не кн. Катырев.

В заключение, два слова о том Сергее Кубасове, с именем которого давно связывалась знаменитая “Повесть”. Он был “Тобольский сын боярский”; так подписал он свои “труды и тщание”, то есть тот Хронограф, в составе которого впервые стала известна “Повесть”. Сопоставление того факта, что Кубасов был сибиряк, с тем, что Катырев служил воеводою в Сибири и что литературные сходства с “Повестью” дала сибирская же летопись, – может чисто внешним образом провергнуть нашу мысль опять в сторону Кубасова: не он ли на самом деле автор “Повести”? Не знал ли его по Сибири кн. Катырев и не его ли “труды и тщание” себе присвоил? Не трудился ли Кубасов и над сибирским летописанием, раз он потрудился над Хронографом?

Последний вопрос признаю вполне уместным и интересным, а на первые два склонен ответить отрицательно. Мы очень мало знаем о Кубасове, но можем утверждать, что он не был “исходатаем Ярославского рода”, ибо происходил из Тотьмы, потом, по-видимому, был в Казани и “из Казанской приказной палаты” был взят в Сибирь на службу. Знать лично Тобольского воеводу кн. И. Катырева Кубасов вряд ли мог, ибо принадлежал к поколению на много младшему. Сведения о нем идут лишь от 1650–1660 годов, а Катырев выехал из Тобольска в 1612 (самое позднее – в 1613) году¹⁰.

Предложенные мною замечания страдают тем недостатком, что, подрывая достоверность ясных данных, взамен дают только недоумения, сомнения и вопросы. Утешаю себя однако тем общим соображением, что истинная научность предпочитает открытое недоумение сомнительной истине. Первое ведет к новым усилиям благородной пытливости; вторая способна остановить стремления вперед. Если мною правильно поставлена задача для будущих исследователей, настоящая моя заметка будет ими оправдана.

бирские летописи. СПб., 1907. С. 66). Новое издание “Сибирских летописей” не во всем поддерживает наблюдения С.А. Адрианова, но, по моему впечатлению, не колеблет его основного вывода о первенстве Есиповской летописи.

¹⁰ Кроме того, что отмечено было мною в “Древнерусских сказаниях и повестях о Смутном времени” (см. по указателю), некоторые данные приводит Н.Н. Оглоблин (Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768 гг.). М., 1902. Ч. IV. Документы центрального управления. С. 34, 143). В 7168 (1660) г. С. Кубасов был енисейским подьячим с приписью.

Статьи
из «Русского
биографического
словаря»

Борис Федорович (Годунов)

Предшествующий обстоятельный очерк деятельности Бориса Федоровича Годунова был составлен покойным академиком К.Н. Бестужевым-Рюминым в 80-х годах и пересмотрен им в середине 90-х годов*. Пересмотр коснулся, главным образом, тех мест, где речь шла о названном царевиче Димитрии. Покойный ученый, как известно, в конце своей жизни стал допускать возможность того, что под именем Димитрия царствовал в 1605–1606 гг. настоящий сын Грозного, спасенный от покушения в Угличе. Сообразно с этим воззрением и был редактирован К.Н. Бестужевым-Рюминым конец его статьи, при чем самое слово “самозванец”, несколько раз употребленное раньше, было им уничтожено. Прошло всего несколько лет, и в текст статьи ее автор, если бы он был жив, мог бы внести новые перемены, в зависимости от новых научных находок и работ. За его смертью возможные дополнения предлагаются в нижеследующем особом очерке.

Совершенно справедливо сомневался К.Н. Бестужев-Рюмин в том, что Грозный завещал опеку над его сыном Феодором “пятигласной” Думе, в которой принимал участие и Б. Годунов. Годунов не играл видной роли до предсмертной болезни Н.Р. Юрьева, т.е., до конца 1584 года, и, по вероятнейшему свидетельству Льва Сапеги, московская смута, бывшая в апреле 1584 г., разыгралась между Богданом Бельским с одной стороны и Н.Р. Юрьевым, Мстиславским и Шуйским – с другой стороны. Только тогда, когда умиравший Никита Романович вверил Борису попечение о своей семье и взял с него какую-то “клятву” на верность “завещательного союза дружбы” с молодыми Романовыми, Борис стал во главе боярского круга, в котором важное значение имели и дьяки Щелкаловы. Поддержанный этим кругом, Годунов “осилил” Мстиславских, Шуйских, Головиных и к лету 1587 г. стал сильнейшим человеком во дворце и государстве. Он не только

* Имеется в виду статья К.Н. Бестужева-Рюмина, опубликованная в Русском биографическом словаре (т. “Бетанкур – Бякстер”, с. 238–246). *Примеч. ред.*

титоловался “правителем” царства, но получил “правительство” и формально, в целом ряде приговоров Думы, которыми ему было усвоено право участвовать в сношениях с иностранными дворами в качестве высшего правительственного лица. Такие приговоры состоялись в 1588–1589 гг. и превратили Бориса в регента государства; а сложный этикет, заведенный Борисом при его собственном “дворе”, и окончательно закрепил за ним исключительное правительственное положение. Борис принимал послов, как принимал их государь, и переписывался с иностранными правительствами как официальный руководитель московской политики. Последнее десятилетие царствования Феодора Иоанновича, таким образом, было временем формального правления Бориса, а не одного только его придворного фавора.

Нетрудно, поэтому, представить себе, какими средствами правительственного влияния мог располагать Борис, когда открылась в Москве борьба за престол в 1598 г., после кончины царя Феодора Иоанновича и отречения от царства его вдовы. По официальному свидетельству, не было даже и попыток искать кого-либо в государи мимо Бориса, предложенного патриархом Иовом на первом же собрании земского собора. Частные московские известия говорят о том, что Борис был избран единодушно, с одной стороны потому, что народ видел его разумное правление, а с другой – потому, что он умел устроить свое избрание, одних ульстив, других подкупив, третьих застрашав. Одна же летопись XVII века прямо заявляет, что князья Шуйские “единые” не хотели избрания Бориса. К этим старым сообщениям в последние годы присоединились новые данные об обстоятельствах избрания Бориса. Прежде всего, остроумные изыскания профессора Ключевского открыли действительный состав московского представительства в XVI веке и показали, что состав земского собора 1598 г. следует считать правильным и полным. Это устранило вопрос о грубой подтасовке состава избирательного собора “рачителями” Бориса. Затем польские письма Андрея Сапеги к Радзивилу и немецкие письма, относящиеся к 1598 г. и изданные в недавние годы (гг. Прохаскою и Щербачевым), дали неожиданно ценные сведения об избирательной борьбе 1598 г. Сопоставляя их данные с тем, что было известно ранее, мы убеждаемся, что противниками Бориса в избирательной кампании были не Шуйские, а Романовы и Б. Бельский, и что борьба за престол велась не только в первые недели после кончины царя Феодора, но и в продолжение всей весны 1598 г., уже после того, как Борис был наречен царем. Когда не удалось направить выбор земского собора на другое лицо, помимо Годунова, противники Бориса вспом-

нили о существовании бывшего когда-то во власти “великого князя всея Руси” Симеона Бекбулатовича и выдвинули его имя против Бориса. Последствием этой интриги была новая редакция присяги на верность Борису: в текст ее было вставлено обязательство не хотеть на царство “царя” Симеона Бекбулатова. Опалы, постигшие Романовых и Бельского в первые годы царствования Бориса, как теперь оказывается, могут быть поставлены в прямую связь с перипетиями избирательной борьбы 1598 г. Устраняя этих бояр, Борис избавлялся от тех, в ком должен был видеть не только недоброхотов его царству, но и соперников, притязавших на власть, доставшуюся Борису. Большое значение Романовых во дворце Грозного и популярность их в московском обществе могли их сделать или представить опасными для Годунова; равным образом опасным казался и Бельский, благодаря своей смелости и решительности не раз возбуждавший смуту.

Ссора и разрыв с Романовыми (и еще ранее с Щелкаловыми) поставили Бориса и его родню в опасное положение тем, что лишили их партии в боярстве. Годуновы стали одиноки и потому слабы. Старая княжеская знать не признавала их за своих, потому что придворная и чиновная карьера Годуновского рода создана была опричинскими порядками московского дворца, направленными на гибель этой старой знати. Придворная же знать новейшей формации, в которой первенствовал род “Никитичей” Романовых, и с которой был дружен правитель Годунов, отшатнулась от него, когда он овладел престолом, и еще более, когда он начал воздвигать гонение на своих былых друзей. Пока был жив Борис, его правительственный авторитет и личные таланты удерживали еще в повиновении ему московское общество, и Годуновы держались наверху порядка; умер Борис, – и они все легко были устранены более организованными и более популярными кругами знати.

Такова была печальная судьба первого избранного государя московского и его “династии”, угасшей на втором представителе, юноше Феодоре Борисовиче. Не более прочна была и та правительственная система, какую усвоил себе Борис.

В настоящее время уже определен тот многосторонний кризис, который переживало во второй половине XVI века Московское государство и общество. Столкновения старой родовой знати с московскими государями, случавшиеся при деде и отце Иоанна Грозного, приняли при самом Грозном особенно острый характер. Царь воздвиг на своих бояр-князей систематическое гонение, имевшее целью лишить их административного преобладания и родовых земель. В новом опричном дворе государя появились новые слуги,

не столь родовитые, или же отказавшиеся от родовых традиций, а на княжеских землях явились новые землевладельцы без старых землевладельческих льгот. Старая же знать, лишенная служебного первенства и наследственных земель, гибла от казней, беднела в опалах и была выселяема на окраины государства. Новый порядок, водворяемый систематически и с большою жестокостью, носил характер не реформы, а переворота, и имел последствием чрезвычайное раздражение всех от него потерпевших; но вместе с тем он привел к цели, т.е. к падению старой аристократии и к полному торжеству власти. В московском дворце образовалась новая послушная и дисциплинированная придворная знать, состоявшая из родни и свойственников государей. Романовы и Годуновы были виднейшими представителями именно этой знати.

С другой стороны, ряд явлений в сфере землевладения и земельного хозяйства потряс благосостояние государственного центра. Правительство в XVI веке систематически передавало здесь, в целях обеспечения служилого класса, правительственные земли в частное обладание служилых людей. При этом тяглое население этих земель попадало в частную зависимость, выход из которой не всегда бывал возможен и примирение с которой не всегда было легко. В то же время победы Грозного открыли для русской колонизации новые пространства чернозема от Оки до Суры и даже далее на восток. Рабочее население, побуждаемое к выселению тисками частной зависимости, зная о “новых земляцах”, с особою легкостью устремлялось из центра на восток и юг. Особенно с 1570–1571 гг. для самих москвичей стал заметен массовый отлив рабочих сил из центральных местностей страны. Официальные данные того времени свидетельствовали об исчезновении тяглового народа и полном запустении земельных хозяйств на значительных пространствах, и правительство в 1584 году торжественно признало, что земля “в пустошь изнурилась” и “в запустение пришла”. С пустоши не было ни служеб, ни платежей, и Грозный поэтому оказался без сил и без средств продолжать войну за Ливонию. С запустелых усадеб не было дохода, и землевладельцы поэтому стали чувствовать острую нужду не только в хлебе и деньгах, но и в рабочих руках. Все меры были пушены ими в ход для того, чтобы удержать на месте бывших за ними крестьян и дворовых “людей”, холопов. К исходу XVI столетия вопрос о мерах и способах прикрепления крестьян и холопов стал одним из самых жгучих вопросов эпохи, не только потому, что одни владельцы стремились уничтожить, во что бы то ни стало, традиционное право выхода, но и потому, что другие думали, не отменяя этого права, злоупотреблять им и возить крестьян, незаконно и законно, из чужих владений на свои земли.

Если от опричины терпела гонимая знать и насильно переселяемые землевладельцы, то от передачи правительственных земель в частные руки терпело тяглое население, а от выхода тяглых и зависимых людей на новые земли страдали разоряемые этим мелкие служилые владельцы; попытки же закрепить принудительно рабочий люд на местах вызывали недовольство трудовой массы. Все слои населения, словом, были в недовольстве и брожении, питая один к другому враждебные чувства. Страна находилась на пути к междоусобиям и смутам. Неудачный исход войны за Ливонию еще более осложнял положение: силы правительства были подорваны, многие области, бывшие театром военных действий, были разорены дотла. В такие-то минуты судьбы государства попали в руки Бориса, и на плечи “бодрого правителя” легла забота об успокоении страны. Не он первый сознал значение переживаемого кризиса и не он первый начал с ним борьбу: соборные постановления 1580 и 1584 гг. уже указали на возникшие в стране затруднения и предположили некоторые меры для борьбы с ними. Когда Борис взял власть в свои руки, эти постановления могли ему указать, что надо было делать и о чем заботиться. Надобно было восстановить средства и силы самого правительства, надорванные войною и кризисом, восстановить земледельческую культуру в опустевшем центре, устроить служилый люд на их обезлюдевших хозяйствах, облегчить податное бремя для платящей массы, смягчить общественное недовольство и вражду между различными слоями населения. В таком направлении и действует Борис. Он – устроитель и успокоитель страны, хвалящийся своей гуманностью и мягким приемом обращения и действия; по словам его чиновников, он – защитник слабых и бедных, покровитель правосудия и справедливости; он – мудрый правитель, дарующий льготы и пожалования усталому народу. Как ни риторично это самовосхваление, оно подтверждается отзывами независимых от Бориса и даже ему враждебных современников. По их словам, деятельность Бориса скоро дала благие плоды: страна отдохнула и стала оправляться, “светло и радостно ликующе”, правительственный режим при Борисе резко изменился к лучшему.

Однако положение дел было так сложно и запутано, что его нельзя было привести в порядок одною кротостью и мягкостью. Интересы общественных групп разошлись так далеко и стали так враждебны одни другим, что их нельзя было ни помирить, ни одновременно удовлетворить. В общественном антогонизме надобно было поддерживать одну какую-либо сторону – именно ту, стремление которой в данный момент совпало с интересами и желаниями правительства. Неизбежна была, напротив, борьба с теми об-

щественными течениями; которые направлялись вразрез с видами или выгодами правительства. Политика Бориса поэтому далеко не всегда могла быть примирительной. Прежде всего, в отношении к старой знати Борис не считал возможным отступать от преданий Грозного и по-прежнему давил эту знать, давая ход людям художественным. Об этом нам прямо говорят и иностранцы (Масса, Флетчер), и русские писатели (Иван Тимофеев). Такая тенденция могла только навлечь на Бориса “негодование чиновников”, от которого, по мнению современников, он и погиб. С другой стороны, в обстоятельствах землевладельческого кризиса Борис несомненно стал на стороне терпевших от него землевладельцев, то есть, того простого служилого люда, который служил с мелких вотчин и поместий и составлял основную силу московской армии. Этот класс терял людей, вывозимых из-за него крупными и льготными землевладельцами; Борис принял ряд мер против такой крестьянской “возки” и вообще стремился к закреплению зависимого люда на местах. Служилый класс терял и земли, уходившие главным образом за монастыри; Борис держался правила о неотчуждении служилых земель в неслужилые руки. Так обстоятельства ставили Бориса против старой знати и против льготных землевладельцев, а в то же время и против крепостной бродящей массы, не оседавшей послушно во владельческих хозяйствах. Это были верх и низ московского общества, которые потом и восстали против Бориса и его семьи во имя Дмитрия, вместе с Самозванцем. Друзья и поклонники Бориса были в средних слоях населения: простой служилый человек и свободный тяглый человек – вот кто ценил “разум” и “правосудие” Бориса, видел его “ласку” и “крепкое правление” к людям и, по словам одного иностранца, взирал на Бориса “как на бога”, потому что был ему обязан милостями, льготами и “повольностью в торгах”. Если бы средние слои населения при Борисе уже владели такой организацией, какую они выработали себе в Смутную эпоху, к 1613 году, то его власть покоилась бы на надежном основании. Но до Смуты такой организации еще не существовало, и Борис с его домом пал, когда на него встали верхние и низшие слои населения: старая знать по политической неприязни и крепостная масса по недовольству всем общественным порядком.

Письма К.Н. Бестужева-Рюмина о Смутном времени. СПб., 1898; *Le P. Pierling. S.J. La Russie et le Saint-Siège.* Paris, 1897–1901. Т. 2–3; *Archivum Domus Sarmatiana* / Ed. d-r A. Prochaska. Lwów, 1892; *Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.* СПб., 1899; *Ключевский В.О. Состав представительства на земских соборах Древней Руси // Русская мысль.* 1890. Январь; 1891. Январь; 1892. Январь.

Иов, первый патриарх Московский и всея Руси, умер 19 июня 1607 г. Происхождение его в точности не известно. По рассказу “Истории о первом Иове патриархе”, составленной в середине XVII века, в Успенском монастыре в г. Старице рос мальчик Иоанн, которого архимандрит этого монастыря Герман воспитал и обучил “грамоте и всему благочинию, и страху Божию”; возросши, Иоанн принял иночество с именем Иова, а после того, как царь Иоанн Грозный посетил Старицкий монастырь, “государским благоразсмотрением сий инок Иов в той же святей обители поставлен бысть архимандритом” (около 1569 г.). В 1571–1572 гг. архимандрит Иов настоятельствовавал в московском Симонове монастыре, а в 1575–1580 гг. – в московском же Новоспасском. В апреле 1581 г. Иов был рукоположен во епископа Коломенского; в январе 1586 года митрополитом Дионисием возведен в сан ростовского архиепископа, а 11 декабря того же года он сменил этого же Дионисия на московской митрополичьей кафедре. Известно, какие важные события свершались тогда во внутренней жизни русской церкви и в сфере ее отношений к православному Востоку. Объединение великорусской народности под властью московского великого князя, бывшее следствием пробуждения и развития национального самосознания в массах, в свою очередь влияло на дальнейший рост национальных идеалов и послужило основанием для известной теории “Москва – третий Рим”. Молодое московское государство, только что освободившееся от татарской зависимости, было тем не менее одним из сильнейших государств Северной Европы XVI века, а православная русская церковь была единственною не разоренною от иноверных. Русские люди скоро поняли, что с падением Константинополя значение общего центра православного может быть наследовано только Москвою. Своего великого князя московские люди называли еще в начале XVI века “единым православным великим русским царем во всей поднебесной”, “браздодержателем святых Божиих престолов святой вселенской и апостольской церкви”. В 1547 г. московское княжество торжественно было превращено

в “царство”, и в это новое царство, “третье” после “Рима старого” и “Рима нового”, сливались все другие христианские царства; возникла вместе с тем и третья церковь московская, пастырю которой приличествовал сан уже не митрополичий, а патриарший. Достоинство и полнота христианского царства требовали, по понятиям того времени, чтобы рядом с высшим светским авторитетом “царя” стоял и высший духовный авторитет – патриарха. Однако возвести московского митрополита в сан патриарха нельзя было без согласия и содействия восточных греческих патриархов; только их согласие и участие могло сообщить этому делу каноническую правильность и твердость. В конце XVI в., со вступлением на престол царя Феодора Иоанновича, московское правительство направляет свои усилия к тому, чтобы поднять в среде восточного духовенства вопрос об учреждении патриаршества на Москве и добиться его разрешения в положительном смысле. Открытые переговоры об этом деле начались, насколько известно, в 1586 году, еще при митрополите Дионисии, когда в Москву приезжал “за милостынею” антиохийский патриарх Иоаким; его просили, чтобы он “посоветывал” с восточными иерархами об установлении на Москве патриаршества “ко благочестию веры христианския”. Дальнейшие же переговоры ведены были и пришли к счастливому завершению уже после того, как Иов стал митрополитом московским. По документам, относящимся к учреждению патриаршества, однако, не видно, чтобы Иов стоял во главе этого дела; на первом плане, как начинатели и руководители переговоров с греческими иерархами были представители светской власти: сам царь Феодор Иоаннович и его шурин Борис Феодорович Годунов. По официальным описаниям, главная роль в этом деле принадлежала самому благочестивому царю Феодору, который в данном случае сознательно шел впереди других к достижению им самим поставленной цели; известия же частного характера дают историкам повод думать, что настоящим руководителем московской дипломатии в этом деле был Борис Годунов; например, один из современников события, дьяк Иван Тимофеев в своем “Временнике”, упоминая об установлении патриаршества, колеблется в оценке факта, не решается признать его следствием личных своекорыстных интриг Годунова, но очень решительно заявляет, что “устройство се бысть начала гордыни его”. Что же касается до мнения, будто бы к патриаршесту стремились сами московские митрополиты, сперва Дионисий, затем Иов, то надобно помнить, что в данном вопросе личное положение московского митрополита было очень щекотливо и ему, разумеется, надлежало действовать с особенною сдержанностью по соображениям

простого приличия. И действительно, во всем ходе переговоров о патриаршестве нельзя заметить вмешательства Иова, ни прямого и открытого, ни косвенного и тайного. В переговорах с антиохийским патриархом Иоакимом в 1586 г. Иов, будучи архиепископом Ростовским, не мог играть заметной роли, хотя и участвовал в торжественной встрече, устроенной приезжему иерарху 25 июня в Успенском соборе от всего московского духовенства. Когда же в 1588 году в Москву приехал цареградский патриарх Иеремия и с ним были начаты прямые переговоры об установлении на Москве патриаршества, митрополит Иов оставался совершенно в стороне от дела. С патриархом беседовали государев шурины и государевы дьяки; Иов же выступает на вид лишь тогда, когда его избрали в патриархи и когда после наречения в сан, бывшего 23 января 1589 года, совершено было 26 января и поставление его по торжественному “чину и уставу”.

Патриаршество Иова протекло в такую пору, когда московское государство переживало исключительной важности события: прекращение потомства Калиты, утверждение на престоле Бориса Годунова и гибель его сына Феодора от самозванного Дмитрия. По этой причине, разумеется, патриарх Иов гораздо чаще является перед нами как политический деятель, чем как иерарх, устроитель церкви. В области церковной ему пришлось приводить в исполнение соборное уложение 1589 года, по которому следовало быть в великом Российском царствии четырем митрополитам (“в великом государстве новгородском, в царствующих градах в Казани и в Астрахани, в великом княжении града Ростова, близ царствующаго града Москвы на Крутицах”), шести архиепископам (в Вологде, Суздале, Нижнем Новгороде, Смоленске, Рязани и Твери) и восьми епископам (во Пскове, Ржеве Володимирове, Великом Устюге, на Белоозере, в Коломне, в земли Северной, в Дмитрове; восьмая епископия в уложенной грамоте не была поименована). Иов произвел согласно с уложением четырех митрополитов: новгородского – Александра, ростовского – Варлаама, казанского – Гермогена и крутицкого – Геласия. Из шести архиепископов Иовом поставлены были пять; место шестого, нижегородского, занимал выезджий иерарх Арсений, архиепископ Елассонский (называемый в современных актах “Галасунским”), которого именовали и “Архангельский”, потому что ему указано было жить при московском Архангельском соборе. В 1602 г., впрочем, открыта была и шестая архиепископия, но не в Нижнем Новгороде, а в Астрахани. Что же касается до восьми епископий, определенных уложением, то они не были установлены в пред-указанном порядке; епископия коломенская существовала и ранее

уложения 1589 года, а после этого уложения установлены только две: псковская и корельская. Таким образом, по причинам для нас неясным, соборное уложение 1589 г. не совсем точно было исполнено. Других же мероприятий общего характера при патриархе Иове не видим; а из дел текущего управления можем отметить только: 1) заботы о поддержании благочиния в низшем духовенстве, причем подтверждались и дополнялись меры, указанные в этом направлении Стоглавым собором; 2) заботы о распространении и поддержании православия среди инородческого населения, преимущественно на восточных окраинах государства и в только что занятом Сибирском царстве, и 3) установление церковных праздников святым, уже ранее чествованным церковью и вновь канонизованным. Так, в честь московских святителей Петра, Алексея и Ионы ранее существовали, особые каждому, празднества; при патриархе Иове установлен общий им праздник 5 октября. Память преп. Иосифа Волоцкого почитаема была местно, в его обители; при патриархе Иове определено праздновать ему по всей Руси 9 сентября. При Иове канонизованы были вновь: Василий Блаженный, юродивый Московский, Гурий и Варсонофий, казанские чудотворцы, преподобный Антоний Римлянин, преподобный Корнилий Комельский, св. благоверный князь Роман Угличский.

В сфере политической патриарху Иову суждено было не только переживать тяжелые времена междуусобий, но и самому деятельно участвовать в борьбе, даже сделаться жертвою этой борьбы. При царе Феодоре Иоанновиче патриарх ведал только свою паству и к суждению о гражданских делах бывал привлекаем лишь в тех случаях, когда государь желал слышать его личное мнение и мнение действовавшего при патриархе “освященного собора”. В царствование Феодора такие случаи бывали часто, и один из них был особенно важен. В 1591 году в Угличе внезапно умер царевич Дмитрий Иоаннович, и смерть его вызвала беспорядки в городе. Заявление родни царевича, что царевич убит, повело к тому, что угличане самосудом избили предполагаемых виновников его смерти, всего около двенадцати человек, и в том числе дьяка Михаила Битяговского, присланного в Углич от московского правительства для надзора за дворцом царевича. Для производства следствия была отправлена в Углич особая комиссия, а при ней для погребения царевича от патриарха был послан крутицкий митрополит Геласий. Комиссия по возвращении из Углича представила царю письменный доклад, “обыск”, в котором устанавливалось, что царевич нечаянно заколол себя сам в припадке падучей болезни, и что родня царевича, главным

образом его дядя Михаил Нагой, подстрекнули посадских людей на убийство Битяговского и прочих, взведя на них ложное обвинение в покушении на жизнь царевича. Царь, выслушав доклад, “приказал бояром и дьяком с углицким обыском итить на собор к Иеву патриарху”. У патриарха в соединенном собрании боярской думы и патриаршего совета был выслушан как “обыск”, так и устный доклад, “сказка”, митрополита Геласия, и на основании выслушанного освященный собор признал, что “Михаил Нагой с братьею и мужики угличане, по своим винам, дошли до всякаго наказанья; а то дело земское, градцкое, в том ведает Бог да государь... все в его царской руке, и казнь, и опала, и милость”. Государь с своею думою, опираясь на такой соборный приговор, определил наказание виновным; из руководителей, Нагих, никто не был казнен смертью; ограничились ссылками и пострижением в монашество царицы Марии Нагой. В данном случае Иов действовал в пределах, указанных ему светской властью. Совершенно иным стало его положение после кончины бездетного царя Феодора, когда, выражаясь старым языком, престол московского государства начал “вдоветь”.

Официально говорилось, что царь Феодор Иоаннович, умирая, оставил “на всех своих великих государствах” свою жену царицу Ирину Феодоровну. Когда она отказалась от власти и пожелала принять иночество в Новодевичьем монастыре, а за нею уехал из Москвы в тот же монастырь и брат ее, “правитель” Борис Годунов, – государство осталось на попечении патриарха и боярской думы. И в эти дни, и в последующее безгосударное время московский патриарх считался “начальным человеком”, без которого боярам нельзя было вершить земские дела; иначе не могло быть по взглядам людей того времени, для которых патриарх был представителем столь же высокого авторитета, как царский. Поэтому в деле царского избрания Иов волей-неволей должен был принять на себя руководство – и тотчас же во главе московского населения обратился к Борису, предлагая ему престол в силу того, что Борис и прежде “великия государства Российскаго царства правил и содержал милосердым своим премудрым правительством по царскому приказу”. Получив отказ, Иов повторил свои просьбы и явныя и тайныя: “многижда наедине с государем Борисом Феодоровичем особь моляше со слезами и прещаше ему государю, дабы не ослушался повеления Божия” и принял царский скипетр. Но, как известно, Борис не согласился ни на какия увещания московских жителей и властей, и дело было отложено до земского собора, созвание котораго, по официальным документам, принадлежало тому же патриарху Иову. В феврале 1598 года началась

деятельность этого собора; у патриарха Иова (“велел у себя быти на соборе”, говорится о патриархе в грамоте об избрании Бориса) собралось до 500 участников земского собора; из них духовенства было до 100 человек, думных и придворных людей до 200, дворян московских и городовых до 150 человек и людей тяглых, т.е. податных, всего до 50 человек. Этим собором, состав которого был столичным и аристократическим по происхождению и месту службы большинства его членов, руководил патриарх. Открывая заседание собора 17 февраля, он обратился к земским представителям с прямым заявлением, что у него самого и у всех духовных и светских чинов, “которые были на Москве” до земского собора и обсуждали вопрос о судьбе престола, – “мысль и совесть всех единодушно”, что помимо Бориса “иного государя никого не искати и не хотети”. Это заявление, шедшее не лично от Иова, а от всех бывших ранее “на Москве”, имело решающее значение для земского собора, составленного более чем на половину из тех же самых собственно московских людей. Собор без рассуждений, не медля, выбрал Бориса в цари; “князи же Шуйские единые его не хотяху на царство”, прибавляет один из летописцев. О народном избрании торжественно, всем собором, известили Бориса 20 февраля; Борис опять отказался от высокой чести, также и сестра его, инокиня царица Александра, “брата своего на государство не пожаловала”. Тогда патриарх предложил собору, и собор согласился действовать так: на другой день, 21-го февраля, идти к Борису и к его сестре в Новодевичий монастырь всему собору и московским жителям со святынями московскими, крестным ходом, и если Борис и инокиня Александра “о государстве конечно откажут”, то принять против них самую крутую меру, о которой патриарх Иов говорил такими словами: “саны святительские с себя сойдем и панагии сложим и облечемся во мнишеская, тамо в монастыре (Новодевичьем) и честные кресты и чудотворные образы оставим, и для их ослушания престанут во святых церквах божественныя службы и святых таин литургисания, пения же и хвалы и благодарственное словословие, и того Господь Бог възыщет на них”, т.е. на Борисе и сестре его. До интердикта, однако, дело не дошло. Встретив крестный ход и выслушав настояние собора, Годуновы дали согласие: царица-инокиня благословила брата на царство, Борис принял престол. Так излагают дело официальные документы, отредактированные царем Борисом и самим патриархом Иовом. Здесь Иову отводится первое место и роль руководителя. Иначе рассказаны обстоятельства избрания Бориса в некоторых литературных произведениях того времени, русских и иностранных, основанных на слухах, ходивших среди населения и пущенных

в оборот, если судить по так называемому “Иному сказанию”, стороною князей Шуйских. В их передаче дело представляется так, как будто сам Борис устроил свое воцарение, действуя через “доброхотов” и “спомогателей” своих; агенты Бориса ласкою и страхом склоняли народ в его пользу; они руководили и земским собором, патриарх же во всем деле играл лишь пассивную роль. По одним сказаниям, Иов был “подвигнут”, “понужен”, “подъят” на избрание Бориса сторонниками Годуновых; по другим – он действовал в пользу Бориса и по свободному убеждению, “видя народное усердие и тщание к Борису” и не разумея скрытых от него ухищрений Борисовых агентов. Исследователи истории Смутного времени иногда через меру доверяли частным сказаниям и изображали избрание Бориса в цари как акт самого грубого и бесстыдного насилия, слегка лишь прикрытого законными формальностями. В последнее время, однако, состав земского собора 1598 года изучен настолько, что стало возможным считать этот собор правильно составленным, а не подтасованным в интересах одной Годуновской партии. Стало быть, если политическая агитация в данном случае действительно извратила законный ход вещей, то она пользовалась средствами более тонкими, чем грубое устрашение народных масс и насильственное воздействие на патриарха и земский собор.

Патриарх Иов, будучи сторонником и другом Бориса в пору его воцарения, остался его верным союзником и во время борьбы с самозванцем. Он участвовал в дипломатической переписке с польско-литовским правительством по поводу личности самозванца и объявлял самозванца Гришкою Отрепьевым. Он употреблял все меры, какими только мог располагать, для борьбы с движением в пользу Лжедмитрия и для поддержания власти Годуновых: свидетельствовал, что истинный Дмитрий умер и погребен в Угличе, что принявшей его имя есть расстрига и еретик, приказывал всенародно проклинать этого еретика и расстригу и совершал моления о даровании победы царю Борису. По смерти Бориса он также прямо и решительно поддерживал его сына Феодора и не признал самозванца даже тогда, когда его признала уже Москва и когда погибли Годуновы. Вот почему Иов стал жертвою переворота, предавшего Москву самозванцу. В июне 1605 года его свергли с патриаршества, схватив его во время служения в Успенском соборе и ограбив его дом. Он просил, чтобы его отпустили “на обещание его” в город Старицу в Успенский монастырь, в котором он принял иночество; его отправили туда на убогой телеге. Патриархом на Москве стал архиепископ Рязанский Игнатий.

Новый царь Димитрий и новый патриарх Игнатий правили Московским государством около года. В мае 1606 года первый был убит, а второй заключен в Чудове монастыре. На царский престол вступил Василий Иванович Шуйский, но Иов уже не возвратился на патриаршество; “не возвратился, говорят современники, понеже доброзрачная зеница потемнеста и сладостный свет от очеси его взятся”. Но если бы Иов и не потерял зрения, вряд ли бы он стал патриархом при Шуйском; последний не мог желать, чтобы на патриаршестве был человек с политическим значением. Иова он сторонился как друга Годуновых; митрополита Филарета Ростовского, о наречении которого в патриархи шла тогда речь, он боялся как главу сильной фамилии Романовых, а потому в патриархи наречен был митрополит Казанский Гермоген. Царствование Шуйского было очень несчастливо: народные массы, которые до тех пор были послушным орудием в руках придворных партий, сами собою пришли в брожение, и московское правительство не могло ни справиться с ними, ни даже уразуметь точно причины и цели движения. В первое время своего правления царь Василий не один раз, в борьбе со своими врагами, прибегал к мерам нравственного порядка. Так из церковного торжества перенесения мощей царевича Димитрия в Москву он сделал средство политического воздействия на народ, думая этим уничтожить самую возможность самозванщины. Видение, бывшее “в тонце сне” какому-то “мужу духовну”, было принято за призыв свыше к общему покаянию и очищению и повело к тому, что с 14 по 19 октября 1606 г. “пост учинили во царстве” и молились о том, чтобы Господь укротил междуусобие и укрепил власть царя Василия. В начале 1607 года, в тяжелую пору войны с Болотниковым и самозванцем Петром, царь Василий по совету с патриархом Гермогеном вызвал в Москву бывшего патриарха Иова для того, чтобы совершить торжественно всенародное покаяние во многих клятвопреступлениях и изменах преждебывшим царям. Патриархи должны были, выслушав народное покаяние и мольбы о разрешении грехов, подать народу просимое разрешение и этим укрепить народ в верности Шуйскому. Иов приехал в Москву 14 февраля, был встречен с почетом и 20 февраля в Успенском соборе простил и благословил свою бывшую паству. Таким образом состоялось примирение патриарха с народом, который всего полтора года тому назад в той же самой церкви попустил клеветам самозванца низвергнуть и оскорбить пастыря. Вскоре после возвращения Иова в Старицу, он скончался, 19 июня 1607 года, окруженный попечениями своего почитателя, архимандрита старицкого Успенского монастыря Дионисия, того самого, который в

Смутное время правил Троицы-Сергиевым монастырем. Погребен был патриарх в Успенском монастыре, а в 1652 г. его останки были перенесены в Москву в Успенский собор.

От Иова дошло до нас несколько произведений, составленных с большим литературным искусством и очень риторичных. На первом месте упомянем “Повесть о честном житии царя Феодора Иоанновича”, написанную при царе Борисе и вошедшую в Никоновскую летопись. В этой повести Иов дал общий обзор важнейших событий времени царя Феодора: подчинения Сибири, учреждения патриаршества, шведской войны, войны с крымцами в 1591 году. Особенно интересны для историка: рассказ Иова о последних минутах царя Феодора, некоторые черты рассказа о нашествии татар на Москву в 1591 г. и характеристики самого царя Феодора и Бориса Годунова. И к тому и к другому лицу Иов относится с величайшим сочувствием. В его глазах Феодор “древним царем благочестивым равнославен”. Господствующею чертою в характере Феодора Иов считает глубокое благочестие: стремление к вечному отвлекает Феодора от житейских забот, ведет его к непрестанной молитве, к изнурительному посту. Вся жизнь царя есть ряд подвигов благочестия и благотворения: он “зело благочестив и милостив ко всем, кроток и незлобив, милосерд, нищелюбив и странноприимец”. Этими свойствами Феодор отличается не только в частной жизни, но и в управлении государством; он царствует, “правду любя, злобы ненавидя, любовь имея, лукавство ж разрушая, и межусобныя брани, востающия во всем царствии его, своим царским смиренномудрием укрощая и вся пределы богохранимого царствия своего в мире и в тишине и во всяком благоденствии утвержая”. В лице Феодора, таким образом, Иов создает как бы идеал монарха, инока и аскета в личной жизни и в то же время разумного, кроткого и деятельного правителя. В других русских сказаниях той эпохи Феодор Иоаннович является столь же благочестивым человеком, но совершенно не деятельным государем. Что касается до Бориса Годунова, то его Иов ставит по добродетелям рядом с Феодором. Борис мудр и храбр; о его уме, мужестве и благочестии слава распространилась даже за пределы Руси, сам царь Феодор, видя правление своего шурина, удивлялся его достоинствам; “пречестным его правительством благочестивая царская держава в мире и тишине велелепней цветуще”; он создал много каменных градов и в них много храмов и обителей; Москву он украсил “яко некую невесту”, построив в ней много церквей, “палаты купеческия” и каменные стены. Таков был “изрядный правитель”, по рассказу патриарха. И та и другая личность, и царь и правитель одинаково идеальны в изоб-

ражении Иова. Его мастерский панегирик Борису есть лучшее свидетельство того, что Иов был крепким другом царя Бориса. Об этой крепкой дружбе говорит и “духовная грамота” Иова. Начинается она своего рода автобиографией патриарха, за которую следует теплая похвала царю Борису. К последнему Иов много раз обращается в завещании с благодарностью за “благоденствия и милосердие” к нему, патриарху, с благословением и прощением, наконец, с объяснениями о том, в каком положении находится патриаршее имение и куда была трачена патриаршая казна. Завещание это составлено было Иовом еще в то время, когда нельзя было предвидеть скорого падения Годуновых и изгнания самого патриарха. – “Послание” Иова царице Ирине по поводу смерти царевны Феодосии, торжественные “грамоты”, излагающие ход и мотивы избрания Бориса в цари, приветственные “речи”, говоренные Иовом царю Борису, – это особый вид официальной риторики, которою Иов владел с большим совершенством. Интересно то обстоятельство, что в 1613 году, по избрании на царство Михаила Феодоровича, для составления “утвержденной грамоты” об избрании, дословно воспользовались текстом такой же грамоты 1598 года, которую составлял или же редактировал Иов. – Наконец, Иову принадлежат учительные послания грузинским царю и митрополиту и грамота константинопольскому патриарху по вопросу о московском патриаршестве, а также “канон” и “служба” преподобному Иосифу Волоколамскому, составленные по случаю установления праздника этому святому 9 сентября. В “Истории Российской” В.Н. Татищева (т. I, стр. XII) находится указание, что “Иосиф келейник Иова патриарха или *сам Иов*” описал дела последних 24 лет царствования Грозного “весьма кратко”, а затем “до избрания царя Михаила (sic!) довольно пространно”. Конечно, Иов не мог описать времени после 1606 года, так как сам скончался в 1607 году, а в 1606 уже потерял зрение; но и о времени Грозного мы не знаем труда Иова и потому должны осторожно относиться к сообщению Татищева, который мог в данном случае иметь в виду “Повесть” Иова о царе Феодоре и предшествующие ей в списках Никоновского свода известия о царствовании Иоанна IV-го. Личные свойства патриарха Иова мы можем определить только по сообщениям упомянутой выше “Истории о первом Иове патриархе”. Составленная, вероятно, по случаю перенесения тела патриарха в Москву в 1652 году, эта “История” не современна патриарху и отличается панегирическим тоном; тем не менее, характеристика Иова, данная в ней, очень любопытна. По словам автора “Истории”, патриарх Иов владел редким знанием Священного Писания и богослужебных книг, служил всегда наизусть и

с замечательным чувством; вел воздержную жизнь и строго постился; отличался полным смирением и кротостью; “во дни же убо его не обретется человек подобен ему ни образом, ни нравом, ни гласом, ни похождением, ни вопросом, ни ответом”. Патриарший сан не изменил характера Иова, и он остался тем же кротким человеком: “ленивых никакo же никогда царю не оглашая и никогда никогда же не оскорбляя, ни стужая никому, но всех милуя и преизлишно питая”. Смирением патриарха автор объясняет и все особенности его политической деятельности. Когда Борис Годунов воцарился “многим кознодейством”, его темные дела стали известны народу и соблазняли его. Многие люди упрекали Иова в том, что он “молчит” перед Борисом; но Иов только плакал и не мог стать “обличником” Бориса. Не стал он прямо против Годунова и тогда, когда развились доносы и погибало много невинных людей: патриарх только молился и просил народ, “дабы престаили от всякого зла дела, паче же от доводов и от ябедничества; и бе ему непрестанныя слезы и плач непостижный”. Мужественно ополчился Иов только против самозванца, которого автор “Истории” называет еретиком и волхвом. Патриарх “с горькими слезами глаголаше народом”, что он знал Отрепьева давно, – “как он в Чудове монастыре был и как в келии у него жил”. – Эта характеристика по существу не противоречит тому, что известно из других источников; но она и проверена быть не может. Личности в Древней Руси обыкновенно слишком мало высказывались и потому всего труднее точно определять их.

Карамзин. ИГР. Т. 10–12; *Соловьев*. История. Т. 7–8; *Макарий (Булгаков)*, митр. История Русской церкви. СПб., 1881. Т. 10; *Николаевский П. Ф.* Учреждение патриаршества в России. СПб., 1880; РИБ. Т. 13; статья о патриархе Иове в “Православном собеседнике” (1867. № 10) и в “Московских университетских известиях” (1871. № 6 и 7).

Катырев-Ростовский, князь *Иван Михайлович*, умер в 1640 г. Он известен своею “Повестью” о Смутном времени Московского государства, которая ранее приписывалась сыну боярскому Сергею Кубасову. Князь Иван Михайлович был последним представителем своего рода. Этот род пошел от князя Ивана Андреевича Хохолкова-Катыря и был “большим” боярским родом; про Катыревых в XVI–XVII веках говорили, что они “в разряде велики живут”, и считали их самыми “великими” из всех многочисленных ростовских князей. Отец князя Ивана, князь Михаил Петрович, был одним из видных воевод в последнюю четверть XVI века и не раз ходил в походы первым воеводою большого полка. Он умер на воеводстве в Великом Новгороде в 1606 г. от морового поветрия одновременно со своею женою Домною Васильевною, рожденною княжною Палецкою.

Князь Иван Михайлович начал свою службу еще при жизни отца; вместе с ним он подписался на грамоте, утверждавшей избрание Бориса Феодоровича Годунова на царство в 1598 г. При жизни отца, вероятно, и женился князь Иван на Татьяне Феодоровне, дочери боярина Феодора Никитича Романова, впоследствии патриарха Филарета; по смерти Татьяны Феодоровны, последовавшей в июле 1611 г., князь Иван женился вторично; происхождение его второй жены, княгини Ирины Григорьевны, пока не определено. Впервые является пред нами князь Иван Михайлович на придворных церемониях при царе Борисе и носит в это время чин стольника. Оставался он при дворе и во время Лжедмитрия и был на его свадьбе в 1606 г. Через два года, в 1608 г., участвовал он в свадебном поезде царя Шуйского, который женился на его родственнице, М.П. Буйносовой. Но родство с царем Василием не сблизило Катырева с Шуйскими. В том же 1608 г., в то время, когда второй самозванец приближался к Москве, и против него были высланы войска, в этих войсках “нача быти шатость, хотяху царю Василию изменить”. Измена вовремя стала известна Шуйскому. Он отозвал все войско к Москве, “переимал изменников” и одних сослал, других казнил. Летопись, передавая имена

изменивших, на первом месте называет князя Ивана Катырева вместе с князьями Ю. Трубецким и И. Троекуровым. Все трое были сосланы с Москвы, и Катырев дальше всех – в Сибирь, на воеводство в Тобольск, куда он прибыл уже в 1609 г. В должности тобольского воеводы ему суждено было остаться приблизительно до освобождения Москвы от поляков. Таким образом, он не был очевидцем Смуты во второй ее половине, и если он описал в своей “Повести” последние смутные годы так же обстоятельно, как первые, то, конечно, пользовался при этом чужими показаниями и письменными источниками. Дошедшие до нас остатки той деловой переписки, какую он вел, будучи в Тобольске, свидетельствуют нам, что Катырев своевременно узнавал из официальных грамот о главных политических событиях на Руси. В 1612 г. бояре из “полков”, стоявших под Москвой, вызвали Катырева из Сибири и назначили на его место кн. И.П. Буйносова; в 1613 г. мы видим Катырева уже в Москве. Быть может, он успел туда приехать раньше избрания в цари его шурина Михаила Феодоровича: подпись Катырева находится на избирательной грамоте 1613 г.

При новом государе началась весьма почетная служба Катырева – придворная и военная. Он часто в чине стольника упоминается в разрядных книгах. Так в 1614 г. летом был он назначен первым воеводою большого полка на Тулу против татар. В 1615 г., когда татары грозили самой Москве, ему поручена была защита Замоскворечья, а он опять был первым воеводою большого полка. В то же время поручались ему и придворные службы: в 1615 г. ходил он с государем к Троице; в 1616 и 1617 гг. “смотрел в большой стол” на дворцовых обедах послу Дж. Мерику. В 1618 и 1619 гг. снова видим Катырева в военных должностях: с мая и до зимы 1618 г. ведал он оборону Замоскворечья от поляков, а “на весну” 1619 г. его послали в Тулу против крымцев; и в Москве, и в Туле он был первым воеводой. В 1622 г. Катырев именуется уже дворянином московским и с тех пор в перечнях дворян всегда пишется первым. В 1622–1629 гг. он жил в Москве, ходил за государем в походы на богомолья, присутствовал на первой и на второй свадьбах Михаила Федоровича и на других придворных церемониях, часто обедал за царским и патриаршим столом, – словом, был ближним, “комнатным” человеком.

В 1630 г. Катырев вместо почетных, но кратковременных поручений, получил назначение на постоянную должность начальника Владимирского судного приказа и занимал ее приблизительно до сентября 1632 г. В сентябре или октябре 1632 г. князю Ивану дано было новое почетное назначение: он был послан первым воеводой в Новгород и оставался там около трех лет до

конца 1635 или начала 1636 г. Что делал он в 1636 г., мы не знаем; но в 1637–1639 г. имя его встречается изредка при описании посольских приемов и придворных обедов в Москве. В конце же 1640 г. князь Иван скончался в прежнем своем чине московского дворянина, не достигши боярского сана.

Такова была жизнь Катырева. Известия о ней односторонни: они дают сведения о службе князя Ивана, но не дают понятия о его личных способностях, образовании и взглядах. А между тем “Повесть” Катырева, выделяясь из ряда современных ей исторических повествований своими литературными достоинствами, заставляет видеть в ее авторе талантливого и образованного человека. С литературной стороны его труд стоит выше едва ли не всех прочих сказаний о Смуте; слог Катырева может увлечь своим оригинальным и красивым эпическим складом. Обилие тропов делает язык его “Повести” изобразительным, но не вычурным и не запутанным; речи, вложенные в уста действующих лиц, оживляют изложение; в рассказ иногда удачно вводится картина природы, набросанная немногими, но яркими штрихами. Ум писателя сказывается в той сдержанности, с какою обыкновенно относится он и к друзьям и к врагам своим; чувство меры не позволяет автору к стати и некстати пестрить свое изложение библейскими выписками: они являются у него всегда у места и не нарушают общего характера речи. Эти выписки свидетельствуют о том, что князь Иван был человеком книжным, а известные вирши, которыми он заканчивает свой труд, намекают и на то, что Катырев не ограничивал своего чтения одними богословскими книгами.

Собственно историческим содержанием “Повесть” Катырева довольно богата. Начинаясь кратким рассказом о царе Иване Грозном, она заканчивается известием об избрании на царство Михаила Феодоровича. Пред читателем проходят последовательно все главнейшие моменты Смуты, очерченные довольно кратко, но весьма стройно. С одинаковым вниманием автор останавливается на времени Бориса и похождениях самозванца, на междоусобиях при Шуйском и на обстоятельствах борьбы с поляками. Рассказ его не подробен: Катырев не вдается в описание мелочей, а в общем очерке спешит от факта к факту, ограничиваясь иногда только упоминанием о том или другом событии. Нельзя при этом не заметить, что он замечательно объективен в сравнении с другими современными ему писателями о Смуте. Своею задачей он ставит простое изображение фактов и очень редко высказывает свои взгляды на события и лица; о себе же самом не говорит ни слова. У него нельзя заметить и какой-нибудь общей мысли, которая руководила бы всем изложением; не всегда наблюдается

даже стремление к простому прагматизму. Автор довольствуется фактическим описанием одного события за другим, не претендуя на истолкование их общего смысла и связи. Такой прием автора обращает его труд в беспристрастную хронику событий, которая дорога историку тем, что составлена современником описанной эпохи.

“Повесть” Катырева была первоначально напечатана в “Изборнике славянских и русских сочинений и статей” А.Н. Поповым, под именем хронографа Сергея Кубасова; с именем настоящего автора она помещена в XIII томе “Русской исторической библиотеки”, издаваемой Археографической Комиссией.

Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1888. С. 203–222; *Майков Л.Н.* О начале русских вирш // ЖМНП. 1891. Июнь. С. 443–453.

Филарет, патриарх Московский и всея Руси, в мире боярин Федор Никитич *Романов-Юрьев*, род. около 1553 г., ум. 1 окт. 1633 г. Он принадлежал к одному из видных боярских родов в Москве. Служа московским государям с XIV века, Юрьевы (они же Захарьины, Кошкины) получили в середине XVI столетия особенное значение в московском дворце благодаря тому, что царь Иоанн Грозный женился на девице из этого рода Анастасии Романовне. С безвременною смертью царицы Анастасии Романовны в 1560 г. значение ее родни не упало. В 1584 г. Грозный оставляет в числе опекунов при своем сыне Феодоре брата царицы Анастасии боярина Никиту Романовича, и, можно думать, что именно этот боярин оказывал наибольшее влияние на ход дел в 1584–1585 годах до постигшей его неизлечимой болезни. Родственные связи с царскою семьею и добрая слава, которую снискали себе в Москве как сама царица Анастасия, так и брат ее Никита Романович, стали основанием особенной популярности Романовых, создавшейся еще в XVI веке. Как известно, народное творчество отводило боярину Никите Романовичу очень почетное место в песнях о Грозном; московская молва распространила записанный К. Буссовым еще до 1613 г. слух о том, что царь Федор Иванович, умирая, завещал свое царство “Никитичам” (так называли в Москве пятерых сыновей Никиты Романовича: Федора, Александра, Михаила, Ивана и Василия). Такие обстоятельства ставили семью Никитичей в исключительное положение среди прочей служилой знати, и это положение не могло не быть опасным для Бориса Годунова, который после смерти Никиты Романовича успел наследовать его значение при царе Феодоре и формально получил титул “правителя”. Десятилетнее “правление” Бориса открыло ему путь к престолу, на который он вступал, по официальному выражению, как “царскаго корени сродич”. Никитичи были такие же “сродичи царскому корени по сочетанию брака” и с таким же правом, как Годунов, могли притязать на венец Московского царства, и однако в 1598 г. они не оспаривали у Бориса выпавшей ему высокой чести: летописец в рассказе об

избрании Годунова на царство указывает, что противились этому избранию одни только Шуйские (“князи ж Шуйские единые его не хотяху на царство”). Отношения же Романовых и Годуновых в то время, насколько мы можем судить, не были враждебны. При своем венчании на царство Борис почтил высокими наградами как самих Романовых, именно Александра и Михаила, так и их близких, князей Катыврева-Ростовскаго и Черкасского, введя их в свою думу (старший Романов, Федор Никитич, был боярином с 1587 г.). Сверх того, один из Годуновых, Иван Иванович, троюродный племянник Бориса, был женат на Ирине Никитичне Романовой, и таким образом между обоими родами установились связи свойства. Но в конце 1600 г., не стесняясь этими связями, царь Борис положил опалу на всех Никитичей и на близкие к ним боярские семьи князей Черкасских, князей Сицких, Репниных и др. Поводом к преследованию Романовых послужил, по рассказу летописи, ложный донос. Среди дворни Романовых был никто Второй Никитин Бартенев, не простой челядинец, надо заметить, а сам вотчинник-землевладелец, ушедший от царской службы в боярский двор. Около 1590 г. он был “человек Федора Никитича Юрьева”, в 1600-м же году он был “у Александра Никитича казначей”. От этого-то Бартенева и последовало обвинение Романовых в злоумышлении на царя Бориса. Что руководило донощиком, мы не знаем; в летописи есть намеки, что он был просто подкуплен, что Борис, поощрявший доносы, “наипаче всех доводчиков жаловаше” именно холопей Романовских. Как бы то ни было, Бартенев явился тайно к Семену Никитичу Годунову, как рассказывает летопись, и предложил свои услуги для обвинения своих господ. Дело было устроено так, что Бартенев сам положил “в казну” Александра Никитича “всякого корения” и сам же о нем “известил”. Был произведен обыск, коренье нашли, и оно послужило началом “сыска”, то есть следствия, длившегося не менее полугода. По словам иностранца Исаака Массы, дело о Романовых началось в ноябре 1600 г., а вершено оно было только к лету следующего года. Всех “государевых изменников”: Романовых, Черкасских, Сицких, Репниных, Карповых и других разослали в ссылку по дальним городам. Федора Никитича, старшего из опальной семьи, заключив в Антониев-Сийский монастырь (в 90 верстах от Холмогор), насильно постригли в монахи с именем Филарета. В тяжелые времена московской жизни иноческое пострижение было одним из средств лишить человека политического значения. Применение этого средства к Федору Никитичу указывает на то, что царь Борис готов был считать его опасным для своей еще не окрепшей власти. Таким-то образом превратился в

опального монаха популярный московский боярин, известный, по словам Массы, своею красотою и изяществом, бывший образцом для московских щеголей. В далеком монастыре он жил не в тюрьме, а в келье под надзором пристава и мог выходить в церковь, где становился на клиросе. Приставу было велено “покой всякой к нему держать, чтоб ему ни в чем нужды не было”; однако старец Филарет вначале сильно тосковал: всего больше томила его тоска по семье, судьба которой была в точности ему неизвестна. Он верно догадывался, что жену его “замчали” также далеко от Москвы, как и его, хотя и не знал, что она, постриженная в монахини, находится в Заонежском Толвуйском погосте, в разлуке не только с ним, но и с детьми. Дети же их, малютки Михаил и Татьяна, были сосланы вместе с тетками Настасьею и Марфою Никитишнами на Белоозеро, откуда перевезены в Юрьевский уезд, в село Ф.Н. Романова Клины. И для жены, и для детей старец Филарет желал скорой смерти как избавления от страданий ссылки: “Чаю– говорил он, – жена моя и сама рада тому, чтобы им Бог дал смерть”. Горько жаловался старец на боярскую злобу к его роду, говоря, что бояре им великие недруги. Бояр вообще он презирал, думая, что кроме Б. Бельскаго “нет у них разумнаго”. Первое время ссылки, разумеется, казалось самым тяжелым для Филарета. С течением времени безотрадное уныние, в каком пребывал опальный инок, рассеялось и к 1605 году сменилось таким настроением, которое ставило в тупик его приставов и сийских монахов. Говоря словами пристава Воейкова, “живет старец Филарет не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птицы ловчия и про собаки, как он в мире жил, и к старцам жесток... лает их и бить хочет, а говорит де старцом Филарет старец: увидят они, каков он вперед будет! А ныне в Великий пост у отца духовнаго тот старец Филарет не был и к церкви и к игумену на прощанье не приходил и на крылосе не стоит”. Этот грех и греховные воспоминания о том, “как он в свете жил”, это отчуждение от церкви и монастырской братии и надежда, что в будущем он станет не таков, как теперь, – обыкновенно становятся в связь с тем, что происходило в ту пору на Руси. Шел самозванец; стало шатко положение Годуновых, гонителей Филарета; вырастали надежды на возобновление власти и преданий старой династии, при которой так высоко стали Романовы. Надвигавшийся переворот, – как бы мало ни знал о нем в начале 1605 г. ссыльный Филарет, – мог будить в нем мечты об освобождении и возвращении к семье и почестям. Эти мечты нарушали смиренную сдержанность ссыльного, толкали его на выходки, и в конце концов эти мечты сбылись.

Воцарение названного Дмитрия доставило старцу Филарету свободу. С почетом он был возвращен в Москву как родственник мнимого царя Дмитрия. Точно неизвестно, где и когда был посвящен Филарет в иеромонахи; по возвращении же его в Москву в 1606 г. он был прямо возведен на Ростовскую митрополию вместо удалившегося на покой митрополита Кирилла. При свержении самозванца новый митрополит Ростовский находился в Москве, откуда и был послан новым царем Василием Ивановичем в мае 1606 г. в Углич для перенесения тела царевича Дмитрия Иоанновича в Москву. Так называемая “Рукопись Филарета, патриарха Московского” (М., 1837) подробно рассказывает о том, как Филарет и посланные с ним архиепископ Астраханский Феодосий и бояре князь Иван Михайлович Воротынский, Петр Никитич Шереметев и Нагие – Андрей Александрович и Григорий Федорович отыскивали мощи царевича, свидетельствовали их нетленность и торжественно принесли их в столицу 3 июня 1606 г. Перенесением тела истинного царевича в Москву царь Шуйский надеялся уничтожить в корне возможность появления новых самозванцев. Этот политический шаг обретением мощей царевича был превращен в церковное торжество, и мощи нового угодника не были погребены по обычному чину в Архангельском соборе, а были поставлены в раке на поклонение верующим. В отсутствие Филарета из Москвы царем Шуйским был решен вопрос о патриархе. Дряхлость и слепота первого патриарха Иова, свергнутого самозванцем, помешали ему вернуться к делам церковного управления. Как ходили слухи, вместо него патриархом первоначально желали сделать Филарета, но почему-то раздумали, и на патриаршество был избран казанский митрополит Гермоген; после торжества патриаршего поставления митрополит Филарет отправился на свою кафедру в Ростов Великий, где и пребывал до октября 1608 г.

Известно, что воцарение князя Шуйского не принесло мира и спокойствия московскому государству. В различных местах русской земли шло смутное брожение с самого начала царствования царя Василия. К концу 1606 г. стало ясно, что против Шуйского вся южная половина государства. Воинские силы мятежников подступили к самой Москве, и началась борьба под самими стенами столицы. В шуме битв московский патриарх посылал архипастырям так называемые “богомольные” грамоты, в которых излагал ход событий и призывал к молитвам за царя Василия, о восстановлении мира и тишины; эти патриаршие грамоты уже в списках рассылались архиереями по городам и до нас дошли в списках именно Филарета митрополита Ростовского. Ему при-

шлось извещать паству и о восстании Болотникова, и о появлении шаек второго самозванца, “Тушинского вора”, и он оставался верным богомольцем царя Василия, до тех пор, пока сам не пострадал от тушинцев. В октябре 1608 г. войска второго самозванца взяли Ростов, потому что там “жили просто, совету и обереганья не было”. Город был сожжен, население избито, а митрополит Филарет был взят в плен. С ним обошлись бесчестно: по одному рассказу, “с митрополита Филарета сан (т.е. знаки его сана) сняли п поругалися ему, посадя на возок с женкою, да в полки свезли” (т.е. в Тушино); по другому рассказу, митрополита “ведуще путем нага и боса, токмо во единой свите, и ругающесея, облкоша в ризы язычески и покрыта главу татарскою шапкою и нозе обувше в несвойственны сапоги”. В Тушине Филарет был встречен иначе: здесь ему предстояла честь – стать “нареченным патриархом московским” при самозванном московском царе. Нельзя думать, чтобы митрополит дорожил своим новым положением или даже мирился с ним. Только насилие могло его удерживать в тушинском стане; Авр[аамий] Палицын прямо говорит, что тушинцы держали своего патриарха в неволе, “блюли того всегда крепкими сторожами и никакоже ни словеси, ни помавания дерзнути тому дающе”. Дошедшие до нас грамоты, данные будто-бы “нареченным патриархом” Филаретом в 1608–1610 гг. и касающиеся дел церковного управления и политических, не могут быть доказательством того, что Филарет согласился действительно взять на себя роль, ему назначенную Тушинским вором. Несмотря на постоянное именование Филарета “патриархом”, законный московский патриарх Гермоген считал его не врагом своим, а жертвою “воров”, их пленником, и посылал ему свое благословение. В грамотах своих Гермоген писал, что он молит Бога о тех, “которые взяты в плен, как и Филарет митрополит и прочие, не своею волею, но нужею и на христианский закон не стоят”. Когда распало Тушино, в марте 1610 г., Филарет был увезен из него поляками в Иосифов-Волоколамский монастырь, а оттуда ему очень скоро удалось попасть в Москву: его “отполонил” у поляков отряд Григория Волуева. В Москве Филарет был принят с честью и стал на прежнем месте в среде московской иерархии.

События свершались в то время с ошеломляющею быстротой. Приезд Филарета в Москву совпал с торжеством царя Шуйского. Москва освободилась от Вора и копила силы на короля Сигизмунда, осадившего Смоленск. Настроение народной массы повернулось в пользу Шуйских благодаря подвигам князя М.В. Скопина-Шуйского. И вот М.В. Скопин умирает в конце апреля 1610 г.; в июне вся рать Шуйского разбита гетманом Жолкевским и рассея-

лась; в июле москвичи свели с царства царя Василия; в начале августа польское войско подступило к беззащитной Москве, уже вновь осажденной Лжедмитрием, а 17 августа Москва, поставленная в необходимость избирать царя из двух претендентов на ее престол, самозванца и польского королевича, отдала предпочтение Владиславу польскому. В нем боярство искало опоры против самозванца и тех слоев населения, которые его поддерживали и ему сочувствовали. Московское же духовенство не было расположено к мысли иметь царем иноверца и намечало на царский престол людей из боярской среды, в большинстве своем предпочитая князя В.В. Голицына. Горожане следовали в этом деле за духовенством, но указывали не на Голицына, а на Михаила Федоровича Романова, сына митрополита Филарета; молодого Романова хотел и сам патриарх Гермоген. Хотя все толки о царском избрании умолкли перед необходимостью избрать не того, кого хочется, а того, кому сила орудия дала господство над положением дел, и, хотя Москва послушно присягнула Владиславу, однако Жолкевский, войдя в боярский совет и ознакомившись с внутренними московскими отношениями, понял, что для его королевича и Романовы и Голицыны не перестали быть опасными. Поэтому-то у него явилась мысль о необходимости удалить из Москвы этих лиц под благовидным предлогом. Дипломатический ум гетмана указал ему верный путь к цели: гетман уговорил В.В. Голицына принять на себя почетнейшее поручение – руководить “великим”, чрезвычайным посольством к королю Сигизмунду для приглашения его сына Владислава на московский престол. Но М.Ф. Романов, – как говорит сам гетман, – “был юноша, а потому никак нельзя было включить его в посольство, но гетман постарался, чтобы назначили послом от духовнаго сословия отца его (Филарета), дабы иметь как бы залог”. Таким образом митрополит Филарет был поставлен во главе “великого посольства” вместе с В.В. Голицыным и в сентябре 1610 г. выехал из Москвы под Смоленск, в королевский стан.

Известна печальная судьба этого великого посольства. Король Сигизмунд желал сам сесть на московский престол как победитель Московского царства; он не одобрял той формы унии Москвы с Польшей, которая передавала власть Владиславу под условием принятия православия и полного отделения московской политики от литовско-польской; поэтому уже в августе 1610 г. он приказывал Жолкевскому “принимать власть не на имя королевича, а на имя самого его величества короля”. Жолкевский скрыл это желание Сигизмунда от москвичей, потому что знал всю силу ненависти московских людей к Сигизмунду, за введение исповед-

ной унии в его государстве, и понимал, что Москва и в крайности не присягнет королю. Великое посольство ехало под Смоленск в неведении истинных поползновений Сигизмунда и оттого не сразу поняло значение тех странных приемов, с которыми начали переговоры о царском избрании дипломаты короля. Когда же, наконец, желание Сигизмунда стало известным, когда подарками и подкупом младших членов посольства король вывел их из повиновения старшим, тогда старшим послам оставалось только с особенною твердостью стоять на тех условиях, на которых договаривалась Москва с Жолкевским. В этом послы полагали свою честь и упорною стойкостью думали защитить Москву от посягательств короля. Но они вели неравную борьбу. Пославшая их Боярская дума стала служить видам Сигизмунда, и Сигизмунд на деле правил уже Русскою землею. Патриарх Гермоген один во всем правительстве московском протестовал против подчинения Москвы самому королю, но его голос не всегда много значил: он мало мешал агентам короля. И вот когда Сигизмунд счел свою власть достаточно окрепшею в Московском государстве; он перестал стесняться с послами: от них прямо требовали, чтобы они подчинились незаконным приказаниям Боярской думы. Послы не повиновались точно так же, как перестала повиноваться боярам и вся земля. Против боярской и польской власти, наконец, началось открытое возмущение; его поддерживал патриарх; с ним были солидарны и послы. Тогда весною 1611 г. Сигизмунд отправил послов в Польшу как пленных. Там под стражею Филарет провел восемь с лишком лет. По одному известию, находящемуся в книге Страленберга “*Der Nord- und Oestliche Theil von Europa und Asia*” (1730), Филарет, заточенный в Мариенбурге, имел возможность переписываться с Москвою в то самое время, когда в Москве в 1613 г. совещались о выборе царя; в пространном письме к своему родственнику Федору Ивановичу Шереметеву он будто бы давал советы касательно царского избрания, не предчувствуя, что земский собор может возвести на престол его собственного сына. Если это известие и не вымышлено в своей основе, то в подробностях оно маловероятно. Трудно верить, чтобы московские бояре могли обмениваться письмами с пленными послами быстро и правильно. В Москве не всегда знали даже, где находится Филарет, и считали важным сообщение “немчина”, что Филарета “держат в великой крепости” в городе Марбурге. Письма к Филарету читались ранее Л. Сапегою, через которого Филарет должен был передавать и ответы на полученные письма. В такой обстановке трудно было, конечно, посылать в Москву политические советы, к тому же направленные против воцарения королевича Владисла-

ва на московском престоле. Вероятнее всего, что во время своего плена ни Филарет не знал московских дел, ни московское правительство не имело постоянных сведений о митрополите.

Между тем значение этого митрополита внезапно выросло. В феврале 1613 г. на московский престол был избран сын Филарета царь Михаил Федорович. Естественно было на свободный, “вдовевший” после смерти Гермогена (1612 г.) патриарший престол возвести государева отца, митрополита Филарета. Мысль об этом явилась в Москве при самом воцарении Михаила и придавала особую важность заботе, какую царь Михаил прилагал к тому, чтобы “батюшку своего из Литвы к Москве здрава выручить”. Однако враждебные отношения к польско-литовскому государству не допускали размена пленных до 1619 г. Беспокоясь о судьбе отца, боясь даже за его жизнь, Михаил Феодорович тем не менее именовал его уже не митрополитом Ростовским, а митрополитом “Московским и всея Руси”, и распространял его будущую юрисдикцию на все государство. В лице Филарета, таким образом, Москва ожидала своего патриарха. Размен пленных состоялся 1 июня 1619 г.; через две недели Филарет был уже в Москве, а еще через неделю, 29-го июня, совершилось наречение его в патриарха Московского и всея Руси. Торжественное поставление в сан патриарший Филарет принял 24 июня в Успенском соборе от иерусалимского патриарха Феофана, бывшего тогда в Москве, и от русских иерархов. Немедля новый патриарх, именуемый царским титулом “великого государя”, вступил в управление равно церковью и государством. В Москве началось двоевластие, длившееся до самой смерти патриарха, в течение четырнадцати лет.

Первые годы правления царя Михаила Феодоровича представляют много темного и загадочного. Сам царь был слишком молод и мягок для того, чтобы лично вести осложненные смутами дела московской политики и администрации; стоявшая рядом с ним его мать “великая старица” Марфа Ивановна пользовалась влиянием на дворцовые дела и не вмешивалась в государственные; дворцовые временщики не возвышались до руководства правительственной деятельностью; постоянный земский собор, не прекращавший своих заседаний с 1613 до 1619 г., не проявлял инициативы, решая и обсуждая лишь те дела, которые ему предлагались от имени царя. Мы ожидали бы, что в таких обстоятельствах особым влиянием и должна была бы и могла бы пользоваться Боярская дума, царский совет, который, по преданию, взял с царя Михаила ограничительную запись. Но для всякого знакомого с документами той эпохи очевидно, что высший правительственный авторитет в то время принадлежал царю сово-

купно с земским собором; правительственное же значение думы незаметно между царским указом и “всея земли приговором”. Нельзя указать среди личного состава думы и таких бояр, которые помимо своего учреждения имели бы вес и значение в правительстве. Таким образом, от нас скрыты истинные руководители дел, и нам неизвестна правительственная программа, которая бы направляла отдельные мероприятия того времени к одной общей цели; мы даже готовы предполагать, что сверх удовлетворения неотложных текущих потребностей управления тогда и не думали ни о каком общем плане правительственной деятельности. Такой план предложил земскому собору Филарет тотчас после своего поставления в патриархи. По официальному рассказу, когда совершилось поставление Филарета, он со всеми прочими иерархами явился к царю и указал ему на ряд неурядиц в государственных делах. Его указания очень метко характеризовали слабые стороны тогдашнего управления. Правительство не знало в точности служебных сил и налогоспособности населения, не везде одинаково пострадавшего от Смуты. Поэтому служебное и податное бремя не могло быть равномерно распределяемо между служившими и платившими, и возможны были со стороны населения уклонения от повинностей, а со стороны администрации вопиющие злоупотребления. Все это мешало правильному устройству дел, и государь с патриархом приговорили учинить собор “о всех статьях” патриаршего доклада, “как бы то исправить и земля устроить”. Постановление земского собора по этому предмету имеет характер целой правительственной программы, преследующей определенные задачи: правильно устроить службы с поместий, составить точные кадастровые описи земель и на их основании достигнуть правильности податного обложения, привести в известность как наличные средства казны, так и будущие ее ресурсы для составления общей росписи доходов и расходов; принять действительные меры к пресечению административных злоупотреблений, препятствующих водворению порядка в стране. Все эти меры очень явно клонились к той цели, чтобы увеличить правительственные средства наиболее правильным и легким для населения способом. Вся последующая деятельность московского правительства времени царя Михаила Феодоровича вытекала из этого соборного приговора 1619 г. о том, “как земля устроить”, а этот приговор был вызван докладными “статьями” патриарха. Таким образом, Филарет с первой же минуты возвращения своего стал руководителем московской политики и сохранил такое значение на все время своего патриаршества. Приказные книги и грамоты тех лет дают много указаний на это. Переписка пат-

риарха-отца с сыном-государем обнаруживает всю силу влияния патриарха на ход московских дел, и крупных и мелких. Можно поэтому поверить отзыву архиепископа Астраханского Пахомия (1641–1655), что Филарет “владел таков был, яко и самому царю бояться его”, и что он “всякими царскими делами и ратными владел”. Соправительство патриарха было вполне оформлено: называясь, как и царь, “великим государем”, он принимал гласное участие во всех действиях верховной власти: “Все дела, – говорит С.М. Соловьев, – докладывались обоим государям, решались обоими, послы иностранные представлялись обоим вместе, подавали двойные грамоты, подносили двойные дары”. Тем, кто в Филарете думал видеть только патриарха и забывал о его династическом значении, царь объявлял, что “каков он, государь, таков и отец его государев, великий государь, святейший патриарх, и их государское величество нераздельно”. При таком порядке нельзя считать узурпацией власти со стороны патриарха те случаи, когда он отдельно от сына принимал доклады и челобитья и давал на них свои решения, о которых и извещал затем государя: взаимное доверие оправдывало такое поведение.

Таково в общих чертах было положение патриарха в московском правительстве. В силу родительского авторитета и политической опытности он стал первенствующим лицом в направлении дел и придворных отношений. Поэтому с его именем должны быть связаны все государственные и дворцовые события, происходившие в Москве с 1619 по 1633 г., рассмотрение которых можно найти в жизнеописании царя Михаила Феодоровича и на которых здесь не останавливаемся.

В сфере церковного управления, подлежавшей прямому ведению патриарха Филарета, он не оставил глубокого следа. Властный в делах государственных, и в церковной жизни он умел показать свою власть, но вообще, по отзыву архиепископа Пахомия, “до духовнаго чина милостив был и не сребролюбив”. В церковной жизни застал он много беспорядков и немедленно после принятия патриаршего сана взялся за деятельное искоренение зол. В период междупатриаршества (1612–1619) московская церковь пережила время безначалия. После смерти Гермогена в осажденной земскими ополчениями Москве бояре, кажется, пробовали возвратить патриаршие права Игнатию, бывшему при первом самозванце, но Игнатий скрылся из Москвы в Литву, как только получил свободу. Земское ополчение князя Пожарского, освободив Москву, признало главою духовенства казанского митрополита Ефрема, так как старший из митрополитов, новгородский Исидор, был в шведском плену. По смерти же Ефрема, с 1614 по

1619 г. делами церкви правил крутицкий митрополит Иона, не оправдавший возложенных на него надежд и допустивший много нестроений и насилий. Самое явное из них произведено было над справщиками богослужебных книг, редактировавшими тексты для печатных изданий. Эти справщики, монахи Арсений Глухой и Антоний из Троице-Сергиева монастыря и знаменитый архимандрит того же монастыря Дионисий, а с ними поп Иван Наседка, были допущены к исправлению книг “государевым словом”, мимо митрополита Ионы, и занимались своим делом не на Печатном дворе и не у митрополита, а в своем монастыре. Будучи людьми начитанными и, по степени разумения дела, возвышаясь над прежними справщиками, они нашли, что исправить в служебных книгах, и указали ряд ошибок не только в старых изданиях, но и в книгах, напечатанных уже в правление Ионы. Это могло само по себе рассердить митрополита, не отличавшегося достоинствами характера: он посмотрел на дело так, как будто исправление, шедшее независимо от него, направлено именно в его осуждение. А здесь подоспел еще донос на справщиков от их личных недругов троицких же монахов Филарета и Логгина; они обвиняли своего архимандрита и его сотрудников в том, что те еретически изменили в требнике конечные славословия молитв и опустили слова “и огнем” в молитве на Крещение Господне. И когда Дионисий весной 1618 г. представил исправленный им потребник на утверждение Ионы, митрополит созвал на 18 июля собор для суждения о поправках. Суждение это превратилось в суд над справщиками; их справедливые мнения были признаны за неправильные невежественными судьями; архимандрит Дионисий и Арсений Глухой были осуждены и заточены в монастырь. Особенно тяжело пришлось архимандриту Дионисию: наложенную на него эпитимью митрополит превратил как будто бы в средство личного своего мщения. Сверх того, что архимандрита истязали в монастыре, его еще требовал к себе на двор митрополит и подвергал унижениям и истязаниям. И так дело продолжалось до возвращения из плена Филарета. Бывший в Москве в 1619 г. иерусалимский патриарх Феофан, хотя и заявил о правоте Дионисия, не решился один требовать формального пересмотра вопроса “о прилоге: *и огнем*”. Зато после посвящения Филарета в патриархи, всего через неделю, 2 июля, оба патриарха повелели рассмотреть вновь на соборе дело справщиков. Дионисий давал пространные объяснения и на этот раз одержал победу над противниками. Его мнение признали правым, его самого и его товарищей – невинно страдавшими. Все они были восстановлены в правах и остались при обязанностях справщиков. После формального сношения с Востоком, уже в

1625 г., патриарх Филарет повелел указом замарать во всех требниках прибавку *и огнем* и никогда не читать ее в молитве.

Положение митрополита Ионы в этом деле не было почетным. В другом деле, возбужденном патриархом Филаретом, Иона был, может быть, в существе более прав, но держал себя столь же мало достойным образом. В 1620 г. два московских священника просили у патриарха Филарета разъяснений по поводу того, что Иона не разрешил им крестить двух поляков, переходивших в православие, а велел, против обычая, только миропомазать их и допустить к святому причастию. Патриарх очень живо отнесся к этому делу, потому что самому ему пришлось участвовать в разрешении вопроса о правилах принятия в православие латинян в очень важную минуту московской истории – при избрании в цари Владислава, когда патриарх Гермоген стремился выяснить способ принятия в лоно церкви будущего царя. Тогда вопрос решен был в том смысле, что Владислав должен быть вновь крещен по православному, и на такой точки зрения утвердился и теперь патриарх Филарет. Он призвал митрополита Иону к себе и увидел, что Иона упорствует в своем мнении, считая латинян в числе тех еретиков, которых одно из правил VI-го вселенского собора повелевает присоединять к православию чрез миропомазание (такое мнение по существу правильно). Основываясь на ином понимании “латинской ереси”, как самой злейшей, патриарх счел Иону погрешившим и потому запретил ему совершать литургию, а для суждения о нем созвал собор, сошедшейся в декабре 1620 г. Собор стал на сторону патриарха, усвоил его толкование вопроса и осудил Иону. Боясь ответственности, этот последний не стал упорствовать в своем мнении, но и не желал принести повинную, а пробовал извернуться, говоря, что он не помнит, как было дело, и обращались ли к нему за разрешением подобных вопросов. Однако недостойное поведение митрополита изобличили, и он бил челом собору о прощении, сознавая, что впал в грех “простою, а не умыслением”. Собор, постановив перекрещивать не только католиков, но и всех “белорусцев”, нестрого охранявших чистоту православия, простил Иону и снял с него духовное запрещение. Однако через несколько месяцев возникло против Ионы новое обвинение в том, что он без вины сослал в монастырь вологодского архиепископа Нектария, и тогда окончательно компрометированный Иона был вынужден удалиться с митрополии на покой в Спасо-Прилуцкий монастырь.

Так разделался патриарх Филарет с неугодным ему митрополитом и водворил спокойствие и порядок в московской церкви. Круг дел, в который на первых порах вовлечен был патриарх, бла-

годаря ошибкам и злоупотреблениям Ионы, и по удалении этого митрополита продолжал интересоваться Филарета. Исправление и печатание богослужебных книг велось энергично: «при Филарете Никитиче, – говорит митрополит Макарий в своей “Истории русской церкви”, – вышло из московской типографии больше книг, нежели сколько было напечатано их во все предшествовавшее время от ее начала». Справщики, с Арсением Глухим и Иваном Наседкою во главе, подобраны были удачно, обладали усердием и правильным взглядом на важность порученного им дела. Но им мешало недостаточное знакомство с греческими текстами, без сличения с коими нельзя было ручаться за правильность исправлений; не пришло еще то время, когда сознали, наконец, необходимость расширить сферу изучаемого для исправлений материала, введя в нее и греческие рукописи. С чрезвычайным вниманием относясь к делу печатания богослужебных книг, патриарх Филарет должен был обратить внимание и на те печатные церковные книги, которые приходили в Московское государство из-за литовского рубежа. До 1627 г. он считал продукты литовского книгопечатания доброкачественными; но когда оказалось, что там печатаются и книги в исповедном отношении неодобрительные (Учительное Евангелие Кирилла Транквиллиона), то патриарх мало по малу дошел до суровой, обстоятельствами не оправдываемой меры: он приказал везде заменить богослужебные книги литовской печати московскими книгами и запретил обращение литовских книг даже между частными лицами. Одобренная, исправленная и уже отпечатанная в Москве книга западно-русского писателя Лаврентия Зизания не была выпущена в обращение, как кажется, в силу именно этого недоверия ко всему зарубежному, литовскому. С таким же недоверием относился Филарет и к литовским выходцам, принимая их в лоно православной церкви не иначе, как вновь крестя их чрез троекратное погружение.

Рядом с этими заботами оградить московское православие от ущерба со стороны католичества и унии, шли заботы о том, чтобы не дать торжества над православием и лютеранской пропаганде в тех областях, которые по Столбовскому договору 1617 г. отошли к Швеции. Новгородскому митрополиту приказано было иметь духовное попечение о православном населении отторгнутых земель, и указаны были пути для сношений с этою частью его паствы. В то же время путем дипломатического представительства московское правительство пыталось остановить попытки шведов к распространению лютеранского учения между православным населением финского побережья. С другой стороны, успехи русской колонизации в Сибири вызывали со стороны патриарха

попечения о новых областях и о новой пастве. Была учреждена тобольская епархия и послан в нее архиепископ Киприан, который деятельно трудился над устройством церквей и монастырей и установлением порядка и благочиния среди грубого и дикого еще населения новозанятого края.

Из особенных торжеств церковных, кроме прославления новых святых (Макария Унженского и Авраамия Галицкого), следует упомянуть о принесении в Москву ризы Господней. В начале 1625 г. приехал в Москву посол от персидского шаха Аббаса, грузин Урусамбек, и между прочим поднес патриарху золотой ларец, “ковчег, а в нем великаго и славнаго Христа срачица”. Кое-какие сведения об этой драгоценности в Москве имели: знали, что шаху она досталась из Грузии и что в Грузии пользовалась почитанием. Освидетельствовав поднесенный подарок и убедившись, что от срачицы этой верующие получают исцеление, патриарх с собором признал срачицу подлинною ризою Господней, поставил ее в ковчеге в Успенском соборе и установил в честь ее празднование 27 марта.

Обзор жизни и деятельности патриарха Филарета Никитича может привести нас к удивлению пред странною судьбою этого человека. Воспитанный для обычной боярской карьеры, уже достигнув боярского сана, он внезапно надевает монашеский клобук и вместе с тем обращается в политического ссыльного. Внезапный государственный переворот возвращает его к почестям, но не мирским, а церковным, и только для того, чтобы вторично подвергнуть его случайностям плена и позорной неволе. Избыв эту неволю и освободясь от тушинских поляков, Филарет снова попадает в польский плен, после которого становится распорядителем всего Московского государства. Быстрая смена положений, разнообразие обстановки, ряд тяжелых испытаний должны были закалить характер и дать тяжелый, но драгоценный житейский опыт. Этот твердый характер и этот опыт и принес с собою Филарет в Москву в 1619 г. в помощь царствующему сыну. Вся предшествующая деятельность патриарха скорее всего могла приготовить из него сведущего дипломата и ловкого политического дельца. Династические интересы заставили его устремить все силы на управление государственными делами, к которым он был способен и подготовлен. Отсутствие же богословского образования делало его особенно сдержанным и осторожным в делах церковных. В этой сфере он ограничивался заботами об охране правоверия и, думая, что и здесь, как в делах политики, главная опасность грозит из-за литовского рубежа, он с особенною ревностью восставал на все польско-латинское. В остальном же он шел

за потребностями минуты и не возвышался над ними. Поэтому политическая сторона в деятельности Филарета виднее и важнее церковной. С 1619 по 1633 г. он был истинным представителем окрепшей его трудами государственной власти и устройтелем государственного порядка. В этом, главным образом, историческая заслуга патриарха.

Смирнов А. Святейший патриарх Филарет Никитич Московский и вся России. М., 1847 (из Чтений Общества любителей духовного просвещения, 1872–1874); *Макарий (Булгаков), митр.* История русской церкви. СПб., 1881. Т. 10; СПб., 1882. Т. 11; *Соловьев.* История. Т. 8; *Карамзин.* ИГР. Т. 11 и 12; Русский архив. 1863. С. 348. 1882. № 2. С. 313; Чтения ОИДР. Год 3-й. Кн. 3. С. 19–40; АИ. Т. 2. № 38 и 54; ДАИ. Т. 2. № 76; *Голиков И.И.* Деяния Петра Великого. 2-е изд. М., 1840. Т. 12; Рукопись Филарета, патриарха Московского и всей России. М., 1837 (то же в “Сборнике Муханова”).

АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

В третий том собрания сочинений С.Ф. Платонова включены статьи историка, написанные в дореволюционный период. При составлении тома привлекались материалы по библиографии С.Ф. Платонова, составленные А.В. Мельниковым и готовые к публикации. Том состоит из трех разделов. В первый раздел помещен сборник “Статьи по русской истории”, составленный самим автором и выдержавший два издания – в 1903 и в 1912 гг. Текст публикуется по второму изданию.

В архиве С.Ф. Платонова, который в настоящее время находится в Отделе рукописей РНБ, хранятся рукописи, гранки и оттиски отдельных статей, включенных в сборник (из этого фонда и помещенный на фронтисписе портрет С.Ф. Платонова). Судя по пометам на страницах этих материалов, С.Ф. Платонов обращался к некоторым своим статьям и после выхода в свет второго издания сборника. В некоторых случаях, если сохранилась черновая рукопись статьи, у нас есть возможность проследить за ходом мысли историка при написании статьи, поскольку черновые рукописи содержат обильную правку, в результате которой оказались не включенными в окончательный вариант статьи как отдельные фразы, так и целые абзацы.

Статья “Заметки по истории московских земских соборов” в архивном фонде С.Ф. Платонова присутствует в виде оттиска без помет с дарственной надписью будущей жене на первом листе: “Надежде Николаевне Шамониной в знак глубокого уважения приносит автор” (ОР РНБ. Ф. 585. № 1246. Л. 1).

Статья “Новая повесть о Смутном времени XVII века” представлена оттиском без помет (ОР РНБ. Ф. 585. № 1252. Л. 1–9) и наборной рукописью (Там же. Л. 10–29), в которой присутствует редакторская правка, выполненная почерком С.Ф. Платонова. Ее большая часть касается совершенствования литературного стиля, но есть и два содержательных исправления. Так, первоначальный текст “из боязни за свою жизнь и благополучие семьи, то свое произведение он подбросил на улицах Москвы и, конечно, не означил в нем своего имени. Все эти обстоятельства объясняются как из общего содержания произведения, так особенно” исправ-

лен на следующий: “из боязни за свою жизнь и благополучие семьи, то свое произведение он не означил...”, который читается и в опубликованном варианте статьи (л. 13); после слов “если Смоленск отстоится от поляков и прогонит осаждающих, то смолянам будет принадлежать честь спасения всего государства” первоначально было написано: «и по всему свету “до Царяграда и до Рима и до Иерусалима” пройдет о них слава как о спасителях Отечества» – впоследствии этот фрагмент С.Ф. Платонов зачеркнул карандашом и не включил в публикацию (л. 15).

Статья “Московские волнения 1648 года” в архиве представлена черновой рукописью (Ф. 585. № 1260), содержащей значительное количество разночтений с печатным текстом. После окончания основного текста статьи почерком Платонова написана дата: “6 мая 1888” (л. 10 об.). Перечислим содержательные разночтения черновика статьи относительно ее печатного текста. На поле против текста “И поддаваясь теперь критической проверке на основании русских данных, эти иноземные рассказы сами приобретают большую определенность и ценность в глазах исследователя” помещены две карандашные пометы: “Погрешности этих иноземных рассказов поддаются теперь критической проверке на основании русских данных и оттого приобретают более определенную историческую ценность в глазах исследователя”, “На основании русского материала, зная наверно, что следует и чего не следует заимствовать из иностранных повествований, мы сможем увереннее и отчетливее” (л. 9). В печатном варианте статьи в тексте “Все эти черты разбираемого рассказа, обнаруживая одностороннее отношение автора к событиям, вместе с тем свидетельствуют, что автор вполне искренно, без предвзятых соображений и внешних стеснений передавал свои воспоминания о бунте. Это усиливает интерес памятника и служит в то же время речательством, что мы имеем дело с очевидцем, записавшим факты вскоре после того, как они произошли – вероятно, даже раньше, чем совершилось возвращение Морозова в Москву” слова “обнаруживая одностороннее отношение автора к событиям, вместе с тем свидетельствуют, что автор вполне искренно, без предвзятых соображений и внешних стеснений передавал свои воспоминания о бунте. Это усиливает интерес памятника и служит в то же время речательством, что” написаны карандашом на правом поле и переданы в издании не совсем верно. В рукописном черновом варианте статьи они читаются так: “обнаруживая одностороннее отношение *его* автора к событиям, вместе с тем свидетельствуют *о том*, что автор вполне искренно, без предвзят^{ой} мысли и внешних стеснений передавал свои воспоминания о

бунте. Это усиливает интерес памятника и служит в то же время речательством, что” (л. 10, курсивом отмечены места, искаженные в публикации). После окончания текста (после слов “совершенно иным тоном”) зачеркнута первоначальная концовка статьи: “Нет нужды однако причислять автора записок к числу бунтовавших, грабивших и убивавших людей”, на поле к строке карандашом приписана другая концовка: “Очевидно, что последнее известие о Морозове записано было позднее повествования о бунте, – в то время, когда уже успели остыть возбужденные бунтом чувства летописца” (л. 10 об.). Она также не вошла в печатный вариант. После основного текста статьи в рукописи помещены примечания (л. 11–18). Среди них отсутствует нынешнее примечание 7 “ПСРЛ. Т. 4. С. 339–340.”, некоторые примечания переставлены местами, отчего – иная нумерация примечаний по сравнению с печатным текстом. Кроме того, в тексте примечания 3 читается фрагмент, впоследствии зачеркнутый и не попавший в печатный вариант статьи: «О голландском посольстве см. Дворц[овые] разряды, III, 94–95. Автор повествования, описывая московский пожар, замечает о себе: “В квартал, где жили *мы, иноземцы и русские*, пришло несколько поджигателей с твердам намерением зажечь и другие *части города*, однако *мы* этому помешали – *мы, город сторожившие*”. Из этих слов можно заключить, что» (курсив принадлежит С.Ф. Платонову). На л. 16 читается зачеркнутое примечание, относящееся по тексту к примечанию 26 печатного варианта статьи: “Об этой беседе царских посланных с народом говорят только иностранные описания”. На л. 17 зачеркнут конец примечания, соответствующего примечанию 28 печатного варианта статьи: после слов “голландская брошюра, быть может, права в своем показании” зачеркнуто “Ниже увидим еще один пример подобной же осторожности русского писателя”. К черновику статьи приложены рабочие материалы (л. 19–22) – узкие полоски бумаги с карандашными записями, озаглавленные “Первый день”, “Второй день”, “Третий день”, “Последующие дни” и представляющие собой перечень событий со ссылкой на источники.

Статья “О начале Москвы” представлена в архивном фонде историка комплексом материалов (Ф. 585. № 1261), включающих оттиск опубликованной статьи (л. I–IV), ее черновик (л. 1–17) и рабочие материалы – выписки из источников (л. 18–71). Черновик соответствует печатному тексту, но в последнем пропущено имеющееся в черновике примечание (после слов “от Коломны прежде всего к Москве”) – «Лавр[ентьевская] лет[опись] 438. Разбитый татарами у Коломны князь Всеволод Юрьевич бежал во Владимир, однако не через Москву: иначе он захватил бы с

собою брата Владимира, сидевшего в Москве. Летопись говорит: “и прибежа Всеволод в Володимерь в мале дружине, а татарове идоша к Москве”» (л. 13). Кроме того, к концу текста в черновике (после слов “Черниговского порубежья”) приписано примечание “Очерки р[усской] ист[орической] геогр[афии]. Изд. 2. Стр. 172” (л. 14). В черновике на л. 15–17 зачеркнут фрагмент первоначального текста, не попавший в опубликованный вариант статьи, этот текст должен следовать после слов “можно достоверно указать существование Москвы-города только в 1175–1176 годах, не ранее” (примечания С.Ф. Платонова, написанные в рукописи на поле, в тексте заключаем в прямые скобки – //; зачеркнутый текст заключаем в квадратные скобки – []; подчеркнутые С.Ф. Платоновым слова выделяем курсивом):

«Воскресенская летопись сохранила в себе ценные обрывки старой московской летописи. Обрывки эти легко распознаются в массе прочих известий: составители Воскресенского свода щадили их первоначальную форму, не стирая их архаических черт, не брезгая их узким местным и временным интересом [По этим-то обрывкам и можно кое-что воссоздать из первоначальной истории Москвы города. Не наша задача это делать /Известиями, которые мы здесь разумеем, пользовался и г. Забелин в названной выше статье “История и древности Москвы”/; мы хотим лишь отчасти воспользоваться этими данными.] Один из таких отрывков рисует нам Москву в 1365 г. городом довольно крупным: “Загореся город Москва от Всех святых сверху до Черторьи, и погоре посад весь, Кремль и Заречье” /ПСРЛ. Т. 8. С. 13/. Но это – первое, если не ошибаемся, обстоятельное указание на составные части города Москвы. Известия более ранние вовсе не указывают размера и состава города, говоря о построении церквей в Москве или о пожарах в ней. Сообщения о пожарах 1331, 1337, 1342 г. дают нам только число сгоревших в Москве церквей или указывают просто факт пожара /ПСРЛ. Т. 7. С. 202, 205, 209/. Любопытно, впрочем, сравнить показания о пожаре 1337 г. в Воскресенской и Новгородской первой летописях. Воскресенская говорит только, что “згоре церквей 18”, а Новгородская замечает, что “Москва вся погоре” /ПСРЛ. Т. 7. С. 205. “Новгородская летопись”. СПб., 1888. С. 333. Обстоятельное показание Новгородского летописца заслуживает внимания и доверия: говоря о пожаре, он сообщает любопытные частности: “тогда же найде дождь силен и потопе все, иное в погребех, иное на площадех, что где выношено”/. Восемнадцать сгоревших церквей на *всю* Москву – цифра небольшая, если даже и не думать, что в этом пожаре московские церкви сгорели все (вспомним, что первая каменная церковь была по-

строена Калитою /ПСРЛ. Т. 7. С. 199–200/). Москва вряд ли была значительным городом в первой половине XIV века, а тем более в XIII-м. Мы лично не верим Лаврентьевской летописи, когда она при описании погрома Москвы от татар в 1237 г. говорит, что татары “град и церкви святая огневи предаша и монастыри все и села пожгоша” /Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. С. 438/. Этих слов нет в других редакциях сказания о Батыевом нашествии /Летопись по Лаврентьевскому списку. С. 489; ПСРЛ. Т. 5. 173; Т. 7. С. 140; Т. 10. С. 106/, и они представляются нам позднейшей вставкой, отразившей в своем содержании высокое понятие о Москве человека XIV столетия. Москва в XIII веке была еще городком небольшим, и монастырей в ней вряд ли было много, да и был ли хотя один до Калиты и его племени?».

После чернового варианта статьи, на л. 18–71, помещены подготовительные материалы к ней. На л. 18 читаем конспект реферата, из которого, по всей видимости, появилась данная статья: “Цель моего реферата сгруппировать древнейшие данные о Москве-городе, находимые в летописях, с целью показать, что

- 1) известия 1147 и 1156 г. о Москве не настолько надежны и определены, чтобы на их основании говорить о существовании Москвы-города в середине XII века. Первые достоверные данные о Москве-городе дошли только от 70-х годов XII в.
- 2) смысл первых летописных известий свидетельствует, что в первое время свое Москва-город имела значение самого южного военного пункта Суздальской земли или княжения;
и
- 3) торговое значение города Москвы летописями за XIII–XIV вв. не указывает.

Совпадение темы с рефератом Забелина. Отчет о нем”.

На л. 19 выписаны отдельные известия и соображения историка относительно ранних известий о существовании Москвы. В начале указано Слово о митрополите Алексии, помещенное в Прологе под 12 декабря: “Пролог 12/II Слово о Ал[ексии] митр[ополите]”. Далее изложены сомнения относительно достоверности рассказов летописи о Москве в 1147 и 1156 гг.: “Известия 1147 и 1156 г.; их разбор. Так выясняется в 1-м случае бывшая неопределенность данных, а во 2-м случае ненадежность источника, в котором данная очень определена. Вывод: нельзя опираться на эти известия, говоря обо времени основания Москвы. Она, м[ожет] б[ыть], моложе. Для того, чтобы составить себе правильное суждение о первоначальной Москве-городе, следует идти от известий несомненно поздних к известиям ранним. Они

не доведут до древности большей, чем 1175–1177 годы”. На л. 20–22 помещены выписки из Тверского сборника и Ипатьевской летописи за 1147 и 1156 гг. На л. 23 анализируются известия о Москве XII – начала XIII в.: “Если, наконец, сообразить характер всех тех известий о Москве, которые относятся к дотатарской эпохе, то будем удивлены одним обстоятельством: *Москва упоминается как пункт пограничный и военный* (курсив С.Ф. Платонова. – А.С.). (Оставим известия 1147 и 1156 гг.). 1175 Ростисл[ав] и Михалко на север в Москву; 1176 (2 л.) – Второй приход Михалки и Всевол[ода]; 1176 Жены Мих[алки] и Всевол[ода]; 1177 Нападение Рязанск[ого] кн[язя] на Москву; 1207 Поход Вс[еволода] III на юг.; 1208 Напад[ение] рязанц[ев] на Москву (это известие зачеркнуто. – А.С.); (1208 Поход Всев[олода] на Рязань); 1208 Мщение рязанц[ев] на Москву; 1237 Татары от Коломны на Москву (это известие вписано другими чернилами. – А.С.). Исключение – 1213 – междуособ[ия] Всеволодови[чей]. Вывод: такой характер известий показывает, что Москва была опорой Влад[имири]-Сузд[альского] кн[язя] с юга, военным постом прикрывала пути в центр княжества”. На л. 24–33 читаются выписки из летописей Ипатьевской, Лаврентьевской, Воскресенской и ссылки на Никоновскую летопись за 1175–1237 гг. На л. 34 перечислены в ретроспективном порядке известия о Москве с XIV в. до XII в. с указанием пожаров и количества сгоревших церквей: “Известия от XIV в. до XII в.: 1382 описание Москвы; 1365 Пожар и части М[осквы]; 1342 Пожар. Церкви 28; 1337 Пожар. Церкви 18; 1331. Пожар. Кремль; Ряд известий Московской летописи 1326–1330 (эта фраза приписана на поле. – А.С.); 1308 Укрепленный город. Эти два известия опровергаются из Воскр[есенской]; 1248 + князя Московского; 1237 князь Московский и татары; NB – 1213 князь Московский; 1177; 1176; 1175 Москва горела (Москва и Кучково – неустановленность терминологии). Вывод: далее этого историк не пойдет: Москва к[а]к город достоверна в 70-х годах XII в.”. На л. 35–43 выписаны известия 1213–1382 гг. летописей Воскресенской, Новгородской I, Львовской, Лаврентьевской и ссылки на Никоновскую, Тверскую, Львовскую, Ипатьевскую летописи, помещенные в обратном хронологическом порядке. На л. 44–45 помещена реконструкция С.Ф. Платонова, озаглавленная “Древнейшие следы местной Московской летописи 1326–1329” и представляющая собой серию известий 1326, 1327, 1329 гг. по Воскресенской летописи с вариантами по Никоновской летописи и Тверскому сборнику, 1330 г. по Новгородской II летописи с вариантами по летописи Авраамки. На л. 52–63 – выписки из разных летописей под заголовком “Листки оставшиеся”.

На л. 64 об. – нарисованная карандашом карта-схема пограничного района Владимиро-Суздальского, Черниговского и Рязанского княжеств с обозначением Москвы. На л. 65 – выписка из книги Барсова “Очерки русской исторической географии”; на л. 66–71 – выписки из “Истории государства российского” Н.М. Карамзина. В основном это ссылки на списки Повестей о начале Москвы. Например, на л. 71 ссылка на “Летопись о зачале царствующего великого града Москвы” по списку Синодальной библиотеки № 92 по “Истории госграства российского”, т. 2, примеч. 301.

Комплекс материалов, относящийся к статье “Как возникли чети? К вопросу о происхождении московских приказов-четвертей” (Ф. 585. № 1263), включает оттиск статьи (л. I–VIII), гранки (л. 1–6), наборную рукопись (л. 7–35) и выписки из источников (л. 36–51). В тексте оттиска на с. 165 (л. V рукописи) присутствует единственная помета, сделанная рукой С.Ф. Платонова: после слов “в оброке по Микитину письму Яхонтова” (с. 508) на поле написано “А[кты] Ю[рические] № 85”. Наборная рукопись, представляющая собой автограф С.Ф. Платонова (с его подписью после окончания текста), содержит правку стилистического характера. Из наиболее существенной укажем на завершающие текст статьи (после двоеточия) слова “quod potui, feci”, впоследствии зачеркнутые.

Статья “О двух грамотах 1611 года” в фонде С.Ф. Платонова представлена наборной рукописью – автографом С.Ф. Платонова с его подписью и датой: “СПб. 20 сент. 1897” (Ф. 585. № 1268. Л. 1–11). В тексте наборной рукописи присутствует правка рукой С.Ф. Платонова, стилистического характера. Укажем два наиболее существенных примера этой правки. Первоначальный текст: «Эта замена очень знаменательна: она показывает, что во главе временного правительства, которому повиновались тогда русские люди, отшатнувшиеся от Владислава, формально стоял патриарх, по слову которого создано земское ополчение 1611 года; поэтому земские люди и считали патриарха “начальным человеком”». В результате правки текст приобрел такой вид: “Эта замена очень знаменательна: она показывает, что во главе временного правительства, которому повиновались тогда русские люди, отшатнувшиеся от Владислава, формально признавался патриарх” (л. 9). В чтении “Печатный текст подорожной очень точно передает ее рукописный оригинал, писанный поздним почерком и находящейся в сборнике Императорской Публичной библиотеки F. IV.344 (на л. 32)” слова “писанный поздним почерком и” написаны над строкой (л. 9).

Статья “Речи Грозного на земском соборе 1550 года” представлена наборной рукописью-автографом (Ф. 585. № 1282), содержит правку в основном стилистического характера. В одном случае эта правка коснулась и содержания статьи: после слов «Вот почему с невольною подозрительностью относимся мы и к “речам” Грозного» зачеркнут текст “В конце XVII века могли спутать время производства Адашева в окольниковичие и отнести его к 1550 году. Могли” (л. 7).

Очерк “Столетие кончины императрицы Екатерины II” представлен в материалах фонда в виде наборной рукописи (Ф. 585. № 1267), содержащей перестановки фрагментов текста, а также правку, отражающую процесс создания текста. После слов “поток общественной жизни” зачеркнуто “выносил ее не туда, куда она сама хотела плыть, оставленная даже своими постоянными помощниками, она видела себя одинокой и побежденной; но, к великой ее чести, она никогда не мирилась с неудачей, даже в те минуты, когда официально заменяя сломанное в борьбе оружие” (л. 12); в чтении “при императрице Екатерине II Россия приобрела всю Литву, Курляндию, Крым и Кубань” слова “всю Литву, Курляндию” написаны карандашом на поле вместо зачеркнутых в основном тексте: “З[ападную] Двину, правый берег Немана, всю Припять, Сожь и правый берег Днепра, весь Буг от Каменца и левый берег Днепра” (л. 13); между фразами “...в шутиливой форме сказывается серьезная мысль, делающая большую честь политическому чутью императрицы” и “Решая польский и турецко-татарский вопрос, Екатерина чувствовала себя прямою продолжательницею Петра...” зачеркнуты слова “Давая ход самым различным по талантам и направлению людям, императрица умела поддерживать их особенно тогда, когда их действия и проекты” (л. 17).

Во второй раздел вошли статьи, не включенные Платоновым в сборник “Статьи по русской истории”. Заметка “Легенда о чуде св. Димитрия царевича Угличского” издана в журнале “Библиограф” (1888. № 1. С. 18–19). Очерк “Личность Петра Великого” опубликован в “Полтавском сборнике в память 200-летия Полтавской победы” (Издание Управления СПб. Учебного округа. Для старшего возраста. СПб., 1909. С. 5–20). Статья “Патриарх Гермоген и архимандрит Дионисий (Историческая поминка)” опубликована в Записках Разряда военной археологии и археографии Императорского Русского Военно-исторического общества (СПб., 1912. С. 1–7). Статья “Царь Алексей Михайлович (Опыт характеристики)” представляет собой переделку одноименной статьи 1886 г., включенной в сборник “Статьи по русской истории”.

Эта переделка была опубликована в издании “Три века: Россия от Смуты до нашего времени: Исторический сборник” (под ред. В.В. Каллаша. М., 1912. Т. 1. С. 58–114) и представляет собой существенную переработку статьи 1886 г. Очерк “Вся земля” завершает написанную в научно-популярном жанре коллективную книгу С.Ф. Платонова, П.Г. Васенко и Е.Ф. Тураевой-Церетели “Начало династии Романовых: Исторические очерки” (СПб., 1912. Гл. 7. С. 220–234). Статья “Вопрос об избрании М.Ф. Романова в русской исторической литературе” опубликована в Журнале Министерства народного просвещения, № 2 за 1913 г. (С. 177–190). Статья “Избрание на царство Михаила Феодоровича Романова” открывает сборник “Государи из Дома Романовых 1613–1913: Жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований” (Под ред. Н.Д. Чечулина. М. 1913. Т. 1. С. 1–19). Заметка “Из прошлого” опубликована в периодическом издании «Известия “Маяка”» (1916. Апрель. Вып. 1. С. 4–5), предназначенном для подростков и юношества. Тематика журнала и обусловила научно-популярный жанр этой заметки. Статья “Старые сомнения” опубликована в “Сборнике статей в честь Матвея Кузьмича Любавского”. Пг., 1917. С. 172–180.

Третий раздел настоящего тома составляют статьи С.Ф. Платонова, написанные для “Русского биографического словаря”. Статья о Борисе Федоровиче Годунове представляет собой дополнение, написанное Платоновым к статье о Годунове К.Н. Бестужева-Рюмина (том “Бетанкур – Бякстер”. СПб., 1908. С. 246–250; подписано “С. П-в”). Статьи о патриархе Иове (том “Ибак – Ключарев”. СПб., 1897. С. 303–310; подписано “С. П-в”), Иване Михайловиче Катыреве-Ростовском (том “Ибак – Ключарев”. С. 560–562; подписано “С. Пл.”) и патриархе Филарете (том “Фабер – Цявловский”. СПб., 1901. С. 94–103; подписано “С. П-в”) полностью написаны Платоновым.

В настоящий том не вошли статьи, представляющие собой отрывки и главы основного труда историка – монографии “Очерки по истории Смуты XVII века в России”. Эти статьи публиковались в “Журнале Министерства народного просвещения”; “К истории опричнины XVI века” (1897. № 10. С. 260–276); “К истории городов и путей на южной окраине Московского государства в XVI веке” – в № 3 за 1898 г. (С. 81–104); “Первые политические шаги Бориса Годунова (1584–1594) (Отрывок)” – в № 6 за 1898 г. (С. 293–310); “Борьба за московский престол в 1598 году” – в № 10 за 1898 г. (С. 263–287); “Царь Василий Шуйский и бояре в 1606 году (Отрывок)” – в № 12 за 1898 г. (С. 211–224). Кроме того, здесь не издаются два студенческих сочинения историка: реферат

“О местопребывании готов-тетракситов” и очерк “Петр Великий”. Первое из них опубликовано И.П. Медведевым¹, второе остается неизданным. Оно известно в автографе С.Ф. Платонова и датируется 1884 г. (РНБ. Ф. 585, № 1249; на л. I почерком С.Ф. Платонова написано “Петр Великий 29/XII 84”). Этот очерк, по-видимому, одно из самых ранних произведений историка – скорее, проба пера или студенческий опыт, а не произведение ученого-историка. Представляется неслучайным, что сам С.Ф. Платонов не публиковал свои студенческие сочинения. Действительно, они существенно отличаются от его последующих работ и по этой причине не включены в настоящее издание.

При передаче текста мы руководствовались принципами, принятыми в первом томе настоящего издания. Текст передается в современной орфографии, сокращения раскрываются. Ссылки на источники и литературу оформлены в соответствии с современными требованиями.

А.В. Сиренов
(Санкт-Петербургский
государственный университет)

¹ *Медведев И.П.* Студенческий реферат С.Ф. Платонова “О местопребывании готов-тетракситов” // *Античная древность и Средние века.* Екатеринбург, 2011. Вып. 40. С. 393–408.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛКАХ

- ААЭ – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук. СПб., 1836. Т. 1–4
- АЗР – Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою экспедициею. СПб., 1851. Т. 4
- АИ – Акты исторические. СПб., 1841. Т. 1–4
- АЮ – Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства / изд. Археографической комиссии. СПб., 1830
- Временник ОИДР – Временник Общества истории и древностей российских. М., 1853. Кн. 17
- ДАИ – Дополнения к Актам историческим. СПб., 1846. Т. 1, 2; 1848. Т. 3; 1851. Т. 4; 1857. Т. 6; 1875. Т. 9; 1867. Т. 10
- Дворцовые разряды – Дворцовые разряды, изданные вторым Отделением Собственной е.и.в. Канцелярии. СПб., 1850–1855. Т. 1–4
- ДРВ – Древняя российская вивлиофика. М., 1791. 15; 16; 20
- ДРВ. Продолжение – Древняя российская вивлиофика. СПб., 1792. Ч. 8
- ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
- ЗОРСА – Записки Отдела русской и славянской археологии Русского Археологического общества
- Изборник – Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в Хронографы русских редакций (приложение к Обзору хронографов русской редакции) / изд. А.Н. Попов. М., 1869
- Карамзин*. ИГР – *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Т. 8, 11, 12
- Книги разрядные – Книги разрядныя, по официальным оных спискам изданных с высочайшего соизволения II отделением Собственной Его Императорского величества канцелярии. СПб., 1853. Т. 1
- ОИДР – Общество истории и древностей российских при Московском университете
- ОРЯС – Отделение русского языка и словесности Российской академии наук

- ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое с 1649 по 12 декабря 1825 г. СПб., 1830. Т. 1, 2
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей, издаваемое Археологическою комиссиею. СПб., 1843. Т. 2; 1848. Т. 4; 1851. Т. 5; 1853. Т. 6; 1859. Т. 8; 1901. Т. 12; 1904. Т. 13; 1863. Т. 15
- РИБ – Русская историческая библиотека, издаваемая Археологическою комиссиею. СПб., 1872. Т. 1; 1875. Т. 2; 1876. Т. 3; 1878. Т. 5; 1884. Т. 9; 1886. Т. 10; 1890. Т. 12; 1891. Т. 13; 2-е изд. 1909; 1898. Т. 17
- Сб. РИО – Сборник Русского исторического общества. СПб., 1892. Т. 71; 1910. Т. 129
- СГГД – Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. М., 1813. Ч. 1; 1819. Ч. 2; 1882. Ч. 3
- Соловьев. История* – *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Т. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18

Указатель имен*

- Аббас, персидский шах 519
Аввакум Петров, протопоп 411
Авиклев *см.* Виклиф (Авиклев)
Джон
Авраамий Галицкий, св. 519
Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиева монастыря 36, 37, 47, 263, 448, 449, 455, 470, 510
Адашев Алексей Федорович, окольный 92, 154, 155, 157, 528
Адрианов С.А. 481, 482
Азарьин Симон *см.* Симон Азарьин
Аксаков К.С. 21, 22, 132, 212
Александр I, имп. 179, 381, 382, 383
Александр II, имп. 383
Александр III, имп. 371
Александр Александрович, цесаревич, сын Александра II 133
Александр Ягеллон, в. кн. Литовский и король Польский 83
Александр, митр. Новгородский 493
Александра, инокиня *см.* Ирина Федоровна (в монашестве Александра)
Алексеев В.П. 388
Алексей Михайлович, царь 18, 21–23, 26–35, 39, 54, 56, 57, 59, 61, 101, 172–174, 176, 193, 242, 244, 272, 273, 292, 317, 320, 355–360, 364, 385, 395, 396, 400, 411–434, 445, 446, 528
Алексей человек Божий, св. 155
Алексий, митр. Московский, св. 64, 494, 525
Альмквист К.И.Л. см. Almqvist K.I.L.
Анастасия Романовна, царица, первая жена царя Ивана IV 92, 349, 471, 506
Андрей Иванович, кн. Старицкий, сын в. кн. Ивана III 167
Андрей Юрьевич Боголюбский, кн. Владимирский 64, 66
Андронов (Ондронов, Афедронов) Федор, думный дворянин 37, 43, 45–47, 115, 261, 275, 285, 296–298
Анна Иоанновна, императрица 185, 194, 266
Антоний Римлянин, св. 494
Антоний, митр. Московский 222
Антоний, монах Троице-Сергиева монастыря, справщик Печатного двора 516
Апраксин Федор Матвеевич, генерал-адмирал 324, 325, 328
Апраксин Федор Никитич, дьяк 290, 295, 296

* Приняты следующие сокращения: архиеп. – архиепископ, архим. – архимандрит, библ. – библейский персонаж, в. – великий, еп. – епископ, имп. – император, кн. – князь, лит. – литературный, митр. – митрополит, патр. – патриарх, св. – святой.

- Арсений Глухой, монах Троице-Сергиева монастыря, справщик Печатного двора 516, 518
- Арсений, архиепископ Елассонский 260, 261, 493
- Арсеньев К.И.* 255
- Арсеньев Ю.В.* 292, 419
- Арцыбашев Андрей Гаврилович, дьяк 113–116, 152
- Арцыбашев Н.С.* 46, 47, 50, 54, 121, 122, 374
- Афанасий (Офонасей), митр. Московский 219
- Афедронов см. Андронов
- Афродитиан (Фродиан), лит. персонаж 118, 119
- Ахитофел, библ. 417
- Багaley Д.И.* 327
- Бантыш-Каменский Д.Н.* 19
- Бантыш-Каменский Н.Н.* 318, 320
- Барсов Н.П.* 62, 67, 527
- Барсов П.* 52
- Барсов Е.В.* 427
- Барсуков А.П.* 9, 14, 284, 287, 320, 358, 451, 452
- Барсуков Н.П.* 110, 303, 391
- Бартенев Второй Никитин, казначей боярина А.Н. Романова 507
- Бартенев П.И.* 162, 163, 357, 385, 413, 414, 417–419, 421, 424, 427, 428, 432
- Басманов Петр, воевода 478
- Батый, хан 67, 525
- Бауэр Э.* 452
- Баюшев В.И., кн. 320
- Безобразов Иван Романович, стряпчий 261, 295
- Безобразов П.В.* 82, 84, 87, 88, 148
- Белинский Виссарион Григорьевич, критик 26, 127
- Белов Е.А.* 91
- Белокуров С.А.* 155, 314–316, 321, 322
- Бельский Богдан Яковлевич, боярин 485–487, 508
- Бельский Иван Дмитриевич, кн., боярин 347
- Беляев И.Д.* 8, 10, 65, 224
- Берх В.Н.* 54
- Бестужев-Марлинский Александр Александрович, писатель 378
- Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, граф, канцлер 178
- Бестужев-Рюмин К.Н.* 52, 54, 55, 57–60, 84, 89, 97, 99, 126, 129, 139–144, 154, 209, 387, 451, 485, 490, 529
- Биркин Иван Иванович, ясельничий 201, 229, 233, 320, 439
- Битяговский Михаил, дьяк 160, 494, 495
- Бицын Н.* 208
- Блинский, поляк 42, 46
- Блудов Д.Н.* 124
- Богоявленский С.К.* 360, 366
- Бодуэн де Куртенэ И.А.* 209
- Болотников Иван Иванович, дьяк 283, 285
- Болотников Иван Исаевич, военачальник Смутного времени 39, 316, 498, 510
- Болтин Аверкий Федорович, служилый человек 321
- Болтин Баим (Исидор) Федорович, стрелецкий голова 317–323
- Болтин Василий Михайлович, служилый человек 321
- Болтин Иван Дмитриевич, служилый человек 321
- Болтин Иван Михайлович, служилый человек 321
- Болтин И.Н.* 187
- Болтин Иванис Федорович, служилый человек 321
- Болтин Матвей, служилый человек 321
- Болтин Самсон Федорович, служилый человек 321
- Болтин Федор Михайлович, служилый человек 321

- Болтины, род служилых людей 318, 320, 321
- Борис Федорович Годунов, царь 14, 15, 80, 83, 91, 204–206, 210, 223–225, 286, 321, 333, 350, 351, 392, 435, 461, 471, 480, 485–487, 489, 490, 492, 493, 495–497, 499–502, 504, 506, 507, 529
- Борняков Григорий, посланник в Польшу 16
- Бредихин Семен Федорович, дьяк 22–24
- Брюховецкий Иван Мартынович, гетман 417
- Будный, лит. Персонаж 118, 119
- Буйносов-Ростовский Иван Петрович, кн., воевода 503
- Буйносова-Ростовская Мария Петровна *см.* Шуйская (урожд. Буйносова-Ростовская) Мария Петровна
- Булгаковы Гедиминовичи, княжеский род 349
- Буслаев Ф.И.* 117, 128, 373
- Буссов Конрад, автор записок о Смутном времени в России 42, 46, 506
- Бутурлин Василий Васильевич, боярин 25, 56, 431
- Бутурлин Василий Иванович, дворецкий 319
- Бутурлин Д.П.* 36
- Бутурлин Иван Михайлович, окольныйчий, воевода 316
- Бычков А.Ф.* 391
- Бычков И.А.* 304
- Вальдемар, датский королевич 120, 304, 318
- Варлаам, еп. Коломенский 234, 442
- Варлаам, митр. Московский 168
- Варлаам, митр. Ростовский 493
- Варсонофий Казанский, еп. Тверской, св. 494
- Васенко П.Г.* 219, 385, 387, 388, 435, 476, 529
- Василий Босой, юродивый 418
- Василий III Иванович, в. кн. Московский 83, 86, 344, 365
- Василий Арасланович, касимовский царевич 103
- Василий Блаженный, юродивый, св. 4944
- Василий Иванович Шуйский, царь 141, 163, 164, 206, 207, 228–231, 267, 268, 270, 274, 284, 286, 287, 294–298, 316, 320, 350, 351, 392, 405, 406, 407, 436, 438, 449, 458, 461, 485, 498, 502, 504, 509–511, 529
- Василий, протопоп нижегородского Спасо-Преображенского собора 196
- Василий, подмастерье-камнестец 392
- Васильев Сыдавной Семен Зиновьевич, думный дьяк 47, 283, 290
- Васильевский В.Г.* 145–148
- Вельяминов Михаил Иванович, воевода 277, 290
- Вельяминов Николай Дмитриевич, московский дворянин 295
- Веселовский С.Б.* 321, 456
- Виклиф (Авиклев) Джон, английский реформатор 305
- Виппер Р.Ю.* 367
- Висковатый Иван Михайлович, посольский дьяк 344
- Витовтов Евдоким Яковлевич, дьяк 296
- Витте Сергей Юльевич, граф, государственный деятель 369
- Владимир Андреевич, кн. Старицкий, двоюродный брат царя Ивана IV 345
- Владимир Святославич, в. кн. Киевский, сын кн. Святослава Игоревича, св. 331, 332

- Владимир Юрьевич, кн., сын владимирского кн. Юрия Всеволодовича 524
- Владимирский-Буданов М.Ф.* 80, 105, 150, 151, 212–214, 292, 359, 362, 363, 386
- Владислав, польский королевич 10, 38, 40, 43, 124, 141, 198, 230, 231, 241, 256–258, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 274, 295, 351, 352, 386, 407, 454, 455–457, 462, 464, 471, 511–513, 517, 527
- Власьев Афанасий Иванович, думный дьяк 290
- Воейков, пристав 509
- Волконский Федор Федорович, кн., боярин 20, 24
- Волохов Осип, сын няньки царевича Димитрия В. Волоховой 160
- Волохова Василиса, нянька царевича Димитрия 160
- Волуев Григорий, командир отряда, освободившего от поляков патр. Филарета 510
- Волынский Артемий Петрович, кабинет-министр 155
- Вонифатьев Стефан, протопоп кремлевского Благовещенского собора 56
- Воренок см. Иван (Воренок)
- Воротынские, княжеский род 354
- Воротынский Иван Михайлович, кн., боярин 262, 280, 463, 509
- Воротынский Михаил Иванович, кн., боярин 222, 223
- Всеволод III Юрьевич, в. кн. Владимирский, сын. кн. Юрия Долгорукого 65–67, 215, 523, 524
- Всеволод Юрьевич, кн., сын владимирского кн. Юрия Всеволодовича 523, 526
- Вяземский Петр Андреевич, кн., поэт 374, 378
- Гавренев Иван Афанасьевич, дьяк, окольничий 293, 356
- Геласий, митр. Сарский и Подонский (Крутицкий) 493–495
- Георгий Александрович, в. кн., сын имп. Александра III 369
- Герман, архим. Успенского монастыря в Старице 491
- Гермоген (Ермоген), митр. Казанский, патр. Московский 37, 40–43, 47–50, 121, 123, 124, 141, 162–164, 199, 201, 229, 233, 234, 392, 404, 406–408, 410, 439, 442, 458, 461, 462, 493, 498, 509–513, 515, 517, 528
- Герье В.И.* 367
- Гёте Иоганн Вольфганг, поэт 127
- Гизо Ф.П.Г.* 86
- Гириберг А. см. Hirschberg A.*
- Глаголов Д.М.* 163, 164
- Глеб Ростиславич, кн. Рязанский, сын рязанского кн. Ростислава Ярославича 65, 67
- Годунов Борис Федорович см. Борис Федорович Годунов, царь
- Годунов Иван Иванович, окольничий 294, 507
- Годунов Семен Никитич, окольничий 507
- Годунова (урожд. Романова) Ирина Никитична, жена И.И. Годунова 294, 507
- Годуновы, боярский и царский род 140, 206, 210, 349, 350, 354, 461, 463, 487, 488, 496–498, 500, 507, 508
- Голиков И.И.* 47, 54, 324, 326, 448–451, 478, 520
- Голицын Александр Иванович, кн., боярин 293
- Голицын Василий Васильевич (+1619), кн., боярин 41, 141, 142, 231, 249, 471, 478, 479, 511
- Голицын Василий Васильевич (+1714), кн., боярин 249
- Голицын Ермолай, кн. 41, 162
- Голицын Иван Васильевич, кн., боярин 292

- Голицын Н.Н. 162
- Голицыны, княжеский род 162, 206, 292, 349, 350, 354, 355, 463
- Головин Василий Петрович, окольничий 46
- Головин Кайдал, житель села Красного Угличского уезда 310
- Головины, боярский род 287, 485
- Голубцов А.П. 119, 120, 304, 305
- Гонсевский Александр-Корвин, гетман 13, 46, 162, 262, 283, 297, 352, 425
- Гордон Патрик, генерал, контр-адмирал 400
- Готье Ю.В. 269, 293
- Градовский А.Д. 105
- Грамотин (Курбатов) Иван Тарасьевич, думный дьяк 257, 258, 269, 290, 291, 293–298, 354, 454
- Грановский Т.Н. 128–130
- Грацинский М.Ф., преподаватель греческого языка 126
- Грибоедов Федор Акимович, дьяк 20
- Григорьев Апполон Александрович, литературный критик 127
- Грязной (Грязнов) Борис Тимофеевич, стольник 296
- Грязной (Грязнов) Василий Тимофеевич, служилый человек 296
- Грязной (Грязнов) Тимофей, служилый человек 296
- Грязные (Грязновы), род служилых людей 296
- Гурий, архиеп. Казанский и Свияжский, св. 494
- Гурлянд И.Я. 172–178, 292, 359, 366, 385
- Гус Ян (Иан), чешский реформатор 305
- Густав II Адольф, шведский король 193
- Гюго Виктор, писатель 127
- Гюйсен Генрих, фон, публицист 326, 328
- Данилов Михаил Феофилактович, дьяк 293
- Димитрий Ростовский, митр. Ростовский и Ярославский, св. 391–393
- Димитрий, царевич, св. 91, 139, 142, 144, 158, 160, 203, 204, 206, 208–210, 225, 344, 346, 349, 350, 391–393, 485, 490, 494, 497, 498, 509, 528
- Дионисий, митр. Московский 144, 222, 491, 492
- Дионисий Зобниновский, архим. Троице-Сергиева монастыря, св. 386, 404, 406, 408–411, 516, 528
- Дионисий, архим. старицкого Успенского монастыря 498
- Дитятин И.И. 385
- Дмитриев Семен, дьяк 295
- Дмитриев А.А. 125
- Дмитриев Ф.М. 106, 361
- Дмитриевский А.А. 260, 261
- Дмитрий Алексеевич, царевич, сын царя Алексея Михайловича 56
- Дмитрий Иванович Донской, в. кн. Московский 333
- Дмитрий Иванович, царь, см. Лжедмитрий I
- Дмитрий Самозванец см. Лжедмитрий I
- Дмитрий Иванович, царевич, старший сын царя Ивана IV 88, 340
- Добротворский И.М. 208
- Долгорукий Владимир Тимофеевич, кн., боярин 235, 442
- Долгорукий (Долгоруков) Даниил Иванович, кн., воевода 281
- Долгорукий Юрий Алексеевич, кн., боярин 245, 425, 426
- Долгорукий Яков Федорович, кн., сенатор 35, 434
- Дройзен И.Г. 145
- Дьяконов М.А. 217, 362, 386

- Евреинов К.Н.* 161
 Евфимий, архим. московского Новоспасского монастыря 47
 Екатерина II Алексеевна, императрица 179–189, 367, 381, 382, 528
 Елагин Григорий, стрелецкий голова 316
 Елена Васильевна Глинская, жена в. кн. Василия III 344
 Елена, св., мать римского имп. Константина Великого 57
 Елизавета Петровна, императрица 185
 Елизаров Григорий, дьяк 386
 Елизаров Федор Кузьмич, думный дьяк, окольничий 293, 356
 Ермак Тимофеевич, казачий атаман 477
 Ермоген *см.* Гермоген
Есинов В.В. 39
 Есипов Савва, дьяк 481
 Ефимьев Василий, сын нижегородского протопопа Саввы Ефимьева 197
 Ефимьев Игнатий (Игнат), сын нижегородского протопопа Саввы Ефимьева 197
 Ефимьев Савва, протопоп нижегородского Спасо-Преображенского собора 196, 197, 200–202, 233
 Ефрем, митр. Казанский 234, 236, 467, 515
Ешевский С.В. 126–131
- Жданов И.Н.** 217–219
 Желябужский Федор Григорьевич, посол из Москвы в Польшу 262
 Жолкевский Станислав, польский коронный гетман 41, 46, 49, 121, 351, 352, 407, 510–512
 Жорж Санд (Жорж-Занд), писательница 127
- Забелин И.Е.* 18, 26, 62–64, 101, 198, 215, 248, 263, 282–284, 386, 413, 524, 525
 Заборовский Семен Иванович, окольничий 356
Загоскин Н.П. 7, 8, 18–22, 212, 289, 320, 361, 366
 Зайцев П.В., подьячий (?) 343
 Замочников Бажен, подьячий 261, 296
Замысловский Е.Е. 8, 88, 134
 Заруцкий Иван Мартынович, атаман донских казаков 231, 256, 259, 261, 264, 281, 283, 284, 298, 457
 Захарьин-Юрьев Никита Романович, боярин 287, 471, 485, 506
Зерцалов А.Н. 54, 100–103, 386, 427, 431
 Зизаний Лаврентий, протоиерей, богослов 518
 Зиновьев *см.* Сыдавный (Зиновьев) Васильев
 Змеев Семен, воевода 417
 Зотов Никита Моисеевич, думный дьяк 398
 Зюзин Василий, дворянин 113
- Иван (Воренок), сын Марины Мнишек** 241, 261, 265, 457, 464, 466, 470
Иван (Иоанн) I Данилович Калита, кн. Московский 443, 493, 525
Иван (Иоанн) III Васильевич, в. кн. Московский 150, 167, 183, 216, 334, 365
Иван IV Васильевич Грозный, царь 8, 9, 83, 88, 91–98, 107, 112, 115, 137, 139, 151, 152, 154, 156, 157, 168, 191, 193, 204, 216, 218, 219, 222, 227, 234, 265, 271, 273, 331, 336, 337, 339, 342, 344–349, 357, 364, 385, 387, 437, 442, 457, 461, 471, 485, 487, 488, 490, 491, 500, 504, 506, 528

- Иван V Алексеевич, царь 395, 396
- Иван Иванович, ц-ч, сын Ивана IV Васильевича 222, 391, 395
- Игнатий, архиеп. Рязанский, патр. Московский 497, 498, 515
- Игорь Василец, житель Москвы 63
- Иеремия, патр. Константинопольский 493
- Измайлов В.В.* 378
- Измайлов Иван Васильевич, оружничий 295
- Иконников В.С.* 88, 209
- Иловайский Д.И.* 63, 82–99, 140, 147, 209, 255, 452
- Ильинский А.К.* 69, 70, 73, 74
- Иоаким, патриарх Антиохийский 492, 493
- Иоанн Синайский (Лествичник), св. 392
- Иоанн Предтеча, св. 392
- Иоанн см. Иов (в миру Иоанн), патр. Московский
- Иоанн, архиеп. Ростовский и Ярославский 168, 167
- Иоанн, еп. Ростовский и Суздальский 215
- Иов (в миру Иоанн), патр. Московский 15, 56, 87, 486, 491–501, 509, 529
- Иона, митр. Московский, св. 494
- Иона, митр. Сарский и Подонский (Крутицкий) 236, 467, 516–518
- Иордан Иоганн, артиллерист и фортификатор 86
- Иосиф Волоцкий, игумен Волоколамского монастыря, св. 86, 87, 169, 494, 500
- Иосиф, патр. Московский 30, 32, 53, 56, 58, 424
- Иосиф, архиеп. Коломенский 430, 431
- Иосиф, келейник патр. Иова 500
- Ирина Михайловна, царевна, дочь царя Алексея Михайловича 120, 304
- Ирина Федоровна (в монашестве Александра, урожд. Годунова), царица, жена царя Федора Ивановича 15, 349, 350, 461, 495, 496, 500
- Исаков Алексей, дьяк 113
- Исидор (Сидор) см. Болтин Баим (Исидор) Федорович
- Исидор, митр. Новгородский 515
- Иуда, библ. 40
- Ихнилат (Ихнидат), лит. персонаж 45, 46, 51
- Кавелин К.Д.* 128–130, 132
- Казанский П.С.* 208
- Калайдович К.Ф.* 55, 117
- Калачов Н.В.* 18, 21, 151
- Каллаш В.В.* 385, 458, 529
- Кальвин Жан, богослов, реформатор 118
- Кантерев Н.Ф.* 119
- Карамзин Н.М.* 8, 9, 11, 46, 54, 65, 84–86, 91, 98, 124, 137, 154, 156, 157, 198, 218, 297, 313, 373–378, 388, 449, 501, 520, 527, 531
- Карл X Густав, шведский король 420
- Карл XII, шведский король 325, 326, 328–330, 369, 388
- Карл-Филипп, герцог Седерманландский, сын шведского короля Карла IX 464
- Карпов А.П.* 325
- Карповы, род служилых людей 507
- Катков Михаил Никифорович, публицист, издатель, лит. критик 128
- Катырева-Ростовская (Романова) Татьяна Федоровна, княгиня, дочь Ф.Н. Романова 287, 502, 508
- Катырева-Ростовская (урожд. Палецкая) Домна Васильевна, княгиня, жена кн. М.П. Катырева-Ростовского 502

- Катырева-Ростовская Ирина Григорьевна, княгиня, жена кн. И.М. Катырева-Ростовского 502
- Катырев-Ростовский Иван Михайлович, кн., московский дворянин 48, 49, 287, 294, 295, 310–312, 388, 449, 475–479, 481, 482, 502–505, 507, 529
- Катырев-Ростовский Михаил Петрович, кн., боярин и воевода 310, 478, 502
- Катыревы, княжеский род 502
- Кашин-Оболенский Михаил Федорович, кн., воевода 478
- Кедров С.* 37
- Кеневич В.Ф., преподаватель русского языка в Санкт-Петербургском университете 134
- Кизеветтер А.А.* 372
- Киприан Старорусенков, архиеп. Тобольский 519
- Киреевский Иван Васильевич, философ, публицист 132
- Кирилл Белозерский, св. 88
- Кирилл, патр. Иерусалимский 119, 120
- Кирилл, митр. Ростовский и Ярославский 11, 12, 234–236, 278, 442, 467, 509
- Кирилл Транквиллион, архим., богослов 518
- Климент VIII, папа римский 204
- Клобуков Андрей Федорович, дьяк 113, 116
- Клочков М.В.* 220
- Ключевский В.О.* 80, 97, 109, 150, 155, 156, 212, 213, 215–217, 221, 223–225, 231, 253, 314, 315, 341, 343, 345, 346, 358, 360, 361, 363, 365, 367–372, 385, 386, 388, 413, 430, 452, 475, 486, 490
- Кобяков Петр, сеунщик 277, 282
- Коллинс Самуэль, врач 29, 413
- Кологривов Григорий, служилый человек 296
- Колтовский Семен Семенович, окольничий 155
- Кондратьев А.А.* 36, 393
- Константин Великий, византийский имп., св. 160
- Константин Всеволодович, в. кн. Владимирский, сын в. кн. сын Всеволода III Юрьевича 66, 215
- Константин Константинович, в. кн., президент Академии наук 133
- Корелин М.С.* 367
- Корепин Савва (Савинка), московский житель 430
- Корнилий Комельский, св. 494
- Корнилий, игумен арзамасского Спасского монастыря 318
- Корш Валентин Федорович, редактор Московских ведомостей 131
- Костомаров Н.И.* 9, 13, 36, 73, 91, 133, 134, 198, 208, 224, 413
- Котошихин Григорий Карпович, подьячий 26, 29, 39, 54, 268, 272–275, 355, 358, 364, 413
- Кошка Федор, родоначальник Романовых и Шереметевых 286
- Коялович М.О.* 8
- Краевский Андрей Александрович, журналист, издатель 132
- Крылов Н.И.* 129
- Крюков И.М., служилый человек 78
- Кубасов Сергей Иевлевич, сын боярский 475, 482, 502, 505
- Кудрявцев П.Н.* 128–130
- Куник А.А.* 42, 147
- Куракин Григорий Семенович, кн., воевода 426
- Куракин Иван Семенович, кн., боярин 463
- Куракин Федор Семенович, кн., воевода 293
- Куракины, княжеский род 292, 349, 354

- Курбатов-Грамотин Иван Тарасьевич *см.* Грамотин (Курбатов) Иван Тарасьевич
- Курбский Андрей Михайлович, кн., боярин 97, 157, 334, 336, 346, 347
- Курлятев-Оболенский Дмитрий Иванович, кн., боярин 346
- Лаврентий Зизаний *см.* Зизаний Лаврентий
- Лавровский Н.А.* 449–451
- Лаппо-Данилевский А.С.* 103, 105
- Латкин В.Н.* 53–55, 100, 212, 385
- Лебедев Д.П.* 10
- Левонтьев *см.* Плещеев (Левонтьев) Л.С.
- Леон, иностранный лекарь 167
- Леонид (Кавелин), архим.* 37
- Леонид, монах 143, 208
- Леонтович Ф.И.* 73
- Леонтьев Гавриил, дьяк 20
- Леонтьев Константин Николаевич, философ 128
- Лермонтов Михаил Юрьевич, поэт 371
- Лефорт Франц Яковлевич, генерал-адмирал 394, 400
- Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) 42, 46–48, 50, 139, 143, 144, 163, 203–210, 225, 226, 286, 296, 297, 316, 350, 478, 480, 485, 490, 493, 497, 498, 501, 502, 504, 509, 508, 511, 515
- Лжедмитрий II (Тушинский вор) 47–49, 122, 123, 142, 228, 230, 231, 284, 294, 295, 297, 299, 317, 454, 466, 510, 511
- Лизек Адольф, дипломат 29, 413
- Литинский М.А.* 158, 308, 310
- Лисовский Александр Юзеф, польский полковник 317
- Лихачев Н.П.* 110, 113, 115, 149–151, 154, 155, 162, 165–171, 290, 297, 298, 315, 317, 318, 321
- Лихачев Федор Федорович, думный дьяк 291, 293
- Лобанов-Ростовский Афанасий Васильевич, кн., чашник 285
- Логгин, монах Троице-Сергиева монастыря 516
- Лохвицкий А.В.* 105
- Луговский Томило Юдич, дьяк 290–292, 293, 354
- Лыков-Оболенский Борис Михайлович, кн., боярин 270, 286, 354
- Лыкова-Оболенская (Романова) Анастасия Никитична, княгиня, жена кн. Б.М. Лыкова-Оболенского, дочь Н.Р. Захарьина 286
- Лыткин Г.С.* 125
- Львов Алексей Михайлович, кн., дворецкий 291, 300, 301, 431, 432
- Львов Угрим Левкеин, дьяк 110
- Львовы, княжеский род 293
- Любавский М.К.* 367, 529
- Лютер Мартин, богослов, реформатор 118
- Ляпунов Прокопий Петрович, думный дворянин 11, 47–49, 198, 229, 231, 233, 284, 317, 405, 407, 439, 440, 450
- Мазепа Иван Степанович, гетман 326
- Майков В.В.* 308
- Майков Л.Н.* 303, 475, 505
- Макарий Желтоводский и Унженский, св. 519
- Макарий, митр. Московский, св. 346
- Макарий, патр. Антиохийский 32, 423
- Макарий (Булгаков), митр.* 18, 501, 518, 520
- Максим Грек, богослов, св. 119
- Максимилиан, германский имп. 169
- Малышев, курский служилый человек 246

- Мамырев Василий, дьяк 167
- Манкиев Алексей Иванович, дипломат, историк 54
- Маржерет Жак, французский наемник, писатель 105, 176
- Мария Александровна, великая княжна, дочь имп. Александра II 133
- Мария Ильинична Милославская, царица, жена царя Алексея Михайловича 57, 395
- Мария Федоровна Нагая, царица, жена царя Ивана IV Васильевича 495
- Маркевич А.И.* 263, 264, 266, 268, 273, 275, 292, 300, 314, 452, 453, 458
- Марлинский *см.* Бестужев-Марлинский Александр Александрович
- Мартемьянов Герасим, дьяк 284
- Марфа (в миру Ксения) Ивановна Романова, царица-инокиня, мать ц. Михаила Федоровича 15, 254, 287, 508, 513
- Масальский *см.* Мосальский-Рубец Василий Михайлович
- Маскевич Самуил, польский офицер 42, 46, 48–50
- Масловский Д.О.* 325, 326
- Масса Исаак, купец, дипломат 287, 290–292, 297, 298, 490, 507, 508
- Матвеев Артемон Сергеевич, боярин 27, 356, 422, 433
- Матвеев Сергей, дьяк 18
- Матюшкин Афанасий Иванович, думный дворянин 414–416, 420, 421
- Махмет, султан, лит. персонаж 94
- Медведев И.П.* 530
- Мезецкий Даниил Иванович, кн., боярин 257, 258, 291, 454
- Мейерберг Августин фон, дипломат 413
- Мелло Николай де, испанский монах, каплан 164
- Мельников Павел Иванович (Андрей Печерский), писатель 127–129, 313, 315
- Мельников А.В.* 521
- Мерик Джон, купец, дипломат 288, 503
- Мессинг А.И.* 129
- Меццерский Федор, кн., боярин 296
- Миклошич Ф.* 88
- Милославские, дворянский род 395–397, 399
- Милославский Иван Михайлович, боярин 396
- Милославский Илья Данилович, боярин 39, 57, 418, 430, 432
- Милюков П.Н.* 64, 104–109, 114, 132, 266, 315, 343, 367, 374, 385
- Минин Козьма, думный дворянин 11, 142, 196–200, 202, 233, 235, 256, 258, 262, 263, 275, 282–284, 354, 407, 450, 455, 480
- Миних Христофор Антонович, граф, генерал-фельдмаршал 267, 268
- Митрофан, тульский монах, иконник 79
- Митрофанов (Нечаев) Семен (Путило) Михайлович, дьяк 110
- Михаил архангел, библ. 43, 155, 388
- Михаил (Михалко) Юрьевич, кн. Владимирский, сын в. кн. Юрия Долгорукого 64–66, 526
- Михаил Федорович, царь 7, 11–18, 53, 56, 58–60, 176, 178, 197, 211, 236–238, 240–242, 246, 254, 255, 257, 262, 263, 265, 267–280, 283–290, 292–299, 301, 302, 309–311, 317, 352–354, 358, 359, 365, 388, 435, 443–461, 463, 467, 470–472, 500, 503, 504, 508, 511, 513–515, 529

- Михайловский Николай Матвеевич, собиратель рукописей 304
- Михалков Константин Иванович, постельничий 285
- Михалковы, дворянский род 286
- Михневич Н.П.* 325, 326
- Мнишек Марина Юрьевна, жена Лжедмитрия I 163, 241, 256, 264, 265, 450, 456, 457, 464, 470
- Моисей, библ. 87
- Молчанов Михаил Андреевич, дворянин 296
- Моммзен Т.* 145
- Морозов Борис Иванович, боярин 28, 58–61, 101, 102, 242, 248, 412, 430, 433, 522, 523
- Морозов Василий Петрович, боярин 235, 366, 442
- Морозов Глеб Иванович, боярин 101
- Морозовы, боярский род 287, 293, 354, 430
- Мохнаткин Гавриил (Гаврило), золотицкий крестьянин 111
- Мосальский-Рубец Василий Михайлович, кн., воевода 296
- Мстиславские, княжеский боярский род 354, 485
- Мстиславский Иван Федорович, кн., боярин 310, 347, 348, 485
- Мстиславский Федор Иванович, кн., боярин 258, 262, 265, 271, 277, 278, 281, 351, 353, 455, 458, 463, 472, 479
- Муханов П.А.* 49, 121, 520
- Нагие, дворянский, боярский род 140, 142, 495
- Нагой Андрей Александрович, боярин 509
- Нагой Григорий Федорович, боярин 509
- Нагой Михаил Федорович, боярин 495
- Нагой Федор Федорович, окольничий 112, 113
- Наполеон Бонапарт, французский имп. 379, 380, 382–384
- Нарышкины, дворянский род 396
- Наседка Иван Васильевич, священник, справщик Московского печатного двора 305, 408, 516, 518
- Наталия Кирилловна Нарышкина, царица, жена царя Алексея Михайловича 395–397, 399
- Нектарий, архиеп. Вологодский 517
- Неплюев Иван Иванович, дипломат 395
- Неронов Иван, протопоп 408
- Нечаев Путило *см.* Митрофанов (Нечаев) Семен (Путило) Михайлович
- Никита, казначей Савина-Сторожевского монастыря 415
- Никитин Григорий, составитель писцовой книги 110
- Николаев А.С.* 328
- Николаевский П.Ф.* 501
- Николай I, имп. 383
- Никон, патр. Московский 29–33, 35, 56, 177, 247, 250, 251, 411, 424, 425, 428, 430–434
- Новиков Николай Иванович, журналист, издатель 377, 448
- Новокшенов Николай Никитич, думный дьяк 290
- Нормантский Федор Кириллович, автор летописца 108
- Оболенский К.М.* 90
- Оболенский М.А.* 53, 56
- Оболенский-Кашин *см.* Кашин-Оболенский
- Оглоблин Н.Н.* 482
- Одоевские, княжеский род 292, 293, 355, 419
- Одоевский Меньшой Иван Никитич, кн., боярин 281, 354
- Одоевский Михаил Никитич, кн. 32, 293, 419, 424

- Одоевский Никита Иванович, кн., боярин 20, 30, 32–34, 242, 245, 247, 292, 358, 360, 366, 419, 424, 426, 427, 429, 433
- Одоевский Федор Никитич, кн., боярин 419
- Олеарий Адам, дипломат 52, 54–61, 298, 301
- Олег Святославич, кн. Черниговский, сын кн. Святослава Ярославича 215
- Олег Святославич, кн. Стародубский, сын кн. Святослава Всеволодовича 66
- Ондронов Федор *см.* Андронов Федор
- Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич, думный дворянин 31, 356, 416, 419, 420, 433
- Ордин-Нащокин Воин Афанасьевич, стольник 420
- Отрепьев Григорий *см.* Лжедмитрий I
- Офонасей *см.* Афанасий
- Павел I, имп. 188, 381
- Павел Алеппский, архидиакон 32, 423, 428
- Павлов Н.М.* 143, 208
- Павлов-Сильванский Н.П.* 266
- Палицын *см.* Авраамий Палицын
- Пахомий, архиеп. Астраханский 515
- Пересветов Иван Семенович, служилый человек 94, 98, 166
- Петр I Алексеевич, имп. 26–28, 35, 36, 39, 47, 54, 181, 183–185, 189–195, 250, 266, 324–326, 328–331, 366, 376, 381, 394–403, 411, 420, 417, 421, 433, 434, 446, 448, 473, 474, 520, 528, 530
- Петр II Алексеевич, имп. 194
- Петр III Федорович, имп. 185, 188
- Петр, митр. Московский, св. 494
- Петр (Петрушка), самозванец 316, 322, 498
- Петр, угличский священник 307
- Петухов Е.В.* 117–120, 304
- Печерский А. *см.* Мельников (Печерский) П.И.
- Пилат Понтий, библия 45
- Пимен (Пимин), еп. Вологодский 168, 170
- Пирлинг П. см. Pierling P.*
- Платонов С.Ф.* 123, 143, 163, 226, 260, 263, 268, 278, 283, 287, 294, 301, 304, 311, 314, 354, 361, 435, 490, 505, 521–530
- Платонова (Шамонина) Надежда Николаевна, жена С.Ф. Платонова 521
- Плещеев Иосиф (Осип) Тимофеевич, воевода 316
- Плещеев Лев Афанасьевич, стольник 295
- Плещеев Леонтий Степанович, земский судья 57–59, 101, 296, 301, 431
- Плошинский Л.О.* 89
- Погодин М.П.* 112, 129, 130, 303
- Погожев Дементий Семенович, служилый человек 308
- Погожев Дмитрий Дементиевич, служилый человек 308
- Погожев Исаак Дементиевич, служилый человек 308
- Погожев (Погожево) Федор Дементиевич, служилый человек 306, 308
- Погожев (Погожево) Федор Иванович, воевода 308
- Пожарский Дмитрий Михайлович, кн., боярин 9, 10–13, 15, 141, 142, 144, 196, 198, 199, 201, 202, 233–237, 239, 255, 256, 258–260, 262, 263, 269, 271, 275, 277, 279, 282–284, 287, 292, 299, 352, 353, 441, 442, 450, 455, 464–468, 515
- Пожарский Семен Романович, кн., окольничий 60

- Полевой Н.А. 132
 Полторацкий А.В. 388
 Помяловский И.В. 387
 Попов А.Н. 36, 53, 313, 505, 531
 Попов Н.А. 100, 452
 Пресняков А.Е. 165, 458
 Прозоровский Семен Васильевич, кн., воевода 20
 Прокопович см. Феофан Прокопович
 Пронский Михаил Петрович, кн., боярин 58
 Пронский Юрий Дмитриевич, кн., боярин 169
 Прохазка А. см. *Prochaska A.*
 Пташицкий С.Л. 209
 Пушкин Александр Сергеевич, поэт 138, 180, 369, 373, 384, 394
 Пушкин Григорий Григорьевич, воевода 322
- Радзивил Христофор**, литовский гетман 486
Редкин П.Г. 129
 Рейтенфельс Яков, дипломат 29, 413
 Ренн Карл Эвальд, генерал от кавалерии 328
 Репнин Борис Александрович, кн., боярин 24, 291, 354
 Репнины, князя 507
 Рогов Трофим Осипович, профессор истории Санкт-Петербургского университета 133
Рождественский С.В. 293, 294
 Рожинский 480
 Роман Угличский, св. кн. 307, 308, 310, 494
 Романов Александр Никитич, боярин 506, 507
Романов Б.А. 6
 Романов Василий Никитич, стольник 506
 Романов Иван Никитич, боярин 286, 294, 295, 461, 506
- Романов Михаил Никитич, боярин 506, 507
 Романов Никита Иванович, боярин 58, 59, 286, 293
 Романов Федор Никитич см. Филарет (в миру Романов Федор Никитич), патр.
 Романова (урожд. Черкасская) Ирина Борисовна, жена Н.Р. Романова 286
 Романова Анна Никитична см. Троекурова (урожд. Романова) Анна Никитична
 Романова Ирина Никитична см. Годунова (урожд. Романова) Ирина Никитична
 Романова Ксения Ивановна см. Марфа (в миру Ксения) Ивановна Романова
 Романова Марфа Никитична см. Черкасская (урожд. Романова) Марфа Никитична
 Романова Анастасия Никитична, дочь Н.Р. Захарьина-Юрьева 509
 Романова Татьяна Федоровна см. Катyreва-Ростовская (урожд. Романова) Татьяна Федоровна
 Романовы, боярский и царский род 142, 225, 254, 255, 265, 279, 286, 287, 294–298, 349, 350, 354, 366, 366, 431, 435, 446, 450, 456–458, 460, 461, 461, 471, 485–488, 498, 506–508, 511, 529
 Ромодановский Григорий Григорьевич, кн., боярин 417, 427
 Ростислав, князь 526
 Ртищев Федор Михайлович, окольничий 27, 411
 Румянцев Николай Петрович, граф, канцлер 158, 448, 449
 Рязанцев Корнилий, посадский человек 141, 162
 Рязанцевы, посадские люди на Вятке 162

- Сабуров Яков, составитель писцовой книги 110, 111
- Сабуровы, дворянский род 354
- Савва В.И.* 304, 305, 476
- Савва Сторожевский, св. 414
- Савва (И.М. Тихомиров), архим.* 391
- Савинов Тимофей, дьяк 261
- Савлуковы, род служилых людей 318
- Салтыков Борис Михайлович, боярин 285
- Салтыков Михаил Михайлович, кравчий 285, 478
- Салтыков-Морозов Михаил Глебович, боярин 42, 43, 47, 122, 123, 295, 296
- Салтыковы, дворянский и боярский род 271, 287, 291–296, 354
- Самоквасов Д.Я.* 73
- Сапега Андрей, писал в Смутное время к Радзивилу 486
- Сапега Лев, гетман 49, 262, 485, 512
- Сафонов Денис Геннадьевич *см.* Софонов Денис Геннадьевич
- Святослав Всеволодович, кн. Черниговский, в. кн. Киевский, сын. кн. Всеволода Ольговича 66
- Святослав Ольгович, кн. Новгород-Северский, сын. кн. Олега Святославича 62
- Селин А.И.* 374
- Селифонтов Н.Н.* 287
- Семенов Михаил (Мишка), сокольник 416
- Серапион, архиеп. Суздальский 58
- Серапион, митр. Сарский и Подонский (Крутицкий) 58
- Сервет, лит. персонаж 118
- Сергеевич В.И.* 7, 8, 18, 149, 150, 211, 212, 289, 341, 362, 363, 370
- Сергий Александрович, в. кн., московский генерал-губернатор 369
- Сергий Радонежский, св. 53, 59, 60, 130, 199, 369
- Середонин С.М.* 104, 106–109, 112, 114, 115, 381
- Серпуховитин Мокей (Мокейко), дворник 78
- Сигизмунд III, король Польский 13, 14, 40–43, 45, 47, 49–51, 83, 121, 122, 198, 230, 231, 257, 258, 261, 264, 278, 284, 285, 295–297, 352, 353, 404, 407, 454, 456, 460, 461, 463, 464, 510–512
- Сигизмунд-Август, король Польский 224
- Сидор *см.* Исидор
- Сильвестр, священник кремлевского Благовещенского собора 92, 346, 347
- Симеон Бекбулатович, царевич Казанский, хан Касимовский, в. кн. Тверской 112, 487
- Симеон Иванович Гордый, в. кн. Московский 183
- Симеон Полоцкий, богослов 398
- Симон Азарьин, келарь Троице-Сергиева монастыря 53, 55, 59, 60, 408
- Симсон П.Ф.* 68, 71
- Сицкие, княжеский род 287, 291, 296, 354, 507
- Сицкий Алексей Юрьевич, кн., боярин 290, 294
- Скворцов Д.И.* 386
- Скобельцыны, дворянский род 101
- Скопин-Шуйский Михаил Васильевич, кн., боярин 228, 268–269, 436, 438, 480, 510
- Смирнов А.* 520
- Соболевский А.И.* 165
- Соловецкий Степан, служилый человек 261, 296

- Соловьев С.М.* 8, 9, 13, 18, 21–24, 26, 27, 36, 46, 47, 54, 57, 83–85, 87, 88, 97, 98, 115, 128–133, 137, 142, 162, 190, 194, 263, 268, 270, 275, 285, 288, 297, 367, 368, 372, 413, 416, 417, 420, 422, 425, 430, 432, 451, 501, 515, 520, 532
- Соломон, библия. 423
- Софонов (Сафонов) Денис Геннадьевич, думный дьяк 295, 490
- Софья Алексеевна, царица, дочь царя Алексея Михайловича 396–399
- Сташевский Е.Д.* 386
- Стефан, новгородский священник 120
- Стефанит, лит. персонаж 51
- Стилле А.* 388
- Сторожев В.Н.* 82, 89, 104, 105, 108, 114
- Страленберг Филипп Иоганн фон, офицер, писатель 267, 268, 452, 453, 512
- Стрешнев Родион Матвеевич, боярин 22, 24, 30, 293, 418
- Стрешнев Иван Филиппович, дьяк 113
- Стрешневы, дворянский и боярский род 293, 354
- Строгановы 477
- Строев П.М.* 55, 58, 117, 119, 120, 303–306, 476
- Стурдза А.С.* 378
- Сукин Борис Иванович, дьяк 343
- Сукин Василий Борисович, думный дворянин 47
- Сумароков Семен (Семейка), дьяк 114, 116
- Сутупов Богдан Иоаким Иванович, дьяк 295
- Сыдавный (Зиновьев) Васильев см. Васильев Сыдавной Семен Зиновьевич
- Сытин Иван Дмитриевич, книгоиздатель 385
- Талицкий Григорий, книгописец, проповедник 39
- Татищев В.Н.* 136, 265, 268, 500
- Телепнев Ефим Григорьевич, дьяк 283, 291, 293
- Тельберг Г.Г.* 388
- Телятевский Андрей Андреевич, боярин, князь 478
- Тимофеев Богдан, дьяк 285
- Тимофеев Иван, дьяк 490, 492
- Титов А.А.* 158
- Тихомиров И.А.* 161, 165, 387, 421
- Тишкевич Христофор, польский посол 220
- Толстой Алексей Константинович, граф, поэт 131
- Толстой Федор Андреевич, граф, собиратель рукописей 55, 117
- Траханиот Юрий Мануилович Старый, посол 167
- Траханиотов Никифор Васильевич, царский казначей 286
- Траханиотов Петр Тихонович, окольничий 53, 55, 58–60
- Третьяков Петр Алексеевич, думный дьяк 283, 290, 291, 295–299
- Троекуров Иван Федорович, кн., боярин 269, 287, 294, 295, 354, 503
- Троекуров Федор Михайлович, кн., боярин 349
- Троекурова (Романова) Анна Никитична, княгиня, жена И.Ф. Троекурова, дочь Н.Р. Захарьина-Юрьева 287
- Троекуровы, княжеский боярский род 287, 296
- Трубецкие, княжеский боярский род 292
- Трубецкой Алексей Никитич, кн., боярин 23, 293, 432
- Трубецкой Дмитрий Тимофеевич, кн., боярин 12, 14, 142, 231, 256, 258–260, 262, 269, 271, 275, 277, 279, 283, 284, 292, 298, 299, 318, 352, 353, 455, 465–467

- Трубецкой Юрий Никитич, кн., боярин 503
Туманский Ф.О. 326
Тураева-Церетели Е.Ф. 435, 529
Тургенев А.И. 164
 Тучков Михаил, дворянин 112
 Тушинский вор см. Лжедмитрий II
 Тютчев Федор Иванович, поэт 373
- Уваров А.С.* 165, 386
 Уддеудла, посол шведского короля 422
 Урусамбек, посол персидского шаха Аббаса 519
Успенский Ф.И. 147, 148
Устрялов Н.Г. 42, 133, 157, 163, 164, 334
- Федор I** Иванович, царь 83, 222, 273, 310, 318, 349, 350, 392, 435, 451, 461, 471, 485, 486, 492, 494, 495, 499, 500, 506
Федор II Алексеевич, царь 56, 151, 395, 396
 Федор Борисович, царевич, сын царя Бориса Федоровича Годунова 169, 487, 493, 497
 Федоров Тимофей, дьяк 114
Феодози Д. 326
 Феодор Стратилат, св. 45
 Феодорит, архиепископ Рязанский 276, 278, 279
 Феодорит, архим. 15
 Феодосий, архиеп. Астраханский 509
 Феодосий, архим. нижегородского Печерского монастыря 200
 Феодосий, игумен Киевопечерского монастыря 332
 Феодосия Федоровна, царевна, дочь царя Федора Ивановича 387, 500
 Феофан, патр. Иерусалимский 409, 516
- Феофан Прокопович, архиеп. Новгородский и Великолуцкий 325
Феттерлейн К. 52
 Филарет (в миру Романов Федор Никитич), патр. Московский 17, 36, 37, 41, 48, 140, 141, 173–178, 224, 225, 241, 261, 262, 265, 287, 289–292, 295, 296, 299, 302, 304–306, 309–311, 358, 392, 393, 445, 446, 455, 457, 458, 461, 463, 466, 470, 471, 479, 498, 502, 506–520, 529
 Филарет, монах Троице-Сергиева монастыря 516
 Филипп Колычев, митр. Московский 33, 56, 95, 96
 Филипп, шведский королевич 453
Филлипов А.Н. 359, 362
 Философов Иван, сын боярский 257–262, 264, 454–456, 465
 Флетчер Джильс, дипломат 90, 106, 108, 114, 115, 381, 490
 Фокеродт Иоганн-Готгильф, дипломат 267, 268
 Фокий, житель села Красного Угличского уезда 310
 Фродиан см. Афродитиан
- Хворостинин Иван Андреевич**, кн., воевода 87, 117–120, 303–306, 309, 310, 476
Хворостинин Иван Дмитриевич, кн., боярин 310
Хворостинин Юрий Дмитриевич, кн., воевода 295
Хилинский К.В. 454
 Хилков Алексей Яковлевич, кн., русский резидент в Швеции 54
Хилков Г.Д. 20, 283, 297
 Хлопова Мария Ивановна, невеста царя Михаила Федоровича 271, 288
 Хмельницкий Богдан Михайлович, гетман 22, 24, 56
Хмыров М.Д. 26

- Хованский Иван, кн. 310
Хованский-Тараруй Иван Андреевич, кн., боярин 416, 417
Холмогоров В.И. 321
Холмогоров Г.И. 321
Хомяков Алексей Степанович, философ 132
Хоткевич Ян Иероним, виленский каштелян 220
Хохолков-Ростовский Катырь Иван Андреевич, кн. 502
Хрущов Андрей Федорович, капитан флота 8, 9, 154–157, 219, 385, 387
- Царевский Афанасий, дьяк 284, 295, 296
Цветаев Д.В. 119, 304, 305, 320
- Черкасская Ирина Борисовна *см.* Романова (урожд. Черкасская)
Ирина Борисовна
Черкасская (урожд. Романова) Марфа Никитична, княгиня, дочь Н.Р. Захарьина 287, 508, 513
Черкасский Василий Карданукович, кн., боярин 316
Черкасский Дмитрий Мамстрюкович, кн., боярин 58, 294, 507
Черкасский Иван Борисович, кн., боярин 282, 286, 287, 291, 292
Черкасские, княжеский боярский род 283, 287, 293, 296, 507
Чехович, лит. персонаж 118, 119
Чечулин Н.Д. 68–81, 108, 385, 386, 529
Чириков Пантелеймон Михайлович, дьяк 300
Чистой (Чистово) Назарий Иванович, думный дьяк 58, 293
Чичерин Б.Н. 80, 132, 133, 155, 211, 212
Чичерин Иван Иванович, дьяк 261, 295
Чичерины, помещики 131
- Шакловитый Федор Леонтьевич**, думный дьяк 397
Шамонина Надежда Николаевна *см.* Платонова (Шамонина) Надежда Николаевна
Шапилов Алексей Захарьевич, думный дьяк 283, 290
Шахматов А.А. 165
Шаховской Семен Иванович, кн. 323
Шевырев Степан Петрович, литературовед 128
Шеин Алексей Семенович, боярин, генералиссимус 394
Шекспир Уильям, поэт, драматург 138
Шереметев Борис Петрович, боярин, граф, генерал-фельдмаршал 127, 267
Шереметев Василий Петрович, боярин 56
Шереметев Сергей Дмитриевич, граф, председатель Археографической комиссии 139, 209, 387, 388
Шереметев Матвей Васильевич, стольник 414
Шереметев Петр Никитич, боярин 269, 509
Шереметев Федор Иванович, боярин 278, 279, 286, 287, 292, 436, 512
Шереметевы, боярский род 9, 14, 284, 287, 293, 354, 358, 451
Шереметев Андрей Васильевич, разрядный дьяк 113, 115, 152
Шетнев Афанасий (Офонасий), дворянин 112
Шетнев Петр, дворянин 112
Шишков Александр Семенович, государственный деятель, писатель 179, 374
Шлёцер А.Л. 22, 129
Шляпкин И.А. 160
Шмидт А. 145

- Шмидт-Физельдек Христофор, писатель 267, 268
- Шуйская (урожд. Буйносова-Ростовская) Мария Петровна, царица, жена царя Василия Ивановича Шуйского 502
- Шуйские, княжеский боярский, царский род 142, 206, 227, 268, 292, 298, 349, 350, 354, 461, 463, 485, 486, 496, 497, 502, 507, 510
- Шуйский Василий Иванович, см. Василий Иванович Шуйский
- Шушерин Федор Дмитриевич, думный дьяк 284, 285, 290, 296, 299
- Щелкалов Андрей Яковлевич, думный дьяк 112–114, 152, 487
- Щелкалов Василий Яковлевич, думный дьяк, окольничий 113, 114, 152
- Щелкаловы, дьяки 485
- Щербачев Ю.Н.* 486
- Юдин Василий, дьяк 233
- Юнаков Н.Л.* 388
- Юрий Всеволодович, в. кн. Владимирский, сын в. кн. Всеволода III Юрьевича 215, 216
- Юрий Владимирович Долгорукий, в. кн. Киевский, сын. в. кн. Владимира Всеволодовича Мономаха 62–65
- Юрьев В., князь 296
- Юрьев Никита Романович см. Захарьин-Юрьев Никита Романович
- Юсупов Григорий Дмитриевич, кн., стольник 101
- Юшков А.И.* 284
- Янов Василий Федорович, думный дворянин 296
- Ярополк Ростиславич, кн., сын кн. Ростислава Юрьевича 65, 66
- Ярослав Владимирович Мудрый, в. кн. Киевский, сын. в. кн. Владимира Святославича 171
- Яхонтов Никита (Микита), составитель писцовой книги 110, 111, 527
- Almqvist K.I.L.* 454
- Hirschberg A.* 164, 257, 258, 260, 261, 454
- Pierling P.* 143, 164, 208, 209, 490
- Prochaska A.* 486, 490

Указатель географических названий*

- Аббас-Туман, поселок 364
Азов, г. 240, 401
Алатырь, г. 298, 321
Англия (Англия) 305, 380
Арзамас, г. 317, 318, 320, 321
Арзамасский у. 321
Архангельск, г. 20, 194, 228, 438
Астрахань, г. 14, 310, 315, 316, 493
Ахтырка, г. 324, 328
- Бакаев (Саадашный) шлях 327, 328, 330
Балтийское море 192–195
Бежецкий Верх 115
Белгород (Белой город), г. 59, 325–330
Белое море 192, 237, 468
Белое озеро 88
Белоозеро, г. 60, 111, 115, 493, 508
Берлин, г. 145, 195
Богоявленский ям 124
Бронницы, с. 318
Брянск, г. 204, 238, 469
Буг, р. 529
Будищи, с. 325
Быстрая Сосна, р. 433
- Вага, р. 227, 437
Важский у. (Важская земля, Вага) 14, 227, 437
Валка, г. 414
Варшава, г. 195
- Великие Луки, г. 220, 251
Великий Устюг, г. 59, 124, 125, 228, 229, 437, 439, 493
Вельский у. 227, 437
Венев, г. 74
Веприк, с. 325, 326, 328, 330
Вешняково, с. 419
Византия 95, 146–148
Виледь, р. 124
Вильна, г. 412, 425
Владимир (Володимер), г. 65–67, 215, 229, 439, 523, 524
Волга, р. 289, 310, 316, 322
Вологда, г. 115, 121, 168, 228, 229, 438, 439, 493
Вологодский у. 115
Волхов, р. 192
Вонючка, Лукьяново тож, д. 321
Вонючка, р. 321
Воронеж, г. 325, 328–330
Воронежская губерния 327
Ворскла, р. 324, 325, 327–330
Восма, р. 316, 322
Выборг, г. 193
Вычегда, р. 124
Вышний Волочок, г. 194
Вятка, г. 47, 141, 162, 229, 439
- Гадяч, г. 324, 325
Гаенский стан на р. Каме (Гаечь, Гайны) 124, 125
Галич, г. 112, 229, 439
Германия 28, 145, 379, 412
Голштиния 195

* Принятые сокращения: г. – город; р. – река; с. – село; у. – уезд

- Горбатовский у. 126
 Городецкий у. 115
 Грузия 519
- Дания 195, 318, 320
 Данциг, г. 195
 Двинский у. (Двина) 114–116, 237, 468
 Дедилов, г. 322
 Деревская пятина 225
 Дмитров, г. 115, 192, 493
 Дмитровский у. 115
 Днепр (Непр), р. 203, 204, 325, 328, 416, 529
 Дон, р. 237, 248, 263, 325, 468, 470
 Донец, р. *см.* Северский Донец
- Европа 146, 183, 191, 194, 195, 297, 374–377, 380–383, 491
- Западная Двина, р. 528
 Зарайск, г. 80
 Звенигород, г. 34, 429
 Золотица, с. 111
- Иена**, г. 145
 Иерусалим, г. 522
 Измайлово, с. 399
- Кавказ** 322
 Казань, г. 14, 48, 70, 88, 162, 201, 229, 291, 316, 317, 319, 320, 419, 439, 482, 493
 Кайгородок, г. 125
 Калуга, г. 229, 283, 295, 439
 Кама, р. 124, 125
 Каменец, г. 528
 Канцы *см.* Ниеншанц
 Каргополь, г. 113, 115, 116, 228, 438
 Каргопольский у. 110, 113, 115, 116, 192
 Каспий 463
 Кашин, г. 192
 Кашира, г. 79, 113
 Кёнигсберг, г. 195
- Киев, г. 64, 203, 204, 215
 Киль, г. 195
 Клины, с. 508
 Клязьма, р. 62, 67
 Кокенгаузен, г. 422
 Коломок (Коломак), р. 327, 330
 Коломенское, с. 34, 39, 100, 101, 399, 429, 431
 Коломна, г. 67, 70, 78, 493, 523, 526
 Константинополь, г. 18, 491
 Копенгаген, г. 195
 Корела, г. 76, 77
 Корожечна, р. 310
 Кострома, г. 15, 229, 276, 439, 443, 451, 472
 Котлин, остров 192, 193
 Красное, с. 310
 Красный Кут, г. 325, 326, 328–330
 Кромы, г. 205, 206
 Кроншлот, крепость 193
 Крым 18, 137, 182, 222, 327, 381, 529
 Кубань 182, 528
 Кумыцкая земля 316, 319
 Курляндия 182, 528
 Курск, г. 238, 469
 Курская губерния 327
 Кучково (Куцково), с. 65, 526
- Ладога** *см.* Старая Ладога
 Ладожское озеро 191, 192, 194
 Лаишев, г. 70
 Лальский городок на р. Лузе 125
 Лебедин, г. 324, 328
 Лейден, г. 52
 Лена, р. 421
 Ливония 92, 94, 412, 488 489
 Литва 95, 139, 140, 182–184, 193, 208, 270, 296, 317, 318, 335, 345, 348, 365, 381, 412, 425, 513, 515, 528
 Лодейное поле, г. 191
 Лопасна, волость 66
 Лохвица, г. 324
 Лужа, р. 270
 Луза, р. 125

Любилово, с. 277, 285
Люст-Еланд, остров 190

Малороссия 21, 22, 24, 25, 35,
249, 252, 433

Марбург, г. 512

Мариенбург, г. 512

Мещера 321

Можайск, г. 70

Можь, р. 327, 330

Молога, р. 194

Монастыри:

Антониев Сийский 503

Богоявленский девичий в
Угличе 161

Горицкий Успенский в Пе-
реславле-Залесском 88

Иосифов Волоколамский
510

Ипатьевский Троицкий в
Костроме 285, 448

Кириллов Белозерский 60,
88, 110, 111, 115

Макарьевский 143

Печерский Вознесенский в
Нижнем Новгороде 196

Новодевичий в Москве 15,
495, 496

Новоспаский в Москве 491

Саввин-Сторожевский 34,
174, 414, 415, 429

Симонов в Москве 317, 319,
491

Соловецкий (Соловки) 33,
228, 438

Спасо-Прилуцкий в Вологде
517

Сретенский в Москве 54, 56

Троице-Сергиев 37, 56, 57,
60, 101, 128, 199, 263,
279, 280, 310, 385–386,
397, 409, 499, 503, 516

Успенский в Тихвине 192

Успенский в Старице 491,
497, 498

Чудов в Москве 498, 501

Москва 12–19, 23, 24, 27, 30,
38, 40–42, 44–46, 48–50, 52,
53, 54, 56–67, 76, 89, 93, 95–
97, 100–102, 104, 107, 110–
113, 116, 117, 121–124, 127–
129, 131, 139, 141, 149, 162,
164, 167, 172, 176, 177,
183, 191–195, 197–207, 210,
220–226, 228–237, 239, 240,
242, 244–246, 248–251, 253,
255–266, 268–288, 290–292,
295–301, 316–320, 326–328,
330, 335–339, 342, 344, 350–
353, 356–358, 360, 362–
367, 369, 376, 379, 384–386,
391, 392, 397–400, 404, 405,
407–409, 412, 413, 420, 421,
425, 426, 430–432, 435, 436,
438–445, 447, 448, 454–468,
474, 478–480, 486, 491–493,
495–500, 498–504, 506, 508–
513, 515, 516, 518, 519,
521–527

В Москве:

Белый город 59

Житной ряд 59

Замоскворечье (Заречье)
503, 524

Земляной город 59, 318

Кадашевская слобода 102

Красная площадь 8, 218,
219

Кремль 37, 128, 260, 338,
396, 397, 408, 442, 463,
465, 472, 524, 526

Крутицы 493

Мучной ряд 59

Немецкая слобода 400

Покровская улица 101

Солодяной ряд 59

Тверские ворота 59

Черторье 524

Москва-река 34, 59, 62, 67, 429

Московская губерния 34, 429

Московский у. 115

Мста, р. 194

- Муравский шлях (Муравская дорога) 327–330
 Муром, г. 70, 317
 Мытище, поселок 62
- Нарва**, г. 191–193, 401, 473
 Нарова, р. 193
 Нева, р. 190–194
 Неглинная, р. 59, 63
 Нежин, г. 304, 426
 Неман, р. 383, 384, 528
 Непр *см.* Днепр
 Ниеншанц (Канцы, Шлотбург), г. 190
 Нижегородская губерния 126
 Нижний Новгород, г. 14–16, 48, 122, 196–201, 229, 233, 234, 313, 317, 320, 333, 439, 441, 462, 493
В Нижнем Новгороде:
 Старый острог 196
 Новгород Великий, г. 11–13, 66, 76, 77, 120, 192–194, 216, 228, 235, 290, 297, 318, 322, 365, 438, 462, 464, 466, 502, 503
 Новгород-Северский, г. 204, 317, 319
 Новороссия 188, 381
 Новосиль, г. 238, 469
 Нотебург *см.* Шлиссельбург
- Ока**, р. 66, 196, 327, 488
 Онега, р. 192
 Онежское озеро (Онего-озеро) 192
 Опошня, с. 325, 326, 328
 Орешек *см.* Шлиссельбург
 Остафьево, с. 383
 Охта, р. 190
- Паледин** *см.* Пыелдынский Спасский погост на р. Сыsole
 Париж, г. 379, 383, 384, 402
 Пахнутцова дорога 327
 Переславль (Переяславль) Залесский, г. 66, 309
 Пермь, г. 228, 229, 292, 438, 439
- Пернов** *см.* Пярну
 Поволжье 194, 234, 255, 321, 332, 356, 462
 Полоцк, г. 234, 343, 442
 Полтава, г. 325–330, 473
 Польша 16, 17, 23–25, 42, 56, 180, 183, 184, 195, 204, 208, 210, 289, 293, 296, 320, 325, 381, 466, 511, 512
 Поляновка, с. 317
 Поморье 115, 255, 270
 Пошехонский у. 115
 Пошехонье, г. 115
 Преображенское, с. 397, 399, 400
 Пресбург, потешный городок около с. Преображенского 399
 Прилуки, г. 324
 Припять, р. 528
 Пруссия 195
 Псел, р. 324, 325, 328, 330
 Псков, г. 56, 70, 74, 249, 269–272, 296, 297, 420, 493
 Путивль, г. 204–206, 320, 478
 Пыелдынский Спасский погост на р. Сыsole (Паледин, Пыелдын) 124, 125
 Пярну (Пернов), г. 192
- Ревель**, г. 192
 Речь Посполитая 204, 209, 226, 462, 480
 Ржева Володимирова, г. 493
 Рига, г. 192, 193, 412
 Рижский залив 192
 Рим, г. 40, 97, 136, 167, 404, 491, 492, 522
 Ромны, г. 324
 Ростов, г. 66, 114–116, 141, 168, 391, 461, 493, 509, 510
 Ростовский у. 115
 Рыльск, г. 281
 Рязань, г. 49, 67, 277, 316, 493, 526
- Саадашный шлях** *см.* Бакаев (Саадашный) шлях

- Санкт-Петербург, г. 130, 132, 135, 137, 190, 191, 193–195, 313, 376, 387
 Саранск, г. 320
 Свирь, р. 191, 192
 Свияжск, г. 70, 316
 Северная Двина, р. 192, 227, 437
 Северский (Северный) Донец, р. 237, 325, 327, 468
 Северская земля 493
 Севск, г. 317, 319
 Семеновское, с. 399
 Серебряные Пруды, с. 322
 Серпухов, г. 70
 Сибирь 14, 83, 101, 124, 292, 477, 481, 482, 499, 503, 518
 Сицилия 146
 Смоленск, г. 36, 37, 40–42, 45–47, 50, 64, 121–124, 231, 271, 285, 296, 297, 316, 320, 412, 416, 422, 493, 510–512, 522
 Сожь, р. 528
 Соликамск, г. 125
 Соловки см. монастырь Соловецкий
 Сольвычегодск (Соль Вычегодская), г. 124, 125
 Старая Ладога, г. 192
 Старица, г. 112, 491, 493, 498
 Стокгольм, г. 195
 Суздаль, г. 64, 229, 439, 493
 Сула, р. 328
 Сумы, г. 324, 325, 328
 Сура, р. 488
 Сходня, р. 62
 Сысола, р. 124, 125
 Сясь, р. 192, 194

 Тайнинское, с. 416
 Тверца, р. 194
 Тверь, г. 115, 493
 Терк (Терек), г. 316, 319, 321
 Тешский стан 321
 Тильзит, г. 382
 Тихвина, р. 192
 Тобольск, г. 287, 292, 320, 482, 503

 Толвуйский Заонежский погост 508
 Торопец, г. 70, 78, 220, 251
 Тотьма, г. 482
 Тула, г. 70, 78, 79, 87, 88, 168, 238, 316, 469, 503
 Тула, р. 168, 70
 Турция 180, 325
 Тушино, с. 228, 230, 283, 284, 294–299, 438, 461, 510

 Углич, г. 139, 140, 158–161, 208, 209, 307–310, 349, 392, 485, 494, 497, 509
 Украина 205, 206, 324, 325, 328
 Устюг Великий, г. 59, 124, 125, 228, 229, 437, 439, 493
 Устюг Железной см. Устюжна Железопольская
 Устюжна (Устюжна Железопольская, Устюг Железной), г. 59, 70, 192, 237, 469

Финляндия 191
 Финский залив 183, 191–193
 Флоренция, г. 145
 Франция 380–382, 402

 Харьков, г. 325
 Харьковская губерния 327
 Холмогоры, г. 507

Царицын, г. 311
 Царьград 522
 Церкви:
 Алексея человека Божия в Угличе 161
 Архангельская соборная в Москве 392, 493, 509
 Архистратига Михаила в Угличе 161
 Богоявленская соборная в Вятке 162
 Всех святых в Москве 524
 Димитрия царевича в Угличе 161

- Косьмы и Дамиана в Нижнем Новгороде 196
- Преображения соборная в Нижнем Новгороде 196, 200
- Спасская в Угличе 160
- Успенская соборная в Москве 16, 267, 493, 497–499, 513, 519
- Царя Константина в Угличе 160
- Чердынь**, г. 124, 125
- Чернигов**, г. 66, 204, 426
- Черное море** 182
- Швеция** 1, 11, 183, 193, 195, 269, 381, 462, 466, 480, 518
- Шексна**, р. 88
- Шенкурский у.** 227, 437
- Шлиссельбург (Нотебург, Орешек)**, г. 190, 191–193
- Шлотбург** *см.* Ниеншанц
- Юрьев-Поволжский (Юрьевский) у.** 509
- Ярославль**, г. 10–13, 199, 228, 229, 234, 236, 255, 259, 271, 276, 280, 438, 439, 441, 442, 466, 467, 472
- Яуза**, р. 62

СОДЕРЖАНИЕ

СБОРНИК “СТАТЬИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ (1883–1912)”

Заметки по истории московских земских соборов (1883).....	7
Царь Алексей Михайлович (Опыт характеристики) (1886).....	26
Новая повесть о Смутном времени XVII века (1886).....	36
Московские волнения 1648 года (1888)	52
О начале Москвы (1890)	62
К истории русского города XVI века (1890)	68
“Историографическое” сочинение нашего времени (1891)	82
Нечто о земских “сказках” 1662 года (1891).....	100
Как возникли чети? К вопросу о происхождении московских приказов-четвертей (1892)	104
К вопросу о сочинениях князя И.А. Хворостинина (1893).....	117
О двух грамотах 1611 года (1897)	121
Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1897).....	126
Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о Смутном времени (1898).....	139
Василий Григорьевич Васильевский (1899)	145
О титуле “думный дьяк” (1900).....	149
Речи Грозного на земском соборе 1550 года (1900).....	154
О топографии Угличского “кремля” в XVI–XVII веках (1901)	158
О происхождении патриарха Гермогена (1901)	162
К вопросу о Никоновском своде (1902)	165
К вопросу о Тайном приказе (1902)	172
Столетие кончины императрицы Екатерины II (1896).....	179
К двухсотлетию Петербурга (1903).....	190
Савва Ефимьев, протопоп Спасский Преображенского собора в Нижнем Новгороде (1904)	196

Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия (1904)	203
К истории московских земских соборов (1905).....	211
Московское правительство при первых Романовых (1906)	254
Об авторе сочинения “На иконоборцы и на вся злыя ереси” (1907)	303
Столяров хронограф и его автор (1908)	313
К истории Полтавской битвы (1909).....	324
Боярская дума – предшественница Сената (1910).....	331
Василий Осипович Ключевский (1911).....	367
Слово о Н.М. Карамзине (1911).....	373
“Священной памяти двенадцатый год” (1912).....	379
Примечания	385

СТАТЬИ 1888–1917 ГОДОВ

Легенда о чуде св. Димитрия царевича Угличского (1888).....	391
Личность Петра Великого (1909)	394
Патриарх Гермоген и архимандрит Дионисий (Историческая поминка) (1912)	404
Царь Алексей Михайлович (Опыт характеристики) (1912).....	411
“Вся земля” (1912)	435
Вопрос об избрании М.Ф. Романова в русской исторической литературе (1913)	447
Избрание на царство Михаила Феодоровича Романова (1913).....	460
Из прошлого (1916).....	473
Старые сомнения (1917)	475

СТАТЬИ

ИЗ “РУССКОГО БИОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ”

Борис Федорович (<i>Годунов</i>)	485
Иов, патриарх	491
Катырев-Ростовский Иван Михайлович	502
Филарет, патриарх	506
Археографическое послесловие (<i>А.В. Сиренов, СПбГУ</i>).....	521
Сокращения, принятые в библиографических ссылках.....	531
Указатель имен	533
Указатель географических названий	551

Научное издание

ПЛАТОНОВ Сергей Федорович

Собрание сочинений
в шести томах

Том третий

*Утверждено к печати
Ученым советом
Института славяноведения
Российской академии наук*

Редактор *М.М. Леренман*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Ю.И. Духовская*
Технический редактор *З.Б. Павлюк*
Корректор *А.Б. Васильев*

Подписано к печати 12.11.2012
Формат 60 × 90 ¹/₁₆. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл. печ. л. 35,1. Усл. кр.-отг. 35,1. Уч.-изд.л. 40,1
Тираж 1000 экз. Тип. зак. 3401

Издательство “Наука”
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

Первая Академическая типография “Наука”
119034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12/28

ISBN 978-5-02-037601-4



9 785020 376014

